



Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили её. Сотрудники Google оцифровали её в рамках проекта, цель которого – сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в общественное достояние или не заявил на неё авторских прав. Такие книги – это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории и культуры, и к знаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь.

В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга – автора, издателя, библиотекаря и предыдущих читателей – чтобы наконец попасть в Ваши.

### **Правила пользования**

Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы – лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них – это технические ограничения на автоматические запросы.

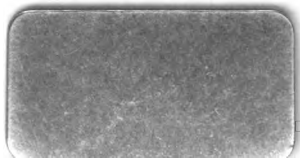
Мы также просим Вас:

- **Не использовать файлы в коммерческих целях.** Мы разработали программу Поиска по книгам Google для всех пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- **Не отправлять автоматические запросы.** Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого рода. Если Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно материалы в общественном достоянии.
- **Не удалять логотипы и другие атрибуты Google из файлов.** Изображения в каждом файле помечены логотипами Google для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их.
- **Соблюдать законы Вашей и других стран.** В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши действия – поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещё совсем не значит, что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Google, то её можно использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным.

### **О программе**

Наша миссия – организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам Google помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям – новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу <http://books.google.com>.





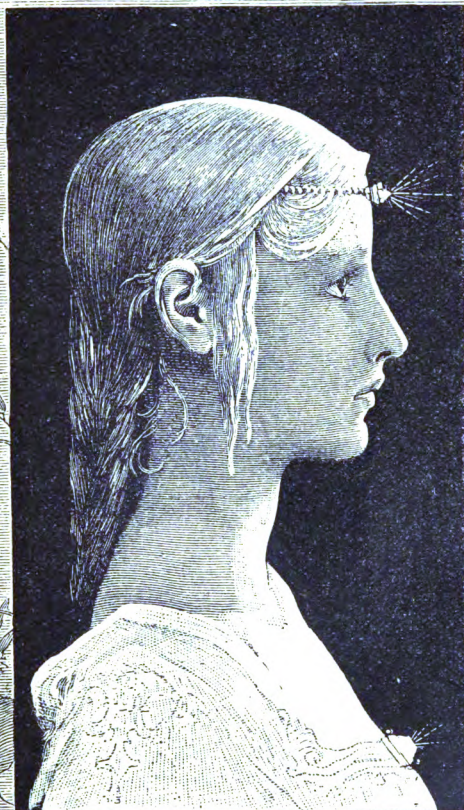








БИБЛИОТЕКА „СЪВЕРА“



C.L. del.

FENGBERG

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Д. Л. Мордовцева.

gle





СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ  
Д. Л. Мордовцева.

---

# ВЕЛИКІЙ РАСКОЛЪ

ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ

ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.

---

Часть II.

---

Томъ XIII.

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Изданіе Н. О. Мертца  
1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 22 іюня 1901 г.

Типографія „В. С. Валашевъ и К<sup>о</sup>“. Спб., Фонтанка 95.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

### I.

#### Низверженіе Никона.

Два главные дѣйствующія лица въ нашемъ повѣствованіи—Никонъ и Аввакумъ—неволью напрашиваются на сравненіе.

И тотъ, и другой—борцы сильные, съ желѣзною волею. Одному почти всю жизнь везло счастье—да такое, какое рѣдко кому выпадаетъ на долю въ исторіи, и только подъ конецъ жизни сорвалось, потому что это самое счастье, слѣпое, какъ его называютъ, ослѣпило и своего любимца. Другого всю жизнь колотили—буквально колотили—сначала свои прихожане за его страстную, безумную ревность къ вѣрѣ и ея буквальной и внѣшней обрядности, били такъ, что онъ по цѣлымъ часамъ лежалъ бездыханно, а лишь только приходилъ въ память—опять лѣтъ на стѣну съ своими страстными обличеніями; потомъ его били воеводы, отгрызали у него пальцы, сѣкли плетью; потомъ билъ его бояринъ Шереметевъ и топилъ въ Волгѣ; цѣлыхъ семь лѣтъ колотилъ его воевода Пашковъ, волоча по сибѣгамъ Сибири и Дауріи — и все за ревность и неподатливость въ своихъ правилахъ. Никонъ нѣсколько лѣтъ самовластно правилъ всею Россією, жилъ въ царской роскоши, считался „собиннымъ“ другомъ царя. Аввакумъ почти всю жизнь былъ нищимъ, какъ апостоль. Въ то время, когда у Никона находилась въ рукахъ власть, онъ казался человѣкомъ съ гранитною волею; но едва власть ускользнула изъ рукъ—онъ раскисъ и измельчалъ: онъ то и дѣло, находясь въ изгнаніи, кланчилъ у царя съѣстного: то просить онъ „рыбки и икорки“, „малины да вишеньки“, то жалуется, что кирилловскіе монахи присылаютъ ему на ѣду грибовъ „такихъ скарედныхъ и съ мухоморами, что и свиньи ихъ не стануть ѣсть“, то опять плачется, что рыбу ему прислали „сухую, только голова да хвостъ“, „стиги говьяжи и полти свинья—на смѣхъ“; что платьемъ и обувью онъ обносился, а „портной швечинско неумѣющій“; то, наконецъ, надоѣдаетъ царю, что кирилловскіе монахи „смѣются и поругаются мнѣ, будто я у нихъ въ монастырѣ всѣ коровы пріѣлъ“ и т. п. Аввакумъ выдержалъ себя до конца—до мученическаго костра, на который онъ взошелъ, крестясь двумя перстами, а когда охваченъ былъ пламенемъ и уже

задыхался, то и пзъ пламени поднималъ руку съ двуперстнымъ сложеніемъ и кричалъ свой послѣдній смертный наказъ, чтобъ крестились такъ...

Что особенно поражаетъ въ Аввакумѣ—это необыкновенная цѣльность характера, источникомъ которой была такая глубина вѣры, что она, дѣйствительно, могла ворочать горами. И оттого, когда Никона, въ несчастіи, покинули всѣ, исключая одного Иванушки Шушеры, за Аввакумомъ шли тысячи, и не только шли за нимъ, чтобы послушать его страстной проповѣди, а шли на костры, на висѣлицы, на удавленіе, на самосожженіе, на вырѣзыванье языковъ, или медленно умирали въ острогахъ, подземныхъ ямахъ и срубахъ, не поступаясь ни на югу пзъ того, что имъ завѣщалъ Аввакумъ. Личный характеръ первыхъ учителей раскола объясняетъ намъ и его историческую живучесть. Всѣ нелѣпности, какія онъ рассказываетъ въ своемъ житіи, и рассказываетъ съ глубокою вѣрою въ то, что они были—всѣ эти изгнанія бѣсовъ, всѣ эти чудеса, какъ его ангелъ въ темницѣ щами кормилъ, какъ саженный ледъ на Байкалѣ разступался, чтобъ напоить его, какъ Богородица въ рукахъ бѣса мяла и отдала его Аввакумову духовнику, какъ отрѣзанные языки у его учениковъ выросли въ ночь,—весь этотъ сумбуръ онъ поднялъ до высоты раскольническаго евангелія, окрасивъ его, какъ яркою киноварью, своею собственною кровью и скрѣпивъ ужасною смертью Гусса—на кострѣ. А эти-то люди и оставляютъ по себѣ глубокой слѣдъ въ исторіи.

Не таковъ былъ Никонъ.

Черезъ недѣлю послѣ осужденія его на соборѣ, его, по повелѣнію царя, призвали въ крестовую церковь, что находилась на воротахъ Чудова монастыря. Проходя Кремлемъ, по площади, онъ упорно смотрѣлъ въ землю, какъ бы нища чего-то потеряннаго и не глядя на толпы москвичей, далеко снявшихъ шапки при видѣ нѣкогда грознаго патріарха. Онъ и теперь еще патріархъ: патріаршій клобукъ и богатая панегія такъ и плачутъ на солнцѣ брильянтовыми слезами. Никонъ думалъ о томъ, что его ждетъ, и, казалось, не слышалъ сдержаннаго рокотанья голосовъ, говорившихъ о немъ, жалѣвшихъ его... Передъ нимъ уже не несли креста и онъ не благословлялъ народъ, какъ было прежде...

„Микитушка—охъ!—о-о-охъ!“ послышалось ему въ толпѣ, и онъ невольно вздрогнулъ, продолжая упорно глядѣть въ землю и трясти головой.

„Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ“, казалось твердила упрямая, распатанная буйная головушка:—„это мнѣ приверзилось... Кому звать меня Микитушкой“?..

„Микитушка-свѣтикъ!“ послышалось опять, явственнѣе, ближе.

Онъ глянулъ... Опять изъ толпы глядятъ тѣ глаза—глаза ангела...

„Всемилоостивый! что жъ это такое!... нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ“!..

Почти ничего не видя, онъ вступилъ въ сѣни крестовой. Въ ухахъ его раздавалось: „Микитушка-свѣтикъ“... Дверь отворилась, и онъ вмѣстѣ съ клубами морознаго воздуха очутился въ церкви. Свѣчи ярко горятъ, слѣзая глаза. Онъ перекрестился... Опять тѣ же глаза... нѣтъ, это глаза Богородицы, но такіе строгіе, не милующіе... За что же!..“

Онъ оглядѣлся. Патриархи и архіереи стояли въ саккосахъ. Онъ искалъ глазами царя, но царя не было въ церкви. Желтѣлось одно пергаментное лицо—лицо Алмаза Иванова—не въ саккосѣ.

Никонъ дважды поклонился въ поясъ патриархамъ и сталъ по лѣвую сторону западныхъ дверей... Послышался дребезжащій голосъ Паисія, который что-то благословлялъ. Затѣмъ, началось чтеніе—выписка изъ соборнаго дѣянія — такая длинная... Слухъ Никона ловилъ сначала одинъ лишь гулъ голоса чтеца, который отдавался въ сводахъ церкви, словно колотился объ нихъ, желая вырваться на волю, улетѣть высоко, до неба... Потомъ Никонъ сталъ вслушиваться въ слова: все это онъ давно-давно слышалъ, много разъ слышалъ...

„Микитушка-свѣтликъ...“ Да, это приверзилось ему. Кто могъ называть его такъ? И кто зналъ, что онъ „Микитушка“, Никита? — Всѣ знали только, что онъ Никонъ... Только она знала и звала его такъ—„Микитушкой“—жена... Но она поди давно умерла: больше тридцати лѣтъ прошло какъ они, онъ и она, постриглись и разошлись на вѣки... А какъ она плакала, валялась въ ногахъ—не пускала его... Да, у нея такіе были глаза, какъ у этого невѣдомаго ангела... Какъ онъ любилъ когда-то эти свѣтлые дѣтскіе глаза, какъ любилъ цѣловать ихъ... А она, бывало, закроетъ ихъ и улыбается:—„тютю, говоритъ, сѣдо твое солнышко, Микитушка—тютю—бай-бай...“ А онъ ихъ цѣлуетъ... „Солнышко, солнышко, выгляни въ окошечко—твои дѣтки плачутъ...“ А она и глянетъ—брызнетъ свѣтомъ... То-то молодость, глупость!..

„Проклиналъ російскихъ архіереевъ въ недѣлю православія мимо всякаго стязанія и суда“, возглашалъ Макарій вины Никона.

„Покинутіемъ престола заставилъ церковь вдовствовать восемь лѣтъ и шесть мѣсяцевъ“.

„Ругаяся двоимъ архіереомъ, одного называлъ Анною, другаго Каіафою“.

„Изъ двоихъ бояръ одного назвалъ Иродомъ, другаго Платомъ“.

„Когда былъ призванъ на соборъ, по обычаю церковному, то пришелъ не смиреннымъ обычаемъ и не переставалъ порицать патриарховъ, говоря, что они не владѣютъ древними престолами, но скитаются внѣ своихъ епархій, судъ ихъ уничтожилъ и всѣ правила среднихъ и помѣстныхъ соборовъ, бывшихъ по седьмомъ вселенскомъ, всячески отвергъ“.

„Номоканонъ назвалъ книгою еретическою, для того что напечатанъ въ странахъ западныхъ“.

„Въ письмахъ къ патриархамъ православнѣйшаго государя обвинилъ въ латинствѣ, называлъ мучителемъ неправеднымъ, уподоблялъ его Іеровоаму и Осси, говорилъ, что еянклитъ и вся російская церковь преклонились къ латинскимъ догматамъ: но порицающій стадо, ему врученное—не пастырь, а наемникъ“.

„Архіерея одинъ самъ собою низвергъ“.

„По низложеніи, съ Павла, епископа коломенскаго, мантию снялъ и передалъ на лютое біеніе, архіерей оный сошелъ съ ума и погибъ без-“

вѣстно—звѣрjami ли заѣденъ, или въ водѣ утонуть, или другимъ какимъ невѣдомымъ образомъ погибъ“.

„Отца своего духовнаго повелѣзъ безъ милости бить, и мы, патріархи, сами язвы его видѣли“.

„Живи въ монастырѣ Воскресенскомъ, многихъ людей, иноковъ и бѣльцевъ, наказывалъ не духовно, не кротостію за преступленія, но мучилъ мірскими казнями, кнутомъ, палицами, иныхъ на пыткѣ жегъ“...

Никонъ повидимому не слушалъ, что ему читали. Не все ли уже равно! Онъ только качалъ головой; но это качанье было не произвольное: оно осталось у него до самой смерти, какъ бы постоянно служа отвѣтомъ на гвоздившую его мысль: „нѣтъ, нѣтъ, зачѣмъ жизнь? для чего она была? развѣ это жизнь? нѣтъ, нѣтъ“!..

— Подойди сюда, Никонъ!—проскрипѣлъ голосъ Паисія.

Никонъ машинально подошелъ къ царскимъ вратамъ, гдѣ стояли оба патріарха.

Макарій дрожащими руками снялъ съ осужденнаго клубукъ и паннагію.

— Отселя не будешь патріархъ...

— Знаю! слышалъ!—оборвалъ его Никонъ, къ которому, казалось, теперь только воротилось сознание.

— Живи тихо и безмятежно...

— Знаю и безъ вашего поученія какъ жить...

Глаза его упали на клубукъ, что сейчасъ сняли съ него, а потомъ перенеслись на синеватые бѣлки Макарія и сверкнули гнѣвомъ.

— А жемчугъ отъ съ клубука и съ паннагіи, что съ меня сняли, по себѣ раздѣлите: достанется вамъ жемчугу золотниковъ по пяти по шти, да золотыхъ по десяти,—сказалъ онъ съ горькою ироніею.—Вы султанскіе невольники, бродяги, бродите всюду за милостынею, чтобъ было чѣмъ заплачивать дань султану...

Онъ остановился. Грудь его тяжело дышала. Голова затряслась еще больше; всѣ смущенно ждали послѣдняго взрыва.

— Эко на! откуда вы взяли эти законы? Зачѣмъ дѣйствуете здѣсь тайно, что воры, въ монастырской церкви, безъ царя, безъ думы, безъ народа?—заговорилъ онъ хрипло,—судороги давили его горло.—Меня упростили принять патріаршество при всемъ народѣ... Я согласился, видя слезы народа, слыша страшныя клятвы царя... Поставленъ я въ патріархи въ соборной церкви, предъ всенароднымъ множествомъ... А если теперь захотѣлось вамъ осудить насъ и низвергнуть, то пойдемъ въ ту же церковь, гдѣ я принялъ пастырскій жезлъ, и если окажусь достойнымъ низверженія, то подвергните меня чему хотите...

Онъ не могъ долше говорить—ему перехватило горло. Онъ только безнадежно вскинулъ глазами на верхъ царскихъ вратъ, гдѣ на цѣпочкѣ висѣлъ и колебался золотой голубокъ... Ему казалось, что колебалась вся церковь, и стѣны и полъ...

— Тамъ ли, здѣсь ли—все равно,—едва слышно сказалъ Паисій.—  
А что нѣтъ здѣсь его царскаго величества—на то его воля.

И старикъ молча подозвалъ къ себѣ греческаго монаха, стоявшаго неподалеку. Тотъ подошелъ и низко наклонилъ голову. Паисій снялъ съ него клобукъ и, поднявшись на цыпочки при помощи этого же монаха, надѣлъ его на опущенную голову Никона: какъ эта голова, такъ и руки Паисія одинаково дрожали. На лицахъ архіереевъ и архимандритовъ, присутствовавшихъ въ церкви, отражались то жалость, то стыдъ, то нескрываемое злорадство. Алмазь Ивановъ усиленно моргалъ своими чернильными пятнышками на харатейномъ лицѣ.

Дольше тянуть эту тагостную сцену было невозможно. Макарій антиохійскій своими выразительными глазами показалъ, что пора увести его. Два воскресенскіе монаха приблизились и тихо взяли подъ руки своего низверженнаго владыку. Онъ глянулъ на нихъ, какъ бы ничего не сознавая, и тихо побрелъ съ амвона, оступаясь на ступенькахъ его и не поднимая головы.

Его вывели на крыльцо. Охваченный морознымъ воздухомъ, онъ разомъ пришелъ въ себя и поднялъ голову. Народъ, столпившійся у сани и разгоняемый стрѣльцами, снялъ шапки... „У него не взяли патріаршаго посоха“, слышался шепотъ.—„И монатя патріарша на емъ—значить, онъ патріархъ“.—„Толкуй!“—„Что толкуй?“—али повылазило тебѣ!“.

Вышли и два архимандрита, изъ которыхъ одинъ былъ тотъ, котораго мы видѣли въ Соловкахъ,—Сергій

У сани Никонъ остановился и обвелъ толпу глазами.

— Никонъ! Никонъ!—сказалъ онъ громко:—съ чего это все приключилось тебѣ? Не говори правды, не теряй дружбы!... Коли-бы ты давалъ богатые обѣды и вечерялъ съ ними—не случилось бы этого съ тобою.

Онъ сѣлъ въ сани и перекрестился. Сани двинулись. За ними шелъ Сергій; за нимъ—стрѣльцы и народъ.

— Далекъ путь до Господа,—сказалъ какъ бы про себя низверженный патріархъ.

— Молчи, молчи, Никонъ,—закричалъ ему Сергій.

Никонъ оглянулся. Рядомъ съ санями шелъ его эконоомъ.

— Скажи Сергію, что коли онъ имѣетъ власть, то пусть придетъ и зажметъ мнѣ ротъ,—сказалъ онъ эконоому.

Эконоомъ приблизился къ Сергію и, глядя ему въ глаза, сказалъ громко:

— Коли тебѣ дана власть, поди и зажми ротъ святѣйшему патріарху.

— Какъ ты смѣешь называть патріархомъ простаго чернеца!—закричалъ на него Сергій.

Въ толпѣ послышался ропотъ. Раздались негодующіе голоса.

— Что ты кричишь?—особенно рѣзко выдался одинъ голосъ.—Имя патріаршее дано ему свыше, а не отъ тебя гордаго.

Стрѣльцы тотчасъ же схватили этого смѣльчака.



— Блаженни изгнанія правды ради!—вздохнулъ Никонъ.

— Микитушка... Микитушка... о-о-охъ!—послышался стонъ въ толгѣ.

Никонъ глянулъ по тому направленію, откуда вырвался стонъ, и задрожалъ. Тѣ глаза, которые онъ считалъ глазами ангела, были близко и смотрѣли на него съ невыразимой тоской и любовью. Только это были глаза не ангела, а просто монахини, уже пожилой, высокой и нѣсколько сгорбившейся. Лицо ея было необыкновенно бѣло и нѣжно, несмотря на рѣзкія морщины, какъ бы паутиной заткавшія это бѣлое лицо, а черныи монашескій клобукъ еще ярче отгѣнялъ его бѣлизну.

— Микитушка! касатикъ мой! благослови меня!

Никонъ узналъ монахиню. Это была его жена, та прекрасная подруга его молодыхъ лѣтъ, съ которою онъ разлучился назадъ тому три десятилѣтія... Отъ нея остались только глаза, да и тѣ, казалось, смотрѣли изъ могилы...

## II.

### Убійство Брюховецкаго.

Изъ хмурой, холодной Москвы, гдѣ птица на лету замерзала, а волки отъ стужи укрывались въ человѣческое жильѣ, перенесемся на теплый югъ, въ благодатную Украину.

Весна, усыпавъ землю опавшими лепестками розъ, шиповника, горичвѣта, желтаго дрока и пахучей липы, уже уступала мѣсто жаркому лѣту, предшествуемому „зелеными святыми“, „русальными игрищами“, „клевальными ходами“ и отгѣвающими свой положенный природою терминъ соловьями и кукушками. Въмѣсто цвѣта желтаго дрока и горичвѣта зеленыя рощи, возлѣски и садочки горять „червонными чоботками“ черноклена, пунцовыми съ чернымъ крапомъ глазами бруслины, пышными лепестками маку, чернобровцевъ и гвоздики. Неумолчныя ночныя трели соловьевъ и гугнявыя покукуванія кукушекъ замѣнялись неумолчными „русальными“ пѣснями звонкоголосыхъ „дивчатъ“. Молодежь, въ ожиданіи рабочей поры, дни и ночи проводитъ на улицѣ, либо у рѣки, либо въ полѣ за цвѣтами, за выскиваніемъ утиныхъ и перепелиныхъ яицъ, либо разсыпается по лѣсу. Старыя бабы бродятъ по лугамъ и полямъ, рвутъ добрыя и недобрыя травы: отъ порчи и дурного глаза, травы чаровничкія и всякое полезное и вредное зелье.

Шла „русальная“ недѣля. Слышались розсказни о томъ, что Пилипъ, возвращаясь изъ лѣсу, луною ночью, видѣлъ, какъ русалка качалась на гибкихъ вѣтвяхъ вербы и манила къ себѣ Пилипа; но Пилипъ сказалъ: „пуръ тобі, проклята мавка,—вотъ тебѣ дуля“, и благополучно дошелъ домой; или какъ Харьковъ, переѣзжая на човнѣ черезъ Песель, вечеромъ, тоже видѣлъ, какъ на берегу, въ высокой осоцѣ, какая-то дивчина чесала косу, а когда онъ вынулъ изъ шапки горсть полыни и показалъ ее дивчинѣ, она захохотала не своимъ голосомъ и бултыхнулась въ воду. Гово-

рили также, что на Остапа Прудкого напало разомъ пять русалокъ и стали его щекотать, а онъ былъ немножко выпивши,—да и ну ихъ всѣхъ „мацать“ куда попало,—такъ они, аспидскія, простоволосыя дѣвки всѣ и разбѣжались отъ него съ визгомъ, а онъ Остапъ—ничего то не боится—да за ними, да все кричить: „улю-лю-лю! улы-лю-лю!“ Послѣ парубки говорили, что это были не русалки, а свои же гадячскія дивчата, которыя хотѣли испугать пьяенькаго Остапа; такъ же на таковского наскочили: онъ ихъ всѣхъ полапалъ—таки порядкомъ. А Явдоха Танцюрчиха такъ застала ночью русалку у себя на огородѣ: русалка рвала молодой бутъ; такъ Явдоха какъ кинетъ на проклятую русалку пучекъ „любистку“, а она какъ перекинется козю, да какъ закричитъ: „меке-ке-ке!“—да какъ махнетъ черезъ плетень—только ее и духу было...

Вотъ уже третью такую „русальную“ недѣлю—третью весну—проводить въ Гадячѣ молодая пани гетманова, боярыня Брюховецкая, которую мы видѣли еще княжкою Долгорукою въ кремлевскомъ дворцѣ, въ мастерскихъ парицкихъ палатахъ, вмѣстѣ съ боярынею Морозовою, княгинею Урусовою и маленькою царевною Софьюшкою. Третье лѣта боярыня Брюховецкая живетъ въ Украинѣ, слышитъ и веселая, и тоскливая украинскія пѣсни, видитъ и привѣтливая, и сумрачныя лица этихъ черкасовъ и черкашенокъ, эти черные чубы и усы, эти черныя, увитыя лентами и цвѣтами красивыя головки—и все тоскуетъ по своей родной сторонущкѣ, по хмурой, но дорогой ей Москвѣ бѣлокаменной.

Недавно муженекъ ея, гетманъ Иванушко, „съ великимъ поспѣшеніемъ“ выступилъ въ походъ съ казаками, а куда, противъ кого — она не вѣдаетъ: не то противъ татаръ, не то противъ поляковъ, не то противъ Дорошонка. Ужъ этотъ ей Петрушка Дорошенокъ-воръ! Почему-то она давно не любитъ его и боится. Должно быть, онъ не доброе что затѣваетъ противъ матушки Москвы и супротивъ его царскаго пресвѣтлаго величества... А что-то на Москвѣ дѣлается? Говорятъ, что былъ тамъ соборъ и на немъ патриарха Никона съ престола низложили, а черкаскіе люди на Москву за это сердчаютъ: сказываютъ, что его низложили неправедно, по злобѣ бояръ. И за то черкаскіе люди сердчаютъ, что съ Москвы пріѣхали писчики—перечисъ дѣлать на Украинѣ, да всѣхъ въ московское тягло записывать.

— А ты, матушка боярыня, все по муженьку, по боярину Иванъ Мартынычу убиваешься? Полно, родная,—погляди—какъ вонъ люди веселятся,—говорила старая няня Аксентьевна, которая не хотѣла разставаться съ своей боярышней и вмѣстѣ съ нею оставила родную Москву для этой постылой черкасской сторонки.—Такое ужъ его ратное дѣло, матушка... А побьеть — погромить этихъ татаръ да поляковъ — и къ тебѣ, голубущкѣ, воротится.

— Да я, няня, по Москвѣ соскучилась,—отвѣчала молодая гетманша-боярыня.—Легко сказать—третій годъ не вижу родной стороны... Хоть бы собачка съ родимой сторонущки прибѣжала.

— И-и, родная! что объ Москвѣ-то убиваться! что тамъ? — утѣшала

ее старуха, а у самой тоже сердце щемило. — Одиѣ смуты топереве на Москвѣ и по всей московской землѣ стоятъ... Гонцы вонъ сказываютъ— и не приведи Богъ!.. Никона патріарха поскимили, протопопа Аввакума заслали, сказываютъ, туда, куда воронъ костей не занавивалъ... И стала на Москвѣ шатость: не знаютъ люди, какъ и молиться, какъ и метанія въ церкви творить... И просвиры, матушка, сказываютъ, ужъ не тѣ новія пекутъ—все по новому, по хохлацкому, сказываютъ... А на Дону, сказываютъ, и по Волгѣ воровскіе казаки царскимъ воеводамъ дурно чинять: проявился у нихъ, сказываютъ, воровской атаманъ, по прозванію Стенька Разинъ; такъ его, мать моя, и пуля не беретъ: въ ево это стрѣляютъ, а онъ пули рукой хватаетъ, да назадъ пушаетъ. А коли ему нужно черезъ воду плыть, такъ онъ, собачій сынъ, разстелетъ это зипунъ, сядетъ на емъ—и поплылъ по морю, словно бы на кораблѣ.

— А все же на Москвѣ, няня, лучше, чѣмъ тутъ,—не унималась молодая боярыня.

— И-и, родная! А ты-ко послушай, какъ они, черкашенки-то, пѣсни свои играютъ. Ишь голосищи какіе! И въ Москвѣ такихъ не сыскать... А вонъ какъ они кружатся-то, плетень что ли заплетаютъ,—вона короводы какі водятъ,—дѣвчаты да паробки—видный народъ... Смотри-тко, смотри, матушка; а вонъ и наши парни, стрѣльцы молодые, туда жъ въ короводъ затесались—то-то дѣло молодое—весело...

Домъ гетмана Брюховецкаго, въ Гадячѣ, гетманской временной резиденціи, расположенъ былъ на возвышенности, недалеко отъ берега Псла, и фасомъ выходилъ на эту небольшую, но живописно текущую среди зелени рѣчку. Къ большому деревянному гетманскому дому, обѣяненному стройными тополями, примыкалъ садъ, тянувшійся по скату и густо заросшій вѣтвистыми съ серебряной листвою тополями, дубомъ и липами. Въ густой листвѣ искрились золотомъ на солнцѣ и высвистывали золотистыя иволги. Иногда, какъ бы нечаянно или ошибкой, начинала гугнѣть кукушка, но тотчасъ же срывалась съ голоса и кончала крикливымъ и хриплымъ говоркомъ. Звонко кикали надъ вершинами кочечки, гоня отъ своихъ гнѣздъ сорокъ и галокъ. Пустельга пряталась въ высокой, прозрачной синевѣ своими подвижными крыльями и разомъ срывалась въ траву, завидя добычу. Пчелы усердно работали и гудѣли въ вѣтвяхъ развѣсистой липы.

Подъ одной изъ этихъ липъ, у ствола которой разостланъ былъ богатый персидскій коверъ, на деревянномъ рѣзномъ креслѣ сидѣла молодая гетманша и вышивала золотымъ бисеромъ и мелкимъ жемчугомъ кисеть для своего мужа; а старая нянька, повязанная платкомъ, сидѣла на коврѣ и вязала свивальникъ: ея молодая боярынька была, если еще не на сносѣ, то все-таки ужъ съ замѣтнымъ спереди округленіемъ. Внизу, передъ глазами у нихъ, по берегу Псла, двигались или неподвижно сидѣли на травѣ живописныя группы гадячской молодежи. Шли „русальныя“ игры подъ звонкій смѣхъ и пѣніе десятковъ молодыхъ женскихъ голосовъ, которыми иногда вторили, передразнивая ихъ, голоса мужскіе.

Проводили русалочки, проводили,  
Щобъ вони до насъ не ходили,  
Да нашего житечка не ломили,  
Да нашихъ дивочокъ не ловили.

Свѣжіе, чистые, сильные голоса разомъ обрывались, потому что вышло какое-то замѣшательство. Молодой съ русыми кудрями стрѣлецъ погнался было за круглолицей, утыканной цвѣтами дивчиною, настигъ было ее, звонко хохочущую и звонко звенящую монистами, у самого хоровада, но та его разомъ оборвала.

— Геть, москалю! одчепись! — протестовала она, защищаясь кокетливо, когда стрѣлецъ хотѣлъ дать волю своимъ московскимъ рукамъ. -- Жартуй съ своею москвою.

Послѣдовалъ дружный хохотъ. Всѣ дивчата, переставъ пѣть, вооружились противъ стрѣльца, швыряя въ него травой и цвѣтами.

— Женихайся съ своими товстопузыми московками! — смѣясь, кричали ему.

— Да московки, дѣвыньки, далеча. Гдѣ жъ ихъ взять! — оправдывался стрѣлецъ.

— Геть, геть, поганый!

Стрѣлецъ, почесывая затылокъ, удалился, тѣмъ болѣе, что ближайшіе парубки поглядывали на него не особенно дружелюбно.

Солнце, спускавшееся къ западу, играя на раскраснѣвшихъ лицахъ дивчатъ и на цѣлыхъ горстяхъ цвѣтовъ, украшавшихъ ихъ головы, кидало длинныя двгавшіяся тѣни на воду. Хохлята, роясь у воды въ песокъ, оглашали воздухъ своимъ пѣніемъ:

Савка-булавка  
Покотивъ булку,  
Та вбивъ курку,  
Положивъ на столи:  
Дивитесь, москали.

— Явдохо! Явдохо! чи не тая русалка у тебе на городи быть поила? — кричалъ Остапъ Прудкій, указывая на гетманскаго козла, котораго дразнили дѣти, а онъ становился на заднія ноги и трясъ бородою.

— А то жъ — вона: може и тебе таки русалки доскотали, а ты ихъ, пьяненкій, мадавъ, — отрѣзала Явдоха Танцюрчиха.

Опять взрывъ хохота, который прекратился только тогда, когда къ берегу Пела потянулась изъ города процессія старухъ и молодыхъ съ ковшами и черепками въ рукахъ. Въ ковшахъ и черепкахъ было молоко. Старухи и молодые, мочая въ молоко пучками полыни, кропили вокругъ себя до рогу, по которой шли. Это они задабривали молокомъ русалокъ: когда по тѣмъ мѣстамъ, которыя въ русальную недѣлю окроплены молокомъ, будутъ ходить коровы, то русалки не стануть ни портить ихъ, ни доить.

— Охъ, матушка! никакъ намъ Богъ гостей посылаетъ, — радостно

сказала старая няня гетманши, отбня ладонью глаза и вглядываясь въ приближавшуюся группу прохожихъ съ котомками за плечами.

— Гдѣ-гдѣ, няня?—встрепенулась молодая боярыня, бросая работу и мгновенно покрываясь румянцемъ.

— Да вонъ идутъ къ нашему двору.

Дѣйствительно, берегомъ, по которому мимо гетманскаго двора пролегла большая дорога, двигалась группа богомольцевъ. Ихъ можно было сразу узнать по длиннымъ палкамъ въ рукахъ, по буракамъ и тыквяннымъ кубышкамъ у пояса и по котомкамъ за плечами. Въ группѣ видѣлись старики и молодые парни, а больше всего бабы и дѣвушки. Всѣ они сморѣли загорѣлыми, запыленными и усталыми. Ноги, обутыя въ лапти, съ грудомъ передвигались.

— Бѣги, нянечка, голубушка, заверни ихъ къ намъ,—видимо волновалась боярыня:—это наши московскіе страннички, я вижу.

Старуха торопливо пошла навстрѣчу прохожимъ. Она издали махала имъ рукой и кланялась.

— У-у! москали въ лаптяхъ!—кричали хохлята съ берегу, завидя прохожихъ.

Брюховецкая торопливо, на сколько позволяла ей это ея „непраздность“, пошла къ дому, чтобы встрѣтить странничковъ, и притомъ странничковъ съ родной стороны. Стрѣльцы, стоявшіе у воротъ гетманскаго дома и издали любовавшіеся „русальными“ играми хорошенькихъ „хохлатокъ“, также радостно привѣтствовали своихъ запыленныхъ земляковъ и землячекъ.— „Давно ли съ Москвы?—Что тамъ дѣлается, въ Расеюшкѣ-матушкѣ—все ли здорово? — Какъ крестятся? не тремя ли персты? — Какъ схимилъ Никона патріарха?“—слышались вопросы. Страннички наскоро отвѣчали, что „съ Москвы давно—какъ рѣки прошли“, что теперь идутъ „отъ угодничковъ, изъ Кеива, а насчетъ креста и Никона—и-и! и не приведи Богъ!..“

А съ берега широкимъ потокомъ лилась чуждая московскому уху мелодія:

Передъ воритьми долина,  
А въ той долини калина,  
Ой тамъ Ганночка гуляла,  
Жемчугъ-наместо бирвала...

Богомолки и богомольцы, ведомые старою нянею, у которой отъ удовольствія даже морщины сгладились и щеки покраснѣли, гуськомъ вошли на галерею съ навѣсомъ, примыкавшюю къ гетманскому дому, и низко кланялись гетманшѣ, которая встрѣчала ихъ со слезами радости на глазахъ.

— Вотъ, матушка боярыня, ты говорила, что хуть бы собачка съ родимой стороныки прибѣжала, анъ вонъ на — Богъ послалъ своихъ странничковъ,—тараторила няня, разводя руками.

— Какъ-то, матушка-боярынюшка, поживаете на чужой сторонущкѣ? А мы вамъ святости отъ святыхъ угодничковъ принесли, — говорила передняя странница въ костюмѣ чернички. — О-охъ! давно-давно не видали мы на Москвѣ твоихъ ясныхъ очушекъ, матушка, не слышали твоего гласу

медоваго... А частенько - таки про твою милость вспоминали съ матушкой боярыней Федосеей Прокопьевной, да сестрицей ея милости, княгинюшкой Авдотеей Прокопьевной: что-то-де, говоримъ, ваша гетманша золотая на чужой черкасской сторонѣ? Далеко-де, высоко-де, говоримъ, залетѣла наша пташечка сизокрылая...

А съ берега неслись надрывающіе душу „черкаскіе“ голоса:

Ой туда прихавъ миленькій,  
Ставь съ коника слизати,  
Ставь съ коника слизати,  
Ставь намиста збирати:  
Збирай, миленькій, збирай,  
Съ тобою я гуляла,  
Дороги намиста порвала...

Брюховецкая, томпмая этою мелодією и разберсенная словами старой странницы, закрывъ лицо ладонями, плакала.

Старуха няня, между тѣмъ, разсаживала гостей по лавкамъ, тянувшимся вдоль всей галлерей. Сошлась и челядь гетманская—бабы и пахолята. Разомъ навесли жбаны квасовъ, медовъ, и тутъ же на галлерей стали накрывать столъ, чтобы угощать дорогихъ гостей.

Послѣ неожиданнаго взрыва слезъ, Брюховецкая успокоилась. Она подходила ко всѣмъ и со всѣми здоровалась. Странницу чернячку, какъ особу, повидному, бывалую, она спрашивала о своихъ безчисленныхъ родныхъ—Долгорукихъ, Ртищевыхъ, Морозовой и Урусовой, объ Аввакумѣ и о томъ, что дѣлалось „на верху“, при дворѣ. Въ то время, когда правильной почвы не существовало, когда гошцы съ грамотами и отписками посылались въ два-три мѣсяца, а иногда и въ полгода разъ, когда ни телеграфовъ, ни газетъ не существовало, — извѣстія изъ одного края въ другой передавалось устно, чрезъ странниковъ и торговыхъ людей, и человекъ, заброшенный куда либо въ даль отъ родного мѣста, чувствовалъ, что онъ, дѣйствительно, „на чужой дальней сторонѣ“, а чужа дальня сторона — горемъ горожена, слезами полвана, тоскою-кручиною изнасяяна...

— А ужъ Морозову боярыню, Федосѣюшку свѣтъ Прокопьевну, и узвать вельзя — таково свято жтїе ея стало,—говорила словоохотливая черница, которую звали сестрою Акивфією (она была изъ богатаго дворянскаго рода Даниловыхъ; но поэтическая натура увела ее изъ родительскаго дому, и она сдѣлалась странницей). — Ужъ она нонѣ, отай отъ всѣхъ и отъ царицы, на тѣлѣ своемъ власяницу носить, а домъ-отъ ее полонъ людей божиныхъ—нищихъ, пустыяничковъ, юродивыхъ, странничковъ бездомныхъ; всѣмъ то она своими руками служить, гнойныя ихъ язвы омываетъ, сама ихъ кормить и ѣсть изъ одной съ ними чаши—не брезгуетъ, матушка... Утромъ, чуть свѣтъ, помолясь истово, она ужъ на ногахъ, то судъ творить своимъ домочадцамъ, да вотчыннымъ деревенскимъ людямъ, да все по-божьему, милостиво, то поучаетъ ихъ отъ писанія, а тамъ,

родная моя, за прялку садеть, — сама прядеть и сама рубахи, да порты шьеть, и вечеромъ, сойма платье цвѣтное, боярское, вдѣнетъ на себя рубище, да и пошла бродить по Москвѣ, по дальнимъ закоулочкамъ, гдѣ бѣдность, матушка, гнѣздо свила, да по темнымъ темницамъ—и всѣхъ-то жалуетъ: кому рубаху, кому деньги, кому и иное одѣяніе, а то и рубль, и десять рублей, а то и мѣшокъ сотной при случаѣ. Узнать ли кого на правезѣ — съ правезу выкупаеть, на кого падаетъ гнѣвъ царскій — изъ опалы того выручаетъ святая душа... И отецъ Аввакумъ не нахвалится, бывало, ея: „такой у меня, говорить, дочери и не бывало: единое, говорить, красное солнышко на небѣ, единое красное солнышко и на Москвѣ—Федосѣюшка свѣтъ Прокопьевна“.

Сестра Акинфея, увлекшись разказомъ, совсѣмъ преобразилась. Запыленное и загорѣлое лицо похорошѣло, живые сѣрые глаза почернѣли какъ-то и были прекрасны. Какой-то дебелий молодой парень, босой, съ потре-скавшимися отъ солнца и пыли ногами, съ длинными, никогда нечесанными, рыжими волосами, съ корявымъ веснучатымъ лицомъ и добрыми дѣтскими глазами, подошелъ къ ней, сѣлъ у ея ногъ на полъ и не спускалъ съ нея глазъ. Акинфея улыбнулась своими красивыми глазами.

— Ты что, Агапушка?—спросила она.

— Сказочку хочу слушать,—отвѣчалъ тотъ, глупо улыбаясь.

— Какую тебѣ сказочку?

— Вонъ ту, что ты ей (онъ указалъ пальцемъ на Брюховецкую) сказывала, свитенскую сказочку... А меня Никонъ посохомъ побилъ за двуперстное сложеніе—„вотъ тебѣ“, говорить, „вотъ тебѣ!“,—и юродивый парень расхохотался идиотическимъ смѣхомъ.

Сидитъ зайчикъ пидъ липкою—очки тре:  
Похваляются козаченьки бить мене...

доносится съ берега. Юродивый парень пзумленно вслушивается.

— Ишь какая хохлацкая служба — водосвятіе, — бормочетъ онъ: — безъ попа поютъ.

Между тѣмъ, молоденькіе пахолты таскали на столъ бѣлые хлѣбы, кувшины съ цвѣтными питьями, ковши, солоницы; панесли горы зеленыхъ свѣжихъ огурцовъ, вяленой рыбы, пироговъ.

Мимо двора, по дорогѣ, гурьбой бѣжали хохлята. Они радостно подпрыгивали, размахивали руками.

— Козаки йдутъ! татаръ везутъ!—слышались ихъ звонкіе голоса.

— Гетьманъ! гетьманъ иде!

Брюховецкая встрепенулась и испуганно поглядѣла вдоль большой, тянувшейся въ гору, дороги. Она не ожидала такъ скоро своего мужа, и эта неожиданная вѣсть, что онъ идетъ, и радовала, и пугала се. Неужели походъ конченъ? Не можетъ быть; онъ не надѣялся такъ скоро вернуться. Притомъ же она замѣчала въ послѣднее время, что онъ часто и долго о чемъ-то тайно совѣщался съ своими полковниками, разсылалъ во всѣ

ковцы гонцовъ, и, видимо, что-то таилъ отъ нея. Но она и не старалась проникнуть въ его дѣловыя тайны: на то онъ гетманъ, у него на плечахъ государево великое дѣло, такъ ей, бабѣ, не слѣдъ соваться въ него. Иногда у него какъ бы нечаянно стали прорываться сердитыя замѣчанія насчетъ Москвы, насчетъ бояръ и воеводъ... „А! забирается бисова Москва, мовъ голодни вовки, въ нашу отару“! срывалось у него иногда съ языка. Но жена не придавала этому большого значенія: „осерчалъ что-то Иванушка на бѣдную Москву... только Богъ дастъ не на долго — отойдетъ его сердечко“...

Дѣйствительно, скоро показались толпы конныхъ и пѣшихъ. Они поднимали невообразимую пыль по дорогѣ. Слышались громкіе голоса, смѣхъ, иногда выкрикивалось начало пѣсни, которая тотчасъ же и обрывалась. Что-то недоброе слышалось въ этихъ звукахъ: такой сумятицы при гетманѣ никогда не было слышно... Это не гетманъ ѣдетъ... Нестройная толпа приближалась къ гетманскому дому. Русальныя пѣсни замолкли, и толпы гулявшаго народа, бабы съ черепками и ковшами, дивчата въ цвѣтахъ и парубки съ вѣтками любистка въ рукахъ или съ люльками въ зубахъ сыпнули навстрѣчу двигавшейся толпѣ. Заходившее солнце освѣщало всю эту пеструю картину косыми лучами и кидало длинныя тѣни впередъ толпы.

Видите всѣхъ выдавался казакъ въ багрянномъ, словно кровь, кармазинѣ. Онъ размахивалъ саблей и кричалъ: „школа москалямъ верховодити! Годи вже! Попогодували мы ихъ своимъ тиломъ? Чась имъ додому“!..

У Брюховецкой и руки, и ноги похолонули. Странники поднялись и смотрѣли то на яркій кармазинъ, то другъ на дружку съ недоумѣніемъ и страхомъ.

Въ багрянномъ кармазинѣ Брюховецкая узнала Василька Многогришнаго, родного брата генеральнаго есаула Демки Многогришнаго. Ни того, ни другого она не любила за ихъ пьяную необузданность и подслуживанье, когда они трезвы.

— А! пани боярыня!—злорадно воскликнулъ Василько, увидавъ Брюховецкую: — идить, вельможна боярыня, стричати свого мужа гетьмана боярина! Онъ вить пьяный лежитъ на вози — упився козацькою та мищанською кровью, и головы не зведе!..

Брюховецкая стояла, дрожа отъ ужаса. Въ толпѣ, между тѣмъ, раздавались и пьяные голоса, и испуганные крики, и отчаянный вопль. — „Отъ такъ голота! повенъ визъ бурякивъ наклала!“ — „Охъ, матинко! о-о! Иващечку мій! — о-о-о!“ — „Гуляй, голота, поки штанивъ чорта!“ „Ой-ой! ой лпщечко! кровъ... мертви... забити!“

Показалась телѣга, запряженная волами. Чѣмъ ближе подѣзжала телѣга, тѣмъ очевиднѣе становилось, что она наполнена доверху мертвыми человѣческими тѣлами. Ярко и страшно кричали глазу черныя пятна крови...

— Пріймате, пане боярыня, вашого мужа! Розбудить его — кричко



заснув! Поцелуйте его кари очи, та чорни брови— заразь прокинеться!— раздавался пьяный, злой голос Василька.

Брюховецкая ринулась къ телѣгѣ, протягивая впередъ руки, какъ безумная. Телѣга остановилась. Брюховецкая, добѣжавъ до телѣги, ухватилась рукою за высокую ея перегородку—и, казалось, застыла. На телѣгѣ, поверхъ обезображенныхъ труповъ—то была побитая голотою по подстрекательству Дорошенка лѣвобережная старшина — лежалъ, откинувшись навзничъ, гетманъ Брюховецкій. Онъ былъ въ одной только окровавленной и исполосованной въ клочки рубашкѣ: голота раздѣла его до-нага... На широкой, поросшей черными волосами, груди блестяль обрызганный кровью золотой крестъ... Виднѣлись голыя подошвы мертвыхъ ногъ, перебитыя дубемъ колѣни, пробитые бока и обезображенное лицо, съ выскочившимъ изъ орбиты и висѣвшимъ на щекѣ лѣвымъ глазомъ... И брови, и усы, остались цѣлы...

Эти то брови и усы и увидѣла несчастная жена его и, казалось, внимательно разсматривала ихъ... Въ одно мгновенье безумная, пораженная ужасомъ мысль ея перенеслась въ Москву, въ Кремль, и она увидѣла, какъ тогда, въ первый разъ, изъ-за тафты каретнаго окна, и эти длинныя усы, и эти черныя дугою брови... но только тогда подъ бровями были глаза... а теперь ихъ нѣтъ... вонъ одинъ виситъ на щекѣ... Москва... Кремль...

Изъ груди ея вылетѣлъ глухой стонъ, какъ бы сквозь крѣико сжатые зубы, и несчастная женщина грохнулась наземь, взмахнувъ руками, какъ крыльями...

— О Господи! о-охъ!—кто-то крикнулъ сзади.

— У-у! та й гаспидськи-жъ нижки! Отъ ноги! Мовъ у дитинки—таки маленьки—увъ одчу жменю заберешъ!—дивился пьяный голосъ маленькимъ ножкамъ, выглядывавшимъ изъ-подъ юбки упавшей на землю боярыни...

### III.

#### Казнь Стеньки Разина.

Прошло три года. Многие изъ того, что было три года назадъ, было забыто или вспоминалось съ меньшею остротою памяти и чувства: острыя боли утраты или разбитыхъ надеждъ замѣнились тихой грустью воспоминаній; радость замела собой старыя слѣды горя; новое горе потемнило нѣкогда яркую, свѣтлую радость; смерть замѣнила жизнь; новая жизнь стала на то мѣсто, гдѣ еще недавно стояла смерть со всѣми ея ужасами. А въ общемъ, міръ божій былъ все тотъ же: все то же было небо голубое, также свѣтило солнышко, также зеленѣла зелень, пѣли птицы, колосилась рожь, какъ и тогда, когда молодая боярыня Брюховецкая ждала изъ похода своего Иванушку. И Москва осталась все та же, какъ и весь остальной божій міръ. Вотъ она — и старое, и малое, сапогъ и лапоть,

кафтанъ и сермяга—стремится куда-то за городъ, за Рогожскую заставу. Вѣроятно, встрѣчатъ кого-нибудь? Ужъ не Никона ли? Нѣтъ,—его надо было бы ждать не со полудня, а со полуночи: онъ гдѣ-то тамъ въ заточеніи—у Бѣла-озера. Не Аввакума ли? Нѣтъ, онъ еще полуночнѣе. А можетъ новаго гетмана на мѣсто убитаго? Нѣтъ, говорятъ, что донскіе казаки везутъ воровскаго атамана, самаго страшнаго Стеньку Разина. Москвѣ радость—новое зрѣлище.

Выступилъ за Рогожскую заставу и отрядъ стрѣльцовъ. Впереди отряда шель стрѣлецкій сотникъ, тотъ самый, къ которому пять лѣтъ назадъ, во время свирѣпыхъ морозовъ, въ день суда надъ Никономъ, упалъ на шапку мертвый голубь: это былъ ражій мужчина со шрамомъ черезъ всю щеку, полученнымъ имъ отъ литовской сабли—вязьмининъ Ондрейко Поджабринъ. Стрѣльцы должны были встрѣтить ужаснаго гостя, имя котораго прошло трепетомъ чрезъ всю русскую землю. За стрѣльцами громыхла кованными колесами и звенѣла цѣпями необыкновенная телѣга, вся выкрашенная черною краскою, съ возвышавшеюся на мѣстѣ сидѣнья высокою черною висѣлицею. Далеко изъ-за народа видѣлась эта подвижная молодецкая „изба не мѣпная и не вершоная“ и далеко слышно было рѣзкое погромыхиваніе цѣпей, ввинченныхъ въ столбы висѣлицы и въ ея толстую перекладину. По бокамъ телѣги шло шестеро палачей съ блестящими широкими топорами на плечахъ, по три пазача съ каждой стороны. Рукава красныхъ рубахъ ихъ были засучены на мускулистыхъ, словно изъ плетеныхъ жилъ, рукахъ вверхъ за локти.

Когда стрѣльцы расчистили впереди телѣги скучившіяся вдоль дороги толпы народа, то невдалекѣ показался отрядъ всадниковъ въ высокыхъ съ вылетами изъ краснаго сукна курпейчатыхъ шапкахъ, съ пиками въ рукахъ и винтовками и стрѣлами за плечами. И они также конвоировали телѣгу; только ихъ телѣга была не пустая: въ ней сидѣли рядомъ два человѣка, скованные по рукамъ и по ногамъ и, сверхъ того, прикованные толстыми цѣпями къ крайямъ телѣги. Они были похожи другъ на друга, какъ два родные брата, только у старшаго, болѣе плечистаго, и въ окладистой бородѣ съ яркою просѣдью, глаза были невиданные: они, казалось, не были ни свирѣпы, ни дерзки, но необыкновенно спокойны, а, между тѣмъ, когда они глядѣли на человѣка, то человѣкъ невольно пятился отъ нихъ, а собаки отъ взгляда этихъ глазъ визжали, какъ отъ неожиданнаго удара палкой. На немъ было богатое съ золотымъ шитьемъ платье, хотя пообтертое цѣпями, а мѣстами запачканное и разорванное. Другой былъ одѣтъ проще.

Обѣ телѣги остановились одна противъ другой. Стрѣлецкій сотникъ подошелъ къ сопровождавшему вторую телѣгу богато одѣтому казацкому атаману и проговорилъ:

— По указу великаго государя, вору, злодѣю и измѣннику Стенькѣ прислана позорная колесница, на чемъ ему, вору Стенькѣ, въ Москву въѣхать.

Онъ глянулъ на сидѣвшихъ въ телѣгѣ арестантовъ и съ дрожью попытался назадъ. Онъ узналъ ужасные глаза: это были тѣ глаза—глаза невѣдомаго казака, котораго онъ, Ондрейко Поджабринъ, шесть или семь лѣтъ тому назадъ, видѣлъ выходящимъ изъ кельи Никона патріарха въ Воскресенскомъ монастырѣ — „буркалы“, еще и тогда необыкновенно поразившіе Ондрейку. Какъ будто огонь прошелъ по немъ и холодъ разомъ, и волосы подъ шапкой зашевелились... „Такъ вотъ кто это былъ у Никона... вонъ съ кѣмъ этотъ еретикъ водился... такъ вотъ откуда и три персты!“ Эти мысли ожгли Ондрейку,—онъ растерялся.

Между тѣмъ, палачи при помощи казаковъ расковали желѣза, которыми прикованы были къ телѣгѣ Стенька съ братомъ Фролкою, сорвали съ нихъ цвѣтное золотное платье и надѣли на нихъ гуньки кабацкія, оборванные и грязныя. Стенька своими спокойными глазищами оглядывалъ толпу, которая со страхомъ пяtilась назадъ, давая другъ дружкѣ и открещиваясь—„чуръ-чуръ! съ нами крестная сила“. Фролка смотрѣлъ потерянно и грустно своими добрыми глазами.

— Эй, Фролка! не будь бабою!—ободрялъ его Стенька.—Вонъ какъ насъ почестно встрѣчаютъ: самые большіе бояра вышли посмотреть на насъ.

Толпа, дѣйствительно, была разнообразная, словно на водосвятіи. Видѣлись и богатая одежда на зрителяхъ. На лицахъ ихъ было что-то непередаваемое: то выраженіе, какое придастъ лицу человѣка ужасъ, смѣшанный съ удивленіемъ. Гдѣ-то закричалъ ребенокъ: это онъ встрѣтился со взглядомъ Разина. Стенька свободно и быстро взоселъ на московскую телѣгу и, стоя на ней и увидѣвъ пролетѣвшую съ испугомъ ворону, закричалъ такъ, что всѣ дрогнули.

— Эй, божья птичка! прилети ужъ ко мнѣ въ гости—моего мясца поѣсть... А я боярскаго мясца поѣлъ гораздо.

Палачи обвили вокругъ его воловьей шеи огорліе цѣпи спускавшейся съ перекладины висѣлицы, и замкнули это огорліе огромнымъ висячимъ замкомъ. Стенька потѣшался надъ этой ужасной церемоніей.

— Эко честь какая: золоту гривну мнѣ на шею повѣсили,—говорилъ онъ, потрясая замкомъ.

Руки и ноги его палачи приковали особыми цѣпями къ краямъ телѣги и къ столбамъ висѣлицы, такъ что онъ стоялъ какъ бы распятый. Стенька чихнулъ...

— Будь здоровъ!—послышалось въ толпѣ нѣсколько привѣтствій.

Стенька улыбулся и повелъ глазами по толпѣ.

— Утри носъ!—сказалъ онъ палачу.

Палачъ повиновался, и рукавомъ рубахи утеръ носъ страшному арестанту. На шею Фролки также надѣли цѣпь съ огорліемъ и замкомъ, и приковали къ боку телѣги.

— Али онъ собака?—сердито спросилъ Стенька, а потомъ, оборотясь къ брату, прибавилъ:—то-то Фролушко,—я говорилъ тебѣ—надо больше было дѣлать, чтобы быть въ чести, какъ я вотъ.

Московская телѣга, звеня цѣпами, поворотилась передомъ къ Москвѣ и тронулась. Фролка шель, низко опустивъ голову, какъ бы считая послѣдніе шаги, которые онъ долженъ сдѣлать на этой землѣ, далеко отъ своего родимаго Дона. Онъ казался необыкновенно жалкимъ съ его кроткимъ, убитымъ видомъ. Многія бабы, глядя на него, утирали слезы рукавами и тихонько молились за него. Черничка Акинфея, шедшая тутъ же въ толпѣ, глядя на энергичное лицо Разина, почему-то вспомнила своего свѣта Аввакумушку и прониклась сама страстнымъ желаніемъ „пострадать“, перенести всевозможныя муки, вотъ такъ, какъ переносить этотъ, распятый цѣпами подъ висѣлицю. И она, глубоко впечатлительная и страстная, молилась за него.

По бокамъ телѣги шли стрѣльцы. Что-то большее, чѣмъ покорность службѣ, было написано на ихъ лицахъ. А Андрейко Поджабринъ тревожно думалъ что-то и повременамъ встряхивалъ головой, какъ бы силясь отрясти съ своихъ густыхъ волосъ неотвязчивую мысль. За стрѣльцами слѣдовали казаки, двуясь па золотоглавыя маковки церквей.

— Здравствуй, матушка Москва золотыя маковки!—неожиданно крикнулъ Стенька:— не такъ я думалъ вступитъ въ тебя— такъ не пришлось... Эхъ!

Чѣмъ дальше эта необыкновенная телѣга слѣдовала по улицамъ Москвы, тѣмъ больше высыпало на улицы народу, которому издали видѣлась высившаяся между двухъ столбовъ висѣлицы фигура страшнаго челоуѣка.

Телѣга проѣзжала мимо богатаго дома Морозовой. Стенька глянулъ на окна, и глаза его встрѣтились съ чьими-то прекрасными и свѣтлыми, какъ у ребенка глазами... Ему показалось, что это глядитъ на него та его первая полюбовница, персидская княжна, красавица дочь астрабадскаго хана Менды, которую онъ въ припадкѣ бѣшеннаго безумія утопилъ въ Волгѣ. Сердце Стеньки первый разъ въ жизни заныло жгучею тоской по той, которую онъ любилъ и съ которою одной онъ находилъ счастье, вообще ему неизвѣстное въ жизни; что-то въ родѣ слезъ блеснуло въ его глазахъ... Онъ снова глянулъ на окна: бѣлая рука крестила его, а свѣтлые, дѣтскіе глаза плакали отъ страстнаго умиленія... Это была Морозова; ея возбужденная страстію душа умалилась видомъ страданій и мученій, къ которымъ она тайно подготовляла себя, какъ къ подвигу, къ вѣнцу своей жизни...

Стенька долго оглядывался на ея домъ... Сердце его колотилось и точно таяло подъ теплыми лучами солнца: ему разомъ стало жаль погубленной жизни. Брошенный на него взглядъ доброты, слезы сожалѣнія невѣдомой женщины, крестящая его бѣлая рука, образъ той, которую онъ одву любилъ въ жизни и самъ же погубилъ—пробудили въ немъ желаніе жизни, счастья, добра... Поздно!—Онъ угрюмо поникъ головою.

Но съ этой минуты онъ замолчалъ, крѣпко стиснувъ свои мощныя, бакъ у волка, челюсти.

Когда его подвели къ земскому приказу и сняли съ телѣги—онъ молчалъ. Ввели въ приказъ, поставили передъ боярами и дьяками—молчить. Алмазь Ивановъ сталъ его допрашивать—молчить: глянулъ только на Алмаза своими странными глазами, которые показались Алмазу добрыми и грустными... „Это не онъ“, шевельнулось въ душѣ Алмаза Иванова:—„на него наклепали... это честные, добрые глаза... не чета Никоновымъ...“ Въ этотъ моментъ Разницъ, дѣйствительно, былъ и добръ, и честенъ: могущество доброты той, которая изъ окна перекрестила его буйную, кровавую душу, переродило эту душу въ такую, какою она была когда-то, когда Стенька въ Соловкахъ молился о страждущихъ, голодныхъ, обиженныхъ...

Что ни спрашивали у него, — молчить... Опъ думалъ о той, которая крестила его.

Повели въ застѣнокъ, къ пыткамъ. Что же дѣлать, когда опъ молчитъ?

Стенькѣ сыромятнымъ ремнемъ связали назадъ руки: палачи страшно скрутили ихъ. Потомъ такимъ же ремнемъ связали ноги. Рубаха была сорвана съ него. Подвѣсили за руки къ крюку, вѣтому въ невысокой потолокъ свода застѣнка. Одинъ палачъ тянулъ за ремень, которымъ были связаны ноги, а другой билъ по спинѣ толстою, жесткою, какъ желѣзо, съ острыми краями ременною полоскою въ пять локтей... Кнутъ стегалъ по голой спинѣ медленно, съ полного размаху; руки въ плечахъ выскочили изъ суставовъ, хряснули, вздулись подъ мышками... Каждый ударъ оставлялъ на спинѣ багровую полосу. Съ слѣдующими ударами кожа трескалась, отставала отъ тѣла, лохмоты ея приставали къ кнуту, отлетали къ потолку, падали на цвѣтное платье бояръ, на бумагу, которую держалъ въ дрожащихъ рукахъ Алмазь Ивановъ, и кровавили собою все... Бояре и дьякъ пятились, съ ужасомъ переглядываясь и видя, какъ багровѣли отъ натуги лица палачей, какъ со спины повѣшеннаго струилась на полъ застѣнка кровь... А онъ все молчитъ! Хоть бы стонъ!

Долго полосовалъ кнутъ живое мясо. Первый десятокъ ударовъ отсчиталъ дьякъ и записалъ,—молчить. Второй десятокъ отсчиталъ и записалъ дрожащею рукою,—молчить... Третій, четвертый, пятый, — рука отказывается служить,—перо не попадаетъ въ чернильницу... Еще десятокъ—еще... Хоть бы звукъ—только зубы скрипнули... Восьмой десятокъ — девятый... Фу, ты дьяволъ!—не выдерживаютъ бояре...

— Винись! сказывай вины свои!—кричатъ Алмазь Ивановъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.

Молчить, ни звука.

Принесли саженую чугунную плиту, на которой пламенѣли отъ перебѣгающаго по нимъ огонька раскаленные дубовые уголья и положили подъ виской. Стеньку спустили съ крюка, какъ кровавое паникадило, съ котораго вмѣсто тающаго воска, капала багровая кровь, и положили животою прямо на уголья. Зашкварчала кровь, падая со спины на уголья, зачадило жаренымъ мясомъ, зашипѣли притухающіе отъ крови уголи... чадъ

кругомъ, въ глазахъ у бояръ зеленѣть... А его все жарять какъ барана на вертелѣ. Экой шашлык!

— Винись, дьяволъ! — падаетъ въ изнеможеніи на скамью Алмазь Ивановъ.

Нѣтъ, молчать!.. Пытающихъ бояръ треплетъ лихорадка... Съ палачей потъ градомъ катится... Фролка, упавъ наземь, стучить лбомъ объ полъ—молится... А Стенька все молчить... Передъ нимъ мелькаетъ крестящая его изъ окна бѣлая рука...

— Полосу!—кричатъ палачи:—а то заживо изжаримъ. Не пикнетъ дьяволъ...

Внесли раскаленную до бѣла шину съ желѣзными на концѣ пальцами, отъ которыхъ отдѣлялись красныя искры. Желѣзной раскаленной пятерней стали водить по избитымъ и изожженнымъ членамъ... Шкварчить запекающееся, какъ оладье на сковородкѣ, почернѣвшее, поджарившееся тѣло... А онъ все молчить!

— Будетъ! — невольно крикнулъ Алмазь Ивановъ, очнувшійся отъ обморока:—это не человѣкъ—сатана!

Стеньку сняли съ жаровни, развязали ремни на рукахъ и ногахъ. Онъ всталъ, выпрямился во весь ростъ, потянулся, глянулъ на палачей и на бояръ, тряхнулъ своими могучими плечами—и вывихнутыя въ плечахъ руки сами вправились въ свои суставы.

Потянули Фролку на дыбу. Тотъ не вынесъ мученій. Раздались вопли.

— Экая ты баба!—въ первый разъ проговорилъ Стенька.—Вспомни-ко наше прежнее житье... Проживали мы со славою, повелѣвали тысячами людей, надо же и теперь вынести... Али это больно! Эхъ, словно баба иглой колеть.

Зазвенѣли ножницы. Стригутъ Стеньку — не стригутъ, а рвутъ съ тѣломъ. А тамъ стали брить макушку туною бритвою. Стенька тѣшится, глядя на палачей, у которыхъ дрожать руки и ноги.

— Вона какъ! Слыхали мы, что ученыхъ людей въ помы постригаютъ, а мы съ тобою, братъ, неучи, простяки — анъ и насъ постригаютъ...

Но когда стали капать на темя изъ ковша со льдомъ холодною водою, Стенька опять смолкъ. Мучительно долго капали. Этой адской муки никто въ мірѣ не выносилъ, не выноситъ: отъ этой муки здоровые съ ума сходятъ, къ бѣшеннымъ возвращается разумъ... А Стенька вытерпѣлъ и это. Онъ только такъ стиснулъ челюсти, что храснуло во рту; не выдержали здоровые, какъ у лошадей, зубы—и онъ выплюнулъ ихъ на полъ съ пѣной и кровью...

— Не понадобятся ужъ больше—къ чорту зубы!

Даже палачи ахнули... Вся вода вышла: всю вылили на бритое темя, а онъ какъ ни въ чемъ—смѣется...

— Хорошо послѣ бани—полейте еще!

Нѣтъ, и сатана этого не вынесетъ, убѣждаются бояре. Осталось у

~~... да кто~~ кблосе, не избитое и неизожденное— подошвы. Стали  
~~... да кто~~ валками.  
~~... да кто~~ дьяволы, крѣпче!—кричить Стенька:—далекая мнѣ дорога  
~~... да кто~~ да гдѣ свѣтъ... Куй крѣпче! подковывай!  
~~... да кто~~ кричи...

Южный, теплый, но порывистый вѣтеръ шумитъ вершинами  
густо и широко разросшихся въ прилегающемъ къ земскому при-  
казу, съ тыльной стороны, давно залущенномъ саду. Въ ночномъ, обман-  
чивомъ полусвѣтѣ, какимъ отличаются сѣверныя юньскія ночи, деревья  
кажутся какими-то великанами, которые машутъ множествомъ рукъ и  
аугаютъ робкое воображеніе. Несмотря на вѣтеръ, въ воздухѣ марить,  
какъ передъ грозой, и сонную Москву только изрѣдка оглашаетъ то гнѣие  
пѣтуха, то лѣвнвивый лай собаки.

— Славенъ городъ Москва!—проносится въ воздухѣ окликъ часового.

— Славенъ городъ Новгородъ! — отвѣчаетъ ему другой окликъ  
съ другого конца.

Вдоль стѣнъ земскаго приказа двигаются человѣческія тѣни. Очертанія  
ихъ неясны, какъ и все въ эту полумрачную ночь; но можно различить,  
что двѣ тѣни женскія, а одна мужская.

— Я сама видѣла, Ондреюшко, что на немъ нѣтъ креста,—тихо гово-  
рилъ женскій, нѣжный голосъ: — такъ мы вотъ съ сестрой Акинфеюшкой  
и принесли ему святой крестецъ, да сорочечку чистеньку, да порты... Да  
мы же, другъ Ондреюшко, по заповѣди отца нашего духовнаго, блажен-  
наго протопопа Аввакума, хотимъ ему, узничку-то, утѣшеніе духовное  
преподать, по слову Христа Спасителя: „заключенныхъ посѣтите“...

— Охъ, матушка боярыня! и Богомъ бы радъ пустить васъ къ нему—  
потому, какъ мы сами отца Аввакума заповѣдь блюдемъ о двухъ перстахъ  
неуклонно — только, ей же-Богъ, къ этому-то самому колоднику я васъ  
пустить не смѣю — видитъ Богъ, не могу ни коими мѣры, потому самъ  
крестъ цѣловалъ подъ тяжкою клятвою, и ломать крестное цѣлованье со-  
храни меня Богъ!

Это отвѣчалъ мужской голосъ. Онъ, видимо, хотѣлъ убѣдить проситель-  
ницу въ невозможности исполненія того, о чемъ онѣ просятъ.

— Христомъ Богомъ заклинаю тебя, Ондреюшко, другъ!—еще настой-  
чивѣе умолялъ женскій голосъ:—пропусти васъ на малый часокъ... Самъ  
съ нами поди, голубчикъ,—тебѣ это можно.

— Матушка! Богомъ прошу—не смущай меня!—отчаянно защищался  
мужской голосъ: — ты сама вѣдаешь, золотая моя боярыня, что, коли  
можно было, я тебя вездѣ пушаль—и къ отцу Аввакуму, когда онъ былъ  
въ тюрьмѣ, и къ Федѣ юридивому... А къ этому — не могу, Богомъ кля-  
нусь—не могу!.. Я самъ утречкомъ передамъ ему все, что ты принесла,  
а пустить къ нему—ни Боже мой!

Въ это время изъ нижняго окна приказа, изъ-за желѣзной съ острыми зубьями рѣшетки, послышалось тихое пѣніе. Мелодія этой неожиданной пѣсни и голосъ ночного пѣвца въ мрачной темницѣ душу пронизывали болью и жалостью. Шедшіе у стѣны остановились, какъ вкопанные. Сильный грудной голосъ пѣлъ, сливаясь съ порывами вѣтра, бушевавшаго на вершинахъ столѣтнихъ липъ:

Не шуми ты, мати, зелена дубравушка,  
Не мѣшай мнѣ, добру молодцу, думу думати...

Невидимый пѣвецъ пѣлъ протяжно, заунывно, дѣлая продолжительные голосовые роздыхи на антистрофахъ, какъ бы вдумываясь во внушительный смыслъ того, что пѣлось. Въ иныхъ мѣстахъ голосъ плакалъ, и впечатлѣніе выходило потрясающее.

— Славень городъ Сибирской!—издали доносился сонный оврикъ.

— Славень городъ Кострома!—отвѣчали издали еще слабѣе.

А пѣсня невидимаго пѣвца все больше и больше плакала подъ завыванья вѣтра.

— Это онъ поетъ,—опять слышится тихій мужской голосъ.

— Онъ!.. охъ, силы святя!—стонетъ женскій голосъ. — Пусти насъ, Ондрейшко! Кровью Господа заклинаю тебя! Ему молитва нужна, а не пѣсня.

А пѣсня все плакала: выплакивались послѣднія слова.

— О-о-охъ! Господи всесильный! спаси его! — вскрикнула Морозова (это была она въ одеждѣ чернички) и, бросившись къ огню съ рѣшеткой, упала на колѣни, поднимая руки къ небу.

Пѣсня мгновенно оборвалась. Въ окно выглянуло блѣдное лицо—это было лицо Разина.

Морозова рыдала, глядя на доброе, какъ ей казалось, грустное лицо Стеньки.

---

Утро. Вѣтеръ утихъ. Висѣвшія всю ночь надъ Москвою тучи отогнало на западъ и онѣ стояли тамъ неподвижно, сплошною стѣною, рѣзко отдѣляясь отъ земли всхолмленною линіею горизонта. Онѣ казались еще сумрачнѣе оттого, что изъ-за восточнаго горизонта давно выплыло солнце и дало растопленнымъ червоннымъ золотомъ и на вершины ближняго лѣса, и на золотыя маковки церквей, и на восточные откосы Воробьевыхъ горъ.

Москва рано проснулась, чтобъ не проспять зрѣлища, которое ей предстояло. Наканунѣ, на всѣхъ базарахъ было оповѣщено, что на утро будутъ четвертовать воровскаго атамана Степана Тимоѣенча Разина съ его братомъ роднымъ—съ Фролкою. Какъ же не взглянуть и не полюбоваться такимъ рѣдкимъ зрѣлищемъ, какъ четвертованье! Иной отродясь не видалъ такого дива. Много разъ видывали, какъ и вѣшаютъ людей, какъ и го-



ловы имъ рубять, какъ и на срубѣ жгутъ. Да это что! Это оченно просто, и ничего занятнаго тутъ нѣтъ: вздернуть на веревкѣ кверху, подрыгавъ онъ маленько ногами — и готово; али хватять топоромъ по шеѣ—голова прочь, кровь какъ изъ вола, лупанулъ раза два глазами—и баста; ну, и на срубѣ тоже не находка — за огнемъ да дымомъ почти ничего не видать—пустое! Какая это казнь! То ли дѣло четвертовать молодца! Любодорого... Сначала это топорикомъ по лѣвой рученькѣ тюк!—рука прочь. А тамъ, братцы, по правой ноженькѣ топорикомъ хватъ—нога прочь! По лѣвой — шалишь! — и лѣвой нѣту; правая одна осталась: „Крестись-де, рабъ божій, правой рукойъ въ послѣдній разъ, да крестись истово, двумя персты!“—Крестится... Тяп!—и послѣдняя отскочила... А ужъ тамъ буйну голову... Вотъ это, братцы, такъ казнія—разлюбезное дѣло!

Такъ разсуждали молодцы изъ Охотнаго ряда, лавой привалившіе на Красную площадь.

Красная площадь была залита народомъ, по которому какъ бы перекатывались волны говора и ропота. Говорили о предстоящей казни. Особенно поразила москвичей вѣсть, облетѣвшая Москву вслѣдъ за привозомъ Разина, — вѣсть о томъ, что воровской атаманъ Стенька, погромившій всю Волгу—Астрахань, Царицынъ, Саратовъ и Симбирскъ, громившій и берега Хвалынскаго моря и самую персидскую землю, — что этотъ Стенька находился въ сношеніяхъ съ Никономъ патріархомъ. Вѣсть эта какъ громомъ поразила Москву. Стрѣлецкій сотникъ Ондрейко Поджабринъ божился и образъ со стѣны сымаль въ томъ, что онъ самъ, своими глазами, видѣлъ этого Стеньку, лѣтъ шесть-семь тому назадъ, въ Воскресенскомъ монастырѣ, въ образной кельѣ самого Никона—и Никонъ благословлялъ его, называлъ своимъ „сыномъ“. Ондрейкѣ потому это особенно осталось памятнымъ, что онъ пораженъ былъ необыкновенными глазами Стеньки—такіе глаза, какіе онъ видѣлъ на страшномъ судѣ у Андронья—у эѳіоповъ рисуютъ: бѣлки съ голубиное яйцо. Еще тогда Ондрейко не вытерпѣлъ и сказалъ: „эки буркалицы!“

— Такъ вонъ онъ каковъ—Никонишко-тъ! Вонъ откедова троеперстное-то сложеніе: эѳіопское оно дѣло, воровское! Правъ былъ Аввакумъ, помоги ему Богъ и спаси его,—говорилъ Охотный рядъ.

— Чего не правъ! Вонъ онъ у меня, у снохи Афимьи бѣса крестомъ двуперстнымъ выгналъ... Билъ ее бѣсъ гораздо, кои годы мучилъ ее: ударить это ее оземь, омертвѣетъ вся, яко камень станеть; руки, ноги размечетъ ей, и лежитъ она яко мертва. Такъ вотъ, братецъ ты мой, Аввакумъ возьми да и проговори надъ ней „о всепѣтую“, да кадиломъ это, да крестъ-отъ и сотвори ей на головѣ двумя персты; голова-то и свободна стала; глянула баба, а вся мертва. Онъ далѣ: по рукамъ перстами провелъ,—руки свободны стали; по животу провелъ,—Афимья съѣла;—чудо да и только; а ноги еще каменны у ней... Онъ и ноги ей — икры и голяшки — перстами погладилъ; вся Афимья встала! Мы такъ и ахнули! А она показываетъ на окно: „бѣсъ, говорить, во образѣ мухи на окошкѣ

сидитъ и лапками перебираетъ“. Онъ къ окну—бѣсъ на печку—жужжить, что муха. Аввакумъ за нимъ,—онъ въ окошко, дьяволовъ смѣхъ—и исчезо яко дымъ.

— Везуть! везуть!

Изъ - за сплошной массы головъ показалось что-то длинное, высокое, качающееся. Это былъ громадный черный покой—гигантская буква церковно-славянской азбуки, изображавшая висѣлицу. Подъ висѣлицей, въ серединѣ этой страшной деревянной буквы, видѣлась стриженная голова и лицо съ эоипскими бѣлками въ голубиное яйцо. Отъ шеи тянулась цѣпь къ перекладинѣ висѣлицы, къ вершинѣ покоя. Скоро показался и весь человекъ, стоявшій на черной телѣгѣ и прикованный къ вдѣланной въ телѣгу висѣлицѣ. Это былъ Разинъ. Фролка, какъ и прежде, словно корова, былъ прикованъ къ боку телѣги и шелъ, понуря голову. Стенка, напротивъ, смотрѣлъ на толпу своими эоипскими, какъ казалось сотникъ Ондрейкѣ, глазамъ. На немъ была чистая бѣлая рубаха—подарокъ Морозовой. На груди блестѣлъ большой золотой крестъ на голубой лентѣ: лента эта была въ дѣвчьею косѣ Морозовой въ то время, когда ее въ послѣдній разъ чесали къ вѣнцу дѣвушки-подруженьки и пѣли, надрываясь отъ слезъ, вмѣстѣ съ невѣстою:

Не трубынька трубила рано на зорѣ—  
Федосѣюшка плакала слезно по косѣ:  
Свѣтъ ты, моя косынька, мелко-трубчата, узорчата,  
Вечоръ мою косыньку дѣвушки плели...

Большіе глаза Стенки, видимо, искали кого-то въ толпѣ, и это-то исканіе наводило ужасъ на близстоящихъ: всѣ, какъ овцы, шарахались отъ волка и жались, стараясь спрятать свои глаза отъ страшныхъ глазъ атамана. А они были совсѣмъ не страшны, напротивъ—самъ онъ былъ блѣденъ и задумчивъ, а глаза смотрѣли грустно, напрасно ища кого-то въ сплошной массѣ головъ. Толпа дышала усиленно, какъ одна грудь.

Черная телѣга, окруженная стрѣльцами, дрогнула и остановилась у самаго Лобнаго мѣста. Зазвенѣли цѣпи и смолкли. Сотникъ Ондрейко сдѣлалъ знакъ, и стрѣльцы вмѣстѣ съ палачами расковали арестантовъ и Стенку свели съ телѣги. Онъ молчалъ. Сотникъ задрожалъ, когда, пропуская мимо себя Разина къ Лобному мѣсту, встрѣтился съ его глазами. Впереди Стенки шелъ главный катъ, низенькій, съ маленькою головою, но необыкновенно коренастый мужчина, съ широкими, почти безъ выгибовъ плечами, нѣсколько съ суетоватою, съ широчайшими лопатками спиною и съ толстыми, какъ сучковатыя бревна, руками. Корявые съ ногтями, крѣпости лошадиныхъ копытъ, пальцы, казалось, совсѣмъ не сгибались по своей жесткости. Рукава красной рубахи были засучены выше локтей и обнаруживали нечеловѣческіе мускулы. На плечѣ у него блестѣлъ широкій съ дугообразнымъ основаніемъ треугольникъ: то былъ роковой топоръ. Рядомъ со Стенкою и Фролкою входили на Лобное мѣсто пять другихъ палачей, сподручниковъ главнаго московскаго ката. Стрѣльцы стали

вокруг Лобнаго мѣста сплошною цѣпью, между которою и мѣстомъ казни оставалась свободная площадь съ битыми въ разныхъ мѣстахъ островерхими колыями и игравшими на ней собаками, которыя вмѣстѣ съ палачами всегда бѣгали изъ острога на мѣста казни, въ ожиданіи добычи. Стрѣльцы не отгоняли собакъ—это были казенные псы, принадлежащіе острогу.

На Лобномъ мѣстѣ уже находились власти — думный дьякъ Алмазь Ивановъ и дьякъ разбойнаго приказа. У послѣдняго дьяка въ рукахъ дрожала бумага.

Стенька сталъ прямо, снова повелъ глазами по толпѣ и, какъ бы съ досадою, тряхнулъ головою.

Дьякъ дрожащимъ голосомъ сталъ вычитывать „несказанныя и непостижимыя вины“ Стеньки. Стенька слушалъ, и по временамъ лицо его говорило: „не то—не то... Эхъ, кабы все они знали“!.. На лобъ къ нему съѣла муха—онъ ее согналъ досадливо и какъ-то странно улыбнулся.

Всѣ „вины“ вычитаны... Дьякъ отошелъ... Подошелъ главный катъ...

Стенька повернулся лицомъ къ востоку и сталъ молиться... По толпѣ промелькнуло радостнаго удивленія...

— Онъ истоиво крестится—двумя персты... о-о! у-у-у!

Сотникъ Ондрейко глядѣлъ недоумѣвающими глазами.

Помолвившись, Стенька кланялся на всѣ четыре стороны... Выбритая маковка зловѣще бѣѣла...

— Простите, православные, въ чемъ согрубилъ вамъ. Простите!

— Богъ проститъ! Богъ проститъ!

Палачи обступили Стеньку, намѣреваясь брать его. Главный катъ не двинулся, сверкая только лезвіемъ широкаго топора. Стенька движеніемъ глазъ остановилъ палачей и сдѣлалъ шагъ къ главному катъ.

— Побратаемся, добрый человѣкъ,—глухо сказалъ онъ.—Прими меня за брата передъ смертю: помѣняемся крестами.

И онъ, снявъ съ себя золотой крестъ, подаль его катъ. Послѣдній оторопѣлъ-было, отшатнулся назадъ, но скоро пришелъ въ себя, перенесъ топоръ въ лѣвую руку и на лѣвое плечо, дрожащею рукою взялъ крестъ у Стеньки, перекрестился, поцѣловалъ его, снявъ съ своей воловьей шеи мѣдный крестикъ, подаль его Стенькѣ, а вмѣсто своего надѣлъ Стенькинъ. Стенька сдѣлалъ то же—перекрестился, поцѣловалъ крестъ и надѣлъ на себя. Всѣ смотрѣли на эту сцену съ глубокимъ изумленіемъ. Многіе крестились... „Господи, что жъ это“!..

— Поцѣлуемся теперь, братъ,—простимся.

Они поцѣловались, обхвативъ другъ друга жилистыми руками. Топоръ блеснулъ надъ головою Стеньки... многіе ахнули—думали конецъ... Нѣтъ, Стенька обратился къ брату Фролкѣ и такъ же обнялъ его. Фролка плакалъ и испуганно крестился.

Стенька оглядѣлся кругомъ. Къ правому краю Лобнаго мѣста примощенъ былъ толстый досчатый помостъ, родъ кровати. Стенька догадался, что это его смертная кровать. Онъ самъ подошелъ къ ней, влѣзъ на до-

ски, разстегнулъ воротъ рубахи и легъ плашмя такъ, что бородой опираясь на край этого ужаснаго ложа. Глаза его опять глянули на толпу; по толпѣ прошелъ трепеть отъ этого взгляда. Между тѣмъ, палачи подняли толстую дубовую доску, положили ее на спину Стенькѣ, поперекъ спины, такъ, что и широкія плечи его были видны, и руки и ноги оставались свободны, а самъ сѣли на концы доски, по два палача на тотъ и другой конецъ. Лицо Стеньки, до того блѣдное, побагровѣло. Глаза налились кровью.

— Руби лѣвую руку!—хрипло сказалъ Алмазь Ивановъ главному катъ. Тотъ не двигался, безмолвно шевеля поблѣднѣвшими губами.

— Руби!—повторилъ Алмазь.

— Не буду рубить: онъ мой братъ!—мрачно отвѣчалъ катъ, и бросилъ топоръ.

Лязгъ топора заставилъ дрогнуть и толпу, и палачей. Алмазь Ивановъ растерялся было, но тотчасъ же оіомнился.

— Возьми ты топоръ,—руб!—еще болѣе хрипло сказалъ онъ подручному палачу.

Тотъ нагнулся, поднялъ топоръ, обхватилъ конецъ топорнища обѣими руками, предварительно поплевавъ на ладони, широко разставилъ ноги, какъ бы собираясь рубить толстое бревно, и занесъ топоръ высоко за голову.

— Гисъ!—проревѣлъ онъ,—и лѣвая рука Стеньки отлетѣла, стукнулась объ полъ, сжала пальцы, снова разжала ихъ—и застыла.

Со стороны Стеньки хотъ бы стонъ, хотъ бы движеніе лицевыхъ мускуловъ — ничего не бывало! Глаза продолжали смотрѣть на толпу, нища кого-то.

Палачъ зашелъ съ другой стороны, нацѣлился, натужился... „Руби!“

— Гисъ!—и правая нога отлетѣла.

А глаза все смотреть на толпу; только губы, захвативъ клочъ бороды, крѣпко сжались... Въ толпѣ мертвая тишина... Не вынесъ этого вида Фролка...

— Я знаю слово и дѣло государево! — болѣзненно истерически выкрикнулъ онъ.

— Молчи, собака!—остановилъ его Стенька, выпустивъ изъ сжатыхъ губъ клочъ бороды.

Но вдругъ глаза его вспыхнули и лицо преобразилось счастьемъ. Въ толпѣ онъ увидѣлъ ее—то свѣтлое видѣніе, которое крестило его изъ окна въ день вѣзда въ Москву, а ночью приходило подъ окно его тюрьмы съ крестомъ и бѣлою сорочкою. Она глядѣла на него, осѣняя крестомъ, и плакала... Самъ онъ уже не могъ перекреститься: нечѣмъ было...

— Прощайте, православные!—крикнулъ онъ на всю площадь, и дрогнула площадь:—прощай, святая душа! Я еще приду къ вамъ... помните меня... я...

Онъ не договорилъ. Голова его отскочила отъ туловища и глухо стук-

нудась лбомъ объ помость. Гулъ прошелъ по площади. Руки поднимались вверхъ и торопливо крестились...

— О, Боже Всесильный и Вѣчный! сподоби мя таковыхъ же мученій тебя ради, — страстно шептала Морозова, стоя въ толпѣ, рядомъ съ сестрою Акинфіею, въ одеждѣ чернички.

А тамъ — палачъ рубить мертвое тѣло Стеньки на куски, какъ въ мясницкой рубятъ воловью тушу, а сподручники встыкали эти кровавые куски на колья... Голова взоткнута была на самый высокий колъ и продолжала смотрѣть на площадь своими зѳіопскими глазами...

#### IV.

### Морозова вступаетъ въ борьбу.

Возвращаясь домой отъ Лобнаго мѣста, Морозова, казалось, ничего не помнила, ничего не видѣла, кромѣ этихъ большихъ, добрыхъ глазъ, которые глянули на нее съ эшафота и такъ и залили, казалось, всю ее тепломъ и радостной, благодарной лаской... И этихъ глазъ ужъ нѣтъ!—они закрылись навѣки подъ тѣнью пасмурныхъ бровей и спадавшихъ на мертвый лобъ клочковъ волосъ, оставшихся необритыми... Она видѣла на колу эту голову съ выраженіемъ глубокой думы на лицѣ, какое всегда покоится на лицѣ мертвеца, словно бы онъ вдумывается въ то, что совершилось, и созерцаетъ глубокую тайну смерти; но глазъ его она уже не видала... О! зачѣмъ они закрыли эти глаза, въ которыхъ уже начинали теплиться искры добра и вѣры? Зачѣмъ они убили его? Зачѣмъ сдѣлали ту же ошибку, какія и онъ дѣлалъ въ своей жизни? Развѣ Христось велѣлъ убивать?..

— Вонъ она туда полетѣла... Охъ! — бормотала она безсвязно, идя рядомъ съ Акинфеюшкою.

— Кто полетѣлъ, сестрица?

— Ворона.

— Охъ! что-й-то ты!

— Она полетѣла его клевать... и глазъ тѣ выклюеть... Охъ!

— Полно-ка, сестрица!

— И мое тѣло клевать будетъ... да, склюеть...

— Охъ, и что съ тобой? Спаси Богъ, что верзится тебѣ!

— А не все ли равно—черви сгложуть?

И то, что она сейчасъ съ содраганіемъ созерцала на Красной площади, вмѣсто ужаса стало возбуждать въ ней какъ бы соревнованіе... „Вонъ Аввакумушка радуется, въ земляной темницѣ сидя, узами желѣзными словно бы гривною золотою на шеѣ позвякиваетъ... А я-то! на лебяжемъ пуху тѣло свое все холила“...

И въ душѣ ея, какъ въ мрачной тучѣ, память молніей прорѣзала прошлое и нарисовала свѣтлую картину дѣвчества... Лебеди на пруду въ рязанской вотчинѣ... Она ихъ кормить, а надъ головой кукуетъ кукушка,

и солнце—Боже мой! какое яркое да ласковое... А за лѣсомъ слышится охотничій рогъ и звонкое отбиванье косарями притупившихся объ высокую рожь кось... Феодосьюшка идетъ на охотничій рогъ, думая, что это батюшка съ поля возвращается, и вдругъ на опушкѣ—не батюшка!.. Зардѣлась вся Феодосьюшка... это не батюшка, а тотъ молодой княжичъ... Ахъ, срамъ какой! увидѣлъ ее... срамъ!—а на душѣ такъ свѣтло... Не стало этого княжича: гдѣ-то въ далекой Литвѣ сложилъ свою буйную головушку... И его вороны склевали... А тамъ—замужество и теремъ, безъ конца...

— А вонъ Ванюшка змія пуцасть.

— Что ты, Акинфеюшка! каково змія?

— А вонъ погляди-тко: высоко рѣть.

Морозова опомнилась. Оглядѣвшись кругомъ, она увидѣла, что она съ Акинфеюшкой уже у воротъ дома Морозовыхъ. На одномъ изъ переходовъ, вверху, держась за балясины, стоялъ бѣлокурый кудрявый мальчикъ въ шелковой палевой рубашкѣ съ косымъ воротомъ и пускалъ большого бумажнаго змія на тонкой, длинной бечевкѣ. Около него, задравъ къ небу лохматую голову, стоялъ Федя юродивый и веселыми глазами слѣдилъ за полетомъ змія.

— Ахъ, мама!—закричалъ сверху мальчикъ, узнавъ Морозову, не смотря на ея одѣяніе чернички:—мы Никона пуцаемъ. Гляди какъ высоко.

— Какова Никона, дитяtko?—удивилась Морозова.

— А змія-патріарха...

— Что ты мелешь, сынокъ?

— Правда, мама... Федя написалъ на зміѣ Никона съ тремя перстамп— и мы его пуцаемъ.

Морозова горько улыбнулась... Она снова увидѣла глаза съ большими бѣлками, глянушіе на нее съ эшафота... и вздрогнула: ей видѣлось, какъ ворона вылевываетъ эти глаза—сидитъ на теменн, нагибается ко лбу и клюетъ, клюетъ... И это были уже не его глаза, не Разина, а Аввакумовы... или это глаза княжича, что лежитъ на литовской землѣ и глядитъ на чужое небо мертвыми глазами, а ворона ихъ долбитъ кровавымъ клювомъ...

— Ба-ба-ба, Прокопьевна! али су нонѣ святки?—раздался вдругъ чей-то голосъ.

Морозова снова вздрогнула и оглянулась: на дворъ вѣзжала богатая каптана, везомая прекрасными сѣрыми конями, и изъ-за полога каптаны, отдернутаго въ сторону, выглядывало розовое полное лицо, опущенное бѣлою бородою, косицами, и оживляемое маленькими карими глазами.

— Вотъ и черничкой обрядилась, а я тебя спозналъ,—продолжалъ улыбаться старикъ.

— Ахъ, дядюшка! добро пожаловать!—зардѣлась Морозова.

— Пожалую пожалую... Ишь зардѣлась... А что хари не надѣла— по святочному-то? А то безъ хари всякій тебя спознаетъ.

Это былъ старикъ Ртищевъ. Онъ вышелъ изъ каптаны, когда она

остановилась у крыльца, и высадилъ изъ громоздкаго экипажа свою дочь Аннушку. Челядь Морозовой запружала уже весь дворъ и крыльцо. Чернички, приживалки и разные божьи паразиты бросились цѣловать руки „свѣтъ-боярыньки благодѣтельница“, какъ ни старалась эта послѣдняя увернуться отъ божьихъ коровокъ и ихъ лобзаний. Ртищеву, тоже своему „милостивцу“, божьи козявки отгѣшивали не менѣе низкіе поклоны, хотя не безъ нѣкаго „сумлѣнница“, боясь его издѣвочекъ.

— Что, безприданницы Христовы, гораздо ли за насъ грѣшныхъ свою жениха свѣта молитесь?—шутить старикъ.

— Молимся, батюшка бояринъ,—бормоталъ чернички.

— А протопопу Аввакуму онучки вяжете?

— Гдѣ намъ, батюшка бояринъ!

— А! и ты здѣсь, Акинфеюшка!—ласково заговорилъ старикъ, увидавъ пріятельницу Морозовой.—А я чаю, ты ужъ въ Ерусалимъ успѣла вудушечкой слетать.

— И то правда, батюшка Михайло Алексѣичъ, какъ есть сичасъ съ Голгофы,—загадочно отвѣчала Акинфеюшка.

— Ой-лп-су!—удивился Ртищевъ.

— Съ самаго Лобнаго мѣста...

— А! такъ видѣли злодѣя?

— Видѣли... только злодѣй вонѣ уже не онъ живеть,—снова былъ загадочный отвѣтъ.

Аннушка Ртищева ласково поздоровалась и расцѣловалась и съ Морозовой, и съ Акинфеюшкой. Хозяйка ввела гостей въ хоромы. Прибѣжалъ и юный Морозовъ, Ванюшка, въ своей новенькой палевой рубашкѣ и малиновыхъ остроконечныхъ сапожкахъ золотъ-сафьянъ.

— Ахъ, дѣдушка! какъ мой Никонъ высоко летаетъ!—бросился онъ къ старику Ртищеву, который очень баловалъ мальчика, единственнаго наследника богатаго дома Морозовой.

— Никонъ?... Какой Никонъ, колокольчикъ?—удивился старикъ.

— А патріархъ, что тремя перстами молится,—прозвенѣлъ мальчикъ.

— Что ты какую безлѣпцу звонишь, колокольчикъ? Гдѣ Никонъ патріархъ летаетъ?—еще болѣе дивился старикъ.

— А на змѣй... Федюшка юродивый написалъ ево на змѣй—и мы ево пуцаемъ... Такъ и гудить—у-у-у!

Ртищевъ сдѣлалъ серьезное лицо и взглянулъ на Морозову. Та вспыхнула и поспѣшила уйти, пробормотавъ:

— Не осудите, гости дорогіе, побѣгу переодѣнусь...

Ртищевъ немного отстранилъ отъ себя мальчика, который смѣло глядѣлъ его серебряную бороду, и старался нахмурить свое улыбающееся лицо.

— Ну, колокольчикъ, тебѣ бы за Никона то надо уши надрать, да добро—я съ матушкой поговорю,—сказалъ старикъ.

Мальчикъ съ улыбкой недовѣрія посмотрѣлъ на него. Въ лучистыхъ глазахъ такъ и свѣтилась избалованность.

— За уши, дѣдушка? Ну, нѣтъ—я не дамся...

Морозова все еще не выходила, и Ртищевъ, погрозивъ мальчику пальцемъ, обратился къ Акинфію.

— Такъ вы точно ходили смотрѣть, какъ злодѣя Стеньку сказнили?

— Смотрѣли, батюшка Михайла Алексѣичъ,—быль отвѣтъ.

— И вы не испужались?

— Чего пужаться? Нонѣ такія времена настали, что загода научиться надо, какъ помирать... Мы и ходили учиться.

Старикъ посмотрѣлъ на нее недоумѣвающе и покачалъ головой. Молодая Ртищева, Аннушка, къ которой подошелъ юный Морозовъ, играя волосами мальчика, обратилась къ Акинфію.

— А какой онъ собою, этотъ Стенька, милая,—страховить?

— Можетъ и былъ страховить, да не теперь,—отвѣчала Акинфія задумчиво.—Нонѣ не такіе люди страшны... нѣтъ, не эти страшны.

— А какіе же, по-твосму?—спросилъ старый Ртищевъ.

— А новые...

— Какіе жъ это такіе новые, мать моя?

— А тѣ, что новымъ богамъ молятся, да на старую крѣпкую вѣру новыя заплаты кладуть... Эти, точно, страховиты: новыя-тѣ заплаты сдерутся скоро, да и старую крѣпкую вѣру, что поняву ветхую, прoderуть... Попомните мое слово!

— Охо-хо-хо! да ты изъ горяченъкихъ!—улыбнулся старикъ.— Всѣ вы Аввакумами стали...

Вошла Морозова, попрежнему смущенная и блѣдная. Сынишка бросился къ ней и повисъ на шеѣ.

— А мнѣ дѣдушка хотѣлъ уши надрать,—говорить, онъ, ласкался.

— За дѣло, чаю?—улыбнулась она нехотя, бросивъ мимолетный взглядъ на старика.

Старикъ всталъ, подошелъ къ молодой боярыньѣ и ласково взялъ ее за подбородокъ. Онъ пристально посмотрѣлъ ей въ смущенные, но отъ того еще болѣе прекрасные глаза.

— Послушай, Прокопьевна,—сказалъ онъ серьезно, но ласково:—мы къ тебѣ не въ гости, а по дѣлу... Сядемъ рядкомъ, да поговоримъ ладкомъ.

Онъ сѣлъ. Молодая хозяйка тоже сѣла, но молчала, какъ бы обдумывая что-то... Нѣтъ—ей въ ухахъ отдавалась какая-то печальная мелодія, звучалъ голосъ, который она слышала нынѣ ночью подъ окнами земской тюрьмы.

Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка...

Этотъ голосъ не умолкъ для нея, слова доселѣ не замерли тѣ, что она слышала: „душу прободоша словеса оныя“, ныло у нея въ мозгу...

— Вотъ что, мой другъ,—сказалъ Ртищевъ медленно:—объ тебѣ на верху рѣчь была недавно...

Морозова вскинула на него свои глаза и тотчасъ же опустила, какъ бы испугавшись, что они слишкомъ многое скажутъ.



— Царю вѣдома твоя жизнь,—продолжалъ старикъ.

Морозова молчала, нервно теребя рукою тонкую шитую ширинку... „Что имъ до меня!“ думалось ей: „что имъ душа моя и мои помыслы?“... И ей вспомнились тѣ дни изъ ея дѣвчества, когда изъ Литвы пришли вѣсти, что чернокудрый княжичъ, котораго она встрѣтила за лебединнымъ прудомъ, не найдеть на ратномъ полѣ, и что только конь его прибѣжалъ въ станъ, весь покрытый кровью, и, гремя порожнимъ сѣдломъ и стременами, ржалъ всю ночь... И тогда ее спрашивали—„что съ тобой?“—какъ и теперь нудятъ надъ ея душою... „Прободоша душу, прободоша“, что-то говорило внутри ея...

Молча Ртицевъ взялъ ее за руку.

— Ты слушаешь меня?—спросилъ онъ.

Она встрепенулась, сиюсья отогнать отъ себя грезы на яву.

— Слушаю, дядюшка,—прошептала молодая женщина.

— Царь гнѣвенъ на тебя... Дай токмо, Господи, здравія царицѣ Марьѣ Ильишнѣ: она твоя заступница.

Окно на галлерее было открыто, и въ него видно было, какъ юрдивый силится намотать на рогульку бечевку, на которой взвивался бумажный змѣй, и несвязно бормоталъ: „ишь Никонишко еретик! не люблю тебѣ на привязи - тѣ быть... то-то! А насъ съ Аввакушкой на цѣпи гноилъ!“

Юный Морозовъ черезъ окно тоже вылъзъ на галлереею и присоединился къ своему другу. Аннушка Ртицева, съ улыбкою качая головой, шептала: „вотъ дѣти!“

— Ихъ же есть царствіе Божіе, — также тихо подсказала ей Акинфеюшка, стоя у окна.

— А я тебѣ, Прокопьевна, по душѣ скажу, любя тебя, какъ родную,—продолжалъ Ртицевъ: — не упрямствуй, не буди жестоковѣйна, отстань отъ прелести Аввакумовой и послѣдуй тому, что насадилъ въ церкви нашей Никонъ... Хотя онъ и обнаженъ сана, токмо дѣло его осталось: Никоновы новыя книги всею землею русскою приняты... Никонъ великій и премудрый учитель; такъ-ту Прокопьевна!

Старикъ снова взялъ ее за руку. Молодая боярыня, не поднимая головы, тихо качала ею.

— Поистинѣ, дядюшка, вы прельщены, а не я,—задумчиво отвѣчала она наконецъ: —хвалите такого врага Божія, отступника, и ублажаете книги его, насѣянные римскими и всякими другими ересями. Намъ, православнымъ, слѣдуетъ отвращаться его книгъ и всѣхъ его нововводныхъ богомерзкихъ преданій.

На галлерей, между тѣмъ, къ юному Морозову присоединился еще такой же мальчишк, почти его ровесникъ, княжичъ Урусовъ. Вѣтеркомъ на небо, дотолѣ ясное, нанесло облако, и солнце спряталось за нимъ, согнавъ золотистые переливы съ сосѣднихъ клемовъ и липовыхъ кустовъ. Съ галлерей уже доносились звонкіе дѣтскіе голоса:

Солнушко-солнушко!  
Выглянь-ко въ оконушко,  
Твои дѣтки плачуть,  
Пить-ѣсть хочуть...

Рядомъ съ дѣтскими голосами, совсѣмъ не въ ладъ, дребезжалъ голосъ юродиваго: „твои дѣтки плачуть“...

— Выглянуло! выглянуло! — снова зазвенѣли колокольчиками дѣтскіе голоса.

— Ахъ, колокольчики! колокольчики! — не вытерпѣлъ старикъ Ртищевъ.

А Морозовой не то слышалось. Изъ-за дѣтскихъ голосовъ, до нея, казалось, доносилось что-то протяжное, душу надрывающее:

Не мѣшай мнѣ, добру молодцу, думу думати..

А дѣти не унимались — звенѣли:

Первенчики-другенчики,  
Тринцы-волянцы,  
Пята-мята,  
Родивонъ-поди вонъ!

— Родивонъ! Родивонъ! — и они цѣплялись за юродиваго.

— Ахъ, Прокопьевна! миленькая моя! — съ чувствомъ продолжалъ Ртищевъ, показывая на дѣтей: — посмотри на виноградъ сей! Только бы намъ радоваться, глядячи на нихъ, да ликовать съ тобою... Анъ, нѣтъ! отличилась ты отъ насъ: разсѣченіе между нами стало... расколъ... раскололось надвое... Молю тебя: послушай меня, стараго... Черезъ мою старую голову, чу, охъ — сколько мыслей прокатилось! все перевѣшала и перемѣрила она въ душѣ моей и въ сердцѣ — и избрала истинное... Молю тебя — остави распрю: перекетись тремя персты и не прекословь ни въ чемъ великому государю и всѣмъ архіереямъ...

Морозова молчала, перебирая ширинку. Ртищеву казалось, что убѣжденія его дѣйствуютъ на непокорную.

Аннушка, видимо, находилась въ страшномъ волненіи, лицо ея горѣло пунцовыми пятнами, и она нетерпѣливо переносила свои, готовые заплакать, глаза то на Морозову, то на мелькавшія за окномъ дѣтскія головки, то на неподвижно сидѣвшую Акинфею.

— Что жъ ты, миленькая, молчишь? Прокопьевна? а? — не отставалъ старикъ. — Знаю-су, прельстилъ и погубилъ тебя злѣйшій врагъ — Аввакумишко... Охъ, ужъ мнѣ имячко это! Гнушаюсь нонѣ и вспомнить его: такъ оно теперь ненавистно мнѣ стало...

— Не такъ, дядюшка, не такъ! — горько улыбнулась Морозова.

— Какъ-су не такъ? — вскипятился старикъ.

— Не право твое увѣщаніе, — отвѣчала упрямица, обдавъ собесѣдника лучистымъ свѣтомъ прекрасныхъ глазъ: — сладкое называешь горькимъ, а горькое — сладкимъ. Отецъ Аввакумъ есть истинный ученикъ Христовъ: не продалъ онъ свою вѣру за блага міра сего. Тяжкими муками мучать его,

а онъ—ни на волосъ не уступилъ ничего изъ души своей. Тотъ токмо истинно вѣрить, кто умираетъ за вѣру... О! сподоби мя, Господи, умереть за мою вѣру.

Послѣднія слова она произнесла страстно, почти выкрикнула ихъ, такъ что дѣти на галлерей захлопали въ ладоши отъ радости, а юродивый, словно кошка, вскочилъ въ окно, ужалъ на полъ и поцѣловалъ подошву сарафана молодой боярыни...

— Ай-да Федосьюшка! Слышишь? Ангелы плещутъ тебѣ руками,—бормotalъ онъ.

И Ртицевъ, и дочь его вскочили съ своихъ мѣсть.

— Какъ! опомнись, безумная!—воскликнулъ старикъ, покраснѣвъ до корней волосъ:—ты умереть хочешь? И за чье ученье-то! Аввакумки неуча, проклятаго архіереями!

Дочь ласково остановила отца за руку.

— Батюшка, погоди мало, дай мнѣ...

И она вѣжно обняла Морозову. Та нѣ противилась, а, напротивъ, стала задумчиво гладить ея волосы.

— А! шутка сказать—умереть! Да было бы изъ-за чего, а то на—тъфу!—горячился старикъ. —Его же, стараго пса, Аввакумку, прокляли, анаѣмствовали и его, пса, и его сорочій хвостъ съ двуперстемъ—и за него же хотять умирать! И кто же? Именитая боярыня, красавица на всю Москву, царева сродница... Да это все едино, что у самово сатаны-тѣ на гнусномъ хвостѣ повѣситься...

— Погоди, погоди, батюшка!—продолжала Аннушка, ласкаясь къ Морозовой и глядя на отца. — Не брани Аввакума, не гнусный онъ... Вы, мужчины-тѣ, совѣмъ нашего женскаго естества не знаете: коли вы браните и хулите того, кто намъ по мысли, тѣмъ мы паче прилѣпляемся къ нему... Ей-ей такъ, батюшка!.. Ты вотъ съ сердцовъ мешешь въ Аввакума каменіемъ словеснымъ, а она, голубушка (и Аннушка еще жарче обняла Морозову), сердцемъ своимъ закрываетъ своего учителя: мещи-де каменіе въ мое сердце, а не въ него... Такъ ли я говорю, сестрица?

Морозова не отвѣчала, а только продолжала какъ бы машинально гладить голову своей другини. Ртицевъ съ досадой барабанилъ пальцами въ стекло, не глядя ни на кого, а юродивый, сидя на полу, плакалъ. Акифюшка, опершись на столъ, тревожно слѣдила за лицомъ молодой боярыни.

Въ это время въ комнату съ шумомъ вбѣжалъ Ванюшка, а за нимъ сверстникъ его, княжичъ Дюрдя Урусовъ, татарковатый мальчикъ съ блѣднымъ личикомъ и узкими черными глазами. Первый держалъ въ рукахъ молодого галченка, пойманнаго на переходахъ. Въ окна съ переходовъ доносились тревожные галочки крики.

— Мама! смотри, какой галичъ... Я его буду кормить; ахъ, какой!—радно говорила юный Морозовъ, показывая свою добычу матери.

Та тихо улыбнулась и задумчиво погладила курчавые волосы сына.

Ей, повидямому, было не до него... Изъ-за свѣтлыхъ глазъ сына она видѣла другіе глаза, тѣ, что глянули на нее съ эшафота.

— А у насъ скворецъ какой! Онъ Никона проклинаеть!—радовался Дюрдя Урусевъ, тоже обращаясь къ Морозовой.

— А я, мама, галича научу проклинать его! Вотъ хорошо будетъ! У Стрѣшневыхъ собака, такъ та передними лапками по-никоніански благословляеть,—пояснялъ Ванюшка.

Морозова все молчала.

— Голубушка, сестрица!—съ жаромъ заговорила молодая Ртищева:— я не виню Аввакума, онъ терпѣлъ многія гоненія. А я виню старицъ этихъ дармоѣдокъ: старицы съѣли тебя, проглотили твою душу, отлучили тебя, что этого птенца, отъ насъ... Вонъ какъ кричатъ онѣ тамъ—и мы кричимъ: отдайте намъ нашу галочку!

А галки, точно понимая, что объ нихъ идетъ рѣчь, еще отчаяннѣе кричали и метались по переходамъ, какъ бы жалуясь кому-то на жестокихъ людей.

— Голубушка!—продолжала молодая Ртищева: — опамятуйся! Ты не томко что насъ презрѣла, но и объ однородномъ своемъ сыночкѣ не радись (и она указала на дѣтей, которыя съѣли около юродиваго и показывали ему свою добычу)... Одно у тебя чадо милое, и отъ того твое сердце отстудили. Да еще чадо-то какое! Кто не дивится красотѣ его? Когда онъ спить, слѣдовало бы тебѣ поставить надъ нимъ свѣчу чистѣйшаго воску, али зажечь невѣмъ каковую лампаду и зрѣть на доброту лица его и веселиться, что даровалъ тебѣ Богъ такое дорогое чадо. А ты ни во что его полагаешь... Ахъ, сестрица, сестрица! пойми: великому государю ты не повинешься, экое страшное дѣло! Вѣдь если какъ-нибудь придетъ на тебя за твое прекословіе огнепальная ярость царева, и повелить онъ разграбить домъ твой, тогда и сама испытаешь многія скорби, и сына своего сдѣлаешь нищимъ по своему немилосердію... Погляди на него.

Дѣти вскрикнули въ одинъ голосъ: молодой галченочъ, котораго юный Морозовъ показывалъ юродивому, вырвался изъ его рукъ, взлетѣлъ на окно и исчезъ на переходахъ. Дѣти и юродивый всѣ втроемъ бросились за окно.

— Ну что жъ, Прокопьевна, что ты на ея слова молвишь?—спросилъ старый Ртищевъ, когда дочь его кончила.—Любишь ты сыночка?

Морозова выпрямилась. Ласковые, отчасти робкіе и застѣчивые глаза ея сверкнули. Сверкнули и глаза Акинфеи.

— Ахъ, дядюшка!—какъ бы съ досадой воскликнула первая:—люблю ли я сына? Видитъ Богъ, люблю и радѣю о томъ, что полезно тѣлу и душѣ его. А чтобы мнѣ изъ любви къ сыну повредить душу свою, или, сына своего жалѣючи, отступить благочестія — сохрани меня Сынъ Божій отъ такова напраснаго милованія!

И она истово, широко перекрестилась.

— Безумная!—пробормоталъ старый Ртищевъ.

— Не безумная, дядюшка!—страстно возразила молодая боярыня. —

Не хочу, щадя сына своего, погубить себя. Если вы замышляете сыномъ отвлечь меня отъ Христова пути, то я скажу вамъ: слушайте, выведите, коли хотите, сына моего, Ивана, на позоръ, отдайте его, дабы устрашить меня, псамъ на растерзаніе... О! коли даже увижу красоту его, терзаемую псами, и тогда не помыслю отступить отъ вѣры и благочестія. До конца пребуду въ вѣрѣ Христовой, и если сподоблюсь вкусить за нее смерть, то никто не можетъ исхитить сына изъ рукъ моихъ!

Говоря это, Морозова преобразилась: ея никто не узнавалъ... Куда дѣвались ея кротость, мягкость, застѣнчивость! Грудь ея высоко поднималась изъ-подъ фаты, голосъ звучалъ силой, страстностью... Аннушка Ртищева стояла блѣдная, съ дрожащими губами...

— Взбѣсилась, чисто взбѣсилась, — бормоталъ старикъ: — это сущій Стенька Разинъ...

— Дядюшка! — какъ бы опомнившись, сказала тихо Морозова: — Стенька правды искалъ... Онъ бѣдныхъ не обижалъ... Никонъ хуже Стеньки...

Ртищева точно что ударило: онъ даже отшатнулся отъ этихъ словъ...

— Свѣты мои!..

Въ дверяхъ показалась рыжая метлой борода и испуганное веснучатое лицо...

— Ты что, Иванушко? — встрепенулась Морозова.

— Волки идутъ, боярыня, — торопливо отвѣчала рыжая борода: — охте намъ!

— Али посылка?

— Посылка, боярыня... Сичасъ Степанида Гнѣвная прибѣжала отъ царицыныхъ сѣнныхъ дѣвущекъ: отай наказывала царица — посылка-де къ тебѣ будетъ...

— А кто въ посылкѣ? — спокойно и даже гордо спросила боярыня.

— Акимко, архимаритко чудовской, да Петрушка ключарь...

— Вотъ тебѣ и дождалась! О, Господи! — отчаянно взмахнулъ руками Ртищевъ, хватаясь за свою сѣдую голову. — Дождалась!

Молодая боярыня выпрямилась... Все стихло: только слышно было какъ за галлереею вѣтеръ шумѣлъ въ верхушкахъ липъ, и Морозовой чудились въ шелестѣ листьевъ слова, слышанныя ночью:

Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка...

На крыльцѣ послышались шаги и сморканье, по правиламъ „Домостроя“: — то шли „волки“...

## V.

### Аванумъ въ Пустозерскѣ.

Морозова вступила, наконецъ, въ открытую борьбу съ царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ...

— Тяжко ей бороться со мною... Одинъ кто изъ насъ одолѣеть,—сказалъ царь глухо, когда ему доложили, что молодая боярыня осталась зенрекловна.

Гдѣ же былъ тотъ, во имя котораго русская женщина затѣяла борьбу съ силою, могущество которой не могли сокрушить ни татары, ни поляки? Гдѣ былъ учитель, во влѣдъ котораго пошла русская женщина, доселѣ безмольвно покорная „закону“, отъ кого бы онъ ни исходилъ—въ семьѣ отъ мужа и отца—„грозенъ свекоръ батюшка“, въ государствѣ отъ предлагающей власти?..

Онъ былъ далеко, на глубокомъ, почти недосыгаемомъ сѣверѣ русской земли: онъ былъ въ ссылкѣ...

Вся жизнь этого необыкновеннаго челоуѣка была—ссылка, земляная тюрьма или срубъ, кандалы и истязанія, и вездѣ при этомъ: проповѣдь, проповѣдь дерзкая, неустанная проповѣдь...

— Не почивая, азъ грѣшный, прилежа въ церквахъ и домѣхъ, и на распутьяхъ, по градомъ и селомъ, еще же и въ царствующемъ градѣ, и во странѣ сибирской, проповѣдуя и уча слову Божию годовъ съ полтретьядцать,—разсказывалъ онъ о себѣ впоследствии.

А вотъ скорбный листъ его истязаній, когда онъ былъ еще молодымъ попомъ, когда еще не попалъ въ Москву въ „справщики“, то-есть, въ число редакторовъ новоиздаваемыхъ церковныхъ книгъ.

— У вдовы начальникъ отнялъ дочь,—разсказываетъ онъ объ этихъ истязаніяхъ „правды ради“:—и азъ молилъ его, да сиротинку возвратитъ къ матери. И онъ, презрѣвъ моленіе наше, и воздвигъ на мя бури—у церкви пришедъ сонмъ, до смерти меня задавили. И азъ, лежа мертвъ полчаса и больше, и паки оживе божіимъ мановеніемъ, и онъ устращися, отступилса мнѣ дѣвицы. Потомъ научилъ его дѣволъ: пришедъ въ церковь, билъ и волочилъ меня за ноги по землѣ въ ризахъ, а я молитву въ то время говорю...

Каково времячко!..

— Таже инъ начальникъ во ино время на мя разсвирѣпѣлъ. Прибѣжалъ ко мнѣ въ домъ, билъ меня и у руки отгрызъ персты, яко честь, зубами. И егда наполнилась гортань его крови, тогда руку мою испустилъ изъ зубовъ своихъ и, покиня меня, пошелъ въ домъ свой. Азъ же поблагодаря Бога, завертѣвъ руку платомъ, пошелъ къ вечерни. И егда шелъ путемъ, наскочилъ на меня онъ же паки съ дѣвѣма малыма пищальми и близъ меня бывъ, запалилъ изъ пистолы, и Божию волею порохъ на полкѣ пыхнулъ, а пищаль не стрѣлила. Онъ же бросилъ ее на землю, и изъ другія паки запалила также, и божія воля учинила также: и та пищаль не стрѣлила. Азъ прилежно идучи, молюсь Богу, единою рукою осѣнилъ его и поклонился ему. Онъ меня лаесть, и я ему рекъ: „благодать во устнѣхъ твоихъ, Иванъ Родіоновичъ, да будетъ!“ Посемъ дворъ у меня отнялъ и меня выбилъ, все ограбя, и на дорогу хлѣба не далъ. Въ то же время родился сынъ мой Прокопій, который

сидить съ матерью въ землѣ закопанъ (въ земляной тюрьмѣ). Азъ же, взявъ кляшку, а мати—некрещеннаго младенца, побрели аможе Богъ наставить, и на пути крестили, яко же Филиппъ каженика древле...

Каковы людю! Воеводы, отгрызаюціе пальцы у поповъ!

— Таже инъ начальникъ на мя разсвирѣпѣлъ: прѣхаль съ людьми ко двору моему, стрѣлялъ изъ луковъ и изъ пищалей съ приступомъ. И азъ въ то время молился съ воплемъ ко Владыкѣ: „Господи! укроти его и примри ими же вѣси судьбами.“ И побѣжалъ отъ двора, гонимъ святымъ духомъ. Тоже въ ночь ту прибѣжали отъ него и зовуть меня со многими слезами: „Ватюшко Евфимій Степановичъ при кончинѣ и кричитъ неудобно, бьетъ себя и охаеъ, и самъ говоритъ: дайте мнѣ батьки Аввакума — за него Богъ меня наказуетъ.“ И я чаялъ меня обманываютъ... Ужасеся духъ мой во мнѣ, и се помолилъ Бога сице: Ты, Господи, изведый мя изъ чрева матери моея и отъ небытія въ бытіе устроилъ; аще меня задушатъ—и ты причти мя съ Филиппомъ митрополитомъ московскимъ; аще зарѣжутъ—и ты причти мя съ Захаріею пророкомъ; аще въ воду посадятъ—и ты яко Стефана пермскаго паки освободиши мя!“

„Задушатъ...“ „зарѣжутъ...“ „въ воду посадятъ...“

— По малѣ паки ини изгнаша мя отъ мѣста того вдругоредь. Азъ же совлекся въ Москвѣ, и Божіею волею государь меня велѣлъ въ протопопы поставить въ Юрьевцѣ-Повольскомъ. И тутъ пожилъ немного, только восемь недѣль. Діаволъ научилъ поповъ и мужиковъ, и бабъ: пришли къ патріархову приказу, гдѣ я дѣла духовныя дѣлалъ, и вытаща меня изъ приказа — собраніемъ чловѣкъ съ тысячу и полторы ихъ было—среди улицы били батожемъ и топтали, и бабы были съ рычагами. Грѣхъ ради моихъ замертво убили и бросили подъ избной уголъ. Воевода съ пушкарями прибѣжали и, ухватя меня, на лошади умчали въ мой дворшко; а пушкарей воевода около двора поставилъ. Людѣ же ко двору приступаютъ и по граду молва велика, наипаче же попы и бабы, которыхъ я унималъ отъ блудни, вопятъ: убить вора б...а сына, да и тѣло собакамъ въ ровъ кинемъ!

Каковы иллюстраціи людей и порядковъ!

А истязанія, которымъ его подвергали въ Москвѣ, въ Сибири, въ Дауріи, въ Мезени!

И, между тѣмъ, чѣмъ больше его мучили, чѣмъ больше надругались надъ нимъ, тѣмъ шире росла его слава, и тѣмъ болѣе увеличивалось число его послѣдователей. Да оно и понятно.

Въ то время государственные люди еще не дошли до той простой, но глубоко-философской истины (да и откуда имъ было, при тогдашнемъ по-нальномъ невѣжествѣ, набраться этой государственной мудрости?), что система репрессалій — система жестокихъ наказаній, преслѣдованій, запрещеній и угрозъ,—приводить всегда къ результатамъ, совершенно противоположныхъ тѣмъ, которыхъ этою системою думаютъ достигнуть: на мѣсто одного жестоко-наказаннаго встають сотни и тысячи озлобленныхъ, кого-

рые кончают тѣмъ же и увлекаютъ за собою сотни тысячъ; за преслѣдуемыми, по ихъ стомамъ, идутъ тысячи послѣдователей, и эти увлекаютъ за собою массы; запрещенія изощряютъ умъ и изворотливость—опрокинуть запретную стѣну, разорвать связывающіе ихъ пути... Публичныя казни, вмѣсто того, чтобы устрашить зрителей, становятся аудиторіями, деморализующими университетами страны.

При Алексѣѣ Михайловичѣ не понимали этихъ простыхъ истинъ, и создали государству такія затрудненія, которыя оно не въ силахъ побороть вотъ уже третье столѣтіе...

Единомышленниковъ Аввакума жгли въ срубахъ и на кострахъ, публично вѣшали, задавливали въ темницахъ, жарили въ печахъ, какъ инока Авраамія, о которомъ Аввакумъ говоритъ: „яко хлѣбъ сладокъ принесся святѣй Троицѣ“. Другимъ, чтобы не проповѣдывали, отрѣзывали языки, какъ дьякону Ѳеодору и попу Лазарю—и они съ гугнявыми языками и нѣмые казались народу еще могущественнѣе въ своемъ нѣмомъ краснорѣчіи...

И что же вышло, наконецъ? Русская баба, самое безотвѣтное, самое покорное въ мірѣ животное, нѣмая раба мужа и попа—и та въ первый разъ заговорила при Алексѣѣ Михайловичѣ, пошла на казнь и увлекла за собою поль-русской земли...

А Аввакумъ хорошо зналъ, какъ велика сила бабы. Въ Дауріи онъ однажды попалъ въ руки „иноземныхъ ордъ“. Орда ожидала русскихъ, чтобы напасть и разграбить ихъ. „А я,—говоритъ Аввакумъ,—не вѣдаючи, и пріѣхавъ, къ берегу присталъ. Они съ луками, и обскочили насъ, а я-су, вышедъ, и ну обниматься съ ними, что съ чернцами, а самъ говорю: „Христось со мною и съ вами той же!“ И они до меня добры стали и жены своя къ моей женѣ привели. Жена мол также съ ними лицемѣрится, какъ въ мірѣ лесть совершается—и бабы удобрилися. А мы то уже знаемъ: *какъ бабы бывають добры, такъ и все о Христѣ бываеть добро*. Спрятали мужики луки и стрѣлы своя“.

Въ то время, когда русская баба, въ лицѣ Морозовой, въ первый разъ возвысила голосъ противъ системы насилій, Аввакумъ уже шестой годъ томился въ земляной тюрьмѣ на самомъ дальнемъ сѣверѣ—въ Пустозерскѣ.

Въ послѣдній разъ мы видѣли его на судѣ предъ лицомъ вселенскаго собора.

Въ пять лѣтъ онъ еще постарѣлъ, но ни тѣломъ ни духомъ не упалъ, не сломился и не зачахъ въ той преждевременной могилѣ, въ которую его заживо похоронили: то же сухое, жилистое и упругое, какъ у юноши, тѣло; тѣ же живые молодые глаза, которые, казалось, стали еще добрѣе; волосы и борода, уродливо обстриженные въ Москвѣ, снова отросли и вились бѣлыми курчавыми прядями. Только матовая блѣдность лица выдавала его: видно было что и въ своей подземной жизни онъ въ теченіе пяти лѣтъ, почти не видалъ солнца и живительные лучи его не



окрашивали ни цвѣтомъ здороваго загара, ни краскою крѣпъ егѣ виалыхъ щекъ и бѣлаго, какъ мраморъ, лба.

Темница, въ которой онъ сидѣлъ, представляла собою обширный, если можно такъ выразиться, колодезь безъ воды: въ землѣ была вырыта просторная квадратная яма, около сажени глубиною; въ яму врытъ былъ деревянный срубъ, который выходилъ изъ земли четверти на двѣ; въ одной сторонѣ сруба прорублена была дверка, въ которую сверху вели земляныя ступени съ положенными на нихъ досками; въ другой сторонѣ прорублены были два малескихъ оконца, которыя пропускали слабый свѣтъ въ мрачный колодезь, а зимою, вмѣсто стеколъ, обтягивались пузырями. Въ одномъ углу подземелья складена была изъ необтесанныхъ камней печка, которая топила въ „черному“: дымъ, за неимѣніемъ трубы, выходилъ въ самое подземелье, а изъ подземелья медленно вытягивался дверью, а лѣтомъ—и оконцами. Сверху срубъ былъ заложень хворостомъ и соломой и засынанъ кругомъ землею... Снаружи, такимъ образомъ, темница представляла подобіе могилы, и подобіе это было тѣмъ болѣе поразительно, что надъ этою земляною насыщю торчалъ восьмиконечный деревянный крестъ, сколоченный стрѣльцами-тюремщиками по просьбѣ Аввакума. Передъ непогодью на вершину креста обыкновенно, садилась ворона и каркала, а Аввакумъ, всякій разъ, когда слышалъ это, по справедливому народному воззрѣнію, зловѣщее карканье, съ задумчивой улыбкой всегда говорилъ...

— Что, воропушка, мясца мово ждешь? Да полно—су надрываться: не клевать тебѣ мово мясца грѣшнво... не для тебя оно... Я-су баранъ у Господа Бога: моя баранинка припасена на всесожженіе... Каркай не каркай, миленькая, а тебѣ мово мясца не ѣдать...

Въ подземельи хранилось и все хозяйство и богатство Аввакума: два горшка для варки пищи, сковорода, кадка съ водою, глиняная миска, такая же кружка, деревянная ложка, солоница, ножъ; въ переднемъ углу, какъ святыня, сохранялись: образки мѣдные складные, нѣсколько богослужбныхъ книгъ стараго изводу, деревянное масло, ладанъ, крестъ и жалкія, ветхія принадлежности богослуженія. Тяжелыя четки изъ сибирскихъ камней, подаренныя ему „добренькою бабою“, женою воеводы и мучителя Пашкова, всегда были намотаны у него на руку.

Рядомъ съ этою могилой-тюрьмой находилось еще три такихъ же насыпи, подъ которыми въ земляныхъ же срубахъ заключены были согласники Аввакумовы—попъ Лазарь, дяконъ Федоръ и инокъ Епифаній. Каждая изъ этихъ темницъ обнесена было снаружи особымъ срубомъ, а вокругъ всѣхъ высилась общая ограда съ четырьмя замками. У каждой темничной двери помѣщалась стража...

— Осыпали насъ землею,—говорилъ Аввакумъ въ рукописной исповѣди своей иноку Епифанію:—срубъ въ землѣ, и паки около земли другой срубъ, и паки около всѣхъ общая ограда за четырьмя замками. Страже же передъ дверьми стражаху темницы... Таковы тѣ наши земныя цар-

ства—живыя могилки: живи-су не тужи да чѣпми погромыхивай, что песь... Патмось, вонстину Патмось!

Цѣпи на нихъ были ножныя съ желѣзными поворожками съ желѣзнымъ же поясомъ на случай приковыванья къ стѣнѣ или къ колодѣ...

Въ Аввакумово подземелье, въ тюремное оконце глянуло лѣтнее солнышко... Аввакумъ молился, стоя на колѣняхъ передъ распятіемъ... Солнечныя лучи упали на распятіе... дрогнули вѣки узника, и лицо освѣтилось дѣтской радостью...

— Глянулъ ко мнѣ Господь, глянулъ, Всевидецъ,—бормочуть губы узника, и умиленное лицо его обращается къ солнцу.—Гляди, гляди, милое,—дай и мнѣ на тебя поглядѣть...

Узникъ крестится и кланяется солнцу до земли...

— Ишь ты—такое жъ ласковое, какъ и въ тѣ поры было, въ молодые—тѣ годы—и тамъ, на Волгѣ, и на Москвѣ, и въ Даурахъ, и въ Байкалѣ... А поди съ Москвы глядятъ на него, какъ я вотъ новѣ гляжу, и царь глядитъ, и Никонко песь... И дѣтки мои глядятъ, и Федосьюшка свѣтъ-Морозова... Охъ, миленькая моя дочушка!...

Онъ задумчиво опускаетъ голову. Косые лучи серебрять его сѣдину... Голова вновь подымается...

— Что же я молчу? Семь-ко погудорю самъ съ собой—не съ кѣмъ-су, а то инъ разучусь говорить въ темницѣ-ту... Пятый годъ витъ гласу челоувѣческаго не слышу. О-о-хо-хо!.. Вотъ дни божьи уже не различаю—счетъ потерялъ имъ: не вѣмъ среда, не вѣмъ суббота, не вѣмъ постъ, не знай розговѣнье... Э-эхъ! А ужъ о праздникахъ божьихъ и не загадывай—ни Спасъ, ни Петровъ день...

Что-то пропискнуло за оконцемъ. Узникъ радостно улыбнулся...

— А! прилетѣлъ, милый... Ну, поклонъ, поклонъ... Ахъ, воробышекъ воробышекъ миленькой! По міру, по волѣ летаешь, и нѣтъ-нѣтъ и меня навѣстись во ухахъ... Добро! Богъ и тебѣ зачетъ это... А что, миленькой врабышекъ, все также ли зелень зелена на міру, какъ и бывало? а? И ласточки въ зеленомъ бору разговариваютъ? и травка съ травкой шепоткомъ переговаривается?... Ахъ, міръ божій! koliko красенъ ты и грѣшенъ! Да полно!

Воробей на оконцѣ опять чирикнулъ. Къ нему подѣли другіе, махая крылышками...

— А, милой! дѣтокъ привелъ... Ахъ, они махоньки! ѣтушки просятъ, крылышками трепыхаются... Ахъ, дѣтки, дѣтки!.. А мой-тѣ гдѣ? Живы ли, полно? А можетъ и ихъ повѣсили, либо такъ удавили, либо сожгли... Охъ, люди звѣріе, люди аспиды и василиски! А еще звѣря звѣреть называєте! Вы озвѣрѣли пуще льва и пардуса, окаменѣли сердца ваши, озлобѣли помыслы ваши... Охъ, да что я! али проклиная! Нѣтъ,

Господи, благослови ихъ и умягчи, отвори очеса ихъ... А улетѣли врабяточки мои, поклевали крохъ узника—ну, и Господь съ вами...

Въ углу, въ соломѣ, что-то зашуршало. Аввакумъ глянулъ въ уголь.  
— А! и ты, союзникъ мой, пришелъ?... Ахъ ты дикой, дикой.

Изъ-подъ соломы вынулъ мышенокъ и, повода усиками, испуганно глядѣлъ на старика своими черненькими глазками...

— Что дикой—а? Все боишь меня? Бойся, миленькой, бойся чело-вѣка... О! онъ страшнѣе кошки... Кошка тѣло токмо съѣсть, а чело-вѣкъ и душу выпьетъ, аки паукъ головку мухи... Ну-ну, дурачекъ! ступай ступай, не бойся—тамъ крошки я тебѣ припасъ...

Мышенокъ заскрипѣлъ зубами о сухарь...

Аввакумъ приподнялся съ земли. Цѣпи загремѣли на немъ. Мышенокъ вздрогнулъ всѣмъ своимъ маленькимъ тельцемъ и юркнулъ подъ солому.

— А—испужался, дурачекъ! Ахъ дикой, дикой!

Онъ направился къ переднему углу, гремя кандалами...

— Вотъ и это желѣзцо весело гремать... все же разговоры оно говорить со мной, желѣзцо-то, дружокъ мой неразлучный... Ну, звени, звени, говори со мной... Спасибо вамъ, Пилаты, мучители мои, что друга со мной посадили въ темницу—узы мои драгія, многоцѣнныя... Благо есть съ кѣмъ поговорить...

И онъ нагнулся, приподнялъ желѣзный поворозокъ кандаловъ и поцѣловалъ его...

— А ржавѣть, друже, началъ; да и не диво: скоро пять годковъ объявшись спимъ... Да что ты, желѣзцо милое! — и душа моя ржавѣть стала и сердце, сдается, проржавѣло... О-о-хо-хо!

Онъ взялъ въ переднемъ углу своей мрачной кельи книгу и вынулъ изъ нея тетрадку...

— А семь-косъ поговорю еще самъ съ собою... Прочту маленько, что я написалъ нонѣ въ своей душевной грамоткѣ...

И онъ развернулъ тетрадку, поднесъ ее къ свѣтлой полосѣ противъ оконца, покачалъ надъ ней головой, говоря — „по смерти моей прочтутъ дѣтки“, — сѣлъ на землю и приготовился читать.

— Отъ сихъ мѣстъ... протопопа Аввакума чтеніе...

Онъ улыбнулся и снова покачалъ головой...

— Въ тѣ же поры, — началъ онъ медленно, — и сыновъ моихъ родныхъ двоихъ, Ивана и Проконія, велѣно же повѣсить; да они бѣдные оплошали и не догадались вѣнцовъ побѣдныхъ ухватити: испугався смерти, повинились, такъ ихъ и съ матерію троихъ въ землю живыхъ закопали. Вотъ вамъ и безъ смерти-тѣ смерть! Кайтесь, сидя, дондеже діаволь иное что умыслить. Страшна смерть, не дивно! Нѣкогда и другъ ближній Петръ отрекся и, испедеъ вонъ, плакася горько, и слезъ ради прощенъ бысть. А на робятъ и дивить нечего: моего ради согрѣшенія поущено имъ изнеможеніе. Да уже добро! быть тому такъ. Силенъ Христосъ всѣхъ насъ спасти и помиловать... Охъ, дѣтки, дѣтки!

Онъ остановился; по лицу его текли слезы и стучали, разбиваясь брызгами о тетрадку...

— Не вижу-су—слезы застилають... Эки хляби-тѣ слезныи!.. Плачь, плачь, душе моя! Охъ!.. плачь: слезы пуще мыла моють душу грѣшную...

Выплакавшись, онъ перекрестился и продолжалъ чтеніе.

— По семъ той же полуголова Иванъ Елагинъ былъ и у насъ въ Пустозерѣ, прїѣхавъ съ Мезени, и взялъ у насъ сказку, сице рѣчено: годъ и мѣсяць, и паки: „мы святыхъ отецъ преданія держимъ неотмѣнно, а палестинскаго патріарха съ товарищи еретическое соборище проклинаемъ“, и пное тамъ говорено многонько, и Никону, заводчику ересемъ, досталось небольшое мѣсто. По семъ привели насъ къ плахѣ и, прочеть, назадъ меня отвели, не казня, въ темницу. Чли въ законѣ: „Аввакума посадить въ землю въ срубѣ и давать ему воды и хлѣба“. И я супротивъ того плюнулъ и умереть хотѣлъ не ядше, и не ѣлъ дней съ осмь и больше.

Онъ остановился и что-то наблюдалъ, тихонько позвякивая кольцомъ отъ кандаловъ...

— Ишь ты, лядинъ сынъ, — заговорилъ онъ, поднимая глаза кверху, на просвѣтъ:—а! любишь, дурачокъ, всякую мусикію... На-на — слушай, нѣмецъ ты этакій!

Это онъ говорилъ къ пауку, который на тонкой нити своей спускался съ потолка темницы на просвѣтъ. Сидя пятый годъ въ одиночномъ заключеніи и боясь разучиться говорить, забыть свой собственный голосъ, Аввакумъ постоянно разговаривалъ самъ съ собою или обращалъ рѣчь къ воробью, прилетавшему къ нему на оконце, къ воронѣ, каркавшей на крестѣ, къ пріученному и прикормленному имъ мышенку и даже къ пауку, котораго привычки онъ изучилъ въ совершенствѣ...

— А? любишь мусикію, шельмецъ!.. Тоже союзникъ мой, паучокъ, только мушекъ ловить гораздъ, что твой Павелъ краснощекой, митрополитъ крутицкой. Да добро!

За дверью темницы кто-то тяжело вздохнулъ, словно застоналъ.

— А, Кириллушко, тюремщикъ мой, по дѣткамъ да по женѣ тоскуеть... тоже невольный человекъ.

Стонъ повторился. Аввакумъ горько махнулъ рукой и опять нагнулся къ тетрадкѣ.

— По семъ Лазаря священника взяли, — продолжалось тихое чтеніе, — и языкъ весь вырѣзали изъ горла. Мало пошло крови, да и перестала. Онъ же и паки говоритъ безъ языка. Таже, положи правую руку на плаху, по запястья отсѣкли, и рука отсѣченная, на земли лежа, сложила сама персты по преданію и долго лежала такъ предъ народы, — исповѣдала, бѣдная, и по смерти знаменіе Спасителяво неизмѣнно. Миѣ-су и самому сіе чудно! — бездушная одушевленныхъ облчаетъ. Я на третій день у него во ртѣ рукою моею щупалъ и гладилъ: гладко все, безъ языка, и не болить. Даль Богъ по временнѣ часѣ исцѣлѣло. На Москвѣ у него рѣзали — тогда осталось языка малость, а нонѣ весь безъ остатку рѣзанъ. А гово-

рилъ два года чисто, яко и съ языкомъ. Егда исполнилися два года—  
иное чудо: въ три дня у него языкъ выросъ совершенной, лишь маленько  
тупенекъ, паки и говорить безпрестанно, хваля Бога и отступниковъ  
поричая.

За темничной дверью что-то звякнуло и словно собака зарычала. Ав-  
вакумъ прислушался...

— Ноги песь? Откуда бы собакъ быть?

За дверью снова тихо. Гдѣ-то, должно быть на насыпи или на крестѣ,  
чирикали воробьи. Мышеноекъ усердно грызъ свой сухарь.

— Охъ, могилка, могилка моя тихая! — вздохнулъ узникъ, и опять  
началъ читать.

— По семь взяли священника пустытника, инока схимника, Епифанія  
старца, и языкъ вырѣзали весь же. У руки отсѣкли четыре перста. И  
сперва говорилъ гугливо: по семь молилъ Пречистую Богоматерь, и пока-  
заны ему оба языка—московскій, что на Москвѣ рѣзали, и здѣшній, на  
воздухѣ. Онъ же, однитъ взявъ, положилъ въ ротъ свой, и съ тѣхъ мѣстъ  
сталъ говорить чисто и ясно, а языкъ совершенъ обрѣтесе во ртѣ. Дивна  
дѣла Господня и неизреченны судьбы Владыки! И казнить попускаеть, и  
паки цѣлить и милуетъ! Да что много говорить! Богъ старый чудотворецъ,  
отъ небытія въ бытіе приводитъ, вовсе вѣдь въ день послѣдній всю плоть  
человѣчу въ мгновеніи ока воскресить. Да кто о томъ разсудити можетъ?  
Богъ бо то есть: новое творить и старое поновляетъ. Слава Ему о всемъ.

Аввакумъ широко размахнулъ рукою, перекрестился и поклонился въ  
землю.

— По семь взяли діакона Θεодора,—продолжалъ онъ:—языкъ вырѣ-  
зали весь же, оставили кусочекъ небольшой во ртѣ, въ горлѣ накомъ рѣ-  
занъ. Тогда на той мѣрѣ и зажилъ, и послѣ и опять со старой выросъ,  
изъ-за губы выходитъ, притупъ маленько. У него же отсѣкли руку попе-  
рекъ ладони, и все далъ Богъ стало здорово, и говорить ясно и чисто  
противъ прежняго. Таже осыпали насъ землею, срубъ въ землѣ, и паки  
около земли другой срубъ, и паки около всѣхъ общая ограда за четырьмя  
замками; стражіе же предъ дверьми стражаху темницы. Мы же здѣсь и  
вездѣ, сидящій въ темницахъ, послѣ предъ Владыкою Христомъ, Сыномъ  
Божіимъ, пѣснями, ихъ же Соломонъ воспѣ, зря на матеръ Вирсавію...

И Аввакумъ, поднявъ голову и руки, словно въ алтарѣ предъ жерт-  
венникомъ, запѣлъ старческимъ, дрожащимъ голосомъ:

— Се еси добра, прекрасная моя! Се еси добра, любимая моя! Очи  
твоя горять яко пламень огня! Зубы твои бѣлы паче млека! Зракъ лица  
твоего паче солнечныхъ лучъ и вся въ красотѣ сіяешь, яко день въ  
силѣ своей...

Вдругъ быстро заскрипѣлъ засовъ тюремной двери. Кто-то страшно  
зарычалъ—не то звѣрь, не то человѣкъ. Дверь съ шумомъ распахнулась...  
На порогѣ стояло что-то страшное... Аввакумъ испуганно попытался на-  
задъ, осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ...

VI.

Бѣсноватый стрѣлецъ.

То, что стояло на порогѣ темницы, дѣйствительно, могло поразить ужасомъ всякаго, даже Аввакума, который, кажется, ничего еще не боялся въ жизни, а, напротивъ, искалъ ужасовъ и смерти самой мучительной.

На порогѣ стоялъ человѣкъ-не-человѣкъ, съ выраженіемъ на искаженномъ лицѣ такого безумія, которое, казалось, согнало съ этого лица все человѣческое. Сбившіяся въ войлокъ, беспорядочныя пасмы волосъ падали на лобъ и на виски, и изъ-за этихъ прядей безуміемъ и бѣшенствомъ горѣли глубоко запавшіе глаза. Искаженное лицо было блѣдно-зеленоватаго цвѣта съ налетомъ загара и пыли. Изъ-подъ усовъ бѣѣлись широкіе зубы и щелкали, какъ у грызущейся собаки. Онъ и рычалъ по-собачьи...

— Кириллушко! что съ тобой?—едва опомнился Аввакумъ.

— Гамъ! гамъ! гамъ!.. гррръ!—залаялъ и зарычалъ бѣшенный человѣкъ, подступая къ Аввакуму тихими шагами, понутивъ голову.

— Господи Ісусе! Господи Ісусе!—бормоталъ, крестясь, Аввакумъ. — Кириллушко!

— Я Полканъ, не Кириллушко! гамъ-гамъ-гамъ! — залаялъ вновь бѣшенный.

Аввакумъ торопливо схватилъ лежавшее въ переднемъ углу распятіе и замахалъ имъ передъ собою.

— Святъ-святъ-святъ Господь Саваоѣ! Изыди, душе лукавы! Именемъ распятаго запрещаю ти!

Бѣшенный попытался отъ креста. Аввакумъ продолжалъ его крестить.

— Перекстись, рабъ Божій Кириллъ!—закричалъ онъ.

Бѣсноватый замоталъ головой.

— Крестись, Кириллушко!—наставялъ Аввакумъ.

— Я Полкашка-песь... Я человѣчью кровь лизалъ, человѣчину ѣлъ... у черкасъ еще лизалъ кровь,—бормоталъ безумный.

— Опамятуйся! Ты бредишь...

— Хохлы убили етмана Ивашку Брюховецкова... ребра перебиты... торчатъ съ-подъ рубахи... глазъ выскочилъ... на ниточкѣ висить... кровь... кровь... а я лижу кровь... а етманша волосы на себѣ рветъ... У! косищи какія! Пасмами рветъ... А я лаю на нее... Въ Чигиринъ повезли ее... „Московка! московка!“ кричатъ ребятишки... а я на нихъ лаю — гамъ-гамъ-гамъ!.. И въ меня камнемъ бросали... „москаль!“ кричатъ... Трава высокая... высокая, а на ей кровь... и въ Дѣвѣръ кровь... и Петрушко Дорошонокъ весь въ крови!..

Аввакумъ приблизился къ несчастному и, продолжая держать передъ нимъ крестъ, щепталъ участливо:

— Господь съ тобой, Кириллушко! перекрестись, прогони бѣса, одержавшаго тя...

Безумный смотрѣлъ растерянно, озираясь по сторонамъ...

— А у Никона голова трясется... земля ево, проклятово, не держитъ...

— Вопстину проклятъ есть,—подтверждалъ Аввакумъ.

— А опа, баба черная, черница, какъ заголосить: „Мяклтушка!“—а я и на нее лаялъ, и на Никонку...

Несчастный весь дрожалъ и едва держался на ногахъ.

— Присядь, сынокъ, присядь, Кириллушка,—успокоивалъ его Аввакумъ.

— Хрясть!.. руку отсѣкли... хрясть!.. ноги упали съ плахи... А онъ, Стенька, какъ глянетъ на меня... глаза воловьи... Гуп!.. и глаза закрылись—и голова объ помость бу-бухъ!

— Господи!—шепталъ Аввакумъ, крестясь:—спаси насъ!..

— Голову взоткнули на коль... не глядитъ ужъ... не видитъ мсяя...

Нутры бросили наземь... Я нутры ево ѣлъ... „Ѣшь ево, ѣшь ево!“ говорить: „возьми, Полкашка!“ И я зубами вотъ такъ рвалъ...

И безумный показалъ, какъ онъ будто-бы зубами рвалъ внутренности казеннаго Стеньки.

— Владыко! онъ совсѣмъ обезумѣлъ, мпленкой...

— У Лазаря попа языкъ отрѣзали...

— Отрѣзали, отрѣзали, миленькой.

— Языкъ махонькой... бросили наземь... а я его хамъ-хамъ: съѣлъ...

Аввакумъ испуганно перекрестился. Безумный продолжалъ бормотать:

— Срубъ высокій—и на срубѣ Исай стоитъ, крестится... Поломя на него пышетъ, а онъ руку къ нему—два пальца... не видать за дымомъ... Говядиной жареной запахло...

— Охъ, Господи! охъ, милостивый!—стоналъ Аввакумъ.

— И послали насъ въ Пустозерье... Жена и дѣтки бѣгутъ сзади, плачуть... и я заплакалъ, песъ заплакалъ, гляючи на махонькихъ дѣтокъ... А онъ ручки поднимаютъ—„не уходи, батя“—и тотъ ручками тянется, что у жены на рукахъ... О-о! и какъ мнѣ нойтить?—я стрѣлецъ... О-о!

И несчастный, обхвативъ голову руками, глухо рыдалъ...

— Охъ, миленькой, миленькой!—плакалъ и Аввакумъ, усаживая больного на солому:—да эдакъ не диви, что съ ума сойдешь; вся Русь бѣдная обѣнуется при страстяхъ-тѣ, да гоненіяхъ экихъ... Господи! не погуби землю православную!..

Больной продолжалъ плакать, качаясь изъ стороны въ сторону.

— Наташа... Наташечка... Наталенка моя! —повторялъ онъ чье-то имя.

— Поплачь, поплачь, родной!—успокоивалъ его Аввакумъ:—слезами-тѣ горе истечетъ малость... Плачь, слезы-тѣ росой-темьяномъ поднимаются ко Господу...

— Ай, батюшки! гдѣ Кирилко? Не истерялъ бы себя,—слышались тревожные голоса за дверью темницы.

— Ох-те намъ! Совсѣмъ ряхнулся малый...

— Да ояъ, поди, туточка—у Аввакума... дверь-ту отворена...

Въ дверяхъ показались стрѣльцы, сторожившіе пустозерскую тюрьму.

— Потише-потише, Бога-для, робятки!—предупреждалъ ихъ Аввакумъ, показывая на больного.—Не испужайте его, миленькіе.

Стрѣльцы осторожно вошли въ подземелье и испуганно искали въ темнотѣ товарища.

— Гдѣ онъ? что съ нимъ?—шептали они.

— Тутотка—вонъ... бьетъ его...

— Ой-ли! Кто бьетъ?

— Ноли не видите?

Стрѣльцы испуганно топтались на мѣстѣ, боясь отойти отъ двери. Больной лежалъ на соломѣ и бился, какъ въ злѣйшей лихорадкѣ.

— Али безпайтой въ емъ?—тихо спросилъ одинъ стрѣлецъ.

— Какой безпайтой?

— А что пятокъ-ту нѣту...

— Рогатой?

— Ояъ... фу ево! Наше мѣсто свято!

— Не даромъ онъ по Москвѣ тосковалъ, про дѣтокъ, да про жену вспоминалъ...

— Не отъ тово ему—не съ кручины... На кручину онъ нейдетъ.

— А съ чево-жъ ему?

— Може выпилъ ево... безъ креста пилъ... ротъ не перекрестилъ...

Вотъ съ чего!

— Съ водой, чу, выпилъ? Ноли онъ съ муху?

— И поменѣ живетъ. Въ игольно-чу ушко, въ проранъ махонькой входить.

— Ай-ай-ай! помилуй Никола угодникъ!

Когда стрѣльцы шептались, съ боязнью поглядывая на корчи больного, Аввакумъ стоялъ на колѣняхъ и молился, усиленно бормоча какія-то молитвы и отплеываясь.

— Отчитывать старикъ.

— Старикъ дока на это: что ни-на-есть отчитаетъ.

— О! на это онъ дюжой!

— Одно слово—старикъ книжной: на коврѣ-самолетѣ отъ насъ улетитъ, захочетъ—въ шапкѣ-невидимкѣ изъ подъ замковъ уйдетъ.

— Такъ-такъ... и лови потомъ... а мы-жъ въ отвѣтѣ будемъ...

Аввакумъ всталъ съ колѣнъ, досталъ изъ угла небольшую кружку, вынулъ изъ-за образа кропило изъ пучка травы и приблизился къ больному. Тотъ лежалъ навзничъ, закрывъ глаза; казалось, онъ впалъ въ безпамятство.

Взявъ въ одну руку крестъ, а кропило обмакнувъ въ кружку, Аввакумъ нагнулся къ больному и произнесъ, медленно и торжественно тряся бородой:

— Азъ ти о имени Господни повелѣваю, душе нѣмый и глухій изыди



отъ созданія сего и къ тому не вниде въ него, но иди на мѣсто пусто, и дѣже человекъ не живетъ, но токмо Богъ прозираеть...

Стрѣльцы попятились къ двери и съ ужасомъ глядѣли, что будетъ.

— Изыди отъ созданія сего, бѣсъ лукавый, изыди!

Больной лежалъ не шевелясь. Грудь его тяжело дышала.

— Именемъ Господнимъ—изыди!—крикнулъ въ третій разъ Аввакумъ и брызнулъ въ лицо больного кропиломъ.

Послѣдній съ крикомъ вскочилъ съ соломы...

Стрѣльцы въ ужасѣ бѣжали изъ подземелья...

Нѣсколько недѣль провалялся больной между жизнью и смерью; Аввакумъ не отходилъ отъ него, да и отойти было некуда: тюрьма оставалась тюрьмой, а мѣсто больного тюремщика заступилъ другой, такой же нѣмой исполнитель чужой воли, какъ и тотъ, что теперь лежалъ въ тяжкомъ недугѣ.

Физическій, а въ особенности нравственный недугъ больного, по понятіямъ того времени, приписанъ былъ, конечно, бѣсу. Чему же иному! Какъ, съ одной стороны, вездѣ и во всемъ—Богъ, такъ—съ другой—во всемъ виноватъ бѣсъ. Что въ наше время приписали бы меланхоліи, тоскѣ по родинѣ или просто нервамъ, то въ доброе старое время исключительно относили къ бѣсу: „той бѣ искони врагъ роду человѣческому“, старый завистникъ, подстрекатель и соблазнитель. Зѣвнулъ человекъ, не перекрестилъ рта—бѣсъ ужъ и вскочилъ въ ротъ, а оттуда въ брюхо. Рыгнулъ человекъ и не перекрестился—опять бѣсъ тутъ какъ тутъ. Въ ухѣ зазвенѣло—это бѣсъ хочетъ дурно человекъ учинить черезъ ухо: ну—и крести его, безпятаго, гони знаменіемъ Распятаго, что твоей метлой... Увидалъ въ тонцѣ свѣѣ бабу лѣповидну, либо плясавицу—это ужъ вѣрно, что бѣсъ Фармагей хочетъ пакость велию сотворити... Куда ни кинь—вездѣ бѣсъ!

Такъ и Кирилушко-стрѣлецъ, тюремщикъ Аввакумовъ, былъ тоже бѣсомъ одержимъ: это черезъ Кириллушку бѣсъ хотѣлъ пакость учинить самому отцу Аввакуму. Но не на таковского наскочилъ! Аввакумъ хорошо зналъ всѣ бѣсовскія уловки—и чортъ остался посрамленъ гораздо.

— Я и не съ такими бѣсами, далъ Богъ, расправу чинилъ,—говорилъ Аввакумъ другому стрѣльцу-тюремщику приставленному къ нему вмѣсто Кириллы и принесшему ему утромъ положенное: хлѣбъ и воду.— Былъ у меня на Москвѣ бѣшенный—Филиппомъ звали; какъ я изъ Сибири пріѣхалъ, въ избѣ въ углу прикованъ былъ къ стѣнѣ, понеже въ немъ бѣсъ былъ суровъ и жестокъ—гораздо бился и дрался, и не могли съ нимъ домочадцы ладить. Егда же азъ грѣшный со крестомъ и съ водою прійду, повиненъ бывалъ и яко мертвъ падалъ, предъ крестомъ Христовымъ и ничего не смѣлъ надо мною дѣлать, и молитвами святыхъ отецъ сила Божія отогнала отъ него бѣса, но токмо умъ несовершенъ былъ.

— Ишь оно — ах ты! — удивлялся стрѣлецъ и даже растопырилъ руки.— А и больно дрался бѣсъ-отъ?

— Гдѣ не больно!

— Ай, ай! Чѣмъ же онъ билъ, окаянный?

— А вотъ чѣмъ—слушай съ молитвою.

Стрѣлецъ набожно перекрестился и даже ротъ разинулъ, отъ излишняго усердія.

— Никола... Ягорій... Матушка Пердотеча,—шепталъ стрѣлецъ.

— Однова,—началь Аввакумъ,—пришелъ я отъ Федора Ртищева зѣло печаленъ, понеже въ дому у него съ еретиками шумѣлъ много о вѣрѣ и законѣ; а въ моемъ дому въ то время учинилося неустройство: протопопца моя со вдовою домочадцею Фетиньею между собою побранились—дьяволъ ссорилъ ихъ ни за что.

— Это у бабъ—плевое дѣло: заразъ за косы,—пояснилъ стрѣлецъ.

— Ну... Такъ я, пришедъ, билъ ихъ обѣихъ и оскорбилъ, гораздо опечалилъ—согрѣшилъ предъ Богомъ и предъ ими.

— Это за что-жь? Бабу учить Богъ велѣлъ,—успокоивалъ стрѣлецъ.

— А ты слушай, дурачокъ,—осадилъ его Аввакумъ.

— Слушаю-ста, прости.

— Ну, бѣсъ и вздвѣячился въ Филиппѣ: и началъ чѣпъ ломать, бѣсаясь, и кричать неудобно, и на всѣхъ домашнихъ нападе ужась, и зѣло голка бысть велика. Азъ же безъ исправленія, безъ молитвы, приступилъ къ нему, хотѣлъ его укротить; но не бысть попрежнему: ухватилъ меня бѣсъ и учалъ бить и драть, и всяко меня, яко паучину, терзаетъ, а самъ говоритъ: „попалъ ты мнѣ въ руки!“ Я только молитву говорю—да безъ дѣлъ молитва не дѣйствуетъ. Домашніе не могутъ отнять, а я и самъ ему отдался—вижу, согрѣшилъ: пускай меня бьетъ! Но чуденъ Господь: бьетъ—и ничто не болитъ!

— Ай—ай!

— Потомъ бросилъ меня отъ себя, и самъ говоритъ: „не боюсь я тебя“... Мнѣ въ тѣ поры горько стало: „бѣсъ,—реку,—надо мною волю взялъ“... Полежалъ я маленько, съ совѣстію собрался... Возставъ же, жену свою сыскалъ и предъ нею сталъ прощаться со слезами, а самъ ей, въ землю кланяясь, говорю: „согрѣшилъ, Настасья Марковна! Прости меня грѣшнаго!“

— Ну, это лишнее; бабу добру училъ...

— Ну, и она мнѣ также кланяется. По семь и съ Фетиньей тѣмъ же образомъ простился, да легъ среди горницы и велѣлъ всякому человѣку бить себя плетью по пяти ударовъ по окаянной спинѣ...

— Ай, Ягорій... Пердотеча! Н-ну!—дивился стрѣлецъ.

— Человѣкъ двадцать было въ горницѣ... Ну, и жена, и дѣти, и всѣ, плачучи, стегали меня. А я говорю: „аще кто бить меня не станетъ, да не имать со мною части въ царствіи небеснѣмъ“... И они, нехотя, бьютъ и плачутъ, и я ко всякому удару по молитвѣ. Егда же всѣ отбили, и я,

возставши, сотворилъ предъ ними прощеніе. Вѣсть же видѣвъ неминуемую бѣду, опять вышелъ вонъ изъ Филиппа, и я съ крестомъ его благословилъ... И онъ, попрежнему, хорошъ сталъ...

Больной, который лежалъ на соломѣ съ закрытыми глазами, тяжело вздохнулъ и открылъ глаза. Онъ былъ страшнѣе мертвца. Глаза смотрѣли нѣсколько болѣе осмысленно, чѣмъ прежде.

— Гдѣ я, братцы?—тихо спросилъ онъ, взглянувъ на стрѣльца.

Стрѣлецъ быстро перекрестился и торопливо, съ испугомъ, кинулся изъ подземелья.

— У меня миленькой,—ласково отвѣчалъ Аввакумъ, подходя къ больному и осѣняя его крестнымъ знаменіемъ.—Легче тебѣ?

— Легко... я выспался... въ Москвѣ у жены былъ...

— Господь съ тобой, Кириллушко, это въ соніи было... А перекрестись истоиво.

Больной перекрестился.

— Ну, добро — Богъ тебя спасъ, — радостно сказалъ Аввакумъ: — скоро Владыка и на ноги тебя поставитъ...

Но это Аввакуму только казалось такъ. Правда, больной началъ понемногу вставать, иногда просилъ ѣсть; но такъ какъ онъ иногда просилъ „безъ правила“, то-есть безъ молитвы, то Аввакумъ не давалъ ему ничего, и, подозрѣвая, что это все еще шутки бѣса — просить ѣсть „безъ правила“, — по цѣлымъ часамъ морилъ несчастнаго на молитвахъ, на стояніяхъ и совсѣмъ измучилъ его. Когда же больной, утомленный стояніемъ, падалъ въ изнеможеніи, то Аввакумъ, подозрѣвая опять-таки, что все это „дѣволъ сонъ ему наводитъ“, безжалостно „стегалъ“ несчастнаго своими массивными каменными четками, будучи вполнѣ увѣренъ, что „стегаетъ“ самого бѣса, а не изможденное тѣло страдальца.

„Егда бывало стряпаю,—откровенно признается въ своемъ „Житіи“, ослѣпленный своею мрачною вѣрою старикъ, — въ то время онъ, Кириллушко, ясть просить и украсть тщится до времени обѣда, а егда предъ обѣдомъ *Отче нашъ* проговорю и благословлю, такъ того брашна и не ясть, просить неблагословеннаго — и я ему силою въ ротъ напихаю, а онъ и плача глотаетъ“...

„Онъ же преставился, миленькой, скоро“...

Еще бы!.. Зато передъ смертью „отрадило ему отъ бѣса“... Какъ не „отрадить“!..

И вотъ онъ лежитъ на соломѣ, холодный, околѣблѣный... Солнце черезъ тюремное оконце бросило на мертвое лицо послѣдніе лучи... Не закрышійся правый глазъ изъ-подъ длинныхъ рѣсницъ косится на молящагося передъ распятіемъ Аввакума, и синія раскрытыя губы словно бы шепчуть подъ русыми усами: „ахъ, что я тебѣ сдѣлалъ? За что ты четками стегалъ меня, безумный старикъ?“..

На окнѣ, какъ и прежде, чиркалъ воробей, ища крошекъ...

Мышеночъ, выюркнувъ изъ-подъ соломы, на которой лежалъ мертвецъ,

грызь сухарь, недоѣденный мертвымъ... А на Москвѣ жена и дѣти покойника просятъ Морозову написать въ Пустозерье грамотку къ пхъ Кириллушкѣ... Въ углу такъ жалобно жужжитъ пойманная паукомъ муха... Бѣдная муха... Бѣдные люди!..

„Лежалъ у меня мертвый сутки, и я, ночью вставъ, помоля Бога, благословя его мертвого и съ нимъ поцѣловався, опять подлѣ его спать лягу (говорить Аввакумъ въ „Житіи“): товарищ мой миленкой былъ. Слава Богу о семъ! Ныгѣ онъ, а завтра я такъ же умру!“ \*).

## VII.

### Никонъ въ Терапонтовѣ.

Сѣверное, необыкновенно прозрачное лѣтнее утро только что начинается. Розовая заря давно уже залила блѣднымъ пурпуромъ весь восточный и сѣверо-восточный край неба, и изъ-за продолговатаго, всего окрашеннаго зарею облачка вотъ-вотъ брызнуть первые лучи солнца. На зеркальной поверхности Бѣлаго озера отразились и эта розовая заря, и это окрашенное ею продолговатое облачко.

Въ одномъ изъ оконъ „патріаршихъ келій“ Терапонтова монастыря видѣется большая голова съ сѣдою бородою и, повидимому, задумчиво созерцаетъ разстилающуюся передъ ея глазами картину — розовый востокъ съ блѣдно-пурпуровымъ облачкомъ, сладкую, тоже розоватую поверхность Бѣлаго озера, кое-гдѣ какъ бы дымящуюся утреннимъ паромъ, большекрылую и бѣлогрудую птицу, летающую надъ озеромъ и ударяющую иногда красными ножками объ его зеркальную поверхность... Тамъ, гдѣ птица касается воды, поверхность озера искрится, словно бы на нее разсыпали жемчугъ... Ласточки, точно черненькія мушки, со своими игольчатыми крыльшками, и юркіе, пискливые стрижи, словно пули, рѣжутъ утренній воздухъ по всѣмъ направлениямъ. Голуби, проголодавшіеся за ночь, усердно снуютъ отъ надоконныхъ наличниковъ и карнизовъ монастырскихъ зданій то къ водѣ, то къ сѣновальнямъ и конюшнямъ, около которыхъ всегда имѣется зерно и всякая бросовая снѣдь. Неугомонные воробьи взапуски, точно на заказъ, стараются перетрещать одинъ другого, гоняясь за мухой и за всякой живой мелочью. У праваго приглубаго берега, надъ остроконечными темными елями носятся вороны, оглашая воздухъ неистовымъ карканьемъ изъ-за выѣденнаго яйца, брошеннаго на навозъ монастырскимъ поваркомъ Ларкою.

Голова съ сѣдою бородою смотритъ изъ окна на все это и трясется на плечахъ, какъ бы говоря: „нѣтъ, нѣтъ, не надо, не надо этого... изъ-за чего они мечутся!.. нѣтъ, не надо...“

На востокъ изъ-за розоваго облачка брызжутъ золотые лучи, отражаясь и на летающей птицѣ, и на сѣдой бородѣ стоящаго у окна и трясеніемъ

\*) Все это—не измышленія автора, а взято изъ „Житія“ Аввакума.

головы какъ бы отрицающаго все, что онъ видитъ и слышитъ: „нѣтъ, нѣтъ, не надо, не надо...“

Изъ-за угла „патріаршихъ келій“ показывается согбенная фигура высокаго чернеца, который, поровнявшись съ стоящимъ у окна, низко кланяется, а стоящій у окна грозитъ ему суковатой палкой и судорожно шепчетъ: „кирилловскій лодыжникъ...“

Свѣтъ все ярче и ярче заливааетъ картину, открывающуюся глазамъ стоящаго у окна; а онъ, повидимому, все больше и больше сердится и сердится и все упрямѣе трясетъ головой...

— Забыли... всѣ забыли патріарха Никона... патріарха божіею милостію, — шепчетъ онъ угрюмо, отвѣрчиваясь отъ окошка. — Такъ я же васъ!..

И онъ съ сердцемъ стучитъ клюкой объ полъ...

Въ просторной кельѣ, уставленной въ переднемъ углу иконами и обнесенной по стѣнамъ широкими лавками, на деревянномъ со скатертью столѣ двѣ горящія свѣчи какъ-то странно мигаютъ, блѣднѣя передъ льющимся въ окна утреннимъ свѣтомъ...

— Я васъ, темники и баскаки!—еще шибче стучитъ старикъ клюкой, подходя къ столу.

Дверь тихо отворяется и на порогѣ кельи показывается испуганное, заспанное лицо молодого служки съ голымъ подбородкомъ. Вошедшій низко кланяется...

— Тебѣ чево?—озадачиваетъ его старикъ.

— Звать изволилъ, святѣйшій патріархъ? — робко вопрошаетъ вошедшій.

— Кто тебя звалъ? Пошелъ вонъ?—сердится старикъ, стуча клюкой.

Служка лукаво улыбается глазами и исчезаетъ за дверью.

— Ишь, темники! Чертей напустили—спать не даютъ... Вотъ я царю обо всемъ повѣствую. Увидите у меня!—ворчитъ старикъ, и, подойдя къ столу, беретъ исписанный листъ.—Вотъ тутъ написано...

Онъ надѣваетъ очки и, подставивъ бумагу подъ свѣтъ, сначала про себя шевелитъ губами и бородой, а потомъ сердито читаетъ вслухъ:

„Иже живъ сый привѣщенный съ нисходящими въ ровъ, сѣдѣй во тьмѣ и сѣни смертней (онъ покосился на окна и на врывавшійся въ нихъ свѣтъ утра), окованъ нищетою паче желѣзъ, богомолецъ твой, великаго государя, худый и смиренный нищей Никонишко, милостію божіею коростовый патріаршишко. Не вели, государь, кирилловскому архимариту съ братьею въ мою кельишку чертей напускать. Дворецкій Кириллова монастыря говорилъ про меня: „Что онъ съ Кирилловымъ монастыремъ заѣдается? Кому онъ хоромы строить? Чертямъ, что ли, въ нихъ жить?“ И вотъ вечеръ же, государь, птица, невѣдомо откуда взявшись, яко вранъ, черна, пролетѣла сквозь келью во всѣ двери и исчезла невѣдомо куда, и во всю ночь демоны не дали мнѣ уснуть, одѣялишко съ меня дважды сволочили долой и бѣды всякія неподобныя многія творили, да и по многіе

дни великія бѣды бѣсы творили, являясь овогда служками кирилловскими, овогда старцами, грозясь всякими злобами и въ окна теперѣ пакостятъ, овогда звѣрми страшными являются грозясь, овогда птицами нечистыми...“

Онъ остановился и сердито посмотрѣлъ на окна.

— Я вамъ докажу, темники!—бормоталъ онъ.—А то на! червиль и бумаги не давать Никону... То-то!

И онъ снова глянулъ въ свою бумагу.

...„Да они же, государь, кирилловскіе монахи, говорили моимъ ееропонтовскимъ старцамъ: „кушаетъ-де вашъ батька насъ“. И я, государь, благодатию божіею не человѣкоядецъ...“

При послѣднемъ словѣ онъ, казалось, что-то вспомнилъ и, потушивъ свѣчи, подошелъ къ стоявшему въ правомъ углу аналою, взявъ лежавшія на немъ четки, надѣлъ клубукъ и пошелъ къ дверямъ, шурша ногами, обутыми въ плисовые на мѣху изъ бѣлки сапоги, подбитые мягкой кожей.

Въ сѣнцахъ повстрѣчался тотъ же съ голымъ подбородкомъ служка и подошелъ подъ благословеніе. Старикъ мотнулъ въ воздухѣ ладонью и какъ-то сердито ткнулъ въ губы служкѣ.

На крыльцѣ онъ остановился и прищурился. На дворѣ начиналась дневная суета. То тамъ, то здѣсь показывалась черная скуфья или клубукъ, и, увидавъ старика, торопливо проходили, потушивъ головы, или низко кланялись. Съ коровьего двора слышалось, какъ тамъ усердно доили коровъ, и часто слышались возгласы: „стой, стой, буренка!“ или мычанье коровъ и голодныхъ телятъ. На дровяникѣ стучалъ топоръ. Въ сосѣдней избѣ, сквозь открытыя окна, сердито гудѣла струна монастырскаго шерстобита. Два стрѣльца шли съ берега и расчесывали мокрые волосы роговыми гребенками. На заднемъ дворѣ ржалъ скачущій по матери жеребенокъ, а въ отвѣтъ ему слышалось: „тирусеньки-тируси...“

Все это, казалось, еще болѣе сердило старика... Да и не удивительно: то ли это, что на Москвѣ когда-то бывало, когда загудуть, бывало, разомъ всѣ сорокъ сороковъ, провозвѣщая славу Господу Вседержителю да святѣйшему патриарху Никону! Эко времячко - то было... И все прахомъ пошло...

На рѣшетчатыхъ переходахъ, ведущихъ въ старыя кельи, показался среднихъ лѣтъ мужчина въ мірской одежѣ—въ голубомъ легкомъ камзолѣ, сафьянныхъ сапогахъ со скрипомъ и въ пуховой шляпѣ. Небольшая борода на полномъ скуластомъ лицѣ, черные съ узкимъ разрѣзомъ глаза и стоячія уши отдавали татарковатостью. Пришедшій издали снялъ шляпу и почтительно подошелъ подъ благословеніе къ старика. Старикъ и у этого мотнулъ ладонью передъ носомъ и ткнулъ въ губы тылкою правой руки.

— Буди здравъ, святой отецъ,—сказалъ пришедшій.

— Спасибо, князь Самойло,—брюзгливо отвѣчалъ старикъ.

— Хорошо ли есте почиваль, святой отецъ?

— Како почиваль! все ночь не спалъ!—сердился старикъ.

— Ну, годы-то твои, святой отецъ, не маленьки: сонъ-ать и нейдетъ.

— Какі еще мои годы-ста!—пуще прежняго разсердился старикъ.—  
Аще въ силахъ — осьмдесятъ... а мнѣ и семидесяти-ту нѣтъ! А то ва!  
годы-ста!

Князь Самойло Шайсуповъ — онъ приставленъ былъ смотрѣть за Ни-  
ковымъ — незамѣтно улыбнулся своими узкими татарковатыми глазами и  
потунился.

— Черти мнѣ спать не давали — вотъ кто!—продолжалъ сердиться  
старикъ.

Приставъ поднялъ на него удивленные глаза.

— Кирилловскій архимаритишко съ своими иночишками ко мнѣ въ  
келью чертей напустилъ!

— Какъ чертей напустилъ, святой отецъ?—изумлялся Шайсуповъ.

— А такъ! Дворецкой ихъ говорилъ про меня: „кому онъ хоромы  
строить? Чертямъ, что ли, въ нихъ жить!“—Вотъ что—слышишь? Чертямъ  
жить!

— Такъ что-жъ изъ того, что дурень мелеть?

— То-то мелеть... А вечеръ, въ ночь, не вѣдаю какая птица, яко  
вранъ, черна, пролетѣла сквозь всѣ кельи и исчезла невѣдомо куда...

— Да то, можетъ, и была ворона.

— Толкуй, дурачокъ! Ворона въ келью не залетитъ.

— Такъ, надоть думать,—ластужка.

— Ласточки всѣ спали давно.

— А я тебѣ скажу, святой отецъ, кто это леталъ: нетопырь, мышь  
летуча...

Старикъ окончательно разсердился.

— Да что ты меня учишь! ученъ гораздо!.. А ты бѣ попробовалъ самъ  
уснуть въ моей кельѣ: нынѣ ночью демоны двожды съ меня одѣяло сво-  
лочили долой...

— Ай-ай? съ нами крестъ!—притворно изумлялся приставъ.

— Звѣрьми страшными скакали, старцы кирилловскіе, языки на меня  
извѣся, что псы лаяли...

— Ай-ай-ай! эки страхи!

— Я нынѣ о семъ великому государю отписаль... И Аввакумку про-  
топопа въ тонцѣ снѣ видѣлъ: у него на двухъ перстахъ бѣсикъ, бѣсъ  
маховной сидѣлъ и на сопѣли игралъ...

— Те-те-те... вонъ они дѣла-гѣ... Н-ну!

Изъ дровяника вышелъ молодой служка въ фартукѣ и съ вязанкою  
дровъ. Никонъ издали остановилъ его, замахавъ клюкою. Сложивъ дрова  
наземъ, служка торопливо подошолъ къ старику, тщательно вытирая руки  
о фартукъ и поправляя свою бѣлокурую, туго заплетенную косичку. По-  
дойдя подъ благословеніе, онъ добродушно глядѣлъ своими большими  
сѣрыми глазами и ожидалъ приказаній.

— Что поздно печь затопяешь? — попрежнему сердито спросилъ  
старикъ,

— Затопиль, — былъ короткій отвѣтъ.

— А что новѣ стряпать мнѣ будешь?

— Что поволишь.

— Ушицы мнѣ свари изъ стерлядокъ, да окуньковъ туда прикни, да ершиковъ, да налимяю печеночку приметни. Да чтобъ лучку и перчику въ пору — поболѣ вкни, да солцы не забудь... А?

— Добро-ста, — снова былъ короткій отвѣтъ.

Отвѣтъ этотъ такъ и вскипятилъ старика. Голова его затряслась еще болѣе, губы и борода задвигались, щеки покраснѣли, и клюка такъ и заходила въ рукѣ.

— Ты опять меня идоломъ зовешь! а! — закричалъ онъ съ старческой запальчивостью. — Я тебѣ приказывалъ не называть меня идоломъ... А!

Служка — это былъ Никоновъ поварокъ, Ларка, большой искусникъ стряпать, отряженный къ особѣ бывшего патріарха изъ Кирилловскаго монастыря — поварокъ безмолвно переминался на мѣстѣ и добродушно глядѣлъ то на сердящагося старика, то на недоумѣвающего пристава. Князь Шайсуновъ, дѣйствительно, даже ротъ разинулъ отъ изумленія... „какой идолъ? Кто его называлъ идоломъ?“...

— А! приказывалъ я тебѣ?.. приказывалъ? а? — горячился старикъ. — Говори: приказывалъ?

— Приказывалъ-ста.

— Такъ напредки не смѣй обзывать меня идоломъ: я христіанинъ...

Поварокъ молчитъ, а приставъ, уставившись въ землю, улыбается себѣ татарковатыми глазами. Старикъ начинаетъ понемногу успокоиваться.

— Ну, такъ уху свари мнѣ, да поядренѣе. Слышишь? а?

— Слышу-ста.

— Да биточекъ изъ пучки сколоти, съ лучкомъ же, да чтобъ безъ костей... да масла добраго орѣховаго, да подрумянь, да не пересуши... Понялъ? а?

— Понялъ-ста.

— Да на сковородѣ-тѣ и подай, чтобъ шипѣло... Слышишь?

— Слышу-ста — не въ первой.

— Да теши межукосной... Нѣтъ, теши не надоть... Осетринки доброй изжарь, да посочнѣе, чтобы мягко было что пухъ, и лимонцу ломтиками нарѣжь, ровенько... Да огурчиковъ въ укусу, да рыжиковъ подашь, клюковки тамъ моченой, яблочковъ въ патокѣ, а?

— Добро-ста.

И опять этотъ отвѣтъ, это несчастное „добро-ста“ взбѣленило старика. Онъ даже отшатнулся назадъ.

Въ это время по двору проходилъ тотъ высокій согбенный монахъ, который вляялся въ окно Никону, и которому этотъ послѣдній погрозилъ клюкой.

— Отецъ строитель, отецъ Исаія, подь сюда! — закричалъ ему Никонъ.

Длинный, сухой монахъ, съ строгими глазами и съ тонкою бородою



развилками, приблизился и подошелъ подь благословеніе. Никонъ повертѣлъ у него передь глазами рукою съ четками и еще болѣе напустился.

— Кто у васъ научилъ его называть меня идоломъ сидонскимъ? — ткнулъ онъ на Ларку.

— Идоломъ сидонскимъ?—изумился длинный монахъ.

— Да, Астартомъ, его же невѣгласи за бога почитали.

— Не вѣмъ, святой отецъ,—пожалъ плечами длинный монахъ.

— Какъ не вѣдаешь-ста! Новѣ ночью ко мнѣ въ келью чертей напустили, а этотъ меня Астартомъ, идоломъ сидонскимъ, сейчасъ дважды назвалъ. А!

Длинный монахъ не зналъ, что отвѣчать. Сѣрые, моргающіе глаза его быстро скользнули по глазамъ Шайсупова, и по лицу обоихъ пробѣжала мимолетная, лукавая улыбка.

— Ты слыхалъ, князь Самойло, какъ онъ называлъ меня Астартомъ?—обратился старикъ къ Шайсупову.—А? слыхалъ?

— Не знаю...

— Какъ не знаешь! Ты тутъ стоялъ...

— Стоять стоялъ, святой отецъ, да, кажись, не слыхалъ такова мудренова слова... Да я его, признаться, и не выговорю...

Всѣмъ было неловко. Несчастный поварокъ только хлопалъ своими невинными глазами.

— А Ларкѣ такое слово какъ выговорить, — не вѣмъ, — изумлялся иннокъ Исаія.

— То-то не вѣмъ!.. А онъ такъ и сказалъ: „добрь Астартъ“... А въ древнемъ писаніи идолъ былъ нѣкій, сидонскій, Астартъ, и которые его за бога почитали—приглашали: „добрь Астартъ“,—пояснялъ Никонъ все съ той же горячностью:—а я не идолъ, не Астартъ, а христіанинъ.

Исаія только пожалъ плечами, а Шайсуповъ кусалъ губы, чтобъ не засмѣяться.

— А ну-ко-сь, Ларивонъ, скажитко оное слово, — обратился онъ къ несчастному Ларкѣ.

Тотъ молчалъ.

— Сказывай, говорятъ тебѣ!

— Како слово?—спросилъ Ларка.

— Да что отецъ-агъ святой сказывалъ.

— Не знаю такова слова.

Шайсуповъ вскинулъ на Никона своими лукавыми глазами, которые казались совсѣмъ добрыми, простодушно-наивными.

— Прости его, Бога-для, святой отецъ,—заговорилъ онъ ласково:—прости на сей разъ ради завтрева, ради праздничка божія... Можетъ, онъ что и сказалъ своєю дуростію—такъ прости для Бога.

— Не вмѣни ему во грѣхъ, святой отецъ,—просилъ и Исаія:—можетъ, бѣсъ попуталъ.

— А поди самъ бѣсь-ать и словцо оное шепнулъ, а не Ларка,— вояснилъ Шайсуновъ.

— Я ему витимью за это наложу нарочитую,—прибавилъ Исаія.

— Ну, инъ быть по сему!—смягчился, наконецъ, старый упрямецъ.— Только смотри у меня—осетринку не перепарь... да чтобъ лучку и мерчику, и солцы въ мѣру...

— Добро-ста,—обрадовался Ларка, и даже мотнулъ головой.

Но не тутъ-то было! Никонъ даже привскочилъ своими больными ногами: его опять чѣмъ-то отшарили, и голова ходенемъ заходила...

— Слышите, слышите? Опять Астартъ,—кричалъ онъ и стучалъ клюкой.—Что жъ это будетъ? Я нонѣ же великому государю напишу. Я буду бить челомъ, чтобы великій государь велѣлъ розыскъ учинить надъ Кирилловымъ и Терапонтовымъ монастыремъ—откуда оное повелось, чтобъ въ святыхъ обители бѣсовъ напущать, да православныхъ христіанъ сидонскими идолами именовать... Великій государь велить сыскать...

Розыскъ—это было страшное въ то время слово: тогда „искали“ не глазами, не разспросами, а „пыткой“—плетями, кнutomъ, дыбой, да огнемъ... „Допросъ“, „испытаніе“, „пытка“—это одного корня слова: кнутъ да жаровня чинили допросъ...

И инокъ Исаія, и приставъ князь Шайсуновъ испугались угрозъ Никона... Онъ накличетъ на нихъ неминуемую бѣду: всѣ безъ вины будутъ виноваты... Надо чѣмъ-нибудь умилостивить разсвирѣпѣвшаго старика...

— Отецъ святой! смилуйся! вели смирить парня!—взмолился Исаія.

— Смири его какъ поволишь, и я стрѣльцовъ дамъ,—предлагалъ свои услуги приставъ, желая защищаться чужою спиною.

— Накажи его, отецъ святой, поучи.

— Поучи Бога-для... онъ перестанетъ дуровать.

А тотъ, кого совѣтовали „поучить“, „смирить“, попрежнему смотрѣлъ недоумѣвающе... „Блажь-де наша на старика... не впервой его клюкъ гулять по моей спинѣ. Что жъ!“

— Такъ велишь смирить, святой отецъ?—умолялъ Исаія.

— Что мнѣ смирать! Я старецъ смиренный... смиряйте вы, а я великому государю отпишу,—не унимался упрямецъ.

Приставъ и Исаія переглянулись.

— Что жъ, князь Самойло, вели давать плетей,—сказалъ послѣдній.

Шайсуновъ свиснулъ какъ Селовой-разбойникъ. На свистъ изъ-за угла стрѣлцкой избы вышли два стрѣльца.

— Плетей давай!—крикнулъ Шайсуновъ.

Бѣдный поварокъ упалъ на колѣни и тянулся къ ногамъ Никона, чтобы хоть ухватить и поцѣловать полу его подрясника.

— Прости... не буду...

— Не трошь... не трогай ногъ... у меня ноги больныя!—кричалъ упрямый старикъ, отстраняясь.

— Не беду идоломъ звать. О-о!

Подошли четыре стрѣльца и молча глядѣли на эту сцену. У двоихъ изъ нихъ въ рукахъ было по плети—узловатыя московскія чудовища, младшія сестрички кнута батюшки: „плеть не кнутъ—дасть вздохнуть; а батюшка кнутъ—не дасть и икнуть“...

— Ну-ну, сымай рубаху—не вѣжься, сымай!—поощрялъ приставъ:—сымай-ка рубашечку.

— И портки,—пояснилъ Никонъ.

Стрѣльцы стали раздѣвать поварка, развязали и сняли фартукъ, разстегнули и сняли подрысничекъ, рубаху...

— Ишь ты—почоть какой: ризы сымають,—шутить приставъ:—кубыть патриарха.

Никонъ сердито гляннул на шутника.

— Мотри, Самойло... и въ дары муха падаетъ,—проворчалъ онъ.

Поварокъ стоялъ совсѣмъ голый и ежился. Только нижняя часть худого, бѣлаго, какъ у женщины, тѣла не была обнажена.

— Портки долой!—не унимался развоевавшійся старикъ.

Поварокъ съ досадою, торопливо спустил нижнее бѣлье и повернулся спиной къ своему мучителю.

— Чего жъ ты смотришь, чернецъ? — накинулся этотъ послѣдній на Исаю.

Исаия стоялъ, ничего не понимая, и молчалъ.

— Твое дѣло—вели класть, — командовалъ старикъ. — Да одежду подь голову.

Поварокъ не сопротивлялся—уже онъ зналъ Никона. Да и сѣченье въ то время было дѣломъ обыденнымъ: „хлѣбъ насущный“, „каша“, только „березовая“, „баня“, „горяченькое“, „припарочка“ — вотъ синоними сѣченья...

Положили поварка. Одинъ стрѣлецъ сѣлъ верхомъ на голову, другой на ноги. Поварокъ только сопѣлъ да какъ-то старался втянуть въ себя то, что особенно выдавалось, какъ будто можно было сдѣлать это...

Стрѣлецъ, сидѣвшій на головѣ, казалось, никакъ не могъ устыться ловко и ерзалъ.

— Не души,—протестовалъ чуть слышно осѣдланый.

— Чего разиня ротъ стоишь! — напоминалъ старикъ Исаия его обязанности.

— Валяй, ребята!—распорядился Шайсуповъ.

Удары посыпались на обнаженные части бѣлаго тѣла, которое сразу стало багровѣть полосами. Несчастный поварокъ, то глухо кричалъ, то грызъ зубами свою одежду и задыхался...

Никонъ смотрѣлъ, тряся головою и шевеля губами, и считалъ удары на четкахъ, какъ онъ считалъ на нихъ „метанія“, земные поклоны...

— Не зови меня идоломъ сидонскимъ, не зови Астартормъ... я благодатю божію христіанинъ...

А бѣлое тѣло все багровѣе и багровѣе... Несчастный, забивъ себѣ

ротъ рубахою, ужъ и не кричить... Четки перебраны уже до половины...

— Стой! будетъ!—удовлетворяется, наконецъ, бывшій божіею милостію великій патріархъ.

Поварокъ всталъ и дрожащими руками облачается... Руки не попадаютъ куда слѣдуетъ... Волосы повыдергались изъ косенки и падаютъ на лицо... Одѣвшись кое-какъ, онъ кланяется до земли своему мучителю...

— Добро... поучили... не будешь больше меня idolить, — поучаетъ этотъ послѣдній.

Шайсуповъ и Исаія переглядываются, поводя руками.

— Ну, подь теперь, стряпай... Да помнишь, что я тебѣ заказывалъ нонѣ? — говоритъ старикъ какъ ни въ чемъ не бывало. — Не забылъ? а?

— Не забылъ-ста,—пробормоталъ несчастный дрожащими губами.

— Да осетринку-ту не засуши, да лучку, да сольцы въ мѣру...

— Добро-ста...

И опять трясущаяся голова заходила ходенемъ и застучала клюка объ рундукъ...

— Опять за свое! Опять добръ Астартъ!..

Шайсуповъ не вытерпѣлъ и покатился со смѣху, держась обѣими руками за животъ...

— Ой, батюшки! ой, Ларка! ха-ха-ха! умру, охъ, святой отецъ! ой, ой, ой!—заливался онъ.

Никонъ даже клюку поднялъ...

— Что ты! что ты! обезумѣлъ!

— Ха-ха-ха! охъ, батюшки: родители мои! за что вспороли малаго. Всѣ сморгѣли на хохочущаго пристава съ удивленіемъ. Даже высѣченый поварокъ улыбался сквозь слезы.

— Ха-ха-ха! да онъ, вить, поварокъ, говоритъ: „добро-ста“—это у его привычина такая: „добро-ста“ да „добро-ста“, а никакого идола тутъ нѣту... А его пороть!.. Ну, дали же мы маху!

Никонъ еще болѣе разсердился на такое произвольное толкованіе.

— Что ты меня учишь, стрѣлецъ! — накинудся онъ на пристава: — вонъ ихъ учи, а я учень... Ты объ идолѣ Астартѣ не слыхалъ, а, можетъ, и про Перуна, что у насъ въ Новѣгородѣ палкой дрался, не слыхивалъ; тебѣ, невѣголоосу, что! А я въ древнемъ писаніи хаживалъ—зубы пріѣлъ гораздо...

Старикъ бы, вѣроятно, долго не пересталъ брюзжать, если бы въ это время не показались въ воротахъ возы, нагруженные припасами, которые поставлялъ для его обиходу Кирилловъ монастырь.

Старикъ замахалъ клюкой.

— Подавай сюда! къ крыльцу вези!

Инокъ Исаія послѣшилъ къ возамъ. Поварокъ, сдѣлавъ поясной поклонъ, побрелъ за дровами. Никонъ, кряхтя и морщась, усѣлся на крыльцѣ

и ждалъ. Стрѣльцы ушли на берегъ купаться. Приставъ стоялъ у крыльца и продолжалъ улыбаться своими узкими глазами.— „Ужь и чадушко же— и ну!“ говорили лукавые глаза.

## VIII.

### У Никона гости.

Изъ-за корму и припасовъ у Никона шла презѣльная брань со всѣми десятию бѣлозерскими монастырями, обязанными доставлять ему все необходимое, и въ особенности съ Кирилловымъ, самымъ богатымъ изъ нихъ. Онъ, повидному, забылъ все на свѣтъ—и свое прежнее величіе, и славу, и вселенскую борьбу, и паденіе съ недосягаемой высоты, и всеобщее отчужденіе — и, казалось, помнилъ только про одинъ кормъ: „семга“ да „сижки“, „икорка“ да „сметанка“, „вишни въ пагоктъ“ да „яблоки въ меду“, „язи“ да „лещи“, да „теша межукосная“, да „грибки...“ Это былъ теперь его боевой конь, съ котораго онъ готовъ былъ не сходить по цѣлымъ днямъ и недѣлямъ: воевалъ съ кирилловскою и иною черною братією, строчилъ царю безконечныя жалобы и клеветы, пудилъ все про кормъ и жалованье и даже плелъ царю небывальщину, что будто бы онъ „нагъ и босъ, стыдно и выйти—многія, будто бы, зазорныя части не покрыты...“ Старикъ просто лгалъ и озорничалъ со суки и отъ бездѣйствія... Онъ былъ жалокъ.

И теперь, когда онъ сидѣлъ на крыльцѣ и, тряся головой, кряхтѣлъ, лицо его выражало, что онъ вотъ-вотъ на кого-нибудь сейчасъ накинется—на кого—это ему все равно, только бы поозорничать да выкричаться, благо ему всю ночь черти спать не давали, а просто—старика не спалось, и въ голову лѣзла всякая дрянь...

Одинъ возъ подѣхалъ къ крыльцу. Сморщенный и черный, какъ груша на лоткѣ, монашекъ, который велъ клячонку въ поводу, низко поклонился и подошелъ подъ благословеніе...

— А ты преже покажь, что привезъ — доброе ли, а тогда и суйся подъ благословеніе,—сразу обрѣзалъ его озорной старикъ.

Монашекъ попытался. Исаія, кликнувъ чернеца отъ другого воза съ сѣномъ, сталъ развязывать рогожу, покрывавшую возъ. Этотъ другой чернецъ тоже сунулся было подъ благословеніе, но Никонъ прогналъ его клюкой...

— Сѣно то у тебя все гниль да бурьянъ... лѣшихъ чертей имъ кормить развѣ,—ворчалъ онъ.

Развязали первый возъ.

— Что въ плетешкѣ тамъ?—возрился старикъ.

— Грибки, святой отецъ, рыжикки, да бѣлые, — смиренно отвѣчалъ морщенный монашекъ.

Никонъ, опираясь на клюку и крихтя, всталъ, подошелъ къ возу и сталъ клюкою ковырять связки сушеныхъ грибовъ.

— Ишь, грибочки каки! все скаредные!—ворчалъ онъ, и вздѣвъ на клюку одну связку, тыкала ее въ носъ то иноку Исаи, то Шайсупову.

— Ишь, скареды, — съ мухоморомъ все!

— Помилуй, святой отецъ: грибки какъ есть знатные, — защищался Исаия.

— Велика ихъ знатность! На—нюхай, князь, — тыкала старикъ грибами въ носъ Шайсупову. — Гниль одна...

— Ничего — запашокъ какъ слѣдуетъ, хорошъ запахъ, — одобрялъ грибы приставъ, лукаво улыбаясь...

— То-то запашокъ! Смердятина одна! — брызжалъ старикъ: — и свиньи жрать не стануть...

Грибы осмотрѣны, наконецъ, и охаяны на чемъ свѣтъ стоитъ. Дошла очередь до другихъ запасовъ.

— А тутъ что? — тыкала клюка въ пологъ.

— Тутотка рыбка сушена да вялена, тешечка межукосна, вязижка въ пучечкахъ, — пояснялъ Исаия.

— А ну, покажь.

Развертывается пологъ, показывается рыба.

— Ишь, сушь какая! — накинудся старикъ и на рыбу: — голова да хвостъ только, а рыбы нѣту...

— Помилуй, святой отецъ, какъ голова да хвостъ! — всплеснулъ руками Исаия.

— А это что! видишь?

И клюка, дѣйствительно, тыкала только въ головы да въ хвосты.

— Голова да хвостъ — все хвосты...

— Господи! да рыба-то цѣла — не рѣзана; куда жъ туловамъ у ней дѣться? — вопилъ Исаия: — вотъ они, цѣлы рыбки, всѣмъ тѣломъ...

— Али у рыбы тѣло? — накинудся старикъ на неудачное слово: — такъ у рыбы тѣло?

Исаия молчалъ и только моргалъ глазами. Шайсуповъ кусалъ губы.

— Тѣло у рыбы? Сказывай, князь! — набросился Никонъ съ экзаменомъ на пристава. — Тѣло?.. а?

— Что жъ, мясо рази? — улыбнулся приставъ. — Мясо скоромное, а рыба постна: стало, не мясо, а просто рыба — рыба и есть, — разсуждалъ онъ: — рыба не мясо, курица не птица...

— И у собаки тѣло? — приставалъ Никонъ опять къ Исаи: — а? тѣло у пса?

— У человѣка тѣло и у Христа, — нашелся, наконецъ, совѣмъ загнанный Исаия.

— То-то же! а то на! у бѣлорыбицы тѣло! у поросенка тѣло! — сердито поучалъ старикъ.

Перерылъ клюкою и вязигу. И вязига не поправилась...

— Худа, что жила баранья... Пирог только гадить такой вязягой...  
Поковырялъ клюкой и тешки—я на тешки поворчалъ: „межукосны...  
то-то!—Все бы поплосше...“

— А въ мѣшкѣ что?—продолжался досмотръ.

— Хмелекъ на квасъ да на бражку,—былъ отвѣтъ.

— Развяжи, покажь...

Развязали мѣшокъ. Старикъ брезгливо зацѣпилъ горсть хмелю, поднесъ къ глазамъ, къ носу, понюхалъ, поковырялъ другой рукой...

— И хмелишко скарედный!—таково было заключеніе послѣ осмотра.

— Хмель доброй.

— Доброй! Съ листомъ, точно табачище проклятой...

Исаія только пожалъ плечами. Приставъ зѣвалъ отъ скуки: ему давно хотѣлось купаться.

— Еще чего прислали? Сыми-ко цыновку.

Сняли цыновку. Голова старика такъ и заерзала изъ стороны въ сторону, лицо покраснѣло...

— Это еще что! а?

— Стяги говяжьи солены да полти свинья.

— Али я мясоядецъ? Али я не чернецъ? а? Еретикъ я, что ли!

Старикъ такъ взбѣдился, что сталъ клюкой выбрасывать стяги и полти наземъ и топтать ногами.

— А! на смѣхъ прислали мяснова! а! Вотъ же вамъ!

— Господи! что жъ это такое!—взмолился Исаія. — Да это не тебѣ присылка, а работнымъ твоимъ людшкамъ:—портному швечишкѣ, шерсто-биту да приспѣшнику—мирянамъ все.

Но старикъ и слышать ничего не хотѣлъ. Онъ бы, вѣроятно, еще долго шумѣлъ и горячился, если бы не замѣтилъ въ воротахъ бабъ и мужиковъ съ котомками. При видѣ ихъ онъ сразу присмирѣлъ. Онъ видѣлъ, что это люди пришлые, можетъ быть, издалека, изъ самой Москвы, пришли поклониться ему, „великому заточнику“, а, быть можетъ, и окрестные селяне пришли къ нему полѣчиться.

Никонъ въ изгнаніи полюбилъ лѣкарское дѣло. Ему помогаль въ згомъ инокъ Мордарій. Отецъ Мордарій часто ѣзжалъ, по порученію Никона, въ Москву и привозилъ оттуда лѣкарственные запасы — камень безуй, самое любимое лѣкарственное снадобье Никона, траву чечуй, звѣробойную, целибоху, росной ладонь, деревянное масло, скипидаръ, нашатырь, купоросъ, квасцы и камфору.

При видѣ пришлыхъ людей, лицо Никона нѣсколько оживилось, глаза просвѣтлѣли, какъ будто и потеплѣли—весь видъ его какъ бы подобрѣлъ, и даже брезгливый голосъ смягчился. И неудивительно, забытый всѣми старикъ, заброшенный въ пустынное, мертвенное заточеніе челоуѣкъ, пережившій свою славу, свое величіе, старикъ, у котораго разбита была вѣра въ единственнаго, въ „собиннаго“ всей его жизни друга, въ „тишайшаго“ царя Алексѣя Михайловича, нѣкогда всемогущій сосамодер-

жець русской земли, а теперь арестантъ, котораго иногда нарочно дразнили и пристава его, и стрѣльцы, и монахи, особенно кирилловскіе, старикъ уже больной и нравственно надломленный—онъ радъ былъ всякому проявленію къ нему участія и довѣрія, оживаль при мысли, что и онъ еще не всѣми забытъ, что если не бояре, эти „псы, лающіе только на нищихъ“, то хоть простой народъ его помнить и цѣнить...

Неудивительно отчасти и то, что онъ такъ измелъчалъ въ изгнаніи... Стальная воля Аввакума поддерживилась борьбой и настоящимъ подвигомъ мученичества—его рука тянулась за вѣнцомъ мученика... А Никону и бороться было не съ кѣмъ, кромѣ какъ съ кирилловскою братьею изъ-за грибовъ, да рыбы, да хмелю...

А мученичество его было невидное... Не вѣнецъ у него впереди, а вѣнокъ изъ крапивы, который постоянно жегъ его безпокойную голову... Конечно, у Аввакума натура была цѣльнѣе; а Никона когда-то избаловало счастье, небывалое на землѣ, бѣшеное счастье, а потомъ все рухнуло, и выросла одна крапива—крапивный вѣнокъ на головѣ, крапива и въ сердцѣ...

Прохожіе, между тѣмъ, подошли къ крыльцу. Впереди выступали, снявъ шапки и вздѣвъ ихъ на длинные дорожные посохи, двое загорѣлыхъ бородатыхъ мужиковъ, обличье, стрижка и вѣс ухватки коихъ изобличали вольное казачество. Одѣты они были въ добрые зипуны. Запыленные сапоги глядѣли крѣпко, а по другой парѣ сапогъ висѣло за плечами, рядомъ съ объемистыми переметными сумами. Кожаные пояса, шириною почти въ ладонь, заставляли подозрѣвать, что тамъ, въ этихъ „чересахъ“, имѣются денежки—золотые „лобачики“ и „левы“ да „дукаты“. Рукоятки ножей, торчавшія изъ-подъ зипуновъ, предупреждали и предостерегали всякаго любопытнаго, что „череса“ тѣ сидятъ на своемъ мѣстѣ здорово. У обоихъ изъ нихъ было по серыгѣ въ ухѣ. Старшему, коренастому и черному, съ просѣдью въ бородѣ, казалось, лѣтъ за пятьдесятъ, но вглядываясь въ его сѣрые, полные жизни и энергій, глаза, подъ крутыми черными бровями, едва можно было дать ему тридцать лѣтъ. Младшему, красноватому и шибко весноватому, съ курчавой бородой и такой же головой со стрижкой въ кружало, едва ли перевалило за сорокъ годовъ, а черные, маленькіе, плутоватые глаза такъ и выговаривали сами собой: „много было бито и пито, давлено и граблено—надо и душѣ спасти“...

За ними плелся худой, сухой и корявый мужикъ на босыхъ, потрескавшихся отъ цыпокъ ногахъ, который велъ за руку такого же босоногого, лѣтъ семи-восьми мальчика, съ головой и лицомъ обмотанными грязными тряпками. Мальчикъ, видимо, пухнулъ—не то съ голодухи, не то отъ болѣсти лихой.

За ними еще—старуха, въ рогатой кикѣ, и молодая, худенькая, милонидная бабенка, съ головою, повязанною платкомъ. Большіе свѣтло-голубые глаза глядѣли совсѣмъ съ дѣтскою робостью.

Прохожіе низко кланялись и по-очереди подходили къ Никону подъ



благословеніе. Тотъ теперь не моталь сердито рукою, не билъ ею воздухъ, не громыхаль чотками, а благословлялъ плавно, истово, широко. Даже лицо старика преобразилось, и голова, казалось, меньше тряслась— не говорила: „нѣтъ... нѣтъ... не надо... не надоть“...

Прохожіе и пристава кланялись, косясь на него исподлобья, какъ бы говоря: „знаемъ мы васъ, боярское сѣмя: не ухватомъ, такъ сковородникомъ дождете“...

— Съ коехъ мѣстовъ Богъ несетъ, добрые люди?—ласково спросилъ Никонъ первыхъ.

— Съ тихою Дону, осударь, святѣйшій патріархъ,—отвѣчалъ старшій, кланяясь.

По лицу и по запавшимъ глазамъ Никона словно скользнулъ свѣтъ, какъ бы отраженный отъ чего-то свѣтлаго пзвнѣ,—и въ тотъ же моментъ гасъ. Лпцо приняло спокойное, ласковое выраженіе, и только непокорная голова, казалось, еще упрямѣе зачастила: „нѣтъ... нѣтъ... не можетъ быть“... И князь Шайсуповъ наострилъ свои большія татарскія уши, словно бы до сихъ поръ силіящіяся освободиться отъ шитой золотомъ тубейки предковъ.

Никонъ, взглянувъ мелькомъ на пристава, торопливо сказалъ:

— Не называйте меня, Божьи страннички, святѣйшимъ патріархомъ... Я болѣе не патріархъ, а простой инокъ, мнихъ смиренный, рядовой монашишко... Отнято у меня патріаршество, а въ патріаршества мѣсто сиде на мя благодать лѣкарственная... Бысть мнѣ гласъ въ тонцѣ снѣ: „Никонъ, Никонъ! отнято у тебя патріаршество, за то дана чаша лѣкарственная—лѣчи болящихъ“... И я Божією помощію лѣчу...

Онъ остановился. Старуха громко вздохнула и поправила платокъ на головѣ молодухи. Глянули на нее и воровскіе глаза младшаго казака и словно выговорили: „нишь, волоокая—только худа гораздо, щупленькая“...

— А путь куда держите?—помолчавъ, спросилъ Никонъ.

— Да твоей святынѣ поклониться,—отвѣчалъ старшій.

— Много слышаны,—добавилъ младшій, тряхнувъ „кучерями“.

— А коли твоя милость будетъ, осударь, благословишь насъ—и далѣ побредемъ,—пояснилъ старшій.

— Куда же именно?—спросилъ Никонъ.

— Въ Соловки, осударь.

— Отъ Никона къ Зосимѣ, — пояснилъ опять младшій: — смолоду жито—о душѣ забыто, а теперь надоть и душѣ спасти,—бойко окончилъ онъ, и покосился на молодуху.

У Никона опять глаза метнули искры—и потухли. Онъ вспомнилъ, что лѣтъ шесть тому назадъ, когда онъ жилъ еще въ Воскресенскомъ монастырѣ, къ нему тоже приходилъ съ Дону этотъ крутолобый, глазастый казакъ, и тоже шелъ съ „тихою Дону“ въ Соловки „душѣ спасти“. А вскорѣ пришли слухи, что этотъ крутолобый чуть не поль-московскаго осударства, словно краюху хлѣба, отломалъ себѣ, и чуть всего московскаго

государства вверх дномъ не поставилъ... То былъ Степанъ Тимоѣичъ Разинъ, тоже съ виду тихоня и смиренна, а вотъ какой окраскѣ царства оторвалъ...

— Доброе дѣло, доброе дѣло — душу спасти, — задумчиво сказалъ Никонъ.

Глаза этого крутолобаго Стеньки съ Дону, казалось, глядѣли на него и теперь... „Эхъ, Степанъ... Степанъ!—думалось ему:— и тебя съѣли бояре“...

— А что, на Дону у васъ теперь тихо?—спросилъ онъ.

— Тихо-ста... дѣловъ никакихъ... скучно... Ну, вотъ и идемъ спасаться,—проговорилъ младшій.

— Ну, спасибо, что вспомнили меня, смиренного и забытаго, — съ дрожью въ голосѣ промолвилъ Никонъ: — азъ есмь привмѣненъ съ нисходящими въ ровъ... Поживите у меня, отдохните, помолитесь...

Казаки поклонились.

— Челомъ бьемъ на добромъ словѣ, да на милости...

— Сымайте-ко переметки съ плечъ, облегчитесь, положите вонъ туда, на заваленку,—вмѣшался Шайсуповъ, до того времени молчавшій и тоже иногда поглядывавшій на миловидную бабенку.

Казаки недовѣрчиво глянули и поклонились, но котомки все-таки сняли съ плечъ и положили.

— А ты что, старикъ? — обратился Никонъ къ босоному старичку съ мальчикомъ:—твое лицо какъ будто мнѣ знакомо.

— Да мы, отецъ родной, твои сироты — крохински, — прошамкалъ старикъ.

— А! изъ Крохина?

— Крохински, родной, крохински... Еще третьегодъ ты мнѣ воспенново внучка вылѣчилъ, такъ съ той поры воспенными и дразнять насъ—Шадровитыми.

— А! Шадровитый, помню, помню,—обрадовался Никонъ.

— Шадровиты, точно, отецъ...

— Что жъ это у мальчика-ту твоево? Чѣмъ недужень?

— Воспа и у его была, у Сысойки—внучекъ мнѣ тоже будетъ.

Никонъ велѣлъ подвести мальчика ближе. Изъ-за тряпокъ, которыми было обвязано лицо его и голова, виднѣлась силоватая кора изъ струшевь.

— Ай-ай-ай!—качалъ головою Никонъ.—Да онъ, кажись, весь отека—пухнеть...

— Пухнеть, отецъ, пухнеть.

— Съ чего жъ бы это? а?

— Безъ хлѣбушка живемъ—съ того, должно...

— Отъ заячьего корму,—раздался вдругъ съ переходовъ чей-то добродушный голосъ.

Всѣ оглянулись. Къ крыльцу подходилъ низенькій широколицый, улыбающийся монахъ, старый, но совсѣмъ безбородый, словно каженикъ, котораго крестилъ Филиппъ апостоль.

— Съ заячяво корму раздобрѣлъ отрочекъ,—повторилъ улыбающийся монахъ.

— А! Мордарушко.. каженикъ,—улыбнулся Никонъ.

— Корочку ивову да липову, поди, грызли вмѣсто хлѣбушка, дѣдко? — спросилъ каженикъ.

— Корочку, отецъ, ивушку да липку,—былъ отвѣтъ.

— А съ коиъ мѣсть безъ хлѣба-то?

— Съ поста, отецъ, съ поста... да лѣтомъ, слава ти, вальготно: кору не грыземъ, грибки есть да ягодки въ лѣсу—ими кормимся.

Голова Никона тряслась какъ будто съ укоромъ кому-то: „нѣтъ... нѣтъ—не такъ, не такъ надо...“ И казаки какъ-то неодобрительно покачивали головами.

Никонъ вопросительно взглянулъ на того, кого называлъ „Мордарушкой“ и „каженикомъ“.

— Покормимъ ихъ—какъ рукой сыметъ оное пухово,—замѣтилъ этотъ послѣдній съ доброй улыбкой.

— Да, Мордарушко, корми—корми ихъ... Ахъ ты, Господи! — торопливо говорилъ Никонъ.

— Откормимъ, отецъ святой... Мужикъ, смердъ—что клопъ: кажись, совсѣмъ высохъ, однѣ пленки въ емъ остались—подохъ совсѣмъ; а пропусти сво къ себѣ—и онъ напился ужъ такъ, что вотъ-вотъ лопнетъ—и ожилъ, и здоровъ, и смердить... Такъ и мужикъ: кажись, помираетъ совсѣмъ, а вкинь ему въ брюхо хлѣбца чистенькаго, да рыбки либо мясца кусочекъ—ну, и ожилъ, и работать здоровъ, и смердитъ гораздо...

— А струпя-тѣ, струпя... глазъ мало видать, — качалъ головою Никонъ.

— И струпя сымемъ... святымъ маслицомъ отъ лампадки помажемъ—мигомъ исцѣлитъ,—успокивалъ отецъ Мордарій.

— За глаза-тѣ страшно, Мордарушко.

— Что глаза! У смерденка глаза—что у щенка: покормилъ молочкомъ—ну, и прозрѣлъ.

Отецъ Мордарій хорошо зналъ натуру смердью: покорми его, напой—и всѣ болѣсти рукой сыметъ.

— Такъ ты ужъ, Мордарушко, попейся объ нихъ,—сказалъ, наконецъ, Никонъ.

Старикъ подтолкнулъ своего мальчика, что-то шепнулъ ему, и они оба поклонились въ землю.

— Добро, добро, встаньте,—бормоталъ Никонъ, и въ голосъ его звучала доброта и ласковость.—А ты что, баушка?—обратился онъ къ старушкѣ съ молодухой.

Старушка повалилась въ ноги.

— Полно, полно, бабка... говори, что у тебя.

— Дочка вотъ... исцѣли, угодникъ...

— Чѣмъ недужна?

- Охъ, угодничекъ!.. порчена...
- Порченая? бѣсноватая?
- Охъ, порчена, угодничекъ: бѣсъ въ ней... исцѣли, изгони бѣсу-ту.
- Что жъ—выкликаеть?
- Кличетъ, угодникъ, кличетъ.
- А кого именно?
- Охъ, угодничекъ печерской! Епишку кличетъ.
- Кто жъ оный Епишка-то?
- Мужъ ейный будетъ... зятекъ мой...

Молодуха при этихъ словахъ сильно закашлялась и со стономъ ухватилась за правый бокъ.

- А что бокъ-отъ у тебя, милая?—ласково обратился къ ней Никонъ.
- Молодуха не отвѣчала. Она, видимо, пересиливала боль, но выразительное лицо ея и дѣтскіе глаза выдавали ея страданія.
- Болитъ бокъ, миленькая?—еще ласковѣе переспросилъ Никонъ.
- Ребро у ей, угодничекъ,—отвѣчала за нее старуха.
- Что ребро?
- Перешиблено, батюшка.
- Какъ! Чѣмъ перешиблено, бабка?
- Полѣномъ, угодничекъ.
- Что ты говоришь!? Кто першибъ?
- Епишка, супругъ ихній.

Никонъ всплеснулъ руками. Князь Шайсуповъ только покачалъ головой, какъ-бы говоря: „дѣло бывалое...“ Казаки многозначительно переглядывались...

— Такъ вонъ онъ гдѣ бѣсъ-отъ—въ ребрѣ, хоть и молоденька еще красавица,—добродушно замѣтилъ каженикъ. — И онъ часто бьетъ ее?—спросилъ онъ старуху.

- Частенько-таки, батюшка: какъ пьянь, такъ и бьетъ.
- И все полѣномъ?
- Нѣту, родной: бываетъ и за косы—всѣ косы выдеръ.
- А за что бьетъ?—спросилъ Никонъ...
- За красоту, угодничекъ, за красоту ея горемычную:—„всѣ-де на тебя глаза пялють, а ты-де и рада“. Ну, и бьетъ, чѣмъ попадя.

Старуха заплакала. У молодой тоже стояли въ глазахъ слезы и тихо скатывались по щекамъ.

- Когда жъ она выкликаеть?—допрашивалъ Никонъ.
- Какъ увидать, батюшка, пьяново-ту Епишку, такъ задрожитъ вся да и упадетъ замертво—и ну, и ну кликать: „Епишенька! Епишенька!“
- Отецъ Мордарій, взглянувъ на Никона и замѣтивъ по трясуемой головѣ, что онъ сильно взволнованъ, подошелъ къ старухѣ и положилъ ей на плечо свою красную, пухлую руку.

— Слушай-ко, бауныка,—сказалъ онъ медленно:—святѣйшій отецъ Никонъ изгонитъ изъ твоей дочки бѣса бражника, будь благонадежна... Те-

перь вы оставайтесь у насъ въ монастырѣ: мы дочку-то твою съ божьею помощію вселѣвимъ. А потомъ самово бѣса-ту возьмемъ въ монастырѣ и смарать его востомъ и молитвою...

— Такъ, такъ, Мордарушко,—одобрялъ его Никонъ.

— Посадить на пищѣ святого Антонія—шелковый станеть. А не поможетъ — вербемъ по тѣлу; а то и сыромятной стегавочкой по хребту смарать.

— Такъ, такъ,—машинально повторялъ Никонъ, думая о чемъ-то другомъ.

Ему опять вспомнился крутолобый казакъ съ Дону... Какъ широко онъ загадывалъ! Бояръ всѣхъ хотѣлъ перебрать— „на сѣмена, говорить, не оставляю... А тебя, отецъ святой, всѣмъ Дономъ, говорить, на патриаршество посадимъ...“ Такъ не выгорѣло его дѣло... А что эти съ какимъ дѣломъ?

Голова его опять заходила: „нѣтъ... нѣтъ... нѣтъ—не будетъ этого...“

„А еще собиннымъ другомъ именовалъ и вторымъ отцомъ—то-то! А теперь Артамощка, поди, въ собины попалъ, Матвѣевъ... Какъ же! Умникъ, ученъ... „мусы“ да „комидійныя дѣйствія у нихъ новѣ въ ходу, а старый Никонъ забыть, яко безплодная смоковница...“

Опомнившись послѣ минутнаго раздумья, Никонъ увидѣлъ, что всѣ стоятъ вокругъ него и какъ бы чего-то ожидаютъ. Князь Шайсуповъ, сидя на нижней ступенькѣ крыльца, видимо, скучалъ и выводилъ палкой на землѣ какія-то каракули. Привычный глазъ отца Мордарія тотчасъ же прочелъ эти каракули: „купатца вжаръ джужъ харашо...“ Солнышко, дѣйствительно, уже припекало порядкомъ и купаться теперь было какъ-разъ въ пору; въ Бѣломъ же озерѣ купанье знатное.

Казакъ переминался съ ноги на ногу. Воровскіе глаза младшаго нѣтъ-нѣтъ да и пощупаютъ молодую бабенку... „А жаль—не бедраста—ущипнуть не за что“, говорятъ воровскіе глаза.

— А ты вотъ что, Мордарушко,—сказалъ вдругъ Никонъ:—возьми дорогихъ-отъ гостей (и онъ указалъ на казаковъ), да покорми ихъ честію... И болящихъ-ту призри, накорми и напой...

— Ладно, святой отецъ, знаю свое дѣло—кивнулъ головой каже-никъ:—страннаго прими, голоднаго накорми, босово обуи...

— А вы, божи страннички,—обратился Никонъ исклчительно къ казакамъ:—потрапезуйте у насъ и опочите съ дороги, а опосля приходите ко мнѣ—хочу побесѣдовать съ вами, наставить васъ отъ писанія.

— Челомъ бьемъ на ласкѣ,—въ одинъ голосъ отвѣчали казаки.

— Ухъ, марить,—отозвался, наконецъ, Шайсуповъ:—пойти покупаться.

IX.

Мучительная ночь.

Вечеромъ того же дня казаки сидѣли у Никона въ кельѣ. Старикъ казался необыкновенно возбужденнымъ, что замѣтно было и по дрожанію головы, и по судорожному движенію рукъ, постоянно громыхавшихъ чотками.

— Бояре и царю поперекъ горла стали и водять его, что малаго ребенка, да ему, великому государю, то невдомекъ: потому — доберь сердцемъ гораздо, тихъ и мягокъ, аки воскъ: лѣни изъ него умѣлый, что хочешь — Богу ли свѣчу, черту ли кочергу... „Свѣте тихій“, однимъ словомъ, такъ я его и называлъ, когда онъ мнѣ еще вѣрилъ. Такъ нѣтъ! загасили оный „свѣтъ тихій“ бояре лиходѣи, а все по злобѣ на меня: я имъ не потакалъ, не давалъ имъ изводить государское сѣмя — ну, и распалились на Никона, на смердя сына. А смерды что! Смерды единые вѣрные слуги государевы, а бояре изъ-за своей гнусной корысти готовы и Христа въ ложкѣ воды утопить, не то что великаго государя. Нынѣ и казаковъ хотять въ холопи къ себѣ закабалить — Донъ вашъ тихой весь своими утробами несатыми выпить...

— Ну, нѣтъ! Понерхнутя на первомъ ковшѣ, — мрачно замѣтилъ старшій казакъ.

— Отъ донской воды-тѣ боярское брюхо вспучить, рогомъ вода встанеть, — пояснилъ младшій.

— Охъ, Господи, что это? — испуганно воскликнулъ Никонъ.

Казаки встрепенулись. Никонъ съ ужасомъ, широко крестясь, глядѣлъ на что-то летающее по кельѣ.

— Что случилось, святѣйшій патріархъ? — участливо спросилъ старшій казакъ.

— Вонъ-вонъ... чертей ко мнѣ напустили бояре да чернецы... черти вонъ летаютъ... Охъ-те мнѣ!

Что-то черное, покружившись по кельѣ, прицѣпилось къ окладу иконы и съ шипомъ возилось тамъ. Младшій казакъ подошелъ къ иконѣ и схватилъ рукою это черное.

— А! да это не чортъ, а настопырь, — сказалъ онъ улыбаясь.

— Настопырь по-нашему летуча мышка, великой патріархъ, — успокоивалъ старшій.

— Ахъ ты тварь! за палець тянула! — воскликнулъ младшій; — вотъ же тебѣ!

Несчастное животное, напугавшее Никона, у котораго безсонныя ночи совсѣмъ разстроили воображеніе, запицало въ могучей рукѣ казака.

— А! не любишь!.. Гляди-ко, патріархъ, какой звѣренышъ махонькой — съ мышку, ишь ушки каки...

И казакъ поднесъ свою добычу къ лицу Никона.

— Ай-ай! выбрось его въ окно, — продолжалъ Никонъ брезгливо: — это — бѣсъ въ образѣ нетопыря... Брось его и оградись крестомъ...

Казакъ швырнулъ своего маленькаго плѣнника въ открытое окошко. Никонъ перекрестилъ это окно, въ которое съ голубого неба глядѣлись мигающія звѣздочки, отражавшіяся и на гладкой поверхности Бѣлаго озера. Ночь была тихая и ясная — лѣтняя сѣверная почъ. Казакамъ слышно было, какъ съ берега неслись посвисты ночной птички, которую у нихъ зовутъ „овчарикомъ“, свиститъ по ночамъ словно пастушокъ у стада... А Никонъ прислушивался къ чему-то другому: за монастырской оградой, въ рошѣ человѣческимъ голосомъ выгукивала сова, и онъ вспомнилъ, что точно также, много лѣтъ назадъ, въ ночь передъ избраніемъ его на патриаршество, онъ прислушивался къ таинственному голосу этой птицы, пророчившей ему что-то невѣдомое...

За окномъ сквозъ сонъ пропичала ласточка; вѣроятно, во свѣ ей помешался ястребъ, — пискнула и замолкла...

— И у насъ на тихомъ Дону межъ несогласниками тѣ же слухи ходятъ, — нарушилъ молчаніе старшій казакъ.

— Какіе это „несогласники“? — спросилъ Никонъ.

— Да у насъ съ самаго Степана Тимоѣича казакскій кругъ раскололся на двое — на „согласниковъ“ и „несогласниковъ“.

— „Согласниковъ“ у насъ дразнятъ „московскими попихальниками“, а то и „боярскими помыкачами“, — пояснилъ младшій.

Никонъ, повидимому, не понималъ этихъ казакскихъ филологическихъ тонкостей.

— „Согласниковъ“ Москва, значить, пихаетъ, куда захочетъ, и бояре имп помыкаютъ: съ того, значить, они и слывуть у насъ „помыкачами“ да „попихальниками“, — болѣе вразумительно пояснилъ старшій.

— Кто жъ у васъ эти московскіе согласники? — спросилъ Никонъ.

— Да которые казаки побогаче, которые, значить, шерстью московской обросли, земель да угодьевъ нахватили и ужъ сами въ бояре норовятъ на Дону попасть да рядовымъ казакамъ на шею сѣсть, тѣ, значить, всѣ московскіе согласники, — отвѣчалъ старшій.

— Одно слово — кровопивцы, — пояснилъ младшій.

— А кто жъ ими верховодитъ? — допытывался Никонъ.

— Корнилко Яковлевъ, что Стеньку въ Москву возилъ.

— И въ холопы за то пожалованъ, — добавилъ младшій.

Никонъ вскинулъ на него глазами.

— А „несогласники“ жъ кто у васъ? — спросилъ онъ.

— Вольные, рядовые казаки, — отвѣчалъ старшій, — что въ ярмѣ еще не бывали.

— Голутьба, ѱ которыхъ зипуновъ нѣтъ, — продолжалъ пояснять младшій: — они также отъ бояръ норовятъ, какъ чортъ отъ ладону.

Никонъ опять вскинулъ на него глазами.

Сова продолжала погукивать, словно бы она предостерегала отъ чего-

то Никона. „Овчарикъ“ своимъ свистомъ продолжалъ напоминать казакамъ ихъ родимый Донъ... Когда-то они вновь попадутъ туда?

— А которые въ Астрахани митрополита Юсифа убили?—спросилъ Никонъ.

— Митрополита Осипа казаки сказали за измѣну,—потупился старшій:—онъ за боярами руку тянулъ.

— Онъ съ Терекомъ воровскимъ дѣломъ переписывался, а въ казачій кругъ съ крестомъ пришелъ, словно мы нехристи!—горячо заговорилъ младшій.—На насъ на самихъ крестъ.

— Осипъ свою смерть заслужилъ,—успокаивалъ старшій.

— Онъ былъ боярскій похлѣбникъ... мягко стлалъ...

Никонъ продолжалъ нервно погромычивать чотками, какъ бы силясь не слышать зловѣщаго голоса совы. Старшій изъ казаковъ нетерпѣливо двинулся на лавкѣ, повидимому, не рѣшаясь сказать то, что у него было на душѣ. Онъ крикнулъ. Младшій глянулъ на него значительно.

— А мы къ тебѣ, святой отецъ, по дѣлу,—началъ старшій нерѣшительно.

Никонъ вопросительно вскинулъ на него своими угрюмыми глазами.

— По дѣлу?

— По великому дѣлу...

— Что жъ—сказывай,—голосъ старика дрогнулъ.

— Не въ Соловки мы идемъ...

— Не Соловки у насъ на умѣ,—пояснилъ младшій.

— Къ тебѣ мы пришли...

— За какимъ дѣломъ?

— Донъ прислалъ тебѣ, святѣйшій патріархъ, свое великое челобитье...

Онъ остановился. Никонъ ждалъ... А изъ роши все доносится зотъ стонъ...

— Опростать тебя отсюда приговорилъ Донъ...

У Никона вѣки дрогнули... Рука, перебиравшая чотки, застыла...

— Опростать и отъ бояръ,—добавилъ младшій.

Голова Никона опять заходила... „нѣтъ... нѣтъ... нѣтъ“...

— Пошли ты съ нами на Донъ грамоту: тихому-де Дону твое благословенье, навѣки нерушимо, а боярамъ-де, твоимъ и государевымъ супротивникамъ, неблагословенье...

— Анаеема-проклять,—пояснилъ младшій.

— Въ тѣ поры мы въ кругу грамоту вычитаемъ и, стакавшись съ Запорогами, на бояръ ударимъ...

— На сѣмена не оставимъ...

— И тебя, святителя, опростаемъ...

— И будешь ты патріархомъ по гробъ жизни...

Въ это время подъ окномъ что-то хрустнуло... Никонъ вздрогнулъ и испуганно глянулъ на окно... Голова младшаго казака высунулась туда...

— А! князь!.. что не спишь?



— До вѣтру малость вышелъ,—послышался смущенный голосъ князя Шайсупова, который тихонько пробирался къ окошку, чтобы, по московскому обычаю, подслушать.—До вѣтру...

— А! то-то... и носомъ слышать, — насмѣшливо замѣтилъ казакъ: — несеть...

— Ишь, шутникъ, право... а!—отшучивался пойманный князь.

— Шутникъ ты, князь: другою мѣста не нашелъ до вѣтру, окромѣ этого окна...

Смущенное татарское лицо глянуло въ окошко...

— Не спится что-то,—какъ бы извинялся онъ передъ Никономъ.—А вы объ чемъ тутъ бесѣдуете?

— О божественномъ,—пробурчалъ старшій казакъ.

— О перстахъ,—пояснилъ младшій.

Никонъ сидѣлъ ошеломленный. Глаза расширились, какъ отъ испугу, голова тряслась еще пуще, какъ бы все гоня отъ себя и отрицая — „нѣтъ... нѣтъ... нѣтъ“...

---

— Кажись, все написалъ... А крѣпонько-таки написано... Можетъ, гдѣ и пригаль малость—да добро! — лишь бы крѣпонько... Что дивить! прилыгаю... А сказано не нами: „ложь конь во спасеніе“... Не мимо идутъ словеса сія... Да и апостоль Петръ, на немъ же, аки на камнѣ, созиждилъ Христосъ церковь свою—и Петръ-атъ святой прилыгалъ малость спасенія ради... „Языкъ-де твой явѣ ты творить, что и ты-де съ симъ человѣкомъ заодно“... „Нѣтъ, говорить, не вѣмъ человѣка сего“... А пѣтель-ту и возгласи...

Такъ бормоталъ самъ съ собою Никонъ далеко за полночь, сидя у стола и разсматривая исписанный имъ листъ бумаги — письмо къ царю: онъ все писалъ по уходѣ казаковъ и пристава, — не спалось ему отъ старости, да и возбужденъ онъ былъ рѣчами казаковъ.

— Да, отрекся апостоль, а пѣтель-ту и возгласи...

И гдѣ-то въ монастырѣ, далеко, запѣлъ пѣтухъ... Никонъ вздрогнулъ...

— Ишь ты, евангельская птица поеть...

Онъ перекрестился, зѣвнулъ, снова перекрестился.

— А нѣтъ—и нонѣ не усну... Семь-ка прочту, что я написалъ великому государю.

И, надѣвъ на носъ круглыя, огромныя, словно на воловыя глаза очки, онъ началъ тихо читать:

„И нонѣ я, государь, боленъ, нагъ и босъ и креста на мнѣ нѣтъ третій годъ, стыдно и въ другую келью выйти, гдѣ хлѣбы пекутъ и кушанье готовятъ, потому—многія зазорныя части не покрыты. Со всякой нужды келейной и недостатковъ оцнжалъ; руки большы, и лѣвая не поднимается; на глазахъ бѣльма отъ чаду и дыму; изъ зубовъ кровь идетъ смердящая и не терпятъ ни горячаго, ни холоднаго, ни кислаго; ноги

пухнуть и оттого не могу церковнаго правила править, а попъ одинъ и тотъ слѣпъ, говорить по книгамъ не видитъ; приставы ничего ни продать, ни купить не дадутъ; никто ко мнѣ не ходитъ и милостыни просить не у кого“...

— Крѣпненько-таки, крѣпненько... а и такъ быввало,—какъ бы оправдывался онъ самъ передъ собой.

„Оглашаютъ меня кирилловскіе, — продолжалъ онъ читать, — будто я ихъ монастырскихъ людей бью, а я никого не бивалъ. Нонѣ строитель Исаія здѣсь въ Терапонтовѣ у келейнаго дѣла приставленъ, а у меня ихъ поварокъ Ларка, и оный Ларка ко всякому дѣлу, о чемъ я ему молвлю, говорить: „добръ Астартъ“. А въ древнемъ писаніи, государь, идолъ былъ нѣкій сидонскій Астартъ, и которые его за бога почитали, приглашали: „добръ Астартъ“. Я ему, Ларкѣ, говаривалъ много разъ: не зови меня Астартомъ; я—благодатию Божіею христіанинъ, а не Астартъ. И онъ, Ларка, не пересталъ, зовучи меня Астартомъ. Я жаловался на него строителю Исаіи, и строитель севодни смирилъ его передъ нашею кельею плетми, а не я его билъ“...

— Что жъ—не зови идоломъ,—снова оправдывался старикъ: — а то на!—добро-ста, говорятъ... то-то добро-ста!

„Прислалъ ты мнѣ, государь, онамедни бѣлугъ, да осетринки, да лососинки, да коврижекъ. А я было ожидалъ къ себѣ твоей государской милости и овощей, винограду въ патокѣ, яблочекъ, сливъ да вишенокъ, только тебѣ о томъ Господь Богъ не извѣстилъ, а здѣсь этой благодати нивогда не выдаемъ, и аще обрѣлъ буду предъ тобою, государь, пришли Господа ради убогому старцу. Да еще я тебѣ, государь, докучаю: которые здѣсь монастыри бѣдные, и тѣ ничего не даютъ положеннаго съ нихъ, а Кирилловъ и богатъ, а столовыхъ запасовъ не присылаетъ. Нонѣ грибовъ и прислали, токмо такихъ скаредныхъ и съ мухоморами, что и свиньи не стануть ѣсть; рыбу прислали сухую, только голова да хвостъ; хмелю прислали съ листомъ, что и въ квасъ класть не годится. Прислали чего не прошено—стяги говяжьи и полти свинные на смѣхъ. Платьемъ и обувью я съ братіею обносилъ, а сшить некому, присланъ изъ Павлова монастыря портной шведчишко неумѣющій, кромѣ шубнаго и сермяжнаго шить и скроить о себѣ ничего не умѣетъ. Отъ недостройки въ погребѣ всѣ запасы овощи перемерзаютъ по зимамъ, помираемъ съ голоду, наги и босы ходимъ“...

Онъ взглянулъ на свои плисовые сапоги...

— Что жъ! хоть и плисовы—эка важность!—сердился онъ на кого-то:—а они въ бархатѣ рытомъ да золотѣ...

Онъ опять зѣвнулъ и перекрестился... Опять запѣлъ пѣтухъ—ближе, громче...

— Ишь разорался!—сердился онъ на пѣтуха:—а свою дѣла не дѣлаешь: куры-тѣ ничего не несутъ...

Онъ глянулъ на окно... Востокъ началъ блѣднѣть — къ утру идетъ, брезжить... Опять зѣвокъ...

— А все сна вѣту... Сонъ мой на патріаршемъ престолѣ остался— тамъ и сидитъ; въ бѣломъ клубуѣ мой сонъ ходилъ, такъ сняли...

Голова затряслась шибче—онъ сердился... Зашуршалъ бумагой...

„Еще, государь, отъ бѣднаго своего прошения къ тебѣ не престану, яко червь отъ древооточенія, понеже утробю стѣсняемъ отъ Кириллова монастыря, что противъ твоего указа столовыхъ запасовъ не присылаютъ; а питаюся я твоимъ государевымъ жалованьемъ, покупаючи столовые запасы дорогою цѣною, да и купить стало негдѣ—пустое мѣсто и отъ города удалено, а у меня клячишки свои есть и коровенка для ради молочишка и маслаца, а скотинныхъ кормовъ, сѣвъ и иныхъ вѣтъ, а ближе Кириллова монастыря иныхъ монастырей вѣтъ же. А въ Кирилловѣ монастырѣ смѣются и поругаются мнѣ, будто я у нихъ въ монастырѣ всѣ коровы пріѣлъ, а мнѣ пріѣсть ихъ некъмъ. А нынѣ священникъ и дьяконъ, и простой старецъ просятся отъ меня прочь, скудости ради пищныя. потому что мнѣ ихъ кормить стало нечѣмъ, и келейнаго ради безпокойства, потому что печей нѣтъ; а держать мнѣ ихъ насильно нельзя, понеже они терпѣли у меня, помня мою милость къ себѣ прежнюю. Милостивый, милостивый, милостивый, великій государь, сотвори, Господа ради, со мною милость, не вели Кириллова монастыря старцамъ меня заморить. Да вѣдомо мнѣ учинилось, что будто вѣкій чернецъ, именовъ Сергій, дьяконъ, говорятъ про меня, будто я не чаю воскресеня мертвыхъ. А я мню, что и тебѣ самому памятно, идѣже прилучится при твоемъ приходѣ во святую церковь, идѣже прилучится символу вѣры глаголатися, никому иному оставляю глаголати, но всюду самъ и до днесь. И ты, Господа ради, не повѣрь тому и, воспримъ ревность Давида, погуби глаголющія неправду. Господа ради вели печи сдѣлать, а не велишь, и братья разбредутся розно и я останусь одинъ. Охъ, увы мнѣ, что буду!“

За окномъ что-то зашуршало. Онъ остановился... Послышалось сердитое воркованье голубя... другого... шелестъ крыльями объ оконные наличники...

— Ишь, голуби подрались... И у нихъ, что у людей же, вражда... О-охъ!

Онъ снова нагнулся къ бумагѣ и сталъ просматривать ее, подперевъ голову руками.

— Многонько-таки написано—да добро!—многонько у меня и накупѣло, а говорить не съ кѣмъ... Пускай великій государь читаетъ сіе мое слово, аки оное „Слово Данила Заточника“... Не онъ первый, не онъ послѣдній: нынѣ Никонъ Заточникъ новый, а и послѣ Никона будутъ заточники: не нами сіе положено — такъ искони бѣ, — разсуждалъ старикъ самъ съ собою:—и голуби враждуютъ, а людямъ не занимать-стать вражды у голубей да у врабушковъ... О-охъ! да полно того!

„Бьютъ челомъ тебя, великому государю,—снова зашуршалъ старикъ бумагой,—Кириллова монастыря старцы, будто посылаютъ они на Украину покупать для меня вишни, и то тебѣ буди вѣдомо, что ни една мнѣ отъ

нихъ по се число не бывада вишня, только на прошлой годъ за вишни деньги дали и строитель говорилъ, чтобъ имъ платить черемховымъ морсомъ за вишни, потому что черемха родилась и собрали великое множество того морса съ вотчинъ; и мнѣ не дали ни единой капли. Да на прошлой годъ собрали Кириллова монастыря крестьяне малины тоже не малое число ведеръ, а мнѣ не дали ни единой же капли. Они бьютъ челомъ тебѣ, будто отъ меня Кирилловъ монастырь раззоряется, а мнѣ раззорять Кирилловъ монастырь не кѣмъ; я мало могу и ходить отъ старости, и слышится намъ, что они сами Кирилловъ монастырь пустошатъ и съ крестьянъ денежные поборы частые собираютъ и посылаютъ къ Москвѣ и говорятъ: стало-де намъ челобитье на Никона тысячи въ двѣ, а хотя станеть и въ пять тысячъ, и намъ будетъ отбиваться, и тѣмъ тебя, великаго государя, безчестять, будто про площадный приказъ говорить безстрашно; а на мнѣ милость твоя ни по челобитью, ни по дачамъ, но по твоей милости и разсмотрѣнію. Во истину скуднѣе и нищѣе насъ нонѣ нѣтъ. Сотвори милость, пожалуй рыбки и икорки, да умилосердися надо мною грѣшнымъ и надъ приставомъ надъ князь Сомойломъ, вели перемѣнить: онъ со всякія нужды помпраеть, да и меня уморилъ, понеже никто ни въ чемъ его не слушаетъ“.

Онъ остановился и сидѣлъ, подперевъ голову руками, чтобъ она не тряслась. Онъ сидѣлъ такъ долго. Можно было подумать, что онъ уснулъ, если бъ не шевелилась его борода...

Снова загѣлъ пѣтухъ вдали...

— Пѣтель возгласи... трикраты... да, ужъ трикраты... а ко мнѣ нейдетъ сонъ... Да, да — въ бѣломъ клубкѣ мой сонъ, въ клубкѣ... на престолѣ онъ на патріаршемъ — тамъ остался — нейдетъ въ мою келью... И сонъ, какъ и люди жъ, обходитъ гонимаго... А что теперь царь-отъ — спитъ ли? Что его сонъ? Поди спитъ хорошо — что ему! Съ молодой женой нонѣ спитъ, съ Натальей Кирилловной... То-то покойница, во блаженномъ успеніи царица Марья Ильишна, святая была душевника...

Онъ поднялъ голову, всталъ, расправилъ спину, зѣвнулъ, перекрестилъ ротъ и подошелъ къ окну. Въ окно уже заглядывало блѣдное утро: вырисовался восточный горизонтъ и бѣловатымъ паромъ клубилось Бѣлое озеро.

— Опять не усну — нѣту сна... Подойти развѣ побродить по берегу — може тамъ и найду сонъ...

Онъ взялъ клюку и побрелъ по келямъ, слабо освѣщаемымъ блѣднѣвшимъ востокомъ. Изъ угловой кельи дверь вела прямо къ берегу озера. Никонъ вышелъ въ эту дверь и очутился на воздухѣ.

Подойдя къ самому берегу, онъ остановился и оперся на клюку. Озеро клубилось паромъ не на всей поверхности, а только мѣстами. Кое-гдѣ, вдали, на гладкой поверхности чернѣлись маленькія лодочки: это ранніе рыбаки на переметахъ осматривали заброшенные на ночь уды и крючки съ приманкой. У берега кое-гдѣ плескалась бессонная рыба.

— Ишь—и рыбка не спитъ—и ей сна нѣту...

Онъ побрелъ къ своему живорыбному садкѣ—къ сажалкѣ для рыбы и раковъ, устроенной какъ разъ противъ оконъ его рабочей кельи. Сажалка была большая плетеная корзина, опущенная въ воду и прикрѣпленная къ берегу веревками. Къ ней вели доски, укрѣпленные на подѣставкахъ.

Никонъ подошелъ къ сажалкѣ. Поверхность въ ней замѣтно подергивалась рябью...

— Гуляеть рыбка... Гуляй, добро... а то Ларка и нонѣ тебя сачкомъ выловить для ушицы мнѣ—не до гулянья будетъ!..

Онъ задумался. Востокъ начиналъ блѣднѣть и розовѣть.

— Тоже узнички, рыбка-то: въ заточеніи сидятъ, какъ вотъ и я... А Ларку добре постегали за Астарту—да добро! помни.

Онъ побрелъ дальше по берегу. Становилось все свѣтлѣй и свѣтлѣй. Кое-гдѣ уже начинали чирикать воробьи и попискивать ласточки.

Онъ дошелъ до высокаго деревяннаго креста, стоявшаго на береговомъ взлобкѣ, на видномъ мѣстѣ, и, перекрестясь, поклонился до земли...

— Се мой крестъ, а се моя Голгова душевная, — тихо проговорилъ онъ.—Пройдутъ годы, многая множество лѣтъ, и православные будутъ стекаться къ сему кресту и сію надпись прочитывать: „Никонъ, божіею милостію патріархъ, поставилъ сей крестъ Христовъ, будучи въ заточеніи въ Ферапонтовѣ монастырѣ“... И вспомнать тогда Никона... „Кто бысть сей Никонъ?“ рекутъ. А бысть онъ изъ простыхъ худородныхъ поповъ, отъ родителя смерда родомъ, именемъ Мины, и бѣгаше нѣкогда сей Мининъ сынъ Микитка босикомъ, нагъ и гладенъ, и бысть ему, оному Микиткѣ, пророчествовано отъ нѣкоего мужа татарина: „быти тебѣ, Микитко, великимъ государемъ надъ царствомъ російскимъ“... И сбыется пророчество: возведенъ бысть Микитка, во иночествѣ Никонъ, въ санъ російскаго патріарха, и бысть собиннымъ другомъ царя и соправителемъ царства... И новоисправи, и новонапечата Никонъ російскія книги церковныя — и бысть Никонъ велий въ царствѣ своемъ... И ненавистникъ добра отъ вѣка, діаволь, распали на Никона завистію бояръ — и погубиша его... Бысть Никонъ—и се не бѣ...

Онъ горько задумался. Полусвѣщенная отъ востока, массивная фигура его, опиравшаяся на клюку, сама изображала подобіе надмогильнаго памятника, поставленнаго у креста...

— А теперъ что я—что Никонъ патріархъ? Инокъ худый, монашишко, аки заяцъ псами затравленный, притча во языцѣхъ... И забыть я, и презрѣнъ... О, Господи!..

Наклоненная голова его словно отъ острой боли закачалась изъ стороны въ сторону.

— Боже, Боже мой! вскую мя еси оставилъ! о-о! — стонетъ несчастный старикъ.

Предразсвѣтныи вѣтерокъ шевелить сѣдыми прядями волосъ, спустив-

шимися на плечи... Стоящая у креста фигура вырисовывается все отчетливѣе и ярче.

— Се мой крестъ, Господи! Душу мою распяли на крестѣ семь, прободена до смерти... А за что? За гордость мою...

Онъ опустился на колѣни и припалъ головой къ землѣ... Плечи судорожно вздрагивали...

— Святѣйшій патріархъ! что съ тобой? Зачѣмъ такъ убиваться?— послышался вдругъ голосъ изъ-за креста...

И надъ Никономъ наклонилось круглое безбородое лицо.

— Встань, святѣйшій патріархъ... Посмотри—утро ужъ настало, а ты и не спалъ посямѣсть...

Это былъ старецъ Мордарій... Онъ помогъ старику приподняться съ земли и повелъ его къ кельямъ. Никонъ повиновался...

— За гордость, за гордость, — бормоталъ онъ самъ съ собой: — и патріаршества лишентъ, и сонъ взяли, вмѣстѣ съ бѣлымъ клобукомъ сняли сонъ съ головы... Боже, Боже...

## Х.

### Банланъ и Киликейна.

Сонъ, котораго напрасно искалъ Никонъ, самъ пришелъ къ нему непрешенный.

Слезы, которыхъ давно не зналъ старикъ, облегчили его, и онъ, воротившись отъ креста въ свою келью и какъ бы отдавшись на волю Бога, уснулъ крѣпкимъ, здоровымъ сномъ, который давно уже не посѣщалъ его. Сонъ перенесъ его въ далекое прошлое, въ молодые годы, когда на плечахъ его еще не лежало тяжелое величіе сана и когда вокругъ него бѣгали и ласкались курчавые бѣлокуренькіе мальчики — его дѣти, а пучеглазая красавица жена расчесывала и цѣловала роскошные волосы своего ненагляднаго свѣтъ-Микитушки... Что за глаза! И проснувшись уже не рано, бодрый и какъ бы обновленный, онъ припоминалъ и этотъ сонъ, и эти милые глаза, которые потомъ, въ години величія и славы и въ минуты горчайшія въ его жизни, являлись къ нему откуда-то какъ „глаза ангела“.

Воспоминаніе о бесѣдѣ съ казаками, которая вчера заставляла его ощущать тайный страхъ, теперь оживляла и ободряла его, вливая смутную, но сладостную надежду въ сердце, уже, было, переставшее биться надеждами—надежду, что, быть можетъ, на закатѣ дней его, какъ та мимологійная птица, о коей онъ читалъ въ нѣкоемъ древнемъ сказаніи, изъ пепла возродится его вторая молодость и онъ еще услышитъ, какъ будутъ гудѣть во срѣтеніе ему безчисленные колокола всѣхъ сорока-сороковъ церквей московскихъ, а тишайшій царь Алексѣй Михайловичъ будетъ идти предъ нимъ, Никономъ, возсѣдающимъ на „жребяти осли“ и кланяться

ему передъ всѣмъ народомъ... И посреди этого великаго сонмища онъ опять увидитъ, какъ въ числѣ тысячъ и темъ глазъ народныхъ будутъ глядѣть на него и „глаза ангела“...

Размягченный и соннымъ видѣнiемъ, и этими сладостными думами, онъ подошелъ къ окну и открылъ его. Бѣлое озеро сверкало, какъ сталь, отражая въ себѣ и голубое небо, и темную рошу. Въ душную келью врывались свѣжія струи воздуха, напоенныя ароматомъ зелени...

Вдругъ онъ увидѣлъ, что какая-то огромная птица на длинныхъ ногахъ и съ длиннымъ, какъ у цапли, клювомъ, усѣвшись на край рыбной сажалки, таскаетъ изъ нея своимъ безобразнымъ клювомъ самую лучшую рыбу и безжалостно проглатываетъ...

— Что это? Бѣсъ во образѣ птицы!—удивился онъ и встревожился.— Цапля не цапля, баба не баба-птица... сказать бы журавль—такъ нѣтъ... Бѣсъ, видимое дѣло, бѣсъ,—изумленно бормоталъ онъ.

Онъ протеръ свои глаза, перекрестился, послалъ крестное знаменіе по направленію къ этому бѣсу-птицѣ... Нѣтъ, сидитъ и таскаетъ лучшую от борную рыбу...

— Бѣсъ, бѣсъ проклятый!.. Все это кирилловскіе старцы напустили на меня легионъ бѣсовъ... Вотъ я же ему дамъ!

Онъ торопливо пошелъ за перегородку, въ свою спальную келейку, гдѣ у него надъ постелью висѣла на стѣнѣ пицаль. Снявъ ее со стѣны, онъ осмотрѣлъ курокъ, кремень, затравку, потеръ ногтемъ большого пальца объ остріе кремня, примялъ тѣмъ же ногтемъ порохъ на затравкѣ, перекрестилъ и кремень, и затравку, и дуло пицального и, шепча какую-то молитву, торопливо подошелъ къ окну, выходившему къ сажалкѣ...

Птица-бѣсъ продолжалъ сидѣть на краю сажалки и таскалъ рыбу... Вотъ онъ вытащилъ молоденькаго сижка... Рыба встрепенулась и выскользнула изъ клюва, но упала не въ сажалку обратно, а въ озеро...

— Ахъ, проклятый! всю рыбу мою извелъ...

Старикъ примостился на колѣни, положилъ стволъ пицали на подоконникъ, приложился правой щекой къ прикладу и закрылъ лѣвый глазъ...

— Господи! помози на бѣса... Архистратигъ Михайло! порази нечистаго...

Птица-бѣсъ нацѣлился еще что-то клюнуть носомъ, вытянулъ шею...

Грянулъ выстрѣлъ -- и птица, взмахнувъ крыльями, перевернулась и опрокинулась въ сажалку...

— Угодилъ... угодилъ... поразилъ бѣса!—радостно шепталъ старикъ, поспѣвая изъ своей кельи къ сажалкѣ...

Птица трепыхалась на поверхности воды. Старикъ торопливо взошелъ на мостки, приблизился къ самой сажалкѣ...

Странная птица, распластавшись на водѣ и болѣзненно трепыхаясь, при приближеніи Никона подняла свою гусиную голову съ огромнымъ щелкающимъ клювомъ... Злые, не то сѣрые, не то зеленые глаза, смотрѣли прямо въ глаза Никона...

— Бѣсъ... бѣсъ... заклинаю ты именовъ божимъ,—бормоталъ старикъ.

Птица силилась подняться... Никонъ ударилъ ее клюкой...

— Аминь-аминь—разсыпся!..

Но бѣсъ не разсыпался. На выстрѣлъ изъ монастыря высыпала братія, стрѣльцы, князь Шайсуповъ, казаки и старецъ Мордарій. Всѣ торопились къ сажалкѣ.

— Что-й то? Въ ково онъ стрѣлялъ? Ково бьетъ? — изумлялись стрѣльцы.

— Ай да святѣйшій патріархъ! ай да казакъ! стрѣлять умѣтъ! — дивились казаки.

— Атамая! одно слово атаманушка! Любо!

— Ково зашибъ, святой отецъ?—спрашивалъ Шайсуповъ.

— Бѣса—самово бѣса, князь Самойло!—взволнованно отвѣчалъ Никонъ, силясь попасть клюкой по птицѣ и подтащить ее къ себѣ.

— Да гдѣ онъ взялся, идолъ? отклева?—изумлялся приставъ.

— Кирилловскіе напустили... изъ самово аду прилетѣлъ...

— Да какъ ты увидалъ ево?

— Въ окошко... Онъ рыбу изъ сажалки таскалъ...

— А ты ево пищалью?

— Помогъ Владыка...

Съ трудомъ Никону удалось пригребсти къ себѣ раненую птицу, которая, повидимому, обезсилѣла и отъ потери крови, и отъ патріаршей клюки, что усердно колотила мнимаго бѣса... Нагнувшись, Никонъ схватилъ птицу за крыло и поднялъ. Птица рванулась, подняла голову и долбанула клювомъ старика въ руку...

— Ахъ, проклятый! чуръ-чуръ меня, святъ-святъ-святъ!

Никонъ бросилъ ужасную птицу. Казаки засмѣялись. И Шайсуповъ не утерпѣлъ—разсмѣялся.

— Что? щиплетца больно?

— До крови почитай...

— Это бакланъ-птица... У насъ ихъ на Дону прорва, — отозвался младшій казакъ.

Прибѣжалъ Ларка и, протискавшись промежъ Никона и Шайсупова, схватилъ сердитую птицу за шею. Птица слабо трепыхалась въ его рукахъ.

— А ты, святой отецъ, стрѣлять-ту дока,—удивлялся Шайсуповъ.— Гдѣ сему художеству навѣкъ?

— А еще въ тѣ поры какъ въ святахъ жилъ...

— То-то я смотрю! гдѣ бы, я чай, старцу навѣкнуть...

— Прирѣжь ево, Ларка, прирѣжь бѣса!—сказалъ Никонъ, обращаясь къ поварку.

— Добро-ста... прирѣжу...

Никонъ не разслышалъ ненавистнаго ему „добро-ста“, которое, какъ и эта несчастная птица „бакланъ“ стали достояніемъ исторіи. Ни Никонъ, сердившійся на Ларку за „добро-ста“ и застрѣлившій „баклана“, ни



Ларка, съчненный плетью за „добро-ста“, не думали, не гадали, что и это „добро-ста“, и этот „баклань“, и самъ Ларка приобрѣтутъ историческое безсмертіе... А они приобрѣли его, послуживъ въ то же время орудіемъ къ большому еще отягощенію участи еерапонтовскаго заточника по смерти „собиннаго“ друга его, царя Алексѣя Михайловича... И „добро-ста“, и „баклань“, и съчненный Ларка—это были обвинительные пункты, на коихъ основалось рѣшеніе властей о „тягчайшемъ смиреніи монаха Никона“...

— Отрѣжь ему голову.

— Добро-ста—отрѣжу.

— И крылья отсѣки.

— Добро-ста—отсѣку.

— И ноги урѣжь.

— Добро-ста...

Шайсуповъ не вытерпѣлъ и расхохотался, глядя на Ларку и на Никона.

— Бѣги-же, неси топоръ...

— Добро-ста...

Шайсуповъ продолжалъ хохотать. Никонъ догадался.

— А! ты опять меня идоломъ именуешь! — поднялъ онъ было клюку на Ларку; но Ларки и слѣдъ простыль...

Звонили „къ правиламъ“. Съ берега Никонъ прошелъ прямо въ церковь и сталъ на своемъ обычномъ мѣстѣ—на правомъ клиросѣ. Братія было немного въ церкви — кто на рыбной ловлѣ, кто по другимъ работамъ, внѣ монастыря. Видѣлись стрѣльцы, оба донскихъ казака, которые, крестясь, шибко встряхивали головами, обстриженными въ-кружало, и вчерашние пришлые. Служилъ старенькій, слѣпенькій, гугнявый и весь потерянный, какъ ржавый алтынъ, попикъ. Онъ не глядѣлъ въ книгу, потому что ничего въ ней, по слѣпотѣ и малоученію, не видѣлъ, а гугнявилъ такъ—„литургисаль навпростецъ“. Слабенькій голосокъ его пере-крикивали голуби и воробьи, которые ютились на ветхомъ темномъ иконостасѣ, ворковали, чирикали, дрались и совершали свои любовныя дѣла... Глупая птица, несмысленная, безгрѣшная—не вѣдаетъ бо что творить...

Никонъ молился съ умиленіемъ. Давно онъ такъ не маливался! И этотъ церковный полумракъ, и гугнявое, смиренное литургисаніе потертаго слѣпенькаго попика, и воркованье голубей, занятыхъ своимъ житейскимъ голубинымъ дѣломъ, и громкіе вздохи казаковъ, и покашливанья старцевъ, тихое погромыхиванье чотокъ—все это располагало къ умиленію... Никонъ задумался—задумался и забылся такъ сладко...

Въ той же задумчивости выходя изъ церкви и не глядя ни на кого, онъ на паперти нечаянно поднялъ глаза—и... что это такое?—глаза его встрѣтились съ тѣми глазами... „глазами ангела...“

Онъ невольно остановился... Это глядѣла на него та молодежькая бабенка изъ Крохина, которую вчера мать привела къ Никону для изгна-

ня изъ нея бѣса... Она не смотрѣла теперь такую усталую, больную и худую какъ наканунѣ: старецъ Мордарій, какъ отецъ родной, принялъ ихъ, обла- скалъ, накормилъ, истопилъ для нихъ баньку и велѣлъ имъ въ ней попариться и помыться. Оспеннаго мальчика помазалъ святымъ масломъ по язвеннымъ мѣстамъ. Киликейку—такъ звали молоденькую бабенку—тоже подлѣчилъ: велѣлъ ей послѣ бани тѣмъ же святымъ масличкомъ-елейцемъ намазать „болящій бочекъ...“ Киликейка хорошо поѣла, выпарилась въ банькѣ, хорошо выспалась, отдохнула и смотрѣла теперь совсѣмъ оправившеюся, такъ что младшій казакъ, ощулавъ теперь ее всю своими воровскими глазами, рѣшилъ: „ну да и молодка же! Ни то погладить, ни то ущипнуть, ни то укусить—смерть хочца!..“

Киликейка, увидавъ добрые глаза „дѣдки“, робко подошла къ нему подь благословеніе. „Дѣдко“ благословилъ ее съ особенно нѣжнымъ чувствомъ—онъ такъ расположенъ былъ сегодня къ нѣжности...

— Буди благословенна, дочушка по Бозѣ!—прошепталь онъ. Киликейка горячо припала влажными губами къ сухой рукѣ „дѣдки“.

— Иди за мной—я помолюсь о твоёмъ здравіи,—тихо сказала „дѣдко“, и пошелъ въ свою келью.

Киликейка робко послѣдовала за нимъ, не смѣя поднять глазъ.

— Вотъ старикамъ лафа. Э-эхъ-ма!—съ завистью процѣдилъ младшій казакъ, провожая и ошупывая Киликейку жадными воровскими глазами.

Въ столовой кельѣ Никона былъ уже накрытъ маленькій столикъ и на немъ стояло „утѣшеніе“: паюсная и зернистая икорка отъ благодѣтеля, великаго государя царя Алексѣя Михайловича, холодная осетринка, балычокъ астраханской, шемаечка донская, рыжики въ уксусѣ, яблочки въ патоцкѣ, пастилка, винцо церковное.

Служка-келейникъ хорошо зналъ привычки святого старца,—эти знанія внушены ему были клюкою святого старца,—и въ то время когда Никонъ „правило правилъ“, былъ въ церкви,—служка всегда къ его приходу готовилъ „утѣшеніе“ и уходилъ, не смѣя показываться на глаза, пока святой отецъ кушалъ: онъ не любилъ, когда ему въ ротъ глядять служка, что собака, и провожаетъ глазами въ глотку всякій кусокъ; и служка только тогда осмѣливался появляться, когда святой отецъ стучалъ костью въ стѣну или колотилъ имъ въ маленькое било, висѣвшее въ моленной кельѣ.

Войдя въ столовую, Никонъ помолился на кіоту и поставилъ въ уголь клюку.

Киликейка стояла у порога и удивленными дѣтскими глазами оглядывала келью и все въ ней находившееся; нигдѣ, кромѣ церкви, не видала она ничего подобнаго... Глаза ея такъ и разбѣжались...

Никонъ ласково глянулъ на это наивное лицо съ разинутымъ ротомъ и съ свѣтлыми, лучистыми глазами.

— Какъ зовутъ тебя, милая?—кладя руку на плечо молоденькой женщины, спросилъ Никонъ.

— Киликейкой,—застѣнчиво отвѣчала она.

— Киликейкой!.. какъ же это? Киликія?—удивлялся Никонъ.—И пошъ зоветь тебя Киликей? а?

Киликейка смотрѣла на дѣдку своими глухими, но хорошенькими глазами, и ничего не отвѣчала.

— А! догадался... Кикилія, а не Киликія... Мученицы Кикиліи память двадцать второго ноемврія... Такъ какъ—Кикилія—„пляшущая“, сирѣчь, попросту, плясавица. Такъ ты, миленькая, плясавица? а? Точно: образъ твой благолѣпъ зѣло... красавица... хоть бы Иродіадѣ плясавицѣ такъ въ зависть бы...

Киликейка потупилась. Щеки ея такъ и залилъ молодой румянецъ.

— Ну, иди сядь, милая—потрапезуй со мной,—приглашалъ ее къ столу Никонъ.—Сказано бо: страннаго напитай.

Она нерѣшительно стояла. Старикъ взялъ ее ласково за плечо, подвелъ къ столу и посадилъ на лавку. Киликейка готова была заплакать: такой добрый былъ этотъ дѣдка...

Сѣлъ и Никонъ противъ нея въ деревянное изъ массивнаго дуба кресло. Онъ налилъ изъ муравленаго кувшина чару „церковнаго“, перекрестился и выпилъ. Налилъ еще и подаль Киликейкѣ.

— Выпей милая,—церковное...

Та взяла чару и, не зная, что съ нею дѣлать, глупо глядѣла на старика своими дѣтскими глазами.

— Пей, Кикилія, раба божія: это церковное—въ немъ причастье даютъ.

„Такъ надоть“, подумала Киликейка: „онъ бѣса изгоняетъ“—и выпила все, даже поперхнулась. Румянецъ разлился по всему ея молодому лицу, и она казалась еще болѣе красивою.

— Господи благослови!—Никонъ перекрестилъ стоявшее на столѣ всякое „утѣшеніе“.

„Все съ молитвой“, подумала киликейка: „свѣтлой дѣдко... божій“.

Никонъ взялъ лежавшій на деревянной тарелкѣ кусокъ бѣлаго хлѣба, перекрестилъ его снова и разломилъ надвое. Ту и другую половину онъ густо намазалъ икрой, присыпалъ мелко искрошеннымъ зеленымъ лучкомъ и подаль одну половинку Киликейкѣ.

— Кушай, раба божія Кикилія: это хлѣбецъ божій со утѣшеніемъ.

„Такъ надоть... дѣдко добрый, боговъ“... И Киликейка кушала хлѣбецъ божій со утѣшеніемъ. Ей стало какъ-то тепло и радостно, какъ давно не бывало: словно она озята въ дѣвкахъ и сидитъ съ парнями на посѣдкахъ... Лицо ея горѣло, въ головѣ какъ бы шумѣло—и боку стало легче...

„Это дѣдко лѣчитъ меня... таково хорошо мнѣ“...

И самъ дѣдка кушалъ. Даль онъ Киликейкѣ и осетринки—и все съ молитвой, все „раба божія“. Всего даль покушать Киликейкѣ.

Потомъ еще налилъ чару краснаго, самъ съ крестомъ выпилъ, налилъ и Киликейкѣ, перекрестилъ чару и далъ выпить Киликейкѣ.

„Такъ надоть“... И Киликейка выпила, но уже не поперхнулась; и такъ стало ей хорошо и сладостно, что и сказать нельзя: точно она въ раю... Ахъ, какой добрый, святой дѣдко.

— Такъ бьетъ тебя мужъ-ать, милая?—спросилъ Никонъ, употчивавши свою гостью всѣми „утѣшеніями“.

— Бьетъ, дѣдушко.

Она совсѣмъ забыла, что передъ ней патріархъ, котораго, не видя, она боялась, какъ чего-то невѣдомаго. А теперь она сидитъ съ нимъ, ѣсть и пить „все святое“ и не боится его: это не человѣкъ, а угодинокъ божій, да такой добрый, словно матушка родима.

— За что жъ онъ бьетъ-ву, милая?

— Такъ—ни за что.

— А давно?

— Съ самой свадьбы бьетъ.

— А давно ты замужемъ?

— Съ осени, дѣдушко.

— Такъ съ самой свадьбы и началъ бить?

— Съ первой же ночи... съ первово дня (Киликейка спохватилась и поправилась)—съ первово дни и бьетъ.

По глазамъ Никона прошла какая-то неуловимая мысль... Голова его затряслась...

— Може, ты дѣвство не соблюла?

Молчитъ Киликейка и глупо смотритъ—ничего не поняла.

— Можесть, въ дѣвкахъ честь потеряла?

Киликейка закрыла лицо рукавомъ рубахи...

— Нѣту... нѣту... не утеряла,—она заплакала...

— За что же, милая? а? — Никонъ отвелъ ея руку отъ лица и, взглянувъ въ заплаканные глаза, перекрестилъ это раскраснѣвшееся лицо.

Киликейка успокоилась, утерла слезы, улыбнулась.

— За что же, миленькая?

— Да онъ, дѣдушко... онъ пьяной... Меня батюшка выдалъ за ево сылкомъ... Онъ богатырь въ Крохинѣ у насъ...

— Ну и что же—за что же бить-ту?

Она опять закрылась рукавомъ...

— Слабой онъ... не сдюжаетъ меня...

У Никона глаза блеснули...

— Не можетъ?.. слабъ плотію? а?

— Да, дѣдка, я посемясть... а онъ не сдюжаетъ меня...

— А бокъ когда жъ онъ перешибъ тебѣ, милая?

— Онамедни, полѣномъ...

— Ахъ, онъ злодѣй!.. А который бокъ?

— Правой...

— И болитъ шибко бокъ-ать?

— Нѣтъ, нонѣ не болитъ совсѣмъ... Дѣдушка Мордарій давалъ мнѣ святово елейцу, такъ я имъ въ банѣ помазала бокъ-ать свой.

Никонъ всталъ и подошелъ къ ней.

— А нуко-сь встань, милая.

Она встала.

— Покажь бочокъ—я посмотрю ево, какъ зашибень...

Она стояла, повидимому, ничего не понимая, и только хлопала глазами.

— Покажь, раба божія, бокъ-ать—разстегни рубаху...

Она не шевелилась.

— Дай-ко я самъ, милая...

И Никонъ сталъ растегивать ея сборчадый воротъ...

Она не давалась...

— Постой, постой, глупая: для тебя же...

„Може надоть такъ... такъ надоть...“ Эта мысль побѣдила ее, и она безсильно опустила руки—покорилась... „Такъ надоть... Онъ святой... бѣса изгоняеть...“

Старикъ дрожащими руками распустилъ воротъ рубахи и спустилъ ее до пояса... Киликейка закрыла лицо руками и вся затрепетала...

Старикъ повернулъ ее къ свѣту, нагнулся, дотронулся, какъ до раскаленнаго желѣза, до правой, упругой, словно точеной груди, до розоваго соска—нѣсколько прижалъ...

— Не больпо?.. нѣту?.. А вотъ пониже малость сине... тутъ ушибъ...

Она, казалось, ничего не слышала, объ чемъ тотъ ее спрашивалъ... Голова какъ-будто кружилась, но не болѣла; все тѣло точно пылало...

— Послушать надоть сердце и легкія,—бормоталъ старикъ и, обхвативъ руками голыя плечи Киликейки, приложился щекой и ухомъ къ здоровому, лѣвому боку.

„Такъ надоть...“ Киликейка чувствовала своимъ тѣломъ горячую щеку старика... Борода щекотала ее... Щека все крѣпче прижимается къ боку, потомъ выше — къ груди самой, къ сосцу... Дѣдко губами прижимается къ сосцу...

„Такъ надоть... бѣса изгоняеть дѣдко...“

— Сердце доброе... здраво, хвалити Господа...

И къ правому боку дѣдко прижимается тихо, слушаетъ... А лѣвой рукой держится тамъ... за лѣвую грудь... жметъ ее маленько... „Такъ надоть...“

— И легкія добры,—бормочеть дѣдко:—только бокъ-ать елеемъ надо мазать... заживеть... все будеть здорово... А нѣтъ ли чего пониже?

Дѣдко тамъ что-то дѣлаеть у пояса сарафана... Онъ крестить груди... „Спаси, Господи, рабу божію“, говорить, „Киликейку...“

Все что-то у пояса возится, распускаеть сарафанъ... „Такъ надоть... Богородушка, спаси...“

— А бѣса мы крестомъ, да святымъ масломъ, да кропиломъ,—бормочеть дѣдко:—силенъ онъ, врагъ рода человѣческаго, а крестъ-ать

силнѣе ево живеть... А въ церкви кличешь? а? кличешь въ церкви на бѣса?

— Кличу и въ церкви.

— На херувимскую? а? тогда кличешь?

— Какъ дьяконъ кадиломъ кадитъ—кличу.

— И дома кличешь?

— И дома кличу... Епишку выкликаю... боюсь ево... Ахъ! ахъ!

Сарафанъ и рубаха упали на полъ... Киликейка, отнявъ руки отъ лица, увидѣла себя совсѣмъ голою...

— Ахъ, ахъ! матыньки!..

— Ничево, милая, ничево... Господь съ тобой... все это отъ Бога... тѣло все отъ Бога... не грѣшное... въ тѣлѣ нѣту грѣха—оно божье, какъ и травка, кринь сельный... Злоба токмо грѣховна...

Киликейка, не помня себя, желая только укрыться отъ глазъ, бросилась на грудь старика и, обхвативъ его, шептала въ безпамятствѣ:

— Ахъ, дѣдушко! охъ, стыдно! ахъ, стюдобушка! матыньки!

— Все тѣльцо елеемъ надоть освятить, все, миленькая!

— Охъ, стыдно, стыдно, дѣдушка мой!

— Все... все тѣльцо... всѣ уды... отъ бѣса...

— Охъ, умру!

— Все... все; а то бѣсъ силенъ...

— Дѣдушко! святой! матыньки! о-о!

Киликейка начала „выкликать“: съ нею сдѣлался истерическій припадокъ, а Никонъ стоялъ надъ нею съ крестомъ и брызгалъ на нее кропиломъ, что еще болѣе усиливало припадки „порченой...“ \*).

## XI.

### Арестъ Морозовой.

Въ Москвѣ, между тѣмъ, нравственное и политическое раздвоеніе общества принимало угрожающіе размѣры. Взаимная борьба отклонившихся одна отъ другой половинъ московскаго общества становилась открытою и фанатизмъ отклонившихся отъ правительства обострялся тѣмъ болѣе, чѣмъ круче принимались мѣры противъ непокорныхъ. Преслѣдованіе, такъ сказать, воспитывало и закаляло политическую твердость и неподатливость преслѣдуемыхъ: коли люди безстрашно и охотно сами идутъ добровольно умирать за что-то „свое“ и считаютъ эту смерть славною, мученическою, то всеконечно истина на сторонѣ преслѣдуемыхъ, а не преслѣдователей...

---

\*) Эпизодъ съ Ларкой поваркомъ и съ его „добро-ста“, равно съ застрѣленнымъ „бакланомъ“ и сцена съ Киликейкою въ кельѣ—не авторское измышленіе, а историческіе факты, которые любопытствующій читатель можетъ видѣть въ „Исторіи Россіи“ Соловьева (т. XI, стр. 392 и т. XIII, стр. 245) и тамъ же—въ показаніи старца Іоны.

Увѣренность эта, какъ воздухъ, невѣдомыми путями проникала вездѣ: въ мужичью избу, въ купеческій домъ, въ боярскія палаты, въ монастырь и во дворецъ: вездѣ, словно изъ земли, выростали эти отколовшіеся, эти „раскольники“, какъ ихъ тогда называли,—и царь, и царская дума, и всѣ приказы, какъ паутинной, опутаны были тайною сѣтью отколовшихся, начиная отъ сѣнныхъ дѣвушекъ и кончая думными боярами и даже женскими членами царскаго семейства. Ни одно тайное распоряженіе или даже намѣреніе, ни одно слово, сказанное даже шепотомъ во дворцѣ, не оставалось тайнымъ для отколовшихся: они все это узнавали во-время и принимали „свой“ мѣры. Власть теряла подъ собою почву, теряла голову, и дѣлала еще болѣе крупныя ошибки, именно дѣлала то, чего не слѣдовало, что подрубало подъ корень ея популярности, отнимало у нея послѣднихъ союзниковъ: они становились въ ряды преслѣдуемыхъ, ибо преслѣдованіе заразительно: оно заражаетъ здоровыя мѣста, какъ чесотка—только чрезъ прикосновеніе... Чѣмъ болѣе усиливалось шпіонство со стороны власти, чѣмъ усерднѣе и искуснѣе стали дѣйствовать эти „никоніанскіе волки“, тѣмъ болѣе усиливалось сопротивленіе отколовшихся, тѣмъ безтрепетнѣе дѣйствовали они и тѣмъ быстрѣе формировались ихъ тайныя легіоны...

Какъ только „волки“, или по тогдашнему „волци“, посѣтили Морозову въ день казни Стеньки Разина и пригрозили ей отнятіемъ вотчинъ, если она не изъявитъ покорности, такъ тотчасъ же, мягкая по природѣ, она сама превратилась въ волчицу и на угрозу отвѣчала угрозой — принять мученическую смерть. Мало того, она тотчасъ же объявила старицѣ Меланіи, что рѣшилась постричься — навсегда порвать связи со всѣмъ, съ чѣмъ соединила ее знатность ея рода и ея высокое положеніе при дворѣ...

„Волци“ начали пробираться во всѣ знатныя и незнатныя, почему-либо подозрительныя, дома, а когда дѣлать это днемъ стало стыдно, то „волци“ пробрались въ такіе дома по ночамъ, обманомъ, „яко тати“, чувствуя нечистоту своего дѣла и боясь уличнаго соблазна.

Когда Морозова объявила Меланіи о своемъ непремѣнномъ желаніи „воспріять ангельскій чинъ“, хитрая, осторожная и умная старица, которой не могли вынюхать и выслѣдить никакіе „волци“, несмотря на строжайшее повелѣніе объ этомъ „съ верху“ и со стороны дававшихъ властей,—неуловимая, съ рысьими глазами, старица всѣми силами старалась отклонить ее отъ этого рокового и опаснаго шага.

— Какъ ты, матушка, утаишь экое великое дѣло?—говорила она:—пронюхаютъ о семъ „волци“, и будетъ намъ, овечкамъ, послѣдняя горше первыхъ. Одно то, что въ своемъ дому тебѣ, миленькая, утаить сего нельзя будетъ: „волци“ гораздо чуютъ, гдѣ кровію пахнетъ. А увѣдано будетъ это царемъ, многія, охъ, многія скорби будутъ многимъ людямъ распросовъ ради, чтобъ только узнать, кто постригъ. Охъ, сколько овечекъ невинныхъ на дыбу взволокутъ! А бѣжать тебѣ изъ дому, что Варварѣ Великомученицѣ—такъ отъ того и горшія бѣды живутъ. А ежели и удасться это — не провѣдаютъ „волци“—такъ новая бѣда странничкомъ при-

бредеть: придетъ пора сына Иванушку боярченка бракомъ сочетать, пещись о свадебныхъ чинахъ и уряженіи; а сіе инокинямъ не подобаешь... А какъ ты укроешься отъ поповъ и „волковъ“? Вить въ церковь — ту тогда тебѣ ходить нельзя будетъ: ты не то что мы, мыши подпольныя — насъ и „волци“ не пымають—ужь больно мы махоньки, да чорненьки...

Но воля Морозовой не пошатнулись при видѣ картины будущиѣхъ ужасовъ: ей казалось, что съ Лобнаго мѣста, съ высоты эшафота, къ ней повернулась голова человѣка, сдавленнаго между дубовыхъ досокъ, и большіе, какіе-то могучіе глаза, смотря въ ея очи, говорили: „видишь, сестрица, какъ умирають за правду: умри и ты такъ, и приходи скорѣй ко мнѣ...”

— Степа! Степа! я хочу къ тебѣ! — страстно прошептала молодая боярыня.

— Что съ тобой, матушка! — изумленно спросила Меланія:—какой Степа?

Морозова опомнилась и перекрестилась... „Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка“, звучало у нея въ сердцѣ, и этотъ голосъ, казалось, звалъ ее къ себѣ...

— А помнишь отца Аввакума?—спросила она.

— Помню, матушка, нашего свѣта-учителя.

— Я по немъ гряду...

Меланія должна была покориться — и молодую красавицу-боярынюку постригли.

Когда, во время тайнаго постриженія, отецъ Досиѣей, исполняя обрядъ, бросилъ на полъ ножницы и сказалъ: „подаждь ми ножницы сія“;—Морозова упала на колѣни и, подавая ножницы, страстно ломала руки.

— Урѣжь всю косу! всю мою русу косыньку остригни, батюшко,—молила она:—ноженьки Христовы я своею косою утирать хочу!

А сестра, молодая княгинюшка Овдотья Урусова, глядя на распущенную роскошную косу сестры, какъ до нея коснулись ножницы постригавшаго попа, плакала навзрыдъ, не имѣя силы отогнать отъ себя знакомой пѣсни, которую пѣли надъ ея сестрою и надъ этою русою косою въ день свадьбы:

Вечоръ мою русу косыньку дѣвыньки-подруженьки заплетали...  
Охъ-и моя косынька русая, кому тебя расплетать будетъ?..

— Вонъ кто расплелъ, Господи!

А самой Морозовой во время постриженія думалось не то. Ей представлялась ея роскошная расплетенная коса въ рукахъ палача, тамъ, на Красной площади, на Лобномъ мѣстѣ, откуда смотрѣли на нее незабываемые ея глаза предъ тѣмъ моментомъ, какъ голова вмѣстѣ съ этими глазами скатилась на помость... И смотреть на нее, на Федосью, всюю Москвою—и бояре, и князи, и самъ царь со всею своею дворскою челядью: то ея послѣдній дѣвичникъ, послѣднее расплетаніе русой косыньки... Только



свѣтъ Аввакумушко не увидитъ—далеко онъ, далеко, тамъ, куда и солнышко рѣдко заглядываетъ...

„Волци“ скоро, однако, провѣдали о постриженіи Морозовой и доложили царю. Царь видѣлъ, что шатость проникла и къ нему во дворъ, что скоро, можетъ быть, на сторонѣ Аввакума окажется вся Москва и онъ увидитъ себя на своемъ тронѣ болѣе одинокимъ нравственно, чѣмъ Аввакумъ въ своемъ мрачномъ подземельѣ, а Аввакумовъ врагъ, Никонъ—въ кельяхъ Ферапонтова монастыря... Царь рѣшился топоромъ и висѣлицей задушить внутреннюю крамолу—показать своей „огнеопальный гнѣвъ“ на такой крупной въ московскомъ государствѣ личности, какъ боярыня Морозова—его же, царская родственница...

— Подсѣку сей кедръ ливанскій!—сказалъ онъ, вспыхнувъ:—а горькія осинки и сами усохнутъ.

Юная Софьюшка царевна, слышавшая эти слова и страстно любившая свою „тетю Федосьюшку“, которая бывало кармливала ее коломенской двухсоюзной пастилой, тотчасъ же шепнула объ этомъ своей сѣнной дѣвушкѣ, чтобъ та предупредила „тетю Федосьюшку о гнѣвѣ батюшкыномъ“...

— Тяжко ей бороться со мною: одинъ кто изъ насъ одолѣетъ,—часто потомъ повторялъ Алексѣй Михайловичъ, задѣтый за живое удаленіемъ отъ него такого украшенія его двора, какъ боярыня Федосья.

Тѣмъ зловѣщѣе звучали эти слова „тишайшаго“, что передъ царемъ у нея уже не было прежней заступницы, царицы Марьи Ильишны, недавно „переставившейся“: ея мѣсто занимала молодая царица, вся пропитанная „новшествами“, Наталья Кирилловна Нарышкина.

— Пускай и она посмотритъ, чья коса лучше—ейная или моя, какъ мою косу на Лобномъ мѣстѣ будетъ палачъ расплетать,—говорила Морозова, намекая на Наталью Кирилловну.

Какъ ярко сказала женщина въ этихъ словахъ, такая даже женщина, которая искала смерти во имя своей идеи!.. Чья коса лучше?.. Морозова знала цѣну своей русой косѣ: она увѣрена была, вопреки пословицѣ, что и снявши голову по ея косѣ заплачутъ...

Разъ вечеромъ, глубокой осенью 1671 года, князь Урусовъ, воротившись изъ дворца, гдѣ онъ по своему положенію бывалъ каждый день, сказалъ своей женѣ: „Дунюшка! съѣзди къ сестрѣ Федосьѣ и скажи ей отай, что нонѣ ночью будетъ къ ней съ Верху присылка: скорби великія грядутъ на нее... Содержимый неукротимымъ гнѣвомъ царь соизволяетъ на томъ, чтобы вскорѣ изгнать ее изъ дому... Да смотри не мѣшкай: простися только съ ней—можетъ въ семь вѣкъ больше и не увидите“...

Какъ громомъ поразила эта вѣсть весь богатый и многолюдный домъ Морозовой, только не самое хозяйку: гордая радость блеснула въ ея добрыхъ глазахъ... „Приспѣ бо часъ пострадать... Слышишь, Степа, братецъ мой духовный!“ колотилось у нея въ сердцѣ.

„Расплетутъ косыньку, расплетутъ, чѣмъ бы ножки Христовы утереть“...

Но въ тотъ же моментъ она вспомнила: что съ нею „волца“ могутъ захватить и всёхъ проживавшихъ въ ея домѣ старицъ и бѣлицекъ. Она тотчасъ же собрала ихъ въ своей моленной.

— Матушки мои, голубицы!.. — говорила она собравшимся: — время мое пришло ко мнѣ... Идите вы всё куда васъ Господь наставитъ, а меня благословите и помолитесь, чтобъ Господь вашихъ ради молитвъ укрѣпилъ меня страдать о имени Господни.

Пораженныя ея словами, старицы и бѣлички не хотѣли оставлять своей „сестрицы-крина сельнаго“: онѣ хотѣли умереть вмѣстѣ съ нею...

— Мы съ тобой, мы съ тобой, нашъ кринъ сельный-цвѣточекъ лазоревый!—страстно молилась Акинфеюшка:—и мы хотимъ вѣнцовъ мученическихъ! Мы хотимъ, чтобъ у царя не достало ни вѣнцовъ, ни желѣза!

Но осторожная Меланія умирала бурю.

— Не приспѣ бо часъ нашъ, сестрицы миленькія!—сказала она: — пойдемъ въ міръ, пронесемъ слово божіе по всей землѣ... Приспѣетъ и нашъ часъ: и наши головы будутъ въ вѣнцахъ торчать на кольяхъ.

И все это собираще въ тотъ же вечеръ разсыпалось по Москвѣ еще болѣе нафанатизированное.

Остались только Морозова и Урусова. Последняя не послушалась мужа—не воротилась домой, чтобъ уже и никогда больше не возвращаться туда...

— Мама! мама!—влетѣлъ юный Морозовъ, Ванюшка, въ опочивальню, гдѣ сидѣли сестрицы.—Знаешь что, мама?

Сердце у матери дрогнуло при видѣ раскраснѣвшагося юноши; но это же страстное сердце подсказало ей: „пушай и онъ видитъ мою косу на Лобномъ... Мы читали о Матери, плакавшей при крестѣ, на коемъ былъ распятъ Сынъ: пушай по моей смерти будутъ честь о сынѣ, стоящемъ у матерней плахи и плачущемъ“...

— Что, сынокъ?—спросила она и со страстью перекрестила его курчавую голову.

— Я завтра, мама, поѣду къ Дюрдѣ на новомъ иноходцѣ и на новомъ черкасскомъ сѣдлѣ,—радостно сказалъ юноша.—Ахъ, мама, какая ты черничкою стала хорошенькой!.. Такъ можно ѣхать, мама?

— Добро, родной, поѣзжай; а теперь поди почивать.

Мать снова перекрестила юношу, и онъ ушелъ... Ни онъ, ни она не знали, что больше не увидятся...

---

Время за полночь. На дворѣ слышится вѣтеръ. Намокшія отъ дождя и растаявшаго снѣга вѣтви деревьевъ, что за переходами, хлещутъ въ окна переходовъ. Морозова и Урусова стоятъ въ той же моленной у аналоя передъ раскрытою книгою, освѣщаемую висящими лампадами. Тихо въ домѣ.

— Никакъ стучать, сестрица?—прислушивается Урусова.

— Это стучатся къ намъ въ окна голыя вѣтки — имъ холодно безъ листьевъ,—задумчиво отвѣчаетъ Морозова.

— И то, сестрица, вѣтки... А чти-ко дальше...

Морозова читала: „Тогда глагола имъ Исусъ: вси вы соблазнитесь о мнѣ въ ночь сію. Писано бо есть: поражу пастыря, и разыдутся овцы стада. Отвѣщавъ же Петръ рече ему: аще и вси соблазнятся о тебѣ, азъ никогда же соблажнюся. Рече ему Исусъ: аминь глаголю тебѣ, яко въ сію ночь, прежде даже алекторъ не возгласитъ, три кратно отвержшися мене. Глагола ему Петръ: аще ми есть и умерети съ тобою, не отвергнуся тебе. Такжеже и вси учиницы рѣша. Тогда прииде съ ними Исусъ въ весь, нарицаемую Геосиманія, и глагола ученикамъ: съдите ту, дондеже шедъ, помолюся тамо. И поемъ Петра и оба сына Зеведеова, начатъ скорбѣти и тужити. Тогда глагола имъ Исусъ: прискорбна есть душа моя до смерти: пождите здѣ и бдите со мною. И пришедъ мало, паде на лицѣ своемъ моляся и глаголя: Отче мой, аще возможно есть, да мимо идетъ отъ мене чаша сія: обаче не яко же азъ хошу, но яко же ты“...

— Нѣтъ! нѣтъ! я не отвергусь! — какъ бы въ забывчивости проговорила Урусова...

— Что съ тобой, Дуня?—спросила Морозова.

— Я не отвергусь отъ тебя, какъ Петръ, сестрица! — прошептала молодая княгиня.

— Полно, Дунюшка... Вонъ и Христось молился о чашѣ...

— Молись и ты, милая!

— Почто! можетъ, мнѣ и не уготована чаша: вонъ никто нейдетъ.

Онѣ снова стали прислушиваться: деревья шумѣли и хлестали въ окна попережнему... Запѣлъ гдѣ-то пѣтухъ, за нимъ гдѣ-то дальше другой...

— Вотъ и алекторъ возгласилъ,—задумчиво сказала Урусова...

— За полночь время видно, стыдятся рано брать меня...

— И Христа ночью брали... А прочти, сестрица, отъ Луки то мѣсто, какъ они пришли.

Морозова стала перелистывать книгу, и, наконецъ, нашла, что искала...

— Вотъ... „Еще же ему глаголющу, се народъ, и нарицаемый Иуда, единъ отъ обоюнадесяте, идяше предъ ними; и приступи ко Исусови пѣловати его. Сіе бо бѣ знаменіе далъ имъ: его же аще лобжу, той есть. Исусъ же рече ему: Иудо, лобзавіемъ ли сына человѣческаго предаеши? Видѣвши же, иже бѣху съ нимъ, бываемое, рѣша ему: Господи, аще ударимъ ножемъ? И удари единъ нѣкій отъ нихъ архіереова раба, и урѣза ему ухо десное. Отвѣщавъ же Исусъ рече: оставите до сего. И коснувся уха его, испѣли его. Рече же Исусъ ко приходшимъ нанъ архіереомъ и воеводамъ церковнымъ и старцемъ: яко на разбойника ли изыдете со оружіемъ и дреколями яти мя? По вся дни сущу ми съ вами въ церкви, не прострете руки на мя. Но се есть ваша година и область темная“...

— Охъ, точно, сестрица: ихъ година ночная и темная — все ночью берутъ и на Москвѣ...

— Воистину, сестрица: неправда боится свѣту, яко тать...

Послышался глухой стукъ въ большія ворота. Звякнула желѣзная щеклда, и снова, казалось, все стихло.

— Пришли... я слышала щеколду, — дрогнувшимъ голосомъ сказала Урсова.

— Еще не цѣпи, не топоръ,—загадочно отвѣчала Морозова, взглянувъ на образа.

Послышался скрипъ главныхъ воротъ и какое-то бряцанье, словно цѣпями. На дворѣ испуганные голоса...

— Они... я слышу... на дворѣ...

— Съ оружіемъ и дрекольми, поди,—горько улыбнулась Морозова.

Въ постельную испуганная и дрожащая вошла старая няня.

— Охте намъ! Владычица!..

— Уйди! уйди, няня!—строго сказала боярыня: — это не къ тебѣ, а ко мнѣ... Уходи, иди къ Ванѣ!

Старушка, обхвативъ голову и качаясь изъ стороны въ сторону, вышла.

Слышно было, какъ растворялись входныя въ палаты двери, раздавались голоса... Вотъ уже близко.

Морозова упала на лавку и въ отчаяніи ломала руки. Урсова, стоя на колѣняхъ, подвѣла къ ней руки.

— Матушка-сестрица! дерзай! Съ нами Христосъ, не бойся!

— Охъ, не боюсь я! сама того искала! — страстно отвѣчала Морозова: — а плачу о томъ, что страдала мало!.. Я боярыня-бѣлотѣлая, не изнурили меня, не измучили, я не заслужила вѣнца! Зачѣмъ я не смердовка голодная!

— Полно, полно, родная!.. Встань, положимъ начала... Идуть...

Морозова выпрямилась, и глаза ея снова блеснули... „ Попрошу, чтобы больше мучили—жгли бы боярское тѣло, вѣщами бы рвали“, мысленно порѣшила она.

Сестры, не торопясь, положили по семи приходныхъ поклоновъ. Дорогія чотки Морозовой звучали въ тактъ съ крупными жемчугами на шеѣ Урсовой, когда онѣ кланялись, шурша шелкомъ одеждъ — одна черной монашеской, другая—цвѣтной, княжеской.

— Благословимся свидѣтельствовать истину, — сказала Морозова, тяжело дыша отъ поклоновъ и внутренняго волненія.

— Благословимся, сестрица.

Сестры благословили одна другую. Урсова потянулась къ сестрѣ, чтобы обнять и поцѣловать ее.

— Не прикасайся мнѣ, не убо взошла къ Отцу моему,—тихо отстранила ее Морозова.

— Что съ тобой, сестрица?—изумленно спросила молодая княгиня.

— Развѣ ты забыла, что мнѣ и съ сестрой нельзя цѣловаться: я инокня... Развѣ въ гробѣ поцѣлуешь меня...

Урсова застонала, и поклонилась сестрѣ въ ноги. Та отвѣтила ей такимъ же земнымъ поклономъ.

— Я лягу на одрѣ своей, а ты ложись тамъ, въ келейкѣ матери Меланіи, на ея одрѣ.

— Для чего ложиться, сестрица?

— А ты ноли хочешь на ногахъ встрѣтить волка грядуща въ овчарню и поклономъ почтить его?

— Нѣту, сестрица... А сидя?

— Недостойнъ онъ и того: тать входитъ въ домъ хозяину на одрѣ сушу... Это разбойники къ намъ идутъ...

Въ сосѣднихъ комнатахъ слышались шаги и голоса... „Гдѣ они?“ — „Въ опочивальнѣ... туда входитъ нельзя...“ — „Что ты, рабъ-холопъ! — мы царевымъ именовъ...“

Морозова, совсѣмъ одѣтая, легла на постель — „на одрѣ“, близъ иконы Пресвятыя Богородицы Феодоровскія. Урсова удалилась въ сосѣдную съ опочивальней келейку, гдѣ обыкновенно скрывалась Меланія, и всегда подъ чужими именами, потому что ее всегда разыскивали „волцы“ — и не могли найти: она была неуловима — сегодня она Анна, завтра Александра, послѣ завтра Киклія, Асклепіада, Нунеха, Вивея, Виринея, Овечка — и всѣ эти имена разыскивались и ни одна „Овечка“ не попадалась „волкамъ“ въ руки.

Морозова лежала съ открытыми глазами, перебирая четки, и, по непонятному ей сдѣвленію мыслей, вдругъ вся перенеслась въ прошедшее, въ свое дѣвичество, когда въ своей вотчинѣ, стоя у тѣнистаго пруда, она кормила лебедей, а изъ-за лѣсу неслись звуки охотничьей трубы...

У дверей опочивальни звякнуло что-то металлическое — „сабля стрѣльца, либо крестъ пона“ — и двери съ шумомъ растворились... Въ дверяхъ показался черный клубукъ надъ блѣднымъ лицомъ съ рыжею бородою, а за нимъ лысая голова съ узкими, постоянно моргающими глазками... Далѣе, въ глубинѣ слѣдующаго покоя звякали сабли и грубо топтались сапоги стрѣльцовъ...

— Се Іуда, — какъ бы читая евангеліе, проговорила вслухъ Морозова, не шевелясь и смѣло глядя на гостей: — се Іуда, единъ отъ обоюнадесяте прииде, и съ нимъ народъ многъ со оружіемъ и дрекольями.

Пришедшіе, какъ бы подзадориваемые этими словами, „дерзостно“ выступили на середину опочивальной.

— Ты кто? — обратилась Морозова къ клубуку, не перемѣняя своего положенія.

— Посоль отъ великаго государя, его царскаго пресвѣтлаго величества, Чудова монастыря архимаритъ Іоакимъ, — торжественно отвѣчалъ клубукъ.

— А меня, боярыня, я чаю знаешь? — спросила, щурясь глазами, лысая голова.

— Думнова дворянина Ларивона Иванова на Верху знавала, а разбойника Ларивона Иванова вижу впервые,—отвѣчала Морозова.

— Я не разбойникъ, а посоль царевъ, — гордо возразилъ думный дворянинъ.

— Царскіе послы не врываются по ночамъ къ честнымъ вдовицамъ въ опочивальни, яко тати и разбойники,—продолжала Морозова. — Почто вы днемъ не пришли?

— Не наше это дѣло, боярыня, а воля царева.

— Мы не спорить пришли,—перебилъ строго Іоакимъ: — а объявить волю цареву... Встань, боярыня.

— Не встану,—отвѣчала Морозова.

— Встань, говорю я!—настаивалъ Іоакимъ:—до тебя есть великаго государя слово, а его, лежа, слушать не подобаетъ.

— Не встану!—повторяла Морозова.

— Встань, да не впадеши въ напасть!

— Не встану! не шевельнусь!

И архимандрить, и думный дворянинъ даже назадъ попятились... Вотъ баба!..

— Трикраты говорю—встань!—хрипло повторилъ, архимандрить поднимая крестъ.

— Трикраты и стократы реку: не встану! перстомъ не пошевельну!

Послы въ недоумѣніи переглянулись: первый разъ въ жизни они наскочили на такой кремь-бабу!.. А она лежала такая молодая, красивая, вѣчная...

— Боярыня! Ѳедосья Прокопьевна!—взмолился архимандрить, боясь, чтобы и его не постигла опала за то, что онъ царскую титулу—экое великое дѣло!—говорить передъ лежащей на постели бабой:—боярыня! присядь по малости...

— Я не присяду передъ татями!—былъ отвѣтъ.

— Ахъ, Господи!—всплеснулъ руками Ларіонъ Ивановъ.

— Вы тати, разбойники, а не послы!—продолжала боярыня, теребя чотки:—вы, какъ жида за Христомъ, пришли за мной ночью, по писанію: „се есть ваша година и область темная“..

У архимандрита крестъ въ рукахъ заходилъ отъ волненія: онъ чувствовалъ, что евангельское слово о ночныхъ набѣгахъ на раскольниковъ указываетъ именно на нихъ, бьетъ по ихъ совѣсти... Ему стало стыдно и омерзительно... „Отчего не днемъ! Зачѣмъ таиться!..“ Краска стыда залила его лицо...

Онъ поспѣшилъ приступить къ формальному допросу.

— Великій государь царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ всеа Русіи указалъ тебя, боярыню Ѳедосью Прокопьеву дочь, Морозову, вопрошать: какимъ ты крестомъ крестишься?—началъ онъ торжественно, словно литію въ церкви.

— Я крещусь крестомъ истиннымъ—вотъ какимъ! Смотрите!

И Морозова, вытянув на поднятой правой рукѣ два вѣжныхъ, пухлыхъ пальчика, указательный и средній и пригнувъ остальные, стала широко и истоиво знаменоваться, сильно вдавливая пальцы въ бѣлый, какъ мраморъ, лобъ, въ животъ, въ плечи.

— Вотъ какъ я крещусь!—повторила она, гремя чотками.

Архимандритъ чувствовалъ, что онъ безсиленъ передъ этой женщиной, и нервѣшительно переминался на мѣстѣ... Онъ не зналъ, что ему дѣлать: Морозова такъ сильна при дворѣ и въ городѣ, что его же самого можетъ стереть въ порошокъ... „И се не бѣ“, вертѣлся у него на умѣ какой-то страшный текстъ...

— А гдѣ обрѣтается старица Меланія? — свернулъ онъ свой допросъ на другое, менѣе для него страшное лицо: — не у тебя ли въ дому?

— По милости божіей и молитвами родителей нашихъ, по силѣ нашей, убогій нашъ домъ всегда отверсть былъ для страшныхъ рабовъ христовыхъ: было время — были Сидоры и Карпы, и Меланіи, и Александры... нынѣ же никого изъ нихъ нѣту, — отвѣчала она съ горькой улыбкой.

Между тѣмъ, Ларіонъ Ивановъ прошелъ въ келейку Меланіи, думая найти тамъ эту опасную и неуловимую женщину... При слабомъ мерцаніи лампадки онъ замѣтилъ кого-то на скромной, изъ голыхъ досокъ и съ деревяннымъ изголовьемъ кровати — что-то цвѣтное...

— Кто ты?—спросилъ онъ съ невольной дрожью въ голосѣ.

— Я жена Петра Урусова,—былъ отвѣтъ.

Ларіонъ Ивановъ попытился назадъ со страху... Сейчасъ только онъ видѣлъ ея мужа, князя Урусова, у царя... Вонъ куда забрались они — истинно „тати“! Но отступать было уже поздно...

— Ты какъ крестишься, княгиня Евдокія Прокопьевна?—спросилъ онъ по указу.

И эта сложила два перста... Ужасные персты! И самъ онъ, Ларіонъ Ивановъ, когда-то, до новинъ этихъ, крестился этими же перстами... И теперь рука невольно такъ слагается... „Охъ, Никонъ, Никонъ“!...

— Господи Иусе Христе Сыне божій, помилуй мя грѣшную,—произнесла Урусова:—сице азъ вѣрую!

Ларіонъ Ивановъ и руками объ полы ударился... „Ну, наскочили!“ вертѣлось у него на языкѣ.

— Охте-хте-хте, — качалъ онъ лысою головою, возвращаясь въ опочивальню.

Какъ-то безпомощно и боязливо переглянулись царскіе послы... Что тутъ дѣлать? какъ быть? — и ума не приложить... Стрѣльцы въ дверь заглядываютъ и тяжело вздыхаютъ, ерзгая сапожками и боясь чихнуть... „Эка службушка! собачья, полуношная... Боярынька-ту пышечка лежитъ — ишь лазоревый твяточекъ — пыпочка какая“!...

Надо же что-нибудь дѣлать посламъ.

— Пожди меня малость... Пойду доложусь великому государю, — глазу проговорилъ архимандритъ.

Не глядя на Морозову, онъ вышелъ, оставивъ Ларіона Иванова съ глазу на глазъ съ боярынею. Ларіонъ стоялъ у притолки, стараясь не глядѣть на хозяйку; а она, все въ томъ же положеніи, перебирая чотки, громко и нараспѣвъ, какъ обыкновенно читаются „страсти“, читала наизусть: „Спира же и тысящикъ и слуги іудейскія яша Исуса, и связавши его, и ведоша его ко Аняѣ первѣ: бѣ бо тестъ Каіафѣ, иже бѣ архіерей лѣту тому. Вѣ же Каіафа давыи совѣтъ іудеомъ, яко уне есть единому челоуѣку умрети за люди. По Исусѣ же идяше Симонъ Петръ и другіи ученикъ: ученикъ же той бѣ знаемъ архіерееви, и вниде со Исусомъ во дворъ архіереевъ. Петръ же стояше при дверехъ внѣ. Изыде убо ученикъ той, иже бѣ знаемъ архіерееви, и рече дверницѣ, и введе Петра. Глагола же раба дверница Петрови: егда и ты ученикъ еси челоуѣка сего? Глагола онъ: нѣсмъ. Стояху же раби и слуги огнь сотворше, яко зима бѣ, и грѣяхуся: бѣ же съ ними Петръ стоя и грѣяся. Архіерей же вопроши Исуса о ученицѣхъ его, и о учении его. Отвѣща ему Исусъ: азъ необинуяся глаголахъ міру, азъ всегда учахъ на сонмищихъ и въ церкви, идѣже всегда іудее снемлются, и тай не глаголахъ ничесоже. Что мя вопрошаеши? вопроши слышавшихъ, что глаголахъ имъ? се сіе вѣдятъ, яже рѣхъ азъ. Сія же рекшу ему, единъ отъ предстоящихъ слугъ удари въ ланиту Исуса, рекъ: тако ли отвѣщаваеши архіерееви? Отвѣща ему Исусъ: аще злѣ глаголахъ, свидѣтельствуй о злѣ; аще ли добрѣ, что мя біеши“?..

Это ровное, какъ бы плачущее чтеніе „страстей“ подъ гулъ вѣтра за окнами производило потрясающее впечатлѣніе и на Ларіона Иванова, который обливался потомъ, и на стрѣльцовъ, тяжело дышавшихъ въ сосѣднемъ покоѣ и не смѣвшихъ пошевельнуться...

Всѣ ждали возвращенія отъ царя архимандрита...

## ХІІ.

### Стрѣлецъ Онисимко.

Архимандритъ нашелъ царя въ грановитой палатѣ.

Была еще ночь, но Алексѣй Михайловичъ не спалъ. Послѣдніе смутные годы, борьба съ Никономъ и судъ надъ нимъ, напряженное преслѣдованіе раскола, который, повидимому, росъ съ поражающей силой, чувствуемая имъ атмосфера скрытаго неповиновенія даже въ самомъ дворцѣ—лишили его спокойнаго сна болѣе, чѣмъ внѣшнія войны и неудачи. Онъ сталъ необыкновенно подозрителенъ. Потерявъ нравственное равновѣсіе, онъ принималъ мѣры одна другой суровѣе, не хотѣлъ поступиться ничѣмъ и былъ поражаемъ на каждомъ шагѣ своими же собственными мѣрами. Онъ видѣлъ, что народъ отъ него отшатнулся. Прежде, во время выѣз-



довъ, народъ тѣснился къ нему волнами, давилъ и заглушалъ его выраженіями своего восторга; а теперь народъ, видимо, сторонился отъ него, избѣгалъ встрѣчи, чтобы не попасться въ руки „волковъ“, рыскавшихъ день и ночь по Москвѣ въ погонѣ за раскольниками и тайными крамольниками.

Царь это видѣлъ, волновался и дѣлалъ новыя ошибки и обиды обществу...

И сегодня онъ плохо спалъ, ожидая вѣсти о томъ, какъ Морозова приняла его волю...

„Всѣ точно сговорились скорѣе свести меня въ могилу“,—думалъ онъ, сидя въ гранитной палатѣ, окруженный боярами и ожидая возвращенія послѣвъ отъ Морозовой.

Царь былъ въ шапкѣ, какъ онъ обыкновенно принималъ бояръ раннимъ утромъ. Раннее утро въ то время начиналось вскорѣ послѣ полночи, ибо въ то время люди еще не привыкли проводить за дѣлами и за удовольствіями напролетъ цѣлыя ночи и ложились вмѣстѣ съ курами и вставали съ курами же. Въ послѣднія пять лѣтъ, что мы не видали Алексѣя Михайловича, онъ много измѣнился и постарѣлъ. Ясность взгляда и прозрачность сквозившей въ немъ души замѣнилась чѣмъ-то тусклымъ, безжизненнымъ. Глаза его глядѣли прямо и какъ-то взглядывали пытливо и недовѣрчиво, какъ бы выпытывая: что-де тамъ у него на душѣ?.. Лицо какъ-то осунулось, одряблѣло; углы губъ опали; сѣдина на вискахъ бѣлѣла, словно серебряная мишура...

По бокамъ его, въ отдаленіи, статуynomъ образомъ, стояли бояре. Видно было, что многіе изъ нихъ не выспались, но зѣвать боялись: зѣвалъ одинъ царь и крестилъ ротъ рукою. Только глаза дьяка Алмаза Иванова чернѣлись на пергаментномъ лицѣ, осмысленно переносясь съ царя на бояръ и съ бояръ на царя; видно, что эти рабочіе глаза привыкли къ безсонницѣ и начинали свою службу всегда съ пѣтухами. Петръ Урусовъ тревожно поглядывалъ на царя и на дверь. Артамонъ Сергѣевичъ Матвѣевъ кивалъ тихо головою, выслушивая какія-то нашептыванья князя Юрья Долгорукова.

У царскаго сидѣнья, нѣсколько позади, стояли въ бѣлыхъ кафтанaxъ и высокихъ шапкахъ молоденькіе съ розовыми щеками, словно херувимчики, рынды и совѣтъ дремали.

Тихо и робко вступилъ въ палату Іоакимъ и низко поклонился царю и боярамъ.

— Что, отецъ архимаритъ, винится боярыня? — торопливо проговорилъ царь, такъ что дремавшіе рынды вздрогнули и попятились.

— Сопротивляется, великій государь.

Архимандритъ рванулся было сказать, что боярыня не встала даже передъ „царской титлой“, но спохватился и замолчалъ.

Алексѣй Михайловичъ какъ-то безпокойно откинулся на сидѣнье и передвинулъ шапку выше на лобъ, какъ-будто бы ему стало жарко.

— Такъ гнушается нами? не крестится? — спрашивалъ онъ съ видимымъ раздраженіемъ, подозрительно взглядывая на бояръ.

— Не крестится, великій государь. Да и княгиня Овдотья, князь Петра Урусова...

— Но и она тамъ?—перобилъ Алексѣй Михайловичъ.

— Тамотка, великій государь.

Алексѣй Михайловичъ глянулъ на Петра Урусова: онъ былъ увѣренъ въ его татарской, собачьей вѣрности. Урусовъ стоялъ блѣдный...

— Точно, великій государь, я не нашель жены дома и не зналъ, гдѣ она обрѣтается,—сказалъ онъ какъ бы на нѣмой вопросъ царя.

— Княгиня тамотка,—повторилъ архимандритъ.

— Что жъ она?—спросилъ царь.

— И она, великій государь, крѣпко сопротивляется твоему повелѣнію.

Царь взглянулъ снова на Урусова.

— Не думаю, чтобъ было такъ: слышалъ я, что княгиня смиренна, не гнушается нашей службы... Но та сумасбродная люта.

Урусовъ молчалъ. И рынды, и бояре косились на него, не то съ сочувствіемъ, не то съ боязнью. Онъ вспомнилъ, что вѣчеромъ, отсылая жену къ сестрѣ—предупредить объ опасности, онъ сначала просилъ свою „Дунюшку“ поскорѣ воротиться домой; но когда она на прощанье обняла его и, положивъ голову на плечо, шептала тихо и нѣжно: „Петруша, Петрушенька мой, соколикъ ясный! что жъ будетъ съ нами“? — онъ отвелъ отъ себя лицо ея съ заплаканными глазами и почти шопотомъ сказалъ: „Княгиня! послушай, еже азъ начну глаголати тебѣ, ты же внемли словеса мѣ Христовымъ... Онъ рече въ евангеліи, свѣтъ нашъ: предадутъ на сонмы и темницы... не убойтесе отъ убивающихъ тѣло и потомъ не могущихъ лише что сотворити“...

Царь сурово задумался и бормоталъ про себя: „тяжко ей бороться со мною—одинъ кто одолѣетъ“...

Онъ поднималъ голову и окинулъ глазами бояръ: онъ рѣшился...

— Отгнать ее отъ дому! — было окончательное рѣшеніе. — Быть по сему!

Іоакимъ еще ниже поклонился и вышелъ не поднимая головы.

Когда онъ воротился въ домъ Морозовой, то первымъ его дѣломъ было собрать всю челядь въ переднія обширныя палаты и подвергнуть общему допросу о сложеніи перстовъ.

— Какимъ крестомъ вы креститесь?—спросилъ онъ, вода своими холодными глазами по рядамъ челяди „мужска и женска пола“.

— Правымъ крестомъ!—послышались голоса.

— Подымите руки и сложите персты.

Руки не подымались. Всѣ поглядывали другъ на друга и только переминались на мѣстѣ, ожидая, кто первый покажетъ примѣръ. Но никто не рѣшался быть первымъ.

— Креститесь!—повторилъ Іоакимъ свой приказъ инымъ образомъ.

Стоять и перемянаются. Надо начать самому.

— Сиде ли креститесь?—поднял онъ руку.—Такъ ли?

— Такъ... такъ, батюшка!

— Подымите руки!

Руки поднялись—сначала робко, мало, потомъ всё и высоко... Не поднялись только двѣ руки. Іоакимъ увидѣлъ двухъ женщинъ — одну молодую, съ блѣднымъ красивымъ лицомъ и черными глазами, смѣло глядѣвшими изъ-подъ чернаго платка, и другую — пожилую, съ лицомъ благодушнымъ и кроткими глазами.

— Какъ тебя зовуть?—обратился онъ къ пожилой съ кроткими глазами.

— Степанидой звали,—отвѣчало благодушное лицо.

— Степанида Гнѣвная,—подсказалъ кто-то изъ челяди.

— Ты какъ крестишься, Стефанида?—снова обратился къ ней Іоакимъ.

— Вотъ такъ, батюшка, какъ отцы и дѣды крещивались и какъ допрежъ сево самъ осударь царь Лексѣй Михайлычъ маливался, — добродушно отвѣчала Степанида Гнѣвная.

— А тебя какъ зовуть?—обратился Іоакимъ къ младшей.

— Анной,—быль отвѣтъ.

— Аннушка... Анна Амосовна,—подсказалъ кто-то изъ челяди снова.

— Ты какъ, Анна, крестишься?—продолжался допросъ.

— Такъ, какъ и Степанида жъ.

Іоакимъ пожалъ плечами и велѣлъ стоявшимъ у дверей стрѣльцамъ отдѣлать отъ прочихъ „рабовъ и рабынь“ Морозовой Степаниду Гнѣвную и Анну Амосовну, и, распустивъ остальныхъ, пошелъ въ опочивальню.

Теперь онъ вошелъ къ молодой боярынь смѣлѣе, чѣмъ прежде. Морозова продолжала лежать, а Ларіонъ Ивановъ сидѣлъ на лавкѣ, видимо, пересиливая клонившій его голову сонъ.

— Встань, боярыня! выслушай стоя царскую титулу и указъ!—сказалъ Іоакимъ торжественно.

— Не встану; я встаю токмо предъ титулою царя небеснаго, — былъ отвѣтъ упрямой боярыни.

Архимандритъ откашлялся и взглянулъ на Ларіона Иванова. Тотъ стоялъ навътяжку, ожидая царской титулы — экое великое дѣло!—титула царева...

— Великій осударь Алексѣй Михайловичъ всея Русіи указать изволилъ,—громко провозгласилъ архимандритъ и остановился.

— Ну, досказывай, чернецъ,—кинула слово гордая боярыня.

— Указать изволилъ: тебя, боярыню Федосью, Прокопьеву дочь, Морозову, отгнать отъ дому!

— Только-то!—презрительно улыбнулась боярыня, не перемѣняя своего положенія:—я сама себя отъ него и отъ смраднаго боярскаго сана давно отгнала.

— Не гордись, не гордись, боярыня!

— Ты гордишься своимъ холопствомъ у царя, а не я.

— То-то не умѣла ты жить въ покореніи, но утвердилась въ прекословіи своемъ; такъ полно тебѣ жить на высотѣ—сниди долу... Встань и иди отсюда.

Морозова продолжала лежать и только усиленно перебирала четки. Стрѣльцы изъ другого покоя робко просовывали въ дверь головы, чтобы взглянуть на боярыньку... „Эка лебедушка бѣлая!.. поди вить и впрямь святая—и царя не боится... Эка красавица!“...

— Встань и иди!—настаивалъ Іоакимъ.

— Не пойду... силой, аки мертвую, вынесете,—былъ отвѣтъ упрямыицы.

— Ахъ, ты Господи!—Іоакимъ даже руками ударился объ полы.

— И впрямь нести надоть,—посоветовалъ Ларіонъ Ивановъ:—долго-ль еще короводиться намъ тутотка! Вонъ скоро свѣтъ.

Въ окна уже, дѣйствительно, заглядывало морозное утро. Дождь и снѣгъ перестали: вѣтеръ дулъ съ полуночи, сиверко. Истомились и стрѣльцы.

— Позовите рабынь!—приказалъ имъ архимандритъ.

Стрѣльцы метнулись искать „рабынь“ и скоро привели Степаниду Гнѣвную и Анну Амосовну. Тѣ со слезами бросились цѣловать руки у своей госпожи.

— Полно, полно, голубицы мои! не плачьте!—съ чувствомъ говорила Морозова:—не плачьте, а радуйтесь за меня... я больше не боярыня: отъ меня не смердитъ кровью...

— Матушка наша, святая ты наша! золотъ перстень! — плакались „рабыни“.

— Сымите ее съ ложа и посадите на сѣдалище сіе.

Іоакимъ указалъ на стоявшее у постели высокое, обитое золотною матерію кресло.

— Сымите меня, голубицы мои!—сказала въ свою очередь и Морозова:—я не повинуюсь еретикамъ, такъ пушай несутъ меня силою.

— Что ты! что ты, золотъ перстень!

— Сымите, други мои,—я повелѣваю вамъ!—настаивала боярыня.

„Рабыни“ повиновались и бережно усадили свою госпожу въ кресло. Іоакимъ позвалъ четырехъ стрѣльцовъ, стоявшихъ у дверей. Они робко вошли и поклонились хозяйкѣ.

— Здравствуйте, милинькіе!—ласково отвѣчала она имъ поклономъ.

— Возьмите и несите изъ дому,—распоряжался Іоакимъ.

Стрѣльцы попрежнему робко подошли къ кресламъ, но не рѣшались ихъ взять.

— Верите, милинькіе, — ободрила ихъ хозяйка.

Стрѣльцы нагнулись, осторожно приподняли кресло съ молодою боярынею и понесли чрезъ всѣ богатя палаты къ выходу.

За креслами шла Урусова, повторяя: „я не отвернуся тебе, сестрица... Апостоль Петръ отвергся, и изшедь вонъ плакася горько, а я не отвернуся“...

Тутъ же шли Степанида Гнѣвная и Анна Амосовна и плакали. Іоакимъ и Ларіонъ Ивановъ открывали шествіе.

Изъ внутреннихъ покоевъ показалось испуганное лицо юноши: это былъ сынъ Морозовой, Ванюшка, Иванъ Глѣбовичъ... Мать не видала его и не оглядывалась: она думала, что онъ спитъ...

„На новой лошаdkѣ, на иноходцѣ, и на черкасскомъ сѣдельцѣ хотѣлъ голубчикъ новѣ вѣхать къ Дюрьдинкѣ въ гости“, вспомнилосъ ей вчерашнее прощанье съ сыномъ:— „и онъ и Дюрдѣ сиротки теперь— да добро!— Богородица не намъ чета: лучше ихъ, Матушка, взростить“...

Ванюшка, молча, въ спину поклонился матери и закрылъ лицо руками...

Когда Морозову вынесли на крыльцо, было уже совсѣмъ свѣтло, и холодный вѣтеръ трепалъ голая вѣтви деревьевъ. Въ домѣ и на дворѣ раздавались вопли и причитанія. На улицѣ, противъ воротъ и дома знаменитой боярыни тоже толпились любопытствующіе и слышались непріятные возгласы:

— Что это, дневной грабежъ! Боярыню изъ своо дома выбиваютъ! Эки нехристи!

— Матушку! куда ее несутъ, голубушку? Хоронить живую, что ли?

На крыльцѣ вѣрная челядь успѣла накинуть на опальную боярыню съ сестрою по теплому платку и по шубейкѣ.

— Прощайте, мишеньки! — кланялась Морозова на всѣ четыре стороны:— молитесь обо мнѣ— за крестъ хочу пострадать.

— Прощай, матушка боярыня! Молись за насъ грѣшныхъ!

— Матыньки! да что-жъ это такое будетъ? Голубчики! Ноги Литва на насъ припла?

Возгласы неслись со всѣхъ сторонъ, и каждый изъ этихъ возгласовъ, словно порывъ вѣтра, говоря иносказательно, обрывающій листья со стараго дуба, отрывалъ у Алексѣя Михайловича народную любовь, и довѣріе.

Морозову перенесли черезъ дворъ и внесли въ такъ называемыя „людскія хоромы“.

Войдя въ хоромы, Іоакимъ приказалъ стрѣльцкому десятнику подать кандалы. Звукъ желѣзъ, вынимаемыхъ изъ мѣшка, заставилъ Урусову вздрогнуть, но Морозова обратилась къ сестрѣ со взоромъ, сіяющимъ радостью.

— Слышишь, сестрица? слышишь, Дунюшка?

— Слышу, сестрица!— о-охъ!

— Не охай, а радуйся, Дуня милая! То наши новыя четки звенять... Ахъ, какъ радостно звенять онѣ ко Господу!.. Лучше колоколовъ звонять... Каждый ихъ звоночекъ слышитъ ухо Христово— до сердца божія звонять звоночки-тѣ эти...

— Ахъ, сестрица!

— Такъ, такъ, Дунюшка! это наша молитва, чѣли-тѣ, пути Христовы...

Стрѣлецкій десятникъ стоялъ нерѣшительно, держа въ рукахъ желѣза. Его добродушное лицо съ вздернутымъ носомъ и вообще мало сформировавшимся профилемъ заливалось красными пятнами стыда...

— Что-жъ стоишь? Куй! — хрипло сказалъ Іоакимъ.

— Царева воля—заковывай,—повторилъ и Ларіонъ Ивановъ, не глядя на Морозову.

— Куй, миленькой! — ободряла десятскаго Морозова: — куй, исполняй волю цареву, токмо не при нихъ... Вонъ отсюда! — крикнула она на архимандрита и на Ларіона Иванова:—вонъ, Цилаты! При васъ, на вашихъ глазахъ не обнажу ногу мою—не обнажу, во еже мнѣ и умерети...

Десятскій топтался на мѣстѣ. Урусова припала на колѣни передъ сестрой...

— Изыдите вонъ!—повторила упрямыца.

Іоакимъ и думный переглянулись... „Надо покориться бѣсу-бабѣ“, читалось въ глазахъ думнаго.

— А безъ насъ дашь себя заковать?—спросилъ Іоакимъ.

— Дамъ—не токмо ноги, но и выю дамъ заковать.

Іоакимъ и думный, пожимая плечами, вышли въ подклѣтъ, оставивъ сестеръ съ стрѣльцами.

— Куй, миленькой, — ласково обратилась Морозова къ десятскому, и, приподнявъ немного ряску, показала маленькія въ шитыхъ золотомъ черевичкахъ ножки и часть полныхъ икорь, обтянутыхъ бѣлыми чулками.

Стрѣлецъ сталъ на колѣни, нагнулся и еще болѣе вспыхнулъ—покраснѣли даже уши.

— Куй же, вотъ мои ноги...

Стрѣлецъ пыхтѣлъ, не смѣя взглянуть въ лицо арестанткѣ.

— Микола угодникъ! эки махоньки ножки... да это робячьи ножки... у робенка словно, — безсвязно и растерянно бормоталъ онъ:—туть и ковать нечево... ничевошеньки... эхъ!

Морозова горько улыбнулась, а Урусова, припавъ головой къ ручкѣ кресель, тихо всхлипывала.

— Куй, миленькой... Христа ради... для Христа это...

Стрѣлецъ отчаянно тряхнулъ волосами и —перекрестился... двумя перстами!.. У Морозовой глаза блеснули радостью...

— Миленькой! братецъ! куй же!—и она восторженно перекрестила стрѣльца и его наклоненную встрепанную голову.

Стрѣлецъ дрожащею рукою дотронулся до ноги боярыни, словно до раскаленного желѣза... Рознялъ кольцо ножное — обгожіе желѣза—и дрожащими пальцами обвилъ это кольцо вокругъ ноги повыше щиколодки...

— Прости матушка... мученица... не я кую—нужда куеть... крестное цѣлованіе, дѣтки махоньки... Микола угодникъ!—бормоталъ онъ, замыкая обножіе.

Тоже сдѣлалъ онъ и съ другою ногою, безсвязно бормоча:

— Эки ножки... робячьи... крохотки... Эхъ, только ну!.. Ужъ и служба же проклятая!.. Ахъ, ножки... божьи... ахъ!..

И онъ порывисто, крестясь и утирая слезы, припалъ лицомъ къ закованнымъ нмѣ ногамъ и цѣловалъ ихъ, какъ святыню...

— Матушка! прости!.. святые ножки... Молись обь насъ... Помни раба божія Онисимку стрѣльца... Ахъ!

Остальные стрѣльцы стояли и набожно крестились.

### XIII.

#### Поруганіе надъ Морозовой.

Черезъ три дня, утромъ, какъ и семь лѣтъ тому назадъ, на обширномъ дворѣ дома Морозовыхъ и на улицѣ, у воротъ и противъ дома, толпились кучи народа—на дворѣ челядь, рабы и рабыни Морозовой, на улицѣ, за воротами—толпы любопытствующихъ и нищихъ, сопровождавшія всякій выѣздъ знатной боярыни, какъ было и тогда, семь лѣтъ назадъ, когда Морозова ѣздила въ гости къ Ртищевымъ слушать словесныя „накулачки“ между Аввакумомъ и Симеономъ Полоцкимъ.

И теперь, повидимому, ждали выѣзда Морозовой. На дворѣ, у крыльца главнаго подъѣзда, стояла богатая, извѣстная всей Москвѣ „капитана“ Морозихи, украшенная бронзою, „муссиею и серебромъ и аргамачи многими“ карета, запряженная двѣнадцатью бѣлыми рѣдкими конями съ великолѣпными „грѣмячими чѣпъми“. Около „капитаны“ толпились рабы и рабыни, числомъ не менѣе двухсотъ, ожидая торжественнаго выхода. На козлахъ, попрежнему, сидѣлъ сѣдобородый плотный кучеръ — бояринъ не бояринъ, попъ не попъ, а что-то очень важное, въ высокой мѣховой шапкѣ съ голубымъ верхомъ на подобіе купола Василія Блаженнаго, — сидѣлъ, важно поглядывая на толпу и слезывая черезъ спесивую губу, и здоровыми ручищами въ оленьихъ рукавицахъ сдерживалъ коней, грызшихъ и гнѣвившихъ слюною блестящія удила. На каждой изъ лошадей, запряженныхъ цугомъ, сидѣло по молоденькому вершнику въ высокихъ шапкахъ съ голубыми верхушками... Все, рѣшительно все глядѣло такъ же торжественно, какъ и семь лѣтъ назадъ... Не было только Ѳсиди юридова, котораго удавили за вѣру въ далекой Мезени, на глазахъ у толпы...

— Али, родимый, Морозиху ждуть — народу-то что натолкалось? — спрашивала оборванная нищенка бѣлобрысаго дѣтину изъ Охотнаго яру въ шапкѣ такихъ размѣровъ, что изъ ея мѣху можно было бы выкроить три добрыхъ шапки.

— Знаю, Морозиху—не тебя, мочену грушу, —ослабился дѣтина.

— А какъ же, милой, сказывали, будто ее, боярыню-ту, за двуперстіе на чѣпъ посадили, а какъ стали, сказываютъ, ноги-ту сѣнья чѣпью заковывать, такъ отъ ногъ-атъ огнь изыде и стрѣльцу Онисимкѣ всю бороду опалило...

— Точно опалило, подхватила торговка оладейница: я въ тѣ поры олады волокля въ Охотный рядъ, такъ видѣла своими глазыньками, аки бы дымъ какой на дворѣ, а на трубѣ ворона каркала, и ужъ таково страшно...

— Ахъ, Владычица-Предотеча! Что жъ Онисимкѣ-то?

— Да что, сказывали въ Обжорномъ ряду: какъ увидалъ царь-отъ осударь Овисимку, да испужайся, и говорить: „она-де, Морозиха, мученица есть—привезти-де ее ко мнѣ во дворецъ въ золотой каптанѣ...“

Въ это время съ задняго двора выѣхали простые дровни, покрытыя соломой и запряженныя водозвозной клячей и остановились у крыльца людскихъ хоромъ. Клячю вель подъ устцы стрѣлецъ.

— А дровни-тѣ, родимая, для кого жъ будутъ? — спросила нищенка у оладейницы.

— Не вѣдаю, милая...

— Дровни-тѣ подъ тебя, мочена груша, — зубоскалилъ дѣтина изъ Охотнаго ряду.

— Охальникъ ты, охальникъ п есть! — обидѣлась нищенка.

— Пра, баунька — вотъ-тѣ крестъ татарскій! Хотятъ-чу везти тебя царю на показъ.

— Идетъ! идетъ! — заволновалась улица.

Съ главнаго крыльца сходилъ кто-то, поддерживаемый подъ руки плачущею старою нянюшкой и мрачнымъ слугою Иванушкой; но только это сходила не Морозова. Видна была наглухо застегнутая соболья шуба да высокая боярская шапка, а повидимому, плачущее лицо закрыто было ладовами.

— Боярченкоъ боярченкоъ! — пронеслось въ толпѣ: — Ванюшка, Иванъ Глѣбычъ Морозовъ.

— Ахъ, родимыя! какъ онъ плачетъ-то, сердешный.

Юнаго Морозова, обливающего слезами, посадили въ каптану и захлопнули дверцы. Иванушка сталъ на запяткахъ.

— Въ Кремль — подъ царскіе переходы! — крикнулъ Иванушка кучеру, и каптана двинулась, зазвенѣвъ на весь дворъ „гремячими чѣльми“.

Въ этотъ же моментъ, гремя другого рода цѣпами, стрѣльцы сносили съ крыльца людскихъ хоромъ кого-то въ нагольномъ тулупѣ, прикованнаго къ массивному дубовому стулу... Ропотъ ужаса прошелъ по толпѣ... На дворѣ послышались вопли и причитанья...

Это стрѣльцы свесли на дровни Морозову и положили на солому. Она была прикована, какъ цѣпная собака, массивною цѣпью за шею. Цѣпь привинчена была къ стулу.

Голова Морозовой закутана была чернымъ шерстянымъ платкомъ, концы котораго спускались на нагольный тулупъ, но не прикрывали цѣпи, тянувшейся отъ шеи къ стулу.

За нею вынесли въ такомъ же одѣяніи и тоже прикованную къ стулу Урусову и положили рядомъ съ сестрою на дровни.

Толпа и на дворѣ и за воротами, пропустивъ блестящую каптану, замерла на мѣстѣ.

Морозова, загремѣвъ цѣпью и поцѣловавъ ее, высоко подняла правую руку съ двумя вытянутыми пальцами.

— Слава тебѣ, Господи! — громко произнесла она: — яко сподобилъ меня еси Павловы узы носить!



— О-о—хо—хо!—заохали бабы.

— Кто жь этотъ, родимая, Павелъ-то, что она клянетъ котораго?—спросила любознательная нищенка.

— А крутицкй митрополитъ, краснощекой Павелъ—видывала?—отвѣчала оладейница.

— Видывала, родимая, какъ же.

— Еще онъ тоже, какъ и я вотъ, грѣшная, съ молоду оладейникомъ былъ—оладья да блины въ Обжорномъ ряду продавалъ... Не даромъ Аввакумъ протопопъ обличалъ его: „Павелъ, гыть, краснощекой, не живаль духовно: блинами-де все торговаль да оладьями, да какъ учинился попенкомъ, такъ по боярскимъ дворамъ блюда лизать научился...“

— Ужь язычекъ же у Аввакума!

Дровни, сопровождаемыя стрѣльцами, выѣхали со двора. За ними и рядомъ съ ними толпою слѣдовала челядь и всѣ тѣ массы любопытствующихъ, которыя ожидали пышнаго выѣзда боярыни Морозовой. Но это былъ не тотъ выѣздъ, къ которому привыкли москвичи. Впереди ѣхала блестящая каптана, громыхавшая дорогой упряжью и поражавшая торжественнымъ шествіемъ, пугомъ, двѣнадцати бѣлыхъ аргамаковъ съ вершниками; но за каптанюю не слѣдовалъ никто. Напротивъ, всѣ массы пораженныхъ небывалымъ зрѣлищемъ москвичей толпились вокругъ дровень. По мѣрѣ движенія по московскимъ улицамъ этого страннаго поѣзда, къ нему присоединялись все большія и большія толпы: портные оставляли свои кроечные столы, сидѣльцы—свои лавки, ряды и линіи, нищѣ бросали паперти, у которыхъ собирали милостыню, бражники оставляли кружала, на которыхъ бражничали, и все спѣшило присоединиться къ поѣзду Морозовой. А она, лежа на дровняхъ, высоко поднимала руку съ сложеннымъ двухперстнымъ знаменіемъ креста и звонко потрясала цѣпью, прикованною къ стулу.

— Смотрите... смотрите, православные! Вотъ моя драгоцѣнная колесница, а вотъ чѣпи драгія... Въ этой драгоцѣнной колесницѣ я, коли сподобитъ Господь, достигну рая свѣтлаго, а въ той каптанѣ (и она указывала на слѣдовавшую впереди карету свою) одна была мнѣ дорога—въ адъ... Молитесь такъ, православные, вотъ сивсывымъ знаменіемъ!

Страстныя рѣчи молодой боярыни, и при такой потрясающей обстановкѣ, жаромъ и холодомъ обдавали толпу. Многіе испуганно крестились, женщины плакали. Стрѣльцы, сопровождавшіе поѣздъ, шли съ потупленными головами: имъ стыдно было глядѣть по сторонамъ—такое унижительное распоряженіе исполняли они!.. „Эхъ, и распроклятая-же собачья служба!“ горько качалъ головою Онисимко десятскій.

А Уророва, лежа на дровняхъ рядомъ съ сестрою, часто крестилась и читала псаломъ: „помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедротъ Твоихъ...“

Сестеръ везли въ Кремль, подъ царскіе переходы. Наканунѣ ихъ изъподъ стражи водили въ Чудовъ монастырь для увѣщанія. Когда думный

Ларіонъ Ивановъ явился къ нимъ въ подклѣтъ людскихъ хоромъ, гдѣ онѣ содержались подь карауломъ, и по повелѣнію царя требовалъ, чтобъ сестры шли за нимъ, куда онъ поведетъ ихъ, упрямыцы наотрѣзъ отказались идти, и тогда Морозову опять понесли въ креслахъ, а Урусова шла за ней слѣдомъ. Эта процессія надѣлала много шума въ Москвѣ, хотя происходила раннимъ утромъ. Бабы, шедшія на рынки, и крестьяне, привозившіе въ городъ сѣно и дрова, а равно богомольцы, возвращавшіеся отъ заутренъ, съ удивленіемъ видѣли, какъ холопы, предшествуемые и сопровождаемые стрѣльцами, несли на креслахъ какую-то боярыню молоденькую, не то больную, не то бѣсноватую—только нѣтъ не бѣсноватая она, потому что всю дорогу она крестилась истово; а другую такую же молодую боярыньку, которая плакала, холопы вели подь руки... Оказалось, что ихъ ожидали въ Чудовомъ монастырѣ, въ пріемной палатѣ, митрополить крутицкій, „краснощокій Павелъ изъ оладейниковъ и блинниковъ“, знакомый уже намъ архимандрить Іоакимъ и нѣсколько думныхъ. Павелъ былъ главный сыщикъ по дѣламъ раскола, главный „волкъ“. Когда Морозову внесли въ палату, то она усердно поклонилась образамъ, а думнымъ—поклонилась высокомѣрно и презрительно, едва окинувъ головой: „малое и худое поклоненіе сотворила“. Но потомъ она тотчасъ же сѣла въ свое кресло и ни за какія просьбы не хотѣла встать: „никогда я не склонюся и не встану предь мучителями моими“, говорила она настойчиво... Павелъ зналъ и понималъ высокую породу Морозовой, и увѣщевалъ ее тихо, ласково, умолялъ покориться царю. Боярыня стояла на своемъ. Павелъ хотѣлъ размягчить ея непреклонную волю напоминаніемъ о сынѣ.— „Христу живу я, а не сыну“, попрежнему непреклонно отвѣчала она. Убѣжденія не дѣйствовали; увѣщанія оказались напрасными. Тогда приступили къ допросу.

— Какимъ крестомъ ты крестишься?

— Старымъ, истиннымъ, коимъ и ты допрежь сего крестился, а не никоніанскою щепотью.

— Причастисься ли ты хотя по тѣмъ служебникамъ, по коимъ причащаются великій государь, благовѣрная царица и царевны?

— Не причащуся! Знаю, что царь причащается по развращеннымъ служебникамъ Никонова изданія.

Митрополить думалъ поразить ее крутымъ вопросомъ — припереть ее, такъ сказать, къ стѣнѣ.

— Какъ же ты думаешь о насъ всѣхъ: ноли мы всѣ—и царь, и освященный соборъ, и бояре—еретики?

— Врагъ божій Никонъ своими ересями, какъ блевотиною, наблевалъ, а вы нонѣ то скверненіе его полизаете: явно, что и вы подобны ему,— былъ безповоротный отвѣтъ.

Урусова отвѣчала то же... Ихъ снова отправили въ подклѣтъ подь стражу...

Сегодня вмѣсто ножныхъ желѣзъ ихъ приковали за шею къ студьямъ—

колодкамъ. Это была самая позорящая заковка — собачья, словно собакъ за шею ковали. Но Морозова радовалась этой заковкѣ и съ благоговѣніемъ поцѣловала холодное желѣзное огорліе цѣпи, когда Онисимко, весь трепеща, надѣвалъ и замыкалъ его на бѣлой шеѣ боярыньки, а ножныя кандалы, снявъ съ ея „махонькихъ, ребячьихъ ножекъ“, положилъ къ себѣ за пазуху, чтобъ потомъ повѣсить ихъ у себя подъ образами и молиться на нихъ, какъ на святыню... Вотъ къ какимъ результатамъ приводили суровыя преслѣдованія.

Сегодня непокорныхъ сестеръ рѣшили позорно, „съ великимъ безчестіемъ“ провезти по Москвѣ... И вотъ ихъ везуть въ Кремль, подъ царскіе переходы, чтобы самъ царь могъ видѣть униженіе самой крупной савошницы своего государства и чтобы „жестоковѣйная ослушница“ сама „нарочито восчувствовала стыдъ и раскаяніе“... Чтобы еще болѣе усилить позорность униженія, велѣно было впереди позорной колесницы-дровней провезти богатую карету Морозовой, въ которой она ѣздила ко двору прежде, и въ эту осиротѣвшую каптану посадить ни въ чемъ неповиннаго сына непокорной...

Такъ и сдѣлали.

Но этотъ-то самый позоръ, это глумленіе надъ ея породой, надъ богатствомъ, знатностію и женскою стыдливостію, это безжалостное стеганіе по сердцу и по всему, что могло быть дорого обыкновенной человѣческой душѣ—это-то и наполняло восторгомъ и умиленіемъ страстную душу Морозовой. Ей хотѣлось, чтобы въ этомъ „опозориваніи“ видѣли ее всѣ, кто зналъ ее и завидовалъ ей въ пору ея могущества и славы, и чтобы видѣли ее въ этомъ „униженіи до зѣла“ даже тѣ, которые любили ее, которые могли скорбѣть о ея участи... „Горькій видъ мой, сіе униженіе до зѣла—елеемъ спасенія падуть и на ихъ душу“, думалось ей... „Увидятъ меня въ семъ униженіи и царь, и молодая царица, и Софьюшка-царевна... Бѣдная Софьюшка! вѣистину ей будетъ жаль меня, и помолится она о душѣ своей тети Федосьюшки... Только ужъ пастилки ей коломенской двухсоюзной не дасть тети Федосьюшка... И Васенька Голицынъ увидитъ меня, и Урусовъ Петръ... Бѣдная Дуня! не отреклась она отъ меня, яко Петръ... Ахъ, только свѣтъ мой Аввакумушко не увидитъ меня въ униженіи до зѣла—во славіи моей, не увидитъ, миленькой... Въ земляной темной темницѣ сидитъ онъ... Да полно, живъ ли онъ ужъ? Можеть, и его удавили, либо, что хлѣбецъ крупчатой, испекли въ печи огненной... А онъ, Степанъ Тимоенчъ, видитъ меня... И его на цѣпи везли, что собаку... Да онъ заслужилъ—самъ каялся... А все же онъ научилъ меня страдать со дерзновеніемъ... Слышу—слышу я: вѣтеръ шумитъ въ липахъ, а онъ сидитъ за желѣзною рѣшеткой и поеть:

Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка,  
Не мѣшай мнѣ, добру молодцу, думу думати“...

Когда позорный поѣздъ слѣдовалъ, черезъ Красную площадь, мимо Лобнаго мѣста, Морозова оглянулась на мѣсто казни Стеньки Разина. Тамъ, у

Лобнаго мѣста, на высокомъ колу все еще торчала голова казеннаго — не голова, а голый костякъ, покрытый снѣгомъ... Ей показалось, что изъ черныхъ глазныхъ впадинъ на нее смотрѣли глаза Стеньки, какъ они смотрѣли на нее тогда изъ-подъ дубовыхъ досокъ на плахѣ... На костякѣ сидѣла ворона и, оборотившись къ Кремлю, каркала...

Когда дровни пробѣжали Фроловскими, нынѣ Спасскими, воротами, то на выѣздѣ они пробѣжали мимо двухъ оборванныхъ и повидимому, подвыпившихъ церковниковъ съ косичками, которые о чемъ-то спорили.

— Ты не такъ, Кузьма, поешь сей стихъ, — говоритъ одинъ изъ нихъ.

— Какъ не такъ? Нѣтъ—такъ!

— Сказано не такъ! Во какъ пой: „сорока—сорока—зеле-о-о-ный хвостъ“...

— „Въ Черниѣ морѣ“... „въ Черниѣ мо-о-о-рѣ“...

— Что вы тутъ разорались, бражники! — крикнулъ на нихъ Онисимко:—али не видите, кого везуть?

Церковники сняли шапки и поклонились съ изумленіемъ. Морозова перекрестила ихъ.

Въ Кремлѣ странный поѣздъ ожидали не меньшія толпы народа. По Москвѣ съ быстротою молніи разнесся слухъ, что въ этотъ день въ Кремлѣ будетъ происходить что-то необыкновенное. Говорили, что будто бы изъ ссылки воротили и Никона, и Аввакума; что Никона будто бы за двоеперстіе и за „алилюю-матушку“ Богъ совсѣмъ превратилъ въ звѣря Навуходносора; что звѣрь этотъ ѣстъ мясо и стрѣляетъ изъ пищали по чертямъ; другіе сказывали, что Богъ превратилъ его въ птицу „баклана“ и что когда „бакланъ“ этотъ сталъ ловить въ Пустозерскѣ рыбу, то Аввакумъ застрѣлилъ его изъ пищали, и оказалось, что это не „бакланъ“, а самъ Никоншко-еретикъ, только обросъ бакланьими перьями, а ноги у него, у бѣса, пѣтушьи, и что этого „баклана“ будутъ въ Кремлѣ жечь въ срубѣ. Третьи утверждали, что, дѣйствительно, Аввакума воротили изъ ссылки и что сегодня царь будетъ всенародно просить у него прощенія за „батушку-аза“ и за „матушку-алилилу“ и передъ всѣмъ соборомъ отречется отъ новыхъ книгъ и всякихъ проклятыхъ новшествъ, и тутъ же, въ Кремлѣ, велить сжечь всѣ новыя книги, и вмѣстѣ съ книгами и печатнымъ станкомъ сожгутъ и всѣхъ „хохловъ“, которые привезли въ Москву этотъ проклятый станокъ и завели всѣ бѣсовскія новшества; что первымъ сожгутъ черномазаго Симеошку Полоцкаго... Такія вѣсти шли изъ Обжорнаго ряду... Охотный же и Сундушный ряды съ Ножовою линіею утверждали, напротивъ, что въ Кремль привезутъ боярыню Морозову, чтобы по новымъ книгамъ „отчитывать“ ее отъ старой вѣры и „сворачивать“ въ новую, а ежели она, матушка, устоитъ — пребудетъ въ старой вѣрѣ тверда, аки адамантъ, то тогда проклятые никоніане, чтобы „привести“ ее въ свою вѣру, будутъ „разстригать“ ее въ Успенскомъ соборѣ; а коли-де она и послѣ этого не „впадетъ въ соблазнъ“, то ее предадутъ

анаеомѣ, а никоніанская-де анаеема—не въ анаеому, сказать бы просто—  
плевое дѣло...

Хоть воображеніе богослововъ Обжорнаго ряда было гораздо, какъ видите изъ этого, пламеннѣе воображенія Охотнаго ряда съ Суядушнымъ, однако, всѣ ряды и линіи единодушно высказывали въ этомъ случаѣ болѣе консервативныя мнѣнія, именно—всѣ были противъ новшествъ Никона, противъ новыхъ книгъ и „хохловъ“.

Вотъ потому-то, въ виду этихъ необыкновенныхъ слуховъ, москвичи сегодня и загатили своими тѣлами всю кремлевскую площадь, толкаясь, шумя, ликуя и ругаясь въ ожиданіи чего-то такого, чего не бывало, какъ и Москва стоитъ.

Поэтому, когда въ Кремлѣ появилась блестящая, запряженная двѣнадцатью бѣлыми аргамаками капитана Морозовой, толпы такъ навалили на поѣздъ, что двѣнадцать вершниковъ, правившихъ конями, могли очищать себѣ путь только при помощи длинныхъ кнутовъ, которыми они хлестали москвичей направо и налево, не разбирая, по какимъ частямъ хлесталось выносливое московское тѣло—по плечамъ ли, по головамъ или по самому рожеству: „побьютъ-де—не возъ навьютъ“... „за битаго-де двухъ небитыхъ дають“... „тѣмъ-де море не погано, что псы налокали, въ томъ-де спинѣ не стыдоба, что кнутомъ стегали“ — такова московская философія искони бѣ.

Но москвичи разочаровались... Заглянувъ въ окна каптаны, они увидѣли, что тамъ, уткнувшись въ уголокъ, сидитъ какой-то боярченокъ, припавъ лицомъ къ ладонямъ, и горько-прегорько плачетъ...

Но когда они оглянулись назадъ, то съ ужасомъ увидали, что какая-то кляченка тащитъ жалкія дровнишки, и въ дровнишкахъ, на соломѣ, прикованная за шею къ колодѣ, лежитъ сама Морозиха съ сестрою, и потрясая цѣпью вопить:

— Православные! раби Христовы! воззрите на мя грѣшную и недостойную, яко сподоби мя Господь Павловы узы носити за крестъ правый... Держитесь этого креста, православные, держитесь—вотъ онъ!—держитесь за него, аки за ножки Христовы!..

Она глянула на дворецъ, на царскіе переходы и подняла обѣ руки, еще громче потрясая цѣпями...

— Радуйся, царю, радуйся, яко сподобилъ меня еси великія славы, радуйся, царь московскій!

Народъ глянулъ на переходы и боязливо началъ сымать шапки...

Съ переходовъ, прячась въ углубленіе, глядѣлъ царь Алексѣй Михайловичъ, блѣдный и гнѣвный... Стоявшая тамъ же, полузакрытая фатою, царевна Софьюшка, увидавъ Морозову, съ плачемъ бросилась къ отцу, да такъ и повисла у него на шеѣ...

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ  
Д. Л. Мордовцева.

---

# ВЕЛИКІЙ РАСКОЛЪ

ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ

ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.

---

Часть III.

---

Томъ XIV.

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Изданіе Н. Э. Мертца  
1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 9 іюля 1901 г.

Типографія „В. С. Балашевъ и К<sup>о</sup>“. Спб., Фонтанка 95.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

### I.

#### Москва на Украинѣ.

Неприглядна московская сторонка...

Тяжело, безотрадно оставаться долго мыслью все въ этой суровой сторонѣ. Томительно и невыносимо витать воображеніемъ по этой непривѣтливой земелькѣ съ ея мрачнымъ историческимъ прошлымъ, носиться мыслью по темнымъ кельямъ монастырей: Угрѣшскаго, Ферапонтова, Кириллова, Воскресенскаго съ ихъ узниками, томящимися тамъ десятки лѣтъ за свои убѣжденія, каковы бы они ни были... Не надъ чѣмъ тутъ отдохнуть усталой мысли, не надъ чѣмъ съ любовью остановиться и всеживотворящему воображенію... Невесело московское прошлое...

Мысль невольно тянется къ жаркому югу, къ яркому солнцу, къ чарующей природѣ, къ другимъ людямъ, съ другими заботами, кромѣ тругой аллилуйи, съ другими страданіями и радостями.

Воображенію хочется отдохнуть на Украинѣ, хоть и тамъ лилось не мало слезъ и крови—да все не такъ, не изъ-за того...

Мы видѣли, какъ въ 1668 году, въ Гадячѣ, во время „русальныхъ игрищъ“, привезли на возу съ трупами обезображенное тѣло гетмана Брюховецкаго, какъ оплакала его молодая жена-гетманша, Олена Дмитревна, урожденная княжна Оленушка Долгорукова. Не привелось, однако, молодой вдовѣ, похоронивши своего мужа Иваса, воротиться на свою родимую сторонку—въ Москву бѣлокаменную: Дорошенко отправилъ ее въ тогобочную Украину, за Днѣпръ, въ Чигиринъ, въ свою гетманскую резиденцію.

За горемъ и слезами, въ тоскѣ по родинѣ и въ горькой кручинѣ по безвременно погибшемъ мужѣ, не видала Оленушка Брюховецкая всей красоты тѣхъ полей и цвѣтущихъ долинъ, лѣсовъ и луговъ, степей и байраковъ, рѣчекъ и переправъ, цвѣтущихъ селъ и городовъ съ вишневыми садочками, вербами и левадами, по которымъ и мимо которыхъ везли ко-



заки знатную московскую полонянку съ ея старою нянею, Аксентьевною. Точно во снѣ снился ей этотъ рай земной, по которому, въ самую роскошную весеннюю пору, везли ее горькую, осиротѣлую. Смутно остался у нея въ памяти только Кіевъ, гдѣ онѣ переправлялись черезъ Днѣпръ: на красивыхъ горахъ и холмистыхъ взгорьяхъ, весь въ цвѣту и зелени, съ высокими печерскими стѣнами и церквами, весь залитой весеннимъ солнцемъ, нарядный и пестрый отъ сновавшихъ по улицамъ его чубатыхъ и усатыхъ черкасъ и черкашенокъ, увитыхъ съ головы до ногъ цвѣтами и лентами, бряцающихъ монистами и серебряными подковками своихъ красныхъ и желтыхъ черевичекъ; все это показалось ей чѣмъ то въ родѣ дивныхъ „соній“, виднѣй во снѣ, и все это было такъ непохоже на родимую, но суровую Москву, гдѣ женское личико пряталось отъ людскихъ глазъ, какъ нѣчто зазорное, грѣховное, бѣсовское, и гдѣ даже дѣти, казалось, не смѣли рѣзвиться изъ боязни, чтобы ихъ игры не приняли за „бѣсовскія игрища“...

И вотъ уже пятый годъ живетъ Оленушка Брюховецкая въ Чигиринѣ, въ семействѣ гетмана Петра Дорошенка, который оставилъ ее у себя въ качествѣ знатной московской заложницы. Уже и сыну ея Грицю, котораго она родила тотчасъ по смерти мужа, въ Чигиринѣ, пошелъ пятый годокъ, и молодая мать-московка не можетъ надивиться, какъ это изъ ея сына Гришутки вышелъ такой дошлый „хохленокъ“, который ни слова не можетъ сказать по-московски, да и не любитъ этой рѣчи—родной рѣчи матери, а такъ и чешетъ по-украински, по-черкасски, да и матери не велитъ называть его Гришуткой, а требуетъ, чтобы она звала его „Грицемъ“ либо „Грицникомъ“ и „Грицькомъ“, потому-де, говорить—у! смѣшной мальчишка!—„хлопци надъ Гришуткой, говорить, сміются та лають и въ „горобейку“ и въ „ворона“ та въ „зайчика“ не даютъ зъ ними гратись“... У—чудной мальчишка!—и надъ нею, надъ матерью, смѣется: „яко-бо ты, мамо, говорить, дурна московка—нашой мовы и доси не знаешь“... Да и самъ въ отца весь—чернявенькой и глаза словно вишня владмирка... И Оленушка въ немъ души не чаетъ...

И жена Дорошенка, и старуха-мать очень полюбили эту тихонькую и скромную московочку, которая казалась имъ такою горькою сиротою на чужбинѣ, особенно когда онѣ отъ нея же узнали, каковы московскіе порядки и каково тамъ невеселое житье для женщины—ни выйдти изъ дому не смѣй, ни на мужчину не моги засматриваться—неволя, чистая турецкая неволя эта жизнь въ Московщинѣ. Да и въ турецкой неволѣ женщинѣ легче живется, чѣмъ московкѣ въ Московщинѣ: вонъ тамъ „дивка бранка, Маруся попивна Богуславка“, изъ неволи уходить не хочетъ „ради роскоши турецкой, для ради лакомства проклятаго“, вонъ и „волывочка-полоняночка“, которую татары увели и которая своею „косою изъ золотого волоса“ весь боръ освѣтила и „зеленую диброву и битую дорогу“—и та машетъ ручкой своему „батеньку“, чтобъ онъ не гнался ужъ за нею—вернулся бы „до домоньку“... Особенно возмущали московскіе тюремные порядки молодую Дорошенчиху, которая была-таки порядочная „гульвиса“ и объ

которой всё знали, да и „самовидец“, почтенный летописатель, въ своей „лѣтописи“ записалъ, что она молодая „гульвиса“ Дорошенчиха, когда мужъ ея пошелъ на Брюховецкаго, „скочила черезъ плотъ за молодымъ“... Еще бы не „скочить!“ — Мужъ постоянно въ отсутствіи: то онъ съ татарами и турками колобродится, Богъ вѣсть гдѣ, то на тотъ бокъ уходитъ задрать тогбочныхъ, лѣвобережныхъ гетмановъ, московскихъ „попихачивъ“, то съ ляхами заведется; а молодая жена сиди-себѣ одна да „выгладай“ своего Петруся... ну, „выглядаетъ—выглядаетъ“ даромъ, да и „скочить черезъ плотъ“, урвется въ „вишневый садочокъ“, въ „леваду“, „у лугъ зелененькій“, а тамъ ужъ и ждетъ ее „козакъ молоденькій“ — „ручками обнимае, до серденька пригортае“...

Вотъ и теперь этотъ „пройдпсвить“ Дорошенко вмѣстѣ съ ханомъ крымскимъ и его ордами потянули къ Ладыжину, а оттуда подъ Каменецъ къ самому турецкому салтану, чтобы Польшу „ускромнить“ до конца, а молодая женушка сиди тутъ дома да скучай. Еще хорошо, что хоть съ этой молоденькой московочкой можно душу отвести, либо пойдти посмотритъ, какъ „парубки та дивчата“ справляютъ „веснянскія“ игры на берегу Тясмина, — а то хоть утопиться, такъ впору...

Вотъ и теперь онѣ сидятъ подъ вербою у спуска отъ городской стѣны къ Тямину, а внизу отъ нихъ на зеленой лужайкѣ „дивчата“ поютъ свои „веснянки“ и играютъ въ „Лялю“.

Тихій весенній день клонился къ вечеру. Но тѣни еще не удлинились настолько, чтобы защитити играющихъ отъ жаркихъ лучей солнца. Дѣвчьи голоса звенятъ на всю окрестность; имъ отвѣчаютъ „парубочкіе“ хоры съ другой стороны, и воздухъ дрожитъ мелодіями...

— Да, не долго довелось проклятому Демкѣ Многогрѣшному веселити очи свои цвѣтиками, что онъ вырастилъ на могилѣ моего мужа, покойнаго Ивана Мартыныча, — говорила задумчиво вдова Брюховецкая, прислушиваясь къ пѣнію молодежи и слѣдя глазами за своимъ сыномъ Грицемъ, который игралъ съ другими хохлятами недалеко отъ дѣвичьего хоровода.

— Та такъ-таки, такъ — не довго, — отвѣчала Дорошенчиха, вскидывая на Оленушку своими сѣрыми большими глазами изъ-подъ черныхъ бровей „на шнурочку“. — Козаки съ того боку казали, що оце саме о середопостю старшина тогбочная, ливобережная, минуючи, же постерегли змину того Демка Игнатенка Многогрѣшного противко вашего московскаго царя, напали на Демка въ ночи у замку батуринскому на ложу, взяли его и звязали якъ злодія, а потимъ уложили въ визъ, накрыли шкурою, мовъ кабана заризаного, и повезли на Москву... А вже ваша Москва никого не милує — отъ сторонка! — И якъ вы іп, Оленко, доси не забули, вашу темницю московську!

— Ахъ, кума, мпленькая! какъ же мнѣ забыть родимую сторонку! — грустно, но ласково отвѣчала Брюховецкая, не спуская глазъ съ своего Гриця. — Тамъ у меня и батюшка, и матушка... Жила я въ холѣ и радости.

— О! яка-то тамъ холя! У терени, мовъ у тюръни...

— Ядворская была, сѣнная дѣвушка, въ царскомъ дворцѣ у царицы жила.

— Отъ добро! Така жъ турецька неволя!..

— Мамо-мамо, и ты, Цяцю! идишь сюда!—кричалъ маленькій Гриць, весь раскраснѣвшись и указывая на берегъ.—Идишь туда, мамо.

На Гриць была бѣленькая полотняная съ прямымъ воротомъ украинская сорочечка, шитая красною заполюю и завязанная у ворота красною лентою—„червонною стричечкою“. Голубые шароварцы убраны въ красные сафьянные сапожки. Подстриженъ онъ кругло и высоко, по-украински. Смуглое личико съ розовыми щечками загорѣло на солнцѣ.

— Та идишь-бо, мамо!—волновался мальчикъ, обнимая мать и заглядывая ей въ глаза.—Ты вѣдь по Москви плакала?

Дорошенчиха лукаво, но съ доброю улыбкою посмотрѣла на мальчика, а мать потунила глаза.

— Плакала мама, Цяцю? — бросился мальчикъ къ Дорошенчихѣ, и тоже обнялъ ее.

— Трошки-таки поплакали,—улыбнулась гетманша.

— Ну вже жъ!—и мальчикъ топнулъ ногой:—якъ я буду гетьманомъ, я погану Москву у полонъ возьму. Тоди мама не плакатиме...

Обѣ женщины засмѣялись.

— Добре, Грицю, добре!—похвалила Дорошенчиха.

— Цяцю! мамо!—снова приставалъ мальчикъ:—идишь-бо до играшки, а то я заплачу.

И Брюховецкая, и Дорошенчиха должны были повиноваться ими же избалованному Грицю. Мальчикъ схватилъ ихъ за руки и повелъ къ Тясмину, на лужайку, гдѣ происходили „играшки“.

На лужайкѣ, словно макъ въ огородѣ, краснѣлись и пестрѣли „дивчата“, взявшись за руки и кружась то подъ ту, то подъ другую пѣсню. Теперь онѣ играли въ „Лялю“. Высокая, полненькая, бѣлокурая, но съ черными глазами и черными, точно не своими, бровями, дѣвушка наряжена была „Лялею“: бѣлокурая съ широкою косою головка ея была перевита цвѣтами, и шея, грудь, руки и ноги увиты зеленою рудою и барвинкомъ. Дѣвушка вся представляла изъ себя пучокъ цвѣтовъ, оживленный веселымъ, улыбающимся личикомъ. Изъ-за цвѣтовъ и зелени пестрѣли цвѣтныя ленты, бѣлая сорочка, коротенькая ярко-оранжевая сподница и желтые сафьянные черевички...

— Ахъ, хороша, хороша дѣвушка—лѣпота какая!—неволью пробормотала Брюховецкая.

„Ляля“, взявъ нѣсколько вѣнковъ, которые ей подали другія дѣвушки, положила ихъ на зеленый пригорокъ, на которомъ стояло уже нѣсколько плетеноек, наполненныхъ красными яйцами, коржиками, бубликами и разными „ласошами“. Потомъ, подозревая къ себѣ низенькую, смуглую, словно татарочка, дѣвушку и положивъ ей руки на плечи, поцѣловала ее въ голову, а потомъ въ губы.

— Оце для того, щобъ голосокъ бувъ тоненькій та высоченькій,—сказала она серьезно.

— Коли дастъ святой Урай, то буде, — также серьезно отвѣчала та, которую поцѣловала „Ляля“ и которая должна была быть „запѣвалой“ и „танокъ вести“.

— И мене! и мене!—закричали другія дѣвушки, приступая къ „Лялѣ“.

— Добре—добре, дивчаточка: моихъ губъ на всихъ достане,—отвѣчала эта послѣдняя.

— И парубкамъ ще трошки зостанеться,—лукаве улыбнулась Дорошенчиха, гляда на „Лялю“.

Щеки дѣвушки такъ и залились румянцемъ...

— Якъ-бо вы, пани гетманова!—тупилася „Ляля“.

Перецѣловавъ ее и посадивъ около вѣнковъ на пригорокъ, дѣвушки взяли за руки, сдѣлали изъ себя живую гирлянду, и смуглая „татарочка“ завела своимъ свѣжимъ, груднымъ, сильнымъ не по росту голосомъ:

Та Урай матку кличе:  
Та подай, матко, ключи—  
Одимкнути небо,  
Выпустити росу,  
Дивоцькую красу.  
Дивоцькая краса,  
Якъ литняя роса.

Молодые голоса звенѣли стройно. Нѣсколько однообразная, какъ бы не пѣсенная, а обрядовая мелодія отдавала чѣмъ-то далекимъ, стариннымъ, можетъ быть, еще языческимъ налѣвомъ, когда „стыдливые“ — по Нестору — поляне и полянки, совершая свои игрища у воды, этими самыми мелодіями славили своихъ первобытныхъ боговъ—и Перуна, и Дажьбога, и Стрибога, и Велеса... Оленушку Брюховецкую глубоко трогала эта мелодія, подобной которой она ничего не слыхала на своей далекой сторонкѣ... Даже Гриць стоялъ безмолвно, не шевелясь и широко раскрывъ свои розовыя губки...

Ой, дивоцькая краса,  
Якъ литняя роса...

— Правда, правда, дивчаточка!—не то съ грустью, не то съ шуткой сказала Дорошенчиха:—дивоцькая краса, якъ литняя роса: сонечко зйде, пригрѣ—и росоньки немає...

Хоръ смолкъ. Движущаяся гирлянда остановилась и замерла на мѣстѣ. „Ляля“ сидѣла около своихъ вѣнковъ такая задумчивая и обрывала лепестки махроваго мака... Задумчиво сидѣла на травѣ и Брюховецкая, вѣроятно, вспоминая о своей Москвѣ далекой, о царскихъ переходахъ, откуда онѣ, сѣнныя дѣвушки, вмѣстѣ съ царевною Софьюшкою исподтишка на добрыхъ молодець посматривали... Что-то тамъ теперь? И царевна Софьюшка ужъ, поди, выросла — пятнадцатый, не то шестнадцатый годокъ пошелъ...

— А вы бѣ, дивчаточка, заспывали про пани Брюховецьку,— съ улыбок-кой сказала пани Дорошенкова.

Брюховецкая съ недоумѣніемъ посмотрѣла на послѣднюю...

— Про удову, дивчаточка, заспывайте, якъ удивонька ходила, дивкамъ танецъ водила,— пояснила пани гетманова.

— А ну жѣ, „татарочко“, заводь: „коло млина калина“, — сказала „Ляля“, бросивъ на траву общипанную головку маку.

„Татарочка“ завела, что ей сказано было, и молодые голоса опять выносили новую мелодію:

Коло млина калина  
Тамъ вдивонька ходила,  
Дивкамъ танокъ водила,  
Що введе, то й стане.  
На всехъ дивчатъ погляне.  
Вси дивочки въ таночку,  
Тилько нема одной,  
Марусенки молодон.  
Мати Марусю чесала,  
Ще й чешучи навчала:  
Не стій, доню, зъ нелюбимъ,  
Не дай ручки стискати  
И перстника знимати,  
А стій, доню, зъ миленькимъ,  
Якъ за голубомъ сивенькимъ:  
И дай ручку стиснути  
И перстника изняти...

— Такъ-такъ, дивчаточка, добре! — поощряла пани гетманова: — не стійте зъ нелюбомъ...

Гриць Брюховецкій, повидимому, что-то вспомнивъ, стремглавъ кинулся отъ другихъ сверстниковъ къ „Лялѣ“ и остановился передъ нею, какъ вкопанный, въ робкой нерѣшительности.

— Вы що, паниченьку? — ласково спросила „Ляля“.

Мальчикъ переминался, уткнувъ носъ въ свою красную стричечку и порывисто тербя ее руками.

— Що, паниченьку любый? що, Грицю? — еще ласковѣе спросила дѣвушка.

— А „Шума“, Лялю, можно? — нерѣшительно спросилъ мальчикъ.

— „Шума?“ — можно, паничу.

Мальчикъ радостно поднялъ голову, и личико его засвѣтилось.

— А я „Шумомъ“ буду, Лялюсю? — бросился ей на шею мальчикъ.

— Добре, добре, паниченьку, — ласкала его дѣвушка: — а мама, пани-мама здозволять?

— Мама ничого... Мамо! мамо! — и Гриць бросился къ матери: — мамо, мамуню! я буду „Шумомъ“ — Ляля сказала, — звенѣлъ Гриць, вѣшаясь на шею матери.

— „Шумомъ“? Ахъ, сынокъ мой! ахъ, Гришуточка! Да ты упадешь, —

ласково, но нерѣшительно защищалась Оленушка, которая ужъ знала, что такое быть „Шумомъ“.—Я боюсь, сынокъ...

— Ахъ, мамо! яка бо ты московка!—настаивалъ мальчикъ:—я не впаду... я вже бувъ „Шумомъ“...

— Ну-ну, добро, добро, только не упади...

Гриць опять кинулся къ Лялѣ, поцѣловавъ по дорогѣ Цяцю—пани Дорошенкову.

— Мама сказала можно—я не впаду...

— Ну, добре... Дивчаточка!—обратилась Ляля къ подругамъ: будемо грати „Шума“.

— „Шума!“ Шума!“—подхватили десятки голосовъ.

Гриць сѣлъ на траву и тутъ же сталъ снимать съ себя красные сапожки, торопясь и весь краснѣя отъ волненія и радости.

Между тѣмъ, „дивчата“, взявшись за руки одна другой, растянулись длинною цвѣтною лентою по зеленой лужайкѣ: это была, дѣйствительно, лента—„стричка“—изъ веселыхъ, молодыхъ, улыбающихся лицъ, изъ русыхъ и, преимущественно, черныхъ головокъ, украшенныхъ разноцвѣтными „скиндячками“, изъ такихъ же разноцвѣтныхъ яркихъ „плахтъ“, „запасокъ“, „сподницъ“ и всѣхъ цвѣтовъ черевичковъ. Одинъ конецъ этой живой ленты сталъ плавно заворачиваться и, пробѣгая мимо тѣхъ „дивчатъ“, которыя, продолжая держать другъ дружку за руки, стояли на мѣстѣ, — скользили, какъ подъ гарляндю, поцѣ приподнятыя руки двухъ крайнихъ дѣвушекъ. Когда вся живая лента играющихъ проскользнула подъ такую же гарляндю изъ шитыхъ рукавовъ послѣдней пары, эта парочка также обернулась подъ своими руками, и дальнѣйшее движеніе играющихъ представляло уже „плетеніе плетня“, гдѣ вмѣсто лозы и хворосту перевивались и скрещивались руками смѣющіяся молодыя существа... А „татарочка“, а за нею и вся вереница звенѣла новою пѣсенкой:

Ой нумо, нумо!  
Въ зеленого Шума  
Огирочки жовтяки—  
Женитесь, парубки...

— А мене-жъ, Лялю, „Шума!“—волновался Гриць, подскакивая на босыхъ ножкахъ.

„Ляля“ схватила его на руки и стала цѣловать.

— „Шумъ“ иде! „Шумъ“ иде!—говорила она, поднося мальчика къ скрестившейся живой изгороди изъ рукъ и головъ, и поставила его на эти сплетенныя руки.

Гриць, счастливый и смѣющійся, гордо поглядывая съ высоты на мать „московку“, на Цяцю Дорошенчиху, на своихъ сверстниковъ козачать, завистливо смотрѣвшихъ на него, смѣло пошелъ вдоль живого плетня, ступая своими босыми ножками по дѣвичьимъ рукамъ и слегка дотрогиваясь руками до ихъ головъ, а живой плетень въ это время пѣлъ хоромъ, подъ звонкій голосъ „татарочки“:

А въ нашего Шума  
Зеленая шуба!  
Шумъ ходить по диброви,  
А Шумиха рыбу ловить:  
Що вловила, то й пропила,  
Доци шубы не справила...

Пѣсня становилась все звонче и звонче, молодые голоса какъ бы крѣпли еще болѣе, а въ перебой имъ изъ-за Тясмина несло шумное, но стройное „парубocke спиванье“: это парубки за рѣчкою выкрикивали, какъ бы подзадоривая „дивчатъ“:

А позаду Сагайдашный,  
Що проминявъ жинку на тютюнъ та люльку—  
Необашный!

Хоръ парней на минуту замолкалъ, какъ бы прислушиваясь къ пѣнію про „Шума“, а потомъ снова гремѣлъ и заливался:

Мени зъ жинкою не возиться,  
А тютюнъ та люлька козаку въ дорози  
Знадобиться—  
Знадобиться!..

Подъ звонъ голосовъ какъ по сю, такъ и по ту сторону Тясмина никто не замѣтилъ, какъ съ пригорка сходила, торопясь и спотыкаясь, повязанная по-московски и въ московскомъ одѣяніи старушка. Она вся раскраснѣлась, а на полномъ, старчески осунувшемся лицѣ и въ шурящихся маленькиихъ глазахъ выражались и волненіе, и радость...

— Ау, матушка боярынька! ау, Олена Митревна! — аўкала она, напрасно сисясь вынырнуть своимъ слабымъ старческимъ голоскомъ изъ цѣлаго потока голосовыхъ волнъ, которыя неслись и переливались въ воздухѣ по обѣ стороны Тясмина.

Ея никто не слыхалъ, а Гриць хотя и увидалъ ее съ своего возвышенія, съ живого плетня изъ дѣвичьихъ рукъ, но тотчасъ же отвернулся, боясь, что это его хотять звать или „кашку кушать“, или „головку мыть“, либо „почивать“, что ему ужасно надоѣло...

— Матушка боярыня, Олена Митревна, намъ Богъ радость послалъ! — говорила, запыхавшаяся нянюшка.

— Что ты, няня! охъ! — встревожилась Брюховецкая и даже поблѣднѣла.

— Точно, родимая, радость, чу, Богъ послалъ...

— Говори же... сказывай, Аксентьевна, что такое?

— Та мабуть бабушци Богъ сына або дочку пославъ, — усмѣхнулась паня. Дорощенчича: — кого вамъ Богъ давъ, бабусю, — москалика чи москочку?

— Господь съ тобой, паня! что ты непутное говоришь! — обидѣлась старушка.

— Такъ что же? Сказывай, няня, не томи! — тревожно спрашивала Брюховецкая.

— Гонецъ съ Москвы, родимая, пригналъ — и отъ батюшки князя и отъ матушки княгинюшки поклонъ и благословеніе тебѣ привезъ — и грамотки съ имъ...

— Ахъ, няня! что ты! охъ! — скорѣе испугалась, чѣмъ обрадовалась молодая боярыня.

— Истинно докладываю... Я и свѣту не взвидѣла, какъ рѣчь-ту родную услышала... Съ родимой-ту сторонки и собачка, чу, родная сестрица, — бормотала старушка, разводя руками.

— Уже-й сторонка! — улыбнулась Дорошенчика.

— Такъ идемъ, няня, скорѣе.. Гришутку взять надоть. Ахъ, Господи! Всѣ заторопились. Только Гриць никакъ не хотѣлъ разстаться съ своей почетной ролью „Шума“. Съ плачемъ онъ былъ стаченъ съ дѣвичьихъ рукъ и насильно уведенъ домой.

— Я не хочу москалемъ быть... Я не хочу бояриномъ быть... Я буду козакомъ... У москаливъ бороды... Я не хочу бороды... я хочу вусы... Не давайте мене москалямъ, — капризничалъ Гриць всю дорогу.

— Добре, добре, Грицю, — подзадоривала его веселая Дорошенчика: — ты у насъ будешь гетьманомъ.

— Ни, не хочу гетьмана... я буду „Шумомъ“...

Такъ Гриць и остался при своемъ мнѣніи.

## II.

### Гонецъ изъ Москвы.

Гонецъ, которому такъ обрадовалась старая няня Аксентьевна, ѣхалъ съ грамотами изъ Москвы, изъ малороссійскаго приказа, къ гетману правобережной Украины, къ „Петру Дороеичу“, какъ величали московскіе люди Дорошенка, когда были довольны имъ или хотѣли его задобрить, и котораго тотчасъ же превращали въ „Петрушку“, съ укоризненнымъ прозвищемъ „Дорошонокъ“, какъ только имѣли поводъ на него гнѣваться. Пріѣхавшій въ Чигиринъ гонецъ былъ не простой москвичъ, а молодой думный дворянинъ, „государевъ холопнишко Федька Соковнинъ“, какъ онъ самъ писалъ себя, — родной братъ двухъ „великихъ страстотерпецъ“ — боярыни Морозовой и княгини Урусовой.

Не одна старая няня обрадовалась Соковнину: „боярыня и панія Олена Митревна Брюховецкова“, какъ называлъ ее московскій гонецъ, расплакалась отъ умиленія, увидавъ больше чѣмъ „собачку съ родной стороны“ — человекъ, который зналъ ее еще дѣвучкою и видѣлъ, какъ она въ послѣдній разъ „своею дѣвичьею красою — русою косею свѣтила“, то-есть былъ у нея на свадьбѣ въ числѣ ближнихъ гостей, мало того ближнихъ — ближайшихъ: Федоръ Прокопьевичъ Соковнинъ былъ на этой



свадьбѣ „тысяцкимъ“ и на конѣ, съ саблею на-голо, стоялъ, по московскому обычаю, всю брачную ночь у подклѣти, въ то время когда въ подклѣти между новобрачными, гетманомъ и бояриномъ Иваномъ Мартынычемъ Брюховецкимъ и княжною Олевушкою Долгоруковой „доброе совершалось“.

Рѣчи въ первые минуты свиданья были такъ безсвязны, что ихъ трудно было уловить кому бы то ни было. Только уже послѣ необходимыхъ и неизбежныхъ въ подобныхъ случаяхъ возгласовъ, вопросовъ и отвѣтовъ, Соковнинъ, плотный русый мужчина, лѣтъ подь сорокъ, напоминавшій, только вчернѣ, своихъ сестрицъ, обратилъ вниманіе на Гриця, который, держась за подолъ матерп, исподлобья поглядывалъ на незнакомца.

— А это, чаю, сынокъ твой, Олена Митревна?—спросилъ онъ и потянулся было погладить мальчика.

Гриць попятился назадъ и топнулъ ножкой.

— Сыночекъ? У-у дикой!—и Соковнинъ коснулся рукою головы мальчика.

— Не рушь мене, не рушь,—упрямился Гриць.

— Что-что онъ бормотить?

— Не рушь, ты москаль!

— Ого-го-го, какой черкашенинъ!—разсмѣялся Соковнинъ. — Фу ты ну ты! А какъ зовутъ ево?

— Гришей, Гришуткой,—отвѣчала молодая боярыня.

— Я не Гришутка—я Гриць,—понуро пояснилъ упрямый хохлаенокъ.

Разговоръ, конечно, скоро перешелъ на московскія дѣла. Въ горницу, которая была отведена Брюховецкой въ Чигиринѣ, въ домѣ Дорошенка, и въ которой молодая боярыня приняла теперь своего московскаго гостя, немного погодя вошла и Дорошенчиха, спросивъ предварительно—не помѣшаетъ ли она.

— Нѣтъ, нѣтъ, кумушка, — гдѣ помѣшать! — успокоила ее Брюховецкая:—я у васъ, какъ у родныхъ, жила, и мнѣ отъ васъ таить нечего да и не по-что.

Соковнина, видимо, удивила, и удивила пріятно, эта черкасская вольность: пришла баба, молодая и красявая, въ комнату, гдѣ находился посторонній мужчина, пришла сама, и не прячется, не закрывается ни фатой, ни рукавомъ, не ахаетъ и не убѣгаетъ, какъ чортъ отъ ладону. Онъ даже молодцовато присанился при видѣ молодой черкашеники, у которой — ему припомнилась сей часъ московская пѣсня:

Лицо бѣло—набѣленное,  
Брови черныя—насурмленыя,  
Глаза сѣрые—развеселые...

Все это, дѣйствительно, было у молодой красивой украинки, только не „набѣленное“ и не „насурмленное“ по московскому обычаю, а природное. Соковнинъ и бороду свою русую съ краснецою молодцовато оправилъ.

— Такъ Нероновы времена, сказываешь, настали на Москвѣ, Федоръ Прокопичъ?—продолжала Брюховецкая начатый разговоръ.

— Нероновы и Діоклетіановы, матушка Олена Митревна, — отвѣчалъ гость, взглядывая мелькомъ на красивую черкашенку-гетманшу.—Развели это сестеръ въ разныя темницы: Федосьюшку заточили на печерскомъ подворьѣ, а Дуню въ Алексѣевскомъ монастырѣ подъ приставы. И какихъ это съ ими діоклетіанскихъ мученій не продѣлывали — и сказать я тебѣ, матушка, не умѣю. Перво дѣло — силкомъ ихъ къ церковному четью-пѣтью волочили. Неидутъ это сестры, не хотятъ имѣть общеніе съ никоніаны, такъ ихъ, срамъ сказать!—кладутъ это на рогожныя носилки и несутъ къ четью-пѣтью, словно бы мертвое тѣло... Сама посуди—каково это!

Брюховецкая грустно качала головой и молчала... Ей представлялись эти грязныя рогожныя носилки и на нихъ — эти пышныя боярыня и княгиня, которыхъ она видѣла когда-то во дворцѣ на самыхъ почетныхъ мѣстахъ, въ самыхъ дорогихъ нарядахъ, или же въ блестящихъ, раззолоченныхъ каптанахъ „съ аргамаки многи и гремичими чѣпъми“... И вдругъ — на рогожахъ!.. Ей вспомнилось окровавленное, обезображенное лицо мужа на грудѣ мертвыхъ тѣлъ... Она невольно вдрогнула... Это смерть стала за плечами...

— И откуда это все взялось у сестеръ—я и ума не приложу,—продолжалъ Соковнинъ. — Вить въ дѣвкахъ да и замужемъ ужъ были они тихи, что овечки, скромницы такія, что и сказать нельзя, мухи не обидѣли, и что бывало ни скажешь имъ—„Федосьюшка, моль, сдѣлай, моль то-то и то-то“, либо—„Дунюшка, поди, моль, принеси: — не перечили ни въ чемъ и никому. А тутъ—на поди! желѣзныя какія-то стали, адамантовыя... Несутъ это которую по двору къ четью-пѣтью, увидить она кого, и ну стонать къ носильщикамъ-ту: „Увы мнѣ! охъ, утомилася я, старицы, постойте немножо!“—Ну, тѣ и снуцають носилки наземъ, а она ну вѣщать: „Зачѣмъ-де волочите меня? Развѣ-де я хочу съ вами молиться! Никакъ! Не почитаю я вашей-де службы!“ И ужъ достанется тутъ и Никону, и попамъ, и архиреймъ — всѣмъ сестрамъ по серьгамъ и по черевичкамъ... И что жъ бы ты думала, Митревна!—со всей Москвы валить народъ—и худородные, и вельможныя жены — только бы посмотрѣть, какъ волочать въ церковь боярыню либо княгиню, да послушать ихъ горяченькой проповѣди... Ужъ и вправду—горяченькая, охъ, горяченькая!

— Ики-жъ се сестры, скажите, будте ласкави, и за що се ихъ такъ, мовъ злодѣивъ, москали мордуютъ? — спросила пани гетманова, заинтересованная рассказомъ Соковнина.

— Это, панія ваша милость, мои сестры будутъ, родныя, значить, сестренки: старшая — вдова боярина Морозова, а молодшая будетъ княгиня Урусова,—любезно отвѣчалъ Соковнинъ.

— За що-жъ ихъ, мовъ турки Байду, катують?

— За крестъ, ваша милость, за крестное сложеніе.

— Якъ за хрестъ! — удивилась пани гетманова:— хйба-жь у васъ у Москви вира татарська теперь, чи турецька?

— Нѣтъ, панія ваша милость,—улыбнулся Соковнинъ:—у насъ, сказать бы, нонѣ два креста: единъ крестъ старый, истовый—это двуперстый будетъ, а новой, никоніанской—это троеперстной... Такъ вотъ, сказать бы, кто истовова креста держится, тово и мучають...

— А за що? Хйба не все одно, що двома пальцями Бога славити, чи трема, чи усією рукою?

— Нѣтъ, государыня, это, сказать бы, не все едино... Правда, сказать бы, оно и тово, коли бы не тово...

— Отъ чудни москаля!—пожала плечами пани Дорошенчиха и улыбнулась: — мабуть нмъ ничего бильше робить, такъ коло пальцивъ заходились... Отъ народець! отъ чудна порода!

Соковнинъ потупился и тоже улыбался, а Брюховецкая все-таки мыслью витала надъ этой „чудной“, но ей лично дорогой родиной: „батюшкова она и матушкина родимая сторонка“...

— Выбачайте, пане! — спохватилась пани гетманова: — що-жь було дальшь за вашими сестрами?

— А все такъ—посемѣть сидять во узахъ, и караулять ихъ, словно Стеньку Разина.

— Се-бъ того козака съ Дону, що хотивъ Москву до горы ногами поставить?

Соковнинъ снова снисходительно улыбнулся.

— Ну, ваша милость, Москва тѣ, сказать бы, больно широка и тяжела: не такъ ту, сказать бы, ей легко въ гору ноги подымать... Гораздо тяжела наша матушка-Москва живеть...

Онъ остановился и поглядѣлъ на задумчивое лицо Брюховецкой.

— Мамо! мамо!—зазвенѣлъ Гриць, радостно влетая въ свѣтлицу, откуда ужъ онъ успѣлъ улизнуть. — Я пиду съ хлопцями слухать, якъ онъ тамъ кобзарь про козака Голоту пивае—

Якъ на Голоти шапка бирка,  
Зверху дирка,  
Травкою пошита,  
Витромъ подбита...

И Гриця слѣдъ простыль...

— Ну, озорной малецъ! — развелъ руками Соковнинъ: — вотъ вѣтеръ—н-ну!

— А меня все московкой бранить, непутевый ребенокъ, — пояснила мать.

Но потомъ мысль ея снова перенеслась въ Москву: встали передъ ней, какъ живые образы Морозовой и Урусовой.

— Ахъ, бѣдныя, бѣдныя мученицы!—покачала она головою. — Такъ онъ и сидять въ заточеніи и никого не видають?

— Гдѣ видать! отай развѣ, благо караульщики, стрѣльцы-тѣ, все свой

народъ—и сердце-ту у нихъ, сказать бы, не каменное, да и сдобриваемъ ихъ... А болѣе всего мучаютъ Ѳедосью сестру: ужъ больно она горяча въ вѣрѣ и въ словахъ остра. Одна какъ она ошпарила это Иларивона, митрополита рязансково—просто ахъ! Этотъ Ларивонъ митрополить, сказать бы, самъ былъ старой вѣры допрежь сего и другъ закадышной Аввакума протопопа, да послѣ почестями разлакомился, перешелъ въ никоніанство. Ужъ и лють же сталъ гонитель старой вѣры! Діоклетіанъ, сущій Діоклетіанъ. Аввакумъ за сію лютость возьми да и пришли въ Москву написаніе нѣкое, „о Мельхиседекѣ“ рекомое, а въ писаніи семь многожно таки этово Ларивона митрополита словесами, словно, сказать бы, кнутомъ, постегалъ. Дошло сіе написаніе до сестры Ѳедосьи: она возьми и выучи его наизусть. Вотъ и пріѣзжаетъ къ ей въ темницу оный митрополить Иларіонъ, отъ царя, сказать бы, увѣщевать сестру—весь въ бархатѣ и виссонѣ, въ каретѣ и на вороныхъ аргамакахъ... „Смирись,—говоритъ сестрѣ,—не буди горда, раба божія Ѳедосья“. А сестра и ну вычитывать ему наизусть отъ Аввакумова написанія: „Другъ мой, говоритъ, Иларіонъ, архіепископъ рязанской! Мельхиседекъ, живой въ чащи лѣса, во горѣ Ѳаворской, седьмъ лѣтъ, ядый вершіе дровъ, вмѣсто питія росу лизаше, прямой былъ священникъ: не искалъ ренскихъ, и романей, и водокъ, и винъ процѣженныхъ, и вина съ кардамономъ, и медовъ малиновыхъ, и вишневыхъ, и бѣлыхъ разныхъ. Видишь ли, другъ мой Иларіонъ, какъ Мельхиседекъ-отъ жилъ? На вороныхъ конехъ въ каретахъ не тѣшился, ѣзда. Да еще былъ царскія породы,—а ты кто? Охъ, охъ! бѣдный! Некому по тебѣ плакать. Недостойнъ есть вѣкъ твой весь противъ Макарьевскаго монастыря единыя нощи. Помнишь ли, какъ на комарахъ-тѣ стаявано на молитвѣ? Явно ослѣпилъ тебя діаволь. Гдѣ ты умъ свой дѣлъ? Столько трудовъ и добра погубилъ! Воспояни убо, яко молитвой и бѣсовъ прогонялъ. Помнишь, какъ въ тебя бросали каменіемъ на Лысковѣ у мужика, какъ я къ тебѣ пріѣзжалъ? А нынѣ уже мирно содружился ты съ бѣсами и мирно живешь съ ними и любимъ еси ими. Какъ имъ тебя не любить! Столько ты христіанъ прижегъ и прирубилъ злымъ царю наговоромъ, еще же и ученіемъ своимъ лъстивымъ и пагубнымъ многихъ неискусныхъ во адъ свелъ. Никто же инъ отъ властей, яко же ты ухищреніемъ своимъ и пронырствомъ царя лъстишь и люди божіе губишь. Да воздастъ ти Господь по дѣломъ твоимъ въ день страшнаго суда! Полно мнѣ говорить—хошу нынѣ отъ васъ терпѣть“!.. Такъ онъ ажно позеленѣлъ, сказывали сестры, отъ этихъ словъ.

— А ты съ сестрами самъ-отъ видался?—спросила Брюховецкая, напряженно слушавшая рассказъ гостя.

— Отай выдывался... Такъ послѣ этой-ту закуски, Ларивонъ и наговори царю, что Ѳедосья-де выдается со всѣми стариками, что онъ-де передаютъ ей и письма отъ Аввакума, и все такое, и что всему-де голова и воевода—старлица Меланія...

— О! я помню ее, Маланью-ту: она къ намъ, въ батюшковъ домъ,

хаживала, да и покойная царица Марья Ильишна ее своей царской милостью жаловала.

— А хто ся Меланія?—спросила пани гетманова.

— Старица, монашка, сказать бы, — отвѣчалъ Соковникъ:—святая жизни женщина... Такъ царь и распалился гнѣвомъ на оную Меланію и велѣлъ ее хоть на днѣ моря сыскать. Такъ гдѣ! не родился такой чело-вѣкъ, чтобъ мать Меланію сыскалъ, либо, знаяши ея укрывательство, вы-далъ: за нее все въ огонь и въ воду: стратигъ, сказать бы, всему мо-сковскому государству эта Меланія старица... Ужъ и меня царь допыты-валъ да умасливалъ—не вѣдомо ли-де мнѣ, гдѣ та Меланія старица обрѣ-тается? —и великое мнѣ свое государское жалованье сулилъ... Такъ ничево не возьмешь... Вотъ для того нынѣ и изъ Москвы меня выслалъ, яко бы съ грамотами къ гетману Петру Доросенчу, а послѣ тово велить мнѣ на воеводство быть въ Чугуевъ... А все изъ-за сестеръ...

А подъ окномъ слышится протяжная, заунывная мелодія подъ одно-образное треньканье нехитраго инструмента, простая, но за душу хватающая мелодія:

Ой изъ города Трапезонта выступала галера  
Трема цвѣтами процвѣтана, малевана:

Ой первымъ цвѣтомъ процвѣтана—  
Злotosиними киндяками побивана,

А другимъ цвѣтомъ процвѣтана—  
Гарматами арештована,

Третьимъ цвѣтомъ процвѣтана—  
Турецькою билою габою покровена...

Все, какъ очарованные, невольно прислушиваются къ этому пѣнію, и даже Соковникъ, опустивъ голову, сидитъ не шелохнется—слушаетъ... Умолкаетъ пѣніе—только слышится переборъ пальцами по струнамъ...

— Ужъ и пѣвучая же сторонка—ахъ! — какъ-то восторженно встря-хиваетъ волосами московскій гость:—ужъ и сторона же!.. Сколько я новѣ по ней ни ѣду—все пѣсня, все пѣсня, такъ и звенятъ: и парни, и дѣвки поютъ, и малы робятки соловьемъ заливаются, и самые что-ни-на-есть дряхлы старики—и тѣ поютъ... Ужъ и сторонка же—ахъ! Божова сторонка!—рай, сказать бы, земной...

— И точно рай,—какъ бы про себя замѣтила Брюховецкая:—только и въ емъ безъ родныхъ скучно...

— Та рай же-жъ, рай, — весело заговорила пани гетманова: — та коли бъ сей рай москали не запсовали, мовъ мухи образъ, якъ вони онъ-тамъ, на тймъ боци Днипра, позасидили вже сей рай...

То въ тій галери Алканъ-баша,  
Трапезонськее княжа гуляе,  
Избранного люду соби має—  
Симсотъ туркивъ, янычаръ чотыриста,  
Та бдиного невольника пивчвартаста...

Это опять нощь голось пѣвца за окномъ...

— Ишь старый! какъ же складно выводить, — удивляется Соковнинъ: — ну, вародецъ этотъ хохоль. А-ахъ!

— Ну, а Ванюшка сынокъ Морозовой — что онъ? — спихватилась Брювцева.

— А! Ванюшка? племянникъ мой! Богу душеньку свою отдай...

— Какъ! что ты! Ахъ, Господи!

— Помре, да...

— Давно ли? съ чего? Ахъ, бѣдная, бѣдная...

— Отъ великія печали по матери... Давно и сорочины по душѣ я справилъ... Ужъ и убивалась же бѣдная Федосьюшка, какъ попъ безкуфейникъ принесъ ей горькую вѣсть о сыночкѣ: долго колотилась объ землю сердечная, да причитала, да на царя плакалась — онъ-де искалъ ево погибели...

— Ой ли? что ты?

— Да такъ, боярыня... У насъ въ московскомъ государствѣ, сама изволишь вѣдать, и смерть, и опала богатаго боярскаго рода на корысть великому государю: всегда въ такомъ разѣ вотчины и богатства опального и умершаго отписываются на государя, чтобы-де его царскому пресвѣтлomu величеству было прибыльнѣе.

— Отъ-такъ сторонка! — невольно воскликнула Дорошенчиха.

— Мамо! мамо! — стрѣлой влетѣлъ Гриць: — дай мени золотого.

— На что тебѣ, сынокъ? — удивилась мать.

— Я кобзаревн у шапку вкину...

Мать должна была исполнить требованіе своего избалованнаго Гриця.

— Подай, милой, и отъ меня слѣпенькому алтынъ, — полѣзь-было Соковнинъ къ себѣ за пазуху.

Гриць остановился и недовѣрчиво вскинулъ на него своими черными, какъ владимірская вишня, буркалами...

— Ни, — сказалъ онъ, подумавъ: — я московскихъ грошей не хочу...

— Добре, Грицько, добре! — засмѣялась Дорошенчиха: — отъ москаля полу врижъ та втикай.

И всѣ размѣялись этой выходкѣ. Гриць улетѣлъ изъ свѣтлицы...

— Ой, паничу! якъ вы мене злякали були, — послышался чей-то голосъ за дверями.

На порогѣ показался рослый парубокъ съ высокою подстриженною черною головою и съ чубомъ: бѣлая шпята красною заполючю сорочка съ стоячнмъ „компромъ“, завязанная у горла сипсю „стричкомъ“ изъ „Явдошиной косы“ (съ Явдохой парубокъ только вчера вечеромъ „женхался“ на улицѣ, и Явдоха сама вышла изъ своей косы ленту — „стричку“ и завязала ею сорочку своему „любому козаченьковн Петрусевн“), широчайшія съ непзмѣрною, какъ степь, и всящею до земли „матнею“, желтые, какъ въ полномъ цвѣту подосолнухъ, шаровары и „нови чоботы“, отъ которыхъ несло какъ изъ дегтярной бочки...

— Ты чего, хлопче?—спросила пани гетманова, закрывая „хрусткою“ носъ:—отъ намазавъ чоботы, дурный, ажъ очи рогомъ лизуть...

Парень нѣсколько оторошѣлъ...

— Та се я... трошки помазавъ... онъ для ихъ... шанючи пана боярина... шобъ не казали у Москви, шо у насъ,—оправдывался растерянный совѣтъ малый, ссылаясь на то, что онъ такъ усердно намазалъ свои „чоботы“ изъ вѣжливости, изъ уваженія къ знатному московскому гостю, чтобъ въ Москвѣ не сказали, что козаки якобы не умѣютъ принимать дорогихъ гостей:—шобъ у Москви не казали, шо у насъ...

— Дегтю мало? — засмѣялась пани гетманова, обдавъ, какъ кипяткомъ, своими сѣрыми глазами московскаго гостя.—Ну, чего жъ ты стоишь?— снова обратилась она къ парубку.

— Та пани-матка оце послали мене... запрохати шановного пана москаля—чи панъ-боярина... якъ его тее... оце й забудь... тее то якъ его... запрохати тее пана моска... цуръ ему!—тее... отъ и забудь...

Малый совѣтъ бился, а шель съ затверженной рѣчью, которою онъ, отъ имени старой пани-матки, самой матери гетмана, долженъ былъ пригласить гостя „на чистуванне“—на закуску съ дороги.

— Просимо дорогого гостя, просимо,—встала пани гетманова и приглашала идти къ старой „пани-маткѣ“, къ хозяйкѣ и главѣ гетманскаго дома.—Ходимо, Оленко, п ты—ходи, Олесю,—ласково обратилась она и къ Брюховецкой:—мати ждуть насъ... Бижи хутко, Петрусь, та скажи пани-матци, шо заразъ будемо.

Петрусь метнулся, разнося дегтярный запахъ по всему гетманскому дому. Петрусь былъ того мнѣнія, что деготь пахнетъ лучше всякихъ цвѣтовъ и духовъ и что „безъ дегтю пропали бы люди...“

Когда гость, предшествуемый пани гетмановою и Брюховецкою, входилъ въ покой старой пани-матки, Петрусь недоумѣвающе топтался у дверей и впросительно поглядывалъ на молодую госпожу.

— Може тее, пани... коли воняють чоботы, то я-бъ може тее-бъ—босый бы або що...

Пани гетманова только махнула рукой...

— Або-що!.. може-бъ и безъ штанивъ або-що, — пробормотала она про себя, улыбаясь.

— А а запам'ятоваль—простите, матушка Олена Митревна, — торопливо сказалъ Соковничъ, вступая въ пріемный покой, гдѣ онъ долженъ былъ представиться старой матери гетмана: — царевна ея милость Софѣй Алексѣвна наказывала мнѣ съ сѣнною дѣвушкой: „поклонись-де, Федоръ, отъ меня боярынѣ Оленѣ Митревнѣ и спроси о здоров'ѣ...“

— Ахъ, свѣтикъ царевнущка! Что она, цвѣтикъ лазоревой? Ахъ!

— Растеть, полнитися, хорошѣеть, что заря утрення, и всякимъ хитростямъ и дѣйствамъ учится...

Послышалось тяжелое шарканье по полу шаговъ, и на порогѣ внутреннихъ покоевъ показалась высокая осанистая старуха—черная и вся въ

черномъ... Единственное, что бросилось въ глаза Соковнину — это рѣзкій цыгановатый обликъ старухи...

То была, мать Дорошенка...

### III.

#### Тишайшій нупаетъ въ пруду стольшниковъ.

Не въ одной Украинѣ голубое небо, жаркое солнце, яркая зелень...

Жаркое, хотя утреннее лѣтнее солнце пурпуромъ горитъ на золотыхъ верхушкахъ лѣтняго дворца Алексѣя Михайловича въ селѣ Коломенскомъ, обладаетъ пурпуромъ яркую зелень царскаго сада съ цвѣтниками и прудомъ и превращаетъ въ нѣжную бирюзу голубое московское небо, когда-то сыпавшее, казалось, одними снѣгами и мятелями, да дышавшее трескучими морозами. Лѣтняя царская резиденція, изукрашенная и „измѣтанная“ невиданными рѣзкими узорами и красками, обрызганная позолотою, испещренная цвѣтными и разрисованными стеклами—вся въ столбикахъ, конькахъ, гребешкахъ и рѣшеткахъ — такъ и рябитъ, такъ и слѣпнитъ своею золото-ордынскою пестротою непривычный глазъ...

Прелестное московское утро... На дворцовыхъ карнизахъ, межъ рѣшетками переходовъ и на наличникахъ голуби воркуютъ... Въ чащѣ сада турлукаютъ горлинки и свистятъ иволги...

И среди этой природы, на женской половинѣ дворца, въ высококомъ теремѣ царевенъ, на полузадернутыхъ отъ солнца пологами переходахъ раздается звонкій, металлическій голосокъ той, о которой сейчасъ почти, именно вчера подъ вечеръ, вспоминали въ Украинѣ правобережной, въ Чигиринѣ, въ домѣ гетмана Петра Дорошенка... Это голосокъ „я милости царевны Софѣи Алексѣвны...“

Царевна Софѣя Алексѣевна сидитъ въ своемъ теремѣ съ Симеономъ Ситиановичемъ Полоцкимъ и учится „ариметикѣ...“

Царевнѣ уже пошелъ пятнадцатый либо шестнадцатый годокъ. Она, какъ справедливо замѣтилъ думный дворянинъ Федоръ Соковнинъ на вопросъ Брюховецкой, похорошѣла, выросла, пополнила пышнымъ бѣлымъ тѣльцемъ... Вѣлокурая ея умненькая головка выростила роскошную косу, которая заплетена въ двѣ трубы... Голубые, совсѣмъ московскіе глаза съ поволокой поглядываютъ иногда на зелень сада, на прудъ, у береговъ котораго картинно плаваютъ лебеди... Одна шибка стеклянной галереи переходовъ отворена въ садъ — оттуда вѣетъ ароматомъ цвѣтовъ и зелени... У пруда, „ердани“, стоятъ часовые стрѣльцы... Кое-гдѣ видѣются въ тѣни зелени бояре, стольшники и другая дворская саранча...

— Такъ-такъ—цифрей ни лишнѣхъ, ни неправильныхъ нѣту,—говорилъ, какъ бы про себя, Симеонъ Полоцкій, перелистывая тетрадку на столѣ.—Цифирное дѣло гораздо, въ порядкѣ... Похваляю Премудрость царевну... А что есть ариметикія? — вскинулъ овъ на все своими умными семитическими глазами.



Царевна какъ бы немножко вздрогнула отъ задумчивости, но тотчасъ же оправилась.

— Арифметикія или числительница есть искусство честное,—быстро заговорила она,—независтное и всѣмъ удобопонятное, многополезнѣйшее, отъ древнѣйшихъ же и новѣйшихъ въ разныя времена явившихся изряднѣйшихъ арифметиковъ изобрѣтенное и изложенное.

Прекрасные глаза царевны смотрѣли весело и свѣтло.

— Изрядно, преизрядно!—похваляя учитель. — А каково есть арифметикино челобитье до учащейся юности?

— Челобитье арифметикійно таково есть:

Прими, юнице, премудрости цвѣты,  
Разумныхъ наукъ обтеца вѣрты,  
Арифметикіи прилежно учися,  
Въ ней разныхъ правилъ и штукъ предержися.  
Ибо въ гражданствѣ къ дѣламъ есть потребно  
Лѣчити свой умъ, аще числить вредно,  
Та пути въ небѣ рѣшить, и на мори,  
Еще на войнѣ, полезна и въ поли.

— Оптиме! оптиме!—похваляя учитель, любуясь своей ученицей.

— А что есть „оптиме“?—удивленно спросила царевна.

— „Оптиме“ есть велия похвала римская, сирѣчь „преизряднѣйшее“, „препохвальнѣйшее“, изряднѣе чего быть не можетъ.

— А что есть „вѣрты“, учителю? — снова спросила любознательная ученица.

— „Вѣрты“ суть множественное число, по грамматикѣ, отъ „верта“; а „верта“ есть мать и сестра „вертограда“: попросту „верта“ есть садъ.

— А что есть „штукъ“?

— „Штука“ есть слово польское и украинское и равносильно слову „художество“.

Царевна глянула въ окно и улыбнулась.

— Государь батюшка вышелъ на смотръ, — сказала она, продолжая весело улыбаться:—а бояре-тѣ, бояре какъ земно кланяются головами въ песокъ... красны что раки... пыхтятъ какъ...

Она совсѣмъ разсмѣялась. Тонкая улыбка змѣйкой пробѣжала по губамъ и глазамъ Симеона Полоцкаго.

— Усердіе свое великому государю являють,—замѣтилъ онъ скромно.

— Ахъ! дьякъ Алмазъ Ивановъ ужъ тринадцатой поклоушъ кладеть,— снова засмѣялась царевна:—кувыркается...

— Онъ легонькой—худъ гораздо—ему не тяжело,—пояснилъ Симеонъ.

— Ахъ! а князь Трубецкой Алексѣй Никитичъ съ земли не можетъ подняться... Ахъ!

— Тучень онъ и старъ гораздо...

— Ево поднимають князь Юрье Ромодановской да Ртищевъ Федоръ... Ахъ, подняли! подняли! Государь батюшка смѣется... руку жалуеть...

Царевна вспомнила, что она отвлекается отъ „урка“—и зардѣлась... потомъ отвернулась отъ окна, чтобъ не соблазняться „кувыркаными“ бояръ.

Симеонъ Полоцкій понялъ это.

— А коллигуба есть ариеметикія, царевна Премудрость?—съ ласковою улыбкою спросилъ онъ.

— Ариеметикія есть сугуба.

— Изрядно... А каково есть ариеметикійно первой части послѣдствіе?

— Ариеметикійно послѣдствіе гласить сиче:

О, любезнѣйшая прочитателька,  
Буди о Христѣ ты снискателька,  
Да въ наукѣ сей будешь свершенна  
И вездѣ у всѣхъ добре почтенна.  
Но еще молю тя потщися,  
Протчихъ частей изучися,  
Въ нихъ же охотно ся понуди,  
Въ политикіи всей свершенна буди,  
Да будешь почтена всеконечно  
И увѣнчана отъ всѣхъ вѣчно.

— Оптиме! сугубо и трегубо оптиме!—поощрялъ учитель.

Царевна вдругъ засмѣялась, да такъ дѣтски искренно и звонко, что даже Алексѣй Михайловичъ, занятый важнымъ государственнымъ дѣломъ—счетомъ земныхъ поклоновъ своихъ бояръ и другихъ сановниковъ—оглянулся на теремъ царевны и добродушно улыбнулся...

— Батюшка государь сюда смотритъ и смѣется,—сказала царевна и быстро спряталась за пологъ, словно испугнутая птичка.

— Великій государь любить тебя, царевна, паче всѣхъ, — серьезно замѣтилъ Полоцкій.

— А я... ахъ, я батюшку государя таково крѣпко люблю, таково крѣпко!.. А однова онъ говорилъ мнѣ, что когда ево, царевичемъ, заставляли урки учить, такъ повсядень велѣли прочитовать „похвалу розгѣ“... И „похвала розгѣ“, батюшка сказывалъ таково:

Розгою Духъ Святый дѣтище бити велить,  
Розга убо ниже мало здравія вредить...

Она снова засмѣялась... Симеонъ, позвякивая четками, ласково смотрѣлъ на нее и улыбался...

— А дальше, батюшка сказывалъ, тако:

Благослови, Боже, оныя лѣса,  
Иже розги добрыя родять на дѣтскія тѣлеса,  
Да будутъ благословенны и оныя златыя времена,  
Егда убо съкутъ розгами людскія рамена...

— Нынѣ сему не учать,—замѣтилъ Симеонъ, когда царевна кончила.

— А „комидійнымъ дѣйствамъ“ учать?—наивно спросила юная царевна.—Ихъ, какъ оныя „дѣйства“ хороши, зѣло хороши!

Симеонъ Полоцкій скромно потупился, и даже немножко какъ-бы румянецъ показался на его блѣдномъ, безцвѣтномъ лицѣ.

— А ты, царевна, видѣла ихъ? — спросилъ онъ, немного подумавъ.

— Однимъ глазкомъ видѣла, когда у батюшки въ палатахъ оныя дѣйства показывали... Я изъ-за полога смотрѣла... Таково хорошо!.. Выходитъ это Навуходносоръ царь—гордый такой, страшный, и съ нимъ бояринъ Амиръ, и бояринъ Зарданъ, и слуги, и войны... А лицедѣй и говорить государю-батюшкѣ:

То комидійно мы хоцемъ явити  
И аки само дѣло представи  
Свѣтлости твоей и всѣмъ предстоящимъ,  
Княземъ, бояромъ, вѣрно ти служащимъ,  
Въ утѣху сердцець здрави убо зрите,  
А насъ въ милости своей сохраните...

Безцвѣтное лицо монаха расцвѣло, глаза были необыкновенно свѣтлы, губы подергивались...

— Память-то какова у тебя, царевна Премудрость,—золотая! воистину золотая!—радостно бормоталъ онъ, не спуская глазъ съ раскраснѣвшагося личика дѣвушки.

— А какъ весело было, когда были „ливовствованія“, и на полѣ Деирѣ, когда Навуходносоръ царь велѣлъ гудцамъ трубить и пискать... Ахъ, таково хорошо!—и болванъ златъ, идолъ Навуходносоровъ, и печь огненная, и три отрока въ печи, и ангель... Ахъ, какъ они бѣдненьки, отроки тѣ, не сгорѣли въ печи!

— Ангель не попустилъ...

— Да, ангель—точно... Я такъ и замерла, за пологъ уцѣпившись,—мало со страху не крикнула, да няня назадъ оттащила меня силкомъ... Я такъ и расплакалась объ отрокахъ...

— Да оно такъ только, царевна-матушка: одно лицедѣйство... Отрокамъ не горячо было въ печи, — успокоивалъ свою ученицу Симеонъ, довольный въ душѣ эффектомъ своей пьесы: — то комидійное дѣйство, а не само сущее...

— А все страшно... Я послѣ таково возрадовалась, когда на другой день увидала въ окно, что отроки живы и здоровы были... Одного я знаю—онъ истопниковъ сынъ Митя...

Юная царевна совсѣмъ разболталась, а Симеонъ, польщенный ею, только улыбался.

— А потомъ лицедѣй и говорить, — снова восхищалась царевна,—говорить таково красно и кланяется государю-батюшкѣ и боярамъ:

Благодаримъ ти о сей благодати,  
Ико изволилъ еси дѣйства послушати,  
Свѣтлое око твое созерцаше  
Комидійное сіе дѣло наше...

Въ это время на дворѣ послышался какой-то крикъ, плескъ воды и громкій смѣхъ. Царевна выглянула изъ-за полога и тоже засмѣялась...

— Государь-батюшка тѣшиться изволить: стольниковъ купаетъ,—появила она.

Дѣйствительно, противъ внутренней выходной площадки коломенскаго дворца, гдѣ въ высокомъ рѣзномъ креслѣ сидѣлъ царь, окруженный предстоящими ему боярами, князьями и всякими именитыми сановниками, на дворѣ, у самаго пруда, происходило нѣчто необыкновенное, хотя, по понятіямъ того наивнаго вѣка, весьма естественное. „Тишайшій“, дѣйствительно, изволил тѣшиться — купалъ въ пруду своихъ стольниковъ. Эти невольныя ванны царскіе стольники принимали „ежедень“ и „ежеутръ“, какъ писалъ о томъ самъ Алексѣй Михайловичъ стольнику Матюшкину: кто опоздалъ къ царскому смотру, то-есть къ поклонамъ, какіе вонъ нынѣ утромъ такъ усердно дѣлалъ дьякъ Алмазь Ивановъ, самый аккуратный царедворецъ, какъ великій законникъ, или князь Трубецкой, не могшій потомъ подняться съ земли,—кто запаздывалъ къ этимъ поклонамъ, того въ прудъ—такъ-таки советѣмъ въ кафтанѣ, въ золотномъ платьѣ и сафьянныхъ сапогахъ и погружали въ воду, бросая въ прудъ съ „ердани“—съ мостковъ, устроенныхъ для водосвятія.

Сегодня особенно было много купаемыхъ. Да и не мудрено: утро выдалось жаркое, слѣдовательно, купаться для потѣхи его царскаго пресвѣтлаго величества даже пріятно. Конечно, въ сентябрѣ и октябрѣ, когда начинались заморозки, а царь еще оставался въ Коломенскомъ, стольники рѣже опаздывали къ своимъ служебнымъ обязанностямъ — къ поклонамъ; но жаркимъ лѣтомъ почему и не опоздать? Особенно же потому лестно было быть выкупаннымъ, что всякаго, кто потомъ благополучно выползалъ изъ пруда, мокрый, какъ мышъ, царь жаловалъ — кормилъ за царскимъ столомъ: такъ мокрого и сажалъ, и тотъ преисправно купалъ „царску ѣству“ и пилъ изрядно...

— Великій государь! смилуйся, пожалуй! не вели топить: дѣтушки малъ мала меньше!—вопилъ одинъ толстый, красный стольникъ, котораго стрѣльцы подъ руки тащили къ пруду, между тѣмъ, какъ другой уже барахтался въ водѣ, брызгалъ и фыркалъ, какъ купаемый конюхомъ жеребецъ, и охалъ, путаясь въ мокрыхъ складкахъ своего цвѣтнаго кафтана и захлебываясь водой.

— Караулъ! тону! пустите душу на покаянье! — молился оный, выбиваясь изъ силъ.

— Кидай! кидай далѣ, глубче! — наблюдалъ за порядкомъ Алмазь Ивановъ.

— Ой-ой! батюшки! государь!.

Бултыхъ!.. только жмурки пошли по водѣ отъ толстаго стольника...

А „тишайшій“, положивъ руки на полный, выхоленный животъ, „любительно“ смѣется... Ему вторять почтительнымъ ржаніемъ бояре...

Испуганные лебеди бьются по пруду крыльями и отчаянно кричатъ..

Стрѣльцы волокутъ третьяго стольника, который крестится и тихо читаетъ псаломъ „Помилуй мя, Боже, по величїѣй...“

— Охъ! тише! задушите!

И его бултыхнули съ мостковъ со всего размаху.

— Ой-ой! убили! батюшки, убили!

Этотъ третїй стольникъ, падая торчмя въ прудъ, хлобыснулся какъ разъ объ спину толстаго, втораго стольника, который только было вынурнулъ изъ воды...

— Охъ! спасите, кто въ Бога вѣруеть,—потопаю... Охъ!

А тотъ, первый, что раньше другихъ барахтался въ водѣ, кое-какъ добрался до берега, выкарабкался на четверенькахъ—и приближается къ царю съ улыбкой подбострастія... Мокрые волосы спутались, закрыли все лицо—съ волосъ и съ бороды течетъ; съ плащя, съ кафтана и штановъ ручьями льетъ вода; сафьянные сапоги, наполненные водой, хлюпаютъ и брызжутъ... Стольникъ, оставляя за собой на землѣ полосу воды, подходитъ къ царскимъ ступенямъ и кланяется земно, прямо лбомъ въ песокъ... Поднимается—песокъ и грязь на лбу и волосахъ, руки, колѣни, полы—все въ землѣ... Но на лицѣ самая преданная, самая холопская улыбка...

— Жалую тебя, Еремѣй, ѣшь нонѣ съ царскаго стола,—милостиво, съ доброю улыбкою на полномъ розовомъ лицѣ, говоритъ „тишайшїй“.

Стольникъ опять кланяется земно, ослабляется...

— Я ваше царское пресвѣтлое величество, нарочкомъ опоздалъ,—стоя на четверенькахъ, благодарить выкупанный стольникъ:—коли-де опоздаю, такъ выкупаютъ, да и за столъ посадятъ...

— То-то!—улыбается царь, и бояре „ослабляются, что псы вѣрные“.

— Для тово и опоздалъ нарочкомъ... Ётвы царской сродясь не ѣдалъ, какова она, ётва царская,—пояснялъ выкупанный.

За третїимъ сбросили въ воду четвертаго, пятаго, шестого—до дюжины... А Алмазъ Ивановъ наблюдаетъ порядокъ, зорко слѣдитъ за симъ важнымъ государевымъ дѣломъ, словно бы тутъ была царская овчарня, а это купаютъ овецъ или молодыхъ щенятъ, чтобы блохи не водились.

Въ это время стрѣльцы подошли къ одному високому, красивому, со всѣмъ молодому стольнику, чтобы и его вести въ воду. Стольникъ былъ одѣтъ щеголевато въ малиновый лѣтній кафтанъ „заморской кройки“ и въ сафьянные со скрипомъ сапожки. Онъ глянулъ на окно царевнинаго теремка—и вспыхнулъ, какъ макъ цвѣтъ... и тамъ въ теремкѣ, вспыхнули же: вспыхнула царевна Софья Алексѣевна и даже рукавомъ закрылась...

— Иди, князь Василїй Васильичъ, твой чередъ,—строго обратился къ красивому стольнику Алмазъ Ивановъ.

Руки стрѣльцовъ потянулись было къ стольнику...

— Прочь, смерды! не трошь своими лапами!—отмахнулся отъ нихъ молодой стольникъ:—самъ вѣдаю государеву службу...

И со всего бѣгу, съ прыгомъ, ринулся съ іорданскихъ мостковъ въ прудъ—и исчезъ подъ водою...

— Ай да молодецъ князь Василей, — похвалялъ царь, милостиво улыбаясь.

— Молодецъ! молодецъ! изъ молодыхъ да ранній! — почтительно ржали бояре.

Но молодого князя и слѣдъ простылъ—онъ исчезъ подъ водою—только пугыри пошли.

Ждутъ-ждутъ... нѣту князя Василья... Еще ждуть—нѣту... нѣтъ...

— О-охъ,—послышался слабый стонъ въ окнѣ царевнина теремка...

Царь глянулъ туда—ничего не видать...

Симеонъ Полоцкій, испуганный, дрожащій, бросился къ своей ученицѣ... Она блѣдна какъ снѣгъ—помертвѣла...

— Что! что съ тобой, царевна?.. Охъ, Господи!

— Вася! Васенька Голицыня утонулъ... О-о-о!

Но Васенька Голицыня вынырнулъ въ другомъ концѣ пруда и своимъ появленіемъ распугалъ всѣхъ лебедей. Даже стрѣльцы объ полы руками ударились, а Алмазъ Ивановъ ажно испужался—совсѣмъ испужался... „Ишь язва...—ахъ н-ну...“

— Похваляю и жалую трюмя обѣды въ разъ,—положена милостивая царская резолюція на купанье молодого князя Голицына.

Всѣ—и бояре, и думные, и стольники—смотрѣли съ завистью на счастливика—на князь Василья...

И изъ царевнина теремка съ любовью смотрѣло на него счастливое дѣвичье личико \*)...

#### IV.

#### Увѣщаніе Морозовой.

Стольники выкупаны, вдоволь накормлены, доклады дяковъ выслушаны, резолюціи по отпискамъ воеводъ и посольскихъ людей положены, грамоты посланы... Послѣ обѣда часа два соснуто; квасу и браги и медовъ со сна полтретя ведра выпито; вечерни отслушаны; побаловано сластями; медвѣжатниковъ похвалено; „комедійное дѣйство о блудномъ сынѣ“ просмотрѣно; на ночь попито, поѣдено и гораздо запито—и прощель московскій день... Слава Тебѣ, Создателю всяческихъ...

Ночь...

---

\*) Купанье стольниковъ—историческій фактъ. Царь Алексѣй Михайловичъ самъ писалъ изъ села Коломенскаго стольнику Матюшкину: „извѣщаю тебѣ, что тѣмъ утѣшаюся, что стольниковъ купаю ежеутрь въ прудѣ, Иорданъ хорошо сдѣлана, человѣка по четыре и по пяти и по двѣнадцати человѣкъ, за то: кто не поспѣетъ къ моему смотру, такъ того и купаю, да послѣ купанія жалую, зову ихъ ежендень, у меня купальщики тѣ ядятъ вдоволь, а иные говорятъ: мы-де нарокомъ не поспѣемъ, такъ де и насъ выкупаютъ да и за столъ посаждать: многіе нарокомъ не поспѣваютъ...“ (Русская исторія Костомарова, IV, 98).

И царь Алексѣй Михайловичъ спитъ, и царица Наталья Кирилловна спитъ, и царевна Софьюшка баинькаетъ, и Васенька князь Голицынъ спитъ, и дьякъ Алмазь Ивановъ дрыхнетъ...

Царю грезятся столынки, царицѣ—лазорева цвѣточка, царевнѣ Софьюшкѣ—Васенька княжичъ, Васенькѣ—царевнущка Софьюшка, Алмазу Иванову—гусиное перо...

Ночь и въ Пустозерскѣ...

Все спитъ и тамъ... Не спитъ только Аввакумъ въ своей земляной тюрьмѣ: молится—кричитъ до Бога, звеня цѣпями... А привыкшая тюремная мышка грызетъ свой сухарикъ...

И въ Ферапонтовѣ ночь...

Никонъ не спитъ: стучитъ костью по полу кельи—съ чертями воюетъ...

И на Украинѣ, въ Чигиринѣ ночь...

Тамъ никто не спитъ: пани гетманова въ „вишневомъ садочкѣ“ съ „молодшимъ“ обнимается, пани Брюховецкая нянины московскія сказки слушаетъ, Гриць мечется въ постелькѣ—„Шумомъ“ бредитъ... Петрусь съ Явдохой „женится“... „Дивчата“ и „парубки“ поютъ отъ зари до зари...

Но и на Москвѣ въ эту тихую лѣтнюю ночь не всѣ спятъ. Ровно въ полночь тихо заскрипѣла калитка на подворьѣ Печерскаго монастыря, загремѣло желѣзо, и изъ калитки вышла женщина, вся закутанная въ черномъ и сопровождаемая вооруженными людьми. На ногахъ женщины звякали кандалы...

— Ишь, лѣшіе, лошадь выпустили!—соскочилъ со скамейки заспавшейся сторожъ подворья, которому со сна, по звяканью кандаловъ, помешлось, что это ушла съ подворья стреноженная цѣпью лошадь.

Онъ бросился за мнимую лошадью—и въ изумленіи развелъ руками: то была не лошадь, а закутанная черною фатою женщина съ кандалами на ногахъ.

— Ишь ты, монатка, должно, проворовалась,—пробормоталъ онъ и снова пошелъ спать.

Да, то была, дѣйствительно „монатка“, которая „проворовалась гораздо“: „воровство ея знамое“, какъ сегодня еще выразился о ней Алексѣй Михайловичъ въ разговорѣ съ патриархомъ Питиримомъ II-мъ. Надо замѣтить, что въ то время „воровство“ означало совсѣмъ не то, что значить теперь: „воровствомъ“ тогда называли всякое государственное преступленіе, неповиновеніе, бунтъ, и оттого тѣхъ казаковъ, которые шли противъ правительства, называли „воровскими“. Вотъ потому-то сегодня царь, разговаривая съ патриархомъ о Морозовой, выразился: „воровство ея знамое“...

Морозову это-то и вели подъ карауломъ изъ Печерскаго подворья. Разговоръ объ ней у царя съ патриархомъ былъ сегодня по слѣдующему случаю. Игуменья Алексѣевского монастыря, въ которомъ заточена была сестра Морозовой, княгиня Урусова, не разъ заводила съ патриархомъ рѣчь

о томъ, что вотъ — де у нея въ монастырѣ „смиряютъ“ княгиню Урусову, „волочатъ“ каждый день ее, „аки мертвую, къ четью-пѣтью церковному“, а она-де „вопить свою проповѣдь на весь міръ“ — и оттого на Москвѣ „молва живетъ гораздо“, да и „соблазнъ велий“, потому — де вся Москва знаетъ о ея „вельможіи и породѣ“. Да и о сестрѣ-де ея, боярынь Морозовой, „велія молва живетъ“... Вотъ потому-то сегодня патріархъ и говорилъ царю: „Совѣтую я тебѣ, великій государь, боярыню ту Морозову вдовицу—кабы ты изволилъ опять домъ ей отдать и на потребу ей дворовъ бы сотницу крестьянъ далъ. А княгиню тоже бы князю отдалъ, такъ бы дѣло-то приличіе было. Женское ихъ дѣло — что онѣ — много смыслятъ! А объ нихъ многія знатныя особы всего московскаго государства соболѣзнуютъ: и это тебѣ царскому величеству не на корысть живетъ, а тебѣ же въ убытокъ. Да и сынонь твой родной, царевичъ Михаилъ, соболѣзнуя онымъ сестрамъ, частенько-таки, сказываютъ, къ нимъ заѣзжаетъ посматрѣть сквозь рѣшетку на ихъ мученичество и слушаетъ ихъ со умиленіемъ: „удивляетъ-де меня ваше страданіе; одно только смущаетъ меня: не знаю—за истину ли вы терпите“. А царь и говоритъ патріарху: „Давно бы я простилъ и пожаловалъ боярыню Морозову; но не знаешь ты лютости этой женщины. Какъ повѣдать тебѣ, сколь поругалась и нынѣ ругается Морозова та! Много подѣлала она мнѣ трудовъ и неудобствъ показала. Если не вѣришь моимъ словамъ, изволь самъ испытать: призови ее къ себѣ, спроби и самъ узнаешь ея твердость. Начнешь ее истязать, и вкусишь пріятности ея... Потому я сдѣлаю, что повелиши... А воровство ея знаемое...“

Вслѣдствіе этого разговора и вели теперь къ патріарху Морозову, что бы онъ самъ могъ „вкусить ея пріятности“.

Тихо кругомъ по всей сонной Москвѣ, только слышится ровное позывиванье кандаловъ да кое-гдѣ лай собаки, возбуженной этимъ звяканьемъ. Морозова идетъ, немного наклонивъ голову и какъ бы къ чему-то прислушиваясь. Она вспоминаетъ, какъ, годъ тому назадъ, она, въ сопровожденіи Акинфеюшки, тихою же лѣтнею ночью шла къ тюремѣ земскаго приказа навѣстить заключеннаго Стеньку Разина. Но теперь и она заключенница. Не одинаковы ли ихъ вины предъ Богомъ и русскою землею?—Да, одинаковы. И она, Федосья боярыня, такой же, какъ и Стенька, „воровской атаманъ“, только тотъ шелъ противъ боярскаго богопротивнаго самовластья, а она идетъ противъ боярскаго богопротивнаго новой вѣры. И ее ждетъ такая же казнь, какая постигла Стеньку... Что жъ! на то она пошла—на то взяла свой странническій посохъ, чтобы съ нимъ добрести до могилы... А тамъ она и Ванюшку своего встрѣтитъ...

Только тогда, когда она шла къ Стенькѣ, вѣтеръ шумѣлъ вершинами липъ, и тотъ, къ кому она тогда шла, сидя у тюремнаго окна, пѣлъ:

Не шуми ты, мати, зеленая, дубравушка.

А она будетъ пѣть „пѣснь нову...“

Проходя мимо своего дома, она взглянула на него. Домъ стоялъ мрач-



вымъ, пустыннымъ, и ни въ одномъ окнѣ ни огонька, хотя бы лампадка теплилась—ничего нѣтъ... Да и кому тамъ возжигать лампадки? Ея домъ теперь сталъ выморочнымъ и взята въ казну великаго государя... Только слышно—на дворѣ собаки жалобно воютъ—по хозяйнѣтъ госкують...

Морозову привели въ Чудовъ монастырь и ввели во Вселенскую палату. Палата была тускло освѣщена, и Морозова увидѣла только нѣсколько черныхъ клобуковъ, но лицъ ихъ сначала не распознала... „Волци“, мелькнуло у нея въ умѣ:—„наемники не радятъ объ овцахъ, и волци распудятъ стадо...“ Увидѣвъ въ переднемъ углу палаты новые образа, она отвела отъ нихъ лицо и перекрестилась истово, глядя на небо—въ потолокъ. Клобуки глядѣли на нее, но она имъ не кланялась: молодое, красивое, нѣжное лицо глядѣло на нихъ гордо, какъ бы спрашивая: зачѣмъ вы здѣсь? Ваше мѣсто на большой дорогѣ, въ муромскихъ лѣсахъ, но не здѣсь... И для чего я вамъ надоблюсь? Какое общеніе Христа съ Веліаромъ?.. Она не хотѣла стоять волею и почти висѣла на рукахъ державшихъ ее стрѣлцкихъ сотниковъ... „Не буду стоять... это волци...“

Она скоро узнала, кто были эти „волци“: патріархъ Птиримъ, „краснощекій“ Павелъ—„оладейникъ“, митрополтъ крутицкій, Іоакимъ, архимандритъ чудовской, и думный дворянинъ Ларіонъ Ивановъ „со властями и градскими начальниками...“

„Ливоостротонъ, сущій ливоостротонъ“, думалось Морозовой.

Патріархъ, приблизясь къ ней, взглянулъ своими старческими глазами въ ея свѣтлые, чистые дѣтскіе глаза и покачалъ головой: „жить бы, только жить бы такой молодой да Бога славить“, подумалось ему: „такъ нѣтъ... сама смерти взыскуеть...“

Старикъ тяжело вздохнулъ и снова глянулъ въ свѣтлые глаза, блестяшіе изъ-подъ монашескаго клобучка.

— Дочь моя, почто окаменѣло сердце твое? — спросилъ онъ тихо и ласково.

Морозова молчала... „Она же отвѣта не даде“, шевельнулось въ сердцѣ у старика. Митрополтъ Павелъ, архимандритъ Іоакимъ и думный Ларіонъ молча переглядывались: они ужъ „вкусили пріятности“ этого василиска и аспіда съ ангельскимъ личикомъ...

— Камень, камень,—бормоталъ старый патріархъ, качая головой.

„Камень... на семь камней созижду церковь... о! созижди, Господи!“ колотилось въ сердцѣ у вопрошаемой.

— Боярыня!—съ силою сказалъ патріархъ:—оставь всѣ твои нелѣпыя начинанія, присоединись къ соборной церкви и ко всему російскому собору.

Боярыня вскинула на него своими ясными глазами.

— Мнѣ некому исповѣдаться и не у кого причаститься, — тихо отвѣчала она.

— Поповъ много въ Москвѣ,—съ удивленіемъ замѣтилъ патріархъ.

— Поповъ много,—былъ отвѣтъ:—но истиннаго нѣтъ... У истинныхъ языки вырѣзали, либо живыхъ въ землю закопали.

Патріархъ отступилъ назадъ. Четки задрожали въ его рукахъ; онъ, видимо что-то вспомнилъ... Вспомнилъ, что и онъ такъ же вѣровалъ, какъ вотъ она... но... искушеніе власти, прелести міра.

— Дочь моя!—еще съ большою силою сказалъ онъ:—вельми пекусь о тебѣ! Самъ на старость понуждусь исповѣдать тебя и, отслужа, самъ тебя причащу.

Какая честь!—честь небывалая въ московскомъ государствѣ. Но Морозова отказалась и отъ этой чести.

— Развѣ есть разница между *ними* и тобою? Развѣ ты не творишь *ихъ* волю?—заговорила она съ горечью.—Когда ты былъ крутицкимъ митрополитомъ, держался обычая, переданнаго отцами нашей русской земли, и носилъ клобучекъ старый, и тогда ты нами былъ отчасти любимъ. А нынѣ ты захотѣлъ творить волю земного царя, а Содѣтеля своего презрѣлъ и возложилъ на свою голову рогатый клобукъ римскаго папы, и оттого мы теперь отвращаемся отъ тебя. Такъ не утѣшай меня тѣмъ, что самъ меня причастишь: не требую я твоей службы.

По мѣрѣ того какъ она говорила, краска заливала лицо маститаго главы московской церкви: онъ глубоко сознавалъ правоту ея словъ и съ горестью вспомнилъ о своей молодости, когда и онъ носилъ „малый клобучекъ на главѣ, а въ груди—сердце чисто“... Теперь потускнѣло это сердце... „потускнѣ, яко зеркало отъ дыханія“...

Онъ сдѣлалъ знакъ, чтобы его облачили въ церковныя ризы. Руки его дрожали.

— Принесите освященное масло... сучецъ подайте... помажу ее... авось придетъ въ разумъ,—бормоталъ онъ, готовясь мазать муромъ упрямицу.

Подали патріарху сосудъ и сучецъ. Патріархъ приблизился къ ней, творя молитву. До этой минуты она висѣла на рукахъ сотниковъ, которымъ даже пріятно было держать „такую цыпочку“, но тутъ она выпрямилась и сверкнула глазами.

Крутицкій митрополитъ протянулъ было свою жирную руку, чтобы приподнять треушекъ отъ клобучка, падавшій на мраморный лобъ боярыни, дабы патріарху удобнѣе было помазать ее масломъ, но упрямица гордо отстранила руку митрополита.

— Помни, чернецъ, я боярыня—боярыня Морозова!—сказала она съ достоинствомъ.

Рука митрополита опустилась, какъ обожженная...—„А! кусается“,—лукаво шепнулъ думный Ларіонъ своему сосѣду, архимандриту Іоакиму.—„Сущая крапива“,—улыбнулся на это архимандрить.

— Я хотѣлъ токмо треушокъ поднять,—бормоталъ, оправдываясь, митрополитъ.

— То-то—не забывай моего боярскаго чина,—повторила боярыня.

Но патріархъ приблизился къ ней и омочилъ сучецъ въ масло. Морозова, удерживаемая сотниками, взмолилась съ воплемъ отчаянья.

— О-о! не губи! не губи меня, грѣшницу, отступнымъ масломъ.

Лицо патриарха покрылось краской негодованія.

— Молчи! ты носишь святое муро!

— Не святое оно—отступное... О! уйди отъ меня... Ужели однимъ часомъ хочешь погубить весь мой трудъ! Отступи! Удались! Не требую я вшаей святыни.

И она отворачивала назадъ голову, билась въ рукахъ стрѣльцовъ, какъ пойманный голубь, звеня желѣзами.

Патриархъ отступилъ и передалъ сосудъ митрополиту: дрожащія руки его могли пролить священное муро. Онъ самъ весь дрожалъ...

— Уведите вражью дочь съ глазъ моихъ долой!—заякался старикъ.— Она еще отвѣдаетъ сруба.

Морозову увели. Когда она выведена была на крыльцо, то услышала звяканье еще чьихъ-то кандаловъ. То вели еще двухъ колодницъ.

— Дунюшка! это ты?

— Я, сестрица,—отвѣчала радостно Урусова, которую тоже веди къ патриарху.

Морозова и Урусова бросились было другъ къ другу, но стрѣльцы, конвоировавшіе ихъ, не пустили.

— О! такъ ты жива еще? не сожгли? не удушили?

— Жива, сестрица.

— А кто съ тобой?

— Это я,—отвѣчалъ женскій голосъ:—али не узнала меня, Федосьюшка?

— Акинфеюшка! милая! и ты въ узакъ?

— Во узакъ Павловыхъ, миленькая: радуюсь!

— Слава Тебѣ, Создателю... Дерзайте, же миленькія! дерзайте именемъ Христовымъ: той бо побѣди мѣръ... Дерзайте!

Колодницъ развели силою.

— И Анисьюшку боярышню взяли волцы! и Устиньюшку взяли—поволокли въ Боровскъ!—кричала уже съ крыльца Акинфеюшка.

— А мать Меланію?

— Мать Меланія здравствуетъ!

Стрѣльцы зажали ротъ Акинфеюшкѣ.

Когда во вселенскую палату ввели Урусову и Акинфеюшку, патриархъ встрѣтилъ ихъ сердито.

— И вы во слѣдъ оной же волчицѣ?—спросилъ онъ, приближаясь къ колодницамъ.

— Невѣдома намъ волчица, а вѣдомы токмо волцы,—отвѣчала княгиня.

Патриархъ велѣлъ подать освященное масло.

— Княгиня! оставь свои заблужденія,—заговорилъ онъ болѣе покойно:—покорись царю и освященному собору, и тебя возвратятъ мужу и дѣтямъ.

— Нѣту у меня мужа,—отвѣчала раскольника:—топоръ развѣ будетъ моимъ мужемъ, а брачнымъ ложемъ—плаха.

— А ты, боярышня, за ними же?—обратился патриархъ къ Акинфеюшкѣ, отворачиваясь отъ Урусовой.

— Я жениха ищу,—отвѣчала та спокойно.

Акинфеюшка смотрѣла теперь далеко не тою, какою мы видѣли ее, болѣе четырехъ лѣтъ тому назадъ, въ Малороссіи, въ городѣ Гадячи, въ гостяхъ у гетманши Брюховецкой, когда Акинфеюшка вмѣстѣ съ другими странницами и странниками возвращалась изъ Кіева, куда они ходили на богомолье. Тогда она смотрѣла загорѣлою, съ энергическимъ лицомъ и задумчивыми въ то же время глазами, черникою, которая ходила изъ конца въ конецъ русской земли, ища себѣ „жениха“, какъ она выражалась. Въ сущности, она бродила по „святымъ мѣстамъ“, побуждаемая скрытою въ ней жаждою все видѣть, чего она не видала прежде, искать новой, незнакомой ей природы, новыхъ, невиданныхъ ею людей. Это была по призванію „бродячая душа“, перелетная птичка, которую съ каждой весной тянуло въ невѣдомыя страны. Теперь она пошла въ заточеніе. Тюремная жизнь сгладила съ ея лица загаръ и украинскаго, и поволжскаго солнца, убѣлила это лицо, возвративъ ему боярскую бѣлизну и нѣжность. Но въ душѣ она осталась все та же: искала „жениха“, жаждала видѣть невиданныя страны... Только теперь эти невиданныя страны представлялись ей „на томъ свѣтѣ“, за могилой—и она жаждала скорѣе пуститься въ эту далекую дорогу, къ невѣдомымъ странамъ...

Питиримъ, поглядѣвъ на ту и другую колодницу и видя, что словесныя увѣщанія и тутъ ни къ чему не поведутъ, рѣшился скорѣе укротить ихъ строптивыя сердца священнымъ мѣромъ. Обмакнувъ сучецъ въ масло, онъ потянулся было къ Урусовой...

— Не подходи! не подходи!—закричала она, вырываясь изъ рукъ стрѣльцовъ.

Силясь вырваться изъ грубыхъ рукъ, которыя все-таки старались держать ее „полегше—молодешенька ужъ она больно, хрупкенька, пухлое тѣлцо мягонько, что у робенка“—она нечаянно сорвала съ себя фату!.. Покрывало и повязва спали съ головы... Пышная русая коса снопомъ развалилась по плечамъ и спинѣ, точно рожъ спѣлая...

И стрѣльцы, и духовныя власти, увидѣвъ женскую косу, пришли въ ужасъ: обнажить отъ покрывала женскую голову въ то время считалось величайшимъ позоромъ и преступленіемъ...

— Батюшки, свѣты! волосъ бабій! Ахъ! что мы надѣлали,—ужаснулись стрѣльцы.

— Святители! бабу опростоволосили! Да за это и въ аду мало мѣста!..

— Ахъ Господи! что жъ это такое будетъ?!

— Власы женскія... предъ чернецами... коса... грѣхъ какой!—растерянно бормоталъ патріархъ.—Уведите, уведите ее! Ахъ!

„Экое добро пропадаетъ—ни она себѣ, ни другимъ“, огорчался въ душѣ Ларіонъ Ивановъ, глядя въ слѣдъ уводимыхъ женщинъ и созерцая все еще неприкрытую роскошную косу Урусовой.

— Н-ну, зелье!—ахъ!—едва передохнулъ Питиримъ:—да легко со львомъ въ пустынѣ состязаться, чѣмъ съ бабою... Ну, зелье!..

## V.

## Въ застѣннѣ.

На слѣдующую ночь въ ямской избѣ собрались бояре—князь Воротынский, князь Яковъ Одоевскій и Василій Волинскій. Имъ предстояло трудное государское дѣло—пытать трѣхъ бабъ: боярыню Морозову, князя Петра Урусова жену Евдокію, да пѣзъ дворянскаго рода Даниловыхъ дѣвицу Акинфею. Диву дались бояре, разсуждаючи о томъ, что нынѣ творится въ московскомъ государствѣ, а особливо въ царствующемъ градѣ Москвѣ: „бабы взбѣсались, всѣ—таки до единой перебѣсались и бабы и дѣвки“. Забрали себѣ въ голову—шутка сказать!—идти за Христомъ,—да такъ и пруть и на все фыркаютъ: боярыни фыркаютъ на боярство, княгини и княжны на княжество, стрѣльчихи—на стрѣлецкую честь. На поди! говорить, что Христось—де и царскаго роду былъ, а жилъ смердомъ, мужикомъ, ходилъ мало безъ сапогъ—безъ лаптей, и спалъ, чу, подъ заборами, а питался—де подъ окнами—гдѣ день, гдѣ ночь жилъ. А объ боярствѣ—де у него да о княжествѣ и помину не было, и кругомъ—де него все были мужики и смерды, рыбаки да пастухи. И кинулись это бабы все добро дѣлать: сами нищихъ одѣваютъ и моютъ, боярышни имъ шти варять, да хлѣбы пекутъ—срамъ да и только.“

Что это подѣлалось съ бабами—бояре и ума не приложить. Житья не стало имъ дома отъ этихъ бабъ—не приступись къ нимъ, такъ все рвутъ и мечутъ, а смотрятъ смиренницами.

— Вотъ и на моей княгинѣ бѣсъ поѣхалъ,—говорилъ массивный, остробородый толстякъ князь Воротынский:—уйма ей нѣту съ тѣхъ самыхъ мѣстъ, какъ увидѣла Морозову на дровняхъ—везли ее тады зноймъ подъ царскіе переходы; совсѣмъ взбѣсилась моя баба—„хочу, говорить, и я за Христомъ итти!“—„Да гдѣ тебѣ, говорю, полоротая, за Христомъ иттить, коли у тебя домъ на рукахъ и хозяйство?“—„Нищимъ говорить, раздай все“... А! слышали! Ну, признаюсь, я ее маленько—таки, какъ законъ велить, и постегалъ по закону: вѣжливенько, сойма рубашку...

— Что жена!—перебилъ его Одоевскій:—у меня дочушка дѣвчонка взбѣленилась: „не хочу, говорить, быть княжной и служить дѣволу, хочу, говорить, Павловы узы носить“... А! и откуда онѣ взяли эти Павловы узы?—ужъ и Богъ ихъ знаетъ. А всему виной Морозиха эта до Урусиха... Теперь эта моя дѣвченка все, что ни попадетъ ей подъ руку, раздастъ черничкамъ да нищимъ. Ужъ я не знаю, что и дѣлать съ ней: училъ малость—такъ хуже: „бѣгу, говорить, отъ тебя, какъ Варвара великому—ченица отъ отца Діоскора бѣжала“... А! каково!

— И точно, времена настали тяжелыя,—замѣтилъ и Волинскій:—съ этого самаво новокнижя все пошло да съ никоновскихъ новшествъ... Допрежъ того бабы были, какъ бабы: знали свое кривое верстено. А

нынѣ на поди!—обо всемъ-ту онѣ говорятъ, во-все вмѣшиваются: и Никонъ-ту нехорошъ, и Аввакумъ-то хорошъ, и кресты-тѣ не тѣ, <sup>и</sup>профоры не тѣ, и клобукъ на чернецахъ великъ да рогать-де, да римскій-де онъ, неправый... И въ законъ бабы пустились: скоро насъ, чаю, изъ боярской думы выгонять, да за веретено посадятъ, а сами въ боярской думѣ будутъ государевы дѣла рѣшать... Фу ты пропасть!

— И дѣтей порягать—и дѣти туда же за пимя,—печаловался Одоевскій.

— Что дѣти! Вонъ царевна Софія Алексѣвна „комидійныя дѣйства“ смотреть, а на божественномъ писаніи, да на хитростяхъ всякихъ Алмаза Иванова загоняетъ,—пояснилъ Воротынскій.

— Что и говорить! А поди тутъ дѣло безъ черкасъ не обошлось—безъ хохловъ этихъ... У! зелье народъ!

— А вотъ теперь великій государь сердитуется, гнѣвомъ пышетъ, говорить—мы распустили узду, крамолѣ-де въ зубы смотримъ,—съ огорченіемъ пояснилъ Одоевскій.—Ахъ, Боже мой! мы ли не стараемся?! Вонъ нонѣ всѣ тюрьмы полны, сколько заново земляныхъ тюремъ выкопали и всѣ полнехоньки... А кромола, словно грибокъ послѣ дождя, изъ земли выскакиваетъ...

За дверями послышалось звяканье кандаловъ. Бояре встрепенулись.

— Ведутъ вѣдму-ту...

— Хорошенько надо попарить, да распрavить боярски-тѣ косточки...

Въ палату ввели, скорѣе на рукахъ втащили, Морозову. Ее съ помощію стрѣльцовъ привелъ Ларіонъ Ивановъ. Бояре невольно встали, увидавъ ее спокойное лицо, которому они когда-то при дворѣ и въ ея собственномъ домѣ такъ усердно кланялись.

За Морозовой ввели Урусову и Акинфеюшку. Сестры издали поздоровались.

— Здравствуй, Дунюшка! Жива еще? Не давили?

— Жива, сестрица. А ты?

— Скучаю объ вѣнцѣ... А ты, Акинфеюшка?

— Объ странствіи соскучилась я... хочу скорѣе пттить на тотъ свѣтъ, да посолка еще мучители не дали...

Арестантки разговаривали, какъ будто бы передъ ними никого не было.

— Полно-ко вамъ!—перебилъ ихъ Воротынскій:—вы приведены сюда не на посѣдки, а за государевымъ дѣломъ: для пытокъ.

— Али ты, князь Воротынской, изъ холопей въ палачи пожалованъ?—замѣтила Морозова:—велика честь!

Воротынскій не нашелся, что отвѣчать.

— Спора ты!—глянулъ на непокорную боярню Одоевскій:—что-то скажешь на дыбѣ?

— Скажу тебѣ спасибо, князь Яковъ; скажу: не забылъ-де мою хлѣбъ-соль, какъ при покойномъ мужѣ у меня ежедень гашивался,—попрежнему спокойно отвѣчала боярня.

И Одоевскій поперхнулся: онъ вспомнилъ, какъ зайскивалъ у этой са-

мой Морозовой, как холопствовалъ передъ нею и ея мужемъ и какъ, дѣйствительно, Морозовы до отвалу кормили его вмѣстѣ съ другими прихлебателями, льнувшими, какъ осы къ меду, къ царской родственницѣ и любимицѣ.

Воротынскій, который тоже кое-что вспомнилъ, желая замаять свою неловкость, подошелъ къ Акинфеюшкѣ.

— Ты кто такая? Какъ твое имя?—спросилъ онъ.

— Марія,—былъ отвѣтъ.

— Какъ Марія? Въ отпискѣ ты именована Акинфеею Герасимовою, Даниловыхъ дворянъ.

— Была Акинфея... токмо не я, а другая... Я Марія.

— А чьихъ?

— Тебѣ на что? Божова—не твоя и не царева... На томъ свѣтѣ не спросить мою душу: Данилова ты, али Гаврилова?..

— Покоряешься ли ты царю и собору?

— А тебѣ какое дѣло до моей покорности?

— Такъ мы повелимъ тебя пытать огнемъ.

— Пытайте; это ваше дѣло... Я ничего не украла, никого не убила, никому худа не дѣлаю, токмо люблю моего Христа; за Христа и жгите меня, жиды новые.

Воротынскій приказалъ вести ее въ застѣнокъ. Она сама пошла впереди стрѣльцовъ. За стрѣльцами послѣдовали Воротынскій, Одоевскій и Волынскій. За ними ввели Морозову и Урусову.

Въ просторномъ застѣнкѣ висѣли привѣшенные къ потолку „хомуты“—хитрыя приспособленія для дыбы и встрясокъ. По стѣнамъ висѣли кнуты, плети, клещи. На полу, у стѣнъ, стояли огромныя жаровни, лежали гири, веревки... На всемъ этомъ чернѣлись слѣды запекшейся крови... Огромный горнъ былъ полонъ—въ немъ тлѣли и вспыхивали синеватымъ огнемъ дубовыя уголья... У горна и у хомутовъ возились палачи съ засученными рукавами, въ кожаныхъ фартукахъ, словно кузнецы.

— Оголи до пояса,—указалъ Воротынскій палачамъ на Акинфеюшку.

Она было вздрогнула, но потомъ перекрестилась и опустила руки.

— Христа всего обнажили, чтобы ребра прободать и голени перебить,—сказала она какъ бы про себя.

— Дерзай, миленькая, дерзай!—ободряла ее Морозова:—будешь російскою первомученицею.

Палачи сорвали съ Акинфеюшки верхнюю одежду и спустили рубаху до пояса... Она было прикрыла руками дѣвичьи груди, согнулаь, но палачи розняли руки и связали ихъ за спиной... Несчастную подняли на дыбу... Она не вскрикнула и не застонала... Сдѣлали встряску—руки несчастной выскочили изъ суставовъ...

— Господи! благодарю тебя!—прошептала мученица.

— Повтори встряску!—хрипло проговорилъ Воротынскій.

Встряску повторили... Удивительно, какъ совсѣмъ не оторвались руки

отъ тѣловища, отъ плечь... Несчастная висѣла долго... Морозова и Урусова глядѣли на нее и, молча, крестились.

— Что же оцъ и желчь не подаете?—проговорила съ дыбы жертва человѣческой глухости.

— Много чести,—злбно замѣтилъ Воротынский.

— Копіемъ прободайте...

— Нѣтъ, мы плеточкой—любезное дѣло!

— Худа больно, легка на вѣсу; ее дыба не беретъ,—глубокомысленно замѣтилъ Одоевскій.

— Прoberеть; дай срокъ,—успокоилъ его Волынский.

— А теперь княгинюшку,—злорадно показалъ палачамъ Воротынский на Урусову, и самъ сорвалъ съ нея цвѣтной покровъ, замѣтивъ:—ты въ опалѣ царской, а носишь цвѣтное!

— Я ничѣмъ не согрѣшила передъ царемъ,—отвѣтила Урусова тихо.

Палачи хотѣли-было и ее обнажать.

— Не трошь ее!—раздался вдругъ чей-то грубый голосъ.

Всѣ съ изумленіемъ оглянулись. Изъ отряда стрѣльцовъ, стоявшихъ въ дверяхъ застѣнка, отдѣлился одинъ, блѣдный, съ дрожащими губами... То былъ Онисимко... Морозова узнала его: онъ цѣловалъ ея ноги, когда въ первый разъ заковывалъ ихъ въ желѣза... Она перекрестила его.

— Благословенъ грядый во имя Господне.

Палачи, озадаченные первымъ возгласомъ, опустили-было руки, но теперь снова подняли ихъ.

— Не трошь, дьяволы! она княгиня!—повторилъ Онисимко, хватаясь за саблю.

— Взять его!—закричалъ Воротынский.

Онисимку схватили за руки сотники и стрѣльцы и увели изъ застѣнка.

— Идолы! мало имъ! Скоро всѣхъ дѣтей малыхъ заберутъ въ застѣнки!—слышался протестующій голосъ уведеннаго стрѣльца.

— Дѣлай свое дѣло!—прикрикнулъ на палачей Воротынский.

На Урусовой разорвали воротъ сорочки и обнажили, какъ и Акинфешку, до пояса. Она вся дрожала отъ стыда, но ничего не говорила. Всѣмъ, даже стрѣльцамъ, стало неловко: слышно было ихъ тяжелое дыханіе, словно бы ихъ поджаривали на полкѣ въ банѣ... У Ларіона Иванова даже лицо поблѣднѣло и глаза смотрѣли сурово...

Урусову подняли на дыбу... Она застонала...

— Потерпи, Дунюшка, потерпи—не долго ужъ!—ободряла ее сестра.

— Тряхай хомуть-отъ!—командовалъ Воротынский.

И у Урусовой руки выскочили изъ суставовъ...

— Мотри и кайся,—обратился Воротынский къ Морозовой.—Вотъ что ты надѣлала! Отъ славы дошла до безчестія. Вспомни: кто ты и какова отъ роду! И все отъ того, что принимала въ домъ юродивыхъ...

— Я и тебя принимала—не ты ли уродъ у дьявола?—перебила его Морозова.



— О! ты востра на языкъ—знаю... да царь-отъ на востроту твою не посмотрѣлъ... Гдѣ нынѣ твое благородіе?

— Не велико наше тѣлесное благородіе, и слава человѣческая суетна на землѣ,—съ горечью отвѣчала Морозова. — Сынъ Божій жилъ въ убожествѣ, а распять же былъ жидами, вотъ какъ и мы мучимся отъ васъ.

— Добро! равняй себя со Христомъ-тѣ...

— Я не равняю... отсохни и мой и твой языкъ за такое слово.

— Добро! Поговори-ка вонъ съ ними—ихъ поучи, мудрая!—указаль онъ на палачей, которые усердствовали около Урусовой и Акинфеюшки.— Взять и эту! Покажите-ка боярыньку на качельцахъ.

Два палача приступили къ Морозовой. Она кротко взглянула имъ въ лицо и перекрестила того и другого.

— Здравствуйте, братцы миленькіе,—также кротко сказала она:—дѣлайте доброе дѣло.

Палачи растерянно глядѣли на нее и не трогались. Она еще перекрестила ихъ. У одного дрогнули губы; глаза усиленно заморгали; онъ глянулъ на стрѣльцовъ, на Воротынскаго.

— Дѣлайте же доброе дѣло, миленькіе,—повторила Морозова.

— Доброе... эхъ! какое слово ты сказала!—какъ-то отчаянно замоталъ головой второй палачъ.

— Ну-у!—прорычалъ Воротынскій.

Палачъ глянулъ на него и еще плуце замоталъ головой.

— Воля твоя, бояринъ... вели голову рубить,—бормоталъ онъ:—али на насъ креста нѣту?

— А! и ты!.. вотъ я васъ!—задыхался, весь багровый, Воротынскій.— Вязжите ее!—крикнулъ онъ на стрѣльцовъ.

И стрѣльцы ни съ мѣста... Воротынскій, съ пѣною у рта, бросился было на стрѣльцовъ; тѣ отступили... Онъ къ палачамъ съ поднятыми кулаками—и тѣ попятились назадъ...

— Такъ я же самъ!—и онъ, схвативъ Морозову за руки, потащилъ къ свободному „хомуту“.

Къ нему подбѣжалъ Ларіонъ Ивановъ, и они вдвоемъ связали Морозовой руки за спину...

— Спасибо, что не побрезговали,—какъ бы про себя сказала она.

Подняли на дыбу и Морозову... Въ это время Акинфеюшку, вынутую изъ „хомута“, положили внизъ лицомъ на „кобылу“—нѣчто въ родѣ наклонно поставленнаго длиннаго стола съ круглою прорѣзью въ верхней части „кобылы“ для головы, чтобы, во время истязанія кнудомъ или плетью по спинѣ, кнудъ не попадалъ въ голову, и съ кольцами по сторонамъ, для привязыванья къ нимъ истязаемой жертвы: руки и ноги несчастной прикрутили ремнями къ кольцамъ, и два палача вперемежку стегали ее ременными кручеными плетью по голой спинѣ... Бѣлая, нѣжная спина пытаемой скоро покрылась багровыми поперечными полосами, а вслѣдъ затѣмъ изъ багровыхъ полосъ стала струиться темно-алая кровь...

— О-о-о!—вырвался изъ груди Морозовой стонъ отчаянiя при видѣ мученiй своей подружки по страданiямъ: — это ли христіанство, чтобы такъ людей учить?!

— Мы не попы, — злорадно огрызнулся Воротыньскiй: — тѣ учать словесами, а мы эдакъ-ту.

— А Христось такъ ли училъ?

— Мы не Христы; гдѣ намъ съ суконнымъ рыломъ!

Прежде другихъ сняли съ дыбы Урусову. Вывихнутыя изъ суставовъ руки торчали врозь...

— О, что вы надѣлали! — залилась несчастная слезами: — охъ, мои рученьки! Креститься мнѣ нечѣмъ... Охъ!

Палачи взяли ее за руки, потянули со встряской. Урусова вскрикнула отъ боли... но руки вошли въ свои суставы... Она съ трудомъ перекрестилась...

Акинфеюшку, съ кровавою спиною, отвязали отъ колецъ и сняли съ кобылы. Урусова, видя ее всю въ крови, взяла свой бѣлый покровъ, брошенный палачами на землю, и стала прикладывать имъ къ истекающей кровью спинѣ Акинфеюшки...

— Милая, голубушка, мученица... это святая кровь...

— Слава Тебѣ, Спасителю нашъ... сподобилъ меня...

— Вѣдная, горемычная...

Урусова цѣловала ея руки... Лицо Акинфеюшки выражало блаженство...

— Охъ, какъ мнѣ легко, Дунюшка!

Она взяла изъ рукъ Урусовой весь пропитанный кровью покровъ и, отыскавъ своего палача, подала ему...

— Возьми, братецъ миленькой, этотъ покровъ, снеси его къ брату моему кровному, Акинфѣю, отдай ему и скажи: „сестра-де тебѣ своею кровью кланяется...“ Онъ тебя не оставитъ безъ награжденiя.

Когда вынули изъ „хомута“ Морозову, то вывихнутыя изъ суставовъ и еще не вправленныя руки ея съ широкими рукавами бѣлой сорочки представляли подобіе распростертыхъ и запрокинутыхъ назадъ крыльевъ...

Урусова и Акинфеюшка упали передъ нею на колѣни и подняли руки на молитву...

— Матюшка! ангель! ангель сущій во плоти...

— И крылышки... точно ангель... ахъ!

— Крылѣ, яко голубинѣ... матюшка! сестрица!

Но палачи поспѣшили превратить крылатаго ангела въ плачущую женщину...

---

„Чи я-жь тебе не люблю—не люблю,  
Чи я-жь тоби черевичкивъ не куплю—не куплю!  
Ой моя дивчинонько!  
Ой моя рыбка!“

выбивалъ гопака въ Чигиринѣ, на улицѣ, Петрусь, заматая широкою матнею улицу и площадь, въ тѣ самые часы, какъ въ Москвѣ, въ ямской избѣ, шли пытанья Морозовой, Урусовой и Акинфеюшки...

— Добре, Петрусь, добре!—кричала улица:— а ну, хлопче, ушкварь „гречаники“.

И Петрусь „ушкварилъ“.

Гоць, мои гречаники! гоць, мои били!  
Чому-жь, мои гречаники, вась свини не или...

А на другомъ концѣ улицы дудить дуда на весь Чигиринъ:

Дудь у Дуды ночувавъ,  
Дудь у Дуды дудку вкравъ...

— Ужь дьяволова же сторонка! вотъ сторона!—ворчалъ, между тѣмъ, Соковнинъ, которому не спалось подъ этотъ полуночный гомонъ.—И когда они спять, дьяволы чубатые?—ну, сторона!.. А хорошая сторонка, что ни говори... А что-то на Москвѣ теперь?.. что сестры?.. э-эхъ!

Мы сейчасъ видѣли, что его сестры...

## VI.

### Мазепа прантинуется...

Если бы Соковнинъ, которому не спалось въ эту чудную украинскую ночь, сидя у окна, могъ своимъ взоромъ проникнуть на противоположную сторону улицы, гдѣ изъ-за темной зелени сирени, бузиновыхъ кустовъ, изъ-за пышныхъ липъ и серебристыхъ стройныхъ пирамидальныхъ тополей выглядывалъ гетманскій палацъ, то онъ увидѣлъ бы, что и тамъ, за однимъ окномъ полузакрытымъ зеленью, обрисовывается женская головка съ распущенною косою. Въ этой простоволосой головкѣ онъ узналъ бы свою землячку, боярыню и паню Брюховецкую, которой эта душная ночь не давала спать... Да и не одна духота гнала отъ нея сонъ: „улица“ съ неумолкаемою пѣснью, эти думы и воспоминанія о Москвѣ, воспоминанія, которыя особенно разбередили въ ея душѣ рассказы Соковнина, и еще что-то жаркое, охватывающее ее словно объятіями, волнующее кровь до краски въ лицѣ, что-то такое, въ чемъ она сама себѣ не могла бы признаться — все это заставляло ее метаться въ душевной постели, разметать косу, которая давила ей голову своею тяжестью, и, наконецъ, привело ее къ открытому окну, у котораго хоть дышать можно было чѣмъ-нибудь — дышать этимъ дыханіемъ ночи и зелени, запахомъ свѣжей травы, ароматомъ цвѣтущей липы...

Вонъ какія-то звѣздочки мигаютъ ей въ окно съ темнаго неба... Какъ много ихъ — и не перечесть — словно песокъ морской... А какой этотъ песокъ морской? Она никогда его не видала, да и моря не видала ни-

когда... Говорить, и конца краю нѣтъ морю, а Кіянъ-море и того больше... И стоитъ вся земля на этомъ Кіянъ-морѣ, а не тонетъ она потому-де, что ее, землю-ту, держать на спинѣ три кита... Вотъ велики, поди, киты-тѣ! На что велика московская земля, а все еще не до край-свѣта раскинулась: вотъ тутъ черкасская земля—и тоже велика гораздо—у! велика! А то еще Польша, а тамъ Литва, а тамъ турецкая земля, и цесарская земля, и земля галанская, и земля аглицкая, и земля французская, да еще Китай-земля, да Персида, да Ерусалимъ съ святою землею... Эхъ, сколько земель! А Ерусалимъ-градъ, сказываютъ, на самомъ пупѣ земли стоитъ... Чудно! ажъ стыдно подумать... И все это киты держать на себѣ—страшно и подумать! А все Богъ... А какъ киты эти, сказываютъ, маленько, ворохнутся—и отъ того ихъ вороху трусь и потопъ на землѣ бываетъ.

А звѣздочки все мигаютъ, все мигаютъ... Одна больше, другая поменьше, а то и въ макову росинку есть звѣздочки—и не перечеть ихъ... А все божьи очи это—все ими Богъ видитъ, что на землѣ дѣлается: и ее, вдову горемычную, видитъ Господь у окошечка, простоволосу — да Ему что!—простоволоса ли, покрыта ли—все едино: Онъ на душеньку смотреть, на помыслы... И Гришутку Онъ видитъ, какъ спитъ Гриша въ своей постелькѣ, убѣгался съ хохлятами да дѣвчатами, въ „Кострубоньки“ играючи... Чудной такой!—„Дурнѣ, говоритъ, мама московка!“

А на Москву, поди, другія звѣздочки глядятъ—гдѣ этимъ! — далеко больно Москва-матушка живетъ... А что царевна Софьюшка теперь? — спитъ, поди, и всѣ на Верху, во дворцѣ, спятъ... Спала и она тамъ когда-то, давно, когда въ сѣнныхъ дѣвушкахъ была...

Экъ ихъ заливаются полунощницы дѣвчаты!.. Что имъ?! Молоды, горюшка мало... Вонъ поютъ:

Ишли коровы изъ дибровы, а овечки зъ поля,  
Заплакала дивчинонька, край козака стоя:  
Ой куды-жъ ты одъизжаешь, сизокрылый орле,  
Ой хто жъ мою головоньку безъ тебе пригорне?..

Такъ и Ивась ея, гетманъ, отъѣзжалъ съ войскомъ, и она, провожаючи его въ далекий путь, плакала... Не даромъ плакала... Такъ и не вернулся... Варнулся, только не онъ, а его тѣло,—да и тѣла нельзя было узнать за кровавыми ранами...

Ой хто жъ мою головоньку безъ тебе пригорне?..  
Да, некому „пригорнуть“, некому приголубить!..

И молоденькая вдова сама почувствовала, что она вспыхнула... жаромъ опалило ее...

Этотъ молодой козакъ, запорожець, что пріѣхалъ отъ гетмана съ вѣстами—тоже зовутъ Ивановъ, Ивасемъ — Иванъ Степановичъ Мазепа... какой хорошій изъ себя, ласковый... Только несчастенькой такой: все

утѣшалъ молодую вдовицу, говорить— „хорошѣ-де человекѣ гетманѣ былѣ Иванѣ Мартыновичѣ Брюховецкой, такѣ злые люди его погубили...“ Таково ласково утѣшалъ ее, вдовицу Оленушку: „самѣ-де я, говорить, не извѣдалѣ доли-счастья въ жизни, никто-де меня не любилѣ и я-де никого еще по сейчасѣ не любилѣ, а ужѣ третій-де десятокѣ изжилѣ, на свѣтѣ маючисѣ...“ Таково жалко его стало—такѣ бы она и положила его бѣдную голову на свою сиротскую грудь и заплакала бы вдоволь горючими слезами... А какіе у него глаза добрые, и Москву-то онѣ таково любить: „нигдѣ бы, говорить, и жить не хотѣлѣ, окромѣ Москвы бѣлокаменной...“ И руку у нея такѣ цѣловалѣ... стыдѣ какой!—она такѣ вся и сгорѣла, такѣ и пополовѣла со стыдобушки... И что это съ ней сталось? Такѣ вотѣ въ душу-ту самое, въ сердечушко въ ретивое такѣ и заполозѣ лаской до печалію своею этотѣ Мазепа... И Гришутка полюбилѣ его, казака этого,—все съ нимѣ игралѣ...

Нехай тоби зозуленька, мене соловейко,  
Нехай тоби тамѣ легенько, де мое серденько:  
Мени буде соловейко рано щебетати,  
Тоби буде зозуленька раненько кувати...

Это голосокѣ Явдошки... Счастливая!

А на Москвѣ-ту, на Москвѣ что — и не приведи Богѣ!.. И крестѣ сталѣ не крестѣ, и молиться люди не вѣдаютѣ какѣ... А Федосьюшка-ту Морозова, а Урусова Овдотьюшка—Господи! мученицами стали за крестѣ святой... И что съ Москвой подѣлалось?.. съ чего все это?.. Знамо, нечистый насѣялѣ зла въ московскомѣ государствѣ... И Аввакума протопопа заслали, куда воронѣ костей не заносить, и языки попамѣ да монахамѣ рѣжутѣ... Ахѣ, горькая, горькая родимая сторонушка!.. Люди, сказываетѣ Соковнинѣ Федорѣ, въ лѣсахѣ, что звѣри, прячутѣся, за рубежѣ бѣгутѣ... Ахѣ, Москва, Москва бѣдная!

А тутѣ—ишь заливаается!

Ой зйду я надѣ ярочокѣ, пуцу голосочокѣ;  
Дзвони, дзвони, голосочку, по всему ярочку,  
Нехай мене той зачуче, що въ поли ночуе...

Что она это машетѣ, липовая вѣточка? Куда манить? Некуда... На родимую сторону запала дороженька, заросла горькимѣ осинничкомѣ да разрывѣ-травой...

А тамѣ, за Тясминомѣ, соловушки поютѣ... И у нихѣ „улица“ своя: и Явдошка такая-жѣ тамѣ, и Петрусь... А, можетѣ, есть межѣ ними и такая-жѣ горькая сиротинка, какѣ она, Оленушка Брюховецкая... Какѣ не быть?! Можетѣ, коршунѣ заклевалѣ ея соловушка...

Добрый, добрый, ласковый Мазепа... Имя-ту какое — Мазепа... Иванушка, Ивасѣ Мазепинька... Кажисѣ, и теперѣ рукѣ жарко отѣ его губѣ... и всей жарко... стыдно!.. стыдно и хорошо таково...

Никто-ту не любилъ его, бѣднякаго, и онъ никого не любилъ также...  
Бѣдный Мазепинька!..

А, можетъ, и на Москвѣ теперъ поють—„просо съютъ“ дѣвушки:

Ужъ я просо съяла—съяла...

Гдѣ пѣть!.. Не до пѣнья нонѣ на Москвѣ... плачуть люди, да молотся отай, чтобы не увидали злые приставы...

Покатилась—покатилась по небу звѣздочка—и сгасла... Которая это? куда покатилась?—гдѣ сгасла?—Точно она, горькая сиротинка, покатилась съ московскаго неба и сгасла тутъ, въ черкасской землѣ... Не свѣтить ей больше съ московскаго небушка...

А отсюда Мазепа, сказывалъ, поѣдетъ съ универсалами да съ листами отъ гетмана Дорошенка къ тогочнымъ казакамъ, и въ Полтавѣ, сказывалъ, будетъ, и въ Гадячѣ, и могилкѣ, сказывалъ, покойнаго гетмана Брюховецкаго поклонится... Добрый онъ, Мазепинька, добрый...

Просилъ въ сумерки выйти въ садочекъ побесѣдовать... Тоскуетъ онъ, бѣдный, по матушкѣ по своей: такъ, говорить, хоть объ матушкѣ, объ родителейхъ побесѣдуемъ... Нѣтъ, стыдно... какъ можно въ сумерки!.. Еще кто увидитъ да осудитъ... А жаль его, такой добрый...

Она встала и тихонько пошла въ глубину комнаты: тамъ въ своей постелькѣ что-то возился Гриць и шепталъ что-то... Она прислушалась: мальчикъ во снѣ бормоталъ:

А въ нашего „Шума“  
Зеленая шуба.  
„Шумъ“ ходитъ по диврови...

— Ахъ, дитятко! все „Шумомъ“ бредить... Наигрался, кажись,—такъ нѣтъ,—мало: и во снѣ играть...

Она перекрестила его и, нагнувшись къ постелькѣ, тихонько поцѣловала горячую головку мальчика...

— Мама!

— Что, сынку? Спи, дитятко.

— Дядя Ивашечко пріѣде завтра?

— Какой дядя Ивашечекъ?

— Дядя Мазепа.

Молодая мать опять зардѣлась, опять ей жарко стало... Она натянула на плечи спустившуюся сорочку...

— Пріѣде, мамцю?

— Должно, придетъ... А тебѣ на что?

— Виня казавъ, що на свого коня мене посадить.

— Добро, добро, сынокъ, спи—Господь съ тобой.

— Я понду на коньку...

— Добро-добро, баинькай... А-а-а-а...

У коты-коты-коты  
Колыбелька золоты...

- Не хочу, мамы, московской... не треба...  
— Ну-ну, добро...  
— Спывай нашой, мама,—про котика... про нашого, а не про московского котика...  
— Добро-добро... Спи только...

А-а—котино,  
Засни, мала дѣтино.  
Ой на коты воркота,  
На дѣтину дремота...

Хоть она и знала, ужь украинскія колыбельныя пѣсни, наслышалась ихъ вдоволь, но выговоромъ русила ихъ...

- Ни, мамы,—спывай другою, якъ сонъ ходитъ...  
— Споку-споку... Спи тихохонько...

Ходитъ сонъ по долинь  
Въ червоненькой жупанинь,  
Кличитъ мати до дѣтины:  
Ходи, соньку, въ колисоньку,  
Приспи мою дѣтиноньку...

Гриць, какъ въ воду кануль, спалъ ужь: тихое, ровное дыханіе обнаружилъ, что онъ заснулъ безмятежнымъ дѣтскимъ сномъ.

Мать перекрестила его и снова отошла къ окну; сонъ все не шель къ ней... Она снова задумалась о Мазепѣ, о Москвѣ, о тамошней смутѣ...

„А ко мнѣ нейдетъ сонъ и въ червоненькой жупанинь“, думала она, опять глядя на звѣздное небо и невольно прислушиваясь къ неугомонной „улицѣ“; „сонъ нейдетъ, такъ Мазепа хотѣлъ приттись... ахъ срамъ какой!—ко вдовушкѣ-ту... А вотъ и Гришутка полюбилъ его—добрый онъ, хорошій человекъ, а все-жъ стыднхонько мнѣ... хоть, кажись, такъ бы и кинулась ему на шею, срамница... Что-то онъ завтра скажетъ? Говорить, что будетъ просить за меня гетмана Петра Дороевича, чтобъ на Москву меня отпустилъ, хоть и больно, говорить, будетъ оттого моему сердцу: „точно вы, говорить, родная мнѣ—такъ по душѣ прилились—словно бы я васъ, какъ сестру родную, полюбилъ, жалѣючи васъ...“ Да, добрый онъ, хорошій, братецъ мой родненькій, Иванушка-свѣтикъ... Приди онъ теперь, такъ бы, кажись, закрывши глаза со стыда, и повисла у него на шею, слезами бы вся изошла отъ радости... Такой онъ добрый!.. Нѣтъ, полно-ка!—не стану объ немъ думать; буду думать о Москвѣ: что тамъ нонѣ дѣется, какъ людей за крестъ мучать, какъ Федосьюшка страждеть за вѣру...“

„Нѣтъ, горька эта думушка... горемычная моя родная сторонюшка—вотъ и ты нонѣ, какъ въ пѣснѣ поется, горемъ горожена, а слѣзами поливана...“

„Ахъ, и не томите же вы мое сердечушко вашими пѣснями! И безъ того мнѣ горько-тошно, а они, какъ нарочито, про меня поютъ—какъ изъ „вишнево садочку зозуленька вылетала“, да какъ она на сине море поглядала, какъ на томъ морѣ козаченько потопалъ да къ своей горькой жонущкѣ-вдовущкѣ отвѣдь сказалъ:

Да нехай моя жонущка меня не ждеть,  
Да нехай она замужь идетъ,  
Нехай копаеть яму глыбоку,  
Да садовить калину червону...

„А! шутка сказать: пушай не ждеть, пушай замужь идетъ...“

„А! Богъ съ тобой, родная сторонушка московская—за горами ты высокими, за рѣками за глыбокими... Ужь бы скорѣе утречко наставало: можеть онъ, Ивашечко Мазепа, придетъ, душу мою словомъ отогрѣеть...“

Что-то зашуршало подъ окномъ — словно шаги чьи-то... да, шаги, точно шаги, только никого не видать...

Еще шаги за вишнею... Ходить кто-то...

— „Хто се тутъ“?—слышится за кустомъ чей-то едва уловимый шопоть.

— „Се я, ясочко моя, зоре моя вечерняя“,—шепчуть въ отвѣтъ.

— „Охъ! якъ же я ждала тебе, мій голубе...“

— „Сердце мое, рыбка моя! иди-жь иди до мене... на рученьки...“

— „Охъ, любый мій!.. о-охъ!“

— Кто бы это былъ? Петрусь развѣ съ Явдохю?.. Такъ нѣтъ: вонъ слышно Петрусевъ голосъ, вонъ какъ заливається:

Ой сонъ, мати, ой сонъ, мати, сонъ головоньку клонить,  
Ой тожь тоби, мій сыночку, тая улиця робить...

Кому-жь бы тутъ быть въ садочку?..

Она прислушивается... что-то стучаетъ — тукъ-тукъ-тукъ — тукъ-тукъ-тукъ... Это ея сердце стучить, такъ, кажется, и подымаетъ горячую сорочку...

— „Такъ ты мене любишь, моя зоренько?“

— „Коли-бъ не любила—не вышла-бъ... Чуешь, якъ мое серденько стукотить?“

— „Чую-чую, мое золото червоне...“

— „Охъ... о-охъ! полегше, соколику,—задушишь мене...“

Слышно, какъ цѣлуются... Молодая вдовушка огнемъ горить... Вотъ такъ бы и она цѣловала и обнимала Мазепиньку, если бъ не постыдилась—вышла къ нему... Да какой въ этомъ грѣхъ? Вотъ любить же она и цѣлуетъ Гриця своего—отчего бъ и его, Мазепиньку, не любить?..

— „Гетьманъ другого хотнвъ зъ листами послать, такъ я самъ напросився, щобъ тилько тебе, моя ясочко, повидати...“

— „Охъ, мій соколоньку... А винъ же-жь не дознається, що мы съ тобою любимося?“



— „Де дознатися? У мене на губахъ не остануться слиды отъ твоихъ губонькивъ, серденько.“

— „Охъ! а мени здається, що на моихъ губкахъ такъ и остануться твої устоники жаркіи...“

— „А мої вусы остануться?“

— „О! якій бо ты жартливий...“

А тамъ, на улицѣ, „гукають“ да виводять голосно:

Ой, зійди ты, зійди, зирочко ти вечирняя,  
Ой, выйди, выйди, дивчинонько моя вирная

— „А я вже думала була що ты не мене любишь...“

— „А кого-жъ, сердце?“

— „Та нашу-жъ московочку.“

— „Охъ, лишечко!“

— „Та вона-жъ така гарнесенька, русявенька, киршитенька...“

— „А ты краща надъ неї...“

„Московочка“, опершись на подоконникъ, такъ и зардѣлась отъ этихъ словъ, какъ маковъ цвѣтъ... это про нее говорятъ... Кто жъ бы это?.. Она что тамъ цѣлуется съ *имъ*, кажется, сама пави гетьманова, Дорошонкова жена; а кто *онъ*?.. Ужъ не Мазепа ли? Охъ! такъ сердечушко и упало у Оленушки... Нѣтъ—не онъ, не онъ! Мазепа самъ сказывалъ, что еще никого не любилъ и его, бѣдненькаго, никто не любить... Это не онъ...

Вотъ если бъ Мазепа ее, Оленушку, у гетмана вымолилъ, да на Москву ее отпустили бы, да съ нею бы и самъ онъ, Мазепинька, на Москву съѣхалъ—вотъ бы хорошо было... Пуццай тамъ за крестъ люди страждуть—Вогъ съ ними!.. А какимъ крестомъ самъ Мазепа крестится? Она что-то не запримѣтила: должно быть „пучкой“ крестится, какъ всѣ черкасы... Да что жъ изъ того, что „пучкой“? Черкасы такіе жъ христіане, да и угодиновъ у нихъ въ Кіевѣ сколько!—и на Москвѣ столькихъ нѣту...

Грицю, Грицю, до работы!  
Въ Гриця порвани чоботы.  
Грицю, Дрицю, до телятъ!  
Въ Гриця ниженьки болять...

Это кто-то веселую отхватываетъ на улицѣ... Гриць, маленькій Гриць, такъ любить эту пѣсню...

— „Я понесу тебе на ручкахъ, ягидко моя...“

— „Охъ, куды... куды?..“

— „Та туды-жъ... на скошену травку... якъ на постильку...“

— „Охъ, Ивасю... я боюсь... боюсь...“

— Яка ты легенька...

— О, якій бо ты... любий... охъ!...

Оленушка такъ и перевѣсилась за окно... Изъ-за куста мелькнуло что-то зѣлое и красное... Врязнули подковки... сабля...

Онъ, обхвативъ ее поперекъ, какъ малаго ребенка, несетъ черезъ садикъ, а она обвилась руками вокругъ его шеи...

Она... это ясно... пани гетьманова... Дорошенчиха... А онъ—ахъ Господи!—это Мазепа... Мазепа!..

Сдавивъ себѣ горло рукой, Оленушка съ глухимъ стономъ упала на свою „вдовую“ постель... А съ улицы доносилось:

Постиль била, стина нима—ни съ кимъ размовляти

Выплакавшись до послѣдней слезинки, молодая вдова уснула только къ утру.

## VII.

### Царевна Софья за географіей.

А въ это утро въ селѣ Коломенскомъ, въ царскомъ дворцѣ, объ ней, о бывшей княжонукѣ Долгоруковой, а нынѣ гетманшѣ-вдовицѣ, вспоминали и жалѣли.

Старая мамка рано взбудила царевну Софьюшку. Не хотѣлось старой будить царевну—такъ хорошо спала она, разметавшись въ постелькѣ, и такъ сладко улыбалась да шептала не то „батьюшка свѣтъ“ — царя батьюшку, должно, видѣла во снѣ, не то „Васенька соколикъ“ какой-то; а все жъ надо было разбудить: сама царевна крѣпко-на-крѣпко наказывала разбудить—„урки-де учить“ надо... И на что это дѣвку урками мучать? думалось мамушкѣ, а все-таки нельзя не разбудить—приказывала: коли-де, сказывала, выучу урки-гѣ, такъ батьюшка-царь обѣщаль взять ее съ собою дѣйства смотрѣть.

И царевна сидитъ у стола, такая розовенькая, иногда позѣвываетъ со сна, креститъ свой розовый ротикъ и все учить что-то очень мудреное, что задалъ ей этотъ Симеонъ Ситіавичъ.

Передъ царевной книга рукописная, а на столѣ глобусъ. Царевна то въ книгу заглянетъ, то на потолокъ съ узорами, и покачивается.

— Ангуль-ангуль—уголь, аркусь—дуга, аксисъ—ось, экваторъ—уравнитель... Экваторъ, экваторъ, экваторъ—какой трудный!

Потомъ, закрывъ глаза ладонями, повторяетъ эти слова наизусть, и все спотыкается на экваторѣ...

— Евкаторъ-евкаторъ—ахъ, какой трудный!

Глянула въ книгу, топнула ножкой:

— Нѣтъ, не евкаторъ, а экваторъ-екваторъ...

А мамушка сидитъ у окна съ чулкомъ и тихо шевелитъ губами, считая петли.

— Зона торрида—поясъ горячій или знойный, зона фригида — поясъ хладный или студеный...

— Ишь диво какое!—удивленно качаетъ головой мамушка: — нашли вонъ поясъ горячій... А съ чево ему быть-ту горячимъ? И чему учать! Не дивн бы божественному...

— Ахъ, мамка, ты не знаешь!—защищаетъ царевна своего учителя:— это поясъ въ географіи, а не такой поясъ, какой посятъ...

— Ну, и у этой тамъ егорафьи съ чево быть поясу горячу?

Царевна смѣется самымъ искреннимъ смѣхомъ.

— Ахъ, мамушка, какая ты смѣшная!—„егорафья“!.. Географія, а не егорафья...

— Ну, Богъ съ ней, матушка царевна, съ этой свграфьей! Вонъ сестрицы твои, другія царевны, ничему такому заморскому не учены, а все-таки, Бога благодаря, здоровехоньки живутъ... Да и то сказать: ты у батюшки царя любимое дитѣ...

А царевна опять покачивалась надъ книгой да закрывала глаза ладошками, чтобы запомнить разныя премудрости и не ударить лицомъ въ грязь передъ батюшкой.

— „Свойства п аффекціи, которыя земному кругу отъ теченія солнца и звѣздъ являющагося приключаются, суть: одинаго мѣста періики суть антиковъ того мѣста антиподы и антиподовъ того мѣста антики“... антики... періики... антиподы... ахъ, какъ трудно!.. антиподы... антиподы... антики...

Она встала и начала ходить по терему, повторяя и прищелкивая пальцами: „антики... періики... антиподы... антики... періики“...

Она глянула въ окно. Тамъ часовые стрѣльцы стоятъ... А прудъ такой тихій—по немъ лебеди плаваютъ... Увидали ее, свою любимцу царевну, и отъ радости начали крыльями махать... Царевна вся порозовѣла отъ этого лебединого привѣта... Надо ихъ, лебедушекъ, покормить... да и учиться надо...

— „Тако одинаго мѣста антипода суть антиковъ того мѣста періики, и періиковъ антики“,— снова уткнулась она въ книгу.— „Сіе отъ дефиниціи довольно ясно есть и не требуетъ доказанія“...

— Ясно! то-то ясно!.. Ахъ, мамушка, неясно!

— Что ты, моя золотая! Совсѣмъ свѣтло...

— Нѣтъ, въ книгѣ неясно...

— Ну, глазки поди притомила,—отдохни...

— Нѣтъ, глаза не устали, а не пойму!

— Такъ у учителя спроси, мое золото.

— Ахъ, какая ты!—досадовала юная царевна.

И вдругъ ей вспомнилась курносенькая, съ розовыми щеками Оленушка, княжна Долгорукова, что нынѣ вдова гетманша Брюховецкая...

— Что-то она подѣлываетъ теперь тамъ, въ черкасской сторонѣ?

— Кто, золотая?

— Княжна Оленушка, гетманша.

— Въ полонѣ она, бѣдная, сказываютъ; какъ убили черкасы

ея мужа, такъ Петрушка Дорошонокъ, сказываютъ, взялъ ее къ себѣ въ полонь.

— Ахъ, бѣдная! Что жъ батюшка не отыметъ ее у Дорошенки? Я попрошу батюшку.

— Да вотъ Федоръ Соковнинъ, поди, скоро привезетъ отъ нея вѣсточку, а може и грамотку.

— Да... А вотъ сестры его... бѣдныя... Морозова да Урусова... Я батюшку про нихъ спрашивала, такъ говорить: закону-де супротивны стали.

— О-о-охте-хте! гдѣ ужъ супротивны!... Все этотъ Никонь...

Царевна какъ бы опомнилась и снова нагнулась надъ книгой.

— Ну, мамушка, не мѣшай мнѣ...

— Что - й-то ты! кто тебѣ мѣшаетъ? Ты мнѣ мѣшаешь: вонъ петлю спустила...

— Ну-ну...

Царевна встала и, глядя въ потолокъ, стала спрашивать сама себя такъ, какъ ее спрашивалъ Симеонъ Полоцкой.

— „Дистанціи мѣстъ премѣняются ли?“— „Премѣняются: путевая убо мѣстъ дистанція овогда большая, иногда меньшая быти можетъ; но истинная и кратчайшая дистанція географическая пребываетъ тая-жде, развѣ егда познаеши, что суперфіція земная прервется или отдѣлится. Мѣста же здѣ разумѣваемъ пункты земные недвижимые. И тако ежели суперфіція между двоихъ мѣстъ срединположенная учинится высшая, то будетъ и дистанція мѣстъ учинена большая, а буде низшая—то будетъ меньшая“.

Это она проговорила почти однимъ духомъ, наизусть, такъ что даже вся раскраснѣлась.

— Ай да умница! не забыла,—похвалила она себя.— Поцѣлуй же себя.

И она подбѣжала къ овальному зеркалу, висѣвшему на стѣнѣ, и поцѣловала свое отраженіе.

— Ба-ба-ба!—послышался вдругъ возгласъ въ дверяхъ терема:—ай да дѣвка! Сама съ собой цѣлуется...

Мамушка вздрогнула и уронила чулокъ. Царевна отскочила отъ зеркала. Въ дверяхъ стоялъ царь Алексѣй Михайловичъ и улыбался своею доброю улыбкою. И ласковые глаза, и розовыя щеки—все такъ и свѣтилось нѣжностью.

— Ай да дѣвка!

— Батюшка! государь!—радостно, зардѣвшись вся, воскликнула царевна, и бросилась отцу на шею.

Онъ ласково крестилъ и цѣловалъ ея голову.

— А! какъ растетъ дѣвка,—нѣжно говорилъ онъ, положивъ руки на плечи дочери и глядя въ ея лучистые глаза:—ужъ скоро и до головы не достану, скоро отца переростетъ...

— Ахъ, батюшка, свѣтикъ мой, миленькой, государь! — ласкалась дѣвочка.

— Да и что дивить: дѣвкѣ скоро шестнадцать стукнетъ...

— Пятнадцать, царь-государь, — поправила его мамушка, подходя и цѣлуя царскую руку.

— Здравствуй, мамка!.. Вы всегда убавлять года любите: это женское дѣло...

— Нѣту, государь-батюшка.

— А что вы тутъ дѣлаете?

И царь подошелъ къ столу, на которомъ лежала развернутая рукописная книга и стоялъ глобусъ. Онъ взялъ книгу и сталъ смотрѣть ея титулъ, расписанный кинюварью и разными цвѣтными заставками.

— „Географія генеральная“, — читалъ онъ: — „небесный и земноводный круги купно съ ихъ свойства и дѣйствы, отъ Бернардуса Варениуша сложенная“... Такъ-такъ—географія...

Царевна, прижавшись головкой къ плечу отца, тоже заглядывала въ книгу. Царь перевернулъ первый листъ.

— Вижу самъ Симеонъ писалъ — искусникъ, художъ добрый... Ишь скромникъ, что говорить въ предисловіи: „того ради малымъ и худымъ кораблецемъ смысла моего съ прочими на широкой сей океанъ толкованія пуститися дерзнулъ“... Да, скромникъ... Это хорошо... „Моя же должность объявити,—продолжалъ читать царь, — яко преводихъ сию не на самый словенскій высокій діалектъ противъ авторова сочиненія и храненія правилъ грамматическихкихъ, но множае гражданскаго посредственнаго употреблялъ варѣчія, охраняя сенсъ и рѣчи самага оригинала иноязычнаго“... Ишь ты! А что есть „сенсъ“? — обратился онъ къ дочкѣ и погладилъ ея волосы.

— „Сенсъ“ сирѣчь смыслъ, — бойко отвѣчала дѣвушка.

— Такъ, умница.

Старушка мамушка, стоя въ сторонѣ, съ умиленіемъ глядѣла на эту нѣжную сцену.

— Много выучила? — спросилъ царь, взглянувъ на дѣвочку.

— До періиковъ и антиковъ, батюшка.

— Хорошо, дочушка... А трудно, поди?

— Трудно...

— Ничего... корень ученія горекъ, а плоды его сладки суть...

Онъ взглянулъ на глобусъ, тронулъ его, повернулъ на оси...

— А сіе разумѣешь? — спросилъ онъ, тыкая пальцемъ въ глобусъ.

— Разумѣю, батюшка.

— Это что такое? Словно ось махонька...

— Сіе есть аксисъ, на чемъ земля вертится.

— Ишь ты — аксисъ... Слово, поди, греческое... Такъ-такъ — словно ось...

— Да она осью и называется, батюшка, — пояснила дѣвочка.

— Точно-точно... Премудро все сіе... Токмо не уразумѣю я, какъ люди не упадутъ съ земли, коли она круглая.

— Не падаютъ, батюшка.

— То-то я самъ вижу, что не падаютъ.. Вотъ и мы не падаемъ, стоимъ, потому къверху падать нельзя... А вотъ тѣ-ту, что внизу, подъ нами живутъ?

— Они, батюшка, называются антиподы.

— Антиподы—ишь ты... А мы кто же?

— А мы антики...

— Вонъ оно что! Поди ты! Мы антиками стали—русскіе-то... А все премудрость Божія...

Онъ задумчиво качалъ головой, разсматривая глобусъ и повертывая его.

— А гдѣ жъ Москва тутъ будетъ?—спросилъ онъ.

Царевна повернула глобусъ, нагнулась къ нему...

— Вотъ Москва, батюшка.

— Вижу—вижу... И на чертежѣ государства російскаго такъ же... А Ферапонтовъ монастырь, примѣромъ сказать?

Дѣвочка вопросительно посмотрѣла на отца...

— Не знаю, батюшка.

Царь задумался: онъ вспомнилъ о своемъ нѣкогда „собинномъ“ другѣ, и вздохнулъ.

— Нѣтъ его, поди, тутъ, Ферапонтова-ту,—раздумчиво сказалъ онъ:— и Пустозерска нѣтъ...

Мысль его, видимо, гдѣ витала; но дѣвочка не понимала этого и молчала... Она слышала только, какъ лебеди кричатъ на пруду, она знала, что они объ ней соскучились—она избаловала ихъ.

— Дивны, дивны дѣла Твои, Господи, — продолжалъ царь раздумчиво.—А это что такое — опоясочка черненькая кругомъ—а?—спросилъ онъ, проводя пальцемъ по экватору.

— Ев-ев-екваторъ это, батюшка,—зардѣлась дѣвочка, чувствуя, что дѣло не совсѣмъ ладно.

— Евкаторъ...

— Сирѣчь уравнитель,—поправила она.

— Уравнитель... опоясочка вокругъ земли... А кто ее опоясалъ? Все Богъ... Для Него, Батюшка-Свѣта, вся земля—что яблочко едино, клубочекъ махонькой, взялъ и опоясалъ своею божественною ниточкою, поясомъ господнимъ... Одѣяся, яко ризою, облакомъ, лѣтъ на крылу вѣтреннюю... Чудны дѣла Твои, Господи... Ишь лебеди раскричались—къ дождю, поди...

— Они ѣсть хотятъ.

— То-то—проголодались безъ тебя... А вотъ сія опоясочка тоненька?—указалъ онъ на сѣверный полярный кругъ.—Что она означаетъ?

— Сіе есть зона фригида, поясъ хладный или студеный,—бойко отвѣчала дѣвочка, увѣренная, что на этотъ разъ не вретъ.

— Такъ поясъ-таки? Такъ и называется?

— Поясъ, батюшка, хладный.

— Хладный... Почему жъ хладный?

— Поелнку сѣверный, а на сѣверѣ хладъ...

— Точно—точно... Вонъ въ Крыму и на Терекѣ, сказываютъ, теплѣе, а въ Ерусалимѣ—знойно.

— А вонъ тамъ, батюшка, и поясъ знойный или горячій, зона тор-риды,—торопилась дѣвочка, показывая своимъ розовымъ пальчикомъ южный полярный кругъ.

— Такъ-такъ, дочушка моя, умница... Учись, учись... Это премуд-рость Божія...

Дѣвочка стала ласкаться къ нему словно кошечка.

— Ахъ, ты моя Софей-премудрость Божія,—гладилъ онъ ее.

— А возьмешь меня на дѣйство?—вдругъ спросила она:—на „Наву-ходоносорово“ дѣйство...

— Возьму — возьму, — онъ снова поцѣловалъ ее въ голову. — Ишь выросла...

Выглянувъ затѣмъ въ окно, Алексѣй Михайловичъ увидѣлъ, что къ крыльцу, по заведенному порядку, уже стали сходиться бояре и столь-ники—на смотръ, для поклоновъ и для докладовъ. Межъ ними онъ уви-далъ князей Воротынскаго и Одоевского, да Василя Волинскаго. Какая-то тѣнь прошла по благодушному лицу царя, онъ догадался, затѣмъ пришли эти трое... Этой ночью они пытали Морозову и Урусову...

Царь разсѣянно и торопливо перекрестилъ дочь и вышелъ изъ терема.

## VIII.

### Морозова въ заточеніи.

Воротынскій доложилъ царю о безуспѣшности „розыска“ надъ Моро-зовой и ея сестрой. Онъ доложилъ это съ такими потрясающими подроб-ностями, что Алексѣй Михайловичъ невольно поблѣднѣлъ.

— Палачей въ трепеть привела своимъ неистовствомъ и стрѣльцовъ къ своему бueвѣрію наклонила, — пояснилъ Одоевскій.

— Волосы ходили у меня, великій государь, по головѣ аки живы, — доложилъ и Волинскій: — дьякъ Алмазъ, великій государь, занеможе отъ виду тося муки.

Царь оглянулся кругомъ: дьяка Алмаза Иванова, дѣйствительно, не было среди приближенныхъ,

— Что же дѣлать съ ними? — обратился царь къ сонму князей и бояръ:—и церковь, и земная власть безсильны надъ ними.

Всѣ потупились, страшно было отвѣчать на такой вопросъ...

— Огонь осилить,—послышался чей-то мрачный голосъ.

Всѣ поглядѣли на говорившаго: это былъ „краснощокій“ Павелъ ми-трополитъ крутицкій. Алексѣй Михайловичъ долго молча глядѣлъ на него.

— Огонь?—какъ бы не понимая этого слова, спросилъ онъ.

— Огонь небесный, великій государь.

— А въ нашихъ ли рукахъ огонь-атъ небесный? — качая головой, снова спросилъ царь.

— Въ твоихъ, великій государь: сказано бо—сердце царево въ рудѣ Божіи..

— А Богъ милостивъ.

— Милостивъ къ вѣрнымъ, а на Содомъ и Гомору онъ сослалъ съ небесе огонь и жуель.

Бояре безмолвно переглядывались. Долгорукій, князь Дмитрій, отецъ вдовы Брюховецкой, раздумчиво качалъ головой. Онъ вспомнилъ Морозова на свадьбѣ своей дочери, когда ее выдавали за Брюховецкаго. Морозова была посаженной матерью и утѣшала плакавшую Оленушку... Сердце сжалось у Долгорукаго при этомъ воспоминаніи: „объимъ не задалось счастье... та тамъ, *эта*—здѣсь...“

— Прикажи, великій государь, срубъ поставить на Болотѣ,—продолжалъ жестокой митрополитъ—„оладейникъ“: —затеpli свѣчу предъ Господомъ, свѣча эта будетъ Морозова...

Многіе невольно вздрогнули отъ этого предложенія...

— Изъ живова тѣла свѣчу Господу—ахъ!—отозвался кто-то.

— И свѣча та спасетъ православный народъ, — настаивалъ Павелъ.

Долгорукій не вытерпѣлъ: Морозова и его бѣдная погибшая дочь живыми стояли передъ нимъ... одна горѣла, другая—такъ таяла...

— Али тебѣ, митрополитъ, мало свѣчново сбору, что ты вздумалъ насъ свѣчами подѣлать?!—съ дрожью въ голосѣ заговорилъ онъ:—спасай словомъ, а не огнемъ... Христось не жегъ огнемъ невѣрующихъ, а молится за нихъ—„не вѣдають-бо что творить...“

Царь ласково посмотрѣлъ на Долгорукаго: ему самому тяжело были эти пытки да казни.

Но такъ на этотъ разъ ничѣмъ и не порѣшили.

Какъ бы то ни было, на другой день, за Москвой рѣкой, на Болотѣ, какъ разъ противъ тюремныхъ оконъ, съ раняго утра ставили какое-то странное зданіе. Это былъ четырехугольный срубъ изъ сухихъ сосновыхъ бревенъ, съ одною дверкою, но безъ оконъ. Въ срубѣ складены были костромъ дрова, а полъ устланъ былъ соломой и уставленъ снопами, которые доходили до самихъ верхнихъ вѣнцовъ сруба.

Любопытствующіе толпились около этой странной горенки.

— Мотри-мотри, братцы, мышъ бѣжить изъ сруба! — кричалъ паренъ съ лоткомъ на головѣ.

— То-то, подлая, знаетъ, что въ горенкѣ-ту тепло будетъ, — осклабился другой малый.

— А вонъ и другія. Ахъ ты курова дочь!.. Н-ну!

Къ горенкѣ подошли двѣ монашки. Въ старшей, съ низко опущеннымъ на глаза клубукомъ, можно было, хотя съ трудомъ, признать мать Меланію, отыскать которую не могли никакими средствами. Другая была мододевка, и блѣдное, изящно округленное лицо ея обнаруживало, что



не простого роду эта монашка. Это и была боярышня, сестра Анисья, которой писалъ когда-то Аввакумъ изъ своей тюремной кельи у Николы на Угрѣшѣ, чтобы она забыла свое боярство, и „сама мѣсила бы хлѣбы да варила шти для нищихъ“.

Меланія грустно покачала головой, глядя на странную горенку...

— Уготована-уготована... постель брачная,—тихо бормотала она.

— Да, и снопами уложена, какъ подобаеть на свадьбѣ, — добавила

Анисья.

— Такъ-такъ, Анисьюшка, эти хоромы краше царскихъ...

Онѣ заглянули и внутрь горенки...

— Да-да... чинно, зѣло чинно устроено...

Молодая монашка дотронулась рукою до сноповъ, до бревень... Руки ея дрожали...

— Охъ, Ѳедосьюшка! помолись за насъ!

Меланія перекрестила всѣ четыре угла страшной горенки. Все это она дѣлала тихо, плавно; безстрастное лицо ея выражало спокойствіе, и только рысьи глаза свѣтились ярче обыкновеннаго изъ подъ своихъ навѣсовъ. Зато лицо ея молодой спутницы отражало на себѣ всѣ волнованія ея душу движенія.

— Пойти утѣшить Ѳедосьюшку,—сказала наконецъ Меланія.

— Чѣмъ, матушка?

— Да, вотъ, горенкой новой.

— О-охъ! помилуй Господи!

— Да письмомъ Аввакумовымъ.

— Точно, точно, матушка... утѣшь ее, горемычную, порадуй... Вонъ она, мученица, что ту ночь вытерпѣла на пыткѣ, Онисимко стрѣлецъ ска- зываль...

Молодая монашка нагнулась, выдернула изъ одного снопа небольшой пучокъ соломы и поцѣловала его. Затѣмъ они поклонились ужасной горенкѣ и пошли въ городъ. Молодая монашка шла съ пучкомъ соломы, словно бы она возвращалась съ вербой отъ вербной заутрени... Она сама думала объ этомъ...

— И точно верба... И подъ Христа ваи металы предъ распятіемъ...

— Только некого намъ будетъ „плащаницею чистою обвить“,—мно- го-значительно сказала Меланія.

Ночью Меланія удалось пробраться въ темницу къ Морозовой. Какъ она проникла въ это недоступное мѣсто—эта была тайна ея неотразимаго вліянія на всю, поголовно подчиненную ей, при томъ тайнымъ подчине- ніемъ, Москву. Меланію всѣ знали, начиная отъ князей и бояръ и кончая послѣдними стрѣльцами, тюремщиками и палачами. Ей всѣ повиновались, она проникала всюду, передъ ней разступалась стража, отмыкались замки; но когда царь требовалъ сыскать эту опасную женщину, грозилъ опалой за неотысканіе ея—Меланія точно сквозь землю проваливалась...

Стража Морозовой пропустила къ ней мать Меланію.

Морозова стояла у тюремнаго окошечка и, держась руками за желѣзную рѣшетку, смотрѣла на блѣдныя, слабо мерцающія звѣзды. Ей казалось, что кто-то смотритъ къ ней въ темничное оконце, смотреть съ того далекаго, невѣдомаго неба... Ей представлялось оно населеннымъ живыми, свѣтлыми, родными ей существами: и Ванюшка, сыночекъ ея, и тотъ княжичъ, что polegъ давно на литовскихъ кровавыхъ поляхъ, и добрый мужъ ея Глѣбушко, и тотъ сильный, страшный, но смирившійся Стенанушко Разинъ... Гдѣ подѣли его голову, его кости? Куда воронъ занесъ ихъ?..

Дверь тихо визгнула и отворилась...

— Оедосьюшка! дочка моя!—послышался знакомый голосъ.

— Матушка! мати моя! радость моя!

Морозова бросилась на землю и восторженно цѣловала руки своей учительницы. Меланія благословила ее. Слышны были только не то радостныя, не то горькія всхлипыванья...

За окномъ завылъ протяжный окликъ часового...

— Словно ангель, дверемъ затвореннымъ пришла,—захлебывалась и радостью, и слезами Морозова.

— Не плачь, дочь моя, а радуйся,—внушительно сказала Меланія.— Ужъ домъ тебѣ готовъ, весьма добръ, чинно устроенъ и соломою цѣлыми снопами установленъ—сама ходила на Болото посмотрѣть... Радуйся! уже отходишь ты въ блаженство ко Христу, а насъ сырыхъ оставляешь..

Что чувствовала при этихъ словахъ своей наставницы Морозова—это знаютъ только тѣ немногіе, которые рѣшились идти на вольную смерть за идею... Они чувствуютъ то, что чувствовалъ Христосъ въ саду Геосиманскомъ, когда молился о чашѣ: страшна эта чаша, хоть избранники своею волею тянутся испить содержимое въ ней, — въ этомъ сосудѣ смерти, хоть и сладко утѣшеніе тамъ, глубоко гдѣ-то, въ пламенѣющей восторгомъ душѣ...

Морозова снова упала на колѣни и подняла руки къ небу, которое слабо мерцало звѣздами сквозь тюремную рѣшетку: она тихо молилась...

— Аввакумово посланіе къ тебѣ принесла я,—пояснила старица:— слово тебѣ великое, похвальное...

И она вынула изъ-подъ рясы сложенную въ дудочку бумагу.

— Отъ Аввакума! Господи, благодарю тебя! сподобилъ меня!—какимъ-то подавленнымъ голосомъ воскликнула узница:— передъ смертью хоть... благословить меня...

Меланія подала ей свертокъ. У Морозовой дрожали руки, и она не могла развернуть посланія...

— Странничекъ въ посохъ принесъ изъ Пустозерья, — пояснила старица:— просверлили подожекъ и вложили туда посланіе, страха ради никонианска:—а то никониане отняли бы...

Морозова развернула свитокъ, пригнулась къ нему, поцѣловала; но читать еще было темно, хотя лѣтняя ночь уже посылала въ тюремное оконце блѣднорозовую зорю.

— Потерпи мало, миленькая, ужъ свѣтаешь,—успокоивала ее старица:—свѣтлый ликъ Господа скоро глянетъ къ тебѣ въ оконце.

Морозова стала разспрашивать ее о томъ, что дѣлалось въ Москвѣ, кого еще взяли, кто цѣль остался, кого замучили. Старица рассказывала, какъ плакалъ и цѣловалъ братъ Акинфеюшки кровавое покрывало, которое она прислала ему изъ застѣнка, прямо съ пытки, съ стрѣльдомъ, какъ онъ призвалъ потомъ къ себѣ стрѣлцкихъ сотниковъ, дарилъ ихъ, угощалъ...

— А все ухлѣблывалъ ихъ для того, чтобы не свирѣпы были къ вамъ, дѣти мои,—поясняла старица.

Потомъ рассказала, какъ онѣ съ Анисьюшкой ходили на могилку къ ея сынку, Ванюшкѣ, помолились, панихидку отпѣли...

— И таково хорошо тамъ у него,—прибавляла старица:—цвѣтики лазоревы и аленьки, и синеньки посажены на могилкѣ,—такое хорошо цвѣтуть.

Всѣ эти вѣсти для заключенной казались принесенными изъ другого, далекаго міра, въ который для нея уже не было возврата.

— А брата твоего Ѳедора царь послалъ съ грамотами въ черкасскую землю, къ гетману Петру Дорошопку,—сообщила старица:—а тотъ Дорошопокъ держитъ въ полону нашу бывшую княжну Долгорукову...

— Оленушку — какъ же бѣдная! — еще я у ей посажной матерью была,—горько покачала головой узница.

Заря уже ярко глядѣла въ оконце, и хотя съ трудомъ, но читать Аввакумово посланіе можно было. Морозова перекрестилась, снова поцѣловала его, приблизила свертокъ къ оконцу и стала читать.

„Аввакумъ протопопъ, рабъ Божій, живый въ могилѣ темнѣй, кричитъ вамъ, чада мои: миръ вамъ! — начала она. — Увы! измолче гортань мой, исчезосте очи мои, свѣтъ мой государыня Ѳеодосія Прокопьевна! Откликнись въ могилу мою: еще ли ты дышишь, или удавили, или сожгли тебя, яко хлѣбъ сладокъ? Не вѣмъ и не слышу. Не вѣдаю живо, не вѣдаю сконча ли чадо мое церковное, драгое? О, чадо мое милое! провѣщай миѣ, старцу грѣшну, едваѣ глаголь: жива ли ты“?

Морозова невольно опустила бумагу на колѣни и утерла катившіяся изъ глазъ слезы, которыя, падая на листъ, мѣшали читать...

— Жива еще — дышу благодатию Божіею, — тихо, сквозь слезы, говорила она.

Вытеревъ глаза, она опять поднесла къ свѣту бумагу.

„Увы, Ѳеодосія! увы, Евдокія!“ начала она снова, и остановилась.

— А что Дуня?—спросила она.

— Вечоръ я заглянула и къ ней, — отвѣчала старица: — земно кланяется тебѣ.

— А что руки у нее—какъ?

— Опадать стала опухоль въ плечахъ,—легшасть.

— А духомъ какъ?

— Водра... истинный воинъ Христовъ...

— „Увы Θεодосія! увы Евдокія!—продолжала читать Морозова:—два супруга нераспряженная, двѣ ластовицы сладко глаголювыя, двѣ маслины и два свѣтника предъ Богомъ на земли стояще! Воистину подобни есте Еноху и Илиі, женскую немощь отложивше и мужескую мудрость воспріявше, діавола побѣдша и мучителей посрамиша, вопіюще и глаголюще: „Прїидите, тѣлеса наши мечи ссѣцете и огнемъ сожгите, мы бо, радуясь, идемъ къ жениху своему Христу“. О, свѣтила великія, еолице и луна рускія земли, Θεодосія и Евдокія“...

— Ахъ, матушка, мнѣ стыдно читать, — потупилась узница: — я не стою этого...

— Онъ, свѣтъ нашъ, знаетъ, чего ты стоишь, — успокоивала ее старица: — чти далѣ.

„О, двѣ зари, освѣщающія весь міръ на поднебеснѣй! Воистину красота есте церкви и сіяніе присносущныя славы Господни, по благодати! Вы забрала церковная и стражи дома Господня, возбраняете волкомъ входъ во святыя. Вы два пастыря — пасете овчье стадо Христово на пажитѣхъ духовныхъ, ограждающе всѣхъ молитвами отъ волковъ губящихъ; вы руководство заблудшимъ въ райскія двери и вшедшимъ древа животнаго насажденіе. Вы похвала мучениковъ и радость праведнымъ и святителемъ веселіе. Вы ангеломъ собесѣдницы и всѣмъ святымъ сопричастницы и преподобнымъ украшеніе. Вы и моея дряхлости жезлъ и подпора, и крѣпость и утвержденіе, и—что много говорю!—всѣмъ вся бысте ко исправленію и утверженію во Христа Иисуса...“

Она припала лицомъ къ ладонямъ и тихо плакала радостными слезами...

— Не заслужила я, охъ не заслужила...

— Полно-ка! чти—скоро день, — понуждала ее старица: — онъ знаетъ, что говорить.

„Какъ васъ нареку? Вертоградъ едемскій именую и Ноевъ славный ковчегъ, спасшій міръ отъ потопленія. Древле говаривалъ и нынѣ тоже говорю: кіотъ священія, скрижали завѣта, жезлъ Аароновъ прозябшій, два херувима одушевленная. Не вѣдаю какъ назвать. Языкъ мой коротокъ, не досяжетеъ вашей доброты и красоты. Умъ мой не обмыетъ подвига вашего и страданія. Подумаю, да лише руками возмахну! Какъ такъ государи изволили съ такія высокія степени ступить и въ безчестіе вринуться! Воистину подобны Сыну Божію, отъ небесъ ступилъ, въ нищету нашу облечеса и волею пострадалъ. Тому жъ и здѣ прилично. О васъ мнѣ разсудить не дивно яко 20 лѣтъ и единое лѣто мучать мя“...

— Двадцать лѣтъ! — невольно воскликнула молодая узница, поднявъ глаза къ потолку тюрьмы.

— Двадцать лѣтъ и съ годомъ, — тихо поправила ее Меланія.

— А я то—что противу него! Мнѣ и году вѣтъ, какъ я въ заключеніи...

— Добро и то: новѣшнюю ночь вспомяни...

— Что, матушка, новѣшнюю?

— Вчерашнюю, дочь моя, какъ на вискѣ-тѣ висѣла: — тамъ мигъ одинъ годомъ кажется.

Старика была права: Морозова вспомнила прошлую ночь — ночь въ застѣнкѣ... Да, тамъ минута острой боли казалась годомъ... Она невольно вздрогнула...

„На сѣ-бо званъ есмь, да отрясу бремя духовное,—продолжала она читать: — азъ чловѣкъ нишей, непородной и неразумной, отъ чловѣкъ беззаступной, одѣянїя и злата и сребра не имѣю, священническа рода, протопопъ чиномъ, скорбей и печалей преисполненъ предъ Господомъ Богомъ. Но чудно и пречудно о вашей честности помыслити; родъ вашъ Борисъ Ивановичъ Морозовъ сему царю былъ дядька и пѣстунъ и кормилецъ, болѣлъ объ немъ и скорбѣлъ паче души своей день и ночь, покоя не имуще. Онъ сопротивъ того, царь-отъ, племянника его роднаго, Ивана Глѣбчыча, опалю и гнѣвомъ смерти напрасной предаль твоего сына и моего свѣта...

Дрогнули у несчастной матери руки при чтенїи этихъ словъ; но она отогнала отъ себя образъ сына и продолжала читать.

„Увы, чадо драгое! увы, мой свѣте, утроба наша возлюбленная, твой сынъ плотской, а мой духовной! яко трава посѣчена бысть, яко лоза виноградная съ плодомъ къ землѣ преклонилъ и отыде въ вѣчная блаженства со ангели ликовать и со лики праведныхъ предстоить святѣй троїцѣ. Уже къ тому не печется о суетной многострастной плоти, и тебѣ уже некого четками стегать и не на кого поглядѣть, какъ на лошаdkѣ поѣдетъ, и по головкѣ некого поглядить...“

Она не могла дальше читать... „Некого по головкѣ поглядить“... Эта курчавая головка такъ и стоитъ передъ нею... стоитъ—вогъ тутъ—въ душѣ стоять... а поглядить некого!

— О, мой сыночекъ! о, мой кринъ сельный!..

Она обхватила голову руками и закачалась на мѣстѣ какъ бы отъ нестерпимой боли.

— Не плачь, Федосьюшка-свѣтъ, скоро сама съ нимъ увидишься, — бросила ей жестокое утѣшеніе мать Меланїя.—Онъ, свѣтникъ, скоро встрѣтитъ тебя...

— Охъ! дятячко мое!

— А ты полно, родная,—чти... Онъ утѣшитъ тебя... чти, голубка!

Морозова оторвала руки отъ лица, подняла голову къ небу и застонала, крѣпко стиснувъ руки.

— Читай же, чти, золотая.

— „Помнишь ли, какъ бывало миленькой мой государь,—читала несчастная, захлебываясь,—въ послѣднее увидался я съ нимъ, егда причастилъ его? Да пускай! Богу надобно такъ, и ты не больно о немъ кручинься. Хорошо, право, Христось изволилъ. Явно разумѣемъ, яко царствїю небесному достоинъ. Хотя бы и всѣхъ насъ побралъ, гораздо бы изрядно: съ Федоромъ тамъ себѣ у Христа ликуйствуютъ. Сподобилъ ихъ Богъ, и

мы еще не вѣмы, какъ до берега доберемся. Поминаешь ли Федора и не сердитуешь ли на него? Поминай Бога-для, не сердитуй...”

— За что жь мнѣ сердитовать на него? Божій былъ человекъ,— горестно покачала она головой:—помню, какъ разъ онъ со мной въ каретѣ къ Ртищевымъ ѣхалъ, миленькой... Да что про то вспоминать!

Становилось совсѣмъ свѣтло. Востокъ розовѣлъ и на монастырскомъ дворѣ и въ зелени для мелкой птицы уже насталъ день радостей и заботъ — говорливый птичій день. Мать Меланія встала—на лицо ея легла особая тѣнь...

Морозова все поняла чуткимъ сердцемъ и, казалось, привикла, опустила всѣмъ тѣломъ: сердце и лицо Меланіи сразу сказали ей, что съ нею хотятъ — „прощаться“... „прощаться въ послѣдній разъ... навѣки — прощаться, чтобъ ужъ не свидѣться болѣе до страшной трубы ангела...”

— Матушка! ты покидаешь меня,—прошентала она, словно бы чужими дрожащими губами.

— Не я покидаю тебя, а ты насъ: отходишь въ блаженство,—рѣзавули ее по сердцу безпощаднымъ утѣшеніемъ:—ты, свѣчечка наша воскояровая, гаснешь...

— О-о! мать моя! матушка!

Меланія незамѣтно вынула изъ подъ своей черной рясы что-то блестящее... Звякнули ножницы...

— Матушка! что это?

— Ножницы, сладкое чадо мое.

— Зачѣмъ они тебѣ?

— А зачѣмъ, дочушка моя, что ты отходишь отъ насъ въ жизнь вѣчную, покидаешь насъ сирыхъ... А насъ много, что будутъ вспоминать тебя да плакать по тебѣ: мы съ Анисьюшкой, Анна Амосова да Степанида Гнѣвная—рабыни твои и сестры по Богѣ, рабъ твой Иванушка, что золото и серебро твое, всѣ сокровища твои скрылъ отъ царя и никоніанъ и за что вынѣ взять и мученію преданъ...

— Такъ и Иванушку, стараго раба дому моего, взяли?—спросила, о чемъ-то думая, узница.

— Взяли, милая.

— А богатства мои—золото и серебро и камни многоцвѣтные?

— Сокрыты отъ всѣхъ... Иванушка и подъ пыткой не выдалъ тебя.

— Кому же открылъ онъ?

— Мнѣ, милая... Одна я, старая грѣшница, все знаю... Такъ вотъ намъ на память объ тебѣ хоть по прядочкѣ волосочковъ твоихъ шелковыхъ оставь, миленькая, чтобъ было чѣмъ вспоминать тебя...

— Хоть всю косу мою возьмите! — страстно воскликнула молодая боярыня.

— Зачѣмъ всю косу? Съ косою ты должна предстать жениху твоему—Христу Богу...

— Матушка! святая моя!

— Съ косю... съ косю, дитячко... Эко коса у тебя!

И старая „наставница“, распустив роскошную косу своей „послушницы“, выбрала одну прядь и отрѣзала ее ножницами.

— Эко коса невиданная!—бормотала она, наворачывая прядь на свой сухой палець. — Такъ-ту... А то вся бы сгорѣла — ни волосочка бы не осталось.

Морозова упала на колѣни, какъ бы на молитву.

— Благослови меня, матушка! подкрѣпи меня!

— Не нонѣ подкрѣпа моя нужна тебѣ, милая, а послѣ... тамъ...

Старая наставница не договорила. Морозова глядѣла на нее заплаканными глазами и, казалось, не понимала, что ей говорили.

— Ну, прощай, дочурка моя любимая,—перекрестила ее старуха.—А ты вотъ что слушай: когда возьмутъ тебя никоніане на казнь и поставятъ на срубъ и подожгутъ подъ тобой солому и дрова, тогда перекрестись истово и покажи народу руку съ двумя перстами: тутъ и меня увидишь... Я тоже подыму руку... по рукѣ меня и узнаешь... Сквозь огонь и дымъ увидишь меня... Тогда я подкрѣплю тебя...

Гдѣ-то за монастырской стѣной послышалась пѣсня:

Какъ журушка по бережку похаживаетъ,  
Шелковую травинушку пощипываетъ!..

#### IX.

### Тишайшій рыбу удить.

Страданія за идею нравственно заразительны.

Чтобы понять этотъ, повидимому, странный парадоксъ, слѣдуетъ обратиться къ исторіи человѣчества. Историческая жизнь человѣчества представляетъ, если можно такъ выразиться, послѣдовательный рядъ нравственныхъ эпидемій, смѣняющихся одна другою и часто осложняемыхъ другими, болѣе или менѣе сильными, болѣе или менѣе повальными и продолжительными эпидеміями духа обществъ. Исторія отмѣчаетъ намъ нѣсколько крупныхъ проявленій нравственныхъ эпидемій, въ родѣ эпидеміи „крестовыхъ походовъ“, когда эта спеціальная зараза охватила даже дѣтей. Были эпидеміи монашескихъ и фанатическихъ самоистязаній. Въ началѣ XVI-го вѣка, послѣ открытія Америки, эпидемія открытія новыхъ земель. Эпидемія самоубійствъ весьма часто чередуется въ исторіи человѣчества съ другими эпидеміями.

Къ такимъ же нравственнымъ эпидеміямъ принадлежатъ эпидемія страданій за идею. Пострадалъ одинъ, и за нимъ, какъ за Христомъ и апостолами, идутъ десятки, за десятками сотни, за сотнями тысячи.

Такъ было и въ эпоху, къ которой относится наше повѣствованіе. Страданіями думали устрашить другихъ—я, напротивъ, заражали незараженныхъ, увлекали искать страданій. За Аввакумомъ шла Морозова, за

Морозовой Урусова, Акифешка, Иванушка, Анна Амосовна, Степанида Гнѣвная. За этими послѣдними—цѣлые легіоны.

Эпидемія страданій за вѣру порождаются преслѣдованіями. Когда въ царскомъ дворцѣ, на женской половинѣ, въ теремахъ, узнали о стрададаніяхъ Морозовой съ сестрою, такъ Алексѣю Михайловичу отбой не стало отъ своихъ сестеръ и дочерей: всѣ жалѣли о страдальцахъ, плакали, приставали къ царю, не давая ему прохода, и чуть не учинили женскій теремной бунтъ. Первая взбунтовалась пятнадцатилѣтняя царевна Софьюшка—бросила учиться, закинула куда-то и „арифметикю“, и „премудрости цвѣты“, и всякія „верты“, и географию съ ея „періками“ и „антиками“—и задумала идти въ монастырь, постригаться... Одно только ее смущало—какъ же съ лебедями быть, которые безъ нея соскутятся?.. Однимъ словомъ, царевна Софьюшка рвала и метала, и какъ ее отецъ ни умасливалъ, что возьметъ съ собою на „Навуходоносорово дѣйство“,—она дулась теперь и твердила о монастырѣ.

Но больше всѣхъ досадила царю его старшая сестра, царевна Ирина Михайловна.

— Зачѣмъ, братецъ, не въ лѣпоту творишь,—упрекала она царя:—зачѣмъ вдову бѣдную помыкаешь?

— Какую вдову, сестрица?—съ неохотою отвѣчалъ царь.

— А Морозову. Достойно было бы познать службу Борисову и брата его Глѣба.

Напоминаніе о Борисѣ Морозовѣ, о дядкѣ и пѣстунѣ „типайшаго“, особенно было огорчительно и досадливо.

— Добро, сестрица! Коли тягчишь о ней, тотчасъ готово ей у меня мѣсто,—съ сердцемъ отвѣчалъ онъ.

Но, какъ бы то ни было, Морозову не рѣшилисъ жечь въ срубѣ, что уже срубили на Волотѣ...

Видя, что вся Москва, и дворъ, и боярство, и чернь, тайно и явно переходятъ на сторону заключенной боярыни, царь приказалъ увести ее изъ Москвы и заключить въ Новодѣвичій монастырь. Но это только подлило масла въ огонь. Вся Москва поднялась на ноги, особенно женскій полъ: „вельможныя жены“ и „вельможныя дщери“ съѣзжались въ монастырь смотрѣть на „мученицу“ и „учиться у нея, како страдати“. Открылись такимъ образомъ, такъ-сказать, „курсы науки страданій“—и все валило въ Новодѣвичій „учиться страдати и умирать“. Москву постигла буквально эпидемія страданій.

И въсѣмъ этомъ движеніемъ заправляла невидимая рука неуволнимой матери Меланіи и ея черныхъ юныхъ послушницъ въ родѣ Анисьюшки, Агафьюшки, Евдокеюшки и иныхъ, проникавшихъ всюду, во всѣ семьи, и увлекавшихъ за собою и старость, и молодость, стрѣльцовъ, и тюремщиковъ... Стали искать страданій сами палачи...

Алексѣй Михайловичъ просто терялся, не зная, что предпринять. Даже купанье въ пруду стольниковъ теперь не тѣшило его. Онъ



ходилъ самъ не свой, не вѣря никому, боясь своихъ совѣтниковъ и наущниковъ.

Тогда, не говоря никому ни слова, онъ принимаетъ новое рѣшеніе—покориться народной волѣ... Но онъ не зналъ, что это было уже поздно: народное чувство было обижено въ лицѣ тѣхъ, кого онъ, народъ, любилъ и кому вѣрилъ.

Алексѣй Михайловичъ приказалъ позвать къ себѣ не боярина и не духовнаго сановника, а человѣка изъ народа—стрѣлецкого голову Юрія Лутохина.

— Знаешь, Юрье, боярину Морозову?—ласково спросилъ царь.

— Какъ-ста, ваше царское пресвѣтлое величество, не знать боярину Феодосью Прокопьевну!—отвѣчалъ Юрій, шибко тряхнувъ волосами,

— А какъ ты, Юрье, объ ней думаешь?—косвенно допытывался царь.

— Не можемъ-ста знать, ваше царское пресвѣтлое величество,—былъ отвѣтъ и новая встряска волосъ.

— Я спрашиваю: правое ея-су дѣло, или неправое?—настаивалъ царь.

— Не наше-ста это дѣло, ваше царское пресвѣтлое величество,—наладилъ стрѣлецъ.

— Какъ не ваше су?

— Не нашево-ста ума, ваше царское пресвѣтлое величество.

Царемъ овладѣвало нетерпѣніе... „Эко чурбанъ!.. хоть коль на головѣ теши:—не скажетъ“...

— Да ты-то что объ ней мыслишь?—уже раздраженно спросилъ царь. „Чурбанъ“, которому думать не полагалось, и тутъ нашелся.

— Какъ поволить твое царское пресвѣтлое величество, такъ я и мышлю,—отвѣчалъ онъ.

Алексѣй Михайловичъ видѣлъ, что тутъ ничего не добьешься; но онъ достаточно зналъ свой народъ, чтобы не видѣть, что стрѣлцкій голова не на его сторонѣ... Ясно—это гласъ народа...

И Алексѣй Михайловичъ прямо приступилъ къ дѣлу.

— Вотъ что, Юрье,—сказалъ онъ, подумавши:—ступай ты къ Морозовой въ Новодѣвичій и скажи ей моимъ государевымъ словомъ: „Мати праведная, Феодосья Прокопевна! хошу ты азъ въ первую честь возвести. Дай мнѣ таковое приличіе людей ради, что аки не даромъ тебя взялъ: не крестися тремя персты, но точію руку показавъ, наднеси на три перста. Мати праведная, вторая Екатерина мученица! послужиай: азъ пришлю по тебѣ капитану мою царскую и со аргамаками своими, и придутъ многіе бояра и понесутъ ты на головахъ своихъ. Послушай, мати праведная! Азъ, самъ царь, кланяюсь главою моею: сотвори тако“!

Алексѣй Михайловичъ, дѣйствительно, поклонился. Юрій Лутохинъ стоялъ видимо пораженный: въ глазахъ и на лицѣ его играли умиленіе и радость.

— Уразумѣлъ?—спросилъ царь.

— Все уразумѣлъ, ваше царское пресвѣтлое величество!—съ силою отвѣчалъ стрѣлецъ.

— И все знаешь?

— Все, все до капли, ваше царское пресвѣтлое величество!.. Мати праведная, Ѳедосья Прокопьевна! хочу тя азь...

— Добро-добро... Ступай...

Поклонившись и неистово тряхнувъ волосами, стрѣлецъ вышелъ, ногу подъ собою не чуя.

Юная царевна Софьюшка, нечаянно подслушавшая этотъ разговоръ отца съ стрѣлецкимъ головою, положила гнѣвъ на милость, и когда Алексѣй Михайловичъ, послѣ всѣхъ своихъ дѣлъ, распустилъ бояръ, усталый, но довольный собою, зашелъ, по обыкновенію, въ теремокъ царевны, Софьюшка встрѣтила его совсѣмъ милостиво, попрежнему бросилась на шею отцу и даже осчастливила его приглашеніемъ идти съ нею на прудъ рыбу удить.

— Что-ты, глазунья моя!—удивился царь:—вотъ выдумала! Царь рыбу удить будетъ... вотъ!

— А какъ же, государь батюшка, апостолы удили?—озадачила она отца.

Царь не могъ не удивиться находчивости своей любимицы. Онъ улыбнулся.

— И то правда, дочка: апостолы рыбари были.

— И Христось съ ними рыбу ловиль.

— Ахъ ты, умница моя!.. Точно, велѣлъ онъ мережи метать...

Алексѣй Михайловичъ совсѣмъ расчувствовался. Онъ глядиль шелковистые волосы своей „глазунья“ и удивлялся, когда она успѣла вырости... Онъ при этомъ почему-то вспомнилъ своего младшаго сыночка, царевича Петра, котораго ему на-дняхъ родила молодая царица... „Ужь и крикунъ же уродился Петрушенька царевич!—думалъ онъ:—въ кого бы только буянъ такой задался?.. И что изъ него выйдетъ?..“

— Такъ пойдешь рыбу удить, батюшка?—ласкалась царевна.

— Инъ такъ и быть: пойду,—побалую съ тобой!

Царевна тотчасъ же бросилась на переходы, захватила тамъ удочки, ящичекъ съ сырою землею и червями, взяла отца за руку и особымъ, „царевнинимъ“ ходомъ потащила его къ пруду. Царь, при своей тучности, едва поспѣвалъ за ней. Съ такимъ же трудомъ тащилась вслѣдъ за ними, переваливаясь уткой, старая, круглая мамушка, глазъ не спускавшая съ своей необыкновенно подвижной питомицы.

— Охъ, ужъ и что это за огонь-царевна!—ворчала старушка:—государя батюшку замаяла.

— Ничего-ничего, мамушка,—успокоивалъ ее благодушный царь.

— Ой, весело! охъ, хорошо!—вохищалась балованная дѣвочка:—батюшка рыбу удить будетъ.

Увидавъ свою любимицу, лебеди подняли необыкновенный гвалтъ, махали крыльями, слѣша къ берегу. Выйдя изъ воды, они тотчасъ же напали на царевну и, вытягивая свои длинныя шеи, бездеремонно закусали свои головы ей въ карманы и за пазуху...

— Ай, щекотно!—смѣялась она, защищаясь отъ птицы:—отстаньте!

Но избалованная птица не отставала: въ карманахъ и за пазухой у

царевны уже запасена была разная провизія, и лебеди доставали ее и жадно ѣли. Алексѣй Михайловичъ смѣялся, любуясь этой сценой.

Лебеди накормлсны и уснокоились, а царевна повела своего отца дальше вдоль пруда, подъ тѣнь огромной ивы, гдѣ былъ устроень особый плотокъ съ сидѣньемъ для потѣхи царевны—для уженья рыбы.

Алексѣй Михайловичъ съ видимымъ удовольствіемъ опустился на покойную со спинкой скамью. Прудъ былъ тихъ и ясенъ, только между водяными лопухами и лиліями-маковками выигрывала на солнцѣ рыба. Царь давно не чувствовалъ себя такъ хорошо, какъ въ этотъ день. Онъ любилъ природу, и ему пріятно было забыться здѣсь, послѣ трудовъ и заботъ. Любя природу, онъ прежде, когда былъ моложе и менѣе тучень, страстно любилъ соколиную охоту, когда все дѣлалось по соколиному уставу—„красовато, премудровато, молодцовато“, когда весь обрядъ охоты совершался, словно литургія, „подправительно, подъявительно, ко красотѣ кречатъ и къ видѣнію человѣческому“... А теперь онъ утучнѣлъ, а природу любилъ постарому — и природа, казалось, сама улыбалась теперь ему своею прежнею, молодою улыбкою... Тогда онъ и самъ былъ молодъ, больше любилъ—и Никона „собиннаго“ друга любилъ, и Аввакума... Тогда еще не было этихъ смуть, этого раздвоенія русскаго сердца изъ-за креста... Не было и казней... Все измѣнилось, все измѣнило царю и человѣку—одна природа не измѣнила ему... Попржнему ласково смотритъ солнце, попрежнему любовно шепчетъ надъ нимъ своими зелеными листьями ивушка кудрявая... Пчелы жужжать, дятель долбить гдѣ-то, иволга, словно кусокъ золота, порхаетъ въ зелени вѣтвей...

— Насаживай, мамушка, червей,—командуетъ царевна:—я ихъ боюсь... А ты, батя, самъ насаживать будешь?—обращается она къ отцу, сунувъ ему въ руку удочку:—ты не боишься червей?

Царь задумчиво улыбается, не отвѣчая: его мысли въ разбродѣ, растаяли какъ-то.

— Боишься червей?—допытывается Софья.

— Боюсь, милая.

— И я боюсь.

Черви насажены, удочки закинута, поплавки торчатъ. Тихо кругомъ, задумчиво какъ-то все—и прудъ, и небо, и зелень, и удильщики. И мамка задумчиво вяжетъ чулокъ.

— У тебя клюеть,—шепчетъ царевна.

Но у самой у нея такъ сильно что-то клюнуло, что она даже вздрогнула. Поплавокъ юркнулъ въ воду и потомъ пошелъ бокомъ. Царевна вытащила торопливо. На удочкѣ извивалась крупная, въ четверть длины, рыба.

— Окунь! окунь! — радовалась Софья Алексѣевна, хватая бьющуюся на плоту рыбу.—Вынимай, мамушка, удочку да насаживай новаго червя.

И у Алексѣя Михайловича поплавокъ потащило, но тихо, плавно.

— Тащи, батя, тащи!—волновалась Софья.

Царь вытащилъ свою удочку. На лѣсъ болтался черный ракъ, защемившій въ свои клещевидные зубы червя съ удочкой и не желая разстаться съ добычей.

— Ай, ракъ! ахъ, скверный!—печаловалась царевна.

— Первый блинъ комомъ,—улыбнулся царь.

— Ничего, батя милый, — успокоивала его дочь: — и ты поймаешь окуня, а то и леща, либо сазана... Я разъ сазана поймала, да не вытащила—ушелъ съ удочкой... Я плакала—я тогда была еще маленькая, глупая.

— Ну, и я бы заплакалъ,—благодушно шутилъ царь.

Рака отцѣпили отъ удочки; все это дѣлала старая мамка.

— А я боюсь раковъ—они щиплются,—пояснила совѣмъ счастливая Софьюшка.

„Не одни раки щиплются“,—думалъ царь, вспоминая о Морозовой.

А царевна почему-то вспомнила въ этотъ моментъ о своей прежней пріятельницѣ, княжнѣ Долгоруковой, нынѣ Брюховецкой, съ которой онѣ когда-то здѣсь часто уживали рыбу.

— А разъ Оленушка Долгорукова поймала лѣня вотъ какова,—показывала, она отцу величину этого пойманнаго когда-то лѣня.

— Ого, какой!—добродушно удивлялся царь.

— А что жъ ты ее, батя, не возьмешь у Дорошонкова?

— Кого, милая?

— Оленушку Долгорукову... Она, бѣдная, въ полону...

— Я уже послалъ по нее къ Петру Дорошонку съ грамотой Федора Соковнина.

И при имени Соковнина и ему, и царевнѣ разомъ вспомнилась сестра этого Соковнина—Морозова, что сидѣла въ заключеньи.

Въ это время изъ-за пвы показалась шедшая по дорогѣ, укутанная фатою, старшая сестра царя, царевна Ирина Михайловна. Такая же тучная, краснощекая и добротѣлая, какъ братъ, съ такими же добрыми глазами, она совѣмъ напоминала брата. Увидавъ, какъ Алексѣй Михайловичъ закидываетъ удочку, она улыбнулась и покачала головой.

— Ишь, старое и малое тѣшатся...

Замѣтивъ старую царевну, царь спросилъ:

— Что, сестрица? Петрушенька царевичъ все буянить у мамки?

— Нѣту, братецъ, угомонился... А ты иди: тебя ждетъ Юрье Лутохия по нужному дѣлу,—отвѣчала сестра.

Царевна Софья взглянула на отца и глаза ея блеснули радостью. Царь всталъ и направился ко дворцу вмѣстѣ съ сестрою.

Черезъ полчаса уже видѣли царя хмурымъ и задумчивымъ: принесенныя Лутохинымъ отъ Морозовой вѣсти испортили все его расположеніе духа... Морозова „неистово противилась“...

Х.

По дорогѣ въ Боровскъ.

Прошло нѣсколько недѣль.

Жаркимъ лѣтнимъ утромъ отъ Москвы по калужской дорогѣ къ Боровску шагомъ двигалась телѣга, запряженная въ одну лошадь и сопровождаемая по обѣимъ сторонамъ стрѣльцами. Это слѣдовало изъ Москвы арестантскій этапъ. Въ телѣгѣ, казалось, никого не было; но это казалось такъ только издали: въ телѣгѣ лежало что-то живое, прикрытое рогожкой.

День былъ тихій. Бѣлая пыль, взбиваемая копытами лошади и колесами, клубилась надъ телѣгой и позади ея, усыпая рогожку бѣлымъ слоємъ.

Стрѣльцы шли лѣвнво, босякомъ, уложивъ сапоги и ранцы въ телѣгу. Ворота рубахъ разстегнуты, потому—жарко, упека, ни облачка на небѣ—такъ и марить. Скучно. Одинъ, наиболѣе другихъ, повидимому, скучающій, вотъ уже съ полчаса какъ тянетъ монотонную и скучную, какъ это голое поле, пѣсню:

На-до-ѣ-ли ночи, на-до-ску-чи-ли, да на-до-ску-чи-ли,  
Со ми-лымъ, со ми-лымъ дружкоймъ раз-лу-чи-ли, со милымъ дружкоймъ  
разлучили...

Вдали виднѣется сельская церковь, но до села еще немалое пространство—еще поле, а тамъ пригородокъ, а тамъ еще поле. На томъ полѣ что-то метлешится—не то стадо, не то табунъ коней... Нѣтъ, не стадо и не табунъ: что-то въ воздухѣ мотается, словно бы ширинки на шестахъ... Кой тамъ прахъ?

Эхъ, и надоскучили,  
Со милымъ дружкоймъ разлучили!..

Чѣмъ ближе подвигались туда стрѣльцы съ телѣгой, тѣмъ яснѣе видно было, что тамъ народъ—много народа. А то не ширинки на шестахъ, а церковныя хоругви.

— О дождѣ, знать, молебствіе, — рѣшилъ пѣвучій стрѣлецъ:  
ухъ, и надоску-у-чили!..

— А ты выплюнь пѣсню-ту—аль не видишь!—строго замѣтилъ пѣвуну старый стрѣлецъ.

— Что ее плевать! Не скромная...

— То-то, не скромна, а тебѣ бы все съ родительницей!

— Зачѣмъ родителей поминать? Не чай на мнѣ крестъ.

Пододвигаясь еще ближе, стрѣльцы замѣтили, что вся дорога и часть поля по обѣ стороны дороги заняты сплошною массою народа—мужиками, бабами, дѣвками, ребятишками. Надъ ними возвышались хоругви и образа на шестахъ.

Телѣга остановилась. Стрѣльцы подошли къ толпѣ. Народъ кучился вокругъ хоругвей и образовъ, и тамъ же, въ серединѣ, виднѣлся старенькій попъ въ бѣдномъ облаченіи съ книгою въ рукахъ и такой же завалищій въ старенькомъ крапешинномъ подрясничкѣ и съ косичкою въ крысиный хвостъ пономарь съ кадиломъ. Попъ стоялъ на шибко пожелтѣвшей отъ засухи полосѣ ржи и, нагнувшись съ нѣкоторыми изъ мужиковъ къ живѣ, что-то разсматривалъ...

— А ты, бачка, не трошь *ево*, — предостерегаетъ попа съдой мужичокъ: — онъ те скрючить...

— Мене не скрючить: я *ево* во чѣмъ, — указывалъ попикъ на свой засаленный и мѣстами прожженный угольками изъ кадила епитрахиль.

— *Ево*, братецъ ты мой, не скрючить: на емъ, на бачкѣ-те, свята одежа, — говорилъ другой мужикъ.

Стрѣльцы втерлись въ кругъ, оставивъ у телѣги только одного товарища.

— Что у васъ тутай-ка, братцы, али объ дожгѣ? — спрашивали стрѣльцы.

— Како объ дожгѣ! Вонъ видишь *ево* дьявола? — отвѣчалъ бойкій парень-боровлянинъ.

— А что, милый?

— Вонъ, заломъ заломилъ асидь.

— Ой ли? ахъ!.. экое дѣло!

— Да, братъ, не въ дожгѣ сила... дожгя намъ Боженька дастъ... а вотъ онъ анаемской.

— А кто жъ онъ будетъ, милый человекъ? — полюбопытствовалъ стрѣлецъ.

— Знамо, изъ никоніанъ, што щепотью крестуются... Вонъ у насъ отъ того хлѣбушка и не родить—третій годъ голодуха—пухнемъ безъ жратвы, и скотинка падаетъ—помирать пришло... А все никонцы...

Оказалось, что это было общественное молебствіе—заклинаніе нечистой силы гъ „заломѣ“, найденномъ бабами на одной полосѣ ржи. Отъ этого страшнаго „залома“ и неурожай, и голодуха, и моръ на скоть. А отъ кого самый „заломъ“ — знамо отъ кого: отъ недобраго человекъ, что по новому молится, тремя перстами „воображаетъ“, какъ толковалъ старый пономарь своимъ боровлянамъ. А отъ „залома“—одно спасенье: молебенъ крѣпильной со „всепѣтою“, да чтобы самъ батюшка „сквозь патрахиль заломъ-отъ вырвалъ съ корнемъ“... Тогда и все крѣпко будетъ...

— А ты, батька, молебенецъ-отъ покрѣпче загни, — упрасивали мужики.

— Со всепѣтою, слышь, родной.

— Да чтобы и мечъ, и гладь, и трусь: вверни, кормилецъ, и гладь, потому—съ голоду помираемъ.

— Да, да, кормилецъ: уже не пожалѣй—поядренѣй молитву закати...

— А ужъ мы всё окарачъ молиться будемъ...

— До поту, что и говорить!

— И еще тебѣ, родной, гривну міромъ накинёмъ...

— Ладно, ладно, православные, — успокоиваль ихъ попикъ: — свое дѣло знаю, не занимать-ста этого добра.

— Да ладонцомъ, батька, не скупись: кури въ нашу голову, чтобы тошно *яму* стало—больше дыми...

Начался молебеніе. Народъ, дѣйствительно, молился „окарачь“ — все такъ покотомъ валялось по дорогѣ и по межамъ, крестясь и колотясь головами с пыльную дорогу, о колючую траву... Это была дѣтская, невиданная, но жаркая молитва, голодный, болѣзненный стонъ.

Когда начался пѣніе, рогожа на этапной телѣгѣ приподнялась, и оттуда выглянуло блѣдное, но все еще прекрасное женское лицо. Оно смотрѣло съ недоумѣніемъ и широко крестилось, обративъ глаза на старья, неподвижно вѣсѣвшія въ пыльномъ воздухѣ хоругви и закопѣлыя иконы.

— Миленькой, а миленькой! — тихо обратилось блѣдное лицо къ молившемуся тутъ же стрѣльцу.

— Что, матушка Федосья Прокопьевна?—отозвался онъ.

— Помоги мнѣ, миленькой, встать и помолиться.

— Сейчас-сейчасъ, матушка.

Стрѣлецъ бережно приподнял арестантку за руки. Зазвенѣли ножные вачдалы.

— Спасибо, миленькой братецъ.

Колодница, при помощи стрѣльца, вылѣзла изъ телѣги и стала на колѣни. Глядя на хоругви и на голубое небо, она горячо молилась и плакала. Къ ней подошли дѣти, что не могли протолкнуться въ середину сѣрой массы, и съ боязнью глядѣли то на ея блѣдное, нѣжное лицо, то на заржавѣлыя кандалы.

— Молитесь и вы, дѣточки,—обратилась къ нимъ колодница:—ваши молитвы скорѣе дойдутъ до Бога.

Дѣти, косясь на нее, крестились и кланялись. Изъ толпы доносились скрипучіе, падтреснутые голоса старенькаго попика и такого же старенькаго пономарика... „Услыши ны, Боже, Спасителю нашъ, и сущихъ въ мори далече“...

„О-о-о!“ стонала толпа, колотя себя двумя пальцами по запотѣвшимъ лбамъ и подтянутымъ голодомъ животамъ и колотясь этими лбами о-земь...

Наконецъ, молебеніе кончилось. Попикъ, передавъ дьячку кадило и книгу съ крестомъ, нагнулся къ пучку ржи, на вершинѣ которой виднѣлось нѣсколько помятыхъ и какъ бы завязанныхъ узломъ колосьевъ. Мужики серьезно и сдержанно, а бабы со страхомъ и крестясь смотрѣли, что будетъ дѣлать попь... Вотъ-вотъ онъ дотронется до „залома“... Вотъ-вотъ онъ ударить его о-земь, скрючить, расшибеть...

Но старый попина зналъ свое дѣло—не впервой-су!—Онъ завернулъ руку епитрахилью и схватилъ „заломъ“...

— О-о-охъ!—вскрикнули въ ужасѣ бабы и попятились.

— Не вой, бабы, брысь!—накинулись на них мужики.

Но хитрый попина—„ужъ и попина же, братцы! у-у дуй ево!“ — разомъ какъ рванетъ пучекъ ржи, такъ съ корнемъ и вырвалъ... Всѣ такъ и ахнули! „А-ахъ! и-ну!—ужъ и ловокъ же старый песь... тьфу—окромя ево священства!..“

Между тѣмъ, тутъ же другіе мужики выкопали яму въ аршинъ глубиной.

— Копай глубче, братцы, глубче!

— Чтоба не тово—не выпался аспидъ...

— Будетъ, братцы, не выпадается,—успокоивалъ ихъ попь.

— Ну, будя, такъ будя...

Попина, пошептавъ и трижды сплюнувъ на западъ—„въ самую морду нечистому,—пояснялъ дьячокъ,—потому: бѣсь николи же на востокъ не стоитъ — не смѣть, и все на западъ соянца“ — швырнулъ „заломъ“ въ яму.

— Да зольцой, батька, зольцой изъ кадила присыпь яво — крѣпче будетъ,—просили мужики.

Попина взялъ кадило, потрусилъ надъ ямой золой...

— Въ зенки *ему*, анаемъ,—пояснялъ пономарище-старецъ.

— Да уголекъ, родной, съ огонькомъ вкинь въ яму-ту,—упрашивали мужики:—огнемъ *яму* святымъ въ буркалы-те.

Попина и уголекъ изъ кадила вкинулъ въ яму: таковъ попь, каковъ приходъ...

Засыпали яму землей, затоптали ногами, поплевали всѣ на насыпь и на западъ. А тутъ и колъ осиноый готовъ.

— Влоачивай, братцы, колъ-отъ въ спину *яму*, аспиду никонцу, щепотнику.

Вколотили и колъ въ землю.

Въ этотъ моментъ отъ Боровска послышался ямской колокольчикъ. Всѣ оглянулись. По дорогѣ скакала тройка, сопровождаемая парю всадниковъ. Пыль стлалась клубами по полю.

— Гонецъ царской, братцы,—послышалось въ толпѣ.

Всѣ знали, какъ ѣздить царскіе гонцы... „Кому бы быть? Откедова гонить? Не съ Крыму ли, отъ самого ханишки, а можетъ изъ Черкасъ?“

Тройка приблизилась. Толпа разступилась передъ конными. Но дальше проѣзду не было: на самой дорогѣ стояла этапная телѣга, а около нея въ черной одеждѣ—женщина... Виднѣлось только блѣдное лицо...

Въ телѣгѣ ямской съ переплетомъ и верхомъ, что скакала отъ Боровска, сидѣлъ русый, запыленный и загорѣлый среднихъ лѣтъ мужчина въ боярскомъ одѣяннѣ.

Блѣдная колодница, увидавъ его, невольно всплеснула руками.

— Федюшка! братецъ!

— Федосьюшка! сестрица! роденькая!

Гонецъ выскочилъ изъ телѣги и стремительно бросился въ колодницѣ...—



„Голубушка! мученица!“ — „Братец! соколикъ!“ — „Куда тебя, родная?“ — „Въ Боровскъ — въ земляную тюрьму“...

Это былъ братъ Морозовой, Фѣдоръ Соковинъ, возвращавшійся изъ Малороссіи, отъ Дорошенка. Онъ обхватилъ сестру и страстно сталъ цѣловать ее... „Сестрица моя! ягодка!“

— Охъ, братецъ! охъ! не цѣлуй меня... мнѣ нельзя, — силлилась защититься бѣдная женщина.

— Фѣдосьюшка! свѣтнкъ!

— Я не Фѣдосьюшка... братецъ! Охъ! Я сестрица Фѣодора...

— Господи! что жъ это такое!

Онъ зарыдалъ и, припавъ головой къ плечу несчастной сестры-мученицы, плакалъ голосомъ...

Глядя на него, и бабы плакали...

## XI.

### Въ земляной тюрьмѣ.

Чѣмъ дальше, тѣмъ въ большее ослѣпленіе впадали московскія власти и, видя безсиліе своихъ жестокихъ мѣръ, теряясь во мракѣ своего собственнаго безумія, приходили въ ярость. Они чувствовали, что нравственная власть выскользала изъ ихъ рукъ, почва уходила изъ подъ ногъ, одніе жестокія ошибки вели къ другимъ, еще болѣе жестокимъ и непоправимымъ — и, какъ люди съ похмѣлья, которые прибѣгаютъ къ той же отравѣ, чтобъ опохмѣлиться, забыться въ одуреніи, они бросались въ омутъ того же опьяненія — въ омутъ безумной жестокости и преслѣдованія. Началась буквальная травля двуперстниковъ — „псовая облава на христіанъ“, какъ выражались сами двуперстники.

„Времена Діоклитіана настали!“ кричали на площадяхъ и по базарамъ уцѣлѣвшіе ученики и ученицы Аввакума и Меланія.

„Нероновы свѣщники изъ христіанской плоти возжигаютъ на Болотѣ освѣщенія ради тьмы кремлевскія!“ возглашалось на Красной площади при видѣ срубовъ на Болотѣ и у Лобнаго мѣста, гдѣ должны были жечь и жгли непокорныхъ.

А непокорные, какъ бабочки ночью, „аки метыли на лампаду“, шли на этотъ огонь.

Въ Боровскѣ, кромѣ Морозовой, свезли и заключили въ земляную тюрьму Урусову, Акинфѣюшку и инокиню Юстину. Вѣрный рабъ Морозовой Иванушка же чахъ тамъ въ другой мрачной ямѣ.

Мать Меланія съ своей боярыней Анисьюшкой не замедлила явиться и въ Боровскъ. Стрѣльцы, караулившіе земляную тюрьму, были тотчасъ же обращены матерью Меланіею въ „своихъ“, и когда изъ Москвы явились „волцы“ съ розыскомъ, чтобъ найти, наконецъ, этого „бѣса полу-

деннаго“, эту „вѣдму Малашку“, часовые вытерпѣли пытку, а не выдали „матюшку“, которая спрятана была подъ поломъ самой караулки.

Прядь волосъ изъ прекрасной косы Морозовой стала для „вѣрующихъ“ святыней, и золотистые волоски ея раздавались достойнымъ на „вѣчное поминование“, носились на груди съ крестами, зашивались въ ладонки словно святые реликвии.\*

Стрѣлецъ Онисимко, цѣловавшій закованныя въ желѣзо ноги Морозовой, сталъ коноводомъ всего своего стрѣлецкаго полка, съ которымъ впоследствии этотъ самый Онисимко, уже въ цареніе Софьи Алексѣевны, чуть все московское государство не поставилъ вверхъ дномъ.

А Аввакумъ изъ своей пустозерской тюрьмы то и дѣло рассылалъ свои зажигательныя письма, въ родѣ „всѣмъ нашимъ горемыкамъ миленькимъ“, или „старичѣ Меланіи съ сестрами и съ подначальною Анисеею“, или на „крестоборную ересь“.

Хотя земляная тюрьма въ Боровскѣ отличалась всѣми ужасами подобаго рода мѣстъ заключенія того безжалостнаго вѣка, хотя она была сыра и темна, какъ могила, и кишѣла всякими гадами, однако, узницы въ Боровскѣ чувствовали свое положеніе съ менѣе жгучею и развѣдающею остротою, чѣмъ въ Москвѣ: въ Москвѣ онѣ находились въ одиночномъ заключеніи и чувствовали себя живо погребенными; здѣсь, въ Боровскѣ, въ одномъ помѣщеніи ихъ находилось четыре узницы: Морозова, Урусова, Акинфеюшка и Юстина. Онѣ могли говорить и молиться вмѣстѣ, а если одна изъ нихъ заболѣвала, то другія ходили за ней. Онѣ проводили дни и ночи въ молитвахъ, въ пѣніи гимновъ, въ воспоминаніяхъ и разсказахъ о своей прежней жизни. Но что особенно громадная удобства представляло въ боровской тюрьмѣ, такъ это то, что когда трое изъ узницъ ложились спать, то четвертая не спала и отгоняла отъ нихъ крысъ и мышей, постоянно бѣгавшихъ по темницѣ. Но, и кромѣ того, была еще хорошая сторона подземной жизни въ Боровскѣ: это то, что Акинфеюшка была оживляющею силою этой маленькой подземной общины. По призванію странница, много побродившая по святымъ мѣстамъ, хоть сама еще была молода, Акинфеюшка цѣлые дни бывало рассказываетъ о томъ, какъ она ходила на поклоненіе угодникамъ въ Кіевъ, въ Соловки, въ Казань, въ Новгородъ, что видѣла тамъ, что испытала. Въ этихъ разсказахъ выказывалась вся ея поэтическая, мечтательная душа. Часто вспоминала она, какъ четыре или пять лѣтъ тому назадъ, возвращаясь изъ Кіева, она вмѣстѣ съ другими странницами зашла въ Гадячъ—въ гости къ Оленушкѣ, бывшей княжнѣ Долгоруковой, а въ то время гетманшѣ Брюховецкой, и какъ въ ту пору черкасы привезли тѣло убитаго мужа Оленушки вмѣстѣ съ другими мертвыми тѣлами. Рассказывая о Малороссіи, она часто повторяла, что это „рай земной“. Разказы ея замѣняли для узницъ обществу людей, и свѣтъ, и солнце, которое не заглядывало въ ихъ темную, глубокую темницу.

Съ другой стороны, инокиня Юстина много рассказывала о разныхъ

монастыряхъ, въ которыхъ она жила съ молодыхъ лѣтъ, мѣняя одинъ монастырь на другой, чтобъ лично на себѣ испытать, въ какомъ изъ нихъ старицы жили наиболѣе суровою жизнью. Это была личность энергическая, характеръ закаленный въ лишенияхъ. Она сама истязала свое тѣло, и оно становилось еще выносливѣе: она спала, подкладывая подъ себя булжнички.

Но сообществомъ Юстини не долго пришлось пользоваться нашимъ узницамъ. Она раньше другихъ покончила свое земное существованіе, и покончила насильственной мученическою смертью, спасая другихъ, сидѣвшихъ съ нею въ заключеніи, отъ гнѣва властей.

Дѣло было такимъ образомъ. Мать Меланія, которую узницы называли „равноапостольною“, принесла Морозовой и Урусовой еще одно письмо отъ неутомимаго Аввакума изъ Пустозерска. Въ письмѣ было обращеніе и къ Акинфеюшкѣ. Посланіе это произвело на узницъ впечатлѣніе чуднаго весенняго дня съ тепломъ и зеленью, пѣніемъ птицъ и шопотомъ листьевъ, — весеняго дня, внесеннаго божественною силою въ ихъ мрачное подземелье.

„Азь, протопопъ и юзникъ о Господѣ, — зывалъ, между прочимъ, пустозерскій фанатикъ, — молю вы, друговъ моихъ сердечныхъ, стойте и не унывайте о житіи прежде бывшемъ. Въмъ, другъ милой, Θεодосья Прокопьевна: жена ты была боярская, Глѣба Ивановича Морозова вдова честная въ верху чина царева близъ царицы. Дома твоего тебѣ служащихъ человекъ съ триста, у тебя же было крестьянъ 8,000, имѣніе въ дому твоёмъ на 200,000, или на полтретя было. У тебя же всему сему быть наслѣдникъ, сынъ, Иванъ Глѣбовичъ Морозовъ. Друговъ и сродниковъ въ Москвѣ множество много. Ъздила къ нимъ на колесницѣ, еже есть въ каретѣ драгой и устроенной мусією и серебромъ и аргамаки многи 6 и 12 съ гремичими чѣльми. За тобою же слугъ, рабовъ и рабынь грядущихъ 100 или 200, а иногда человекъ и 300, оберегая честь твою и здоровье“...

Морозова остановилась на этомъ мѣстѣ письма. Въ отверстіе, продѣланное въ тюрьмѣ для свѣта и около котораго она читала Аввакумово посланіе, что-то заглянуло.

Морозова всплеснула руками.

— Литвиношка! песикъ миленькой! какъ ты сюда попалъ?—воскликнула она радостно.

Въ оконце просунулась собачья морда и тихо, жалобно и радостно визжала.

— Литвинъ! Литвиношка!—обрадовалась и Урусова:—съ Москвы прибѣгъ бѣдненькой.

Собака лизала протянутыя къ ней руки. Всѣ были ей рады, какъ дорогой гостьѣ.

— И какъ она дорогу нашла сюда?—дивилась Акинфеюшка: — какъ узнала, что вы тутъ?

Снаружи послышался окрикъ на собаку. Собака завизжала: ее отогнали отъ оконца.

— Вотъ звѣри-те добрѣ людей,—замѣтила Юстинна.

— Не говори, матушка, — тихо возразила ей Морозова: — и люди добры, и ежили и творять злое, то творять волю пославашаго — вотъ хотъ бы и съ нами.

Она поднесла письмо къ свѣту и снова стала читать.

„Предъ ними же лѣпота лица твоего сіяла, яко древле во Израили святыя вдовы Іюдифы, побѣдившія Навходоносорова князя Олоферна. П знаменита была въ Москвѣ предъ человѣки, яко древняя Девора во Израили, Есѡиръ, жена Артаксеркса. Молящу ти ся на молитвѣ Господу Богу, слезы отъ очей твоихъ яко бисеріе драгое схождаху. Изъ глубины сердца твоего въздыханія утробу твою терзаху, яко облады въздухъ возмуцаху. Глаголы же устъ твоихъ яко каменіе драгое удивительны предъ Богомъ и человѣки бываху. Персты же рукъ твоихъ тонкостны и дѣйствительны великій и меньшій и средній въ образъ трехъ ипостасей; указательный же и великосердый въ образъ двухъ естествъ божества и человѣчества Христова сложа, на чело возношаше, и на пупъ снося, на обѣ рамѣ полагаше и себя пометая на колѣну предъ образомъ Христовымъ, прося отпуща грѣховъ своихъ и всего міра. Очіе же твое молніеносны держастася отъ суеты міра, токмо на нищихъ и убогихъ призираютъ“...

Морозова чувствовала, что при этихъ словахъ щеки ея заливаются краска. Она вспомнила, какъ ея молодые глаза — эти „очіе молніеносны“ — не на однихъ нищихъ и убогихъ смотрѣли... Какъ часто бывало, когда она уже овдовѣла, глаза ея украдкой смотрѣли изъ кареты, изъ-за задернутой тафты, на красивыя лица добрыхъ молодцевъ, какъ сердце ея ныло безъ отвѣтнаго взгляда, когораго она какъ „честная вдова“, въ то же время и боялась, и стыдилась... Хотъ она все потомъ сказала Аввакуму, какъ узнала его и стала его духовной дочерью; но развѣ можно разсказать все, все, что переживаетъ молодое женское сердце! Она и не сумѣла бы этого разсказать — этого словами не передашь... А сказывала только Аввакуму на духу, что „во всемъ грѣшна“, что и „око ея соблазняло ее“... но какъ, когда, гдѣ, на кого глядѣло ея око съ тайною страстью, что при этомъ на сердцѣ было, что думалось, — этѣго женщина даже себѣ не говорить, не то что попу на духу... „Ахъ, это око“...

— Что же ты, сестрица, остановилась? — вывели ея изъ задумчивости.

— Сейчас-сейчасъ, Дунюшка!

„Нозѣ же твои дивно ступаніе имѣютъ: до полуночи съ Анною Амосовною, домочадицею своею, тайно бродила по темницамъ и по богадѣльнямъ, милостыню отъ дома своего нося, деньги и ризы и потребная комуждо неимущему довольно, овому рубль, а иному десять, а инда пятьдесятъ рублей и мѣшокъ сотной. Напоследокъ же сына своего, Ивана, принесе Богу“...

При этомъ Морозова перекрестилась и вздохнула. Перекрестились и всѣ остальные.

„... принесе Богу православія ради еже есть: скончался скоро

отрокъ отъ великія печали, егда отступники съ тобою разлучили. Ты же ни мало отъ подвига уклонися, ни усумнѣся, но и паче простираешся къ обличенію враговъ креста Христова и разорителей догматовъ святяя церкви. Они же тя, яко звѣрие дивіи, терзаху на пыткѣ, рущѣ твои и плоть рваху, и сестру твою, княгиню Урусову, Евдокію Прокопьевну“...

Урусова радостно перекрестилась.

„... также мучили на пыткѣ. И Акинфеюшку Данилову“...

— Батюшка! свѣтикъ мой! и меня не забылъ! Господи!

Акинфеюшка вскочила съ соломы, на которой сидѣла у ногъ Морозовой, и, упавъ на колѣни, стала молиться и класть поклоны.

„И Акинфеюшку Данилову съ вами же пытали и кнудомъ били. Приглашаху еретики, у пытки стоя: „Отверзитесь знаменія Христова и пять перстъ, отъ святыхъ преданныхъ, въ рукѣ не слагайте; но примите изволь государевъ три перста и запечатайте себя антихристомъ, богомъ нашимъ, мы же къ вамъ милостиви будемъ“. Вы же, троица святая Теодосія, и Евдокія, и Акинфія, умрети изволиша Христа ради и не послуша духа противнаго. Въ муки ввержени быша безъ чести обнаженнымъ тѣлесемъ и раны пріяша. Тоже чѣпными окована быша и во юзилицахъ мучени много времени быша. Таже всѣхъ васъ и съ иными, страждующими Христа ради, обще живыхъ въ землю вкопали, и иніи отцы и братіи наша огню предани быша. Молю вы о Господѣ, дѣтки мои духовныя, святіи и истинніи раби Христовы: Богъ есть съ нами, и никто же на ны! Кто можетъ насъ разлучити отъ любви Христовы? И самъ діаволъ не учинитъ ничево стоящимъ и держащимся за Христа крѣпцѣ. Что воздастъ вамъ, земніи ангели, небесніи чловѣцы? О, святая Теодосія и блаженная Евдокія и страстотерлица Акинфія, мученицы и исповѣдницы Христовы, дѣлатели винограда Христова! Вертоградъ едемскій васъ именую и Ноевъ славный ковчегъ, стоящъ на горахъ Араратскихъ, свѣтліи и добліи мученицы, столпи непоколебиміи! О, каменіе драгое — акинфъ, и измарагдъ, и аспись! О, трисятельное солнце и немерцающія звѣзды! Кто не удивится и кто прославитъ терпѣніе и мужество ваше противу козней враговъ и разорителей церковныхъ? Не стѣни разоряють, но законы. Не токмо осуждены будутъ въ вѣкъ грядущій жиуды; иже Господа убиша, плоть его терзавше, на крестѣ пригвоздивше, оптомъ и желчію напоиша и копиемъ въ ребра прободше, апостоловъ побивше и Богу не угодивше, яко же никоніане жертву духовную опровергоша и духа святаго глаголютъ не истинна быти, но просто животворяща, и вся церковная, Духомъ Святымъ преданная, отmeshуть и злѣ развращають, на плотское мудрованіе сводятъ. Кольми суть паче жиудовъ осудятся, понеже невидимаго Бога борють. Тамо видимую плоть терзаху, здѣ же невидимый Духъ Святой воюють, ихъ же грѣхи и мученическая кровь загладити не можетъ. Такъ Златоустый пишетъ на посланіе апостольское въ бесѣдахъ, правоученіи обличая схизматники, еже есть раздирающія церковь, яко же, нынѣ видимъ, творять никоніане: вся Богомъ преданная и святыми отmeshуть, да говорятъ сами,

дьяволомъ научени: „Какъ бы нибудь, лише бы не по старому“. Охъ, собаки! что вамъ старина та помѣшала? Развѣ то тяжко, что блядить не велятъ старыя свѣтыя книги? Бляди, собака!..“

Вдругъ тихо, осторожно скрипнулъ тюремный засовъ.

— Охъ, Господи! кто это?

— Не урочный часъ... розыскъ... прячь письмо, сестрица...

Въ дверяхъ показалось знакомое Морозовой лицо московскаго подъячаго изъ розыскаго приказа — красное, угреватое лицо „людоѣда“ Кузмищева, какъ его величала вся Москва.

— Что вы читали?—спросилъ онъ, вглядываясь со свѣту въ темноту.

Всѣ молчали. Слышно было тихое шуршанье бумаги: это Морозова комкала у себя за спиною Аввакумово посланіе.

— По указу его царскаго пресвѣтлаго величества доказывайте — что читали?—повторилъ свой вопросъ „людоѣдъ“, приближаясь къ Морозовой.

— Молитву читали,—смѣло отвѣчала за всѣхъ Юстина.

— Не молитву—воровское письмо!—грозно сказалъ подъячій.

— Мы не воры!—также рѣзко отвѣчала Юстина.

Но ненаучившаяся притворяться Морозова выдала себя: шорохъ бумаги и смущеніе обличили ее... Подъячій схватилъ ее за плечи, потомъ за локти...

— Владычица! что жъ это!.. ахъ!

Письмо уже было въ рукахъ „людоѣда“...

— А! молитва-ста...

Но въ одинъ мигъ Юстина наскочила на него, вырвала изъ рукъ его письмо и, скомкавъ комомъ, засунула себѣ въ ротъ. Подъячій кинулся на нее: завязалась борьба... Сильная, привыкшая къ всему монахиня, защищая свой ротъ, который силился разодрать „людоѣдъ“, чтобы достать дорогое для него поличное, такъ хватила своего противника, что тотъ навзничъ повалился на солому...

Предательское письмо было проглочено мужественною инокинею...

---

Черезъ вѣсколько дней, рано утромъ, узницы были разбужены стукомъ топоровъ. Слышно было, что около ихъ тюрьмы что-то строили. Какой-то веселый плотникъ пѣлъ фальдетомъ:

Построю я келью со дверью,—  
Стану я Богу молитца,  
Штобъ меня дѣвки любили,  
Крашоныя яйца носили,  
Тили-тили-тили-тили-тили,  
Грушовьемъ квасомъ поили...

— Что ты дьяволь, разорался! Али не знаешь, какъ хоромшу-то ладимъ?—останавливалъ пѣвуна другой голосъ.

— Знаю, — амбаруха аховая, ѣшь ее мухи!

Вили-вили-вили-вили-вили—  
Толчоньемъ лукомъ кормили...

— То-то, слякоть эдака! А онъ ржетъ, жеребець!

— Ржу, потому: за хоромину эту бояринъ денегъ даль... есть на что жеребяткамъ хлѣбушка купеть, а то вонъ съ голоду попухли...

Э-эхъ—толчоньемъ лукомъ кормили...

Морозова выглянула въ оконце — и перекрестилась: она узнала, что это за хоромину строили... Дѣлали два сосновыхъ сруба въ разстояніи не болѣе сажени одна отъ другого, словно бы это готовили обшивку для колодцевъ. Тутъ же навалены были десятки сноповъ ржаной соломы.

— Что, сестрица?—тревожно спросила Урусова, по лицу сестры понявъ, что тамъ строится что-то необыкновенное.

— Гореньки намъ строить,—съ горькою усмѣшкой отвѣчала Морозова. Къ плотникамъ подошелъ подъячій Кузмищевъ.

— Живѣй, живѣй, ребята!—понукалъ онъ:—чтобы къ полдню было готово.

— Добро-ста,—отвѣчалъ пѣвунъ, почесывая въ затылкѣ:—стараясь для вашей милости.

Узницы попеременно выглянули въ оконце. Взглядъ Юстины встрѣтился со взглядомъ подъячаго. Послѣдній отвернулся.

— Видѣли, сестрицы, что намъ припасаютъ?—тихо спросила Морозова.

— Видѣла, матушка,—отвѣчала Юстина.

— И слышали, что подъячій сказалъ?

— Слышали — къ полудню: полдничать хочеть „людоѣдъ“ мясомъ нашимъ.

— Такъ надо бы намъ, сестрицы милыя, подумать о душѣ,—продолжала Морозова.

— Всю жисть, матушка, думали о ней,—снова отвѣчала за другихъ Юстина.

— А все же подобаетъ по закону исправу учинить на отходъ души.

— Знамо—помолимся Господу.

— Помолимся по церковному преданію: канунъ отпоемъ по душамъ нашимъ, а тамъ простимся.

— Да,—сказала, какъ бы про себя, Акинфеюшка: — въ путь-дороженьку снарядиться надо... А долга дорога та, далеко иттить будетъ, далѣ, чѣмъ до Кенва...

Морозова стала пѣть отходную. За нею повторяли и остальные узницы. Чистый, серебристый голосъ Урусовой часто срывался и дрожалъ, какъ слабо натянутая струна, но зато голосъ сестры ея, ровный, твердый, за душу хватающій, постоянно, казалось, крѣпчалъ грудными, глубокими нотами. Юстина пѣла твердо, спокойно, какъ будто бы она не себя отгѣ-

вала, не съ собой прощалась на порогъ таинственнаго будущаго, а читала по чужомъ, совершенно ей незнакомомъ мертвецѣ.

Въ это время, когда желѣзнымъ запоромъ, отворилась тюремная дверь, и Кузмищевъ, въ сопровожденіи двухъ стрѣльцовъ, вошелъ въ подземелье.

— По указу его царскаго пресвѣтлаго величества симъ извѣстную: черница Юстина нынѣ огню предана быть имѣеть... Готовься къ смерти!— возгласилъ подъячій.

— Я готова, — спокойно отвѣчала осужденная.

— А мы?!— разомъ вскричали другія узницы:— и мы приготовили себя на муки.

— Объ васъ указу нѣтъ, — отвѣчалъ Кузмищевъ.

Морозова опустилась передъ осужденной на колѣни. За нею послѣдовали Урусова и Акинфешка. Онѣ цѣловали ея грубыя, худыя, жилистыя руки и плакали.

— Матушка! отходишь ко Христу... Молись за насъ: умоли Христа и насъ взять къ себѣ, въ блаженство горнее...

Къ полудню срубы, дѣйствительно, были готовы и обложены соломенными снопами. Узницы одного только не могли понять: почему срублено было два сруба, тогда какъ „людоѣдъ“ объявилъ, что будутъ жець только старицу Юстину. Юстина, между тѣмъ, мужественно готовилась къ смерти. Она на словахъ передавала своимъ сестрамъ по заключенію послѣднюю волю, если только ихъ не постигнетъ та же участь. Она просила земно поклониться матери Меланіи и такой же земной поклонъ послать „преподобному“ отцу Аввакуму. Просила поминать ее на молитвахъ.

Когда стали отпирать дверь тюрьмы, Юстина затеплила восковую свѣчу и простилась съ подругами, которыя цѣловали ея руки и плакали.

Вошелъ Кузмищевъ съ двумя палачами. У каждаго изъ нихъ урѣзано было по лѣвому уху и вырваны ноздри по самые хрящи.

— Милости просимъ, матушка Юстина, въ баньку — косточки попарить, — злорадно сказалъ подъячій, низко кланаясь.

— Спасибо тебѣ, человѣче, за твое великое добро ко мнѣ, — серьезно отвѣчала осужденная.

— Не на чемъ-ста: не стоитъ благодарности, — зло усмѣхнулся подъячій.

— Стоитъ, человѣче: ты отпиралъ мнѣ рай свѣтлый.

— Ну, это еще вилами на водѣ писано, авоськами присыпано...

Осужденная твердо вышла изъ подземелья, держа въ рукѣ горящую свѣчу.

— Пожалуйте и вы, государыни, — лукаво обратился подъячій къ Морозовой, Урусовой и Акинфешкѣ.

— Слава тебѣ, Господи! — радостно воскликнула первая изъ нихъ: — и насъ Господь призываетъ.

— Не радуйся, боярыня... погоди радоваться, — остановилъ ее подъячій.

И онъ вышелъ изъ тюрьмы. За нимъ вышли Морозова, Урусова и



Акинфеевка. Толпы народа волновались вокруг срубовъ, и оставался свободнымъ только проходъ къ нимъ изъ подземелья, по которому шла Юстина со свѣчой.

Первое, что представилось глазамъ Морозовой при взглядѣ на срубы, это знакомая фигура на одномъ изъ нихъ, стоящая на верху костра, между снопами. Морозова узнала, кто стоялъ на кострѣ: то былъ ея вѣрный слуга—Иванушка. Онъ съ дѣтства любилъ свою госпожу, и когда она выходила замужъ за Морозова, то Соковнинъ, отецъ Федосьи, далъ въ приданое дочери, между прочимъ, и Иванушку. Это былъ не человѣкъ, а собака по вѣрности и преданности своей госпожѣ и ея пользамъ.

— Матушка! Федосья Прокопьевна!—восторженно крикнулъ Иванушка и поклонился, припавъ головой къ снопамъ:— благослови меня, святая мученица!

— Иванушка! миленькій! тебя за что?.. — затрепетала молодая боярыня.

— За Христа-свѣта да за тебя...

— Полно-ка, смердь!—крикнулъ на него подъячій:—а ты скажи, гдѣ схоронилъ сокровища твоей госпожи, и за то я сыму тебя съ костра, если скажешь.

— Не скажу!—твердо отвѣчалъ Иванушка.

— Сказывай, кому отдалъ сокровища?—повторилъ подъячій.

— Самому Христу въ руки!—былъ отвѣтъ.

— Въ послѣднее отвѣчай: кому?

— Христу да Богородицкѣ матушкѣ на масло.

Между тѣмъ Юстина, всходя на другой костеръ, сама подожгла нѣсколько нижнихъ сноповъ—и костеръ мгновенно обьяло пламенемъ. Въ толпѣ слышались крики ужаса, дѣтскій плачъ...

— Ахъ ты окаянная!—ударился объ полы руками подъячій:—и указъ не дала вычестъ... Ахти мнѣ!

И онъ, торопливо выхвативъ изъ-за пазухи бумагу, сталъ выкрикивать, постоянно путаясь и заикаясь, какія-то безсвязныя фразы...

— ... указаль его царское пресвѣтлое величество... освященный соборъ... за таковыя ихъ злыя вины... мучительныя казни... ино милосердудя духомъ о своихъ подданныхъ, по неизрѣченной своей милости, указаль огнемъ сжещи...

А пламя, между тѣмъ, охватило весь костеръ. Что-то страшное было и поражающее во всей фигурѣ Юстины, которая кланялась на всѣ четыре стороны...

— Простите, православные, за Христа умираю!

На ней вспыхнула одежда... Она сама казалась горящимъ снопомъ.

— Простите, сестрицы! Прощай, матушка Федосья...

Она не договорила: задохлась въ дыму и пламени...

Другой костеръ также вспыхнулъ...

— Кому отдалъ золото—сказывай!—кричалъ подъячій.

— Христу... Богородицѣ... Простите, православные!

— Богъ простить! Богъ простить!—гудѣла и крестилась толпа.

— Матеньки! ахъ! Глядите... глядите! Вонъ душиньки ихъ летаютъ!..

Матеньки!—вопиль бабій голосъ.

— Это голуби, братцы,—мотри: голуби!

— Не голуби—душеньки. Ахъ!

Черезъ полчаса послѣ этого Морозова, глядя изъ тюремнаго оконца на кучи пепла, оставшіяся отъ костровъ, замѣтила какую-то странницу, которая рылась въ золѣ и что-то клала въ висѣвшую у нея на поясѣ берестянку...

Въ странницѣ Морозова узнала мать Меланію, которую, по строжайшему указу царя, напрасно искали по Москвѣ и по Боровску...

## XII.

### Смерть княгини Урусовой.

Три года томилась въ боровской земляной тюрьмѣ несчастная жертва религіознаго невѣжества, или вѣриѣ — жертвы безумія вѣка, одного изъ тѣхъ эпидемическихъ безумій, которыми послѣдовательно страдаетъ человечество и будетъ еще долго страдать въ той или другой формѣ, въ силу величайшаго изъ историческихъ золъ—зла невѣдѣнія, ибо „кто знаетъ—прощаетъ“...

Послѣ сожженія Юстины и Иванушки, изъ Москвы пришло повелѣніе—вырыть новую, болѣе глубокую и недоступную ни для людей, ни для божьяго свѣта земляную тюрьму и перевести въ нее оставшихся трехъ узницъ. Все, что еще уцѣлѣло у нихъ — „малыя книжицы“, „иконы на малыяхъ доскахъ“, даже одежду и бѣлье—все отобрали. Старую земляную тюрьму разрушили и сравняли съ землей.

Новая тюрьма была ужасна. Ни откуда не проникалъ въ нее ни воздухъ, ни лучъ свѣта, ни звукъ—глубокая темная, безмолвная могила! Въ первыя же сутки, какъ перевели туда узницъ, онѣ потеряли возможность узнавать время, различать — день ли надъ ними, тамъ, надъ могилкой, или ночь, солнце ли свѣтитъ надъ землею, или глядитъ на нее темное небо своими безчисленными звѣздами. Сначала онѣ силились разграничить день отъ ночи, чтобъ хоть знать, когда молиться имъ и когда спать; но это было невозможно: для нихъ настала безконечная ночь. Можно было бы узнавать о томъ, когда надъ ними стоитъ невидимый для нихъ день, если бъ имъ каждодневно приносили пищу: можно было бы спрашивать объ этомъ тюремнаго сторожа, но онъ приносилъ имъ запасъ ржаныхъ сухарей и воды на нѣсколько дней и потомъ исчезалъ. Только по прошествіи многого времени—не дней—онѣ этого не различали—только, повторяемъ, по прошествіи долгаго времени онѣ замѣтили, что иногда имъ къ сухарямъ прибавляли по яблоку или по огурцу, и когда онѣ спрашивали сто-

рожа, что это значить, онъ отвѣчалъ: „нонѣ праздникъ у насъ на землѣ—второй Спасъ“, либо „Казанка“, или „нонѣ у насъ тамъ воскресенье“..

Что причиняло имъ невыразимыя мученія,—это то, что онѣ не могли видѣть лица другъ друга: хотѣлось знать выраженіе милаго лица, посмотреть—не похудѣло ли оно, не поблѣднѣло ли—и ничего, ничего не видать!.. И тогда, какъ бы для облегченія мученій неизвѣстности, онѣ руками осязали другъ у друга лица...

— Худѣешь ты, родная моя, чую я... слышу... охъ!

— Нѣту, миленькая... ты, я чую, сохнешь, съ личика спала... жаръ у тебя... губы пересохли...

— Нѣту, не бойся, родная... это такъ...

Онѣ старались чѣмъ-нибудь нарушить могильную тишину, а то страшно, до безумія страшно—хоть бы звукъ!.. И онѣ или говорили между собой, или молились громко... По тутъ новое горе: у нихъ отобраны были и четки и лѣстовки—а какъ безъ нихъ уставы исполнять, дѣлать положенное число метаній, поклоновъ и славословій! И несчастныя должны были пооборвать подола сорочекъ, чтобъ на этихъ тряпицахъ завязать по десяти-двадцати узелковъ и по нимъ считать поклоны.

— Хоть бы крысы были!—какъ-то тоскливо, со стономъ проговорила разъ Акинфеюшка, прислушиваясь къ могильной тишинѣ, когда сестры забылись сномъ.

— Что ты, миленькая? — отозвалась Морозова, открывая глаза во мракѣ

— Тихо таково—мертво, хоть бы крысы бѣгали, какъ въ той тюрьмѣ, а тутъ и крысъ нѣтъ!

Морозова вздохнула...

— А скоро, другъ мой, еще тише будетъ.

— Такъ ужъ скорѣй бы!

Съ первыхъ же дней пребыванія въ новой тюрьмѣ Урусова стала недомогать. Нѣжный, хрупкій организмъ ея не выдержалъ мученій духа и тѣла...

— Дурдя, сынокъ мой! Видишь... мнѣ глаза выжгло... охъ! — бредила она иногда:—я ничего не вижу, тебя не вижу—забыла твои глазки... Я знала, что небо голубое, лѣсъ зеленъ, а теперь все стало чернымъ...

Иногда ей казалось, что она заблудилась въ своей тюрьмѣ. Она ходила вокругъ земляныхъ стѣнъ, ощупывала ихъ руками и плакала.

— Сестрица, миленькая, куда я иду? Гдѣ востокъ, гдѣ западъ—я не знаю, я все забыла. Охъ, горюшко мое! Ослѣпла я, забыла все...

Сестра отыскивала ее въ темнотѣ, брала за руку, ощупью же доводила до запертой тюремной двери, и только этимъ нѣсколько успокаивала больную.

— Вотъ, Дунюшка, вотъ дверь—ощупай сама... Дверь-отъ, помнишь, выходитъ на полночь; такъ вотъ тутъ будетъ востокъ, а тамъ западъ, гдѣ солнушко садится.

— А гдѣ оно теперь, солнушко—садится или встаетъ?

— Охъ, миленькая! сама не вѣмъ... Кажись, теперь ночь...

Скоро она такъ ослабѣла, что съ трудомъ поднималась съ соломы. Она просила, чтобы ее положили головой къ востоку...

— Такъ мнѣ легче... Я буду думать, какъ солнушко встаетъ, какъ птички поютъ, какъ въ лѣсу листочки шепчутся.

Иногда она начинала тосковать о томъ, что не слышитъ церковнаго звону...

— Охъ, хоть бы разъ еще услышать, какъ колокола звонять... Господи!.. А я не слышу... и по мнѣ, по моей душѣ звонить не будутъ...

Она до того обезсилѣла, что не могла руки поднять, не въ силахъ была креститься...

— Охъ, сестрица... возьми мою руку... правую... перекрести меня...

И Морозова становилась передъ нею на колѣни, брала ея руки складывала ей истово исхудалые пальцы, и дѣлала крестное знаменіе...

— А метаній я ужъ не дѣлаю... поклоновъ творить не могу,—тосковала больная.

— Я за тебя, миленькая, творю метанія, бью поклоны по сту и по тысячѣ,—успокаивала ее Акинфеюшка.

Скоро ее начали посѣщать видѣнія, грезы... Она все говорила съ собой...

— Вотъ свѣтло стало—я опять вижу... А, это отъ пожару... Ахъ, какой пожаръ!.. Кто это горить?.. Иванушка горитъ и кланяется... Хорошо Иванушкѣ... свѣтло... И вотъ тамъ свѣтло... Оленушку съ церковниномъ вѣнчаютъ, съ Брюховецкимъ... Вонъ и Федосьюшка тамъ, а гдѣ жъ я?.. себя не вижу... Чу! и звонъ слышу... вся Москва звонить... Объ чемъ это звонять?—А! вижу... Никонъ идетъ въ Успенскій соборъ... да какой онъ сердитой... на кого онъ сердитуется?.. А! на Аввакума... Какъ играетъ Аввакумушко-свѣтъ съ Ванюшкой—велить ему перстилки сложить, а онъ, глупенькой, ручками сороку сказываетъ: сорока-сорока—на порогъ скакала... А гдѣ жъ Ванюша?.. съ Дюрдьемъ играетъ въ лошадки?.. Ахъ, Оленушка, Оленушка! бѣдная она—въ черкасской сторонѣ—и мужа у нея убили черкасскіе люди... А какъ черкасскіе люди знаменіе творятъ?.. Тремя персты—нѣтъ, нѣтъ, они не никонцы, не еретики... Вонъ и царевну Софьюшку черкашеникъ учить всякимъ хитростямъ... какой черный, точно мурынъ... Чудно мнѣ это: долго не видала какъ солнушко всходить, а нонѣ вижу, и глядѣть на него больно... А кого это пытали въ ямской избѣ, въ застѣнкѣ?.. Федосьюшку да Акинфеюшку?.. Да—и меня вѣшали на виску и въ хомутѣ пытали, а мнѣ не было больно... А когда жъ я ушла изъ земляной тюрьмы, изъ Боровска?.. А это тогда... вспомнила... какъ горѣли срубы, а на срубяхъ стояли и кланялись намъ Иванушка да мать Юстина... Это мы улетѣли съ голубками вмѣстѣ...

Встали въ ея помутившемся разсудкѣ видѣнія прошлаго—безсвязные клочки воспоминаній изъ пережитого и выстраданнаго... Слушая ея безпорядочный бредъ, Морозова глухо рыдала, молясь Богу о томъ, чтобы онъ возвратилъ разсудокъ ея несчастной сестрѣ, чтобы хоть умерла она въ памяти...

И несчастная, дѣйствительно, приходила иногда въ себя, но не на радость: она снова тоскливо спрашивала, гдѣ востокъ, не къ западу ли она лежитъ головой, и что теперь на дворѣ—день ли, ночь ли, лѣто или зима уже? Иногда она страстно звала своего мужа, дѣтей, особенно любимца своего Юрья—Дюрю. И тогда сестра припадала къ ней и старалась утѣшить страдальцу, навести ея мысль на спасительный подвигъ, въ которомъ ихъ искушаетъ благой и кроткій Спаситель, самъ взывавшій на крестѣ: „Или, или, лима самахвани!..“ Въ то же время, лаская ее, Морозова старалась осязаніемъ лица и тѣла бѣдной сестры убѣдиться, въ какой мѣрѣ она худѣетъ, тая, какъ свѣчка, и пылая огнемъ...

Морозова чувствовала, что и ее покидаютъ силы. Съ трудомъ она творила положенное число метаній, забывала число сдѣланныхъ поклоновъ, забывала молитвы... Хоть бы на одинъ короткій часъ посѣтила ихъ мать Меланія—силы бы ихъ воротились опять, думалось ей часто. Но уже и всемогущая Меланія не могла проникнуть къ нимъ, хоть она и бродила тайно по Боровску и около тюрьмы, успѣла подкупить и привести въ свое согласіе всѣхъ стрѣльцовъ и караульщиковъ; одного только она не могла достигнуть—побѣдить подъячаго Кузмищева.

Передъ самой смертью къ Урусовой какъ будто воротился разсудокъ, и она сама сознала, что умираетъ, что минуты ея сочтены.

— Видѣла я сонъ, сестрицы мои миленькія,—говорила она передъ смертью:—дивенъ тотъ сонъ... Вижу я это—распаялось у меня на рукѣ золотое кольцо и покатилося по полу... А было это въ Успенскомъ соборѣ... Покатилося оно къ святымъ вратамъ, а я за нимъ иду... И, какъ живое, вкатилось оно на ступени, гдѣ дьяконъ евангеліе читаетъ, а я за нимъ... Оно дальше—я за нимъ... Оно въ царски врата—и я окаянная за нимъ—забыла, что женскому полу возбранено вхожденіе во святая святыхъ... Кольцо къ алтарю—и я грѣшная за нимъ... И что жъ бы вы думали, сестрицы мои!—въ алтарѣ стоитъ Аввакумушка—свѣтъ въ ризахъ блистанія—и благословилъ меня крестомъ... На этомъ я и проснулась...

— Хорошій это сонъ, Дуношка,—сказала Морозова:—твоя праведная душевка пойдетъ прямо къ престолу Господа.

— А ноли отецъ Аввакумъ уже представился?—какъ бы про себя спросила Акинфеюшка.

— Богу-то вѣдомо: може и отстрадалъ свое, и нонѣ въ ризахъ блистанія ликовствуетъ со Христомъ и съ блаженнымъ Федюшкой и съ моимъ сыномъ Ванюшкой.

Скоро Урусова опять впала въ безпамятство. Тогда Морозова и Акинфеюшка стали читать по ней отходную, какъ онѣ читали предъ сожженіемъ старицы Юстины.

Несчастливая скончалась тихо, подѣ похоронныя причитанья сестры и ни Морозова, ни Акинфеюшка не слышали, какъ и въ какой моментъ испустила послѣдній вздохъ та, надъ которой онѣ читали и пѣли отходный скорбный канонъ.

Когда Морозова припала къ сестрѣ, чтобы проститься, та была уже безжизненна и холодна. Морозова сначала не поняла, что съ сестрой, почему она похолодѣла; но когда припала къ ней, прислушалась къ дыханію, къ біенію сердца—ее охватилъ ужасъ: ни дыханія, ни біенія сердца уже не было...

Глухо застонала несчастная осиротѣвшая сестра, прижавшись головой къ холодному трупу. Она особенно тосковала о томъ, что не видитъ лица умершей, не знаетъ, насколько смерть измѣнила его.

— О, Господи Боже! хоть бы глянуть на нее, хоть бы разочекъ посмотреть на мертвый ликъ ея, на ея глазынки, что отглядѣли уже, на уста мертвыя—не заговорить уже имъ больше... Матушка моя сестрица! почто ранѣе меня ушла ко Христу-свѣту, на кого меня въ сиротствѣ, въ темницѣ темной покинула? Али мы не во дружествѣ съ тобой жили, али не вмѣстѣ за Христа свѣта муки терпѣли!

Потомъ она вспомнила, что воду и сухари сторожъ приносилъ недавно, а потому долго никто не будетъ знать о томъ, что у нихъ въ темницѣ мертвецъ лежитъ. Она бросилась къ двери, которую привыкла находить въ темнотѣ, начала стучать въ нее, сколько хватало силы, кричала, звала на помощь; но голось ея замиралъ въ мертвомъ подземельѣ. Но потомъ она даже какъ бы обрадовалась этому: несчастная думала, чѣмъ дольше не будутъ входить въ тюрьму, тѣмъ больше не будутъ знать о смерти ея сестры, тѣмъ дольше дорогое тѣло ея будетъ оставаться съ ними—его не возьмутъ, не унесутъ отъ нихъ, не схоронятъ вдали отъ темницы.

Но проходилъ день за днемъ—такъ, по крайней мѣрѣ, казалось имъ... Начинаясь чувствовать присутствие разлагающагося трупа... И съ Морозовой отъ времени и до времени стало дѣлаться дурно, она падала на солону въ изнеможеніи и думала, что умираетъ... И ей стали представляться видѣнія изъ ея прежней жизни, чудныя картины прошлаго: она слухала кукованье кукушки въ батюшкиномъ саду, спрашивала—сколько ей жить, бѣгала по зеленому лугу за бабочками... И опять этотъ тѣнистый прудъ съ лебедями, и высвисты иволги въ зеленой листвѣ, и звуки охотничьяго рога за рощей и встрѣча съ княжичемъ, что палъ на литовскихъ поляхъ въ бою съ Литвою... А тамъ перѣздъ изъ вотчины въ Москву, сватовство Морозова, жизнь при дворѣ, работы въ царичьихъ мастерскихъ палатахъ, знакомство съ Аввакумомъ... Въ яркихъ, чудныхъ краскахъ вставало передъ ней это прошлое—счастье, богатство, честь и слава—и отъ всего этого она отвернулась, все промѣняла на иную славу, на славу безсмертія...

Но не легко дается смертнымъ безсмертіе, не легкою цѣною покупаютъ люди вѣчную славу...

Урусова уже кушила ее, Морозова—скоро, скоро купить...

Но вотъ слышится визгъ запора у наружныхъ дверей тюрьмы. Визгнули на ржавыхъ петляхъ и внутреннія двери. Вошелъ сторожъ съ обыкновенною пищею и водою. На этотъ разъ онъ принесъ заключеннымъ еще по яблочку: на землѣ, значить, былъ праздникъ Воздвиженье честнаго креста Господня.

— Миленкой! — сказала Морозова принесшему пищу:—повѣдай властямъ, что сестра моя, княгиня Евдокія, скончалася...

— Какъ скончалася?—удивился сторожъ.

— Да, скончалася—умре... Похоронить ее надоть.

— Такъ отпѣть, значить бы? Попа позвать?

— Нѣту, миленкой, намъ никоніанскаго попа не надоть.

— Ну, инъ какъ знаете.

Черезъ часъ послѣ этого въ тюрьму вновь отворилась дверь и въ нее вошелъ Кузмищевъ, освѣщая путь восковою свѣчею. За нимъ шли знакомые уже намъ два ката съ рваными ноздрями. Они были съ заступами и лопатами, а на плечѣ у одного изъ нихъ лежала еще и рогожа.

Только теперь, въ первый разъ по заключеніи въ это подземельѣ, Морозова и Акинфеюшка, прожившія въ немъ, казалось, несмѣтное число дней и ночей или—вѣрнѣе—одну безконечную, страшную и томительную ночь въ могилѣ,—только теперь онѣ увидали эту свою могилу при слабомъ мерцаніи восковой свѣчи. Это былъ поистинѣ могильный склепъ съ черными сверху и желтыми, глиняными, земляными книзу стѣнами, выглаженными заступомъ и лопатомъ.

Кузмищевъ прямо направился къ тому мѣсту, гдѣ на соломѣ лежала покойница, и, нагнувшись, освѣтилъ мертвое искаженное страданіями, уже черно-синее лицо. Онъ невольно отшатнулся назадъ, вполнѣ убѣдившись, что „княгиня Овдотья Урусова помре“. Страшный ротъ и глаза ея были открыты и, казалось, грозно глядѣли въ мрачный потолокъ своей темницы, закрывшей отъ этихъ мертвыхъ очей голубое небо. Руки были сложены на груди... Никто бы, даже родная сестра, не узнали бы въ этомъ обезображенномъ смертью лицѣ, нѣкогда полное жизни свѣжести и красоты, лицо княгини Урусовой.

И Морозова въ первый разъ теперь увидѣла это незнакомое ей лицо... Она вскрикнула и упала на землю. Мужественная Акинфеюшка стала утѣшать ее...

Кузмищевъ, между тѣмъ, приказалъ тутъ же, въ западномъ углу темницы, копать могилу. Работа пошла быстро.

Морозова, придя въ себя, стала, сколько умѣла, отпѣвать сестру. Ей помогала Акинфеюшка.

Глухо раздавались по подземелью, смѣшиваясь съ ударами заступа и рыданіями, потрясающія душу возгласенія: „Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурею“... „идѣ же нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе, но жизнь безконечная“... „Со святыми упокой“... „и сотвори ей вѣчную память“...

Яма готова. Около умершей разстилаютъ рогожу и въ послѣдній разъ закрываютъ лицо мертвой.

У Кузмищева дрогнула свѣча въ рукѣ, когда палачи свалили въ яму трупъ и стали валить въ яму землю... Завалили и ногами утоптали... Кузмищевъ торопился уходить, точно его гнало что отсюда...

Снова исчезъ свѣтъ изъ подземелья, снова завизжали запоры у дверей— и все затѣмъ смолкло...

### ХІІІ.

#### Неудачное посольство.

Княгиня Урусова умерла 11-го сентября 1675 года. Зарыли же ее 14-го числа, въ день Воздвиженья честнаго животворящаго креста Христова. Три яблочка, принесенныя въ этотъ день сторожемъ узицамъ, остались несъѣденными.

Въ виду предстоящаго переѣзда на зиму изъ коломенскаго дворца въ кремлевскій, Алексѣй Михайловичъ въ послѣдній разъ тѣшилсѣ купаньемъ стольниковъ въ холодной водѣ коломенскаго пруда, когда Кузмищевъ явился къ нему съ извѣстіемъ о смерти Урусовой.

Ужь всѣ провинившіеся стольники были выкупаны, когда къ царскому выходному крыльцу подошелъ этотъ вѣстникъ смерти. Онъ усердно дѣлалъ земные поклоны, словно бы это было передъ иконой, какъ вдругъ маленькій царевичъ, Петрушенька-свѣтикъ, будущій царь Петръ Алексѣевичъ, бывший тогда уже по четвертому году, соскочивъ съ колѣнъ отца, сидя на которыхъ онъ забавлялся золотымъ наперснымъ крестомъ своего родителя,—стремительно бросился къ Кузмищеву, схватилъ его за рукавъ и сталъ тащить къ пруду.

— Иди... иди! тебя топить будутъ,—лепеталъ маленькій царевичъ.

Подъячій, оторопѣлый, смущенный и присутствіемъ царя съ вельможами, и этими странными словами царевича, стоялъ, какъ истуканъ, не зная, какъ ступить, что подумать, куда вернуться, а Алексѣй Михайловичъ, видя его смущеніе и усилія его баловня, „вора Петрушеньки“, затащить подъячаго въ прудъ, добродушно смѣялся.

— Ай да царевичъ, ай да Петрушенька! знаетъ свое дѣло, — весело говорилъ онъ.

Царевичъ, между тѣмъ, видя, что неповоротливый подъячій не двигается, бросился къ отцу и повисъ у него на рукѣ.

— Батя-батя! вели утопить его! вели!—лепеталъ царственный ребенокъ.

Алексѣй Михайловичъ закатился самымъ искреннимъ смѣхомъ. За нимъ почтительно хихикали и бояре, любясь сорванцомъ-царевичемъ.

— Ахъ ты, воръ Петрушенька!—смѣялся тишайшій:—да онъ, чу, не стольникъ—что его купать!

— Нѣтъ, батя, утопи его!—настаивалъ ребенокъ.

Дѣло въ томъ, что маленькій царевичъ смѣшивалъ слова „купать“ и „топить“. Въ его дѣтской, умненькой головкѣ засѣла мысль, что эти два понятія и дѣйствіе—„купать“ и „топить“—однозначущи, тождественны; что „топить“, значитъ, только „дольше купать“. И это понятіе сложилось въ его своеобразной головкѣ тоже своеобразнымъ, самымъ оригинальнымъ путемъ. Живя лѣтомъ съ родителемъ въ Коломенскомъ, онъ каждое утро



видѣлъ, какъ „бать“ купаетъ стольниковъ. Маленькому царевичу это придворное занятіе казалось самымъ веселымъ изъ всего, что онъ видѣлъ вокругъ себя во дворцѣ. Онъ такъ пристрастился къ этимъ купаньямъ, что постоянно присутствовалъ при нихъ и несказанно радовался и хохоталъ, хлопая рученками, когда какой-нибудь бородатый стольникъ отчаянно барахтался въ водѣ, путаясь въ полахъ широкаго и долгопологаго кафтана, и подчасъ захлебывался водой. Мало того, крошка царевичъ, едва замѣчаль вновь приходившаго стольника, запоздавашаго къ смотру, какъ уже самъ подбѣгалъ къ нему, хваталъ за рукавъ и тащилъ къ пруду, говоря: „иди—тебя топить будутъ“. И бояръ, и царя это несказанно тѣшило. Правилось это и самимъ купаемымъ стольникамъ — что вотъ-де ихъ самъ царевичъ крошка купаетъ.

Но почему для маленькаго царевича „купать“ и „топить“ стали синонимами, на это была особая причина, хотя вытекавшая изъ того же источника—изъ купанья стольниковъ. Маленькій царевичъ, подражая батюшкѣ-царю, завелъ своихъ собственныхъ „стольниковъ“, чтобы купать въ своемъ любимомъ пруду раньше батюшкныхъ стольниковъ. Для царевича стольниками служили щенята и котята, которыхъ онъ и купалъ въ пруду. Дворская челядь, изъ угожденія царю и молодой царигѣ, которые души не чаяли въ своемъ умненькомъ не по дѣтамъ, остромъ, живомъ, какъ живое серебро, чадушкѣ, въ „ворѣ Петрушенькѣ“, — каждое утро стаскивали во дворецъ, къ царскому пруду, щенята и котята со всего Коломенскаго, и маленькій царевичъ, окруженный своею свитою, цѣлою оравою нянюшекъ и мамушекъ, „изволилъ тѣшиться по-батюшковому“: выходилъ къ пруду и самъ своими рученками бросалъ съ плота въ воду своихъ четвероногихъ стольниковъ. Который выкарабкался изъ воды, того царевичъ тотчасъ же „жаловалъ“—кормилъ молочкомъ и бѣлыми московскими сайками и калачами, а который выбивался изъ силъ и тонулъ, того послѣ челядь вытаскивала изъ воды и забрасывала. На этомъ-то купаньи щенята и котята будущій преобразователь московскаго государства и усвоилъ себѣ оригинальное представленіе, что „купать“ и „топить“—одно и то же. Эти же дѣтскія забавы такъ пристрастили его къ пруду, что онъ почти весь день не отходилъ отъ него, то купая своихъ стольниковъ, то дразня лебедей, то гоняясь за лягушками. И мамушки, и нянюшки весь день бывало трепетали, боясь, какъ бы этотъ рѣзвый, никого не слушавшій и ничего не боявшійся царственный младенецъ не скувырнулся въ воду и не захлебнулся. Эти же забавы заставили царевича съ дѣтства привязаться къ водѣ вообще съ такою страстью, что впоследствии онъ уже всю жизнь предпочиталъ воду землѣ, морю—сушѣ, заморшину—всему родному, русскому...

Когда, наконецъ, Кузмищевъ былъ спрошенъ, съ какими вѣстями онъ прибылъ изъ Воровска, и доложилъ о смерти и погребеніи, на четвертый уже день, княгини Евдокии Урусовой и что боярыня Морозова попрежнему остается „жестоковойною“,—царь сталъ и смутенъ, и гнѣвенъ, такъ-что, когда маленькій царевичъ продолжалъ нудить и приставать къ нему, чтобъ

„утопить“ подъячаго,—царь съ досады далъ ему маленькаго шлепка, велѣвъ идти къ нянькамъ и мамкамъ. Избалованный ребенокъ заоралъ, какъ простой смертный, благимъ матомъ и бросился навверхъ къ матери и теткамъ жаловаться на отца. Мать, конечно, приняла сторону ребенка, нагрузила его сластями, общала утопить настоящаго стольника, а потомъ, при встрѣчѣ съ царемъ, сдѣлала ему, какъ теперь говорятъ, сцену, то-есть попросту упрекала его, что онъ „не отецъ, а извергъ“, не любить-де свое „собственное рожденіе...“ Царь, по своему благодущію, оправдывался, говорилъ, что онъ смущенъ былъ извѣстіемъ о смерти княгини Овдотьи и о „жестокостности“ сестры ея, и „ребенка-де не зашибъ вовсе, а такъ малость самую шлепочка далъ...“

— Добро бы за дѣло ребенка обидѣлъ, а то на! изъ-за этихъ святошь-раскольницъ,—ворчала царица по уходѣ царя...

Ребенокъ запомнилъ эту сцену на всю жизнь: въ памяти его сохранилось воспоминаніе о томъ, какъ отецъ разъ въ жизни далъ ему шлепка—и все это изъ-какихъ-то „раскольницъ“. Не милы затѣмъ остались ему раскольницы и раскольники, когда онъ и царемъ сталъ и брилъ російское царство начисто...

Съ другой стороны, и царица Ирина Михайловна и царица Софьюшка сдѣлали сцену—первая брату, а послѣдняя отцу, но уже не за Петрушеньку-царевича, а за этихъ самыхъ гонимыхъ раскольницъ. Софьюшка, зная, что отцу очень нравится, когда она причесана такъ, какъ причесывалась ея мачиха, будучи еще въ дѣвухахъ, заплетая косы „на заморской ладь“, и какъ послѣ того стали причесывать и Софьюшку-царицу въ угоду отцу,—взяла да на этотъ разъ и велѣла причесывать себя „по-старому“, „по-московски“. Царь увидалъ эту перемѣну, зайдя по обыкновенію въ теремокъ дочери, и замѣтилъ при этомъ, что она дуется.

— Ты что, Софій, какой невеселый?—ласково спросилъ царь, догадываясь, что дочка заряжена—капризничать собралась.—А? что, Софій?

— Я думаю о тетѣ Федосьюшкѣ да о покойной тетѣ Дунѣ,—отрѣзала она царю, надувъ губки.

Царь поморщился. Его и самого что-то грызло за сердце: „заварили кашу съ этими новшествами—кому-то расхлебывать будетъ?“...

— А ты что такъ причесана?—спросилъ онъ помолчавъ.

— Такъ... по-старому... Я, и все буду дѣлать по-старому, безъ этихъ новшествъ,—снова отрѣзала она, сдѣлавъ удареніе на словѣ „по-старому“...

А когда пришелъ на урокъ Симеонъ Полопкій, то заряженная Софьюшка ему просто нагрубилла, сказавъ, что она, „урка изъ ариеметики не вытвердила—все читала псалтырь“...

Какъ бы то ни было, но смерть Урусовой произвела большое впечатлѣніе и на дворъ, и на всю Москву. Царь смущенъ былъ болѣе другихъ. Въ него неволью заползло сомнѣніе. Въ правѣ ли онъ былъ дѣлать все то, что привело царство къ такому всеобщему шатанью? Хорошо ли онъ сдѣлалъ, что допустилъ всѣ эти новшества? А, вѣдь, эти новшества не огра

начились новыми книгами и троеперстнымъ сложеніемъ. Услужливые люди не разъ уже доводили до его свѣдѣнія о томъ, что въ народѣ молва идетъ— „не хорошо-де въ народѣ толкують“ и насчетъ того, что молодая царица Наталья Кирилловна, попирая преданія старины и древляго благочестія ѣздитъ въ открытой каретѣ и показываетъ свое свѣтлое лицо народу, „чего на московскомъ государствѣ не бывало, какъ и свѣтъ стоитъ“. Осуждали и то, что царь допускалъ „комидійныя дѣйства“ и тѣшился ими, для чего построилъ и „комидійныя хоромы“. Мало того, набралъ нѣмцевъ и хохловъ и научилъ ихъ „комидійному дѣлу“—играть на варганахъ и сопеляхъ, пуще того скакать и плясать и хребтами выхлять: а ужъ это совсѣмъ бѣсовское дѣло...

Смущенный царь позвалъ къ себѣ Симеона Полоцкаго и сталъ его спрашивать, хорошо ли онъ все это дѣлаетъ. Хитрый хохоль сказалъ, что дѣлаетъ онъ, царское пресвѣтлое величество,—все это хорошо; что у иноземныхъ государей все это давно сдѣлано.

— Почему жъ многіе меня за сіе осуждаютъ и не повинуются мнѣ?—спросилъ царь.

— По невѣдѣнію, великій государь, по темнотѣ разума своего,—уклончиво отвѣчалъ украинецъ:—и еще паче потому...—хитрый украинецъ остановился.

— Говори, Симеонъ, досказывай, не бойся.

— Потому, великій государь, что ты силою велишь дѣлать то, что самъ находишь хорошимъ. А человѣческое сердце такъ сотворено, что когда Господь сказалъ первому человѣку— „не вкуси отъ плода сего древа“,—онъ отъ него-то и вкусилъ паче. Запрещенный плодъ всегда сладокъ. А пускай сами они полюбятъ твое хорошее—и они съ радостію примутъ его. А прикажешь—не послушаются, умрутъ, а не послушаются, зане Богъ далъ человѣку свободную волю. Увѣрь его—и онъ послушаетъ тебя, а ни огня, ни меча не послушаетъ. И тѣмъ ты болѣе будешь гвать ихъ, мучить и казнить, тѣмъ скорѣе они будутъ нарождаться, яко тѣ мифологічныя драконовы зубы. А престань ихъ гвать—и они сами придутъ къ тебѣ. Дабы пояснить твоему царскому пресвѣтлому величеству сіе примѣромъ, я укажу тебѣ на мою милую родину, на Украину-неньку, какъ у насъ оную именуютъ. Доколѣ польское королевство не подвергало гоненію нашу христіанскую вѣру, дотолѣ украинскіе люди были вѣрнѣйшими слугами польскаго королевства. Егда же они пустили гоненіе на вѣру, какъ Малороссія свергла съ себя польское владычество и подклонила подъ твою державную и милостивую руку. А повели ты украинскому народу креститься двоеперстіемъ либо воспретити говорить малороссійскою рѣчью, чтобы говорили московскою—и се Всемогущій Богъ свидѣтель, что Малая Россія отложится отъ московскаго государства,—и будутъ послѣдняя горше первыхъ...

Царь глубоко задумался надъ этими, какъ ему казалось, пророческими словами, и они долго не выходили у него изъ головы. Но когда онъ

стать совѣтоваться съ своими боярами и митрополитами, то благія слова Симеона Полоцкаго тотчасъ же вылетѣли изъ памяти. Попы и бояре за-твердили ему: „стропиваго накажи“ — и безвольный царь опять пошелъ по пути наказаній...

Въ Боровскѣ былъ отправленъ Іоакимъ архимандритъ чудовскій, уже извѣстный намъ „увѣщатель“ стропивыхъ. Онъ долженъ былъ воспользо-ваться постижимъ Морозову несчастіемъ—смертью сестры. Она поражена, убита горемъ; она, наконецъ, истомлена и тѣломъ, и духомъ. На нее могутъ теперь подѣйствовать увѣщанія проникнуть въ ея истомившуюся душу, какъ благодатный дождь въ разрыхленную засухами землю: осиро-тѣлая овца услышитъ и послушается гласа пастыря своего...

Такъ думали въ Москвѣ. Горда, непреклонна была боярыня въ своей боярской обстановкѣ, когда вся Москва на нее взидала и дивилась ей: было изъ чего набраться „жестоковѣйности“. Теперь не то: было когда и отчего одуматься и смириться.

Пріѣхавъ въ Боровскѣ, Іоакимъ отправился въ тюрьму въ сопровожденіи Кузмищева. Когда дверь открылась и подъячій вошелъ со свѣчой, Морозова поднялась было съ соломы, на которой лежала: смерть сестры сломила и ее; она сама теперь стала недомогать, часто лежала, съ трудомъ творила положенное число метаній и, поклонившись въ землю, иногда не въ состояніи была сама подняться на ноги, и тогда поднимала ее Акинфеюшка. Поднявшись при входѣ Кузмищева, она увидѣла, что за нимъ идетъ Іоакимъ съ крестомъ въ рукѣ. Она тотчасъ же снова опустилась на солому, бросивъ на архимандрита попятный ему взглядъ: „что-де передъ тобой и передъ твоимъ крестомъ я стоять не буду“.

Это нѣсколько смутило Іоакима.

— Дочь моя,—началь онъ было.

— Ты мнѣ не отецъ и я тебѣ не дочь,—рѣзко перебила его Морозова:— али тѣмъ только отецъ, что въ застѣнкѣ на дыбу меня подымалъ?

— Не я подымалъ, подымала тебя твоя грубость великому государю,—возразилъ Іоакимъ.

— Такъ ты и новѣ отъ него?

— Отъ него.

— Знаю... Не онъ послалъ тебя ко мнѣ, а вы, отъявъ у него зрѣніе и разумъ, прислали ко мнѣ посломъ его безуміе и слѣпоту.

— А ты попрежнему грубо отвѣщаешь послу государеву.

— Я послѣдую угодникамъ: они грубѣе того отвѣщевали посламъ Діоклетіана... И ты отъ Діоклетіана.

Кузмищевъ глянулъ на Іоакима, какъ бы говоря: „одинъ съ ней раз-говоръ—на костръ“. Архимандритъ однако надѣялся подѣйствовать на непреклонную ласкою и общаніями. Онъ такъ и началъ говорить.

— Послушай, боярыня: великій государь, помня честь и заслугу дядьки своего Бориса Морозова и мужа твоего службу, хочетъ возвести тебя на такову степень чести, каковой у тебя и въ умѣ не бывало.

— Не велика его честь, коли я промѣняла ее на сей вертепъ,— указала упрямица на мрачныя стѣны подземелья.

— Твоя была воля, боярыня.

— Не моя, а Господова.

— Господь и меня послалъ нонѣ къ тебѣ: покорися царю — воздай кесарева кесареви...

— О, сатана!—страстно воскликнула Морозова, всплеснувъ руками:— припомни тѣ же словеса евангелія, ими же ты яко собака на Христа лаешь. Помнишь ли ты, чернецъ, когда Христосъ постился въ пустынѣ и приступи къ нему діаволь и ятъ его въ Иерусалимъ и постави его на крыльцѣ церковномъ и рече ему: „аще Сынъ еси Божій, верзися сюда долу: писано бо есть, яко ангеломъ своимъ заповѣсть о Тебѣ сохрани Ти, и на рукахъ возмуть Тя, да не когда преткнеши о камень ногу Твою“... Слышишь, чернецъ? Діаволь заговорилъ отъ писанія! Діаволь сказалъ Христу: „писано бо есть“... О, фарисей! и ты говоришь отъ писанія о кесарѣ!

— Я говорю о великомъ государѣ, — заторопился смущенный архимандрить:—онъ общаеъ тебѣ великую милость и честь велю, если ты...

Морозова перебила его, вскочивъ въ нетерпѣннн съ соломы и опять опустила наземь.

— О, чернецъ! — сказала она съ горькою усмѣшкой: — затѣмъ ты идешь въ слѣдъ діавола? Припомяни тоже божественное слово: „И возведь его діаволь на гору високу, показа ему вся царствія вселенныя въ чертѣхъ временинн, и рече ему діаволь: „Тебѣ дамъ власть сію и славу ихъ, яко мнѣ предана есть и ему же аще хошу, дамъ ю: Ты убо аще преклонинися предо мною, будутъ Тебѣ вся“...

Кузмищевъ удивленно качалъ головой: „ну, баба“! думалось ему: „любова попа за поясъ заткнетъ“. Іоакимъ краснѣлъ со стыда и досады.

— Такъ поди къ царю, — продолжала Морозова уже совсѣмъ спокойно: — раскрой передъ его омраченными очами евангеліе отъ Луки, главу четвертую, и прочти ему отъ стиха перваго даже до стиха четырнадцатаго.

— Амьнн!—громко сказала все время молчавшая Акиффеюшка.

— Скажи царю,—продолжала Морозова: — у меня здѣсь въ темницѣ есть такое великое сокровище, каково царю не купить за всѣ его богатства.

И она указала на маленькій земляной холмикъ, высившійся въ одномъ углу подземелья: то была могилка ея сестры.

— Я хочу лечь рядомъ съ нею,—заклчила она свои слова.

— Такъ это твои послѣднія слова?—съ досадою спросилъ архимандрить.

— Нѣтъ, не послѣднія. Еще скажи царю: пускай онъ готовится отвѣчать предъ Господомъ на страшномъ судѣ, когда обыдетъ его сонмъ казненныхъ имъ невинно и каждый возопіеъ: „отдай мнѣ языкъ мой, что ты у меня урѣзалъ“, другой—„собери кости мои и щепель отъ костей моихъ

■ власы отъ головы моей — собери на мѣстѣ костра, гдѣ ты сжегъ меня и пепель мой вѣтрамъ и дождямъ отдалъ“... Пусть готовить отвѣты всѣмъ удушеннымъ, обезглавленнымъ, утопленнымъ по его повелѣнію. Пускай и мнѣ готовить свой отвѣтъ за моего зына и за сестру мою... А теперь иди и также готовься самъ къ отвѣту на судѣ Бога вселенскаго.

Силы оставили ее, и она безъ чувствъ упала на солому...

— Ну, баба!—бормоталъ Кузмищевъ, выходя съ архимандритомъ изъ подземелья:—сущій Стенька Разинъ.

#### XIV.

### Смерть Морозовой.

Сущій Стенька Разинъ, однако, всего только однимъ мѣсяцемъ и тремя недѣлями пережилъ свою сестру.

Со смерти Урусовой Морозова таяла съ каждымъ днемъ. Она уже почти не вставала на молитву: за нее молилась Акинфеюшка. Слухъ больной такъ обострился, что она, лежа на соломѣ, большею частью съ закрытыми глазами, потому что все равно ничего не видно было въ кромѣшной тьмѣ подземелья, — своимъ чуткимъ слухомъ прислушивалась, какъ молилась ея „свѣчка предъ Господомъ“, какъ она называла теперь Акинфеюшку, и считала ея поклоны.

— Сто да полтора — полтретьяста, — раздавался иногда ея слабый голосъ:—переходни малость, моя свѣчка воскояровая.

Но Акинфеюшка не хотѣла передохнуть, и опять слышался слабый шелестъ соломы, на которую падали колѣни молящейся. А Морозова лежала съ закрытыми глазами, слушая этотъ шелестъ соломы, тяжелое дыханіе и иногда слабый хрустъ уставшихъ членовъ, и шевелила губами.

— Четыреста-девяносто-девять—пятьсотъ!.. будетъ, свѣчка!

Акинфеюшка переставала молиться и садилась около больной. Руки и той и другой взаимно тянулись къ лицамъ и взаимно осязали ихъ: руки замѣнили имъ глаза во мракѣ.

— Устала ты, свѣчка, притомилась: вонъ лобъ и виски мокры.

— Ничего, сестрица: я молиться гораздо здорова... А вонъ ты-то, вижу, таешь...

— Такъ-ту, свѣчка, легче будетъ къ Богу летѣть,—дымкомъ кадильнымъ...

— О-охъ! а я-то съ кѣмъ буду?

— Не тужи, свѣчка: я къ тебѣ стану пташкой прилетывать...

Въ это время мысли больной почти исключительно витали въ прошедшемъ, и она какъ бы думала вслухъ.

— А небо-то, небушко голубое пологомъ надъ тобою раскинулось, и конца-краю ему вѣту и не бывало... А я лежу, младая дѣвынька, въ травѣ,

руки подъ голову заложила, лежу и думаю, гляючи на небо. А по небу лентоу тянутса гуси—на теплыя воды летать, высоко-высоко надъ землею и я слышу говоръ ихъ межъ собою... И сама, кажись, я лечу съ ними на теплыя воды, въ невѣдомыя земли, къ морямъ синимъ, и подо мною грады и веси, рѣки и озера—„вся царствія вселенныя въ чертѣ времени“... А надо мною пчелки летаютъ-жуужать, козявочки махоньки... И слышно мнѣ, какъ въ отъѣзжемъ полѣ собаки лають—это батюшка охотою тѣшится... И какъ же любилъ меня батюшка!—я была ево дрючонное дите, холеное—вѣтру, кажись, не давалъ онъ на меня дохнуть... А какъ я ево любила!—да и не диво: я матушки не запомню... Да, свѣчка, то было мое райское житіе, когда мы съ батюшкой въ вотчинахъ ево жили... Тамъ мой и рай кончился... Тамъ и княжича я спознала, жиниха свою, что въ Литвѣ сложилъ свою кудрявую головушку...

Акинфеюшка безмолвно слушала ее, держа за руку и съ грустью передумывая также и свое прошлое, свою бродячую жизнь. Съ особенной яркостью выступали передъ нею ея странствія по Малороссіи, по этой черкасской сторонкѣ, которая теперь изъ ея мрачной темницы представлялась ей какою-то волшебною, сказочною страной, и казалось, отъ самыхъ воспоминаній о ней вѣяло тепломъ и свѣтомъ... „Ужъ и что это за сторонка!—излюбленный Господомъ вертоградъ цвѣтной... Не диво, что въ одномъ Кѣивѣ, въ печерахъ, болѣ угодниковъ, чѣмъ во всемъ московскомъ государствѣ“, думалось ей.

— А помнишь, свѣчка, какъ мы съ тобой спознались?

— Какъ не помнить! Аввакумушко свель...

— Аввакумушко,—точно... Что-то онъ?

— Да... Богу то вѣдомо...

— А помнишь ту ночь, какъ мы къ Степану Разину ходили?

— Подъ ево окошко тюремное—да.

— И голось помнишь его?

— Помню... „Не шуми ты, мати, зеленая дубровушка“...

— А на Лобномъ-ту мѣстѣ, на плахѣ?

— Да, страшно подумать.

— А я думаю, свѣчка... я много объ немъ думала... У него я научилась терпѣть... Только не привелъ мнѣ Богъ дожидаться того, чево я искала...

— Чево, сестрица?

— Ево смерти—на глазахъ у всей Москвы.

— Что ты, милая! зачѣмъ?

— А то такъ-ту лучше снить, какъ мы тутъ гнѣемъ—никому не въ поученіе?... А то, глядя на насъ, и другіе бы учились умирать.

Но скоро и эти грустныя бесѣды и воспоминанія прошлаго все рѣже и рѣже становились. Морозова по цѣлымъ днямъ лежала безмолвно, и, только когда Акинфеюшка начинала горько плакать на молитвѣ, она силлась утѣшать ее.

— Не плачь... думай лучше о томъ, какъ *тамъ* всё встрѣтимся.

— Меня не беретъ Богъ.

— Проси... толцы двери гроба:—отверзутся...

Чувствуя, наконецъ, что приходятъ ей послѣдніе дни, Морозова воспользовалась однажды появленіемъ въ тюрьмѣ сторожа съ водою и сухарями, чтобы обратиться къ нему съ послѣднею просьбою.

— Миленькій, братецъ,—слабо сказала она:—вѣруешь ты во Христа?

— Какъ же, матушка, не вѣрить-гу?—удивленно спросилъ простодушный сторожъ.

— А въ церкви бывалъ?

— На мнѣ, чаю, крестъ—какъ не бывать!

— А слышалъ, какъ на страстяхъ читаютъ про то, какъ Христа распяли и какъ Онъ-свѣтикъ скончался?

— Знаю—слыхали.

— А помнишь, тамъ читаютъ, что когда Ево, батюшку, сняли со креста, то Іосифъ Аримаѣйскій взялъ тѣло Христово и плащаницею чистою обвивъ...

— Таковово, кажись, не слыхивали.

— Ну, вотъ что, миленькой: я скоро помру: я ужъ не жилица... Такъ именемъ Христа молю тебя: исполни мою послѣднюю просьбу... Не хочу я идти ко Христу въ грязной срачицѣ... Такъ будь милосердъ! возьми мою сорочку, голубчикъ, вымой ее въ рѣкѣ... Я за тебя Богу буду молиться.

Сторожъ исполнилъ послѣднюю просьбу умирающей.

Наканунѣ смерти, прислушиваясь къ давно знакомымъ ей звукамъ—къ шуршанью соломы отъ поклоновъ Акинфеюшки, она вдругъ остановила ее.

— Постой, свѣчечка моя предъ Господомъ... будетъ ужъ... сгасни, потухни, лампада моя... Давай гѣть отходную по душѣ моей...

Акинфеюшка перестала молиться. Умирающая начала было читать отходную, но память и языкъ отказывались служить ей: она часто останавливалась и слушала, какъ читала Акинфеюшка. Потомъ опять начинала и опять обрывалась.

— Вотъ я и отхожу... Упроси, мплая, стражей вырыть и мнѣ ямку тамъ...

Акинфеюшка, плача, цѣловала ее холодѣющія руки.

— Да положи такъ... знаешь... чтобъ моя рогожа... близко... съ ея бы рогожкою вмѣстѣ...

Въ послѣдніе часы умирающая бредила тѣмъ, что она называла „райскимъ житіемъ“—своею раннею молодостью, далекими вотчинами своего отца, и только на мгновенія приходила въ себя.

— Небо... все небо кругомъ... зелень... лебеди кричатъ... меня ждуть... Да, сестрица, не забудь... какъ отходить стану... сложи персты мои... такъ сложи... истово... Иволга свистить... а вонъ кукушка закуковала... кукукуку... сколько мнѣ лѣтъ жить... много, много лѣтъ... наживусь... счету



нѣтъ ея кукованью... счету не будетъ годамъ моимъ... все кукуеть—все кукуеть...

Въ ночь съ 1-го на 2-е ноября 1675 года и сама она откуковала.

Акинфеюшка исполнила ея завѣтъ: въ ея рукѣ заковенѣла правая рука умершей сложенными истово двумя перстами...

## XV.

### Сомнненіе Аввакума.

Такъ одинъ за другимъ сходили со сцены первые дѣятели великой исторической драмы, идущей на исторической, чисто-народной русской сценѣ вотъ уже третье столѣтіе. Много перебивало актеровъ на этой обширной, почти неизмѣримой сценѣ. Съ правой стороны изъ-за великихъ историческихъ кулисъ выходили актеры съ чисто-русскимъ типомъ, съ великими, шекспировскими характерами, въ родѣ Аввакума, Морозовой и ихъ послѣдователей. Съ лѣвой же стороны, изъ-за этихъ же историческихъ кулисъ, выступали другого сорта актеры, иногда съ такимъ же русскимъ типомъ, какъ князь-кесарь Ѳеодоръ Юрьевичъ Ромодановскій, Андрей Иванычъ Ушаковъ, Степанъ Иванычъ Шешковскій, иногда же и нѣмцы... Лѣвые постоянно сгоняли со сцены правыхъ, вгоняли ихъ въ темницы, въ могилы; но они, какъ тѣнь Банко, выходили изъ могилъ и являлись на сценѣ съ тѣми же двумя истово сложенными перстами...

Они выходятъ на сцену доселѣ, и ихъ гонять, гонять и все не могутъ согнать со свѣту, потому, что ихъ дѣло,—правое дѣло, дѣло совѣсти, и если бы на страницахъ исторіи могла выступать краска стыда, то страницы, на которыхъ написаны имена актеровъ лѣвой стороны, казались бы со-всѣмъ кровавыми...

Возвратимся къ самому первому актеру правой стороны, къ Аввакуму.

Четырнадцать лѣтъ томился онъ въ земляной тюрьмѣ въ Пустозерскѣ. Онъ пережилъ почти всѣхъ своихъ учениковъ и ученицъ—и Ѳедю юридываго, котораго удавили въ Мезени, и Морозову съ Урусовой, истаявшихъ въ Боровскомъ подземельѣ, и многихъ другихъ, именъ которыхъ не сохранила исторія. Онъ, сидя въ своемъ подземельѣ, все молился да разговаривалъ—то съ вороною, каркавшею у него на крестѣ землянки, то съ воробьемъ, прилетавшимъ на его оконце клевать крошки, насыпавшыя туда узникомъ, то съ мышенкомъ, что погрызываетъ его сухарики, то, наконецъ, съ паукомъ, спускавшимся съ потолка на звонъ его дѣбей,—говорилъ затѣмъ, чтобъ не разучиться говорить и Бога славить,—говорилъ, молился и писалъ, безъ конца писалъ, рассылая свои посланія по всей русской землѣ съ помощью увѣровавшихъ въ него тюремщиковъ.

Вотъ и теперь, 1-го апрѣля 1681 года, онъ пишетъ согнувшись въ три погребели, и на оконцѣ чиркаетъ воробей, мышенокъ шуршитъ соло-

мой, утаскивая къ себѣ сухарикъ, Аввакумомъ же для него припасенный; ворона попрежнему каркаетъ на крестъ...

— Во вѣки вѣковъ—аминь!—съ силою вздохнулъ старикъ, положилъ перо за ухо и разогнулъ спину: — кончилъ!.. А ты каркай не каркай, подлая, не будешь вѣстъ мово мясца...

Онъ сталъ перелистывать лежавшую у него на колѣняхъ тетрадь.

— Ну-ко, что я нонѣ въ концѣ надарапаль? Прочту.

И онъ сталъ читать вслухъ:

— „Егда я еще былъ попомъ, съ первыхъ временъ какъ подвигу касаться сталъ, бѣсъ меня пуживалъ еще: изнемогла у меня жена гораздо и прѣхалъ, къ ней отелъ духовный; азъ же изъ двора пошелъ по книгу въ церковь ношью глубокою, по чему исповѣдаться. И егда на паперть пришелъ, стольникъ до того стоялъ, а егда азъ пришелъ, бѣсовскимъ дѣйствомъ скачетъ стольникъ на мѣстѣ своемъ. И я, не утрась, помоляся предъ образомъ, осѣнилъ рукою стольникъ и, пришедъ, поставилъ его, и пересталъ играть. И егда въ трапезу вошелъ, тутъ иная бѣсовская игра: мертвецъ на лавкѣ въ трапезѣ въ гробѣ стоялъ, и бѣсовскимъ дѣйствіемъ верхняя раскрылась доска и саванъ шевелиться сталъ, утрася меня. Азъ же, Богу помоляся, осѣнилъ рукою мертвеца, и бысть по-прежнему все, ино ризы и стихари летаютъ съ мѣста на мѣсто, утрасяя меня. Азъ же, помоляся и поцѣловавъ престолъ, рукою ризы благословилъ и пощупалъ приступя: а онѣ по старому висятъ. Потомъ, книгу взявъ, изъ церкви пошелъ. Таково то ухищреніе бѣсовское къ намъ! да полно того говорить!“

Онъ помолчалъ немного, прислушался къ отдаленному стуку топоровъ.

— Чтой-то они тамъ строятъ? Вотъ съ самово утрея топоры говорятъ... Ужъ не срубъ ли мнѣ работаютъ?.. Дай-то, Господи!.. Хочу славы сей...

Онъ задумался. Сѣдая голова его тихо качалась. Нечесанныя космы свѣсались на лицо. Онъ взялъ одну прядь.

— Ишь, бѣлы что снѣгъ—паче снѣга убѣлились... бѣлы... серебро, чистое серебро... Ужъ я и забылъ, каковы они съ молоду были... черны, какись, ни то русы.

Онъ махнулъ рукою и опять нагнулся къ тетради.

— „Ну, старецъ, моего вяканья, вѣдь, много ты слышалъ. Отъ имени Господни повелѣваю ти: напиши и ты рабу тому Христову, какъ Богородица бѣса того въ рукахъ тѣхъ мяла и тебѣ отдала, и какъ муравьи-тѣ тебя яли. . . . и какъ бѣсъ-отъ дрова-тѣ сожегъ и какъ келья-то обгорѣла, а въ ней цѣло все, и какъ ты кричалъ на небо-то, да иное что вспомнишь во славу Христа и Богородицѣ. Слушай же, что говорю: не станешь писать, я осержусь! Любилъ слушать у меня: чего соромишься, скажи хотя немножко. Апостоли Павелъ и Варнава на соборѣ сказывали же во Іерусалимѣ предъ всѣми еликъ сотвори Богъ знаменія и чудеса во языцѣхъ съ ними, въ дѣніяхъ зачатокъ тридцать пятой

и сорокъ вторая, и величашеся имя Господа Ісуса, мнози же отъ вѣровавшихъ прихождаху исповѣдающе и сказующе дѣла своя, да и много того найдется въ апостолѣ и въ дѣяніяхъ. Сказывай, не бойся, лишь совѣсть крѣпко держи, не себѣ славы ищи, говоря, но Христу и Богородицѣ. Пускай рабъ Христовъ веселится, чтучи! Какъ умремъ, такъ онъ почтетъ да помянетъ предъ Богомъ насъ, а мы о чтущихъ и слушающихъ станемъ Бога молить, наши они люди, и будутъ тамъ у Христа, а мы ихъ во вѣки вѣковъ, аминь“ \*).

— А все стучать топоры... Ну, ишь съ Богомъ: стучите, стучите, топорики... Можеть мнѣ печечку-ту воздвигаете, коровай въ той печкѣ изъ меня Христу печи будутъ.

Онъ перекрестился, свернулъ тетрадь, вѣвѣсилъ ее на рукѣ.

— А тяжеленька-таки, многонько настрочилъ... Только свѣтамъ моимъ, Ѳедосьюшкѣ да Овдотьюшкѣ, не читать ужъ мово вяканья — отчитали свое... Тѣлеса ихъ святая въ Боровскѣ, въ землѣ темничѣй почиваютъ, а сами онѣ, свѣты, нонѣ ликъ Христовъ читають — ликовствуютъ... О, свѣты, свѣтики мои! голубицы бѣлыя! какъ я, старый песь, любилъ ихъ, бѣленькихъ и тѣльцемъ, и духомъ!

Вдругъ что-то влетѣло въ оконце и упало къ ногамъ его...

— Ноли воробышекъ? Нѣтъ... Что бы это такое было?

Онъ сталъ искать въ соломѣ: Руки его ошупали камень, обернутый бумажкой.

— Писаніе... Отъ кого?.. Благослови Господи!

Онъ перекрестился и развернулъ бумажку. Руки его дрожали. На бумажкѣ было что-то нацарапано.

„Смиренная и убогая старица Меланія“...

— Меланія! Владыко всемилостиве! какъ она сюда попала!

„Смиренная и убогая старица Меланія преподобному Аввакуму, пророку и посланнику Бога живаго, столпу непоколебимому православія, солнцу правды, адаманту вѣры правыя, о Христѣ радватися. Присиѣ бо часъ твой. Уготована убо огненная колесница, на ней же нынѣ вознесешися ко Господу. Аминь“.

Что выражало лицо его — невзрѣченное ли блаженство или невыразимый ужасъ, когда онъ упалъ этимъ лицомъ на солому и не своимъ голосомъ выкрикнулъ: — „да будетъ воля Твоя!“ — это извѣстно только тѣмъ, которые умирали за идею...

Черезъ часть, изъ открытой двери подземелья, въ которомъ четырнадцать лѣтъ высидѣлъ Аввакумъ, ни разу не видавъ ни неба, ни земли, вышелъ стрѣлецъ съ алебардой, а за нимъ Аввакумъ, сопровождаемый другимъ стрѣльцомъ. Узникъ, которому казалось лѣтъ подъ восемьдесятъ,

\*) Изъ „Житія протопопа Аввакума, имъ самимъ написаннаго“.

ступивъ на землю, поднялъ голову и нѣсколько минутъ стоялъ такъ, глядя на небо, на бѣловатая облачка, кучившіяся къ полудню, на свою землянку, на темную зелень далекаго бора, какъ бы стараясь что припомнить и убѣдиться, такъ ли все еще сине и глубоко небо, какимъ оно было четырнадцать лѣтъ назадъ, такъ ли свѣтитъ въ этой голубой выси солнце, такъ ли, какъ прежде, плаваютъ по небу облачка, зеленѣетъ лѣсъ, порхаютъ въ воздухѣ ласточки, стрижи...

Убѣдившись, что міръ божій остался все такимъ же прекраснымъ, какимъ былъ и четырнадцать лѣтъ назадъ и въ дни его юности, онъ какъ-то ни то горько, ни то радостно потряхнулъ головой и, смахнувъ со щекъ выкатившіяся изъ глазъ слезы, широко, размахисто перекрестился. Онъ хотѣлъ-было двинуться за переднимъ стрѣльцомъ дальше, къ выходу изъ оградъ, которую обнесена была его тюрьма, какъ услыхалъ позади себя звяканье дѣшей. Оглянувшись, онъ увидѣлъ, какъ изъ трехъ другихъ такихъ же, какъ его, землянокъ выходили тоже узники съ стрѣльцами, и въ этихъ узникахъ онъ отчасти узналъ, отчасти догадывался, что узналъ—такъ неузнаваемо измѣнились они въ четырнадцать лѣтъ!—друга своего, попа Лазаря, дьякона Благовѣщенскаго собора Федора и духовника своего, инока Епифанія, того самаго, которому онъ сейчасъ только писалъ въ „житіи“ своемъ, какъ „Богородица бѣса въ рукахъ мяла и ему, Епифанію, отда-ла“ и прочее.

Аввакумъ радостно всплеснулъ руками.

— Други мои свѣты!.. Вмѣстѣ ко Господу идемъ!

— Аввакумушко! протопопъ божій!

— Епифанушко миленькій! Федорушко братецъ!

— Живы еще! всѣ живы! и померемъ вмѣстѣ!.. Лазарушко! и ты съ нами!

Они обнимались и плакали, звеня дѣшями. Стрѣльцы, глядя на нихъ, сублились и отворачивались, чтобы скрыть слезы.

Звякнула щеколда оградной калитки, калитка распахнулась и въ ней показалось красное, прыщеватое лицо „людоѣда“.

— Эй! лизаться пустосвяты вздумали! — закричалъ Кузмищевъ:—еще нацѣлуется съ дымомъ да съ полымемъ... Веди ихъ, стрѣльцы!

Узниковъ развели и повели гуськомъ къ калиткѣ. Впереди всѣхъ шелъ Аввакумъ. За тюремной оградой глазамъ арестантовъ представился большой срубъ, наполненный щепами и уставленный снопами сухого сѣна, перемѣшаннаго съ берестой да паклей. Около сруба толпился народъ.

Кузмищевъ, взявъ у стоявшаго около сруба съ зажженными свѣчами монаха четыре восковыхъ свѣчечки, роздалъ ихъ осужденнымъ.

— За мною, други мои, вѣнды царски ловить! — воскликнулъ Аввакумъ, поднимая вверхъ свѣчу и твердо входя на костеръ.

Товарищи послѣдовали за нимъ и стали на кострѣ рядомъ, взявшись за руки.

Кузмищевъ досталъ изъ-за пазухи бумагу, медленно развернулъ ее, откашлялся. Но въ этотъ моментъ Аввакумъ, перекрестившись и поклонив-

шипъ на всё четыре стороны, быстро нагнулся и, подобно старицѣ Юстинѣ въ Боровскѣ, въ разныхъ мѣстахъ самъ своею свѣчею подпалилъ сѣно и бересту. Пламя мгновенно охватило костерь... Въ толпѣ послышались крики ужаса... Всѣ посымали шапки и крестились...

Подъячій окончательно растерялся...

— Охти мнѣ!.. Ахъ, изверги!..

Изъ пламени высунулась вся опаленная чья-то рука съ двумя истово сложенными пальцами.

— Православные! вотъ такъ креститесь!—раздался изъ пламени сильный, рѣзкій голосъ Аввакума:—коди такимъ крестомъ будете молиться — во вѣкъ не погибнете, а покинете этотъ крестъ — и городъ вашъ песокъ занесетъ и свѣту конецъ настанетъ!

— Аминь! аминь! аминь!—прозвучалъ въ толпѣ голосъ, столь знакомый всей Москвѣ.

Изъ толпы выдѣлился черный низенькій клубочекъ, а изъ-подъ клубочка свѣтились зеленоватымъ свѣтомъ рысьи глазки матери Меланіи.

— Охти мнѣ! Ахъ, злодѣи, вору, аспиды! — метался подъячій съ бумагой въ рукахъ.

Костерь, между тѣмъ, трещалъ и пылалъ, какъ одна гигантская свѣча, отъ которой огненный язычище съ малыми языками высоко взвивался къ небу, обрываясь тамъ, развѣваясь и расплываясь въ воздухѣ сѣрою дымкою.

Кругомъ, казалось, все засумрачилось, потемнѣло, словно бы на землю разомъ опустились сумерки. Онѣмѣвшій отъ страха народъ не смѣлъ шевельнуться. Сумаркъ сгущался все болѣе и болѣе. Костра уже не было — оставалась и перегорала огромная куча огненного угля...

Вдругъ какъ изъ ведра полилъ дождь...

— Батюшки! православные! небо плачетъ! небушко заплакало отъ экове злодѣянія... О-о-охъ!—раздался въ толпѣ отчаянный вопль женщины.

Кузмищевъ встрепенулся, словно его кнутомъ полоснуло.

— Эй! лови ее, лови! держи воруху! держи злодѣйку!

Но Меланіи — это она выкрикнула — и слѣдъ простыл...

„Въ воду, братцы, канула — сгинула, провалилась...“

Народъ сунулся къ залитому огнемъ костру — собирать на память „святыя косточки“, чтобъ разнести ихъ потомъ по всему московскому государству... Аввакумъ былъ правъ, говоря о сожигаемыхъ: „изъ каждой золиньки ихъ, изъ пепла, аки изъ золы феникса, изростутъ милліоны вѣрующихъ...“ Такъ и вышло...

## XVI.

### Смерть Никона. Заключение.

Въ то время, когда въ Пустозерскѣ дымъ и чадъ отъ сожигаемаго Аввакума сѣрыми облачками возносился къ пасмурному небу, въ Кирилловомъ монастырѣ, на Вѣломъ озерѣ, врагъ и погубитель всей жизни пер-

ваго раскодоучителя, Никонъ, умираеть медленною, мучительною смертью всѣми забытаго старика и заточника.

Когда черезъ четыре мѣсяца послѣ смерти Морозовой, въ концѣ января 1676 года, умеръ тишайшій и благочестивѣйшій царь Алексѣй Михайловичъ всея Русіи, и преемникъ его, царь Федоръ Алексѣевичъ, послалъ къ Никону съ дарами и съ вѣстью Лопухина—просить у старика прощенія и разрѣшенія покойному царю на бумагѣ, то Никонъ, по обыкновенію, заупрямился.

— Богъ его простить,—отвѣчалъ:—ино въ страшное пришествіе Христово мы будемъ съ нимъ судиться: я не дамъ ему прощенія на письмѣ!

Пользуясь этимъ, на Никона къ царю полѣзли доносчики: вывели на божіи свѣтъ и застрѣленнаго имъ баклана, и высѣченнаго изъ-за „доброста“ поварка Ларку, и раздѣтую для лѣченья бабу Киликейку...

Никона перевели въ болѣе тяжкое заточеніе—въ Кирилловъ монастырь, старцы котораго и прежде постоянно сердили сварливаго старика, то привозя ему въ пищу грибовъ съ мухоморами то, напуская къ нему въ келью чертей“, то говоря, что онъ у нихъ въ монастырѣ „всѣхъ коровъ переѣлъ...”

Въ Кирилловѣ Никонъ таялъ съ каждымъ днемъ. Онъ уже съ трудомъ передвигалъ отъ старости свои больныя и усталыя ноги, посихмился, готовился къ смерти...

Объ этомъ донесли куда слѣдуетъ: умираеть—де старецъ Никонъ—какъ и гдѣ похоронить его?

И тогда изъ Москвы пришла милость: порадовать—де заточника свободой хоть передъ смертию теперь. Порадовали... Повезли въ Воскресенскій монастырь... Ему страстно, передъ смертию теперь, захотѣлось взглянуть, цѣло ли поныгѣ тамъ, на переходахъ его келіи, то ласточкино гнѣздо, которое онъ пощадилъ когда-то—не разметалъ клюкой...

Больного Никона изъ Кириллова монастыря привезли на берегъ Шексны, посадили въ стругъ и, по его желанію, поплыли внизъ къ Ярославлю, а оттуда къ Нижнему, къ тому далекому селу, гдѣ родился онъ и бѣгалъ маленькими босыми ногами, счастливый, невинный... Хотѣлось ему передъ смертию взглянуть на родное село, потомъ на ласточкино гнѣздо въ своемъ любимомъ Воскресенскомъ монастырѣ, а тамъ и на Москву, послушать въ послѣдній разъ могучаго звона всѣхъ сорока сороковъ, вспомнить свое патриаршество, свое царство, какъ они дѣлили его съ покойнымъ „собиннымъ“ другомъ, царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ...

Это было въ августѣ 1681 года. Дорогой, во время плаванія, погода стояла сухая, тихая, теплая, ясная, словно весенняя. Зеленъ еще не начинала желтѣть, паутина еще не тянулась серебряными нитями въ воздухѣ и только ранняя перелетная птица, гуси и лебеди, звонко перекликаясь глубоко въ небѣ, напоминали, что они летятъ на теплыя воды, на полдень, туда же, куда, казалось, медленно плыть и стругъ Никона...

Цѣлые дни сидѣлъ онъ и больше лежалъ на своей дорожной постели, кутая холодѣющія ноги и глядя на воду, на медленно убѣгающіе берега

рѣки, на рощи, синѣющія вправо и влѣво, на красноватые береговые обрывы и красивые изломы горъ, на селенія, то тамъ, то здѣсь какъ бы выбѣгавшія на берегъ посмотрѣть на плывущій откуда-то стругъ, а на немъ — на сумрачное съ усталыми глазами лицо стараго, невѣдомаго монаха...

Гребцы иногда затынутъ гѣсню — либо „не бѣлы-то снѣжки“, либо „внизъ по матушкѣ по Волгѣ“ — да вспомнить, кого везутъ, и замолчатъ.

Чѣмъ дальше двигался нѣкогда „державный“ заточникъ, тѣмъ быстрѣе впереди его бѣжала вѣсть, что везутъ Никона — имя, тридцать лѣтъ гремящее на Руси, благословляемое и проклинаемое, имя когда-то возглашавшееся вмѣстѣ съ царскимъ, а потомъ опозоренное, поносимое, отверженное. Народъ толпами собирался на берегу у вѣстахъ, гдѣ приставаль стругъ съ нѣкогда грознымъ, теперъ тихимъ и задумчивымъ патріархомъ. Одни тянулись къ нему за благословеніемъ, несли дары и кормъ, другіе — чтобъ увидѣть апокалипсическаго звѣря, что пустиль по Руси „пестрообразную никонианскую ересь“. Тамъ, гдѣ стругъ не приставаль къ берегу, народъ встрѣчалъ его на лодкахъ, на серединѣ рѣки, и долго слѣдовалъ за его стругомъ, съ любопытствомъ и боязнью всматриваясь въ блѣдное лицо, утомленно и печально глядѣвшее изъ-подъ высокаго чернаго клобука и окаймленное бѣлыми, серебристыми космами волосъ и бороды. Матери поднимали дѣтей, чтобъ хоть издали показать имъ Никона.

17-го августа стругъ съ „великимъ заточникомъ“ отъ Толгскаго монастыря, что противъ Ярославля, плылъ къ другому, нагорному берегу и входилъ въ рѣку Которость. Цѣлая флотилія лодокъ слѣдовала за стругомъ. На берегу Которости толпились массы народа, духовенство, свѣтскія власти, гостинные и посадскіе люди изъ Ярославова града.

Къ стругу пристала большая лодка съ московскимъ духовенствомъ и въ стругъ смиренно, съ поникшею головою, вошелъ архимандритъ Сергій, тотъ самый, котораго мы видѣли когда-то въ Соловкахъ на „черномъ“ соборѣ и который потомъ издѣвался надъ Никономъ, когда его, свергнутого съ патріаршества, везли въ ссылку. Сергій, подойдя теперъ къ ложу Никона, припаль головою къ днищу сруба...

— Прости, блаженне! не вмѣни въ вину грубство мое великое! — какъ-то застоналъ онъ, не подымая головы. — Прости, блаженне!

— Встань... Кто ты? — слабо спросилъ „великій старецъ“.

— Я Сергій... Сергушко архимаритишко... цесъ смердящій...

— Встань, Сергій... Кто ты? Я не помню...

— Я тотъ окоянный, что ругался надъ тобою послѣ собора... Прости, помилуй...

— Помню... Встань...

— Я ругался по неволѣ... Брехалъ на святителя, творя угодное собору...

— Прощаю и разрѣшаю, — слабо махнулъ рукою Никонъ.

Народъ не вытерпѣлъ и бросился въ воду, крестясь и поднимая руки...

— Батюшка! святитель! угодникъ Божій!

— Мы тебя на себѣ повеземъ! Благослови насъ!

Слабая, добрая улыбка пробѣжала по лицу „великаго старца“...

— Се Почайна, а се людѣ мои, Господи!—радно бормоталъ онъ.

Народъ, котораго увлеченья не знаютъ границъ, обезумѣлъ отъ умиленія и восторга. Стругъ, какъ щепку, вынесли здоровые руки восторженнаго народа на берегъ и все бросилось въ стругъ цѣловать руки, ноги, одежду, ложе освобожденнаго узника-святителя... У изголовья его стоялъ Сергій и плакалъ...

Сквозь толпу протискалась старая престарая монашка и тоже плакала, шепча: „Микитушка-свѣтикъ“... Но Никонъ уже не узналъ своей жены...

Солнце клонилось къ западу, золотя лучами шелковистое серебро волосъ и бороды Никона. Заблаговѣстили къ вечерамъ...

При звонѣ колоколовъ лицо Никона преобразилось; ему казалось, что подъ этотъ священный голосъ церковей онъ вступать въ Москву, со славой, благословляемый народомъ... Что-то прежде, величавое блеснуло въ его глазахъ, въ чертахъ лица... Онъ бодро глянулъ кругомъ на небо, на солнце, сталъ опрavlять себѣ волосы, бороду, одежду, какъ бы готовясь въ путь...

Стоявшіе у его изголовья архимандриты Сергій и Никита кирилловскій поняли, что „великій странникъ собрался въ далекій, невѣдомый путь“—и стали читать отходную...

И Никонъ все понималъ: сложивъ на груди руки, вытянулся—и глубоко продолжительно вздохнулъ, чтобы уже больше не повторять этого вздоха...

Такъ кончилъ и другой боецъ изъ воиновъ той великой битвы, которая вотъ уже третье столѣтіе ведется между двумя половинами русской земли, ведется единственно вслѣдствіе того, что обѣ половины не вѣдаютъ, что творять...

Что же случилось съ другими лицами, которыхъ мы забыли на время, занятые главными историческими дѣятелями „Великаго раскола“?

Петрушенька царевичъ, которому пошелъ уже десятый годокъ, по смерти батюшки пересталъ топить щенятъ и котятъ, и вмѣстѣ съ сверстниками „робятками“ изволить тѣшиться потѣшными ружьями, барабанами, пушками, и изъ зависти къ сестрицѣ Софьюшкѣ перегоняетъ уже ее во всѣхъ „уркахъ ариеметикін“ и иныхъ хитростей.

Царевна Софьюшка стала уже совсѣмъ взрослой дѣвицей и зорко присматривалась къ тому, какъ ея больной братецъ, царь Федюшка, „государствуетъ“, чтобы и самой послѣ него „государствовать“, не забывая въ то же время зорко присматриваться къ красивому, статному княжичу Васенькѣ Голицыну.

Симеонъ Полоцкій, „расплодивъ въ Москвѣ продувныхъ хохловъ, что таракановъ“, лежалъ уже въ сырой землѣ на кладбище Заиконоспасскаго монастыря, велѣвъ посадить на своей могилѣ вербу, чтобы она напоми-



нала ему и въ могилѣ его далекую, дорогую Украину. Царевна Софья часто посѣщаетъ его могилу, тѣмъ болѣе, что тамъ она въ первый разъ поцѣловалась съ своимъ княжичемъ Васенькой...

Мамушка ея продолжаетъ вязать чулокъ и спускать петли и со-слѣпу уже не видитъ и не слышитъ, какъ Софьюшка царевна бѣгаетъ иногда, въ селѣ Коломенскомъ, въ садъ, къ пруду, на свиданье со своимъ Васенькой.

Мать Меланія попрежнему неуловима и втихомолку готовитъ ту страшную драму, которая разразилась „стрѣлецкимъ бунтомъ“ и бритьемъ всей Россіи.

Ондрейко Поджабринъ, стрѣлецъ, нѣтъ-нѣтъ да и вспомнить тѣ „буркалы“, которыя онъ видѣлъ когда-то въ кельѣ Никона въ Воскресенскомъ монастырѣ, а потомъ на плахѣ на Лобномъ мѣстѣ.

Ласточкино гнѣздо, пощаженное Никономъ, чернѣется попрежнему на переходахъ патриаршихъ келій. Въ немъ выводится уже семнадцатое поколѣніе потомковъ той ласточки, которую кормилъ мухами Никонъ. Куда бы онѣ ни улетали на зиму, а весной оиань возвращались къ старому гнѣзду, какъ бы вспоминая Никона.

А что случилось съ нашими украинцами и украинками?

Петрушка Дорошонокъ, нынѣ воевода Петръ Дорофеичъ, тоскуетъ въ „московской неволѣ“ въ селѣ Ярополчѣ, Волоколамскаго уѣзда, и вспоминаетъ о милой Украинѣ и о своей хорошенькой, но вѣтренной женкѣ, оставшейся въ Чигиринѣ.

А женка, совсѣмъ не старѣющаяся, продолжаетъ слушать „веснянки“ и „скакать черезъ плотъ съ молодшими“, начиная съ Мазепы и кончая юнымъ бунчуковымъ товарищемъ Остапикомъ.

Мазепа, обманувъ Брюховецкую, утопивъ потомъ своего благодѣтеля, Дорошенка, и начавъ уже копать яму другому благодѣтелю, гетману Самойловичу, шибко идетъ въ гору и шибко продолжаетъ „скакать въ гречку“ со всякою смазливенькою женщиною, будь то украинка, полька и даже московка.

Маленькій Гриць Брюховецкій, играя въ „Шума“, простудился и отдалъ Богу свою младенческую душу, твердя въ своей мертвой постелькѣ: „ахъ-мамо, яко бо ты московка...“

Мама „московочка“ не пережила своего Гриця; такъ она и не видала своей родной сторонки, Москвы бѣлокаменной, а, умирая, благословила, Украину, гдѣ ее всѣ любили.

Петрусь продолжаетъ усердно мазать чоботы дегтемъ и жениться со своею Явдохой. Когда онъ узналъ, что москали дегтемъ не мажутъ сапогъ и „все переказались“ изъ-за того, какъ креститься — двумя или тремя пальцами, онъ только рукой махнулъ: „отъ дурни москали!..“

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
Д. Л. Мордовцева.

---

# НАНОСНАЯ БѢДА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

*Dies irae, dies illa!..*

---

Часть I.

---

Томъ XV.

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Издание Н. Э. Мертца  
1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 18 іюля 1901 г.

Типографія „В. С. Балашевъ и К<sup>о</sup>“. Спб., Фонтанка 95.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

### I.

#### Кагульская цыганка.

Весною 1770 года, отряды русских войск, послѣ жаркихъ побѣдныхъ схватокъ, подъ начальствомъ генерала фонъ-Штофельна, съ передовыми турецкими отрядами въ окрестностяхъ Кагула и Галаца, двигались, по распоряженію главнокомандующаго, графа Румянцева-Задунайскаго, вдоль праваго берега Прута къ Яссамъ.

Несмотря на то, что это было еще въ началѣ мая,—дни стояли знойные. Отъ утра до ночи, раскаленное солнце, утомительно-медленно двигаясь по голубому, такому же, повидимому, знойному небу, ни разу, вотъ уже нѣсколько дней, не встрѣчало на немъ ни одного облачка, которое могло бы заслонить собою хоть на часъ это безжалостное, раскаленное Богомъ до-бѣла и брошенное надъ томящеюся отъ зноя землею неотражимое ядро. Степь—голая, сѣрая, выжженная солнцемъ, словно проклятая Богомъ пустыня, не даетъ ни тѣни для освѣженія наболѣвшей отъ жару головы, ни влаги, чтобы промочить пересохшее, какъ и эта безжалостная степь, горло. Прутъ отошелъ далеко въ сторону, словно бы и ему опостылѣла эта сѣрая, мертвая пустыня, и не надѣ чѣмъ отдохнуть утомленному однообразіемъ глазу, не на чемъ остановиться притупленному вниманію. Медленно и нестройно, словно послѣ пораженія, плетутся отряды въ этомъ пеклѣ—въ „вавилонской печи огненной“, какъ обозвалъ съ досады эту знойную степь отецъ Сила, полковой священникъ азовскаго полка.

Отецъ іерей лежитъ въ фургонѣ, вмѣстѣ съ обозомъ, слѣдующимъ за отрядами, и отъ времени до времени высовываетъ изъ своего колеснаго шалаша включенную бороду и заспанные глаза, чтобы въ сотый разъ удостовѣриться, что нѣтъ впереди ни воды, ни лѣсу.

— И впрямь пустыня Аравійская,—ворчатъ онъ, пряча голову подъ навѣсъ кибитки.

Солдаты, большею частью босикомъ, съ казенными башмаками и ранцами за спиной, медленно идутъ—тамъ кучками, словно овцы, тамъ вразсыпную, какъ дудаки въ степи, и рѣдко-рѣдко перекидываются то островами, то крѣпкимъ словомъ, то руганью на жарынь и другими замѣчаніями критическаго свойства. Обозныя лошади немилосердно фыркаютъ, отби-

ваясь отъ мухъ, слѣпней и оводовъ. Едва влекомыя усталыми артиллерійскими конями мѣдныя пушки до того накалены, что къ нимъ боятся дотрогиваться утомленные солдатики. И пѣхота и конница, животныя и люди, даже полковая косматая собачка Малашка—все это чувствуетъ на себѣ тягость знойнаго перехода.

— Что, хохли—всѣ подошли, тепло?—спрашиваетъ загорѣлый, веснучатый, съ красными бровями и рыжими рѣсницами юркій солдатикъ своего мѣшковатаго товарища съ чернымъ какъ голенище лицомъ.—Не холодно, поди, хохли?

— Э! до чортового батька тепло.

— А пить, небось, хочешь?

— Ще-бъ не хотить! Ажъ шкура болять.

— Квасу бы, поди? а?

Товарищъ молчитъ, насунился, сопить и шагаетъ.

— Съ ледкомъ бы кваску? а, хохли, ладно бы чу?

Молчить „хохли“ на такую неумѣстную шутку. Напоминать о квасѣ со льдомъ въ этомъ пеклѣ—да это ножъ вострый!

А ты языкъ высунь, хохли,—полегшаеть.

— Да замовчи ты, собачій сынъ!—сердится хохоль.

— Я толкомъ тебѣ говорю—высунь... Вонъ видишь—Малашка поумиѣй тебя—высунула, небось.

Собака, услыхавъ свое имя, подбѣжала къ солдатамъ, махнула хвостомъ въ знакъ вниманія и спрятала свой длинный языкъ.

— Видишь,—продолжалъ рыжій, указывая на собаку:—она высунеть языкъ, слюни у нея текутъ... ну, ей и квасу не надо...

Мѣшковатый хохоль хотѣлъ сплюнуть съ досады, но во рту не оказалось даже слюны.

— Тьфу ты чортъ! Отъ бисова туречина!

— А ты пулю въ ротъ положи—это помогаетъ.

— Яку пулю?

— Да вотъ яку.

И рыжій, вынувъ изъ рта пулю, показалъ ее хохлу. Собака тоже любопытствовала узнать, что тамъ такое—не съѣдобное ли...

— Что, Маланья, и тебѣ пулю дать?—продолжалъ рыжій.—Да ты, сучья дочь, проглотишь ее, а пуля-то казенная... А ты вотъ что, хохли—всѣ до одинаго подошли (обратился онъ къ товарищу)—слушай меня: положи пулю въ ротъ—она сокъ дастъ.

— Что ты брешешь?

— Песь брешеть, а не я... Эдакъ старыя солдаты завсегда дѣлають: коли пересохло во рту—бери пулю... Въ ей, братецъ ты мой, вода есть, вонъ она штука-то какая...

Гдѣ-то назадъ, въ обозѣ, поетъ чья-то протяжная пѣсня:

Вылетала голубина на долину,  
Выроняла сизы перья на травину...

Въ это время въ переднихъ отрядахъ слышались радостныя возгласы. Они переходили отъ группы къ группѣ.

— Что тамъ? Ужъ не турки ли?

— Вода! вода!—слышались возгласы.

Дѣйствительно, передніе отряды завидѣли вдали воду и привѣтствовали ее радостными криками, подобно тѣмъ греческимъ войскамъ, блуждавшимъ по пустынѣ и томившимся жаждою, о которыхъ говоритъ Ксенофонтъ въ своемъ безсмертномъ „Анабазисѣ“... „Таласса! таласса!“ — кричали греки, издали увидавъ море—свою родную стихію.

— Вода! вода-матушка, братцы!—ликковали истомленные солдаты.

— Ведро выпью,—сурово пробормоталъ оживившійся хохоль.

Маланья, видя общую радость, визжала отъ счастья, перебѣгая отъ одного солдата къ другому. Лошади ржали. Отецъ Сила торопливо рылся въ фургоны, ища дорожный баклажекъ.

— Яко елень на источники водныя стремится, радуясь,—бормоталъ онъ.

Скоро сдѣлали привалъ на берегу Прута. Вездѣ стоялъ гулъ невозбразимый. Солдаты и лошади торопились къ водѣ— послѣдніи бились, рвались изъ упряжи. Маланья чуть ли не первую забралась въ воду и, налокавшись власящю и выкупавшись, неистово лаяла, цѣпляясь за морду лошади, которая торопилась къ водѣ. Походная жизнь научила умную собаку нѣкоторымъ кавалерійскимъ приемамъ: она знала, что солдаты не позволяютъ лошадямъ пить воду тотчасъ послѣ похода, пока онѣ не остыли, — и продувная собаченка не пускала лошадь къ водѣ...

— Держи ее, держи, Маланья!—подзадоривалъ рыжий, стоя на карачкахъ и смачивая водой свою рудую голову.

Хохоль исполнилъ обѣщаніе—выпилъ чуть ли не цѣлое ведро воды, и мылъ свои усталыя ноги. Другіе солдаты купались. Отецъ Сила, стоя на берегу въ одномъ подрясникѣ, разсуждалъ самъ съ собою:

— Се вода—что возбравяеть мнѣ купаться?

Мѣсто для привала было великолѣпное. Ровный, нѣсколько обрывистый къ рѣкѣ берегъ Прута мѣстами покрытъ былъ прошлогоднимъ пересохшимъ камышемъ, сквозь который проросли стебли новаго, зеленого, и заглушали эту отжившую старость. Кое-гдѣ торчали, словно горбатыя и неуклюжія старухи, толстыя, душіястые стволы ивняка-тополя, съ тонкими, словно не имъ принадлежащими и врозь раскинутыми вѣтвями, на которыхъ уже висѣли солдатскіе ранцы, наскоро вымытыя рубахи, плохо вымытыя портянки и запыленные башмаки. Тамъ и сямъ уже курился дымокъ—то солдаты развели огни, чтобы сварить себѣ каши, у кого была крупа, или смастерить сухарныя щя съ дикимъ щавелемъ, рѣшимъ по берегу. По временамъ, въ общемъ гулѣ голосовъ и лошаднаго ржанья слышался звонкій голосъ полковой Маланьи, которая гонялась уже въ камышахъ за молодыми утинными и куличинными выводками...

Полковому начальству успѣли разбить палатки, и тамъ между офицерами шли оживленные толки о войнѣ, объ удачныхъ поискахъ за турец-

кими отрядами и не менѣе удачныхъ схваткахъ съ ними. Упоминались имена Румянцева, Суворова, Орлова...

— Помогли бы намъ черногорцы съ той стороны, да сербы, такъ мы бы и до Константинополя дошли, — говорилъ полковникъ фонъ-Шталь, сухопарый вѣмецъ съ холодными глазами.

— Матушка императрица писала графу: „подожгла-де я турецкую имперію съ четырехъ ковцовъ—загорится ли только?“—замѣтилъ генераль фонъ-Штофельнъ.

— Какъ солома вспыхнетъ, ваше превосходительство,—бойко отвѣчала молодой бѣлокурый офицеръ.—У нашей государыни рука легкая... Да и чума намъ поможетъ...

— Такъ-то такъ, молодой человекъ, — задумчиво возразилъ фонъ-Штофельнъ:—только чума, государь мой, опасный союзникъ...

— Къ намъ она не пристанетъ-съ... Она больше любитъ азіатовъ...

— Дай-то Богъ...

Недалеко отъ генеральской палатки, у самого берега рѣки, на небольшомъ коврижѣ, разостланномъ подъ тѣнью стараго тополя, сидѣли три молоденькихъ сержанта. Одинъ изъ нихъ, прислонившись спиной къ стволу дерева и подперевъ голову руками, сидѣлъ молча, а двое другихъ, покуривая трубки, изрѣдка перекидывались замѣчаніями, видимо наслаждаясь отдыхомъ.

— Да что ты, Саша, такой скучный? — спросилъ одинъ изъ нихъ, сильный брюнетъ съ сѣрыми глазами, обращаясь къ тому, который молчалъ, склонивъ голову на руки.—Все объ невѣстѣ тоскуешь?

— Не знаю, такъ тоска какая-то,—отвѣчалъ тотъ, не поднимая своей бѣлокурой курчавой головы.

— Ну, вотъ еще! Тоска да тоска... Такъ напустилъ на себя...

— Нѣтъ, не напустилъ... а мнѣ чего-то страшно...

— Да что съ тобой? — и брюнетъ приподнял голову своего задумчиваго товарища.—И глядишь-то мокрой курицей...

Тотъ молчалъ, тоскливо глядя на воду.

— Чего же страшно? Турокъ здѣсь нѣтъ, да ты и не изъ трусливаго десятка...

— Я и самъ не знаю... Но такая тоска, такая смертная тоска, что хоть утопиться, такъ въ пору...

А въ обозѣ, позади артиллеріи, опять носетъ заунывная, тоскливая пѣсня:

Заной, заной, сердечушко—эхъ, ретивенькое!

Кормилъ, поилъ красну дѣвку—эхъ, и прочилъ за себя!

Досталася моя любушка—эхъ, иному, не мнѣ,

Эхъ, что иному, не мнѣ—лакею свиньѣ...

Молодые люди засмѣялись. Не смѣялся только тотъ, который говорилъ, что его сосетъ тоска.

— Еще бы! Кормилъ-поилъ, а она досталась свиньѣ холоу, — замѣ-

тиль другой сержантъ съ непомѣрно широкими плечами.—Ну, а твоя Лариса тебѣ и достанется... Объ чемъ же тосковать?

— Я самъ не знаю, но это вотъ ужъ нѣсколько дней... съ той самой ночи, какъ мы языка добывали подъ Кагуломъ... У меня изъ ума нейдетъ старая цыганка...

— Какая цыганка?

Тотъ, къ которому относился этотъ вопросъ, сначала какъ бы что-то припоминаль, безмолвно глядя въ далекое пространство, открывавшееся за Прутомъ, а потомъ, приложивъ ладони къ вискамъ и крѣпко сжавъ голову, со вздохомъ заговорилъ:

— Я ужъ думаю, что она испортила меня... Я вамъ не говорилъ объ этомъ... А вотъ какъ было дѣло: казаки выслѣдили цыгана, который ночью пробирался черезъ нашу цѣпь, и донесли объ этомъ полковнику. Полковникъ тотчасъ же послалъ меня съ тремя казаками достать этого цыгана. Ночь была темная — зги не видать... Тихо кругомъ, такъ тихо, что слышно какъ сердце у тебя стучать подѣ кафтаномъ... Ползкомъ мы пробрались къ цыганскому табору—тамъ все спало... Одинъ шалашъ стоялъ далеко на отшибѣ, у овражка,—и тамъ свѣтился огонекъ... Въ овражкѣ лежалъ нашъ сторожевой казакъ... Изъ овражка мы и подобралась къ шалашу... Цыганъ только что собирался уходить—должно быть къ туркамъ, къ Кагулу,—какъ мы повалили его, связали и заклепали ему ротъ... Въ этотъ моментъ изъ шалаша выползла цыганка, схватила было меня за руку, но я наставилъ ей княжалъ прямо въ грудь... Я зажалъ ей ротъ и втащилъ въ шалашъ... Тамъ и ее связали... А она, проклятая вѣдьма, припала къ моей рукѣ—и ну цѣловать ее... Я отдернулъ руку... А она ощерила свой страшный беззубый ротъ, и говоритъ: „Помни кагульскую цыганку Мариюлу — помни... Я поцѣловала твою руку... Помни поцѣлуй Мариюлы—я посылаю его всей вашей проклятой землѣ... Я“... Только ей не дали договорить заклинанья — казакъ отрубилъ ей голову шашкой... кровь брызнула мнѣ въ лицо... ужасная сѣдая голова, скатившись на землю, хлопала глазами — какіе страшные бѣлки!.. и языкъ высунула — длинный, блѣлый, страшный... О! я не могу забыть этой ужасной, хлопающей глазами головы—мертвой головы... Она заклала меня, испортила...

А изъ обоза опять доносится ноющая пѣсня:

Подуй, подуй, погодушка—эхъ, не маленькая!

Раздуй, развей рябинушку—эхъ, кудрявенькую!

— Съ той поры я мѣста себѣ не найду: такая тоска!

— Полно! Это отъ думъ...

— Отъ думъ... а какъ ихъ изъ головы выгонишь?

И говорившій это снова стиснулъ ладонями виски, какъ бы желая выдавить изъ головы неотвязчивыя думы...

А пѣсня опять поетъ:

Заной заной, сердечушко—эхъ, и ретиво—о—о—е!

— Проклятая пѣсня!..



— Зачѣмъ проклятая! Наша родная, рязанская...

— Душу всю вымотала...

— То-то и любо, что душеньку выматываетъ...

Настали прохладныя сумерки. Костры все ярче и ярче разгорались. Знойный день забыть—забыты всѣ трудности и опасности войны, тяжелые переходы, безводье, безхлѣбье, безсухарье...

Въ обозѣ тренькаетъ балалайка, а подѣ это тренькаетъ бойкій голосъ выгаркиваетъ:

Внизъ по Волгѣ по рѣкѣ,  
У Макарья въ ярмонкѣ,  
У Софонова купца,  
У гостинова двора,  
Солучилася бѣда—  
Что бѣда—бѣда—бѣда,  
Эхъ, не маленькая!..

Къ утру молодой сержантъ метался въ палаткѣ на маленькомъ коврикѣ.

— Что, Саша, голова болить?—спрашиваютъ товарищи.

— Охъ, какъ болить! Она, цыганка, испортила меня. Я не встану ужъ.

— Полно! что ты! Простая лихорадка...

— Нѣтъ, я умру... Тутъ огонь...

Больной силился разстегнуть воротъ рубашки... На голой, покрывшейся красными пятнами груди, блеснулъ маленькій образокъ—складни...

— Какой онъ горячій—образокъ... Тутъ ея волосы... Ахъ, Лариса... милая... не видать ужъ мнѣ тебя...

— Перестань, Саша... Сейчасъ докторъ придетъ...

Больной прижалъ образокъ къ пересохшимъ губамъ... Двѣ слезы выкатились изъ-подъ отяжелѣвшихъ рѣсницъ и скатились съ горячаго лица на коверъ.

— Когда я умру, положите со мной ея волосы... а образокъ отвезите ей—и мои волосы къ ней отвезите... она просила...

— Ахъ, Саша, Саша!

— Мариула... это она, проклятая... Помни Мариулу кагульскую... мертвые глаза хлопаютъ... бѣлки страшные... Мертвымъ языкомъ она прокляла меня... Охъ, душно... горить... дайте воды... льду... бросьте меня на ледъ... утопите въ проруби...

Изъ-за приподнятаго полога палатки показалось круглое, веселое, лоснящееся лицо.

— А! докторъ...

Докторъ шарикомъ вкатился въ палатку.

— Что, батенька, лихорадочку стяпали, молдаваночку? а? стяпали-таки?— улыбаясь и потирая круглыя, пухлыя руки, тараторилъ кругленькій, словно на вагѣ, докторъ.— Лихорадушки-трясунюшки—въ жаръ метанюшки... а?

— Нѣтъ, докторъ, хуже...

— Те-те-те... ужъ и хуже... Пустячки, батенька... А покажь-те язычокъ.

Больной съ трудомъ открылъ пересохшій ротъ съ запекшимися и рас-трескавшимися губами и показалъ кончикъ языка.

— Те-те-те... бѣленькой-желтенькой-сухенькой... Ну, и глазки не веселенькіе... Такъ, такъ... лихорадушку, батенька, стяпали... А мы ей, шельмѣ, хинушки-матушки, да бузинового чайку, да ликворцу эдакого ка-кого-нибудь, да господина Кастора Проносихина, да еще тамъ тово-сево сладенькаго,—ну, и ее, шельму, какъ рукой сниметь.

Смѣясь и каламбура, докторъ, однако, зорко всматривался въ его го-рящее лицо, въ мутные глаза, въ багровыя пятна на груди.

— Ишь ты, шельма... Нѣтъ, батенька, мы ее въ шею... Вотъ при-дутъ солдатики съ носилочками, да понесутъ васъ, дружка милаго, въ ла-заретный фургончикъ—тамъ помягче, подушевиѣ будетъ...

— И я не умру, докторъ?

— Аа-ай-ай! ужъ и умру... Пустяки, батенька... Еще на свадьбѣ по-пиреумъ...

— Охъ, горитъ тамъ... Лариса... милая... Матушка...

— То-то—Лариса... Занозила, звать... Ну, съ Богомъ...

И докторъ выюркнулъ изъ палатки. За нимъ вышелъ его черномазый товарищъ съ сѣрыми глазами.

— Ну что, докторъ, онъ опасенъ?

— Ничего, пустяки... Только вы, батенька, подальше отъ него: у него, шельмовство, гнилая горячечка... прилипчивая, сука — у! при-липчива!

— Такъ нѣтъ надежды?

— Пустяки! Какъ нѣтъ? Денька два проваляется...

— И встанетъ?

— Ну, ужъ встать гдѣ же!

— Какъ! отчего же такъ долго?

— Да оно, батенька, не долго... Можетъ и сегодня Богу душу отдасть... Черномазый сержантъ отскочилъ въ ужасъ...

— Что вы!

— Ничего... все пустяки... Тутъ отвергъться нельзя—вся кровь за-ражена... Завтра же похоронимъ... Все же лучше умереть тихо, на по-стелькѣ, а не подъ ножомъ у нашего старшаго мясника, гдѣ-нибудь на перевязочномъ пунктѣ... Тамъ умирать неспокойно... А у насъ... Въдъ, подумайте, батенька, какое блаженство умереть на чистенькой подушечкѣ съ руками и ногами цѣлехонькими, безъ крику, безъ гаму... Малина, а не смерть! Прощайте! Сейчасъ придутъ носильщики... А вы руки-то себѣ укусуемъ помойте, да и вообще, однимъ словомъ, подальше отъ этой шельмы молдаванки...

И докторъ исчезъ за палаткой. А больной, лежа на своемъ жесткомъ коврѣ, бессмысленно глядитъ на синѣющее изъ-за полога яркое небо, ко-торое обѣщаетъ и сегодня быть такимъ же знойнымъ, какимъ было вчера... Входъ въ палатку обращенъ на сѣверъ—туда, далеко-далеко, къ родному

краю... Тамъ не такъ жарко, не такъ душно... никогда душа не горѣла тамъ такимъ адскимъ огнемъ...

Охъ, тѣжко... Сѣдая голова качается... нѣтъ, это голова старой матери грезится наяву, а не страшная отрубленная голова цыганки... Кротко смотрять материнскіе глаза, такъ кротко, такъ, глядя въ нихъ, плакать хочется...

Изъ-за полога показывается недоумѣвающая морда собаченки и махающей въ воздухъ косматый, весь въ репейникахъ, хвостъ...

— А! это ты, Малаша...

Малаша вбѣгаетъ въ палатку и радостно, но съ прежнимъ недоумѣніемъ въ умныхъ глазахъ вертится около больного, стараясь лизнуть его руки, лицо.

И та страшная цыганка кагульская хотѣла лизнуть... Какой языкъ... какіе бѣлки!..

Входятъ носильщики... Что это у нихъ на рукахъ? Что-то черное... Смоляныя рукавицы...

Вмѣстѣ съ коврикомъ его поднимаютъ съ земли и кладутъ на носилки...

„Такъ носить убитыхъ... Развѣ я убить?“— думается смутно.

Несутъ... голова кружится... небо голубое-голубое, а словно оно опрокинулось... вертится... тополи куда-то бѣгутъ... Птица какая-то низко-низко проносится въ воздухъ— и заглядываетъ въ глаза... Чего ей нужно?..

„Заной, заной, сердечушко—эхъ, ретивенькое!“

„Что это—покутъ? Нѣтъ, это кто-то плачетъ... Объ комъ?“

Прошелъ и этотъ знойный день. Раннимъ утромъ, у берега, на пригоркѣ, рыжій съ красными бровями солдатъ и мѣшковатый хохоль копаютъ могилу. Глубоко ужъ выкопали, такъ глубоко, что рыжей головы копальщика уже не видать оттуда. Изъ ямы вылетаютъ только комья желтой сырой земли. Тутъ же и собаченка, которая любовытствуетъ заглядывать въ яму...

— Въ холодкѣ будетъ лежать молодой сержантъ, — говоритъ рыжій солдатъ, отирая потъ со лба.—Знатно тутъ будетъ спать ему...

Мѣшковатый хохоль молчитъ. Не хотѣлось бы ему спать въ этомъ холодкѣ... Дома лучше...

— Ну, будетъ, ладно... Подай руку, хохли, а то самъ-отъ я не выкарабкаюсь.

Хохоль молча подаетъ руку и вытаскиваетъ товарища изъ могилы. Собака радостно ластится къ нему: она боялась, что рыжого зарюютъ тамъ. Нѣтъ, не его зарюютъ...

А вонъ и *его* несутъ—того, котораго зарюютъ... Отецъ Сила съ крестомъ впереди — многихъ завѣрнутое съ этимъ крестомъ... А *онъ*— не *онъ* ужъ: это что-то завернутое въ бѣлый холстъ — ни лица не видать, ни рукъ, ни ногъ — просто бѣлый мѣшокъ, несомый на носилкахъ привычными руками въ смоляныхъ рукавицахъ... Э! мало ли ихъ переносено!..

Ставятъ носилки у самой могилы... Батюшка что-то читаетъ... „Земля еси и въ землю отыдеша“...

А небо такое голубое, такое высокое... „Земля еси“...

Бѣлый мѣшокъ съ „землею“ опускаютъ въ яму и засыпаютъ—тоже „землею“... „Земля еси“... нѣтъ, хуже земли...

А собачонка все старается заглянуть въ яму...

## II.

### „Она, ананемская, летаетъ“...

Холодное осеннее утро. Чуть брежжутъ на небѣ медленно потухающія звѣзды. Въ морозномъ воздухѣ далеко разносится какое-то, словно бы усталое, бряканье колокольчика. Привычное ухо отличаетъ въ этомъ бряканьѣ голоса почтовыхъ колокольцовъ.

Тамъ, откуда несутся эти усталыя позвякиванья,—темно еще, ночныя тѣни не сходятъ еще съ земли. Да и вездѣ кругомъ—темень, ночныя тѣни. Только вдоль одного воскрайка неба, къ сѣверу, тянется неровная линія какихъ-то зловѣщихъ огней: не-то горятъ разложенныя костры, не-то полоса пожаровъ растянулась отъ одного края горизонта до другого—то ярко вспыхнуть и трепыхаются страшныя огненные пасмы, то мигаютъ во мракѣ отдѣльныя огненные пятна и точки, словно глаза волка, въ глухую ночь пробирающагося къ овечьему загону.

Что это такое?.. Что за зарево?

Звяканье колокольцовъ все ближе и ближе. Изъ тьмы неясно вырисовываются очертанія дугъ, лошадиныхъ головъ, какихъ-то повозокъ... Ближе и ближе, яснѣе и яснѣе выступаютъ изъ мрака кони, повозки, очертанія возницъ, людей.

Проѣзжающіе—въ двухъ повозкахъ: одной, крыгой къ задку, кузовомъ, другой—простой ямской телѣгѣ. Они-то и звякаютъ сонными колокольцами.

Жутко, страшно смотрѣть издали на эту невѣдомую линію огней и дыма съ куревомъ... Да, виднѣется и дымъ по мѣрѣ приближенія къ линіи огней... Словно земля вспыхиваетъ и горитъ—и страшнѣе видъ этой горящей земли... Кто же жжетъ землю?..

Вонъ бродятъ какія-то тѣни около огней. Виднѣются шесты, колья, дубье и еще что-то длинное въ рукахъ этихъ зловѣщихъ человѣческихъ тѣней.

— Что это за зарево? — тихо спрашиваетъ молодой, въ дубленомъ полушубкѣ съ военными нашивками, проѣзжій, что въ первой повозкѣ.— Развѣ подь Москвой, у Коломны, паливали когда степи, какъ палаять ихъ по Дону, на низахъ, да по Пруту въ Бессарабіи?

— Не степи палаятъ, а это, поди, бекеты,—такъ же тихо отвѣчаетъ другой, рядомъ съ первымъ сидящій проѣзжій, одѣтый въ волчью шубу.

— Зачѣмъ бекеты? какіе?

— Сторожевые... карантенные... Вотъ влопался!

— Что ты, Игнатій! Ужли карантень? Вотъ бѣда! — испуганно воскликнулъ первый.

— Что? что такое?—удивленно спрашиваетъ третій путникъ въ медвѣжьей шубѣ, проснувшійся отъ восклицанія перваго.

— Бѣда, полковникъ... На карантень наткнулись, кажись... Бекеты...

— Да ихъ къ Москвѣ не было...

— Вонъ огни... курево... народъ.

А огни все ближе, ярче, зловѣще... И зловѣщія человѣческія фигуры съ дубьемъ, длинными шестами и баграми тоже надвигаются ближе...

— Стой! кто ѣдетъ? — раздается голосъ изъ кучки, загородившей дорогу.

— Остановь лошадей! Ни шагу!

Окрики грозные, рѣшительные. Такъ даромъ кричать не стануть... Дѣло нешуточное—окрикъ ставятъ ребромъ...

Повозки останавливаются... Дубье, шести, багры, кулаки въ чудовищныхъ рукавицахъ, энергичные жесты этихъ чудовищъ-рукавицъ въ воздухѣ—да передъ всѣмъ этимъ кто не остановится!

— Кто ѣдетъ?—раздается повторительный угрожающій голосъ.

— Ея императорскаго величества войскъ полковникъ и кавалеръ фонъ-Шталь!—отзывается смѣлый голосъ изъ медвѣжьей шубы.

Дубье, вилы, шести, багры надвигаются гуще, но не ближе... Зипуны и кафтавы сучиваются, вырастаютъ въ стѣну, а за ними—гулъ, трескъ, новые голоса...

— А откелева путь держите?—допрашиваютъ люди съ дубьемъ.

— Изъ благополучнаго мѣста,—отвѣчаютъ изъ повозки.

— А изъ каково-таково? Сказывай!

— Изъ города Хотина...

— У!.. гу!.. у!—начинается ропотъ:—нѣту таково города...

— Нѣту, не слыхивали. У!.. гу!

— Прочь съ дороги! Пропустите!—повелительно кричить полковникъ фонъ-Шталь, тотъ сухой нѣмецъ съ холодными глазами, котораго во время привала русскихъ отрядовъ при Прутѣ, въ Бессарабіи, мы видѣли въ палаткѣ генерала фонъ-Штофельна. — Разступись! Я по казенной—отъ его сіятельства графа Румянцева-Задунайскаго.

— Не пропущай, братцы! Въ загонъ ихъ!—угрожающе выкрикиваютъ десятки глотокъ.

— Въ досмотръ ихъ! въ карантей! Гони въ карантей!

— Заворачивай назадъ, откуль пріѣхали...

— Что вы! взбѣсилсь!..

Да, взбѣсились... Страшно волнующееся море сѣрыхъ зипуновъ, когда оно взбѣсится, ошалѣеть...

Нечего дѣлать—надо повиноваться внушительному виду этой стѣны съ дубьемъ... Ни съ мѣста... Тоже и со второй телѣгой... Она поотстала; но и она наткнулась на дубье...

— Стой! Кто ѣдет? Откелева?

На этотъ окликъ изъ телѣги залаяла собака.

— Стой, черти! Кто ѣдет?—повторяется окликъ.

— Ординарцы полковника Шталова!—бойко отвѣчаетъ знакомый голосъ—голосъ рыжаго солдата съ красными бровями, того, что рылъ могилу молодому сержанту на берегу Прута.

— Откелева?

— Изъ благополучнаго мѣста.

— Каково-таково?

— Та изъ благополучнаго-жъ, чортовы москали!—раздается сердитый окликъ изъ телѣги—и тоже знакомый голосъ: это голосъ того мѣшкова-таго хохла, что тамъ же, вмѣстѣ съ рыжимъ солдатомъ, у Прута, рылъ могилу молодому сержанту.

— Не пушай! Гони и этихъ въ карантей! Въ загонъ ихъ.

— А, бисова Москва!—ворчить хохоль, чувствуя, что что-то не ладно— „непереливки“...

А Маланья-полковая, высунувъ свою незлобивую морду изъ-подъ соломы, заливаается—лаетъ на страшныхъ людей, лавой обступившихъ телѣги...

Прибываютъ новыя толпы, словно изъ земли вырастаютъ. Зарево огней зловѣще отражается на ихъ длинныхъ баграхъ, на верхахъ нахлобученныхъ на глаза шапокъ. Толпы густѣютъ и надвигаются, видѣются уже страшныя, озвѣрѣлыя лица ожесточенныхъ страхомъ и несчастіями людей.

— Стой, робя! Не подходъ близко!

— Не подходъ! *Она* на два-сорока сажонъ беретъ...

— У-у-у! бей ихъ! Что глядѣть!

— Бей, братцы! Язвенные...

— Изъ язвенныхъ мѣсть, изъ мору самово. Бей ихъ!

— Въ огонь ихъ! Баграми бери!

— Не подпушай ихъ, братцы! не подпушай!

— Баграми тащи!

— Не трошь!

— Чаво, не трошь! Куда лѣзешь?

— Не трошь, говорятъ тебѣ, багромъ! *Она* по багру дойдетъ...

— Знамо, дойдетъ... *Она* хуже птицы—летаетъ *она*...

— *Она* одново огня боится... Мышь словно летуча, нетопырь...

— Не приходи, православные! Бога вы не боитесь!—раздается новый голосъ.—*Она* летать... *она* въ Кеивъ изъ Туречины на сорочьемъ хвостѣ прилетѣла.

Толпа замираетъ на мѣстѣ отъ этихъ словъ... *Она* летаетъ—что жъ еще можетъ быть ужаснѣе!.. Замерли и пробѣзжающіе... Безжалостная, безпощадная, „наглая“ смерть глядѣла имъ прямо въ очи... Храбрый по долгу службы, аккуратный по воспитанію, немножко педаггическій по темпераменту, немножко вороватый по крови, вѣмецъ Фонтъ-Шталь мысленно прощается съ своею доброю супругою Амаліею, съ своимъ сыномъ Кар-

лушею, который весь въ папашу, съ своею дочкою Вильгельминушкой, которая вся въ мамашу, и съ своимъ генеральскимъ чиномъ, къ которому онъ уже представленъ его сїятельствомъ, графомъ Петромъ Александровичемъ Румянцевымъ-Задунайскимъ... Сидящій противъ него въ повозкѣ молодой сержантъ Рожновъ Игнаша тоже мысленно прощается съ своею молодостью, съ бѣлобрысенкою, курносенькою, прехорошенькою Настею, которую онъ надѣялся сегодня же обнять въ Москвѣ послѣ долгой разлуки—обнять тамъ въ сѣнцахъ, гдѣ когда-то въ первый разъ они... Эхъ!..

„Заной, заной, сердечушко!..

„Подуй, подуй!..

„За что же, Господи!.. Да откуда это! За что!.. Ужли и насъ всѣхъ прокляла эта кагульская цыганка, какъ прокляла *его*, бѣднаго Сашу?“..

Все замерло, застыло въ недоумѣнїи, въ страхѣ, въ нерѣшительности... Но недолга эта нерѣшительность въ обезумѣвшей толпѣ: ожиданіе бѣды, острый страхъ опьяняетъ какъ вино—страхъ за свои дома, за своихъ женъ и дѣтей, за свою жизнь... Тутъ одинъ неосторожный крикъ доводитъ толпу до умоизступленія, осатаняетъ... И этотъ крикъ, этотъ вопль раздается...

— Дядя Сысой, стрѣляй въ ихъ!

— Пали изъ поганого ружья! Она боится пороху—огня... Лущи ихъ.

— О мейнъ Готтъ! дасть истъ шрекклихеръ альсь бей Кагуль,—шепчетъ растерявшійся храбрый нѣмецъ.

— Господи! прими душу... Настя... Настенька...

Но въ этотъ моментъ позади толпы раздается конскій топотъ... Толпа колыхнулась... Это скачетъ конный разъѣздъ—пики, сабли блестятъ...

— Прочь съ дороги, разбойники! Кого грабите? — рѣзко кричитъ передовой всадникъ.

— Что кричишь! Эвона! Мы не разбойники, не грабимъ-ста...

— Мы язвенныхъ пымали, моровыхъ...

— Чумные, слышь... Крадучись ѣдутъ,—гадить толпа вперебой другъ другу.

— Прочь, мерзавцы! Стрѣлять велю, колоть, рубить...

— Колоть! За что колоть?

— За что стрѣлять? Мы-ста не турки...

— Хуже турокъ, сволочь!

Всадники напѣраютъ ковыми, топчуть, колотятъ взапой палашами... Толпа раздается... Смирѣть за минуту грозная толпа—руки неволью поднимаются къ шапкамъ, рыжія и русыя включенныя головы обнажаются... Видны и свирѣпыя лица, но нерѣшительныя... некому крикнуть—„братцы!“ а то бы...

Передовой всадникъ, въ конно-гвардейской формѣ, приближается къ прїѣзжимъ, не подѣзжая, однако, къ самымъ повозкамъ.

— Кто ѣдетъ и откуда?—повторяется прежній допросъ.

— Войскъ ея императорскаго величества полковникъ и кавалеръ

фонъ-Шталь, комендантъ города Хотина, съ двумя сержантами и ординарцами. Ъду въ столичные города Москву и Санктпетербургъ по дѣламъ службы...

— А! имѣю честь рекомендоваться, господинъ полковникъ: я—конной гвардіи полковой обозной Хомутовъ, по высочайшему ея императорскаго величества повелѣнію командированный подъ главное смотрѣніе и распоряженіе его сіятельства, господина генерала фельдмаршала и московскаго главнаго начальника, графа Петра Семеновича Салтыкова, для наблюденія за проѣзжающими изъ арміи и Малороссіи и для выдержанія такихъ въ карантѣнъ... Какъ же вы, господинъ полковникъ, попали сюда?—спросилъ начальникъ коннаго разѣзда, отпрапортовавъ казеннымъ штилемъ и съ должнымъ респектомъ о своемъ званіи.

— Да я, господинъ офицеръ, Ѫду на Коломну.

— Но вы, господинъ полковникъ, съѣхали съ почтоваго тракта...

— Это не спроста... они язвенные... чуму везуть,—послышалось въ толпѣ.

— Молчать! а то нагайками...

Многіе въ толпѣ почесали спины—по рефлексамъ ручныхъ мускуловъ—по воспоминаніямъ—вспомнили ошущенія нагаекъ... „А хлестко бьются, каналы—у! хлестко...“

— Какъ съѣхали, господинъ офицеръ?—недоумѣваетъ фонъ-Шталь.

— Съѣхали, господинъ полковникъ... Почтовый трактъ лѣвъѣе...

— Точно, вашеско-родіе, съѣхамши маленько... нечистый попуталь,—чешутся ямщики.—Темень это ночью, вздремнули, поди, маленько, попуталь лукавый, ну, и тово—не въ ту, значить... не угодили малость...

— То-то!—засмѣялся начальникъ коннаго разѣзда:—вась было за это и приняли въ дубе...

— Это точно, вашеско-родіе, приняли было... опаско...

— Язвенны, думаемъ, чуму везуть...

— А она, анаѣемская, чу, летать, какъ птица... ну, мы ее и надумали въ огонь...

Толпа галдѣла уже въ болѣе мирномъ духѣ—отъ сердца отходило...

— Ну, господинъ полковникъ, вы и ваши будущіе подлежатъ карантенному осмотру: я долженъ препроводить вась въ карантѣнъ, для досмотра,—сказаль Хомутовъ.

— Что дѣлать, господинъ офицеръ!—со вздохомъ сказала фонъ-Шталь:—я не смѣю послушаться закона... Я всегда былъ вѣрнымъ слугою ея императорскаго величества, всемилостивѣйшей гоубударыни моей.

Свѣтало совсѣмъ... Линія кордонныхъ огней, тянувшаяся вдоль всего нагорнаго берега Оки, блѣднѣла по мѣрѣ исчезновенія сумерекъ. Предразсвѣтнымъ вѣтеркомъ дымъ гнало вдоль рѣки, и картина была все еще внушительная, зловѣщая... Лица народныхъ стражниковъ, сошедшихся и согнанныхъ изъ всѣхъ окрестныхъ правобережныхъ селъ, при утреннемъ свѣтѣ казались блѣдными, истомленными... Да и какъ не истомиться въ голодѣ и холодѣ, въ ежеминутномъ ожиданіи, что вотъ „она, анаѣемская,



невидимая, неслышимая, на птичьих крыльях летающая, за багры и шесты, как бѣшеная собака, цѣпляющаяся, за зипуны хватающая—она, страшная, которой никто не видалъ и которой походки и лету никто не слыхалъ, она вдругъ придетъ... можетъ быть ужъ пришла—сидитъ вонъ на томъ камнѣ, вонъ тамъ за кустомъ, на этомъ колесѣ, можетъ—она на этой дугѣ сидитъ, въ ямской, въ валдайской колоколець звонить, въ очи каждому смотреть, за плечи хватаетъ, по тѣлу мурашками ползаетъ—какъ тутъ не исхудать, не поблѣднѣть? „Одного огня, слышь, боится—ну, и жаръ ее, анаемскую... А все за грѣхи да за нечистоту, сказываютъ господа... А гдѣ ее, чистоты-то этой, взять?... До чистоты ли тутъ, коли на камнѣ, въ канавкѣ, въ кустъ головой, съ ногами въ лаптяхъ безъ онучь—а гдѣ взять онучь?—колитакъ-тѣ, по-скотыи, по-собачьи спать-жить приходится? Гдѣ ее, чистоту-ту, взять, коли въ избѣ ребяткамъ малымъ да бабамъ съ телкой сутельной да со свиньей супоросой спать приходится вмѣстѣ? И то слава тѣ Господи, коли есть телка... А то и на печь бы ее положилъ, за столъ въ передній уголъ посадилъ бы ее, коли бы была... а то нѣту-ти и ее—продана, а денежки за подушное дадены... А то—чистота! Гдѣ ее, чистоту-ту, взять, коли нечего жрать? Ну, и язва, ну и чума приходитъ—потому ни хлѣба, ни чистоты нѣту-ти—начисто“!..

Толпа рѣдѣла. Повурныя головы расходились къ своимъ сторожевымъ кострамъ...

— Ямщики, трогай!—скомандовалъ Хомутовъ, молодой, видный мужчина, съ простымъ добродушнымъ выраженіемъ на кругломъ лицѣ.

Повозки своротили влѣво и поѣхали узкимъ проселкомъ. Разъѣздная команда, по наряду Хомутова, раздѣлилась на двое, и одна половина ея поѣхала берегомъ Оки внизъ по теченію, вправо, другая взяла влѣво, по направленію къ Коломнѣ, высокія колокольни которой красиво вырѣзались, по ту сторону рѣки, на синевѣ чистаго утренняго неба... Доносился звонъ колоколовъ—не-то утрени, не-то раннія обѣдни шли... Должно быть, горячо молятся люди, видя эти зловѣщія огни и курева за рѣкой... Какъ не молиться!.. Вонъ и колокола звонятъ какъ-то молитвенно—въ душу звонятъ, къ самому небу кричатъ, къ Богу—и въ душѣ растопляется въ елей этотъ мѣдный, молитвенный звонъ... Молись, бѣдный русскій народъ,—не на кого тебѣ надѣяться, кромѣ Бога... Вонъ идетъ она поражать за твою нечистоту и бѣдность...

— А что увасъ въ арміи новенькаго, господинъ полковникъ?—спрашиваетъ Хомутовъ, слѣдую рядомъ съ повозками, но въ почтительномъ отъ нихъ отдаленіи.

— Ничего, господинъ офицеръ, кромѣ благополучія,—отвѣчаетъ все еще плохо оправившійся отъ переполоха храбрый нѣмецъ.—Побѣды вѣшему храброму воинству Богъ даруетъ.

— Да, точно... Кагуль и Чесму не забудутъ турки.

— Не забудутъ (а въ душѣ все еще грозныя лица, дубье, багры,

страшные возгласы толпы—не забудеть и онъ своего Кагула и своей Чесмы въ виду Коломны).

— И, удивительно, точно сговорились наши полководцы: тутъ у Кагула поражаютъ непріятеля 21 іюня, въ день святого мученика Іудіана, а тамъ при Чесмѣ—24 іюня, въ день рождества Іоанна Предтечи.

„Настенька... милая... красавица... Эхъ задержутъ въ проклятомъ карантѣ... Что-то она—похорошѣла?“ невольно, послѣ бѣды, мечтается Рожнову, при видѣ колоколенъ Коломны.—Въ сѣнахъ бы опять...

„Заной, заной, сердечушко—эхъ, ретивенькое“!..

— А вы изъ Петербурга сюда командированы?

— Изъ Петербурга... Скучно здѣсь...

— А давно?

— Недавно, только что учредили карантѣнь.

— И долго насъ, государь мой, продержите вы?

— Не знаю, господинъ полковникъ, какъ докторъ за нужное признаеть... А вонъ и монастырь вашъ.

— Карантѣнь?

— Да, онъ самый.

Всѣ со страхомъ взглянули на длинные, деревянные, наскоро сколоченные сараи, раскинушіеся по нагорному берегу Оки, противъ самой Коломны... Бойни какія-то, съ часовыми по концамъ и у воротъ—настоящія загоны, куда скотъ передъ боемъ запирають... Даже полковая Малая, высунувъ изъ соломы свою умную мордашку, съ удивленіемъ поглядывала то на эти сараи, то на хмурое лицо хохла, которому, въ проѣздъ черезъ Малороссію, не удалось повидаться съ своею „дивчиною“ съ „чорнявенькою“ и „кирпатенькою“ Горпиною... Ужъ и „дивчина“ же эта Горпина!—„чорна коса, якъ... Горпина йде, по ягодицамъ бѣ“... „били щоки мовъ вишнею намазани“... „чорны брови на шнурочку“... „а за пазаху такє, що и не вищипнешь, и въ величєнну шапку не влзуть“...

Надъ всѣмъ зданіемъ и вокругъ него клубами ходитъ дымъ. Своеобразный, смолистый запахъ этого дыма слышится издали. Страхъ невольно забирается въ душу... Это жертвенный дымъ, исходящій изъ великой скініи для умиловленія гнѣвнаго божества...

Мычанье скота, запертаго въ загоны и окуриваемаго, тоску наводитъ... Повозки проѣзжаютъ мимо свѣже-вырытаго рва, который тоже дымится. По сю и по ту сторону рва—рогатки; это запоры для нея, для смерти, которая носится въ воздухѣ вмѣстѣ съ дымомъ...

Изъ-за тогбочныхъ рогатокъ какой-то всадникъ машетъ шапкой. Хомутовъ осаживаетъ своего коня. Это вѣстовой казакъ изъ города при-скакаль, шапкой знаки подаетъ...

— Откуда, Гаврилычъ, и съ чѣмъ?—кричитъ Хомутовъ вѣстовому.

— Изъ моровой комиссіи, ваше благородіє!—приложивъ ладони ко рту, выкрикиваетъ тщедушный „Гаврилычъ“.

— Съ чѣмъ?

— Съ вѣстями... Лепорты привезъ.

— Давай!

Казаки достаютъ изъ подсумка, висящаго черезъ плечо, пакетъ съ „лепортами“. За плечами у казака лукъ и въ кожаномъ, потертомъ до-нельзя колчанѣ вязайка самодѣльныхъ стрѣлъ съ грубыми наконечниками. Вѣстовой вынимаетъ изъ колчана одну стрѣлу и къ перовому концу ея привязываетъ пакетъ. Затѣмъ снимаетъ съ плеча лукъ, накладываетъ на него стрѣлу и натягиваетъ тетиву.

— Ловите, ваше благородіе!—кричитъ онъ.

Стрѣла взвизгиваетъ, перелетаетъ черезъ ровъ и рогатки и падаетъ у самыхъ копытъ коня Хомутова.

— Ловко, молодецъ, какъ разъ угодилъ,—одобряетъ Хомутовъ вѣстового.— Вотъ какова у насъ почта—на стрѣлахъ любовныя цидулочки изъ моровой комиссіи получаемъ,—улыбаясь обращается онъ къ пріѣзжимъ.

— О! дасъ истъ цу шреклихъ!—не вытерпиваетъ вѣмецъ.

— Ну, шреклихъ—не шреклихъ, господинъ полковникъ, а скучно.

Одинъ изъ казаковъ, сопровождавшихъ Хомутова, соскакиваетъ съ коня и, поднявъ стрѣлу съ привязаннымъ къ ней пакетомъ, подалъ ее офицеру...

— *По секрету*—ого!—читаетъ Хомутовъ надпись на пакетѣ.

Вѣстовой, что привезъ пакетъ, снова машетъ шапкой изъ-за рогатокъ.  
— Ваше благородіе! ваше благородіе!—кричитъ онъ въ рупоръ изъ своихъ ладонь.

— Что тебѣ, Гаврилычъ?

— Квитокъ, ваше благородіе!

— Какой тамъ квитокъ?

— Квитокъ... росписочку, значитъ, что получили лепорты.

— Ладно, подожди!—потомъ, обратясь къ фонъ-Шталю, прибавилъ:— вѣдь у насъ и росписку ему выдать не иначе можно, какъ черезъ каран-тень. Сначала ее напиши, да высуши, да въ укусъ омочи, да тамъ ее черезъ огонь окурять—тогда и бросай на стрѣлѣ на тотъ бокъ... Бѣда! А то она, проклятая, можетъ на клочкѣ бумаги сидѣть, либо въ чер-нильницу забралась, либо на концѣ пера угвѣдилась—ну, безъ карантену да безъ окуриванья огнемъ и нельзя ничего посылать на тотъ бокъ.. перекинешь и ее, анаѣемскую, на стрѣлѣ... Вотъ дожили...

Повозки остановились у воротъ карантина. Ухъ, это точно кладбище для живыхъ...

### III.

#### Карантинъ. Бѣгство Заброды.

Карантинныя зданія состояли изъ трехъ рядовъ низенькихъ, длинныхъ, отгороженныхъ одна отъ другой деревянныхъ казармъ, при одномъ взглядѣ на которыя у пріѣхавшихъ сжалось сердце.

Собственно карантинныя лазареты расположены были по краямъ этого

живого кладбища. Это были длинные, очень длинные параллелограммы, съ своей стороны разбитые на маленькіе, въ нѣсколько саженъ параллелограммики, въ которыхъ вмѣщались маленькіе дворики съ крохотными на одной сторонѣ крытыми навѣсками и такими же крохотными въ два крохотныхъ окошечка домиками, находившимися въ общей связи и подъ одною тесовою крышею со всѣми прочими крохотными домками общаго, большаго, сильно удлиненнаго лазаретнаго параллелограмма. Достаточно вообразить длинную, очень длинную конюшню, разбитую на соотвѣтственное число стойлъ: каждое стойло вмѣщаетъ въ себя и крохотный домикъ съ свѣтлою комнаткою, кухнею и печкою; и свой длинненькій, открытый, но отгороженный отъ другого, дворикъ; и свой длинненькій, крытый тесомъ навѣсикъ—параллелограммикъ въ большеющемъ параллелограммикѣ; и свои отдѣльныя воротца, запертыя на замокъ, ключъ отъ котораго—у карантиннаго доктора; и свое единственное отверстіе, въ которое по маленькому жолобику вливають воду въ чанъ для заключенныхъ въ этомъ параллелограмикѣ...

По длинной крышѣ карантинныхъ лазаретовъ лѣпятся трубы по числу карантинныхъ покоевъ.

Между карантинными лазаретами тянутся карантинныя службы, заключенныя въ особую деревянную ограду: на первомъ плагѣ—караульня, вмѣщающая въ себя покои офицерскіе, писарскіе, унтеръ-офицерскіе и жилья для часовыхъ и конвойныхъ. Далѣе—покои для доктора, аптекаря и фельдшеровъ, покои комиссарскіе, служительскіе—для могильщиковъ, „мортусовъ“ въ смоляномъ платьѣ, работниковъ; особо—для поваровъ, прачекъ. Тутъ и амбары для съѣстныхъ припасовъ, и амбары курительные, и сарай для карантиннаго имущества, для скота...

Все чувствуетъ себя заживо погребеннымъ, вступая въ это чумное чистилище... Никто не смѣетъ приблизиться другъ къ другу, прикоснуться,—каждый боится всѣхъ и всѣ каждого...

По знаку Хомутова, привратникъ растворилъ карантинныя ворота, и повозки въѣхали во дворъ.

На дворѣ было пусто: въ тотъ моментъ, когда во дворъ вступали вновь прибывшія жертвы чистилища, никто, кромѣ доктора и его помощниковъ, а равно страшныхъ „мортусовъ“, одѣтыхъ во все смоляное, въ смоляныхъ рукавицахъ и въ смоляныхъ маскахъ на лицахъ,—никто не смѣлъ показываться на дворѣ.

Выходить докторъ—молодой, плечистый, полнолицый мужчина, котораго жизнь, повидимому, еще не истрепаала и который еще ищетъ на жизненной аренѣ борьбы, подвиговъ, опасностей, ищетъ пробовать свои силы и силы невѣдомаго, страшнаго, но тѣмъ болѣе обаятельнаго врага...

Начинается—пока опять-таки издали—обстоятельный допросъ: кто, откуда, съ чѣмъ, зачѣмъ... Въ отвѣтъ слышатся слова, названія, звучація особенно внушительно: „Хотинь“, „Бессарабія“, „Кагуль“, „турки“, „армія“, „Малороссія“, „заставы“...

— Вы подлежите тщательному осмотру, — говорит докторъ послѣ предварительнаго допроса.

Пріѣзжіе непосредственно изъ чумныхъ мѣсть — да это такіе интересные, драгоценные субъекты для молодого, любознательнаго врача, который жаждетъ помѣряться силами съ невѣдомымъ чудовищемъ.

— Пожалуйте въ визитную камору, — говоритъ онъ любезно: — я имѣю съ вами короче познакомиться — и лично, и... тѣлесно, — шутить молодой врачъ. — Эй вы! — махаетъ онъ страшнымъ мортусамъ, стоящимъ въ сторонѣ и ждущимъ своихъ жертвъ: — отберите всѣ вещи, которыя принадлежать пріѣзжимъ... Лошадей съ ямщиками и повозками, господинъ полковникъ, вы отсылаете обратно? — обращается онъ къ фонъ-Шталю.

— Да, государь мой... Отберите всѣ наши вещи и расплатитесь съ ямщиками, — приказываетъ онъ своимъ ординарцамъ.

Бѣдная Маланя забилась въ солому и со страхомъ лаетъ оттуда на страшныхъ мортусовъ — она никогда еще не видала такихъ чудовищъ.

— А это собачка ваша? — спрашиваетъ докторъ.

— Наша, господинъ докторъ.

— Казенная — полковая собственность, — улыбается сержантъ Грачевъ, широкоплечій другъ Рожюва Игнаши, хотя у самого кошки скребуть на сердцѣ.

— А... Эй, мортусы!

Мортусы, взятые изъ тюрьмы каторжники, которымъ все равно не житье на вольномъ свѣтѣ, и засмоленные отъ смерти, подходятъ къ доктору.

— Возьмите эту собачку и привяжите особо... Она также подлежитъ карантинной выдержкѣ...

— Воно, ваше благородіе, не дастся, — пасмурно замѣчаетъ мѣшко-ватый хохоль.

— Какъ не дастся?

— Ни, не дастся — воно зле...

— Вотъ тебѣ на! — смѣется докторъ.

— Воно имъ, этимъ чортамъ, руки покусаете...

— Ничего — не покусаетъ...

Пріѣзжихъ вводятъ въ визиторскую камеру. Тутъ тоже торчатъ черномазые, въ образѣ ээіоповъ, мортусы.

— Прошу, господинъ полковникъ, раздѣться до-нага, — обращается докторъ къ фонъ-Шталю.

Нѣмецъ повинуется, ворча себѣ подъ носъ: „Систъ абшейлихъ“... Рыжій помогаетъ ему раздѣться, сминаетъ съ него рейтузы, сапоги, чулки — и обнажаетъ сухія щепки, обтянутыя сухою кожею... Нѣмецъ ежится...

— Ничего... прекрасно... тѣло чистое... язвенныхъ знаковъ нѣтъ, — бормочетъ докторъ, внимательно всматриваясь въ сухую, пергаментную кожу нѣмца. — А это что за синій знакъ подъ лѣвымъ сосцомъ?

Нѣмецъ конфузится... — Это ничего — такъ себѣ — пустяки, господинъ докторъ...

— Однако же? Я все долженъ знать...

— Пустяки... глупость молодости... это имя Амалии, моей супруги... выжжено... порохомят патерто...

— О! понимаю, — понимаю... Довольно... Обмыть господина полковника и одѣть въ карантинное платье, — приказывать онъ приставнику съ мортусами.

Раздѣваютъ и осматриваютъ молодыхъ сержантовъ — сначала широкоплечаго атлета Грачева.

— О! завидное, богатырское сложеніе... дыхательный ящикъ безподобный — есть гдѣ помѣститься легкимъ и всему рабочему аппарату тѣла, — удивляется словоохотливый докторъ. — А это что у васъ на шеѣ.

— Образокъ... память умершаго друга...

— Умершаго?... давно?

— Въ маѣ, господинъ докторъ.

— А гдѣ?

— Въ Бессарабіи, у Прута, недалеко отъ Яссы — на привалѣ...

— Гмъ... А какой болѣзнью?

— Гнилою горячкой, господинъ докторъ...

— Гмъ-гмъ... Гнилою горячкой... съ пятнами?

— Да, — съ пятнами...

— Быстро? да?

— Да... скоро... очень... въ два дня...

— Гмъ... И этотъ образокъ былъ у него на тѣлѣ?

— Да, господинъ докторъ... Я везу его къ невѣстѣ покойнаго и къ матери...

— Такъ-какъ... прекрасно... Это вы знаете, что везете у себя на груди? — Чуму!.. Только благодаря вашему богатырскому здоровью — вы еще ходите по землѣ съ этимъ страшнымъ талисманомъ на тѣлѣ... Взять его и особенно рачительно окурить и вывѣтрить (это къ фельдшеру).

Грачевъ снимаетъ съ себя образокъ и отдаетъ фельдшеру.

Упрямые всѣхъ оказался мѣшковатый хохоль: уперся какъ волъ — и не хочетъ раздѣваться...

— Раздѣвайся! я тебѣ приказываю! — горячится докторъ.

— Ни, ваше благородіе, не треба...

— Какъ не треба! что ты!

— Не треба-бо... не гоже воно... соромно...

— Вотъ чудакъ! Соромно ему... Какъ же всѣ раздѣвались — и господинъ, полковникъ, и офицеры?

— Та не гоже-жь!.. *Вони* тутъ. (Хохоль указалъ на полковника).

— Я тебѣ приказываю... Слушай команду: долой платье! — скомандовалъ нѣмецъ, на голомъ тѣлѣ котораго не оставалось никакихъ знаковъ полковничьяго званія, и остался только командирскій голосъ.

„Слушай команду“ было магическимъ словомъ для упрямаго хохла: онъ тотчасъ же сбросилъ съ себя одежду и, вытянувшись въ струнку,

руки по швамъ (шовъ, правда, уже не было на голомъ тѣлѣ), стоялъ колоссъ колоссомъ... Эка тѣлице! эка мускулы стальные! что за грудь и плечи! Не даромъ такъ мѣла и трепетала на этой каменной груди „чорнявенькая“ и „кирпатенькая“, тоже съ богатырскими, только въ своемъ родѣ грудями, дивчина Горпина...

— Что за молодчина!—вырывается невольное восклицаніе доктора.— Да этого бронзоваго тѣла никакая чума не возьметъ... Ну, молодець, братецъ!

— Ради стараться, ваше благородіе!

Чего тутъ стараться! Сама природа постаралась склотить такую грудь, сковать такіе мускулы, выростить такую косую сажень... Хорошая была матушка, споротившая такое чадушко, да и природа, знать, была не мачиха, что выростила, вылелѣяла, выхолила такое тѣло славное, молодецкое... Украина-матушка, хатка бѣленькая, чистенькая, садочекъ вишневой, вербы шумливая, „гаи зелененьки“, поля цвѣтливия, солнышко жаркое да привѣтливое, рѣчки съ берегами густолозыми, ночи чудныя, нѣсни дивныя—вотъ что выростило, выхолило этого дѣтину бронзоваго... Это не то, что вотъ тѣ москали съ дубьемъ, что живутъ какъ козы голыня, какъ „коза-дереза“.

Якъ бигли черезъ лисочокъ,  
Ухватили кленовый листочокъ,  
Якъ бигли черезъ гребельку  
Ухватили воды капельку—  
Тилько пили й или...

А ояъ и ѣлъ вдоволь, и пилъ воду изъ чистой „криницы“...

— Ну, молодець! Въ гвардію бы такого...

— Я и везу представить его свѣтлѣйшему,—самодовольно замѣчаетъ нѣмецъ.

— Отлично! А какъ тебя зовуть?

— Василемъ... Василій Забродя, ваше благородіе.

Начался процессъ обмыванья водой съ уксусомъ. Послѣ обмыванья на прѣзжихъ надѣли казенное карантинное платье—на офицеровъ потонше, а на солдатъ потолще; а снятое съ нихъ платье обозначили особыми номерными ярлыками и сдали для окуриванья и провѣтриванья въ особыхъ курительныхъ сараяхъ.

На дворѣ слышится хохоть и собачій лай. Это мортусы хотятъ лишить свободы полковую Маланью, которая такъ же упряма, какъ и ея любимецъ, Василь Забродя...

— Отъ бидне цуцня... щобъ воно имъ, гаспидамъ, руки покусаю!—ворчить добрый хохоль.

Изъ визиторской камеры прѣзжихъ повели черезъ дворъ въ самый карантинъ—въ тотъ огромный параллелограмъ, который разбитъ былъ на маленькіе параллелограмки.

Полковника съ сержантами докторъ ввелъ въ крайній дворикъ и объяснилъ имъ его расположеніе и все, что нужно имъ было знать.

— Вотъ здѣсь, господа, на дворѣ, вы будете гулять въ ясную погоду...

— Есть гдѣ разгуляться!—невольнo замѣтилъ Грачевъ.

— По двѣ квадратныхъ сажени на персону приходится — конечно, не много!..

— Это гробъ...

— Ну, ужъ и гробъ... Помилюйте... Гробъ тѣснѣе... А вотъ у васъ крытая галлерейка—тамъ сидѣть въ ненастье... А вотъ милости просимъ въ покой—добро пожаловать, господинъ полковникъ.

Нѣмецъ слѣдовалъ за докторомъ молча, насупившись... Въ карантинномъ платьѣ онъ смотрѣлъ совсѣмъ не храбрымъ полковникомъ, который еще недавно дрался на Дунаѣ съ турками.

Они вошли въ домикъ въ два окошечка.

— Вотъ ваши койки—жестковаты, правда, но чисты... Вотъ скамеечка—тутъ и вся кухня ваша... Только ужъ извините, господа, — вы сами должны быть и поварами для себя.

— Какъ? почему такъ?

— Съ этого момента, какъ я ввелъ васъ въ это помѣщеніе, вы общаетесь со всѣмъ міромъ. Къ вамъ ни одна живая душа не смѣетъ входить, кромѣ меня и фельдшера. Провизію вамъ будутъ вносить въ ту вонъ калиточку, ключъ отъ которой у меня, и ставить на землю,—а ужъ готовить извольте вы сами. Вода проведена къ вамъ въ особый чайъ... Порціи я вамъ пропишу хорошія, провизію питательную — вы заживете припѣваючи...

— Что-жъ мы будемъ тутъ дѣлать?—съ досадою спросилъ полковникъ.

— Все, что угодно...

— То-есть, какъ же? И читать?

— О, нѣтъ! да и читать у насъ нечего... Во всей Коломнѣ я видѣлъ одинъ истрепанный нумеръ „Трудолюбивой Пчелы“, но и тотъ сюда не дадутъ — побоятся заразы... Мы, господинъ полковникъ, отъ міра отведенные...

— Но это ужасно! Я привыкъ къ смотрямъ, къ ученью...

— Ну, этого у насъ здѣсь нѣтъ... Развлекайтесь, какъ умѣете: спите, гуляйте, кушайте, пойте...

— Мы будемъ сказки сказывать другъ другу, —засмѣялся Рожновъ.

— Да, сказки... Но вотъ кстати: у васъ тутъ и развлеченье... Пожалуйте къ этому окну...

Подошли къ окну, выходившему не во дворъ, а въ поле. Дѣйствительно—внизу синѣлась Ока, по которой кое-гдѣ колыхались облачка карантиннаго дыма. У того берега виднѣлись запоздалыя суда. Рѣдко-рѣдко темнѣлась на водѣ робкая лодочка... Да и кого понесетъ оттуда на эту чумную, обреченную смерти сторону?... Коломна смотритъ какъ-то пугливо, словно прячется... Высокія колокольни высятся по небу, словно воздѣтыя горѣ руки, просящія у Бога пощады, помилованья... Спаси, Господи, люди Твоя!.. Не отвори лице Твое...



— Здѣсь и видъ прелестный, и людей живыхъ и свободныхъ вы видите,—сказалъ докторъ.

Да, тамъ люди, много людей. Это карантинный рынокъ на берегу Оки... Но Боже мой! что-то страшное, пугающее воображеніе видится и въ этой картинѣ...

Вдоль берега тянется двойной рядъ рогатныхъ загражденій. Рогатки отъ рогатокъ стоятъ болѣе чѣмъ на сажень. Среди этого интервала нѣтъ ни одного живого существа въ человѣческомъ образѣ—свюютъ только засмоленные съ головы до ногъ мортусы. Вдоль рогатокъ—часовые, строго слѣдящіе, чтобы толпы, стоящія по сю сторону рогатокъ, не имѣли никакого соприкосновенія съ тѣми, которые по ту сторону...

— Господи! да она, проклятая, всёхъ сдѣлала арестантами... Вся Россія подъ конвоемъ! — невольно воскликнулъ Грачевъ, понявъ, что изборажала собою картина карантиннаго рынка.

Да, дѣйствительно, этотъ бичъ божій все человѣчество превращаетъ въ арестанта... Каждый подъ стражею, каждый боится всёхъ и всёъ каждаго... Вездѣ часовые, рогатки, дозоръ, конвой — только кандаловъ не видать... Люди, съѣхавшіеся на рынокъ по крайней, буквально по голодной нуждѣ, не смѣютъ, ужасаются приблизиться другъ къ другу. Продавецъ боится покупателя, покупатель съ ужасомъ смотритъ на продавца... А можетъ быть, у него зараженный товаръ—зараженная мука, крупа, яйца... А у покупателя, быть можетъ, зараженные деньги... Да это ужасъ! — А ѣсть и тому и другому хочется... Господи! да за что же этотъ бичъ! — За грѣхи—за бѣдность да нечистоту.

По ту сторону рогатокъ—это тѣ, которые живутъ по ту сторону карантинной линіи, за Окой... Это—самые бѣдные изъ коломянъ, которымъ тамъ, въ Коломнѣ, ѣсть нечего—все вздорожало,—и они съ голоду, съ рискомъ за свою жизнь (все равно помирать отъ голода придется), перебираются сюда, на чумную сторону, чтобы купить чего-либо съѣстного подешевле... А можетъ оно заражено... ну, все равно пропадать!

Какъ по ту сторону карантиннаго загражденія толкаются только самые бѣдные и самые голодные изъ нечумной мѣстности, такъ и по сторону загражденія бродятъ только самые бѣдные и самые голодные изъ чумной полосы... Тамъ—голодные покупатели, здѣсь—голодные продавцы... Курочку ли продать, барашка, коли у кого есть, овсеца, мучки сбуть туда да заплатить подушныя, а тамъ—купить бы чего подешевле да утолить голодь... И все это подъ арестомъ.

И вотъ идетъ страшный торгъ между арестантами. Люди торгуются черезъ рогатки, при посредствѣ засмоленныхъ комми-мортусовъ. Здѣшніе, чумные продавцы кладутъ свой товаръ на землю, за рогатку, и ожидаютъ полочки денегъ; а тамошніе, тогобочные, коломяне, показавъ издана деньги (тогда еще не было бумажныхъ денегъ въ такомъ изобиліи, какъ теперь, а ходила больше звонкая монета), опускаютъ ихъ въ длинные чаны и корыта, наполненные водою съ уксусомъ. Одинъ мортусъ подходитъ и

береть товаръ и переносить черезъ разложенные вдоль всего загражденія горячіе костры, если товаръ—мясо... товаръ окуривается... Если товаръ—птицы или овцы, то ихъ тотчасъ моютъ въ чанахъ, тоже наполненныхъ водою съ уксусомъ... Другой мортусъ вылавливаетъ изъ чана или корыта деньги и вручаетъ ихъ продавцу...

Огонь и дымъ костровъ, крикъ купаемой въ чанахъ птицы, блеянье овецъ, принимающихъ невольную ванну, возгласы часовыхъ — „стой! не ходи! берегись!“—и покрикиванья мортусовъ на продавцевъ и на покупателей—„бери алтынъ! тащи поросенка!“—визготни адская этихъ самыхъ поросятъ, окунаемыхъ въ чаи съ уксусной водою—и надъ всѣмъ этимъ какъ бы невидимый перстъ гнѣвнаго Бога: на кого онъ направится? кого назнаменаетъ знаменіемъ смерти, кого перваго выхватитъ изъ этой робкой, растерявшейся толпы, кого второго, третьяго?..

И вотъ потянулись безконечные дни и ночи для нашихъ заключенныхъ... Тоска неисповѣдимая!—Каждое утро невидимая рука оставляла у калитки карантиннаго дворика дневную порцію съѣстныхъ припасовъ и дровъ. Каждый день заходилъ словоохотливый докторъ, который для заключенныхъ казался вѣстникомъ жизни, посланникомъ Бога милующаго и спасающаго... По цѣлымъ часамъ они стояли у окна, выходившаго на Оку—смотрѣли на карантинный рынокъ, на Коломну, высокія колокольни которой продолжали тянуться съ мольбой къ безжалостному небу...

Сначала фонъ-Шталъ завелъ было у себя на дворикѣ маневры, смотры, ротное ученье, немилосердно муштровалъ бѣдныхъ сержантовъ, попеременно муча своими командирскими затѣями то широкоплечаго Грачева, у котораго изъ головы не выходилъ образокъ-медальонъ покойнаго друга—талismanъ, несущій будто бы чуму въ Москву, то черномазаго Рожнова, у котораго, напротивъ, не выходила изъ головы Настенька и какія-то „сѣнцы, гдѣ въ первый разъ“... и т. д. Голосъ фонъ-Штала, выкрики „направо“ и „налѣво“, „стой-равняйся“ и „маршъ“ раздавались отъ ранняго утра до обѣда; но потомъ и это надоѣло, и насталь періодъ сказокъ: нѣмецъ такъ полюбилъ русскія сказки, особенно искусно рассказываемыя Грачевымъ, что и по ночамъ не давалъ ему спать, заставляя рассказывать то о „трехъ-сынѣ-добромъ молодцѣ“, то о „моложеватыхъ яблокахъ“, то о „семи Семіонахъ“.

Забродя и его рыжій товарищъ, котораго—кстати замѣтимъ—звали въ полку „Рудожелтымъ Кочетомъ“, помѣщались рядомъ съ своимъ начальствомъ, заборъ къ забору. Въ ихъ же дворикъ помѣстили и „полковую Маланью“, которая этому была очень рада и служила источникомъ нескончаемыхъ утѣхъ для заключенныхъ. По цѣлымъ часамъ они учили ее прыгать черезъ палку, носить имъ шапки, стоять на заднихъ лапкахъ и, наконецъ, ухитрились возстановить ее даже противъ чумы: для этого Рудожелтый Кочетъ нарисовалъ на заборѣ углемъ какую-то страшную фигуру, вродѣ богатыря Полконя или Полкана, и назвалъ ее „чумой“. Сдѣлавъ страшные глаза и ставъ на четвереньки, рыжій обыкновенно съ ры-

чаньемъ бросался къ нарисованному на заборѣ чудовищу, бормоча: „чума! чума! чума!“ Маланья, по природѣ доврчивая, видя въ такомъ азартѣ своего господина, тоже съ неистовымъ лаемъ бросалась на мнимое чудовище, и торжество скучающихъ заключенныхъ выходило полное, такъ что имъ даже завидовалъ самъ фонъ-Шталь.

— Что это у васъ тамъ за травля? — спросить онъ бывало черезъ заборъ своихъ ординарцевъ.

— Чуму, вашеско-родіе, травимъ,—отвѣчаютъ тѣ почтительно.

— Какую чуму?

— На заборѣ, вашеско-родіе, написана...

Несмотря, однако, на эти забавы, Забродя тосковалъ. Имъ все больше и больше овладѣвала тоска по родинѣ. Особенно по ночамъ онъ нигдѣ не находилъ себѣ мѣста... Онъ уже и счетъ потерялъ этимъ проклятымъ ночамъ!..

И вотъ опять тянется эта скучная, томительно-длинная, безконечная ночь. Тихо кругомъ, только рыжий товарищъ, растянувшись на своей жесткой койкѣ, ровво, однообразно посапываетъ. Все спать — не спится одному лишь Забродѣ, — не спится, но много думается. Вспоминается родная Украина, бѣлая хатка въ тѣни густолистныхъ вербъ, зеленая левада и вишневый садочекъ... Ужъ эти вишневые садочки! Изъ-за нихъ украинецъ на чужбинѣ сохнетъ и на кушакѣ вѣшается... Вспоминается Забродѣ послѣднее свиданіе съ Горпиною въ этомъ садочкѣ наканунѣ рекрутчины... Забродю берутъ въ „москалѣ“ — завтра ведутъ въ городъ „сдавать“ какъ товаръ... А они съ Горпиною думали до „пилиповокъ“ подѣ вѣнецъ стать, своею хаткою съ вишневымъ садочкомъ обзавестись... Такъ нѣтъ — взяли-таки въ „москалѣ“, не пожалѣли ни Горпининыхъ горячихъ дѣвичьихъ слезъ, ни материнныхъ вдовьихъ, самыхъ горячихъ на свѣтѣ слезъ... Да, все это припоминается въ эту долгую осеннюю ночь въ московской тюрьмѣ проклятой...

Вотъ изъ-за бузиноваго куста тихо выходитъ заплаканная Горпина... А соловейко-то щелкаетъ, соловейко заливается — жалю завдаеть этому разставанью, словно „дык“ ночью читаетъ надъ покойникомъ... Горпина такъ и повисла на воловей шеѣ парубка — захлебывается-плачетъ, обнимаячи да цѣлующи черноусаго... И онъ всплакнулъ „парубочькими“ жгучими слезами, цѣлующи свою кароокую, полногрудую дивчину... А дѣвичьи груди разорваться хотять подѣ безутѣшное всхлипыванье — такъ и колотятся объ богатырскую грудь парубка... „Серденько мое!..“ „Яблучко мое червонее!“ — „Василечку мій, барвиночку зеленый — охъ, ньенько-жъ моя матинко!“ — „Я вернусь до тебе, моя ясочко“...

„Э! вернусь... Какъ тутъ вернешься!.. А вона вже, може, съ другимъ спарувалася... Хоть повѣситесь, такъ въ пору!

А за окномъ, подѣ сарайчикомъ, такъ жалобно воетъ бѣдная собака. И она тоскуеть по ночамъ: съ тѣхъ поръ, какъ замѣтили, что по утрамъ она всегда пробовала провизію, приносимую заключеннымъ, раньше, чѣмъ

они просыпались, и кушала съ большимъ аппетитомъ, ее на ночь стали привязывать—и вотъ она скучаетъ. Жаль бѣднаго „цуцинятка“—и себя Забродѣ жаль, и „малаго цуцинятка“ жалко, и Горпины жаль...

„Хиба утѣкти!“—словно обухомъ поражаетъ его внезапная мысль... Бѣжать отсюда, изъ этой тюрьмы, отъ безконечной каторги. — Но какъ бѣжать? куда?—Туда, на Украину, въ зеленый гай, въ вишневый садочокъ... Хотя по ночамъ подходить къ родной хатѣ и бродить около вишневого садочка Горпины...

Страшная мысль все болѣе и болѣе овладѣваетъ душой и волей. Находить какое-то безуміе... На подмогу является податливая совѣсть, у которой, какъ у Горпины, такое доброе сердце... Вѣдь, отсюда бѣжать—не изъ полка бѣжать: за это не разстрѣляютъ, а если сквозь строй прогнать, то у Заброды такая свинная доска, вскормленная матушкой Украиной, что десять тысячъ шпицрутеновъ выдержать — и заживетъ... Повидаться только съ своими, взглянуть на Горпину, какъ она тамъ съ другимъ парубкомъ женихается... О, не дай Богъ!—„Вона не женихается—вона мене выгладатиме“...

Гвоздемъ винтитъ голову эта безумная мысль въ жаръ и холодъ бросается... А собачка все скучить и воетъ, да такъ тихо-тихо, да жалостливо, словно Богу на людей плачется...

Не выдерживаетъ этого невиннаго плаканья жалкаго „цуцинятки“ доброе, большое и на доброту, и на злобу, порою восковое, порою каменное сердце украинца. Онъ терять разсудокъ—онъ рѣшается на побѣгъ.

Торопливо, лихорадочно закутываетъ онъ ноги онучами, захвативъ при этомъ и ощупью найденныя онучи безопасно спящаго товарища; надѣваетъ казенныя коты; на халатъ вздѣваетъ казенный сѣрый чапанъ, туго подтягивается, ощупью отыскиваетъ шапку, судорожно крестится — „Мати Божа! Мати Божа!“—и неслышными шагами выходитъ въ сѣнцы, а оттуда подъ сарайчикъ.

Собака разомъ замолчала, угадавъ, кто къ ней идетъ. Забродя, припавъ на корточки и тихонько отбиваясь отъ собаки, которая радостно лизала ему руки и лицо, зубами перегрызъ веревку.

Собачья головка уже торчитъ у Заброды изъ-за пазухи. Онъ и ее беретъ съ собою на Украину... „Не хай и воно, бидне цуцинятко, по воли побигае“... Тихо карабкается бѣглець на заборчикъ. Вотъ онъ уже видитъ открытое поле... онъ на волю почти, а тамъ гдѣ-то Украина, „хатка биленька“... „мати родненька“... „чорнявенька Горпина“... „вишневый садочокъ“...

— Кто тамъ?—раздается окрикъ часового.

Забродя молчить—онъ уже на заборѣ.

— Стой! кто тамъ? стрѣлять буду!—повторяется окликъ.

„Не попаде, москаль“,—думаетъ Забродя—„далеко дуже... и оружье погане—не попаде“... И спускается на волю...

„Разъ-два-три“.

Раздается выстрѣлъ—и Забродя пластомъ падаетъ на землю... Вотъ

тебѣ и воля, вишневы садочокъ... Украина... Только собака воесть, да часовой глядитъ въ красивое мертвое лицо, не смѣя нагнуться къ чумному...

IV.

„Моровой манифестъ“.

Въ морозное январское утро 1771 года въ Москвѣ у Варварскихъ воротъ, то тамъ, то здѣсь народъ кучится около какого-нибудь говоруна — и толкамъ нѣтъ конца. Черезъ пятое-десятое слово слышатся то „морозная язва“, то „перевалка“, то „на Москву идетъ“, то „до Москвы не дойдетъ“, то ужъ „пришла на Москву“.

Болѣе всего скучивается народъ, фабричные и дворовые люди, да сидѣльцы изъ Охотнаго, Обжорнаго и Голичнаго рядовъ около одного старенькаго, обдерганнаго священника, который держитъ въ рукахъ раскрытую книгу и корявымъ, посинѣвшимъ отъ холода пальцемъ тычетъ въ одну изъ ея страницъ...

— Вотъ тутъ оно и есть написано,—говоритъ онъ, стараясь, повидимому, убѣдить одного краснощекаго дѣтина въ старой лисьей шубѣ и огромнѣйшей мѣховой шапкѣ, постоянно сосовывающей ему на сѣрые, плутоватые глаза.

— Написано—помеломъ въ трубѣ, поди!—возражаетъ дѣтина.

— Ань нѣтъ— не помеломъ въ трубѣ, — горячится старенькій, затаканный попикъ.

— Ну, инъ вилами на водѣ, коли не помеломъ въ трубѣ, — острить дѣтина.

— Ань не вилами, а духомъ Божиньмъ... Вотъ слушайте, православные, что глаголетъ Господь Монсею въ книгѣ Левитъ, глава третья-надесять...

— Ну-ну, катая-катая, батька! — слышатся одобрительные возгласы въ толпѣ.

Попикъ откашливается, сморкается „Адамовымъ платкомъ“, какъ онъ называетъ свою пригоршню, и дрожащимъ голосомъ читаетъ:

— „Вся дни, въ няже будетъ на немъ язва, нечистъ будетъ, отлученъ да сѣдитъ, внѣ полка да будетъ ему пребываніе...“

— Ну, чтожь-ты мелешь! — перебиваетъ его дѣтина: — это не про насъ писано, а про солдатъ... *Внѣ полка, слышь...* А онъ на — ко что выдумалъ!

— А ты не перебивай!—горячится попикъ:—полкъ—это по нашему приходъ, а то и домъ...

— Толкуй!

— А ты ну— читай инъ!—подстрекаютъ другіе.

— „Аще же разсыпая язва по ризѣ, или по пряденѣ, или по крокахъ...“

— „По ризѣ!“— снова возражаетъ дѣтина:—да это, братцы, только про поповъ писано... „По ризѣ!“ Ишь что выдумалъ! Али у меня риза лисья! А порки, поди, тоже риза по твоему!

Попыкъ нетерпѣливо машеть рукой на такое невѣжество...

— „Аще же,—упрямо продолжаетъ онъ,—разсыпая язва по ризѣ, или по пряденѣ, или по крокахъ, да сожжеть ризу, пряденія и кроки и да отлучитъ жрецъ язву на семь дней...“

— Жрецъ! вонъ куда хватилъ! жрецъ, чу... А гдѣ ты на Москвѣ жреца-то найдешь?—настанвалъ пессимистъ-дѣтина.

— А ты знаешь ли, братъ, что такое этотъ жрецъ самый?

— Какъ не знать! Только у насъ на Москвѣ жрецовъ не бывало...

— Анъ есть жрецы! Я самъ жрецъ — вотъ и поди на! — горячится попыкъ.

— Ишь ты, жрецъ какой!.. Фу ты — ну ты! жрецъ! А самому, поди, жрать нечего...

Толпа хочочеть. Попыкъ смотреть растерянно: краснощекой дѣтина попалъ не въ бровь, а прямо въ глазъ. Попыкъ оказывается заштатнымъ, которыхъ тогда по Москвѣ толкалось видимо-невидимо.

Въ Москвѣ въ то время еще живъ былъ старый обычай, начало котораго восходило ко временамъ вѣчевой жизни „господина Великаго Новгородца“ и Пскова: всѣ свободные, безмѣстные и заштатные священники каждое утро бывало толкаются у „вѣча“, на вѣчевой площади, какъ на рынкѣ, и торгуютъ своимъ священствомъ: кому подешевле акаеистъ спѣтъ, кому дешевенькую обѣденку слитургисать, по комъ за осьмину овсеца сорокоустъ справить, кому за яичко молитву въ шапку дать, либо за поросеночка и соборованье, и литеишку отмахать — „гулящій попъ“ тутъ какъ тутъ. Обычай наемнаго священства, съ утраатою вѣчевой жизни, перешель въ Москву съ вѣча просто на базаръ, на рынокъ, къ Спасскимъ да Варварскимъ воротамъ. Настанеть утро — и Москва валить на „толкунъ“. „Толкунъ“—это старое вѣче: кто нанимаетъ себѣ дровокола, кто ледокола, кто стряпку ищетъ, а кто „попика гулящаго“ на часы, на панихидку, на литургею махоньку, на алтынную...

Отъ такихъ „гулящихъ поповъ“ богомольная Москва каждое утро стономъ-стонала: то Голичный рядъ задумаетъ устроить „ходы съ водосвятиемъ“ да съ акаеистцемъ, чтобы товарецъ ихъ милостей, купчинъ Голичнаго ряда, голицы да рукавицы шибче въ ходъ шли да барыши несли; то Охотный рядъ надумается утереть носъ своимъ благочестиемъ и Голичному, и Обжорному ряду съ Ножовою линією, и затѣеть крестный ходъ на славу, — и вотъ тутъ-то „гулящие попики“ всегда на руку... Звонъ такой бывало идетъ по Москвѣ, такое славословіе да ангельское кричаніе веліе, что голуби пугаются, вороны и галки какъ бѣшенныя по небу да надъ Иваномъ Великимъ метутся и оглашаютъ воздухъ неистовымъ карканьемъ.

Тогдашній архіепископъ московскій Амвросій Зертышъ-Каменскій, дѣдъ извѣстнаго историка Бантышъ-Каменскаго, по воспитанію и по привычкамъ болѣе украинецъ, чѣмъ великороссіянинъ, человекъ получившій широкое духовно-богословское образованіе, недоступное въ то время для

великорусскаго духовенства, вспоенный притомъ далеко не въ древле-московскомъ духѣ, который царилъ въ Москвѣ въ XVIII вѣкѣ столь же крѣпко, какъ и въ XVI и какъ продолжаетъ царить до нѣкоторой степени и въ XIX столѣтїи, — преосвященный Амвросій давно обратилъ вниманіе на это московское древле-вѣчевое, рыночноуличное благочестіе, изъ Охотнаго и Голичнаго ряда назойливо кричащее до самаго неба, и увидѣлъ, что главные виновники этого благочестиваго гама — вѣчевые „гулящіе попики“ съ ихъ площаднымъ литургисаніемъ по найму.

— Это не іереи, а дервиши, — говариваль онъ часто, видя, какъ толпы народа то и дѣло валма-валять за импровизованными крестными ходами, устраиваемыми то Ножовою линією, то Голичнымъ рядомъ для того, чтобы шибче шли въ ходъ голицы и рукавицы:—подобаетъ взять вервѣе и изгнать изъ храма сихъ торгашей благодати.

— Не ломайте старины, владыка, — предупреждалъ его протоіерей Левшиновъ, человекъ замѣчательно умный, но вполнѣ знакомый съ московскимъ складомъ ума и съ московскимъ міровоззрѣніемъ:—сила Охотнаго ряда, ваше высокопреосвященство,—великая сила въ Россіи. Россійское государство само есть подобіе Охотнаго ряда...

— А я, отецъ Александръ, сломаю выю Охотному ряду,—настоячиво твердилъ владыка:—это не крестные ходы, а кулачные бои.

Но Охотный рядъ оказался сильнѣе — онъ сломалъ выю преосвященному Амвросію... Но объ этомъ въ своемъ мѣстѣ...

Какъ бы то ни было, Амвросій преслѣдовалъ заштатныхъ „гулящихъ поповъ“. Вотъ почему замѣчаніе краснощекаго дѣтины (онъ былъ сидѣльцемъ въ Голичномъ ряду) было очень жесткимъ бичомъ для попика, читавшаго книгу Левить: онъ, дѣйствительно, съ голоду искалъ себѣ работки у Варварскихъ воротъ, гдѣ всегда толкались благочестивые.

Чума для этого голоднаго попика-поденщика была находкою — она должна была кормить его: народъ, изъ страха смерти, будетъ неперемѣнно толкаться по церквамъ, площадямъ и у всякихъ воротъ и искать себѣ дешеваго душеспасенья... Церковные попы дорого берутъ за все, не жалѣютъ православныхъ, а „гулящій попикъ“ и за алтынь спасеть душу.

Для краснощекаго же дѣтины изъ Голичнаго ряда чума была нежеланная гостья, какъ для всѣхъ торговыхъ людей: она подрывала торговлю голицами и рукавицами.

— Вонъ хозяинъ сказываль, что коли-де запрутъ Москву этими проклятыми карантеями, дакъ тады и носу не показывай съ голичнымъ да коженнымъ товаромъ: черезъ заставу не пустять. А мы ужъ было наладили партію голицъ да рукавиць на весь Питерь,—пояснялъ онъ ближайшимъ сосѣдамъ.—А то на!—язва слышь, да жрецъ, а товаръ лежи...

— А поди изъ чумнаго скота голицы-то ваши? — спрашиваетъ обиженный попикъ.

— Знамо, изъ чумнаго, изъ падали; зато и цѣны божескія...

— То-то!

— То-то! Что-жь, ежели и чумныя, не бѣда! Не ѣсть ихъ, а на рукахъ носить...

Въ это время сквозь толпу протискивался человекъ невзрачной наружности, въ ветхомъ кафтаникѣ приказнаго, съ сизымъ, какъ лиссабонскій виноградъ, носомъ и весь посинѣвшій отъ холоду.

— Православные! прислушайте!—кричалъ онъ, проталкиваясь къ срединѣ.

— Фролка—приказная строка!—оповѣщали голоса.

— Православные! что я принесъ!

— Фролка—крапивное сѣмя!—кричали другіе.

— Фролка—чернильная душа! За гусиное перо отца продалъ, гусинымъ перомъ всю воду изъ Москвы-рѣки вымокалъ,—издѣвается дѣтина изъ Голичнаго ряда.

Но Фролка не унываетъ: онъ самъ хорошо знаетъ свою популярность и принимаетъ возгласы толпы, какъ должную дань народнаго вниманія.

Въ то время гласность была не въ большомъ ходу, телеграммъ не существовало, и ихъ замѣняли рыночные слухи. „Достовѣрные источники“, изъ которыхъ толпа могла черпать государственныя и политическія новости, были, впрочемъ, и тогда тѣ же самыя, изъ коихъ и нынѣ наши газеты черпаютъ то, что онѣ сообщаютъ съ приѣзжомъ „мы слышали“: источники эти—сенатскіе и иные кошисты...

Фролка—чернильная душа служилъ помощникомъ подкошиста въ сенатѣ и потому узнавалъ нѣкоторыя новости раньше другихъ и сообщалъ ихъ своимъ „благодѣтелямъ“ изъ Охотнаго и иныхъ рядовъ, за что и получалъ то фунтикъ осетринки съ душкомъ, то поросеночка съ запашкомъ...

Протолкавшись въ середину, на самую трибуну, онъ вытащилъ изъ-за пазухи листъ бумаги и, развертывая его дрожащими „отъ невоздержанія“ руками, говорилъ торопливо и таинственно:

— Внемлите, православные! Всемиловѣйшій манифестъ объ *ей* самой принесъ я вамъ... манифестъ...

Всѣ вытянулись, недоумѣвая, о комъ рѣчь...

— Вотъ тутъ сама магушка, всемиловѣйшая государыня, пишетъ объ *ей*:

— Да объ комъ? — огрызается дѣтина изъ Голичнаго ряда, догадываясь, въ чемъ дѣло.—Объ твоей чернильной душѣ—что ли?

— Нѣту, Спира,—объ *ей*, объ моровой язвѣ...

— Что ты врешь, строка эдакая! И дадутъ тебѣ экую бумагу-то въ пьяныя лапы....

— Самъ, Спириушка, взялъ бѣтай... Ихъ много изъ Питера наслали—гору наслали—вотъ!

— А ты читай вслухъ!—заволновалась толпа:—не связывайся съ нимъ...

— Съ нимъ не спорь—у него голицы на умѣ...

„Гулящій попикъ“, пораженный было дѣтиною изъ Голичнаго ряда, теперь оправился, выросъ... Значитъ онъ правъ: *она* будетъ на Москвѣ...



можетъ быть ужъ пришла... Будетъ кормъ у „гулящаго попика“ — она накормитъ...

— Ну, инъ съ Богомъ чти!—понукаль онъ Фролку.—Во имя Отца...

— Слушай, православные! Долой шапки!

Головы обнажились. Толпа присмирѣла. Слышно было только треніе и шарканье зипуновъ другъ о друга да воркованье голубей наверху воротъ, за старой иконой Боголюбской Богородицы. Приказный откашлялся и началъ: „Божіею милостію мы, Екатерина Вторая, императрица и самодержица всероссійская, и прочая, и прочая, и прочая. Объявляемъ чрезъ сіе во всенародное извѣстіе“.

Фролка остановился, чтобы, повидимому, перевести духъ, по больше для того, чтобы видѣть, какой эффектъ производитъ на толпу его чтеніе. Фролка былъ когда-то не то, чѣмъ онъ сталъ теперь. Лирикъ въ душѣ, мягкій по природѣ, съ искрой дарованія, онъ залилъ эту искру сначала слезами, а потомъ... водкой... Ему не повезло въ жизни потому, что жизнь его началась не съ фундамента, а съ воздуха—онъ не получилъ никакого образованія... Фролка пропалъ — шаръ земной весь вымощенъ подобными Фролками, которые были бы гордостью этой земли, если бы не... да что объ этомъ толковать! У Фролки когда-то и честолюбіе было—теперь оно на днѣ кошушки сидитъ... У Фролки были замашки народнаго трибуна—онъ любилъ, чтобы его слушали... И его слушаютъ теперь—во царевомъ кабацѣ, гдѣ и бьютъ притомъ... Фролка погибъ отъ себя—онъ не умѣлъ подлаживаться...

Фролка оглядѣлся — онъ былъ доволенъ произведеннымъ имъ эффектомъ. За этотъ эффектъ онъ охотно пойдетъ въ кутузку, въ съзбжій „клоповникъ“, въ тюрьму...

„Война,—продолжалъ онъ торжественно,—столь неправедно и вѣроломно со стороны Порты оттоманской постороннею завистію, коварствомъ и просками противъ имперіи нашей возженная, коея конецъ да увѣнчаетъ скорымъ, прочнымъ и славнымъ миромъ десница Всевышняго, толь явно оружію нашему донинѣ поборствующая, влечетъ за собой, по свойственному туркамъ звѣрскому и закоренѣлому о собственной своей цѣлости небреженію, опасность заразительной моровой язвы, въ разсужденіи сосѣдственныхъ областей и тѣхъ гражданъ, кои по долгу званія своего и изъ любви къ отечеству ополчаются противу ихъ въ военномъ подвигѣ“.

Чтецъ особенно ударилъ на слова „опасность заразительной моровой язвы“. Онъ чувствовалъ, что многіе вздрогнули отъ этихъ словъ. Да и было отчего вздрогнуть! Но ни слова, ни звука кругомъ; только когда на карнизѣ Варварскихъ воротъ сильно задрались голуби, изъ толпы поднялся кулакъ и погрозилъ глупой, не кстати разшумѣвшей птицѣ. Все жадно ждали, что будетъ дальше...

„Отъ нѣкотораго уже времени прилегшія къ непріятельскимъ землямъ польскія провинціи опустошаютъ бѣдственныя дѣйствія сего для нихъ пагубнаго сосѣдства, кои въ распространеніи своемъ чрезъ оныя начали

было прорываться и въ границы наши; но скорыми вопреки предосторожностями вездѣ уже благодію Господнею таково же скоро и пресѣкаются: ибо по тому матернему попеченію о покоѣ, тишинѣ, благоденствіи и безопасности нашихъ вѣрныхъ подданныхъ, которое мы съ самаго начала государствованія нашего положили за главное и непремѣнное правило всѣхъ нашихъ дѣяній, не оставили мы распорядить благовременно чрезъ правительства наши всѣ нужныя и въ человѣческомъ предусмотрѣніи возможныя мѣры и осторожности вдоль всѣхъ нашихъ границъ, отъ Малороссіи до Лифляндіи, къ совершенному и надежному ихъ огражденію. Мы съ несумнѣнною вѣрою ожидаемъ затѣмъ отъ благодати всецѣдраго Бога, что Онъ сіи наши учрежденія учинить достаточными и отвратить отъ нашего отечества бичъ гнѣва Своего“.

— Ну, что взялъ, мышинный жеребчикъ, а!—тихо, но ядовито прошипѣлъ дѣтина изъ Голичнаго ряда прямо на ухо „гулящему попику“.—  
На, съѣшь!

— Что—съѣшь?

— Кукишь съ масломъ!.. Слышалъ — Богъ-де отвратилъ ее отъ нашего отечества...

Фролка грозно глянулъ на дѣтину; онъ теперь чувствовалъ за собою силу, зная, что опирается на вниманіе толпы, которая еще не сказала своего слова, а слушаетъ, тяжело дыша и едва переводя духъ.

— Погоди — еще не ѣлъ, а ужъ и штаны спускаешь. Жди конца,—наставительно пояснилъ онъ.

Всѣ недружелюбно взглянули на дѣтину. Тотъ присмирѣлъ. Чтеніе продолжалось.

„Но такимъ образомъ исполняя съ нашей стороны во всемъ пространствѣ долгъ царскаго и матерняго престоереженія, къ полному успокоенію нашихъ вѣрныхъ подданныхъ, дабы каждый изъ оныхъ безопасно могъ оставаться при своемъ домостроительствѣ и промыслѣ, взаимно требуемъ и желаемъ мы, чтобы и они всѣ и каждый изъ нихъ, по состоянію чина и званія своего, воспособствовали оному всѣми своими силами и всѣмъ отъ нихъ зависящимъ по обязательствамъ должной и присяжной намъ и отечеству вѣрности“...

Кругомъ мертвое молчаніе. Тяжело дышутъ напряженныя груди слушателей. Гдѣ то баба всхлипываетъ... И у чтеца на глазахъ слезы... въ пьяныхъ глазахъ свѣтится что-то человѣческое... прежнее, чистое...

Но пьяный голосъ крѣпнетъ: „Опытами извѣстно, что заразительныя болѣзни могутъ весьма легко и непримѣтно перенесены быть чрезъ платье и къ тому служація всякія шелковыя, бумажныя, шерстяныя вещи и уборы“...

— Что—слышалъ! — не безъ яду шепчетъ „гулящій попикъ“ врагу своему, дѣтничѣ изъ Голичнаго ряда.

— Молчи, муховъ объѣдокъ!—грозится дѣтина.

— Кожаныя, чу, вещи...

— Замолки ты, тараканій окорокъ!—рычитъ дѣтина.

— А голица—кожаная вещь,—доѣзжаетъ поппикъ.

... „а особливо когда оныя изъ зараженныхъ мѣстъ безъ выѣтрення и вседневнаго между рукъ человѣческихъ употребленія провозятся свернутыми и увязанными со времени полученія въ свои руки (продолжается чтеніе). Мы потому, въ удовлетвореніе нужной осторожности до послѣднихъ ея предѣловъ, именно и точно симъ манифестомъ повелѣваемъ всѣмъ нашимъ вѣрнымъ подданнымъ безъ всякаго изъятія, какъ знатымъ, такъ и разночинцамъ, какого бы кто состоянія, званія и промысла ни былъ, а особливо ѣдущимъ въ Россію отъ войскъ нашихъ, внѣ границъ въ военныхъ дѣйствіяхъ обращающихся, дабы отнюдь никто не провозилъ съ собою, ниже подчиненнымъ своимъ позволялъ въ сундукахъ, баулахъ, связкахъ и возахъ спрятанными всякія отъ непріятели въ добычу полученныя или же въ земляхъ его и зараженныхъ въ Польшѣ, за деньги купленныя вещи шелковыя, бумажныя, шерстяныя, нитяныя, желѣзныя, мѣдныя, кожаныя и другія тому подобныя, кои въ одежды и убранство у турковъ или въ другихъ зараженныхъ мѣстахъ употреблены были, а по крайней мѣрѣ за употребленныя признаны быть могутъ; и дабы еще отнюдь никто не въѣзжалъ въ границы мимо городовъ и учрежденныхъ по отверстымъ большимъ дорогамъ заставъ и карантенныхъ домовъ: ибо въ противномъ случаѣ не только везомое при первой заставѣ и внутри имперіи огню предано, но и виноватый въ томъ за оскорбителя божіихъ и государственныхъ законовъ почтенъ и какъ таковой примѣрно наказанъ будетъ. Съ другой стороны симъ же поручаемъ мы сенату нашему независимо отъ предписанныхъ уже правилъ и наставленій, опредѣленнымъ повсюду кордоннымъ, карантеннымъ и по другимъ заставамъ командирамъ, какъ имъ вообще поступать въ пропускѣ людей и вещей, распорядить и такія мѣры, чтобъ, подѣ предложомъ исполненія по точной силѣ сего нашего манифеста, не могло гдѣ произрасти злоупотребленія, напрасныхъ прицѣпокъ и утѣсненій проѣзжающимъ“...

Между тѣмъ толпа слушателей росла. Отдѣльныя, вдали толкавшіяся кучки, влекомыя какъ бы инстинктомъ, примыкали къ средней толпѣ, напирала сзади, жали и тѣснили переднихъ. Начинался глухой шумъ въ заднихъ рядахъ. Всѣмъ хотѣлось узнать, въ чемъ дѣло,—и вставала сумятица, разноголосица толковъ, вопросовъ, торопливыхъ и наивныхъ, и отвѣтовъ, еще болѣе наивныхъ...

— Али наборъ, паря, вычитываютъ?

— Наборъ... турка, слышь, идетъ на Москву на самую, моръ несетъ...

— Что ты?!

— Пра... Голицы, чу, нельзя носить—въ голицу, чу, турка язву посадилъ...

— Жрецы на насъ идутъ, сказывали, касатики, —убивается баба:—страшные такіе, въ ризахъ, голицы на рукахъ,—сама слышала...

— Жрецы?! каки жрецы? гдѣ?

— Въ Голичномъ, слышь, ряду... жрецъ на жрецѣ!

— Батюшки свѣты! что-жь это будетъ!

Гвалтъ усиливался, мѣшалъ слушать читаемое. Задніе ряды напирали, передніе сжимали чтеца — онъ весь поспинѣлъ отъ натуги.

— Легче, православные! не дави! ой!

— Вычитывай до конца! рѣжь, коли началъ! Ой, легче!

— Задавили!.. Батюшки, задавили!..

— Подымай Фролку на плечи! Катай! Вычитывай — выматывай душу до конца!

Фролка на плечахъ у толпы — завидная участь оратора! Онъ выкиваетъ всей глоткой, всѣми нутрами:

„Впрочемъ, какъ все намѣреніе сего нашего повелѣнія идетъ единственно къ пользѣ и обезпеченію имперіи, то и увѣряемъ мы, что никто изъ находящихся въ службѣ или же для промысла своего при армияхъ нашихъ и въ Польшѣ не захочетъ изъ побужденія подлой корысти сдѣлаться предателемъ отечества, но что паче всѣхъ и каждый будутъ какъ истинные граждане усердно стараться и за другими, а наипаче за подчиненными своими подъ собственнымъ за нихъ отвѣтомъ строжайше наблюдать, дабы кто и если не изъ лакомства, по меньшей мѣрѣ изъ простоты и невѣжества преступникомъ, а, сохрани отъ того Боже, и виновникомъ общаго злоключенія учиниться не могъ. Вслѣдствіе сего и повелѣваемъ мы сей нашъ манифестъ во всей имперіи надлежащимъ образомъ немедленно обнародовать. Данъ...“

Толпа шарахнулась въ сторону, и Фролка полетѣлъ внизъ головой съ своей живой каедрой.

— Данъ!.. Ой, разбойники! православные!

— Батюшки! казаки бьютъ!

— А! лови паршивыхъ лапотниковъ!.. Нагайками ихъ!.. Скопы на улицѣ! а!

— Народъ бунтуютъ! Кто бунтуетъ?..

— Фролка приказный... Моровой манифестъ вычитывалъ, — доносить дѣтина изъ Голничнаго ряда.

— А! лови Фролку!.. Лупи ихъ, спиночесовъ!

— Жрецы!.. матыньки мои, жрецы!

— Ай-ай-ай! беременную бабу задавили... Охъ, матыньки! ребенокъ трепыхается...

— Держи Фролку! Лови ихъ! Вяжи бунтовщика... Ишь ты — моровой манифестъ... Бунтовщикъ!

А „бунтовщикъ“ Фролка стоялъ, покинутый народомъ, и горько плакалъ... Такое торжество всенародное и — такой позоръ! Онъ — Фролка — „бунтовщикъ!..“ „Господи! о! просвѣти ты ихъ... научи... наставь... О-о!..“

Фролка безутѣшно плакалъ...

## V.

### Лононъ мертвеца.

Манифестъ о чумѣ подписанъ былъ императрицею 31-го декабря — въ послѣдніе моменты отходящаго въ вѣчность 1770 года.

Вечеромъ этого дня государыня лихорадочно торопила князя Вяземскаго: ей казалось, что манифестъ слишкомъ медленно переписываютъ на-бѣло съ черноваго отпуса, лично исправленнаго Екатериною. Ей хотѣлось до новаго года подписать эту роковую бумагу—свалить съ сердца этотъ камень вмѣстѣ съ умирающимъ старымъ годомъ... Она постоянно звонила, ожидая этой бумаги... Наконецъ, Вяземскій принесъ манифестъ! Императрица еще разъ внимательно прочтала его съ перомъ въ рукѣ, перевернула страницу назадъ—и задумалась. Она остановилась надъ одной фразой...

И князь Вяземскій, и графъ Григорій Орловъ, стоя почтительно у стола, молча ждали. Императрица задумчиво поправила кружево на пухлой кисти лѣвой руки, слегка ударила по бумагѣ и опять задумалась надъ фразой.

— „Учинить достаточными...“ гмъ...— сказала она какъ бы про себя.— А точно ли они достаточны? а?

И императрица перевела свои вопросительные и задумчивые глаза на Орлова и Вяземскаго.

— Въ чемъ изволяете сомнѣваться, ваше величество?—спросилъ послѣдній нерѣшительно.

— Вотъ тутъ мы говоримъ (и императрица провела пальцемъ по занимающей ее фразѣ манифеста): „Мы съ несумѣнною вѣрою ожидаемъ загѣмъ отъ благодати всецѣдраго Бога, что Онъ сіи наши учрежденія учинить достаточными и отвратить отъ нашего отечества бичъ гнѣва Своего...“ Какъ они всегда крупно пишутъ *мы, наши, крупнѣе всецѣдраго Бога* (добавила она вскользь)... А достаточны ли, полно, сіи наши учрежденія?

— Мы уповаемъ, государыня, что всемогущій Богъ учинитъ ихъ достаточными,—смѣло отвѣчалъ Орловъ.

— О! вы всѣ, Орловы, бойки,—улыбнулась императрица.

— На словахъ, ваше императорское величество?—какъ-то странно спросилъ Орловъ.

— Нѣтъ, я этого не сказала, графъ, и не думаю: Орловы доказали неоднократно, что они бойки на дѣлѣ... Вонъ и теперь—давно ли графъ Алексѣй Григорьевичъ возвеселилъ всю Европу чесменскимъ фейерверкомъ?—А я думаю вотъ объ этой—какъ ее величать не вѣдаю—„перевалка“ ли, „язва“ ли, „чума“ ли...—сожжемъ мы и ее, какъ сожгли турецкій флотъ? Не придется ли и противъ нея послать Орловыхъ?

— Какъ будетъ угодно вашему величеству.

— А увѣрены ли вы въ расторопности тѣхъ лицъ, коимъ ввѣрено сіе дѣло нынѣ?

— Я ихъ всѣхъ знаю, государыня, да нѣкоторыхъ и вы изволите помнить: нашу китайскую карантенную стѣну ограждаютъ съ командами генералы Шиповъ, Воейковъ и Щербининъ, князь Мещерской—со стороны Польши и Малороссіи, а Москва и Петербургъ, какъ изволите знать, ограждены отъ язвы двойными смолеными рубашками и изряднымъ количествомъ чесноку...

Государыня засмѣялась и, взглянувъ на Вяземскаго, который еще ни разу не улыбнулся, сказала весело:

— Четыре поименованные генерала напоминаютъ мнѣ письмо Вольтера: онъ пишетъ, что укусъ, называемый „четырехъ разбойниковъ“, — самое есть дѣйствительное средство отъ заразы. Какъ вы думаете, князь, — похожи наши генералы на этотъ укусъ?

— Похожи, ваше величество, только на разбавленный водою, — отвѣчалъ Вяземскій, не улыбаясь.

— То-есть какъ?

— Слабъ оказался нашъ укусъ, государыня... Чеснокъ понадобился...

— Вы разумѣете вторую карантенную линію за Москвою?

— Такъ точно, ваше величество.

Императрица опять задумалась и опять машинально поправляла кружево рукава...

— Крупно, крупно пишутъ. Меня крупнѣе Бога на бумагѣ ставить, — какъ бы про себя говорила она: — Его одною заглавною буквою, а меня — всѣми литерами...

— Для черни сіе дѣлается, ваше величество, для подлаго народа, — подсказалъ Вяземскій.

— Попа знаютъ и въ рогожкѣ... А какіе офицеры охраняютъ вторую карантенную линію? — обратилась императрица къ Орлову.

— Въ Боровскѣ — Булгаковъ, ваше величество, въ Серпуховѣ — Свѣчинъ, въ Калугѣ — Ергольской, въ Алексинѣ — Сенденгорстъ, въ Каширѣ — Толстой, въ Коломнѣ — Хомутовъ...

— Шесть изрядныхъ головокъ чесноку, — снова улыбнулась императрица. — А московскій главный начальникъ графъ Петръ Семеновичъ — смоленая рубашка?

— Смоленый сарафанъ, ваше величество, — отвѣчалъ Орловъ.

— Да, почти саванъ... старъ ужъ онъ... кашкой пора кормить...

Императрица опять перенесла глаза на манифестъ, перевернула его и, перекрестясь, обмакнула перо въ чернильницу, крупно вывела „Екатерина“ — и подала бумагу Вяземскому. И Вяземскій, и Орловъ тоже перекрестились набожно... Каждый думалъ о томъ, что — то принесетъ новый 1771 годъ...

— Это — послѣдняя дань старому году, — сказала Екатерина: — онъ принесъ моровую язву — она съ нимъ и умретъ, если Богъ благословитъ наши начинанія. Указъ же сената и наставленія о мѣрахъ предосторожности отъ заразы я прочту послѣзавтра. Я ожидаю мѣръ дѣйствительныхъ.

Мѣры, точно, казались дѣйствительными. Черезъ нѣсколько дней императрица имѣла удовольствіе читать указъ сената объ этихъ „мѣрахъ“. Въ этомъ императорскомъ указѣ всенародно объявлялось, что „хотя приняты противу заразительной болѣзни мѣры и осторожности, а паче твердое упованіе на милость Божию подають несумѣнную надежду, что сія опасность, начиная вездѣ пресѣкаться, вскорѣ совершенно утушена и

истреблена будетъ, но какъ при всемъ томъ благоразуміе требуетъ, чтобъ, предохранивъ лифляндскіе рубежи и прочія къ Польшѣ прилежація губерніи отъ зараженныхъ тою опасною болѣзнію польскихъ мѣстъ, не оставлять въ то-жъ время и всей предосторожности и радѣнія неусыпнаго къ тому, дабы, отъ чего Боже сохрани, оное зло не внеслось какимъ-либо образомъ въ нѣдра самыя Россіи и ея столичныхъ городовъ“, то правительствующій сенатъ „за нужно рассудилъ“:

Публиковать во всемъ государствѣ, что ѣдущіе изъ Кіевской, Малороссійской, Новороссійской и прочихъ пограничныхъ губерній, водою или сухимъ путемъ, съ русскими товарами купцы, хотя въ рубежи лифляндскіе для соблюденія торга и будутъ впускаемы, но съ выдерживаніемъ карантинныхъ, смотря по тому, „кто въ какой близости находился отъ сумнительныхъ мѣстъ“; ѣдущіе же изъ зараженныхъ мѣстъ вовсе черезъ заставы не пропускаются; „чего ради никто бы не дерзалъ, минуя учреждаемые тамъ карантинныя проѣзжать дома, не являсь опредѣленнымъ въ оныхъ начальникамъ; а если кто отважится противно сему учинить, тотъ не только всего своего товара лишится, но и вѣщнаго еще по законамъ наказанія не избѣгнетъ“.

Привозъ въ Россію чрезъ пограничныя съ Польшею таможи иностранныхъ товаровъ — полотня, льна, нитокъ, хлопчатой бумаги въ дѣлѣ и простой, шелку и шелковыхъ товаровъ, мѣховъ, пенки и невидѣланнаго кожь, а также шерсти и всякихъ шерстяныхъ товаровъ—, на сіе опасное время вовсе запретить, и никого ни подъ какимъ видомъ съ оными не пропускать; а кто изъ купцовъ за симъ запрещеніемъ отважится чрезъ проселочныя дороги или какимъ-нибудь скрытымъ образомъ проѣхать и товары провезть, то его товары на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ они откроются, какъ для сохраненія предосторожности, такъ и въ наказаніе ослушнику, того же часу, сколько оъ и какіе они ни были, сжечь“.

Читая этотъ пунктъ, императрица замѣтила князю Вяземскому:

— О, купцы! купцы! великое они зло въ мѣрѣ, хотя доселѣ неизбѣжное... Ради адской корысти и своей ненасытной алчности они готовы бы были весь мѣръ выморить, такъ что послѣ и продавать товаръ было-бъ некому.

По всей польской границѣ, гдѣ есть только заставы, а нѣтъ ни карантинныхъ, ни лѣкарей—поставить отъ каждой губерніи по двѣ таможи и устроить карантинныя дома, а всѣ прочіе проѣзды и заставы закрыть.

Никто изъ проѣзжающихъ изъ сомнительныхъ мѣстъ не долженъ слѣдовать по проселочнымъ дорогамъ, а непремѣнно всѣ должны направляться на одну изъ карантинныхъ заставъ, расположенныхъ непрерывною цѣпью въ городахъ: Серпухѣ, Коломнѣ, Каширѣ, Боровскѣ, Алексинѣ, Калугѣ, Маломъ-Ярославцѣ, Можайскѣ, Крапивнѣ, Лихвинѣ, Дорогобужѣ и на пристани въ Гжацѣ.

Для пресѣченія потаенныхъ проѣздовъ и провоза товаровъ не только отъ заставы къ заставѣ, по всей карантинной линіи, дѣлать частыя разъ-

ѣзды, но дозволить жителямъ тѣхъ мѣстъ ловить такихъ проѣзжающихъ и доносить; „и естли кто пойманъ будетъ, а товаръ у него не сумнительный, то доносителю давать изъ того награжденіе, а сумнительный жесть и съ преступниками поступать по законамъ, давая въ семъ послѣднемъ случаѣ доносителю пристойное награжденіе изъ казны“.

— Такъ мы доносчиковъ у себя, пожалуй, разведемъ,—замѣтила императрица при чтеніи этого пункта.

— На доносителяхъ, ваше величество, государство держится,—отвѣчалъ Вяземскій.

— Это говорить генераль-прокуроръ, а не человѣкъ, — улыбулась Екатерина.

— Гражданинъ, ваше величество, и вѣрноподданный.

— Такъ... но доносы не должны существовать... не должны бы...

— Зато, государыня, съ доносителями у насъ птица черезъ кордонъ не пролетитъ.

— Дай Богъ... Но я разумѣю тайные доносы... Для общаго блага доносы должны быть явные и имена доносителей слѣдовало бы публиковать во всеобщее свѣдѣніе.

— Тогда, ваше величество, доносителей не будетъ.

— Зато останутся честные граждане...

Вяземскій спряталъ свои хитрые глаза и ничего не отвѣчалъ. Въ глазахъ императрицы тоже блеснулъ какой-то свѣтъ, если можно такъ выразиться—двойной, какъ гарнитуровая матерія—и тотчасъ же потухъ...

Какъ бы то ни было, императрица одобрила проектъ указа сената.

— А наставленіе готово?—спросила она, немного помолчавъ.

— Готово, ваше величество, — отвѣчалъ Вяземскій.—Угодно будетъ самимъ прочесть?

— Нѣтъ, я послушаю.

Вяземскій взялъ слѣдующую за указомъ бумагу и сталъ читать:

„Въ мѣстахъ, гдѣ находится моровая язва, не надобно дозволить имѣть сообщеніе жителямъ одного города съ жителями другого, ниже въ города ходить деревенскимъ обывателямъ, ниже городскимъ жителямъ удалиться въ деревни. Для сего ставятъ городскій караулъ при всѣхъ проходахъ въ городъ, учреждаютъ при однихъ воротахъ рынокъ. На семъ рынокѣ городскіе жители отъ сельскихъ раздѣлены двойною преградой...“

— Помню, помню,—перебила чтеніе Екатерина:—я черничокъ пробѣгала... Товары проносятся чрезъ огонь, окуриваются, моются въ укусуѣ, а деньги опускаются въ чанъ... Помню...

Вяземскій молча перелистывалъ бумагу и ждалъ.

Неслышными шагами въ кабинетъ вошелъ Григорій Орловъ.

— Что новаго? — спросила императрица съ тѣмъ же двойнымъ свѣтомъ въ глазахъ, который очень былъ знакомъ Орлову.

— Я получилъ письмо отъ брата Алексѣя, ваше величество.

— И я получила... А кстати, князь Александръ Алексѣичъ,—обрати-



лась она къ Вяземскому, продолжавшему перелистывать бумагу молча и искоса поглядывавшему на Орлова:— что въ наставленіи сказано о письмахъ, получаемыхъ изъ зараженныхъ областей? Это для насъ, бумажныхъ людей, наиважнѣйшая статья.

Вяземскій нашель это мѣсто и началъ читать:

„Въ разсужденіи писемъ, приходящихъ изъ зараженныхъ мѣстъ, надобно имѣть великое вниманіе для многихъ причинъ. А притомъ во всемъ свѣтѣ бумагу почитаютъ за вещь самую способнѣйшую къ принятію заразы; и посему можно уже чувствовать, что не довольно употребляемой нынѣ предосторожности, обливая въ укусъ только поверхность обертокъ писемъ и оставляя безъ всего внутренность оныхъ, гдѣ буде есть зараза, остается скрытою. И такъ, что касается до писемъ, приходящихъ изъ зараженныхъ мѣстъ, то съ оными поступать должно такимъ образомъ: особа, опредѣленная къ распечатыванію такого пакета, должна надѣть перчатки, сдѣланные изъ вощанки, и имѣть двой маленькіе желѣзные щипцы, ножницами разрѣзываетъ и раздраетъ желѣзными щипцами обертку, которую и сожигаетъ, распечатываетъ письма и окуриваетъ въ густомъ дыму. Надобно примѣчать, что столъ, на которомъ все сіе происходитъ, долженъ быть мраморный или деревянный безъ покрывки. Ежели въ письмахъ сыщется тетрадь, сшитая ниткою или связанная лентою, то надобно такую нитку или ленту разрѣзать ножницами и сжечь такъ равно, какъ и всѣ вещи, какого бы онѣ качества ни были, кои будутъ въ письмахъ, къ частнымъ людямъ писанныхъ“...

— Къ частнымъ людямъ... такъ... а къ казеннымъ и къ намъ?.. Да это особо,—говорила какъ бы про себя императрица.

— Это особо, ваше величество, — повторилъ докладчикъ. — Далѣе говорится о томъ, чтобы носить на груди кусокъ камфоры въ кожаномъ мѣшечкѣ...

— Помню... читала...

— А потомъ — что лѣкари должны прикасаться въ пульсу больного сквозь развернутый листъ табаку и тотчасъ бросать этотъ листъ.

— Такъ... и это помню... Будемъ надѣяться, что Богъ оградитъ насъ... Я такъ и Вольтеру писала, который опасается за мое спокойствіе и безопасность: я говорю, что у меня есть укусъ не только „четырехъ разбойниковъ“, но „сорока-сороковъ разбойниковъ“...

— Это въ Москвѣ то, ваше величество,—графъ Салтыковъ?—лукаво спросилъ Орловъ.

— Нѣтъ, есть помоложе... Я за Москву не боюсь... Она богомольная старушка, хоть и не опрятная...

А чума между тѣмъ уже ходитъ по Москвѣ, но только никто ея не видитъ, а если-бъ и увидалъ, то не повѣрилъ бы, что это—чума, что тутъ именно, въ этомъ миловидномъ существѣ съ черненькими глазками и бровками, напоминающими что-то цыганское, съ вздернутымъ кверху, нѣсколько курносенькимъ, курносенькимъ по-дѣтски, носикомъ, — что въ этой жи-

венькой, трепетной, как брошенная на стекло горсть ртути, фигурѣ— источникъ ужасовъ, страданій, десятковъ тысячъ смертей, цѣлыхъ рѣкъ слезъ и стenanій, которыя, если бы можно было ихъ собрать въ одинъ, огромный, съ гору, золотъ мѣхъ и выпустить изъ него на волю,—то стenanія эти поколебали бы моря, потопили бы корабли и цѣлые флоты...

Чума—эта безобразная смерть десятковъ тысячъ народу — пріютилась въ Москвѣ на груди дѣвушки лѣтъ семнадцати - восемнадцати, сидитъ подъ ея лифомъ, оправленная въ золото и финифть, прикрытая святымъ ликомъ Спасителя...

Вонъ недалеко отъ церкви Николы, „что словеть въ Кобыльскомъ“, въ переулочекъ выглядываетъ чистенькій домикъ съ зелеными ставнями, уже закрытыми на ночь, а на мезонинѣ въ крайнемъ окошкѣ свѣтится огонекъ. Войдемъ туда—намъ вездѣ можно входить, какъ всюду входить и темная ночь съ своими тѣнями и сонными грезами, какъ всюду приходитъ и свѣтлый день своими неслышными шагами...

Мы входимъ въ скромную спальню молодой дѣвушки. Справа у стѣны бѣлѣтся небольшая постелька: она еще не смята—не помяты ни подушки въ бѣлыхъ наволочкахъ, ни бѣлая простыня, свѣсившаяся до полу, и только отогнуть одинъ край байкового одѣяла, вѣроятно, тою заботливою рукою, которая слала на ночь эту дѣвическую постель.

У другой стѣны стоитъ ломберный столъ, покрытый филейною скатертью и прислоненный къ нижней рамѣ небольшого зеркала въ темной старинной оправѣ съ тонкою мѣдной каймой. Тутъ же брошены шпильки и гребень, которымъ не задолго предъ этимъ, какъ видно, дѣвушка расчесывала свою черную косу, спадающую ровною сѣтью на смугловатыя, круглыя плечи и на бѣлую ночную сорочку. У зеркала стоятъ двѣ свѣчи, расположенныя такъ, что при помощи другого зеркала, отражаясь на поверхности перваго, онѣ какъ бы тянутся безконечнымъ рядомъ огоньковъ въ далекую темную глубь, едва-едва освѣщаемую этими свѣтлыми, отраженными точками.

Дѣвушка сидитъ неподвижно, положивъ руки на столъ, и пристально глядится въ глубокую даль зеркала, отражающаго безконечную аллею свѣчей и какую-то невѣдомую, таинственную темень.

Дѣвушка гадаетъ... На дворѣ святки стоятъ...

О чемъ же гадать молодой дѣвушкѣ, какъ не о своемъ суженомъ?—А суженый ея далеко-далеко... Вотъ ужъ другой годъ, какъ онъ въ походѣ, гдѣ-то у Дунай,—воюеть съ турками... Изъ-подъ Кагула писалъ онъ, что живъ и здоровъ, впредь уповаеть на Бога, сражался съ турками три раза, видѣлъ смерть въ очи и не получилъ ни одной царапинки; а въ послѣднюю ночь ходилъ съ казаками добывать языка подъ Кагуломъ—и добылъ. Еще шутить въ письмѣ—пишетъ, что его поцѣловала кагульская красавица Мариула и сказала, что онъ никогда не забудетъ ея поцѣлуя. А въ концѣ письма прибавилъ — такой милый, шутникъ! — что цыганка эта, Мариула,—сѣдая и страшная старуха, которую казаки и зарубили... Ухъ, какъ страшно должно быть... А онъ, суженый, пишетъ, что цѣлуетъ Лари-

сины ручки пухленькія съ красными ноготочками, каждый пальчикъ и ладонки Ларисны цѣлуетъ... Такъ и горять ладони отъ этихъ словъ! А съ тѣхъ поръ не писалъ. Да можетъ быть потому, что тамъ вездѣ стоятъ карантинны отъ этой моровой язвы и письма пропускаютъ оттуда съ трудомъ. И послѣднее письмо было все истыкано чѣмъ-то и пахло, не-то уксусомъ, не-то камфорой...

Что-то съ нимъ теперь? Думаетъ ли онъ о своей суженой, о своей Ларинкѣ? Или ужъ спать?

И дѣвушка все пристальнѣе и пристальнѣе всматривается въ непроглядную даль, выступающую позади зеркала. Даже глазамъ больно становится... И жутко, и страшно гадать, а все тянется...

А изъ темени зеркала точно въ самомъ дѣлѣ выглядываетъ что-то знакомое, милое—такъ тускло, тускло, тускло видится, но такъ явственно говорить сердцу... Это онъ глядитъ, суженый, въ красивомъ новомъ военномъ камзолѣ, въ своей треугольной шляпѣ, изъ-подъ которой виднѣются свѣтлорусые кудрявые волосы, оканчивающіеся небольшою косою, по тогдашнему, по военному... Суженый смотреть такими любящими глазами, какъ тогда, когда... ух! чуть сердце не выпрыгнуло...

Скоро онъ самъ пріѣдетъ,—и тогда свадьба—можно свадьбу сыграть тотчасъ послѣ святокъ... Вотъ его товарищи, говорятъ, ужъ воротились. Слышно, что пріѣхали Рожновъ и Грачевъ, только захворали—простудились что ли въ дорогѣ и лежатъ въ военной гошпитали, никуда еще не ходять... А вотъ няня Пахомовна обѣщала сегодня вечеромъ сходить къ нимъ и узнать о Сашѣ, скоро ли онъ пріѣдетъ...

На улицѣ шумятъ „святошники“, ряженые, ходять до поздней ночи—хохотъ, пѣсни—имъ весело...

Какъ у мѣсяца золотые рога—  
Таусень!

И Ларисѣ скоро будетъ весело... Скоро пріѣдетъ няня и скажетъ, что онъ къ Крещенію пріѣдетъ, а до Срѣтенія можно будетъ и свадьбу сыграть... Жарко становится. Горитъ лицо, глаза горять ожиданьемъ и счастьемъ—теперь счастье берется взаймы, а тамъ—отдастся долгъ... Даже уши горять... А грудь-то, грудь какъ колотится подъ сорочкой... подожди, не колотись даромъ, не на *его* груди... А сердце-то замираетъ, Господи!.. Сколько счастья у человѣка, непочатой край счастья, пока онъ... не знаетъ...

Дѣвушка прислушивается. Кто-то тихонько поднимается по деревянной лѣстницѣ въ мезонинъ, къ комнатѣ гадающей невѣсты. Невѣста узнаетъ знакомые шаги старой няни. Это Пахомовна идетъ—„Пахонина“, какъ ее Лариса называла маленькою... Боже! Пахонина несетъ радостную вѣсточку! Она видѣла глаза тѣхъ, которые еще недавно смотрѣли въ ясные голубые глаза *его*, Саши, въ глаза суженаго... Счастливая няня! Но и гадающая невѣста предвкушаетъ такое же счастье, и она сейчасъ увидитъ добрые старые глаза Пахонины, которые только что сейчасъ смотрѣли въ другіе глаза, а эти другіе глаза смотрѣли недавно въ *его* глаза, въ глаза суже-

наго, котораго и конемъ не объѣдешь—зачѣмъ объѣзжать! — И дѣвушка сейчасъ-сейчасъ, вотъ сію минуточку увидитъ глаза самого суженаго, Саши ненагляднаго...

Но какъ она долго копается тамъ на лѣстницѣ, старая! Не знаетъ, что ее тутъ дрожма ждуть — всю душеньку раслѣбенили — ждуть-недождутся... А она тамъ, старая, шаркаетъ своими старыми ногами, шамкаетъ, охаетъ... За ручку двери берется... Вотъ она, наконецъ!..

Но что съ ней? Она на ногахъ не стоитъ... Пьяная, что ли?..

— Охъ! гадаетъ голубушка... объ *емъ*...

— Нянюшка! что-жъ ты!.. была?

— Охъ!.. была...

— Что-жъ, видѣла?

— Охъ, ластушка моя...

— Да что съ тобой?

Дѣвушка вскакиваетъ и подбѣгаетъ къ старухѣ, отстраняя руками растрепавшіяся косы... На старухѣ лица нѣтъ — глаза заплаканы, подбородокъ трясется, руки къ чему-то судорожно прижимаются на груди...

— Что ты, нянюшка, Богъ съ тобой! больна что ли? устала?..

— Охъ, ластушка барышня... и сказать-то не умѣю... и рѣчей-то у меня никакихъ нѣтъ...

И старуха со слезами припала къ похолодѣвшимъ рукамъ своей вскормленницы...

Тутъ только дѣвушка почувствовала, что ее ожгло что-то—и огнемъ, и льдомъ ожгло... Кусокъ льду къ сердцу подкатился... Изъ-за зеркала вышла темевъ и ушла завѣсой передъ глазами—потемнѣло въ глазахъ, а изъ души искры брызнули — освѣтили что-то страшное, невѣдомое, невыговариваемое словомъ...

— Говори!.. охъ, говори!

— Матушка барышня, не вымолвлю... отсохни языкъ...

— Убили его... въ полночь взяли?

Говоря это, дѣвушка машинально опустилась на колѣни, какъ бы умоляя о пощадѣ... Старуха дрожащими руками вынула изъ-за пазухи роковой образокъ-медальонъ...

— Вонъ... прислалъ голубчикъ... волоски тутъ...

Дѣвушка, схвативъ образокъ, видимо не понимала, что же такое дѣлается вокругъ... Старуха качалась на мѣстѣ, словно бы безмолвно причитая по комъ... Дѣвушка все поняла...

— Не въ полночь... не убили... самъ прислалъ... Такъ умеръ?

— Переставился...

Дѣвушка ничего больше не сказала. Она, шатаясь, подошла къ стулу, на которомъ за минуту передъ тѣмъ гадала о своемъ суженомъ и даже видѣла его, тихо опустилась на стулъ, бессмысленно глядя на медальонъ, и молчала...

— Волоски-то какіе — шелковые... цѣлая прялочка, — шептала старуха, попрежнему качая головой.

Дѣвушка спокойно открыла медальонъ—спокойно!—тихое спокойствіе бываетъ или передъ безуміемъ, или передъ смертью... Она знала, какъ открывать финифтяную крышечку... Открыла... увидала...

— И ленточкой синенькой перевты волоски, — продолжала терзать старуха.

Да, подъ финифтью лежала прядь волосъ, свитая кольцомъ и пере-хваченая голубой ленточкой... длинные, бѣлокурые волосы, словно отъ дѣвичьей косы... А старуха причитала:

— Я всю дорогу цѣловала ихъ, плачучи... Голубчикъ мой!.. какъ и кстили его—я мамкой была—такъ и тогда, какъ погъ въ купель волоски-то его съ вощечкомъ бросилъ, я выняла ихъ, спрятала... Бѣленьки, какъ вотъ и эти... А твои-то, сердешная моя, волоски черненьки... Я и тебя кормила—отъ ихъ отошла тогда къ вамъ... три годочка тогда ему было, какъ тебя-то кстили... Я и твои волоски въ ту пору спрятала — вмѣстѣ лежать у меня... Думала я тогда, глупая, что невѣсту ему, бѣдному, вскормлю... Вотъ и вскормила на горе—на слезы горькія... Обѣхъ-то я вась, горемычная, вскормила, да только счастья-доли у Бога не вымолила...

Дѣвушка, наконецъ, зарыдала, упавъ головой на столъ...

— Плачь, дитятко, плачь, бѣдное... Слезы льются — горько, а не льются—горше того... Выкатится слеза—высохнетъ, а не выкатится—камнемъ на сердце падеть...

И дѣвушка плакала — выкатывала слезы-камни, которые къ сердцу приваливали... „О! зачѣмъ я родилась! зачѣмъ не умерла равьше его!..“

Изъ боковой двери, ведущей въ сосѣдную комнату мезонина, выглянуло испуганное лицо юноши, почти мальчика. Это былъ братъ плачущей дѣвушки, который спалъ въ другой комнатѣ,

— Что случилось, нянюшка? Объ чѣмъ сестра плачетъ?

— Охъ, горе у насъ, батюшка баринъ... и-и-хи-хи какое горе!

— Да что же такое? Говори... Лара! что случилось?

Дѣвушка еще горше заплакала, вздрагивая всѣмъ тѣломъ и не поднимая головы отъ стола. Юноша растерялся...

— Да что же—развѣ въ домѣ что случилось?

— Нѣтъ, батюшка... Александръ Андренчъ померъ...

— Какъ? гдѣ? когда?

— Тамъ, батюшка,—на войнѣ... Приѣхалъ оттуда Грачевскій молодой баринъ, вѣсти эти горькія привезъ, да и волоски отъ его на память мертвые отрѣзалъ...

— А чѣмъ онъ умеръ?

— Да вотъ этой самой, сказываютъ, хворобой, что и въ Кеивѣ лѣтось люди мерли...

— Моровой язвой? Что ты!

— Моровой, батюшка, моровой—точно... солдатикъ ихній сказывалъ...

— И это волосы отъ мертваго?—съ ужасомъ спросилъ юноша.

— Точно, батюшка,—отъ покойничка...

Юноша взглянул на столъ и, увидавъ раскрытый медальонъ съ прядью волосъ, лежавшій недалеко отъ головы дѣвушки, которая судорожно плакала, бросился къ сестрѣ, схватилъ ее за голову и силою поднялъ отъ стола...

— Лара! Ларочка!.. и ты трогала эти волосы? — спрашивалъ онъ задыхающимся голосомъ.

Дѣвушка упала было ему на грудь своей бѣдной головой, но юноша съ ужасомъ отскочилъ отъ нея...

— Она трогала волосы? Говори, нянька! — отчаянно допрашивалъ онъ.

— Нѣту... нѣту, батюшка, — барышня не трогала ихъ... Я только ихъ дѣловала всю дороженьку...

— Да ты съ ума сошла! Ты насъ всѣхъ погубишь!..

— Чѣмъ же, батюшка баринъ, я васъ погублю? — наивно спрашивала старуха.

— Да ты заразилась ужъ...

— Что ты, баринъ, пустое говоришь! Отъ мертвыхъ-то волосиковъ... да и скончался-то онъ, батюшка, еще лѣтось, за тридцать земель. Отчего тутъ заразѣ быть?

Юноша отчаянно махнулъ рукой и подошелъ къ сестрѣ.

— Ларочка! няня говорить, что ты не дотрогивалась до этихъ волосъ (и онъ со страхомъ указалъ на медальонъ)... Ради Бога — заклиная тебя! — не прикасайся къ нимъ... Дай, я ихъ тотчасъ же сожгу...

Эти слова заставили опомниться дѣвушку.

Она схватила брата за руку.

— Нѣтъ! нѣтъ! не трогай ихъ... Я хочу съ ними въ гробъ лечь, — плакалась несчастная.

— Да въ нихъ зараза, смерть...

— Смерть... о! — а зачѣмъ мнѣ жизнь?

— Глупости, Ларочка! Да если и хочется тебѣ умереть, такъ зачѣмъ же насъ всѣхъ со свѣту гнать? А, вѣдь, отъ тебя мы заразимся всѣ. Намъ Шафонскій читалъ объ этой болѣзни. Это такая проклятая зараза, что она пристаеетъ къ здоровому не только отъ больного, когда къ нему дотронуться, но отъ его и платья и отъ всѣхъ вещей, которыя у него были. Оттого послѣ умершаго всю одежду сожигаютъ, а золотыя и серебряныя вещи или моютъ въ растворѣ такомъ особомъ, либо окуриваютъ особымъ порошокъ... Дай же, Ларочка, я хоть окуру эту мерзость — у меня есть порошокъ... А къ нянкѣ ты не смѣй и дотрогиваться... — Потомъ, обратясь къ старухѣ, юноша сердито сказалъ: — А ты, старая дура, убирайся сію же минуту изъ нашего дома... Вонъ! чтобъ и нога твоя не была тутъ, пока не пройдетъ мѣсяць-два и пока тебя не продержатъ въ опасной больницѣ... Уходи сейчасъ же, а то я кочергой вытолкаю и кочергу въ огонь брошу... Уходи прочь, прочь!..

— Уйду... уйду, батюшка, — обидчиво сказала старуха, утирая слезы. — Вотъ за всю-то мою службу награда — словно собаку бѣшеную гонять... Уйду... Прощай, барышня голубушка...

Дѣвушка ничего не слыхала... Она, припавъ головой къ столу, тихо плакала. А за окномъ, на улицѣ, выкрикивали женскіе голоса:

Что у мѣсяца золотые рога...

Та—а—а—авсень... та—а—а—усень...

Москва не предчувствовала еще ничего и веселилась. Не веселились только тѣ, у кого было личное горе.

## VI.

### „Чума по Москвѣ ходитъ“.

Спать Москва богатырскимъ сномъ—не знаетъ, не видитъ, что въ ней творится. Не видятъ люди—такъ видятъ птицы.

Вонъ на Пречистенкѣ, у церкви священномученика Власія, равнымъ-ранехонько, вокругъ чего-то распростертаго среди улицы попрыгиваютъ голодные воробышки, чиркая съ холоду и напрасно ища на промерзлой землѣ какого-нибудь зерна, оброненнаго человѣкомъ... Но скупъ человѣкъ—не роняетъ ни одного зерна даромъ, хоть и тратитъ миллионы и тьмами темъ... Ничего не остается маленькому воробышку...

А это что-то большое, распростертое на землѣ, лежитъ—не двигается. Должно быть пьяный человѣкъ—кому же другому придетъ въ голову лежать посреди улицы на мерзлой землѣ въ такую раннюю пору?

Да, человѣкъ. Московскимъ воробьямъ это очень хорошо вѣдомо. Вонъ на масляницу сколько, бывало, пьяныхъ валяется по улицамъ, и никто ихъ не убираетъ,—потому—широкая масляница...

И воробы попрыгиваютъ около пьянаго, боясь, однако, близко подойти къ нему. А какъ проснется да схватить?—Нѣтъ, надо осторожнѣе къ нему подбираться...

Вонъ и ворона съ крыши священномученика Власія зорко глядитъ на это что-то распростертое на землѣ. У вороны зрѣніе лучше воробынаго, должно быть; а и то сказать—ворона птица наметанная, понаметаннѣе воробья. Она мастеръ распознавать пьянаго человѣка отъ мертваго. Не такъ лежитъ это что-то распростертое на землѣ, чтобы признать его за пьяницу; не такъ смотрятъ въ морозное небо открытые, остеклѣнные глаза; не живымъ смотреть это синее съ багрово-черными пятнами лицо, безмолвно посылающее къ безотвѣтному небу свою мертвую укоризну; не шевелятся отъ дыханья заиндевелшіе на усахъ, на бородѣ и на открытой головѣ посѣдѣвшіе морозною сѣдиною волосы...

Да, не пьяный это человѣкъ мертвецки спитъ, а мертвый спитъ сномъ вѣчнымъ.

Ворона слетаетъ съ крыши и садится около этого чего-то распростертаго на землѣ. Воробы съ испугомъ отскакиваютъ отъ этой большой черной птицы, отъ этого крылатаго чудовища. Для маленькаго воробья и ворона кажется чудовищемъ, великаномъ—все на свѣтѣ относительно...

Ворона осторожно и пылливо попрыгиваетъ около этого чего-то распростертаго на землѣ. Воробы тоже робко, одинъ за другимъ, подскаки-

закотъ къ занимающему ихъ предмету, а тамъ—все смѣлѣе и смѣлѣе,— и вотъ ужъ подергиваютъ своими маленькими носиками лежащаго на землѣ чловѣка то за полу кафтана, то за рукава... И ворона становится смѣлѣе: она вскакиваетъ на грудь мертвому и заглядываетъ ему въ остеклѣлые глаза... У! какъ любопытно и страшно!.. Для птицы, какъ и для всякаго животнаго, нѣтъ ничего страшнѣе чловѣческихъ глазъ—страшны они иногда и для самого чловѣка—ухъ, какъ страшны.

И воронѣ страшно этихъ глазъ — хоть и мертвые они, но все же смотреть... Надо заставить, чтобъ они не смотрѣли—надо ихъ выклевать... Оттого птицы раньше всего выклеваютъ у мертвецовъ очи — такъ и „орлы-сизокрыльцы“ у казаковъ прежде всего „очи изъ лоба выдирали“...

И ворона робко пробирается по груди чловѣка къ его лицу, къ его страшнымъ, обращеннымъ къ небу глазамъ... Вотъ она ужъ у самого лица... ноги ея путаются въ заиндевѣвшей бородѣ...

И ворона разомъ долбанула въ мертвый, замершій глазъ—и тотчасъ же слетѣла съ трупа. Рызсыпались и воробьи страшно, у вороны такія большія крылья. Ворона опять на груди мертвеца. Съ груди перескакиваетъ на голову, на лобъ... Опять долбанула — разъ-два-три... долбить усердно, жадно...

Изъ переулка выбѣгаетъ собака и, увидавъ лежащаго чловѣка, останавливается въ нерѣшительности. Ворона улетаетъ на крышу, воробьи отскакиваютъ далеко... Собака начинаетъ лаять нерѣшительнымъ лаемъ—громче, рѣшительнѣе — тотъ не шевелится... Собака начинаетъ обходить пьянаго кругами... А если вдругъ проснется да камнемъ или комомъ мерзлаго свѣгу хватить?.. Собака трусить...

Изъ-за угла показывается старуха съ корзинкой. Старость плохо спитъ—не спалось ночь и этой старухѣ. И вотъ она ни свѣтъ—ни заря плетется на рынокъ, хоть на рынкѣ еще и собаки-то рѣдкія проснулись послѣ ночного служебнаго лаiania на воздухъ да на луну.

Видитъ старуха—лежитъ чловѣкъ на улицѣ... Пьяный, должно полагать... Кому же другому быть, какъ не горькому пьяницѣ?

— О-о-хо-хо! грѣхи-то какіе!—печалуется старуха.—Для великаго-то поста да эдакое-то дѣло, Владычица Матушка!

Останавливается старуха и укоризненно качаетъ головой... Что качешь!—на свою могилу качаешь... Собака около старухи увивается.

— Да ужъ не замерзъ ли пьяненькой-то, матушки мои! пугается старуха,—лежитъ не шелохнется...

Подходить старуха, всматривается, и собака подбѣгаетъ, лаеетъ, смѣло, рѣшительно...

— Такъ и есть замерзъ... Охъ, матушки!

Еще бредетъ старуха. А тамъ старикъ, бабимъ платкомъ повязанный, костыляетъ... Нѣту сна жалкой старости — гуляетъ сонъ съ молодыми, а старость мается, не спитъ, охаетъ, бродитъ, свою жизнь молодую вспоминая да въ свою могилу заглядывая...



Собирается старость около мертвого. А онъ лежитъ безъ шапки, въ распахнутомъ кафтанѣ, безъ сапогъ, въ однихъ шерстяныхъ вязанкахъ... Подходить ближе...

— Да никакъ это Кузьма Ивличъ, спаси Господи!—пугливо говоритъ первая старуха. — Да онъ человекъ непыщій... Матушки! что съ нимъ содѣялось! Ужъ не убить ли?

— Убить, поди, ограбень,—отвѣчаютъ другіе.

— Вонъ и сапоги-то сняты, и шапка скрадена.

Все больше и больше собирается народу. Живые люди увидали мертвого человекѣ—и глядятъ, ахаютъ!.. Каждый день мрутъ люди, и люди все не могутъ привыкнуть къ этому, все это кажется для нихъ страшною, неожиданною новостью... Да, это старая исторія—и вѣчно новая... Старая пьеса, не сходящая съ подмостокъ жизни вотъ уже тысячелѣтія — и все-таки потрясающая человѣчество...

— Да это никакъ язвенный, братцы!—заявляетъ кто-то изъ собравшихся.—У насъ на Суконномъ дворѣ эдакихъ ужъ много померло — сказываютъ, отъ моровой язвы...

Толпа при этихъ неожиданныхъ словахъ пятится назадъ отъ страшнаго трупѣ.

— Язвенный—это точно,—подтверждаетъ другой суконщикъ...

Суматоха увеличивается. Являются, наконецъ, и уличные полицейскіе, которые въ Москвѣ всегда тяжелы на подъемъ, а сто лѣтъ назадъ — и Господи! это были какіе-то ходячіе Морфеи, которые похода и постоя спали, если не грызли сѣмячекъ или орѣховъ, безденежно получаемыхъ ими со всякаго лотка, со всякой лавочки.

— Стой! не подходъ къ мертвому тѣлу!—кричитъ полицейскій, размазывая варежкой.

— Подымать мертвое тѣло долженъ лѣкарь съ поручикомъ, — подтверждаетъ другой въ деревянныхъ кенгахъ на валенкахъ.

— Такъ бѣги живой рукой, оповѣсти начальству, — приказываетъ варежка.

Кенги бѣгутъ „живой рукой“, пряча въ карманъ горсть сѣмячекъ, которыя они не успѣли сгрызть до открытія мертваго тѣла. Варежка остается окдло трупа, важно глядя на народъ и съ укоризной на мертваго.

— Ишь облопался для великаго-то поста,—ворчитъ варежка.

— Не облопался... ишь облопался!—огрызается суконщикъ.—Онъ, чу ли, язвенный.

— Что ты врешь, дурова голова! Гдѣ у насъ быть язвеннымъ!—защищаетъ чистоту своей Москвы полицейская варежка.

— Гдѣ быть! — у насъ на Суконномъ дворѣ... Вонъ намедни и гошпиталь спалили на Веденскихъ горахъ, гдѣ язвенные померли.

— Такъ-такъ, родимый, сама я своими глазыньками видѣла, — подтверждаетъ старуха съ корзинкой. — Подпалили это ее, шпиталь-ту эту, начальнички сами—лѣкаря да солдатушки — ну, и взялась полымемъ...

такъ свѣчечкою и сгорѣла... А изъ поल्या-то изъ самова, мать моя, она, язва-то эта моровая, совой птицей вылетѣла...

— Что ты, баушка! — ахала баба въ мужниной шапкѣ... Совой птицей?

— Совой, касатая дѣвынька... Да эдакъ крыльями-то махъ—махъ—махъ... Да такъ съ дымомъ и улетѣла на Воробьевы горы.

— Охъ, страхи каки!

— Ужъ таки-то страхи, касатая, таки страхи!.. А у совы-то глазищи—у этой язвы-то самой—у-у каки! во!

— Такъ какъ же, бабунька, — сова-то, значить, опять въ Москву прилетѣла съ Воробьевыхъ горъ? — любопытствуетъ баба въ мужниной шапкѣ.

— А поди и прилетѣла, проклятая...

— Ахъ, батюшки! свѣты мои!

— Да ты что, дѣвынька, въ шапкѣ-то?—въ свою очередь, любопытствуетъ старуха.

— Да мой-отъ загулялъ, баунька,—боюсь — пропеть... Я и взодѣла на себя.

Въ толпѣ говоръ необычайный. Слышутся то „горячка“, то „перевалка“; но чаще и чаще звучитъ „моровая язва“. Слышны голоса, отрицающіе язву. Слышны голоса и за язву.

— Аще же разсыпаса язва по ризѣ, или по пряденѣ, или по крокахъ, да сожжетъ ризу, — орагурствуетъ знакомый голосъ „гулящаго поника“: — и да отлучить жрецъ язву на семь дней, глаголетъ Господь.

— А ты толкуй, муховъ окороцъ! — слышится ревъ дѣтины изъ Голичнаго ряда.

— Да, толкуй! Вонъ намедни, на святкахъ еще померла у святого Миколы Чудотворца, что словеть въ Кобыльскомъ, нянюшка господь Атюшевыхъ, лѣкаря Атюшева дочки Ларисы бывая кормилка, я и хоронилъ ее съ отпускомъ... А помре оная раба Божія тако: Впривезли изъ полку, изъ турецкой земли, ладонку послѣ скончавшагося тамо моровою язвою сержанта Перекурова, — привезли оную ладонку Атюшевой Ларисѣ, съ коюю былъ помолвленъ оный, скончавшійся моровою язвою сержантъ Перекуровъ. А въ ладонкѣ той были волосы отъ того Перекурова... И тѣ власы та нянюшка господь Атюшевыхъ, рекома я Пахомовна, по простотѣ своей и невѣдѣнію лобызала, понеже тотъ Перекуровъ, что отъ язвы въ турецкой землѣ скончался, тако же какъ и Лариса Атюшева, былъ вскормленъ оною приснопоминаемою рабою Божіею Пахомовною. А та Пахомовна, какъ занемогла, лежала у сторожа церкви Миколы Чудотворца въ Кобыльскомъ и отъ онаго, по родству съ нѣкіимъ суконщикомъ, была привезена имъ на Оуконный дворъ, гдѣ язвою той и скончалася... И отсюда оная язва по Сосквѣ пошла: первымъ дѣломъ скончалася вся семья церковнаго сторожа святого Миколы Чудотворца въ Кобыльскомъ — я и на-

путьствовалъ ихъ,—а за ними язва пошла и по Суконному двору, а съ Суконнаго двора и на Москву перешла...

Разглагольствованія „гулящаго попка“ были прерваны прїѣздомъ лѣкаря и полицейскаго поручика. Завидя сани съ начальствомъ, толпа разступилась. Изъ саней первымъ выскочилъ небольшой кругленькій человекъ въ ергахъ и въ мѣховой шапкѣ съ ушами. Это былъ лѣкарь. За нимъ вывалился полицейскій поручикъ. Прїѣзжіе подошли къ трупу...

— Те-те-те! старая знакомая... молдаваночка... Она, она, узнаю, голубушку. Ишь, шельма, куда затесалася. Мы отъ нея, а она за нами,—говорилъ лѣкарь, разводя руками.—Это, батенька, она, сучья дочь, — незваная гостя къ вамъ пожаловала; рады не рады — принимайте,—обратился онъ къ полицейскому поручику.

— Не можетъ быть, господинъ докторъ! — испуганно не соглашался тотъ.—У насъ все, кажись, чисто... Да и карантены охраняютъ Москву...

— Такъ-то они, батенька государь мой, охраняютъ... Да за нею, шельмою, и не углядишь... Вонъ въ Кіевѣ нѣкій Васька-котъ, большой ферлакуръ и петиметръ; махался, государь мой, съ нѣкою прекрасною кошечкою... Василій-то Васильевичъ, государь мой, жилъ на Горахъ, а его прекрасная матреса на Подолѣ. А на Подолѣ-то, государь мой, была моровая язва, а на Горахъ-то ее не было—черезъ рогатки не пущали... Такъ Васенька-то, махаючись съ своею матресою по крышамъ, да по чердакамъ чумныхъ домовъ, гдѣ развѣшивалось язвенное бѣлье, и занесъ заразу на Горы... Какъ донесли, государь мой, о семь ея императорскому величеству, такъ они изволили и ручками развести...

Толпа понадвинулась. Веселый лѣкарь ее поободрилъ. Но лѣкарь обратился къ толпѣ:

— А вы, голубчики, подалше отъ этого покойничка... Онъ изъ такихъ, что вскочить и погонится за вами.

Толпа шарахнулась назадъ. Бабы заахали.

— А вы, батенька,—обратился лѣкарь снова къ полицейскому:—прикажете бережно—у! наибережнѣе—сего новопреставленнаго раба Божія—нми рекъ — баграми стащить на съѣзжій дворъ пока, да произвести дознание—что и какъ... Да ни-ни-ни! —волоса его не троньте — подалше отъ него... А тамъ мы распорядимся. Я же повиненъ, государь мой, неупустительно доложить о семь, какъ его сіятельству, господину московскому главному начальнику, генераль-фельдмаршалу графу Петру Семеновичу Салтыкову, такъ и матушкѣ государственной медицинской коллегіи конторѣ самолично... А вамъ, батенька, совѣтую непомедлительно заѣхать въ первую аптеку да спросить тамъ нѣкоего иру—такой корешокъ есть—иромъ называется, ирный корень—да и держать его всегда во рту, когда вамъ придется возиться съ сумнительными больными, да и полицейскимъ служителямъ, кои около сего почтеннаго мужа (онъ указалъ на распостертый на землѣ трупъ) обхождение по службѣ имѣть будутъ, дайте въ зубы, государь мой, по ирному корешку и посовѣтуйте имъ замѣнить под-

солнуховыя сѣмена, до коихъ ваши полицейскіе чины большіе охотники, приымъ корешкомъ... Корешокъ преполозный, вкуса и запаха претмѣнаго... А за симъ, государь мой, счастливо оставаться и съ прекрасною молдаваночкою не встрѣчаться...

И, взявъ перваго попавшагося извозчика, веселый докторъ велѣлъ везти себя прямо къ московскому главному начальнику, къ графу Салтыкову. Въ веселомъ докторѣ читатель, вѣроятно, узналъ того милаго чело-вѣчка на ватѣ, который пользовалъ, на привалѣ у Прута, нашего чумного сержанта Сашу и увѣрялъ, что смерть на чистенькой подушечкѣ въ лазаретѣ, а не на перевязочномъ пунктѣ — малина, а не смерть... Это былъ штабъ-лѣкаръ Крестьянъ Крестьяновичъ Граве, русскій вѣмецъ, со-всѣмъ обрусѣвшій милый чело-вѣкъ, вѣчно бодрый и неутомимый, всегда веселый, несказанно любимый солдатами и офицерами, но самъ не любившій только перевязочныхъ пунктовъ и „главнаго мясника“, какъ онъ называлъ полкового хирурга, за то, что хирургъ отнималъ у его люби-мыхъ солдатиковъ „ручки и ножки“, и все равно потомъ зарывалъ ихъ въ землю, только „калѣками“... Это заставило его выйти въ отставку и разстаться съ своими милыми солдатиками, которые за доброту, ласко-вость и геройское самопожертвованіе любимаго лѣкарька своего переиме-новали его изъ Крестьяна Крестьяновича въ „Христось Христосыча“... На его рукахъ солдатъ всегда умиралъ съ улыбкою на устахъ, съ облегчен-нымъ сердцемъ, съ вѣрою въ людскую доброту...

— Ишь веселый какой баринъ!—галдѣла толпа вслѣдъ удалявшемуся доктору.

— А доберь, кажись,—пра, доберь...

— Коть, слышь, въ Кейвъ язву занесъ... Отъ kota этого, бестин, моръ и по свѣту пошелъ. Эко, Господи...

Салтыковъ — крупная историческая личность — доживалъ свой вѣкъ на почетѣ, въ званіи главнокомандующаго Москвы. А когда-то, очень-очень давно, онъ былъ дѣйствительнымъ главнокомандующимъ — командовалъ войсками въ кровопролитныхъ битвахъ съ страшнымъ Фридрихомъ Вели-кимъ и побѣждалъ страшнаго Фрица... Но это было такъ давно, такъ далеко, что и самому Салтыкову стало уже казаться, что этого не было вовсе, что это объ немъ такъ только рассказываютъ лъстецы и искатели... Да и было ли оно въ самомъ дѣлѣ это золотое, за тридцать земель уле-гѣвшее время? Не было ли это сонъ, мечтаніе сладкое? Была ли когда-нибудь эта молодость дивная, которая только во снѣ теперь пригрезится можетъ? Было ли, полно, это голубое небо, какимъ оно представляется въ соніяхъ старческихъ? А если было все это, то зачѣмъ прошло, падучею звѣздою по небу прокатилось? Зачѣмъ отъ всего — отъ славы и молодости — осталась только подагра, да почечуй, да глухота, да слѣпота? Куда дѣ-вались арміи, которыми онъ когда-то командовалъ? — Перемерли, перебиты, превратились въ инвалидовъ, гниютъ по кладбищамъ, да по госпиталямъ — кто безъ руки, кто безъ ноги, кто безъ головы... А когда-то, кажись, и

головы были... И самому ему, славному побѣдителю непобѣдимаго Фридриха, кажется иногда, что и у него головы ужъ нѣтъ—прошла, пропала, осталась тамъ гдѣ-то на поляхъ славныхъ битвъ... То была голова въ лаврахъ... Охъ, молодость, молодость! Куда все это дѣвалось? куда все это закатилось?..

Такъ думается иногда старому графу въ долгія безсонныя ночи... И куда сонъ дѣвался? На поляхъ битвъ что ли остался онъ, съ запахомъ ли пересохшихъ лавровъ отлетѣлъ, испарился?.. Проклятое время!..

А теперь графъ занятъ дѣлами по управленію первопрестольнымъ градомъ Москвою. Его сіятельство елико возможно бодрится, принимая съ докладомъ господина бригадира и московскаго оберъ-полицеймейстера Николая Ивановича Вахметева, который, вытянувшись въ струнку, рапортуетъ, что на Москвѣ все обстоитъ благополучно: на Пречистенкѣ двухъ армянъ зарѣзали, на Срѣтенкѣ кушца убили, въ Голичномъ ряду семнадцать лавокъ подломали, у Андронья пьяный пономарь колоколь разбилъ, у Николы въ Кобыльскомъ икона плакала, у генерала Федора Иваныча Мамонова борзая сука тремя щенками оценилась — и всѣ съ глазами. Его сіятельство, благосклонно улыбаясь и посыпая мимо носа бѣлый пикейный жилетъ табакомъ изъ массивной жалованной табакерки, ласково выслушиваетъ донесеніе господина оберъ-полицеймейстера, при каждомъ свѣдѣніи киваетъ головой въ знакъ одобренія и только при послѣднемъ извѣстіи оживляется.

— Какъ, государь мой,—и всѣ съ глазами!

— Съ глазами, ваше сіятельство!

— Такъ съѣзди тотчасъ къ Федору Ивановичу—попроси для меня одного.

— Слушаю-съ, ваше сіятельство.

— Да смотри, не простуди его—подъ камзолomъ укрой...

Оберъ-полицеймейстеръ кланяется... Тутъ же въ кабинетъ около графа возится нѣсколько собакъ, которыя со всѣхъ сторонъ обнюхиваютъ господина оберъ-полицеймейстера, а оберъ-полицеймейстеръ имъ дружески улыбается. У камина передъ развалившейся на коврѣ ожирѣвшей сукой почти тѣльно стоитъ лакей въ графской ливреѣ и предлагаетъ сукѣ на серебряномъ подносіи сухари въ сливкахъ. Сука лѣнливо отворачивается.

— Такъ вы, государь мой, утверждаетесь на томъ, что у меня на Москвѣ моровой язвы не будетъ?—обращается графъ къ почтенному, въ богатомъ камзолѣ гостю съ краснымъ лицомъ и жирнымъ подбородкомъ, сидящему поодаль и слѣдящему глазами за ухаживаемыми лакея передъ капризной сукой.

— Утверждаюсь, ваше сіятельство,—увѣренно отвѣчаетъ господинъ съ жирнымъ подбородкомъ.

— А я ужъ было за собачекъ моихъ испугался,—говоритъ графъ, посыпая себя табакомъ.—Да и по сей часъ, государь мой, я не покоенъ за нихъ... Вотъ у бѣдной Флоры совсѣмъ аппетитъ пропалъ, ничего не

кушаетъ— боюсь, не замогла бы (графъ указываетъ глазами на капризную суку)... А все эти холопы не берегутъ ихъ...

— Да помилуйте, ваше сіятельство,—Флора нынче изволили на парня двухъ рябчиковъ скушать,—защищается лакей.—Онѣ не голодны.

— То-то—не голодны! Коли что случится—запору, въ Сибирь сошлю, въ кандалахъ сгною... Такъ не бояться мнѣ за моихъ собачекъ, господинъ докторъ: (это къ господину съ жирнымъ подбородкомъ).

— Не извольте опасаться, ваше сіятельство.

— Моровой язвы нѣту?

— Завѣрительно могу свидѣтельствовать предъ вашимъ сіятельствомъ, что таковой нѣтъ.

Графъ жуетъ губами, посыпаетъ табакомъ жилетъ и что-то напоминаетъ.

— Вспомнилъ... А въ гошпиталѣ, государь мой, что на Веденскихъ горахъ, гдѣ вмѣстѣ съ язвенными былъ запертъ докторъ Шафонскій?

— Тамъ, ваше сіятельство, болѣзнь прекратилась, и гошпиталь сожжена.

— Какъ сожжена, государь мой? кѣмъ? кто поджигатель?

— Гошпиталь сожжена по приказанію вашего сіятельства.

Графъ въ состояніи столбняка... Табакъ сыпется на полъ... Руки дрожать...

— Какъ? кто смѣлъ?

— Гошпиталь сожжена по высочайшему повелѣнію, ваше сіятельство.

— По высочайшему повелѣнію?... А-а! забылъ, забылъ, государь мой... старъ становлюсь... Такъ сгорѣла?

— Сгорѣла, ваше сіятельство.

— А поджигателя поймали?

Всѣ молчатъ... Тяжко видѣть развалину... А Флорка все капризничаетъ—лакей въ отчаяннн...

— Такъ моимъ собачкамъ безопасно можно бѣгать по городу, господинъ докторъ?

— Безопасно, ваше сіятельство.

— Благодарю... А поджигатель гошпитала чтобъ былъ пойманъ (это къ оберъ-полицеймейстеру).

Оберъ-полицеймейстеръ низко кланяется, чтобы спрятать предательскіе глаза.

— Бѣдная, бѣдная Флора... аппетитъ совсѣмъ потеряла...

— Обожралась,—ворчитъ лакей себѣ подъ носъ.

— Такъ моей Москвѣ не грозитъ опасность, господинъ докторъ?

— Ни съ которой стороны, ваше сіятельство.

— Благодарю, благодарю... А то я все за своихъ собачекъ боялся...

Вонъ пишутъ, яко бы въ Кіевѣ котъ перенесъ заразу въ незараженные кварталы,—такъ я и боялся, что и мои собачки могутъ заразиться отъ городскихъ собакъ.

— Не извольте беспокоиться, ваше сіятельство,—успокоиваетъ докторъ:—на сей счетъ будутъ приняты надлежація мѣры...

— Такъ-такъ, я увѣренъ...

— Извольте сами согласиться, ваше сіятельство, что если мы допустимъ заразу въ Москву и сіе несчастіе свѣдано будетъ въ другихъ мѣстахъ государства, то изъ того великій ущербъ торговлѣ и всему казенному интересу произойти можетъ,—и вы, ваше сіятельство, сего не допустите.

— Не допущу... не допущу! Я стою на стражѣ...

— Такъ, ваше сіятельство, и именитое московское купечество думаетъ: „насъ, говорятъ, батюшка графъ не захочетъ разорить этими карантенами да заставами—онъ добрый“...

— Но я и строгъ... очень строгъ... Чтобъ поджигатель былъ пойманъ!..

Оберъ-полицеймейстеръ кланяется еще ниже. Докторъ что-то юлитъ.

— Да, притомъ ваше сіятельство, если застой въ торговлѣ произойдетъ, то сіе ихъ императорскому величеству государынѣ императрицѣ огорченіе причинить можетъ.

— О, да, да, любезный докторъ! Я этого-то и боюсь—огорчить все-милостивѣйшую государыню... Чтобъ у меня въ Москвѣ заразы не было,—неожиданно грозно, но какъ-то хрипло, сиповато кричить одряхлѣвшій герой къ оберъ-полицеймейстеру, стараясь выпрямиться и путаясь въ полахъ своего шелкового халата. — Чтобъ ни одна собака въ Москвѣ не захворала...

— Слушаю-съ, ваше сіятельство.

— И поджигателя гофшпитала изловить!

— Слушаю-съ...

— То-то... А щенка-то отъ Мамонова привезли мнѣ...

Въ эту минуту графу докладываютъ, что штабъ-лѣкаръ Граве испрашиваетъ у его сіятельства аудіенцію по самонужнѣйшему государственному дѣлу. Доктора съ жирнымъ подбородкомъ при этомъ извѣстїи сильно передергиваетъ.

— Просить... просить, — шамкаетъ графъ.—Охъ, не легко управлять Москвой...

Веселый докторъ шарикомъ втатывается въ кабинетъ графа и останавливается въ изумленїи. Собаки стаей обступаютъ его и, радостно виляя хвостами, бросаются къ ошеломленному добряку. Даже капризная Флора встаетъ и милостиво виляетъ хвостомъ...

— Хе-хе-хе! сейчасъ видно добраго человѣка,—радостно шамкаетъ графъ.—Сразу собачки мои почувяли честнаго человѣка... Очень радъ... Что прикажите, государь мой?

— Я уже имѣлъ честь представляться вашему сіятельству... Штабъ-лѣкаръ Граве, изъ арміи...

— Забылъ... забылъ, государь мой... Дѣла много у меня... Что прикажете?

— Сейчасъ, ваше сіятельство, на улицѣ, у церкви священномученика Власія, найдено мертвое тѣло съ явными знаками моровой язвы, и я счелъ священнымъ долгомъ немедленно довести о томъ до свѣдѣнїя вашего сіятельства на предметъ принятїя неотлагательныхъ энергическихъ мѣръ.

Графъ пораженъ. Онъ вопрошающе смотритъ то на оберъ-полицеймейстера, то на доктора съ жирнымъ подбородкомъ, то на веселаго доктора...

— Что вы! на улицѣ?

— Такъ точно, ваше сіятельство.

Графъ совсѣмъ теряетъ голову и только разводитъ руками. Докторъ съ жирнымъ подбородкомъ смотритъ на веселаго доктора и недовѣрчиво, и не совсѣмъ дружелюбно.

Потомъ графъ какъ бы опомнился. Голова его затряслась.

— Какъ же вы докладываете мнѣ, государь мой, что все обстоитъ благополучно! А это что?

Оберъ-полицеймейстеръ молчитъ. Докторъ съ жирнымъ подбородкомъ безпокойно переминается съ ноги на ногу.

— Сейчасъ же запереть всѣхъ моихъ собакъ! Принять неупустительно мѣры... А!.. въ городѣ... на улицѣ... у меня, можно сказать, подъ носомъ, и я не знаю...

Графъ топчется на мѣстѣ. Собаки окружаютъ его, не даютъ двигаться... Флора милостиво подходитъ къ лакею и протягиваетъ морду, чтобы взять сухарь... Она кушаетъ...

— Вотъ-вотъ... очень радъ, очень радъ... къ ней аппетитъ возвращается,—радуется графъ.—Ну, такъ что же, государь мой?—обращается онъ съ веселымъ лицомъ къ веселому доктору.

— Чума по Москвѣ ходить, ваше сіятельство.

— Очень радъ, очень радъ... къ ней аппетитъ возвращается...

Лакей фыркаетъ. Оберъ-полицеймейстеръ прячетъ глаза... Веселый докторъ дѣлаетъ безнадежный жестъ...

— Ты что?—спрашиваетъ графъ лакея.

— Флора, ваше сіятельство, изволили разомъ два куска сглотнуть.

— Очень радъ... очень радъ... Такъ принять мѣры и донести мнѣ... Отпускаю васъ, государи мои... Я усталъ...

Старикъ, дѣйствительно, усталъ... жить... Всѣ откланиваются... Побѣдитель Фридриха Великаго опускается въ кресло... Усталая голова свѣшивается на грудь, нижняя губа падаетъ...

А когда-то голова эта бодро держалась на воловьей шеѣ. Когда-то вокругъ этой шеи обвивались прелестныя ручки, отъ которыхъ осталась горсть, щепоть могильной пыли, щепоть не больше графской понюшки!

Что-то грезится этой поникшей головѣ? Что шепчутъ эти жидкія, опадающія губы?—Вспоминается ли чудная, невозвратная молодость, пора любви, дѣятельности, славы? Проходятъ ли передъ усталыми глазами тѣни товарищей битвъ, молодыхъ друзей, милые образы дорогихъ сердцу, которые давно отошли куда-то и не возвращаются? Не тоскуетъ ли усталый духъ о томъ, что эти ноги не ходятъ, эти глаза не видятъ, это сердце не грѣетъ холодѣющаго тѣла?.. Нѣтъ!—Улыбающіяся губы шепчутъ: „Очень-очень радъ... у Флоры опять аппетитъ есть“...

О, безжалостное время! О, проклятая страсть.



## VII.

## Еропнинъ и Амвросій.

До сихъ поръ Москва все еще не подозрѣвала, что чума гнѣздится въ ея стѣнахъ, что страшныя гнѣзда эти, въ формѣ невидимыхъ, неосязаемыхъ, даже необогаемыхъ атомистическихъ миазмъ, она разбросала во всѣ концы города, пересылая ихъ изъ дома въ домъ, изъ квартала въ кварталъ, изъ церкви въ церковь, отъ одной площади до другой—то на немытой рубахѣ фабричнаго, то на грязномъ, истоптанномъ лаптѣ черноарбочаго, то на чапанѣ больничнаго сторожа, то на лопатѣ гробкопателя, копавшаго яму для язвеннаго, то на церковномъ покровѣ, прикасавшемся къ савану покойника, то на животворящемъ крестѣ Господнемъ, къ которому прикасались косящія губы напутствуемаго... Невидимая рука смерти черезъ водосточныя трубы и водоройны пускала эти губительныя гнѣзда заразы на воду, и зараза черезъ питье входила въ живые организмы и въ жизнь вносила смерть... Дружеское пожатіе руки, горячія объятія, поцѣлуй, прощанье съ дорогимъ покойникомъ—все передавало заразу отъ человѣка къ человѣку, отъ семьи къ семьѣ...

Наступала весна, изъ земли выползала зеленая травка, — и травка уже была заражена, въ каждомъ ея вѣтвномъ стеблѣ сидѣла ужасающая смерть, потому что на травку эту брызнула капля, одна единственная капля воды изъ сосуда, къ которому прикасались губы язвеннаго...

Солнце начинало грѣть и оживать землю, природа просыпалась; но каждый лучъ солнца несъ съ собою заразу, потому что подъ живительной теплотой его оживала страшная миазма, придавленная было морозомъ, и цѣплялась за все живое и неодушевленное, что только нечаянно прикасалось къ ней—къ невидимой, неосязаемой, необогаемой...

„Язва разыскалася“, какъ гласила книга Левитъ, — разыскалася по „ризамъ“, по „придеціямъ“, по „крокамъ“, по всей землѣ, по людямъ, по всей природѣ... Это была та страшная язва, которую ветхозавѣтнй Богъ, въ гнѣвѣ своемъ, насылалъ когда-то на Египеть за угнетеніе народа Божія...

А Москва все еще не могла уразумѣть этого...

— Богъ насладъ на насъ язву за грѣхи наши, — задумчиво говорилъ Амвросій собесѣднику своему, красивому въ военномъ камзолѣ мужичкѣ, сидѣвшему въ кабинетѣ архіепископа, въ покояхъ Чудова монастыря.

— Такъ, ваше преосвященство, — отвѣчалъ собесѣдникъ Амвросія, нетерпѣливо постукивая пальцами по своей расшитой золотомъ треуголкѣ: — но извините, владыко, — ссылаться на „грѣхи наши“ — это, какъ говаривалъ мой наставникъ въ риторикѣ, общее мѣсто... Намъ нужно дѣло, а не общее мѣсто.

— Я и докладываю вашему превосходительству дѣло, а не общее мѣсто,—строго сказалъ архіепископъ.

— Въ вашемъ санѣ, конечно, оно такъ...

— Не въ санѣ архіепископа, государь мой, а въ санѣ человѣка я докладываю вамъ.

— Предъ вами, владыко, не просто человѣкъ, а лицо, не по заслугамъ снисканное высочайшимъ довѣріемъ всемилостивѣйшей государыни моей па трудное дѣло прекращенія сей язвы.

— Я и докладываю вашему превосходительству, какъ представителю высочайшей персоны и воли ея императорскаго величества, — настаивалъ Амвросій, нетерпѣливо звкая чотками.

Собесѣдникъ его не отвѣчалъ; но этотъ отвѣтъ можно было прочитать на его открытомъ лицѣ: „попъ вездѣ попомъ останется“...

— Вотъ вы теперь мѣры изыскиваете, какъ бы помочь горю,—продолжалъ Амвросій:—хорошія мѣры—дѣло хорошее. Но не въ мѣрахъ спасеніе наше, государь мой, а въ сердечномъ покаяніи о грѣхахъ нашихъ...

Собесѣдникъ даже пожалъ плечами отъ нетерпѣнія... „Вотъ повинна наладилъ!.. Тутъ надо биться, чтобъ проклятая язва изъ Москвы не вышла да до Петербурга не добралась, а онъ о грѣхахъ долбитъ“...

— Ваши мѣры уподобятся врачеваніямъ болѣющаго, — продолжалъ архіепископъ:—и то хорошо—врачуйте недугующаго брата... Болятъ ли кто въ васъ—ну, и прочая, и прочая... Кто недуженъ горячкою—врачуй отъ горячки, у кого рука поражена гангреною — урѣжь руку... Врачуйте, государь мой, урѣзываютъ, урѣжьте всю Москву, яко пораженный членъ Россіи... Но это не все—надо покаяться... Припомните, государь мой, Египеть, Индію. Изъ какихъ гнѣздилищъ сей благословенной страны во всѣ вѣка исходила на міръ Божій язва? Изъ гнѣздилищъ, въ коихъ жили паріи...

Собесѣдникъ Амвросія выпрямился. Рѣчь архіепископа, видимо, произвела на него дѣйствіе. На лицѣ его уже не было написано: „попъ — вездѣ попъ, все о грѣхахъ долбитъ“...

— Гдѣ, государь мой, въ наши времена зарождается моровая язва? Въ Персіи и Турціи. А отчего? Полагаю, отъ бѣдности, отъ грязи, отъ невѣжества. Вотъ что лѣчить надо.

Собесѣдникъ Амвросія всталъ и безпокойно заходилъ по комнатѣ. Въ живыхъ глазахъ его блеснула энергія.

— Вы правы, ваше преосвященство, — сказалъ онъ, останавливаясь передъ Амвросіемъ:—много, много надо сдѣлать. Мы точно грѣшны.

Амвросій улыбнулся. Лицо его приняло ласковое выраженіе.

— Виновать, ваше преосвященство,—продолжалъ Еропкинь:—теперь я совершенно васъ понимаю... Такъ вы полагаете не менѣе десяти кладбищъ отвести за городомъ?

— Не менѣе: городъ великъ.

— И никого при городскихъ церквахъ не погребать?

— Ни-ни... ни единого покойника.

— А благородныхъ и чиновныхъ людей? У насъ, ваше преосвященство, знаете,—обычай древній...

— Не все то хорошо, ваше превосходительство, что древне: и грѣхъ имѣть свое родословное древо, и бѣдность славится своею древностью, токмо...

— Согласенъ, согласенъ... Такъ и чиновныхъ?

— Ну, для чиновныхъ покойниковъ можно будетъ отвести кладбища при загородныхъ монастыряхъ...

— Да, это хорошо—и почетъ...

— Въ Донскомъ можно хоронить, въ Новодѣвичьемъ, въ Спасо-андроніевомъ...

— Престѣнно. Такъ мы посему и распорядимся.

Это говорилъ Еропкинъ.—Когда, послѣ отысканія на улицѣ, близъ церкви священномученика Власія, мертвѣго тѣла съ явными признаками чумы на тѣлѣ, веселый докторъ, въ присутствіи доктора съ жирнымъ подбородкомъ, который былъ не кто иной, какъ московскій штабъ-физикъ и медицинской конторы членъ, докторъ Риндеръ, главный медицинскій тузъ въ Москвѣ, по невѣжеству ли, или по какимъ-либо политическимъ и экономическимъ соображеніямъ отрицавшій существованіе въ Москвѣ настоящей моровой язвы или индійской чумы,—когда веселый докторъ напугалъ графа Салтыкова положительнымъ завѣреніемъ, что „чума по Москвѣ ходитъ“ уже на собственныхъ ногахъ и хватаетъ людей за плечи и за икры, какъ бѣшеная собака, и когда Салтыковъ донесъ о томъ императрицѣ, Екатерина, зная дряхлость графа и неспособность управиться съ такою страшною гостью, какъ чума, сказала докладывавшему ей о томъ князю Вяземскому:

— Нѣтъ, это не Фридрихъ Великій и не графу Салтыкову съ нею бороться... Если мой милый старичокъ могъ побѣдить Фридриха тамъ, то тутъ его Фридрихъ побѣдитъ. Я пошлю въ Москву Еропкина—онъ уменъ, расторопенъ и находчивъ. А чтобъ не обижать старичка графа и не отвлекать отъ собачекъ, я командирую къ нему Еропкина яко бы „подъ главное надзираніе его сіятельства“.

И именнымъ указомъ, 25-го марта, генераль-поручикъ и сенаторъ Петръ Дмитріевичъ Еропкинъ былъ назначенъ полнымъ хозяиномъ Москвы, хотя въ указѣ и сказано было, что государыня „всѣ предосторожности и попеченія о храненіи отъ опасной болѣзни столичнаго ея города Москвы гораздо усугубить и все оное распоряженіе и сохраненіе помянутому господину генераль-поручику, по извѣстной ея императорскому величеству его усердности, подъ главнымъ надзираніемъ господина генераль-фельдмаршала графа Салтыкова, высочайше препоручить соизволила“.

Въ то время, когда Еропкинъ, вскорѣ послѣ принятія въ свое вѣдѣніе Москвы, пріѣхалъ въ Чудовъ монастырь къ Амвросію, чтобы посовѣтываться насчетъ перевода кладбищъ за городъ, и когда они толковали

объ этомъ и немножко даже поспорили, Амвросій нечаянно выглянулъ въ окно и увидалъ противъ своихъ келій огромную толпу народа. Толпа переминалась на мѣстѣ, толкаясь и объ чемъ-то горячо споря. Иныя лица прямо обращены были къ окнамъ архіепископскихъ келій... Ясно, народъ ждетъ кого-то, ищетъ...

— Что-бы сіе означало—не понимаю,—сказалъ Амвросій нѣсколько встревоженно.

— А что тамъ?—спросилъ Еропкинъ, подходя къ окну.

— Народъ собрался... чего бы имъ нужно было?

— А не о кладбищахъ ли прослышали? — такъ просить, можетъ, думаютъ...

Амвросій позвонилъ. На колокольчикъ явился служка — молодой, съ добродушнымъ лицомъ малый, съ толстою черною косою, выползавшею на широкую спину изъ-подъ черной скуфейки, малый, скорѣе смахивавшій на запорожца, чѣмъ на монастырскаго служку.

— Что за люди тамъ подъ окнами?—спросилъ архіерей.

— А громада собралась, ваше преосвященство, — добродушно отвѣчалъ запорожець въ рясѣ.

— Какая громада, дурный?

— Та отъ до ихъ.

И запорожець въ рясѣ лѣниво ткнулъ широкою ладонью по направлению къ Еропкину. И Еропкинъ, и архіерей улыбнулись.

— Чего же имъ отъ меня нужно, хлопче?—весело спросилъ Еропкинъ.

— Та просить, мабуть, де-що...

Толпа, однако, прибывала, а единственный полицейскій, стоя у ограды, преусердно чесалъ себѣ спину по свиному—терся спиной объ ограду.

Еропкинъ, наскоро простившись съ архіепископомъ и сказавъ, что онъ навѣдается къ нему по дѣламъ, вышелъ къ толпѣ. За нимъ вышелъ и архіерейскій служка.

При видѣ генерала толпа обнажила головы. Заколыхался цѣлый лѣсъ волосъ всевозможныхъ мастей, но съ сильнымъ преобладаніемъ русоватости и нечесанности.

— Чего вамъ нужно, ребята?—по-солдатски спросилъ Еропкинъ.

— Мы къ вашей милости,—загадѣли и замотались головы, кланяясь и встряхиваясь, какъ въ церкви передъ иконою.

— Въ чемъ ваша просьба?

— Будь отцемъ! Заступись! Дай за себя Бога молить!

— Вели распечатать! Голодомъ помираемъ!

— Въ разоръ разорили насъ, батюшка! Защити! укротъ ихъ алчобу несую!

— Сдѣлай божескую милость! Не пусти по-міру.

Разверстыя глотки распустились — и удержу имъ нѣтъ. Понять эту стадную рѣчь, эту коллективную народную петицію,—нѣтъ никакой воз-

можности. И Еропкинь долженъ былъ прибѣгнуть къ знакомой русскому человѣку рѣчи—къ сильному ораторскому приему.

— Молчать!—закричалъ онъ, какъ на ученя.

Разверстыя глотки остались разверстыми—рты такъ и замерли открытыми, но безмолвными. Еропкинь понялъ, что вступленіе къ его рѣчи оказалось удачнымъ, и потому онъ продолжалъ въ томъ же русскомъ стилѣ, съ прибавленіемъ въ скобкахъ крѣпкихъ, любезныхъ русскому уху словъ или крѣпостей словесныхъ, вродѣ трахъ-тарарахъ и тому подобныхъ трехпредложныхъ междометій и глаголовъ.

— Вы, сякіе-такіе, ворвались сюда безъ спросу! Кто позволилъ вамъ ломиться въ монастырь, нарушать тишину святого мѣста? Я васъ, трахъ-тарарахъ, перепорю всѣхъ до одинаго! Чего вамъ нужно? Говори одинъ кто-нибудь, да потолковѣй да покороче... Вотъ ты, старикъ,—говори, въ чемъ ваша просьба?..

Еропкинь указалъ на старенькаго-старенькаго старичка съ слезящимися отъ ветхости глазами и съ бородою грязно-желтою, словно закоптълою или залежавшеюся въ могилѣ. Старикъ мялъ шапку фасона временъ Ивана Васильевича Грознаго,—шапку, чудомъ уцѣлѣвшую отъ опричины.

— Говори, старикъ!

— Государь-батюшка, смилуйся пожалуй!—зашамкалъ старикъ языкомъ челобитныхъ временъ царя Алексѣя Михайловича.—Мы, холопи ваши, московскіе банщики, челобитную приносимъ тебѣ, вашему сіятельству, на твоихъ слугъ государевыхъ, на полицейскихъ воровскихъ людей...

— Что ты вздоръ городишь, старый дуракъ!—осадилъ оратора Еропкинь.—Говори дѣло—какіе воровскіе люди?

— А печатальщики, батюшка князь, — что запечатали добро наше, и намъ съ женишками и дѣтишками помереть пришло голодною смертію... Государь-батюшка, смилуйся пожалуй!

— Какіе печатальщики? Какое добро запечатали?.. Говори ты!—накинулся Еропкинь на дѣтину изъ Голичнаго ряда, который любилъ толкаться гдѣ много народу.—Сказывай ты, а то отъ безтолковаго старика ничего не добьешься... Ну!

— Мы, ваше сіятельство, изъ Голичнаго ряда—голицами торговали,—началъ дѣтина, который былъ не робкаго десятка:—а намедни, значить, бани запечатали...

— Ну, запечатали—такъ что-жь?

— А намъ мыться негдѣ...

— Вотъ претензія! Да тебѣ, быку эдакому, зимой въ проруби купаться, такъ за честь,—засмѣялся Еропкинь. Дѣтина ослабилъ свой ротъ до ушей.

— А мы, ваше сіятельство, банщики, намъ дѣтей кормить-понть надо,—осмѣлился другой парень, видя, что страшный генераль не сердится.—Мы безъ работы съ голоду помираемъ...

— Государь-батюшка, смилуйся пожалуй! Не вели казнить! — снова

завопилъ старикъ языкомъ челобитныхъ... Мы твои холопи государевы... смилуйся пожалуй!

— „Вели бани распечатать!..“ „Защити!..“ „Не пусти по-міру!..“ „Сдѣлай божескую такую милость!“—прорвалась плотина—снова разверзлись глотки всего соборища банщиковъ и не банщиковъ. — „Распечатай“... „Заступись!“

Еропкинь опять долженъ прибѣгать къ испытанному средству — къ ораторскимъ приемамъ въ русскомъ стилѣ.

— Молчать, каналы!..

Рты опять закрылись. Передніе ряды попятились, навалили на заднихъ, тѣ дрогнули, шарахнулись...

— Ишь, сволочь, чего захотѣла! Отпечатай имъ торговья бани... Да вы всё тамъ перезаразаетесь и заразите весь городъ. Вонъ и такъ язва ужъ въ городѣ...

— Гдѣ язва въ городѣ, батюшка! Никакой у насъ язвы нѣтути,—заговорилъ другой старикъ. — Коли сукончики мрутъ, дакъ это ихъ руко-месо такое... Фабричному какъ не мереть!

— Шерсть, чу, заразную къ имъ изъ Серпухова отай привезли...

— Не шерсть, а голицы, чу,—отъ морной скотины шкуру...

— Какъ голицы? Что ты врешь!

— Не вру... за грошъ купилъ, за грошъ и продаю...

— То-то—грошъ...

— Не голицы, а котъ, слышь, изъ Кеива чумный прибежь...

— Гдѣ коту изъ Кеива до Москвы добѣжать! Не котъ...

— Знаю не котъ... А изъ полку, изъ турецкой земли, сказываютъ, отъ мертвой цыганки волосы привезли—цѣлу косу, бають...

— Не косу, а образокъ, чу, съ волосами—отъ офицера къ его не-вѣстѣ, Атюшевой прозывается, Лариса... Отъ ее моръ пошелъ...

— А вонъ люди бають—не отъ ее, а отъ собачки махонькой, полковой, Маланьей зовуть—солдатъ сказываютъ.

Еропкинь чувствовалъ, что у него голова начинаетъ кружиться отъ этого невообразимаго гама и отъ этой ужасающей чепухи, въ которую превращался народный говоръ. Онъ видѣлъ, что покажи онъ малѣйшую слабость и нерѣшительность — ему этого народнаго моря ужъ не унять безъ потоковъ крови... Этотъ котъ, что „прибежь изъ Кеива“, „голица отъ чумной шкуры“, „коса какой-то цыганки“, „махонькая полковая собачка“—да это ужъ народныя легенды, вѣрованья, которыя изъ нихъ пушками не вышибешь...

Еропкинь все это сразу сообразилъ и понялъ, что Москва стоитъ надъ пороховымъ погребомъ, что достаточно одной искры, чепухи вродѣ кота, что „прибежь изъ Кеива“,—и Москву внесетъ на воздухъ.

— Молчать!—въ третій разъ прибѣгъ онъ къ вѣрному, ошпаривающему средству—къ крѣпкому слову, которое для русскаго народа сильнѣе всякихъ заклинаній. — Бани запечатаны для того, чтобъ народъ въ нихъ другъ другу заразу не передавалъ...

— Какъ же, батюшка, отъ мытья-то зараза быть можетъ?

— Она, сказываютъ, отъ нечисти—такъ надо мыться...

— И мертвыхъ, чу, обмываютъ, а живыхъ и подавно...

Еропкинь поднявъ кверху толстую, съ золотымъ массивнымъ набалдашникомъ трость и сбѣлалъ два шага впередъ съ угрожающимъ жестомъ.

— Если кто изъ васъ пикнетъ хоть, такъ того сейчасъ же въ колодки—и въ Сибирь! — рѣзкимъ, надтреснутымъ голосомъ крикнулъ онъ.— Торговья бани—слышите, мерзавцы!—торговья бани запечатаны по высочайшему ея императорскаго величества повелѣнію... Слышите! по высочайшему повелѣнію! Такъ ни я, ни кто въ мірѣ ихъ, безъ указа ея величества, распечатать не можетъ. Я передаю вамъ высочайшую волю... А теперь по домамъ! марш! — а то я прикажу васъ всѣхъ нагайками загонять въ ваши стойла... Вонъ отсюда!

Оторопѣвшее стадо шархнулось назадъ. Передніе ряды смяли задніе... Въмѣсто оторопѣлыхъ лицъ видѣлись только спины и нечесанные затылки—все бросилось къ выходу, и черезъ минуту изъ оконъ Чудова монастыря видѣнь былъ одинъ лишь прежній часовой, отъ страху и изумленія прикипѣвшій къ землѣ.

— Чтобъ впередъ народъ не собирался кучами, а то я тебя пугну!— крикнулъ ему Еропкинь, садясь въ коляску.

Архіерейскій служка, напоминавшій запорожца въ рябѣ, даже свистнулъ отъ удивленія.

— Отъ сердитый, такъ сердитый! Ой-ой-ой...

При выѣздѣ изъ Спасскихъ воротъ, Еропкинь встрѣтилъ веселаго доктора, который скакалъ куда-то на парѣ ямскихъ. Докторъ остановился.

— А! это вы, докторъ,—ласково сказалъ Еропкинь, приказавъ своей коляскѣ остановиться.—Куда мчитесь?

— Къ вашему превосходительству.

— Съ дурными вѣстями?

— Ни съ дурными, ни съ хорошими, а съ докладомъ... По приказанію вашего превосходительства...

Еропкинь перебилъ его торопливо.

— Намъ время дорого, докторъ, и мы не должны воровать его у государства... Не удлинняйте вашу рѣчь пустыми словами, „ваше превосходительство“... Для краткости и для пользы службы называйте меня просто „генераль“: это короче, а то и никакъ—это еще короче...

— Слушаю-сь.

— Ну?

— Я сейчасъ былъ въ Симоновомъ и Даниловомъ монастырѣ, куда переведены фабричныя съ Суконнаго двора. Подошедъ съ надлежащею осторожностью къ воротамъ, я, съ вѣдома караульнаго офицера, приказалъ вызвать къ калиткѣ запертаго въ томъ монастырѣ вмѣстѣ съ фабричнымъ поддѣкаря и чрезъ огонь разспросилъ его обстоятельно, были ли вновь изъ фабричниковъ заболѣвшіе и умершіе, и оба сіи приключенія какимъ по-

рядкомъ происходили... Изъ отвѣтовъ поддѣкарей я узналъ, что и умершіе, и вновь заболѣвшіе были, и что по признакамъ болѣзнь та—несомнѣнно моровая язва, съ какою я въ Бессарабіи познакомился...

Еропкинь сурово задумался.

— Благодарю, — сказалъ онъ, тотчасъ опомнившись...—А изъ тѣхъ тысячи - семисотъ - семидесяти фабричниковъ, что разбѣжались по городу, много полицією разыскано и въ монастыри доставлено?

— Мало—почти никто не пойманъ.

Еропкинь насунился. Онъ чувствовалъ, что чума гуляетъ по Москвѣ — не поймать ужъ ея... Предстоитъ страшное дѣло и страшная борьба...

— Въ послѣдующіе разы, докторъ, — началъ онъ торопливо:—я вижу, что вы добрый и честный человѣкъ, — такъ въ послѣдующіе разы, когда вы будете освѣдомляться о ходѣ болѣзни въ Симоновомъ и Даниловомъ монастыряхъ, я вамъ поручаю, какъ у поддѣкарей, что заперты въ монастыряхъ съ фабричниками, такъ и у ихъ старосте доподлинно узнавайте о томъ, получаютъ ли всѣ фабричные опредѣленную имъ порцію и какова она качествомъ и довольно-ль всѣ одѣты и обуты, и не имѣютъ ли въ чемъ какого недостатка, и не притѣсняетъ ли кто ихъ... Такъ я ужъ на васъ надѣюсь...

— Все исполню, генераль... Я знавалъ нужду народную...

— А въ городѣ какъ?

— Не смѣю скрыть: зрѣть бѣда, тѣмъ болѣе, что народъ все еще не вѣритъ страшной истинѣ и разноситъ заразу, утаивая больныхъ изъ боязни карантена и пряча лохмотья послѣ умершихъ.

— А все это Риндеръ да Скиаданъ, да Кульманъ... за торговлю испугались... купцовскихъ мошонъ жаль стало... На осину бы ихъ!

Коляска тронулась, и Еропкинь ускакалъ. Толпы банщиковъ, понуривъ головы и въ сотый разъ толкуя о котѣ, что „прибегъ изъ Кіева“, да о сказочной кося цыганки, медленно расходились по домамъ. Веселый докторъ, сообразивъ что-то съ минуту, приказалъ своему возницѣ заворотить отъ Спасскихъ воротъ и ѣхать мимо церкви Василя Блаженнаго.

Въ это время онъ увидѣлъ, что къ церкви подходитъ какая-то дѣвушка, совсѣмъ молоденькая, но вся въ черномъ, съ траурными, непріятно рѣжущими глазъ бѣлыми каймами на платьѣ, глубоко задумчивая и глубоко печальная... Подойдя къ церкви, она остановилась, повидимому, въ тяжелой нерѣшительности, снова рванулась къ церкви, какъ бы переломивъ боязнь, потомъ опять съ ужасомъ остановилась...

Вглядѣвшись въ дѣвушку, докторъ, казалось, узналъ ее. Доброе круглое, лоснящееся отъ усталости лицо его сразу побагровѣло, потомъ поблѣднѣло, приняло горькое, тоскующее выраженіе... Онъ торопливо велѣлъ своему возницѣ остановиться и стремительно, шарикомъ покатился къ дѣвушкѣ... Это была та дѣвушка, которая гадала о суженомъ и получила отъ него...



— Лариса Владимировна!—грустно, нерѣшительно, не своимъ голосомъ окликнулъ веселый докторъ дѣвушку въ черномъ.

Та съ удивленіемъ и испугомъ остановилась. Она, казалось, не помнила, гдѣ она и что съ ней.

— Вы не узнаете меня?—робко спросилъ докторъ.

Дѣвушка опомнилась. Глаза ея, большіе, черные, съ длиннымъ разрѣзомъ и какъ бы усталые, блеснули страннымъ свѣтомъ. Но какъ она измѣнилась съ того вечера, когда гадала о суженомъ! Матовое, нѣсколько смуглое, словно выточенное лицо ея поблѣднѣло, успѣло изъ дѣтскаго превратиться въ лицо большой дѣвушки. Цыганеночку она напоминала теперь только очертаніями лба и изгибами длинныхъ бровей, но ужъ не глазами—въ глазахъ было что-то слишкомъ грустное, даже что-то большее, чѣмъ грусть...

— Нѣтъ, я узнала васъ, докторъ,—тихо сказала дѣвушка. — А вы давно воротились оттуда?

Въ глазахъ ея, сквозь дѣтское выраженіе, промелькнуло что-то такое, отъ чего веселый докторъ готовъ былъ заплакать, разрыдаться. Но онъ пересилилъ себя и отвѣчалъ:

— Недавно, Лариса Владимировна... О! тяжело вспоминать... *это*...

Дѣвушка понимала это недосказанное „это“. Они думали объ одномъ...

— Вѣдь, *онъ* умеръ на моихъ рукахъ, —продолжалъ докторъ свою тяжелую исповѣдь.

— Да, знаю... мнѣ говорилъ Грачевъ...

Дѣвушка вздохнула и задумалась. *Она* говорила такъ, какъ будто то, о чемъ говорилось, еще тутъ, вблизи гдѣ-то, да не откликается — и не откликнется никогда, — а все будешь о немъ думать... И у того, и у другого на душѣ это вѣчное, ужасное „что же дѣлать!“...

— *Онъ* былъ первый въ нашей арміи, на которомъ я увидалъ знаки этой... проклятой болѣзни... Меня поздно увѣдомили, что онъ занемогъ...

— Да... да,—какъ бы думая о чемъ-то своемъ, повторяла дѣвушка.

— Умирая, въ бреду, въ агоніи, онъ шепталъ ваше имя и имя какой-то цыганки...

— Да... да...—повторяла дѣвушка.

— Я догадываюсь—она передала ему заразу.

— Да... да.

Веселому доктору становится невыносимо тяжело. Въ первый разъ въ жизни онъ видѣлъ такое безмолвное горе и—у такого молодого существа.

— Я очень жалѣю, что за недосугомъ не успѣлъ быть еще у васъ... Батюшка здоровъ?—снова заговариваетъ докторъ.

— Да, здоровъ,—все тѣмъ же упавшимъ голосомъ отвѣчала дѣвушка: но потомъ съ какой-то особой силой прибавила:—но няня—Пахомовна—умерла...

Докторъ замѣтилъ это что-то особенное въ отвѣтѣ и спросилъ:

— Чѣмъ она умерла?

— Вотъ... этой...—дѣвушка не договорила.

— Отъ кого же она могла заразиться?

Докторъ самъ испугался своего вопроса, когда взглянулъ на дѣвushку— она, казалось, должна была упасть.

— Вамъ дурно?.. Ради Бога, что съ вами?

— Ничего... я вамъ все скажу, — какъ-то торопливо отвѣчала дѣвushка.—Я заразила няню... я заразила всю Москву... отъ меня пошла эта страшная болѣзнь...

Докторъ испугался. Онъ думалъ, что передъ нимъ несчастная, помѣшавшаяся отъ горя. Онъ сразу не нашелся, что сказать.

— Грачевъ привезъ медальонъ — образокъ отъ него, — все также торопливо продолжала дѣвushка. — Въ образкѣ его волосы... Грачевъ отъ больного отрѣзалъ локопъ... Няня цѣловала ихъ... Отъ няни заразилась семья сторожа у Никола въ Кобыльскомъ и тотъ купецъ, что нашли на улицѣ у Власія... Большую няню племянникъ ея, суконщикъ, свезъ на Суконный дворъ... Оттуда и пошла зараза—отъ меня... Меня надо сжечь...

Докторъ схватилъ дѣвushку за руку. Рука была холодна, какъ у мертвеца.

— Ради Бога, успокойтесь, — едва выговаривалъ отъ волненія докторъ.—Какъ же вы сами? Гдѣ же эти несчастные волосы?

— У меня на груди...

— И вы прикасались къ нимъ?

— Нѣтъ... Я поклялась отцу и брату не дотрогиваться до нихъ, и видѣть ихъ до смерти... Образокъ закрыли... его окуривали, обмывали...

Докторъ задумался, продолжая держать дѣвushку за руку, какъ бы стараясь отогрѣть ее въ своей рукѣ.

— Я буду у васъ, я поговорю съ вашимъ батюшкой объ этомъ дѣлѣ,—говорилъ онъ, сильно пожимая маленькую холодную ручку.—А теперь вы шли въ церковь?

— Да... я хотѣла... я...,—дѣвушка замялась и всыхнула: дѣтскій румянецъ на блѣдныхъ щекахъ и дѣтское выраженіе стыдливыхъ глазъ выдали какую-то тайну, что-то недосказанное... Дѣвushка, видимо, рѣшалась на что-то серьезное, не дѣтское, но еще не рѣшилась, не осилила себя... Докторъ понималъ это...

— Я скоро буду у васъ,—сказалъ онъ.—А вы, дѣвочка милая (онъ взглянулъ ей въ глаза своими добрыми глазками), вы забудьте вашу „Пахонину“ (у дѣвushки задрожали губы при этомъ напоминаніи)—ей пора было на погостъ... А пока—держите клятву, данную отцу, не заглядывайте въ медальончикъ... а главное—не рѣшайтесь пока ни на что (докторъ сдѣлалъ удареніе), не поговоривъ съ батюшкой или со мной... Вѣдь, я васъ, милая дѣвочка, когда-то на рукахъ носилъ... Бывало кричите мнѣ навстрѣчу: „На—меня, дядя Кистякъ, на, на ручки“... Такъ-то, милая дѣвочка... А теперь прощайте...

Онъ крѣпко пожалъ ей руку и направился къ своему возницѣ. Дѣвushка вошла въ церковь.

VIII.

„Дѣвочка забрала себѣ въ голову“.

— А дѣвочка-то забрала себѣ что-то въ голову, — бормоталъ самъ съ собой веселый докторъ, торопя своего возницу скорѣе везти его въ контору государственной медицинской коллегіи.

Дѣйствительно, дѣвочка забрала себѣ въ голову...

Когда, послѣ напрасныхъ увѣщаній брата — сжечь роковой бѣлокурый локонь умершаго жениха — Лариса продолжала упорно отстаивать права свои на это ужасное наслѣдство и, дозволивъ лишь брату окурить опасный образокъ, надѣла его на себя въ ту же ночь, — она не думала о возможности смерти, да и смерть, въ пылу молодого отчаянія, представлялась ей даже желанною гостею...

— Скорѣй бы къ нему! — шептала она, томясь въ горячей отъ ся пылающаго тѣла постели въ продолженіе всей длинной, мучительной зимней ночи...

Скорѣй бы! Только молодость способна на такія энергически-скоряя и безповоротныя рѣшенія... „Скорѣй къ нему!“ — другими словами: скорѣе перестать чувствовать эту жгучую ссадину на сердцѣ, забыть все, что было, не сознавать того, что случилось, что потеряно, что придется потомъ испытывать, переживать, перебалывать, выстанывать стономъ въ теченіе всей долгой жизни, — скорѣй развязаться съ этой проклятой, разбитой вдребезги, какъ фарфоровая чашка, жизнью.

Всю ночь она порывалась открыть ужасный образокъ и поцѣловать убійственный локонь милого, чтобы сейчасъ и умереть тутъ, задохнуться, захлебнуться отчаяніемъ и горемъ. Нѣсколько разъ она даже вскакивала съ постели съ этимъ безумнымъ рѣшеніемъ, — но тотчасъ же, какъ босыя ноги ея касались холоднаго пола, приходила въ себя, вспоминала, что на этомъ самомъ образкѣ поклялась она брату именемъ того, для кого она хочетъ умереть, хотѣла бы сейчасъ! — поклялась въ томъ смыслѣ, что, если она измѣнитъ этой клятвѣ, то это будетъ измѣна *ему* самому, его памяти, его чувству, — и, вспомнивъ все это, она со стономъ прикладывала образокъ къ горячей груди — и плакала, плакала...

Эти молодыя слезы и спасли ее. Утомленная имп, наплакавшись до истомы, до потери возможности стройныхъ представленій, она къ утру уснула такимъ крѣпкимъ, мертвецкимъ сномъ, который скорѣе можно назвать не мертвецкимъ, а сномъ жизни, здоровья, какимъ можетъ только спать чистая и здоровая тѣломъ и духомъ молодость.

Но когда черезъ нѣсколько дней она неожиданно узнала, что няня дѣйствительно умерла гдѣ-то, когда по осмотру тѣла умершей отцомъ и братомъ Ларисы, которые оба были медики, оказалось, что старушка умерла точно отъ моровой язвы, отъ чумы, когда потомъ до дѣвушки стали до-

ходить слухи о томъ, что эта ужасная болѣзнь поселилась на Суконномъ дворѣ, именно тамъ, гдѣ умерла Пахомовна, а затѣмъ стала хватать жертвы по городу, опять-таки по прикосновенности къ Суконному двору и его рабочимъ,—дѣвушка пришла къ страшному убѣжденію, что она явилась тутъ невинно тою ужасающею міръ десницею гнѣвнаго Бога, которая налегла теперь на ея родной городъ, спустившись съ неба морвою тучею...

Къ личному горю ея присоединилась теперь это ужасное сознание, отъ котораго нельзя было не содрогаться. Она увидѣла себя въ центрѣ какого-то страшнаго кладбища, гдѣ изъ всѣхъ гробовъ вставали мертвецы и указывали на нее, на ея грудь, на которой хранилось что-то ужасающее, но ей все же дорогое. Казалось, вся жизнь превращалась для нея въ одно кладбище—кругомъ мертвецы, а она одна только живетъ, хотя чувствуетъ, что не должна жить, что не можетъ такъ жить дальше и не можетъ ни умереть, ни забыться, ни забыть своего маленькаго личнаго горя, которое для нея, однако, было острѣе, жгучѣе горя общаго...

И братъ, и отецъ, котораго она очень любила, но котораго, вѣчно занятаго больными въ своемъ госпиталѣ, она рѣдко видѣла, повидимому, избѣгали съ нею разговоровъ о томъ, что дѣлается въ городѣ. Отецъ, впрочемъ, когда братъ, послѣ смерти няни, разказалъ ему исторію съ образкомъ и волосами, хотя и успокоилъ ее, что, быть можетъ, образокъ тутъ не при чемъ, однако осмотрѣлъ его и окурилъ; но, не имѣя силъ ни въ чемъ отказать свой любимицѣ, хотя и не уничтожилъ его, тѣмъ не менѣе заперъ въ ея шкатулку и ключъ спряталъ у себя: онъ самъ очень любилъ жениха своей дочери, котораго такъ неожиданно похитила у нихъ эта поистинѣ „нагая смерть“, и глубоко сочувствовалъ горю своей любимицы.

Съ каждымъ днемъ дѣвушка все болѣе и болѣе убѣждалась, что въ городѣ очень не ладно. Все это еще болѣе сгущало тотъ мракъ, который налегъ ей на душу. Она буквально не находила себѣ мѣста. Она стала было молиться, но и молитва не приносила ей ни утѣшенія, ни облегченія: на душѣ оставался все тотъ же мракъ... Да и о чемъ могла она молиться? Какъ? Просить? Но о чемъ? Ей не объ чемъ было просить... Жаловаться?—Но на кого, на что, а главное—кому? Плакать передъ образами, до утомленія биться объ церковный полъ, объ полъ своей маленькой спальныи? Она плакала, не чувствуя облегченія, и колотилась объ холодный, каменный помостъ церковей; но и въ сердцѣ и въ головѣ оставалось все то же...

Если бы можно было уйти отъ себя... Но какъ, куда? На это всегда у людей былъ одинъ отвѣтъ: отъ себя можно уйти только въ могилу... Но къ этимъ острымъ рѣшеніямъ люди приходятъ только въ порывѣ, такъ сказать, подъ ножомъ чьей-то невидимой руки; но отъ нея этотъ ножъ отклонилъ кто-то въ ту ночь, когда грудь ея жегъ тотъ роковой образокъ и она все еще *чего-то* ждала тогда... Теперь ужъ и ждать нечего; но—она живетъ... нѣтъ ужъ того ножа—его кто-то отклонилъ...

Одно она чувствовала, что она, какъ бы вопреки своему желанію, живетъ еще, что она брошена въ пасть этой жизни—и ни вырваться изъ нея не можетъ, ни перестать чувствовать, думать... быть... быть какимъ-то страдающимъ и воспоминающимъ бревномъ...

Разъ отецъ, видя ее тоскующую, молчаливою, не вытерпѣлъ, заговорилъ съ нею за утреннимъ чаемъ.

— Бѣдный мой ребенокъ!.. Все объ немъ думаешь?

— Нѣтъ, папа... не думаю...

— Какъ же не думаешь? Али я не вижу?

— Я сама не знаю, папа...

— Ну, тоскуешь, въ душѣ сохнешь, это еще хуже... Я понимаю это, моя бѣдненькая: я самъ то же испытывалъ, когда умерла твоя мать. Вѣдь, мы съ нею только два года жили. Тебѣ пошелъ второй годокъ, какъ она скончалась, а Саня только родился. Ну, я и обезумѣлъ было отъ горя—забылъ даже про васъ... Только покойница Пахомовна напоминала мнѣ объ васъ... Тебѣ и „Пахонину“ жаль, дружокъ?

— Да, папа, жаль.

— Ну, вотъ что, „Пахонина“, иди-ка лучше ко мнѣ на руки, я кой-что скажу тебѣ,—ласково привлечь онъ къ себѣ свою любимицу.

Дѣвушка повиновалась и, обхвативъ руками шею отца, заплакала. Ей даже показалось, что эти слезы какъ будто въ первый разъ облегчаютъ ее...

— Ну, ничего, ничего, моя „Пахонина“ бѣдненькая,—шепталъ отецъ, глядя черную головку дочери.—Поплачь немножко... А я тебѣ доскажу, что началъ... Какъ „Пахонина“-то напомнила мнѣ объ васъ, да какъ увидалъ я, какими вы бѣдненькими сироточками остались,—тутъ я и понялъ, что у меня не одна забота на свѣтѣ—горевать о покойницѣ да думать о своемъ горѣ... Я и сталъ думать объ васъ, убиваться около васъ—ну, и начало мнѣ становиться какъ будто бы полегче... Такъ-то, мой дружокъ... А ты давно видѣла свою „курносенькую бѣляночку“?

— Какую, папа?—спросила дѣвушка, продолжая сидѣть на колѣняхъ у отца и смутно чувствуя, что это первое единственное кресло, сидя на которомъ, она въ первый разъ почувствовала что-то похожее на облегченіе.

— А „бѣлая березанька“,—отвѣчалъ онъ, улыбаясь.

— А—Настя... Я давно не видѣла ся... забыла...

— Какъ забыла, дурочка?

— Я все, папа забыла... И дѣвушка снова заплакала.

— То-то—вижу... вижу... И папку даже забыла...

— Нѣтъ, папочка, не забыла...

— Ну, немножечко... А когда-то „папаверъ“ былъ мастеръ улаживать тебя сказками да „страшными исторіями“... Помнишь? Усядешься бывало у меня на колѣняхъ и передохнуть не дашь: „ясказывай, папа, ясказывай“... Помнишь, Ларецъ мой дорогой?

— Помню, папочка.

— Ну, ладно... А все бы сходила къ своей „бѣлой березанькѣ“, поразмыкалась бы... Да?

— Да, схожу, папа.

— Ну и ладно...

„Курносенькая бѣляночка“ тоже ждала *кого-то* изъ арміи... Она не знала только, что этотъ *кто-то* тоже рвался увидѣть *кого-то*... да опять бы „въ сѣнцахъ“ встрѣтиться, какъ и тогда...

А что такое эти „сѣнцы“? Въ сущности—пустяки; но въ чьей-то памяти онѣ являются не пустяками, а чѣмъ-то до того отраднымъ, что, при одномъ воспоминаніи объ этихъ темныхъ „сѣнцахъ“, у этихъ, вспоминающихъ о нихъ, какъ-то свѣтлѣетъ на душѣ и жизнь не кажется пустыней...

А въ сущности, опять-таки, все это пустяки...

Какъ-то разъ гости засидѣлись поздно вечеромъ въ палисадникѣ за домикомъ, въ которомъ обитала „курносенькая бѣляночка“, пріятельница и совоспитанница Ларисы. Гости состояли изъ старухи матери „бѣляночки-пой“, изъ самой „бѣляночки“, Ларисы, ея брата Сани и трехъ молодыхъ сержантиковъ. Ночь была лѣтняя, свѣтлая. Сирень такъ хорошо пахла. Въ сосѣднемъ саду такъ безтолку неугомонно почему-то щелкалъ соловей — вѣрно просто по глупости щелкалъ и вовсе не хорошо щелкалъ, какъ и всѣ соловьи; но всѣмъ почему-то казалось, что онъ хорошо щелкаетъ, по душѣ и по нервамъ щелкаетъ, и всѣ слушали его, украдкой поглядывая — молодые сержантики на молодыхъ барышень, молодые барышни — съ величайшей осторожностью — на молодыхъ сержантиковъ... Ну, однимъ словомъ — пустяки: молодая глупость и молодое счастье — счастье невѣднія, но такое хорошее это глупое молодое счастье... И соловей глупо щелкаетъ, и сирень глупо пахнетъ, — а хорошо всѣмъ. Говорили молодые сержантики о томъ, что скоро война съ турками будетъ, что ихъ, вѣроятно, пошлютъ на войну... Молодые сержантики говорили, а у молодыхъ барышень сердца немножко сжимались — ну, понятно — по глупости...

Потомъ молодые сержантики стали прощаться съ молодыми барышнями, уходя изъ палисадника. Всѣмъ нужно было проходить темными „сѣнцами“ — вотъ тутъ-то и являются эти „сѣнцы“... Охъ, ужъ эти темныя сѣнцы! Выходя изъ палисадника и вступая въ сѣнцы, одинъ молодой сержантикъ почему-то — конечно по глупости — все держался около „курносенькой бѣляночки“, а „бѣляночка“ почему-то — опять тоже по глупости — незамѣтно — будто бы незамѣтно! — держалась около этого черномазаго сержантика... Въ сѣнцахъ они нечаянно еще болѣе приблизились другъ къ другу — потому темно, ничего не видать — и ахъ! нечаянно — конечно нечаянно, ненарокомъ — руки ихъ встрѣтились въ темнотѣ и нечаянно да такъ-то быстро, судорожно пожали одна другую — и только... Вѣдь, глупость это, пустяки ужасные; анъ нѣтъ — для *нихъ* не пустяки... Между вси не было ни одно еще слово сказано такое, которое показало бы, что... и такъ далѣе... Были только взгляды, метанье искръ — но что такое это метанье издали! — вздоръ!... А тутъ не издали — тутъ руки нечаянно встрѣтились въ темнотѣ, и ла-

пища молодого, но здоровеннаго сержантика по-медвѣжьи сцапала пухленькую ручку „бѣляночки“, которая, въ свою очередь, словно лапчой котенка, пожалала сухую, жилистую лапищу сержантика... Вотъ и все! — А поди ты: эти „сѣнцы“ гвоздемъ засѣли въ памяти глухыхъ дѣтей... Подъ рокошь и гулъ ядеръ, подъ свистъ пуль, подъ стоны раненыхъ, тамъ, въ Турцин, молодому сержантику вспоминались эти „сѣнцы“ и это глупое шелканье соловья... да и „бѣляночекъ“ тоже... Глухая дѣти!

А тамъ — война... И всѣ три сержантика ушли туда... куда? Барышни „не знаютъ“, а „только плачутъ и вздыхаютъ“: „О горе намъ! о горе намъ!“ А тамъ пошли въ ходъ имена: Румянцевы да Орловы, Кагуль да Чесма — стономъ стонуть эти имена на Руси... А о сержантикахъ ни слуху, ни духу...

Проходить лѣто. Проходить зима. Наступаетъ весна. Опять „бѣляночка“ съ Ларисой и ея братомъ Саней сидятъ чуднымъ лѣтнимъ вечеромъ въ палисадникѣ — все попрежнему кругомъ, только нѣтъ молодыхъ сержантиковъ. Такъ же, какъ и тогда, хорошо пахнетъ цвѣтущая сирень. Такъ же въ сосѣднемъ саду безъ толку шелкаетъ глупый соловей. А все не то... И „сѣнцы“ тѣ же остались, и такъ же, какъ тогда, „бѣляночка“ съ Ларисой проходили черезъ „сѣнцы“. Но уже ничья рука не приблизилась къ рукъ „бѣляночки“, не пожалала ея въ темнотѣ — и щемить, щемить сердце „бѣляночки“. И у Ларисы оно щемить...

Опять проходитъ лѣто. Опять проходитъ зима. Опять наступаетъ весна. И снова сирень пахнетъ, снова несносный соловей шелкаетъ, а на душѣ — Господи! — какая тоска, какая смертная тощца! А все почему? По глупости: сержантиковъ нѣтъ... Они тамъ... гдѣ тамъ? О, проклятая война!..

И еще лѣто проходитъ — это уже третье...

Но вотъ, наконецъ, возвращаются два сержантика — только два... А гдѣ же третій? — Вмѣсто третьяго эти два привозятъ образокъ, а въ образкѣ — волосы этого третьяго сержантика... Самъ же онъ остался далеко-далеко, на берегу Прута — вѣроятно, слушать шелканье тамошняго турецкаго соловья... Да, надъ нимъ вѣчно будетъ нѣтъ этотъ соловей, вѣчно будутъ качаться вѣтви тополя-ивняка, вѣчно голубѣть голубое небо...

Говорятъ, этихъ двухъ воротившихся сержантиковъ долго держали гдѣ-то въ карантинѣ за Колодной. Въ Москвѣ ихъ тоже помѣстили въ какомъ-то госпиталѣ. Потомъ ихъ увезли куда-то изъ Москвы...

А барышни все ждутъ ихъ. „Бѣляночка“ все вспоминаетъ вечеръ съ запахомъ сирени и темныя „сѣнцы“. А сержантиковъ все нѣтъ... Скоро настанетъ и четвертое лѣто... Господи! да когда же война кончится!..

А тутъ новое что-то, страшное виситъ надъ Москвой. Чаше и чаще раздаются въ московскихъ церквахъ звоны „на отходъ души“. Каждое утро по всѣмъ церквамъ слышутся душу надрывающіе перезвоны „на выносъ“, „на погребеніе“...

Лариса исполнила совѣтъ отца. Напоевъ его и брата чаемъ, она проводила ихъ за ворота: отецъ отправился въ свой госпиталь, къ своимъ

обычнымъ занятіямъ, а братъ Саня въ лѣкарскую школу, гдѣ онъ учился, избравъ по своей собственной склонности ремесло отца—медицину.

Проводивъ ихъ, Лариса заказала кухаркѣ обѣдъ, съ тѣмъ, чтобы на жаркое была телячья печенка—„папочка ее любитъ“,—сдѣлала необходимые распоряженія по хозяйству и велѣла, кромѣ того, Клюковѣ (такъ звали дѣвочку, прислуживавшую Ларисѣ, за ея необыкновенно красныя щеки) сбѣгать къ обѣду за грушевымъ квасомъ, до котораго папочка тоже былъ большой охотникъ.

— Въ Сундушный рядъ, барышня?—весело спросила дѣвочка.

— Зачѣмъ въ Сундучный?

— А за квасомъ грушевымъ, барышня.

— Что ты, Клюковка! Сундучный рядъ далеко.

— Ничего, барышня,—я сбѣгаю.

Лариса одѣлась и вышла на улицу. Апрельское солнце начинало уже пригрѣвать. У заборовъ, на проталинахъ, изъ земли уже выглядывала зелень—не-то новые стебельки молодой травки выползли на свѣтъ Божій, не-то прошлогодняя зелень, спавшая всю зиму подъ снѣгомъ, просыпалась теперь и поглядывала на солнышко: такъ ли-де оно свѣтитъ теперь, какъ въ прошломъ году свѣтило? — Да, такъ-то такъ, — только горя людского оно освѣщаетъ теперь больше, чѣмъ тогда освѣщало...

Вотъ и глаза Ларисы упали на что-то горькое, безотрадное. Серединою улицы ѣдетъ телѣга, везомая водовозною клячею. На телегѣ бѣлѣтся новый сосновый гробъ, прикрытый ветхою-преветхою черною пеленою съ вѣкогда бѣлыми, а теперь совершенно захватанными и загрязненными, нашитыми по угламъ пелены крестами — символомъ нечеловѣческаго терпѣнія. Впереди телѣги, видимо усталыми ногами бредетъ знакомый уже намъ „гуляющей попикъ“ въ черной, донельзя ветхой ризѣ, тоже съ бѣлыми, отъ времени и частаго употребленія потерявшими всякую мшурную блестящую крестами — символомъ божественнаго милосердія. Въ рукахъ у попика мѣдный, какъ и самый попикъ потерятый временемъ и отшлифованный лбызающими устами вѣрующихъ благословенный крестъ—великій и горькій символъ спасенія. Попикъ отъ времени до времени возглашаетъ что-то слабымъ, дребежжающимъ, какъ слабо натянутая на мѣдной декѣ старыхъ гуслей металлическая струна, голосомъ. Слышится по временамъ: „житейское море“... „къ тихому пристанищу“... „многоякостиве“... Да, житейское море—о! какое оно бурное подчасъ и какос мертвенно-тихое, но страшное, какъ вотъ и теперь... И „тихое пристанище“—такое тихое, какимъ только можетъ быть глубокая могила...

На телѣгѣ сидятъ вощаной человекъ—весь въ вощаной одежѣ „мортусъ“, у котораго только клокъ рыжей бородки торчитъ какъ-то вкось изъ за вощаного башлыка-наличника. Въ рукахъ у этого страшнаго возницы, вмѣсто бича, кнута или хворостины,—длинный багоръ... Эко какое знатное весло Хароново! Тотъ своимъ весломъ отпихивался отъ берега жизни и причаливался къ берегу смерти, къ вратамъ ада. Этотъ своимъ багромъ



зацѣпляеть то, къ чему боится уже прикоснуться руки человѣческія, и спихиваетъ въ глубокую яму... Багоръ торчитъ вверхъ своимъ крючкомъ — словно громадный коготь громадной хищной птицы... Да, это знакомая птица: та, что сердце Прометея терзала. И эта терзаетъ тѣло Москвы, выхватывая, словно куски сердца, несчастныя жертвы, еще вчера жившія и думавшія, но выхватываетъ не за похищеніе божественнаго огня съ неба, а за недостатокъ въ людяхъ этого огня, за пренебреженіе имъ — за ихъ невѣжество, за нечистоту, за бѣдность, — бѣдность, — безъ конца бѣдность... Торчитъ хищный коготь — вотъ-вотъ кого-нибудь снова зацѣпить.

Да вонъ кого онъ хочетъ зацѣпить: за телѣгой, за гробомъ бѣжить дѣвочка лѣтъ семи-восьми и горько плачетъ-надрывается...

— Пустите меня къ мамкѣ—я къ мамкѣ хочу... Я съ ней хочу лечь...

— Нишкни — не подходи близко! — ворчить Харонъ съ багромъ. — Зацѣплю...

И багоръ направляется къ заду телѣги, грозитъ плачущей дѣвочкѣ.

Поодаль отъ гроба идутъ двѣ бабы и, прислушиваясь къ тому, что возглашаетъ попикъ, стараются про себя повторять слышанное, но страшно перевирають... „Житецкое море“... „Зря напасти“... „Ужъ и впрямъ зря эта напасть пришла... и-и-хи-хи“...

— Ой-ой! ой-ой! Мамка! мамка моя!

— Не цапайся! багромъ хвачу!

Лариса подходитъ къ бабамъ.

— Сиротка, бабушка, плачетъ?

— Сиротка, барышня, круглая сиротка, — отвѣчаетъ одна баба, кривая и съ лицомъ изрытымъ оспой.

— А чѣмъ померла покойница?

— Да этой лихой болѣстью, сказывали, матушка... Только пустое это...

— Како пустое, мать моя! — возражаетъ другая баба съ мужниной шапкой подъ мышкой (чтобъ мужъ не пропиль).

— Знамо пустое... Вонъ и какъ я оспой окривѣла, такъ этакъ же сказывали: коли-де кто въ шпитали не лѣчится отъ этой воспы самой, такъ умереть... А я вонъ живехонька...

— Да то воспа... а эта — на поди! Федотъ да не тотъ...

— Пустое, голубъ мой! Коли бы моръ, у нее бы голова не болѣла. А то спервоначалъ у нее головушку расшибло, руки-ноги отнялись, чирьи черныя вскочили въ пахахъ да за ушами, а тамъ кровью харкала — на томъ Богу и душевкѣ отдала... А ты говоришь — моръ! — Это приказные моръ выдумали, чтобы бѣдныхъ людей тѣснить, — энергически отстаивала свое мнѣніе кривая баба.

— А какъ же, мать моя, сказывали — кошка бытта изъ Кеива принесла ее...

— Пустое, голубъ! И какъ это кошка изъ Кеива до Москвы дойдетъ? Ее собаки разорвутъ...

— И то правда... А то, мать моя, болтают люди, бытта ее, бо-  
лѣсть-ту эту, солдать съ собакой привель... А собака-то турецка, слышь...

— И то пустое, голубь!—настаивала на своемъ кривая баба-скептикъ.

— А суконщики мнѣ сказывали, бытта ее въ образкѣ съ волосами  
привезли—господа привезли...

— Пустое! Ишь чево нагородили! Пойдетъ она, анаемская, въ обра-  
зокъ—въ экое святое мѣсто! Наплюй тому въ глаза, кто это говорить...  
Ишь—„житецкое море“ батюшка-то какъ знатно наладилъ... Хорошо такъ  
помирать—пошли Богъ всякому такой конецъ.

Лариса не имѣла силъ слушать дальше бабулю болтовню... „Образокъ  
съ волосами“—это ея образокъ... Словно ожгло ее отъ этихъ словъ...  
Молва о ея образкѣ ходить по городу... Мысли дѣвушки путались...

Телѣга съ гробомъ повернула за уголъ и скрылась. Дѣвушка ускорила  
шаги. Позади ея что-то катилось съ грохотомъ и слышались возгласы: „гись!  
гись!“ Это мчалась коляска съ двумя верховыми казаками назади. Въ коляскѣ  
сидѣло что-то важное, зорко посматривая по сторонамъ. Лариса гдѣ-то  
видѣла это строгое лицо... Ахъ, да! тогда, когда она ходила къ Василию  
Блаженному и встрѣтила доктора Крестьяна Крестьяныча, — тогда этотъ  
важный баринъ ѣхалъ изъ Кремля.

— Еропкинь енараль самъ, — торопясь снять картузь, пробормоталъ  
какой-то купчина, стоя на порогѣ своей лавки. — Ишь — язву ищеть...  
Сунься—пымай ее, —скептически ворчалъ купчина: не чиста Москва, слышь...  
самъ чистъ...

Еропкинь промчался молніей. Лариса шла, не подымая головы и ду-  
мая горькую думу... Но странное сердце человѣческое: дѣвушка въ то же  
время думала и о телячьей печенкѣ, которую „папочка любить“, и о гру-  
шевомъ квасѣ изъ Сундучнаго ряда...

— Здравствуйте, милая дѣвочка!—раздался вдругъ ласковый знако-  
мый голосъ.

Дѣвушка вздрогнула и оглянулась. Это былъ веселый докторъ, ѣхав-  
шій на парѣ ямскихъ.

— Куда порхаετε, птичечка Божья?—продолжалъ докторъ.

— Къ Настѣ иду...

— А!—бѣляночка-то... Кланяйтесь ей... А я все къ вамъ никакъ не  
попаду—вотъ все за чадушкомъ своимъ гоняюсь,—и докторъ указал ру-  
кой по тому направленію, куда ускакалъ Еропкинь.—Все лустимъ незна-  
ную гостью, посто-бъ ей было!—А папочка?

— Здоровъ, Крестьянъ Крестьянычъ.

— И все также печенку любить?

Дѣвушка улыбнулась.

— А! это хорошо... Прощайте, дѣвочка хорошая... Мнѣ некогда—мнѣ  
дѣла и умереть не дадутъ...

Онъ гикнулъ на ямщика—и помчался... Опять гробъ тащится по ули-  
цѣ; но уже безъ попа, безъ крестовъ... но — съ мортусомъ и багромъ...

Какая, должно быть, бѣдность страшная! — Да это и видно по тому рубищу, которое надѣто на человѣка, идущаго за гробомъ, но не плачущаго... глаза сухіе — но какіе! что въ этихъ глазахъ сидитъ! — ужъ лучше бы они плакали... легче бы было видѣть...

Прохожіе снимаютъ шапки и крестятся, качая головамъ... Нѣтъ - нѣтъ да и опустится у иного прохожаго рука въ карманъ, пошаритъ тамъ, и на мостовую, у ногъ идущаго за гробомъ и не плачущаго человѣка звякнетъ то копейка, то грошъ, то пятакъ — звякнетъ вмѣсто колокола, который и не звонилъ по умершемъ бѣднягѣ... Опять крестятся... Идущій за гробомъ тоже крестится, нагибается и подбираетъ давніе „на поминъ души...“ Надо брать!..

— Эхъ, жисть! — слышится въ сторонѣ.

И дѣвушка бросаетъ свою монетку; но такъ не ловко... Тихо звякаетъ объ камушекъ что-то серебряное — тотъ, однако, замѣчаетъ, крестится и нагибается...

А изъ растворенной двери кабака какой-то пьяный запорожець — и какъ его занесло въ Москву! — длинной хворостинной гонитъ какую-то бабу, вѣрно гулящую, и, притопывая, выговариваетъ:

Гей, жинко, до дому!

Какая страшная мѣшанина жизни и смерти!.. Лариса бѣгомъ убѣгаетъ отъ этого зрѣлища...

Настю она застала дома. И Настя похудѣла за это время. Это было одно изъ тѣхъ бѣлокуренькихъ, прозрачныхъ существъ, которыя такъ нравятся черномазымъ мужчинамъ. Ростомъ она была ниже Ларисы, которая смотрѣла довольно высокенькою. И характеромъ онѣ разнились одна отъ другой, какъ и лицами: на прозрачномъ, еще дѣтски - кругленькомъ, не удлинившемся до длинноты, возмужалости личикѣ Насти, и въ ея голубыхъ, такихъ же прозрачныхъ и свѣтлыхъ глазахъ отражалась ея, если можно такъ выразиться, прозрачно-чистая душа, ея откровенность, быстрая воспримчивость и такая же впечатлительность; болтливыи розовый ротикъ постоянно обнаруживалъ частые, бѣлые и мелкіе какъ у мышонка зубы; у Ларисы же на смугломъ, матовомъ лицѣ и въ большихъ черныхъ, съ большими бѣлками, но какъ будто усталыхъ глазахъ не все отражалось, что шевелилось подъ черною, обвитою въ два жгута вокругъ головы косою и подъ лифомъ чернаго платья; она была сдержаннѣе своей пучеглазой подруги, молчаливѣе, замкнутѣе и — поглубже по самому содержанію. Изъ первой всякій камень сейчасъ высѣкалъ искры; со второй никакой камень никогда не могъ ничего сдѣлать... Объ темныхъ „сѣнцахъ“, въ которыхъ совершилось нѣчто, тогда же наблюдательному глазу можно было догадаться по глазамъ Насти... Когда же у Ларисы были первыя темныя „сѣвны“ съ ея Александромъ, который лежитъ теперь у Прута въ вѣчныхъ „сѣнцахъ“ — въ сѣни смертной — объ этомъ никто никогда не догадывался... А „сѣвны“ были — оттого и волосы Ларисы очутились на груди

у Александра во время болѣзни... но въ могилу его положили безъ чернаго локона на груди... Куда онъ дѣвался?

Настя очень обрадовалась своей подружкѣ, и тотчасъ повѣдала ей свое горе. Два молодые сержантика были зимой въ Москвѣ; но она ихъ не видала—они лежали въ госпиталѣ, и ихъ оттуда не выпускали въ городъ... Но онъ—понятно, кто онъ: черномазый и сѣроглазый Рожновъ Игнаша—онъ прислалъ ей поклонъ. Отъ него приходилъ какой-то рыжий солдатъ съ красными бровями и съ черной косматой собаченкой, которую онъ называлъ Малашей и которая, какъ онъ говорилъ, „на турка ходила“ и подъ Кагуломъ „на самого везиря даяла...“ Потомъ Настя съ матерью ѣздила на святки къ роднымъ въ Кусково и тамъ прожила до апрѣля. А когда воротилась въ Москву, то сержантовъ уже не было въ городѣ, и гдѣ они—она не знаетъ...

— Вѣрно опять на этой войнѣ; Господи! когда она кончится!—заклучила она со вздохомъ.—А скоро опять весна начнется, скоро сирень зацвѣтетъ... (Въ прозрачныхъ глазахъ ея ясно отразились темныя „сѣнцы“).—А ты, Ларочка, давно получала отъ Александра?

Лариса сидѣла какъ мраморная, опустивъ глаза и о чемъ-то думая. Какую дѣтскою наивностью звучали для нея слова ея подружки! Какъ она сама выросла за эти мѣсяцы—охъ, какъ выросла!—до могилы доросла...

— Давно, Лара?

— На святки,—чуть слышно отвѣчала Лариса.

— Что-жъ онъ пишетъ? Скоро пріѣдетъ?

— Нѣтъ... онъ никогда ужъ не пріѣдетъ...

— Какъ! отчего, Ларочка?

— Въмѣсто себя онъ прислалъ локонъ своихъ волосъ...

— Вотъ какой! Но и это, душечка, хорошо... А у меня и локона его нѣтъ... Хотя я знаю, что онъ любитъ меня, но онъ еще ни слова не сказалъ мнѣ объ этомъ... Онъ такой застѣнчивый... А твой отчего же не ѣдетъ?—не пускаютъ?

— Оаъ умеръ, Настя.

Сначала Настя какъ будто не поняла своей подружки. Она думала, что ослышалась, что та шутить. Но когда увидѣла, то Лариса сидитъ блѣдная, какъ потемнѣвшій мраморъ и изъ-подъ опущенныхъ ея рѣсницъ выкатились двѣ слезы,—тутъ только разсмотрѣла она перемѣну, происшедшую въ ея другѣ съ тѣхъ поръ, какъ дѣвушки не видались. Настя сама поблѣднѣла—ея живое личико отразило на себѣ и страшный испугъ, и глубокое горе... Она подошла къ склоненной головѣ Ларисы, тихо взяла ее въ свои руки и, припавъ къ этой черной, скорбной головкѣ, горько заплакала, не находя словъ для утѣшенія. Да и какое тутъ утѣшеніе въ то время, когда больше чѣмъ руку отпиливаютъ!..

Молча онѣ плакали обѣ. Наплакались вдоволь.

— Что жъ? какъ же теперь?—не знала что спросить распухшая отъ слезъ Настя, когда слезы были выплаканы.

— Не воротишь ужъ,—тихо отвѣчала Лариса покорнымъ голосомъ.

— Да... не воротишь... Боже, Боже!

— Но я... надумала,—еще тише сказала Лариса.

— Что, душечка? —встребенулась Настя.

— Я хочу видѣть его могилу.

— А гдѣ она?

— Не знаю... въ Турціи гдѣ-то...

— Да какъ же ты найдешь ее, милая?

— Я разузнаю отъ Крестьяна Крестьяныча, онъ хоронилъ его.

— Онъ! А онъ здѣсь?

— Здѣсь... кланяется тебя.

Лариса замолчала. Подруга не узнавала ея. И прежде Лара была много серьезнѣе ея, характерная такая; а теперь въ ея словахъ, въ ея голосѣ слышалась какая-то упрямая увѣренность и твердость.

— Какъ же ты, душечка, поведешь въ Турцію? —спросила Настя, хотя и вѣровавшая всегда въ Лару, что та даромъ словъ не говоритъ, но тутъ,—и она не знала, что думать. Турція далеко...

— Меня повезутъ туда!—спокойно отвѣчала Лариса.

— Кто же, милая, повезетъ-то? твой папаша?

— Нѣтъ — вотъ что, Настя... При арміи, за больными и ранеными ходятъ иногда монахини и другія женщины... Я сдѣлаюсь сидѣлкой... Я ужъ объ этомъ думала... Туда принимаютъ только тѣхъ, которыя ужъ сживали въ госпиталяхъ... Я поступлю здѣсь въ главную сухопутную госпиталь, гдѣ Саня учится, и тамъ научусь ходить за больными. Теперь же у насъ нужны сидѣлки: вонъ что начинается въ Москвѣ! Меня примутъ. А тамъ я попрошусь въ армію. А тутъ я теперь не жилица на бѣломъ свѣтѣ!

Послѣднія слова были сказаны съ горечью и силой. Настя сидѣла ея шевелясь, вся пунцовая—она тоже забирала себѣ что-то въ голову...

— Такъ и я съ тобой, Ларочка, пойду, — сказала она нерѣшительно.—Возьмешь меня?

Лариса молча и серьезно посмотрѣла на нее.

— Ты не шутишь? Обдумала?

— Не шучу... Я... (она еще больше покраснѣла).

— Подумай... Это не шутка...

— Я... я не могу жить безъ него,—сказала она порывисто, и свѣтлые глаза ея потемнѣли.—А тамъ, въ Турціи, съ тобой, я найду его... можетъ быть раненымъ...

Въ сосѣдней комнатѣ послышались шаги.—„Маменька идетъ“, шепнула Настя, блѣднѣя. Дѣвушки прекратили разговоръ. Да оно и кстати: на улицѣ пьяные голоса охватывали:

Полоса-ль моя, полосынька,  
Полоса-ль моя не паханая...

Пѣсни... рыданья... смѣхъ... слезы... похоронный перезвонъ... свѣцы...

могила... морь—все это разомъ валится изъ мѣшка жизни... только расхлебывай!

## IX.

### Сназаніе о „пифинкѣ“. Встрѣча.

На другой день утромъ, сойдя съ своего мезонинчика внизъ, къ чаю, Лариса застала тамъ веселаго доктора. Крестьянъ Крестьянычъ разговаривалъ о чемъ-то съ отцемъ и братомъ. При входѣ Ларисы они, видимо, замыая разговоръ и переглянулись. — Дѣвушка со всѣми поздоровалась. Она смотрѣла какъ будто бодрѣе, спокойнѣе.

— Ну, Ларивонъ Ларивонычъ, напой-ка насъ чаемъ, да хорошенько,—сказалъ отецъ, ласково цѣлуя ее въ голову.

— Да саечку свѣженькую, милая хозяйшка, нельзя ли? — прибавилъ веселый докторъ, потирая пухлыя свои ручки.

— А какую, Крестьянъ Крестьянычъ?—спросила дѣвушка,—заварную пли съ изюмомъ?

— Заварную... заварную-съ... А можно и съ изюмомъ эдакъ—не претить и это.

У дверей стояла краснощекая дѣвочка и во весь ротъ улыбалась, глядя на веселаго доктора.

— Что, Клюковка, тебя еще воробы не склевали?—обратился къ ней веселый докторъ.

Дѣвочка прыснула со смѣху.

Братъ Ларисы, Саня, юный лѣкарскій школьникъ, замѣтилъ:

— Вашимъ больнымъ, Крестьянъ Крестьянычъ, должно быть всегда очень весело.

— Очень... очень! Такъ всегда и заливаются со смѣху; а теперь—и удержи имъ нѣтъ.

Лариса командировала Клюку за сайками и сѣла разливать чай.

— А какъ „бѣляночка“ поживаетъ, хозяйшка? Не замужемъ еще?—спросилъ докторъ.

— Нѣтъ,—тихо сказала Лариса, не глядя на доктора.

— Ну, ничего—подождать...

— Не до женитьбы теперь,—замѣтилъ отецъ Ларисы.

— Отчего-жь, collega? Самое какъ есть время... Вы про болѣзнь-то эту? Э! пустое! Она веселія бонтса—такая погань, я вамъ доложу... А знаете что, коллегушка?—спросилъ веселый докторъ серьезно.—Раскусили вы эту шельму—а?

— Какую—язву, что ли?

— Ее, каналью... Вѣдь, она у насъ доморощенная: ну, вотъ точь-въ-точь какъ всегда на Москвѣ были сайки, да грушевый квась, да царь-пушка, такъ всегда была у насъ и чума...

— Вы шутите, товарищъ?

— Нѣтъ, порази меня царь-пушка, коли я шучу... Мы ее какъ сайку дѣлаемъ... Я докладывалъ объ этомъ и своему генералу.

— Еропкину?

— Еропкину—и онъ согласился со мной... Мало того: его превосходительство изволилъ замѣтить, что почти то же говорить и преосвященный Амвросій, только языкомъ ветхозавѣтнымъ, а я говорю языкомъ этой шельмы медицины... *Пестисъ* у насъ, батенька, на Москвѣ растетъ цѣлыми бакчами, какъ дыня въ Астрахани. Я вчера и его превосходительство Петра Дмитрича возилъ на наши чумные баштаны—такъ диву дался: дыньки-то ужъ зрѣютъ, батенька... Генералъ такъ и объ полы: „И какъ-де только мы и живы поднесъ!“

Атюшевы—отецъ и сынъ и Лариса—съ удивленіемъ и улыбкою смотрѣли на веселаго доктора.

— Васъ товарищъ, никогда не разберешь—шутите вы или матерію говорите,—улыбаясь, замѣтилъ Атюшевъ-отецъ.

— Я, батенька, всегда матерію говорю—въ сурьезъ,—отвѣчалъ веселый докторъ и при этомъ сдѣлалъ такое лицо, что молодой Атюшевъ невольно разсмѣялся, а Кюквя, воротившаяся съ сайками, прыснула со смѣху и уронила корзинку на полъ.

— Ну, такъ гдѣ-жъ это вы изволили видѣть у насъ чумную бакчу, товарищъ?—спросилъ Атюшевъ-отецъ, принимая изъ рукъ дочери чашку чаю.—Ахъ ты, мой Ларивоновичъ!—ласково улыбался онъ дочери.

Веселый докторъ сдѣлалъ серьезное лицо и, держа ломоть сайки передъ молодымъ Атюшевымъ, сказалъ:

— Ну, младой эскулапъ, позвольте васъ маленько пощупать, проэкзаменовать-съ эдакъ малость—асъ?

— Извольте, Крестьянъ Крестьянычъ,—я повинуюсь вамъ,—отвѣчалъ съ улыбкой молодой Атюшевъ.

Веселый докторъ скорчилъ мину экзаменатора.

— Что есть, государь мой, моровая язва?

— Моровая язва—*пестисъ*—есть особаго рода болѣзнь, всѣхъ другихъ опаснѣе, сильно прилипчивая, *контагіоза*, и производя наружные знаки на тѣлѣ, какъ-то: бобыны, карбункулы, *антракссъ* и малыя черныя пятна, *петехии*, скоро и по большей части предаетъ смерти,—отвѣчалъ молодой Атюшевъ по заученному.

— Изрядно, государь мой... Определите источникъ болѣзни.

— Источникъ сѣя болѣзни, по примѣчанію разныхъ писателей, находится въ самыхъ жаркихъ мѣстахъ, въ Индіи, въ Африкѣ, а особливо въ Египтѣ. Ядъ моровой язвы не только прилипаетъ къ тѣламъ человѣческимъ, но и ко всякимъ вещамъ. Сія прилипчивость причиною, что моровая язва въ отдаленнѣйшія и холоднѣйшія страны переходитъ и, разсѣвая чрезъ прикосновеніе ядовитое сѣмя, бѣдственные производитъ дѣйствія.

— А мы откуда сію болѣзнь получаемъ?

— Изъ Цареграда: Царьградъ и прочія въ турецкихъ областяхъ торговья мѣста, по превратному у турковъ правилу, по которому они все приписываютъ правленію слѣпого рока, почти всякой годъ претерпѣваютъ отъ язвы немалый въ людяхъ уронъ.

— Изрядно, изрядно... Итакъ, мы и существо сея шельмы, и источникъ знаемъ... А гдѣ сея шельма *пестисъ* зарождается и отчего? Кто ее сѣбѣтъ? Кто пахарь? А плесните мѣтѣ, барышня, еще (это ужь къ Ларисѣ)... Ну-съ, гдѣ она рождается?

— Доселѣ извѣстны были медицинѣ три главныхъ гнѣздилища сей язвы и по онымъ гнѣздилищамъ она и именуется: *пестисъ индिका* имѣеть своимъ гнѣздилищемъ Индію, *пестисъ левантина* имѣеть гнѣздилище въ Малой Азіи и Левантѣ, и *пестисъ египтика*—въ Египтѣ, въ Каирѣ... Тамъ она и вырастаетъ.

— Изрядно, сударь мой. А гдѣ вотъ эта сайка выросла?.. а?.. откуда она?

— Изъ Обжорнаго ряду, баринъ,—поторопилась Клюква.

Всѣ размѣялись. Сконфуженная дѣвочка спряталась за дверь.

— Изрядно, изрядно, Клюковка... Обжорный рядъ—это своего рода Каиръ... А гдѣ финикъ растеть?

— Въ Африкѣ, кажется.

— Изрядно, въ Африкѣ, гдѣ и чума же... А на Таганкѣ вырастеть финикъ?

— Нѣтъ, не по климату.

— Изрядно-съ. А слонъ гдѣ родится, государь мой?

— Въ Индіи, Крестьянъ Крестьянычъ.

— Презрядно. А на Кузнецкомъ Мосту слонъ водится?

— Не видалъ,—юноша размѣялся.

— Ну, дѣло. Теперь опять къ шельмѣ *пестисъ* перейдемъ... Говорятъ, что ее къ намъ занесли изъ Турціи. Ладно! А заесите-ка на Дѣвичье поле финикъ—примется овъ?

— Извѣстно—засохнетъ и не примется.

— Тоже, думаю, тутъ ему не мѣсто.

— Ладно. Пойдемъ далѣе. Значить, все можно занести въ Москву—и слова, и финикъ—да жить-то они здѣсь не могутъ, вымрутъ... Ну-съ, еще далѣе пойдемъ. Говорятъ, *пестисъ* занесена къ намъ изъ Турціи вмѣстѣ съ финиками, изюмомъ да еще тамъ кое-чѣмъ... Ну, тутъ бы ей и капуть. Такъ нѣтъ! она, шельма эдакая, преспокойно растеть и множится. Ясно, что попала на родную почву: для нея подлой, что Индія, что Египеть, что Левантъ, что Москва—все едино... А отчего вотъ она, bestia, не растеть въ Лондонѣ, али бы въ Парижѣ?

— Когда ее занесутъ, Крестьянъ Крестьянычъ, такъ она и тамъ будетъ расти,—горячо отвѣчалъ юноша:—вовъ въ XIV вѣкѣ, читалъ намъ Шафонскій, она всю Италію и Францію прошла, а въ Марсели такъ ни единого человѣка въ живыхъ не оставила.

— Изрядно, государь мой. Это оттого, что тогда Парижъ былъ то же, что наша Москва-матушка, а Марсель—все едино, что нашъ Суконный



дворь... Для этой шельмы *пестись*, значить, тогда почва была благопріятна во всей Европѣ. А нынѣ ее оттуда помеломъ гонять—вотъ что. А къ намъ она, вонъ, пришла какъ въ свой домъ, полной хозяйкой, какъ вотъ барышня милая здѣсь. А отчего? Оттого, что мы—Индія государи мои: Москва-рѣка—сей священный Гангъ, а Яуза съ Неглинной—это такіе Тигръ и Евфратъ, что въ нихъ рыба дохнетъ... Вотъ что, милая дѣвочка!—обратился онъ вдругъ къ Ларисѣ.

Дѣвочка невольно вспыхнула. Атюшевъ смотрѣлъ на веселаго доктора серьезно.

— Да, въ вашихъ словахъ есть доля правды,—задумчиво сказалъ онъ.

— Не доля, коллегашка, а полна шапка правды. Я такъ и Еропкину докладывавалъ, когда мы навѣщали нашихъ суконщиковъ да прочихъ фабричниковъ... Поняли вы эту сказку, милая дѣвочка?—вдругъ обратился онъ опять къ Ларисѣ.

У Ларисы на глазахъ блестяли слезы.

— Поняла, Крестьянъ Крестьянычъ.

— То-то же... А то какая-то сорока на хвостѣ принесла, яко бы изъ Турціи нѣкинъ младые сержанты привезли къ нѣкоей отроковицѣ образокъ съ волосами умершаго ихъ друга, и отъ этихъ яко бы волосъ *пестись* по Москвѣ пошла, слоны по Кузнечному Мосту забѣгали, у Власья цѣлыя финиковыя рощи расцвѣли...

— А какъ же, Крестьянъ Крестьянычъ, няня-то умерла?—робко спросила дѣвушка.

— Няня-то, „Похонина“, милая дѣвочка? А гдѣ захворала „Похонина“.— У сторожа церкви священномученика Власья? А кто въ семьѣ у сторожа-то былъ? Суконщики, фабричники—паріи наши... Не няня заразила ихъ, а они огорченной старушкѣ на шею *пестись* повѣсили, да и сами перемерли... Вотъ что, дѣвочка хорошая...

Веселый докторъ замолчалъ. Всѣ сидѣли такіе задумчивые. Мѣрно щелкалъ только маятникъ часовъ да изрѣдка съ улицы доносились роковые каноны: „Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурю“...

— Эхъ, кабы я былъ богатъ,—со вздохомъ сказалъ веселый докторъ.

— А что?—спросилъ Атюшевъ-отецъ.

— Я бы еще чашечку чайку испилъ.

Всѣ разсмѣялись.

— Такъ я вамъ налью,—поторопилась дѣвушка.

— Плесните, милая барышня...

Лариса, вся пунцовая, несметра на свою смуглоту, задумчиво наливала чай и недоумѣвающе поглядывала то на отца, то на брата...

„Житейское мо-о-о-ре!..“.

— Эхъ, кабы я былъ богатъ!—снова вздохнулъ весельчакъ.

— А что?—улыбаясь спросилъ Атюшевъ.

— Уснулъ бы—ухъ, какъ уснулъ бы! Всю ночь не спалъ—съ Ероп-

кинымъ да съ больными возился... А тамъ, къ утру, его сіятельство, графъ Салтыковъ, оберъ-полицеймейстера присылаетъ за мной: „по самонужнѣйшему дѣлу“, говорятъ... Испугался я: „что такое! говорю: что случилось!“—Флора, говорятъ, занемогла: не ѣсть ничего...

— А кто эта Флора, Крестьянъ Крестьянычъ?—участливо спросила Лариса.

— Собака любимая у графа...

А на улицѣ опять: „житейское море!“ Веселый докторъ посмотрѣлъ на часы и быстро всталъ.

— Ну, прощайтесь со мной,—сказалъ онъ,—подавая руку хозяйкѣ и цѣлуя ее въ руку.—Прощайте, друзья... Въ Индію ѣду—въ Симоновъ монастырь...

И веселый докторъ торопливо вышелъ. Заѣхавъ на минуту къ Еропкину, у котораго онъ состоялъ въ личномъ распоряженіи, веселый докторъ поскакалъ въ Симоновъ монастырь. Проѣзжая мимо Варварскихъ воротъ, онъ съ видимымъ неудовольствіемъ хмурился. Съ каждымъ днемъ толпы черяга народа, мастеровыхъ и сидѣльцевъ кучились въ разныхъ пунктахъ города все болѣе и болѣе. У разныхъ часовенъ, у воротъ городскихъ, у всѣхъ почти иконъ, которыхъ такъ много выставлено на всѣхъ улицахъ Москвы ради лобызанья и ставленья воскояровыхъ свѣчечекъ съ грошовыми кружечными и тарелочными сборами, на всѣхъ площадяхъ шло непрестанное всемоленіе, либо благочестивое разглагольствованіе... Словно рыба во время метанья икры, народъ терся другъ о дружку на всевозможныхъ мѣстахъ... До слуха веселаго доктора долетали отдѣльныя слова, фразы, одна другой нелѣпѣе, но тѣмъ болѣе зловѣщія: „табашники“... „перстное сложеніе“... „церковники“... „люторская ересь“... „морь“... „божьенасланіе“... „пификъ“...— „Что такое пификъ?“ думалось ему.

— Вотъ и приходитъ къ нему, къ попу Мардарью, что у Троицы въ Сыромятникахъ, пификъ...

— А кто-жь онъ, этотъ фификъ, батюшка?

— Не фификъ, а пификъ...

— Пп-фи-фи-фификъ... Ишь мудреное слово какое!

— Приходитъ этотъ пификъ къ попу Мардарью въ образѣ старца и говоритъ: „О горе! горе! горе великому граду Москвѣ!..“

— Охъ Господи! что-жь это будетъ!

— А ты слушай... Горе, говоритъ, Москвѣ... Пошлетъ на нее Богъ каменный дождь, и избіетъ тогъ дождь всяку живу душу, и скотъ, и птицу, и всѣхъ людей даже до сущихъ младенцевъ...

— Охъ, Святители! За что-же, отецъ родной?

— А ты не перебивай... И пошлетъ Богъ—говоритъ оный пификъ отцу Мардарью—огненную рѣку на Москву, и потечетъ оная рѣка отъ Чудова монастыря Спасскими воротами до Лобнаго мѣста, а отъ Лобнаго мѣста потечетъ внизъ подъ гору мимо Свѣчнаго ряду да по Яблосный рядъ, а отъ Яблоснаго потечетъ та рѣка чрезъ ряды Травяный и Съмянный и Рыбный, а изъ Никольскихъ воротъ потечетъ та рѣка мимо ря-

довъ Ножново и Сайдачнаго, Шорнаго и Колокольнаго, Желѣзнаго и Мо-  
натейнаго, Круживново и Ветошнаго, а Иконный рядъ не захватить, по-  
тому—иконы тамъ... Да потечеть та рѣка мимо рядовъ Игольнаго, Ку-  
шачнаго, Овошново, да черезъ ряды Суворовской и Сапожной, Зеркальный  
да Панскій, Юхотный да Голичный...

— Батюшка! всѣ ряды перебереть! За что же, родной?

— А за грѣхи—за немоленье...

— Мы ли, батюшка не молимся! Кажись, денно и ношно...

— Мало, безъ усердія, не съ чистымъ сердцемъ...

— Да я тебѣ, отецъ родной, ладаю четверикъ поставлю росново —  
жги, кури темьяномъ-то Вожьимъ до неба...

— Такъ-то, такъ, да все не то...

— Свѣчь тебѣ надобно? Да я тебѣ свѣчь поставлю лѣсъ цѣлый —  
боръ боромъ...

— Оно точно...

— А колоколь хошь? Въ тыщу пудовъ вгоную...

— А можетъ Богъ и смилуется... Только этотъ самый пификъ говорить  
отцу Мардарью: за чужіе-де грѣхи Москва понести должна. Еретикъ-де си-  
дять у васъ въ Чудовомъ...

— Кто жъ онъ, отецъ родной?

— Амвросій, слышь, архіепископъ...

— То-то мы слышали,—не русской онъ вѣры, слышь, а малороссей-  
ской—изъ волохъ родомъ...

— Это точно... Не архіерей онъ Вожій, а Оброська-еретикъ...

— Охъ, грѣхи, грѣхи!

— Вотъ намъ, церковнымъ понамъ, служить не велить — народъ отъ  
вѣры отгоняеть... Вотъ что пификъ сказываль.

— Да растолкуй ты мнѣ, Христа ради, батька, — кто-жъ этотъ фи-  
фикъ-то самый? Святой мужъ, что ли? Не пойму я что-то...

— Все это отъ темноты...

— Знамо, отъ темноты... Да гдѣ-жъ намъ свѣту-то взять? — Только  
отъ васъ, поповъ, и свѣтнися...

— А онъ насъ гонить, Обросимъ-то архіепископъ.

— За что же гонить-то?

— А ради своей корысти,—чтобъ его церковникамъ жирнѣе было...  
Оттого Богъ и моръ наслалъ на насъ...

Такъ „гулящій поникъ“, недалеко отъ Варварскихъ воротъ, стоя у  
одной лавки Юхотнаго ряда, проповѣдываль невообразимыя нелѣпости  
толстому купчичѣ съ мочальной бородой и этими нелѣпостями ужасаль  
своего довѣрчиваго слушателя такъ, что того бросало и въ жаръ, и въ  
холодъ. Не было басни, самой невозможной, но только приправленной не-  
помятыми словами вродѣ „пификъ“ или „чудо“, или „знаменіе“, или  
„во образѣ старца“ и т. п.,—которой бы не повѣрилъ народъ и та изъ  
его интеллигенціи, которая сидѣла по Юхотнымъ да Сундучнымъ рядамъ.

А теперь эти рассказы вертѣлись или около „мору“, или около будущаго „каменнаго дождя“, или же ожидаемой „огненной рѣки“—и все напряженно слушало ораторовъ вродѣ „гулящаго попка“. А „гулящій попокъ“ представлялъ собою олицетвореніе того неудовольствія, которое съ каждымъ днемъ росло все болѣе и болѣе среди бѣднаго и заштатнаго духовенства на архіепископа Амвросія, рѣшившагося изгнать изъ Москвы „наемное священство“. Пресвященный тѣмъ энергичнѣе приступалъ къ этому дѣлу, что видѣлъ, какъ народныя скопища, руководимыя гулящими попами, способствовали распространенію заразы: больные и зараженные выползали на площади, чтобы присутствовать на молебствіяхъ, терлись около здоровыхъ, заражали своимъ иконоприкладствомъ и лобызаніемъ крестовъ, и эти иконы и кресты, къ которымъ прикладывались послѣ нихъ здоровые, и разносили по домамъ и по всему городу смерть...

Пресѣчь это исторически окрѣпшее на московской почвѣ зло не было никакой возможности: скорѣй Москва-рѣка потечетъ вспять, чѣмъ Москва-городъ пойдетъ впередъ—поступится своими историческими привычками. Да и какъ искоренить это зло, когда и народъ, и сидѣльцы, и кучины всевозможныхъ родовъ, и сами попы—все это воспиталось на одномъ молокѣ, все это одинаково вѣрить и „пифику“ какому-то, котораго никто не видалъ, и „каменному дождю“, и „огненной рѣцѣ“, и „жупеду“, и „старцамъ въ соніяхъ“!.. Амвросій, не понимая московскаго человѣка, для котораго кричаніе молитвенное и кажденіе ладономъ до неба и оглушительное колокольное славословіе—та же „широкая масляница“,—старается, вмѣстѣ съ Еропкинымъ, вытѣснить съ улицъ и площадей „гулящихъ попиковъ“ съ ихъ блеющею до неба паствою, а вмѣсто этихъ попиковъ выползаютъ на торжища настоящіе попы, ставленные, хиротонисованные,—и литургисаютъ во всю ивановскую... „Мерзкіе козлы—и попами ихъ грѣхъ назвать!—кричить съ негодованіемъ самовидецъ этихъ московскихъ оргій, Бантышъ-Каменскій, племянникъ Амвросія и отецъ историка;— мерзкіе козлы, оставивъ свои приходы и церковныя требы, собирались тутъ же на площадяхъ, съ наляями, дѣлая торжище, а не богомолье“...

А между тѣмъ, Амвросій, ратуя противъ всеильнаго Охотнаго ряда, не видѣлъ, что этимъ онъ скопляетъ надъ собою и надъ всей Москвой страшный горячій матеріалъ... Онъ не видѣлъ, что сѣра уже клокотала подъ землей... По улицамъ уже ходили рассказы о „соніяхъ“, о „пификахъ“, о плачущей иконѣ... Имя „не-русскаго“ архіерея начало повторяться чаще и чаще... А тутъ моръ! тутъ война съ турками, съ волохами, а архіерей самъ волохъ!.. Взыли бабы—московская сила...

— У него, матыньки, келейникъ—запорожецъ во какой! сама видѣла...

— Съ косою, мать моя,—и табачище жреть...

— Да и родня-то у него все волохи—червомазые такіе...

— Вонъ у него въ Воскресенскомъ братъ архимандритомъ—Никономъ называется—настоящій Никонишко-табашникъ...

— А тамъ, мать моя, къ попу Мардарью пификъ, сказываютъ, приходилъ...

— Какой пификъ, родимущка?

— А страшный—колѣнками назадъ.

— Владычица матушка! укрой отъ глада и мора...

И стономъ стонетъ Москва отъ своей глупости... А между тѣмъ моръ не унимается... Народъ начинаетъ озорничать — нѣтъ-нѣтъ да придерется къ чему-нибудь или къ кому-нибудь, да въ салазки, да за волосы — и пошла потасовка на улицѣ... А ужъ „чужой“ и не подвертывайся: свои собаки грызутся—чужая не мѣшайся, разорвутъ...

Вонъ отъ Троицы-на-рву, мимо Винныхъ рядовъ, мастеровые несутъ покойника... Хмуря тавія лица... „Гулящій попикъ“ уже впереди—вытащилъ изъ-подъ монатейки крестикъ, забылъ о „пификѣ“ и ужъ козлогласуетъ: „житейское мо-о-о-ре!“

У кизлярскаго погребя, пригрѣвшись на солнышкѣ, сидитъ армянинъ-погребщикъ и, вѣроятно, вспоминая о своей далекой родинѣ, монотонно повторяетъ сочиненную имъ на національный мотивъ пѣсенку:

Адынь Сунджа, адна Терыкъ,

Адынь Сунджа, адна Терыкъ...

— А! нехристь поетъ!.. не видитъ рази покойника!..

Бацъ въ ухо! Ошеломленный армянинъ хватается за ухо, за щеку...

— За што били! За какой винъ!

— Вотъ за какой, некрещеная рожа! Не видишь...

— Луи армяшку!

И еще въ щеку! Бѣдный армянинъ кубуремъ скатывается въ свой погребокъ... А процессія продолжаетъ двигаться дальше, какъ ни въ чемъ не бывало... А „житейское море“ тянетъ за душу, тоску наводитъ...

Въ тотъ же день, возвращаясь изъ своихъ разъѣздовъ снова Варварскими воротами, веселый докторъ вдругъ велѣлъ своему возницѣ остановиться. Что-то на площади привлекло его вниманіе...

По площади шелъ солдатъ, лицо котораго особенно рѣзко бросалось въ глаза своимъ густыми красными бровями. Рядомъ съ нимъ бѣжала собаченка, постоянно забѣгавшая впередъ и заглядывавшая въ глаза своему спутнику. Солдатъ видимо разсуждалъ о чемъ-то, обращаясь къ собаченкѣ, а собаченка, казалось, понимала его.

— Ба-ба!—пробормоталъ докторъ:—да это, кажись, старый знакомый... Да и собаченка наша.

Солдатъ поровнялся съ докторомъ, продолжая разговаривать съ собачкой.

— Эй, служба! здорово!—закричалъ докторъ.

Солдатъ остановился, а собаченка разомъ весело залаяла и привѣтливо замотала хвостомъ.

— Али не узнаешь азовца, Рудожелтый Кочетъ?—улыбался докторъ.

— Ахъ, ваше благородіе! какъ не узнать васъ!—радовался солдатъ.

— А! узналь, рыжій!

— Васъ-то не узнать! Да будь вы иголка, такъ я васъ въ стогъ сѣна сыскаль бы...

— Такъ-такъ... Вонъ и Маланья узнала... Ахъ ты, псина глупая!

Собаченка, казалось, одурѣла отъ радости—она такъ и лѣзла на дроги.

— Какими судьбами сюда попалъ съ Прута, рыжій? — спрашивалъ докторъ.

— Да съ полковникомъ Шталовымъ, ваше благородіе—изъ Хотинъ-города.

— Давно? И какъ пробрались въ Москву?

— Еще лѣтось... Ну, и въ карантеѣ проклятомъ высидѣли... И Маланья съ нами—тоже службу несетъ...

— А пріятель твой—„хохли-всѣ“ подошли?—а? гдѣ?

— Забродя-то, ваше благородіе?

— Да. Въ Турціи остался? живъ?

Собаченка при словѣ „хохоль“ даже завывала...—„Ишь, шельма, какъ любить ево“,—проворчалъ солдатъ.

— Такъ гдѣ онъ?—приставалъ докторъ:—живъ?

— Да въ карантеѣ съ нами былъ...

Рыжій замолчалъ.

— Ну, и что-жь?

— Тосковалъ шибко... Заговариваться сталъ, все Гарпину какую-то вспоминалъ, да вишневый садчикъ, да леваду какую-то тамъ—Вогъ его знаетъ. Совсѣмъ рехнулся человѣкъ... Гарпина да Гарпина... Нашего брата, ваше благородіе, эти Гарпинки до добра не доведуть... Эхъ! кусай ее мухи!..—и рыжій отчаянно махнулъ рукой и замолчалъ...

## X.

### Смерть грѣшниковъ люта!

Время между тѣмъ шло, и чудовище разрослось все болѣе и болѣе въ формѣ какого-то гигантскаго тысяченога, безчисленныя лапы котораго съ каждымъ днемъ все крѣпче обхватывали Москву, словно паукъ муху... Муха билась въ цѣпкой паутинѣ чудовища и еще болѣе запутывалась...

По глазамъ веселаго доктора, по озабоченности всѣхъ врачей медицинскій коллегіи—Шафонскаго, Эразмуса, Ягельскаго, Лерхе и другихъ, Еропкинь видѣлъ, что Москва погибаетъ въ лапахъ чудовища... Надо отрѣзать этотъ страшный карбункулъ Россіи отъ всего остальнаго государственнаго тѣла...

И вотъ, московскія медицинскія власти къ концу апрѣля приходятъ къ неизбежному убѣжденію, какъ слѣпые къ стѣнѣ, что „предосторожность о сбереженіи цѣлага государства требуетъ: городъ Москву, какъ неминуемое и повсемѣстное во всѣхъ дѣлахъ съ прочими мѣстами имѣющей соо-щеніе—запереть...“

И Москву запирають—закалываютъ гробовую крышку, оставивъ нѣсколько продушинъ: изъ всѣхъ четырнадцати заставъ, которыми Москва, какъ зараженное сердце артеріями, могла выбрасывать заразу во всѣ концы государственнаго организма, оставляють открытыми семь—Калужскую, Серпуховскую, Рогожскую, Преображенскую, Троицкую, Тверскую и Дорогомилловскую; а всѣ остальные—запирають... Далѣе, въ извѣстномъ разстояніи отъ Москвы устраиваютъ особую цѣпь съ заставами: эти заставы должны перехватывать всякаго, кто ѣдетъ къ Москвѣ откуда бы то ни было... Дальше-де ни шагу: тамъ адъ и смерть!

Но всего болѣе боялись, чтобы чудовище не вырвалось изъ Москвы по направленію къ сѣверу и не помчалось по питерской дорогѣ... А тамъ, тамъ уже нѣтъ никому спасенія... И вотъ, со стороны Питера протягивается вдоль зараженнаго сердца Россіи новая цѣпь: бейся, сердце Россіи, объ свои ребра, бейся, глупое, и не посылай свою зараженную кровь къ головѣ, къ мозгу—голова еще не тронута у Россіи...

Но сердце и тутъ бы подпакостило, если-бъ голова заблаговременно не подумала объ этомъ. Изъ Петербурга пришло повелѣніе: всѣхъ, кто бы ни ѣхалъ въ Петербургъ или другія мѣста мимо Москвы—въ Москву не пускать, а направлять, черезъ заставы, окольными путями...

— А, вѣдь, укусить себя до смерти.—качалъ головой веселый докторъ, встрѣтившись съ отцемъ Ларисы въ госпиталѣ.

— Кто укусить?—спрашивалъ тотъ.

— Москва бѣлокаменная...

— Какъ укусить?

— Да какъ же! Ее обложили теперь кругомъ огнями да заставами, словно скорпіона... А, вѣдь, когда скорпіона окружать огнемъ, то онъ себя убиваетъ своимъ хвостомъ... Охъ! убьетъ себя и Москва своимъ хвостомъ...

Но объ этомъ еще никто не думалъ тогда...

Чтобы воздвигнуть между Москвою и Петербургомъ неприступную живую стѣну, непроѣзжаемую и неперелетасмую, императрица отрядила изъ Петербурга особые оберегательные кордоны въ Тверь, Вышній-Волочокъ и Бронницы, подъ главнымъ распоряженіемъ генераль-адъютанта Брюса...

— Я васъ, графъ, за то посылаю туда,—говорила императрица, давая Брюсу это не особенно пріятное порученіе,—что вашъ славный дѣдушка не предувѣдомилъ насъ въ своемъ „календарѣ“ о постигшемъ насъ нынѣ несчастіи.. А сіе онъ долженъ былъ сдѣлать по долгу службы,—добавила она, улыбаясь.

Прошелъ и май, а Москва все звонила въ колокола, ожидая каменнаго дождя да огненной рѣки... Чудовище то тамъ, то сямъ выхватывало жертву за жертвой, а москвичи, слушая рассказы „гуляющихъ попиковъ“ о „пификѣ“ да о „соніяхъ“, все прятали одежду постѣ чумныхъ больныхъ, потомъ несли ее на рынокъ, а затѣмъ умирали сами и морили покупателей, не дождавшись каменнаго дождя...

Прошелъ июнь—нѣтъ каменнаго дождя. Прошелъ июль—нѣтъ огненной рѣки... Страшныя пророчества „пифика“ еще впереди...

Наступилъ августъ... Мертвыя тѣла уже валяются по улицамъ и гниютъ подъ лучами знойнаго солнца...

— Что пишутъ эти коллежскія бабы? — пасмурно спрашиваетъ Еропкинъ веселаго доктора послѣ объѣзда города. — Мои лошади и то видятъ, что Москва пропадаетъ: то и дѣло коляска моя наѣзжаетъ на тропы.

Подъ „коллежскими бабами“ Еропкинъ разумѣлъ членовъ медицинской коллегіи.

Веселый докторъ, стоя у стола, развѣртываетъ бумагу и читаетъ:

„Моровая язва, называемая еще все въ народѣ прилипчивая горячка, такъ нынѣ со всѣми своими знаками, яко-то черными пятнами, а болѣе уже бубонами и карбункулами свирѣпствовать зачала, что не только въ домахъ многое число мертвыхъ ежедневно умножаться, но и по улицамъ показываться стало...“

— То-то теперь только замѣтили бабы! — какъ бы про себя процѣдилъ Еропкинъ. — Ну!

— „Причина такому идуцимъ по улицамъ скорому смертному поражению не та была“, — продолжалъ веселый докторъ, пряча глаза въ бумагу, — „чтобы такой умершій, не имѣвъ никакой прежде болѣзни, вдругъ яко бы отъ зараженнаго воздуха умеръ, но такая смерть оттого происходитъ, что всякъ, особливо изъ простаго народа, старается утаивать свою болѣзнь и всячески, будучи уже дѣйствительно зараженъ, до тѣхъ поръ перемогается, пока она по своему лютому качеству скоропостижно не умертвить... Такие по улицамъ умершіе чрезъ долговременное непогребеніе отъ теплага нынѣшняго воздуха, дабы не могли портиться и отъ того бы здоровымъ не могло вреда приключиться, велѣно ихъ отнынѣ впредь безъ всякаго врачей осмотра и какъ можно скорѣе погребать. Для скорѣйшаго же въ томъ производства, опредѣлены особые офицеры, которые, разъѣзжая часто по городу и усматривая по улицамъ умершихъ, тотъ же часъ частнымъ смотрителямъ тѣхъ частей, гдѣ тѣ тѣла лежатъ, даютъ знать, дабы они ихъ велѣли погребать...“

— Да погребать ужъ некому, — мрачно сказалъ Еропкинъ. — Полицейскіе десятскіе всѣ перемерли...

— Оставимъ мертвецовъ погребать мертвымъ, ваше превосходительство, — загадочно сказала веселый докторъ.

— Какъ? — векинулъ на него глаза Еропкинъ.

— У насъ, ваше превосходительство, есть много живыхъ мертвецовъ: ими полна розыскная экспедиція, а равно тюрьмы... Пусть преступники, осужденные на смерть или на каторгу, погребаютъ мертвыхъ... Ихъ слѣдуетъ вывустить изъ остроговъ, одѣтъ въ одежду мортусовъ и опредѣлить въ погребателей!..

— Прекрасная мысль, господинъ докторъ! — обрадовался Еропкинъ. — Они будутъ рады...



— И не убѣгутъ никуда—нельзя теперь изъ Москвы безъ виду пробраться.

И цѣлая роты арестантовъ превращаются въ мортусовъ...

Москва начинаетъ представлять ужасающую картину. Съ утра до ночи скрипятъ по городу немазанныя телѣги, управляемыя мортусами въ ихъ страшныхъ костюмахъ и съ длинными баграми въ рукахъ... Они ищутъ труповъ—да чего искать!—они валяются по улицамъ, по площадямъ, по перекресткамъ, около аналоевъ, надъ которыми духовенство возносить тщетныя моленія вмѣстѣ съ обезумѣвшимъ отъ страха народомъ...

„Ежедневно, отъ утра до ночи,—говорить очевидецъ,—тысячами фурианщико въ маскахъ и воцаныхъ плащахъ—воплощенные дьяволы!—длинными крючьями таскаютъ трупы изъ выморочныхъ домовъ, другіе поднимаютъ ихъ на улицахъ, кладутъ на телѣги и везутъ за городъ, а не къ церквямъ, гдѣ оныя прежде похоронялись. У кого рука въ колесѣ, у кого нога, у кого голова черезъ край виситъ и обезображенная безобразно мотается. Человѣкъ по двадцати разомъ взваливаютъ на телѣгу. Трупы умершихъ выбрасываются на улицы, тайно зарываются въ садахъ, въ огородахъ и подвалахъ...“

Вонъ черезъ Красную площадь, мимо Лобнаго мѣста, скрипя немазанными колесами, пробѣзжаетъ огромная фура, на которой виднѣтся цѣлая гора труповъ... Мертвецы, накиданные на фуру, лежатъ въ потрепанныхъ позахъ: иному страшную позу дала сама смерть, скорчивъ и перегнувъ въ три-погибели; кого неловко зацѣпилъ багоръ мортуса и въ картинномъ до ужаса положеніи помѣстилъ среди другихъ мертвецовъ; кого, повидимому, переѣхала тяжелая фура мортуса и раздавила ему лицо; изъ другого голодная собака повыврала кусками почернѣвшее тѣло... Головы... ноги... руки... бороды... молодое и старое... полунагое и нагое совѣмъ тѣло... тутъ же и тотъ несчастный нищій, который, снявъ съ мертвеца его губительныя ризы, прикрылъ ими свои лохмотья—и тутъ же недалеко умеръ въ чужихъ, смертоносныхъ ризахъ,—все это свалено въ кучу, какъ комья грязи,—болтается, бьется и трется объ колеса, издавая ужасающій смрадъ... И надъ всей этой горой труповъ виситъ гигантская фигура страшнаго мортуса въ маскѣ и съ багромъ въ рукѣ вмѣсто кнута... Силачъ долженъ быть мортусъ-кагоржникъ! Экую гору навалилъ труповъ... Можетъ, и самъ онъ на своемъ вѣку перерѣзалъ и перегибуилъ душъ столько же, сколько везетъ теперь...

— Не-не, бисова шкапа!—понукаетъ онъ истомившуюся подъ тяжестью труповъ ломовую лошадь.

Скучившійся близъ анаоя, стоящаго около церкви на площади, молящійся, колѣнопреклоненный народъ, при видѣ колесницы смерти, съ ужасомъ разступается. Около анаоя остается одинъ, знакомый уже намъ, „гулящій попикъ“ въ своей затасканой епитрахилькѣ...

— Услыши ны, Боже!—возглашаетъ онъ, воздѣвъ руки горѣ,—услыши ны, Боже, Спасителю нашъ, упованіе всѣхъ концевъ земли и сущихъ въ мори далече, и милостивъ-милостивъ буди, Владыко, о грѣсѣхъ нашихъ и помилуй ны!

Какимъ-то стономъ отчаянья вздыхаютъ усталыя отъ вздоховъ груди толпы вслѣдъ за этою горькою молитвою... А страшная телѣга все скрипитъ, приближаясь къ аналою...

Толпа не хочетъ глядѣть на нее—усиленно молится глядя на церковь и на аналоя... Тутъ же, въ сторонкѣ, стоять и горячо молится рыжій солдатикъ съ красными бровями, и собачка его тутъ же...

А телѣга все ближе и ближе скрипитъ — по сердцу скрипитъ проклятая ось!

— Не-не, гаспидьска шкура!—понукаетъ мортусъ.

Собаченка съ какимъ-то страннымъ—не-то перепуганнымъ, не-то радостнымъ—лаемъ бросается къ страшной телѣгѣ. Мортусъ медленно поворачиваетъ къ ней свое замаскированное лицо — и откидывается назадъ. Собаченка такъ и цѣпляется за телѣгу... Мортусъ грозитъ ей шестомъ.

— Цыцъ! цыцъ! бисове цуцуня! — кричитъ мортусъ. — Не пидходь близко—сдохнешь...

Собаченка начинаетъ визжать отъ радости и прыгать около ужасной телѣги.

— А! дурна Меланька... пизнала мене...—радостно говоритъ мортусъ.

Бѣжить съ испугомъ и рыжій къ телѣгѣ съ трупами и крестится.

— Забродя! хохоль!.. это ты?—нерѣшительно кричитъ онъ издали.

— Та я-жъ, бачишь.

— Да ты рази живъ, братецъ!

— Та живъ же-жъ—хиба тоби повылазило!..

— Господи! съ нами крестная сила!—И рыжій опять крестится:—Святъ-святъ... Да какими судьбами? Вѣдь, тебя братецъ, убили, застрѣлили тамъ...

— Ни, не вбили...

— Какъ не вбили! Что ты—перекрестись.

Мортусъ крестится, набожно поднимая свое страшное, черное подобіе лица къ куполу Василія Блаженнаго.

— Ахъ ты Господи! да это не нечистая сила... Онъ крестится... Ахъ ты Господи!—диву дается рыжій.

А собаченка—такъ та совсѣмъ съ ума сошла отъ радости: скачетъ впереди страшной колесницы, лаеетъ на лошадь, чуть за морду не хватается, лаеетъ на птицу, еле не очумѣвшую вмѣстѣ съ Москвою, на воздухъ, скачетъ на колеса...

— Та возми-жъ дурне цуцуня—озьми Меланьку—не пускай, а то, дурне, сдохне... Эчь воно яке! Цюцю, иродова дитина!—радуется страшный мортусъ.

— Да какъ же, братецъ ты мой, живъ ты остался? — допытывался рыжій, слѣдуя за телѣгой и боясь подойти къ ней.— Вѣдь тебя застрѣлили...

— Та ня-жъ! Москаль погано стрія—не въ голову, а въ бикъ понавъ...

— Ну, да ты-жъ, чортовъ сынъ, умираль, какъ насъ изъ карантея выпускали... Сказывали, что умрешь.

— Такъ бачъ же-жъ—не вмеръ—выкрутився... Не-не-не!—понукаль онъ лошадь, махая багромъ.

— Ну, а какъ же ты, братецъ, попалъ въ черти? Ишь, какая картина! — дивился рыжій, глядя на своего бывшего товарища. — Чортъ чортъ — только хвоста не достаетъ...

— Не-не-не! — слышится монотонное понуканье.

А тутъ новая, еще большая толпа молящихся... У аналая, поставленнаго среди улицы, стоитъ старый сгорбленный священникъ съ воздѣтыми къ небу руками... Руки такъ и падаютъ отъ усталости и всенароднаго моленія отъ зари до зари... Изъ старыхъ очей священника текутъ слезы и падаютъ на пересошую, чумную, Богомъ забытую землю... Народъ держитъ въ рукахъ зажженные свѣчи, точно себя самого отпѣваетъ... Эти теплящіяся среди бѣла дня свѣчи — это такъ страшно!

А священникъ беспомощно зываетъ къ небу:

— О еже сохранитися граду сему, и всякому граду, и странѣ, отъ глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествія иноплемениковъ и междусобныхъ брани — и *отъ мора сего всегубительнаго*, Всемилоствиве!.. О еже милостиву и благоувѣтливу быти благому и челоуѣколюбивому Богу нашему, отврати всякій гнѣвъ, на ны движимый, и избавити ны отъ надлежащаго и праведнаго сего прещенія, и помиловати ны...

— „Господи, помилуй!“ „Господи, прости!“ „Господи, отврати!“ — стонетъ беспомощная толпа.

— „О-о-охъ!“ Страшенъ этотъ „охъ“, вырывающійся изъ груди народа — о; какъ страшенъ!

— Батюшки!.. охъ!.. умираю! — выкрикиваетъ кто-то въ толпѣ.

— Не-не-не! — скрипитъ телѣга, распугивая молящихся.

— Ну, инь сказывай, братецъ, какъ тебя въ черти произвели, — допытывается рыжій.

— А якъ!.. Ото якъ москаль въ мене стриливъ — я и влавъ... А винь, бисивъ москаль, погано стриля — не въ голову, а въ бикъ... Я и оживъ... А коли вставъ — васъ уже не було тамъ — и цуцвянтко пропало... А меня въ Москву якъ злодія отправили — та въ колодку. А теперь, бачъ, выпустили насъ усихъ изъ колодокъ... Отъ я й ставъ чертомъ... Э! де-то моя бидна Украина!

Мортусъ безнадежно махнулъ своей смоленой рукавицей.

— А тыжъ? — обратился онъ къ рыжему.

— Да меня, братъ, не пуцають изъ Москвы — заперли ее всю.

— А я втику...

— Ну, смотри, братъ, пропадешь ты съ своей Гарпинкой да Украинкой.

— А лучше пропасти на воли, нижъ оце такъ...

И онъ указалъ на свою телѣгу съ трупами, на другія такія же телѣги, то тамъ, о здѣсь скрипѣвшія по улицамъ, на мортусовъ, волокищихъ къ возамъ свои жертвы, на молящійся въ ужасѣ народъ...

— А онъ бачъ! — показалъ мортусъ по направленію къ небольшому каменному дому съ закрытыми ставнями.

У воротъ этого дома стояли ямскія дроги, запряженныя парю взмы-

ленныхъ лошадокъ. Въ круглой фигуркѣ, на красномъ, лоснящемся отъ жару и утомленія лицѣ, рыжій тотчасъ узналъ, что это ихъ веселый докторъ толчется у воротъ. Тутъ же, верхомъ на конѣ, какой-то офицеръ и суетящаяся, охающая баба съ огромнымъ, словно отъ дверей ада ключемъ.

— Не попаду, батюшки,—рученьки дрожать... охъ!—охала баба, стараясь попасть огромнымъ ключемъ-рычагомъ въ висчій у воротъ замокъ, такой величины, что голова бабы казалась меньше его.

— Ну-ну, живѣй, тетка; можетъ, еще и захватимъ,—торопить веселый докторъ.

— Охъ, гдѣ захватить!.. не стоналъ ужь...

— Ну, инъ дай я отомкну! — отозвался стоявшій тутъ же у воротъ среднихъ лѣтъ мужчина, не-то купецъ, не-то сидѣлецъ.—Все добро мое и ключъ мой...

Баба покорно передала ему ключъ. Ключъ-рычагъ вложенъ въ огромное отверстіе замка. Замокъ-гигантъ завизжалъ, щелкнулъ разъ-два-три—замокъ распался... Ворота, скрипя на старыхъ ржавыхъ петляхъ, распахнулись—открылся темный съ навѣсами небольшой дворъ, словно зіяющая пасть, изъ которой пахнуло смрадомъ, всякой плѣсенью и переквашенными, гніющими кожами и овчинами, догнивавшими подъ душною тѣнью навѣса... Офицеръ сошелъ съ коня и отдалъ его докторскому возницѣ.

— Вотъ гдѣ наша Индія!—поднося къ носу кусокъ камфоры и обращаясь къ молодому офицеру, замѣтилъ веселый докторъ.

Офицеръ съ ужасомъ всплеснулъ руками.

— И это милліонеръ!.. Изъ этой норы онъ ворочалъ всю Россію!

— Мало того—онъ своими милліонами держалъ въ рукахъ— что въ рукахъ! — въ ежовыхъ рукавицахъ Казань и Нижній, Киргизскую орду и всю Сибирь... Онъ всю Европу завалилъ своими кожами—и русской кожей прославилъ Россію...

— Такъ это его кожей гордятся парижане?

— Его... и запахъ этотъ же...

Собака, съ цѣпью на шеѣ, худая какъ скелетъ, при входѣ чужихъ людей слабо залаяла, силилась подняться съ земли, но отъ слабости и отъ тяжести цѣпи снова падала...

— Ишь—и ее голодомъ заморилъ!—покачала головой баба.

— А тебѣ бы ее сайками да медомъ кормить,—огрызнулся тотъ, что отперъ ворота.

— Не медомъ...

Пришедшіе подошли къ крыльцу. Дверь оказалась запертою изнутри. Приходилось выламывать ее.

— Эй, таранъ! Молодцы—сюда!—закричалъ офицеръ, хлопая въ ладоши.

Въ воротахъ показались четыре дюжихъ солдата. Они втащили во дворъ ручной таранъ—на четырехъ толстыхъ ногахъ и на цѣпи дубовое бревно съ желѣзною головою... Этимъ орудіемъ каждый день приходилось вышибать ворота и двери у выморочныхъ домовъ... Уставили таранъ у двери...

Баба со страхомъ отошла въ сторону, крестя свое толстое рябое лице и свою полную, словно у двухъ холмогорскихъ коровъ вымя—грудь...

— Сади!—скомандоваль офицеръ.

— Стой, ваше благородіе! Дверь испортятъ,—останавливаль тотъ, что отперъ ворота.

— А тебѣ что до того?

— Какъ что! я—наслѣдникъ ихній буду—Сыромятовъ...

— А-а!.. такъ что-жь! Дверь ломать надо...

— А кто заплатитъ за поломъ?—настаиваль Сыромятовъ.

— Ты же,—съ презрѣніемъ отвѣчалъ офицеръ и отвернулся. — Сади, ребята!

Послѣдоваль ударъ—разъ... два... три!—трещить дверь...

— Я буду жаловаться!—протестуетъ Сыромятовъ, топчась на мѣстѣ.— Это разбой...

— Хорошо, хорошо, любезный, — успокоиваетъ скрягу веселый докторъ.— Тебѣ заплатитъ... онъ же, —и докторъ указаль на дверь, которая съ трескомъ грохнулась въ сѣни.

Вошли въ сѣни, перешагнувъ черезъ разбитую дверь. Въ сѣняхъ запахъ затхлости и гнили. Тронули внутреннюю дверь—заперта. Надо и ее ломать... „Эй, таранъ!“ — командуетъ офицеръ. „Стой! что-жь это такое будетъ! Весь домъ разобьютъ...“ — протестуетъ Сыромятовъ. — „Сади!“ — кричитъ офицеръ. „Разъ... два... три!“ —и эта дверь грохнулась на полъ. Темно въ домѣ, хоть глазъ выколи... И тутъ запахъ гнили и затхлости.

— Фуй, какъ воняютъ милліоны... ну!—гадливо говоритъ докторъ.

— Отворяй ставни, баба!—командуетъ офицеръ.

Баба дрожа-дрожить, но повинуется... Взвигнула задвижка, заскрипѣль болтъ, звякнулъ обо что-то, и желѣзная ставня открылась. За нею другая! третья... Мрачный домъ милліонера освѣтился—рѣдкое торжество для мрачнаго дома!—Чинно кругомъ и строго, какъ въ монастырѣ: старая мебель въ чахлахъ, словно покойники въ саванахъ—и ничего лишняго, даже удобства...

Идутъ дальше, въ слѣдующую комнату: впереди веселый докторъ, за нимъ офицеръ съ камфарой у носа, словно барышня на балѣ съ букетомъ; за нимъ—Сыромятовъ, жадно обозрѣвающій мебель, стѣны, окна, даже желѣзныя, тронутыя ржавчиной задвижки отъ болтовъ; за Сыромятовымъ баба, ступающая по полу такъ, точно она боится провалиться сквозъ полъ своимъ грузнымъ тѣломъ; за бабою, поджарый, рѣдковолоосый и скорченный, какъ старый, негодный ключъ, слесарь, весь пропитанный желѣзною ржавчиной и обсыпанный опилками; въ сухой и темной, словно луженой рукъ его погромыхиваетъ связка всевозможныхъ ключей.

Подходятъ къ послѣдней двери въ угловую комнату, въ контеру, кассу и спальню—заперта нутренымъ двернымъ замкомъ, и не видать бородаги ключа въ отверстіи—не торчитъ,—ключъ, значить вынуть...

Чуется уже запахъ мертвечины... Это не кожи, не затхлость...

— Фу! тутъ мертвечина!—говорить офицеръ, содрогаясь.

— Да... это кровь и потъ русскаго народа, превращенные въ миллионы... Они смердятъ,—нагибаясь къ замочной скважинѣ, замѣчаетъ веселый докторъ.

Лихорадка начинаетъ бить Сыромятова - наслѣдника... А что какъ онъ живъ да погонить всѣхъ—и его, наслѣдника...

— Отпирай, чего стоишь!—судорожно обращается онъ къ слесарю.

— А что пожалуете за трудъ?—ежится тотъ.

— Это не мое дѣло, а вонъ ихъ (и скряга показываетъ на доктора и офицера).

— Али пятака жалко?

— Жалко! Мнѣ и полушки жалко, потому не мое дѣло, не я запираю дверь, не я и плачу.

— Ну, отпирай!—приказалъ офицеръ.

— Только не на мой счетъ, ваше благородіе,—торопится протестовать скряга:—пушай на счетъ казны отмыкаеть...

У этой даже страшной двери веселый докторъ не выдерживаетъ—и хочеть... Баба вздрагиваетъ...

— Вотъ какъ наживаютъ миллионы—и ну!—удивляется докторъ.

— Полушка копейку родить, а копейка рупь, а рупь милеоны,—ворчить наслѣдникъ.

— Фу! это адъ!—не выдерживаетъ молодой офицеръ.

Ключъ щелкнулъ. Дверь подалась, отворяется. Темно тамъ, но оттуда такъ и пахнуло трупомъ!—„Отворяй ставни!“ — Баба крестится, дрожитъ и нейдетъ. Докторъ самъ входитъ въ полутемную комнату и отворяетъ ставню. Солнце снопомъ лучей ворвалось въ этотъ мрачный уголокъ и, кажется, само задрожало, отразившись на чемъ-то блестящемъ... И всѣ стоявшіе въ дверяхъ содрогнулись...

Да и нельзя было не содрогнуться. У стѣны, у огромнаго желѣзнаго сундука, раскрытаго настежь, стоялъ на корточкахъ человѣкъ въ одной ситцевой рубахѣ, запустивъ по локоть почти синія руки въ груди золота, которымъ наполненъ былъ громадный сундукъ... Голова же этого человѣка опрокинулась назадъ, такъ что только глаза, тусклые, остеклѣлые, смотрѣли черезъ лобъ и брови, да торчала мочальная борода...

Это былъ мертвецъ, заснувшій руки по локоть въ золото,—милліонеръ Сыромятовъ, подъ желѣзною рукою котораго гнулась, какъ олово, кожевнная торговля цѣлою Россіи и Европы... Колѣнками и босыми ногами; онъ, окостенѣлый уже, упирался въ ветхій матрацъ, брошенный у сундука съ золотомъ... Умирая, онъ, какъ видно, приподнялся съ своего мертваго ложа, отперъ свои сокровища, залѣзъ въ нихъ руками—да такъ и околѣлъ.

Всматриваясь въ мертвое лицо, веселый докторъ, несмотря на искаженіе ужаснаго лика, узналъ покойника. Онъ видѣлъ его недавно у лавки, близъ Варварскихъ воротъ и еще заинтересованъ былъ его распросами у „гулящаго попики“ о какомъ-то „пификѣ“. Это, дѣйствительно, былъ тотъ

купчина, который, опасаясь каменного дождя и огненной рѣки, грозившей всёми рѣдамы, въ томъ числѣ Голичному и Юхотному, гдѣ въ подвалахъ хранились его милліоны въ кожахъ и юфти, большею частью отъ чумной скотины,—обѣщалъ, для отвращенія огненной рѣки, подарить Богу цѣлый четверикъ роснаго ладону, чтобы курево отъ него дошло до самаго неба, выставить и зажечь цѣлый боръ свѣчей въ косую сажень, чтобы небу было жарко, повѣсить колоколъ на церкви—„вогнать колоколище въ тыщу пудъ, чтобы звонилъ до самаго Бога и переглушилъ бы птицу въ небѣ, звѣря въ лѣсу, рыбу въ Москвѣ-рѣкѣ и въ самомъ Кіаѣ-морѣ“... И этотъ богачъ теперь былъ мертвъ—не успѣлъ ни насытиться, ни насладиться своими сокровищами...

Всѣ въ ужасѣ смотрѣли на страшнаго покойника. Закинутае навзничъ лицо, раздувшееся и почернѣвшее, съ разинутымъ въ предсмертныхъ мукахъ ртомъ и ощеренными какъ у собаки зубами, казалось, грозило смертью всякому, кто рѣшился бы подойти къ сундуку—къ этой разверстой, глетворно дышащей пасти богатства. Одинъ наслѣдникъ жадно впился глазами въ кучи золота и словно окаменѣлъ.

Докторъ приблизился къ мертвецу. Наслѣдникъ слѣдилъ за его движеніемъ, какъ бы боясь—вотъ-вотъ засунетъ руку въ золото! вотъ-вотъ червонцы сами поскачутъ ему въ карманъ!

Докторъ покачалъ головой.

— Еа, извенные знаки—смерть очевидна... А давно, тетка, занемогъ онъ?

— Да третьеводни, батюшка... Померъ это кумъ евоный, Гурьянъ Дѣичъ,—перевалкою помре, такъ нашъ-отъ выпросилъ у хозяйшки его, у кумы, на память, жилетку послѣ покойничка, чтобы, значить, новой не покупать—скупъ былъ—добре... Да съ той-то поры и перемогаться сталъ... А тамъ какъ заперся, чтобъ, значить, никто къ нему не взошелъ и добра бы ево не взялъ корыстью, съ тою минутою я и не видала его...

— То-то... не видала, а поди чай...—огрызнулся наслѣдникъ.—Ее бы, ваше благородіе, обыскать надоть, да и нору ейную перешарить... Она, поди, тыщи перетаскала—она жила съ покойничкомъ-то...

Докторъ и офицеръ посмотрѣли на нее.

— Жила—жила, кормильцы... Я ему, покойничку-ту, за жену законную была, а болѣе за стряпку, хоша онъ, по скупости, и не велѣлъ ничего стряпать, а съ лотка кормился больше да у парней у своихъ, у сидѣльцевъ, отымывалъ бывало, чтобы невпору не ѣли, и самъ, покойникъ, съѣдалъ...

— Такъ ты его законная жена?—спросилъ офицеръ.

— Законная, батюшка, законная, только не церковная—въ церкви не вѣнчана, а гулящій батюшка насъ съ нимъ, съ покойничкомъ, вокругъ свитово платка обвелъ и благословилъ жить вмѣстѣ... Оно такъ-то дешевле обходилось для покойничка...

А покойничекъ страшно глядѣлъ и щерился на всѣхъ, какъ бы продолжая копаться въ золотѣ...

— Да, жила, и поди тыщи перетаскала,—настаивалъ на своемъ наслѣдникъ.

— Гдѣ, батюшка, перетаскать! Я не съ нимъ жила, а въ стряпечкой избѣ... А коли и на ночь къ себѣ меня покойничекъ бывало бралъ, такъ запиралъ съ собой на ключъ, а утромъ всю до-нага обыскивалъ, чтобы-де чего не утащила...

Докторъ приказалъ позвать мортусовъ, чтобы вытащить мертвеца, а домъ запечатать и поставить къ нему караулъ.

— Какъ же, ваше благородіе,—протестовалъ наслѣдникъ:—надоть и сундукъ запереть да запечатать, да и опись всему составить... У него еще...

Наслѣдникъ потушился и замолчалъ. Рысьи глаза его упали на полъ, на какую-то желѣзную скобу. Докторъ тоже посмотрѣлъ на полъ: желѣзная скоба обнаруживала, что въ этомъ мѣстѣ полъ подымается.

— А это что, тетка?—спросилъ онъ.

— Творило, батюшка, творило...

— Для чего оно?

— Кладовыя тамъ, подъ поломъ...

— И тоже, видно, сундуки?.. деньжищи?

— Сундуки, батюшка... Я ихъ къ свѣтлomu Христову воскресенью всегда мывывала...

Докторъ только развелъ руками. Офицеръ нетерпѣливо стучалъ саблей объ полъ. Слесарь стоялъ у двери и ожидалъ заработаннаго пятака... Напрасно ждалъ!—пятака ему никто не отдасть.

Вошелъ мортусъ съ багромъ.—„Тащи его“, распорядился офицеръ.—Мортусъ зацѣпилъ мертвеца крючкомъ за рубаху—гнилая, старая тряпка изорвалась... „Стареньки добре рубахи-то“, пояснила баба.—Зацѣпили крючкомъ за тѣло—вонзился крюкъ въ мертвеца—дернули... Нейдетъ—только страшно откачнулся отъ сундука—руки не лѣзутъ изъ тяжелаго золота... Еще дернули—трупъ повалился на полъ, стукнулся головой—что-то зазвенѣло, словно кандалы на ногахъ колодника...

— Что это! цѣпи на немъ!—съ ужасомъ спросилъ офицеръ.

— Цѣпь, батюшка, цѣпь,—подтвердила баба, пригорюнившись.

— Цѣпь!.. зачѣмъ?

— Приковывалъ себя цѣпью, батюшка, покойничекъ къ сундуку-ту этому... Любимый, сказать бы такъ, сундукъ евоный былъ.

— Зачѣмъ же приковывалъ?

— А все боялся, батюшка, чтобы не украли... Молодымъ-то онъ, сказывалъ, боленъ былъ—что вотъ по ночамъ другіе ходють, во снѣ—полунатики что ли называются... Такъ и онъ, покойничекъ, все боялся, какъ бы де ночью отъ добра своно не ушелъ полунатикомъ...

— Н-ну! чадушко!—не вытерпѣлъ докторъ: и себя, и собаку къ своему добру приковывалъ... н-ну!

— Самъ боялся, что убѣжить отъ своего золота—пояснилъ офицеръ.— Вотъ каналья!



Докторъ вынулъ изъ висѣвшаго у него черезъ плечо вощаного мѣшка вощанья перчатки, надѣлъ ихъ на руки, нагнулся къ мертвецу и ошупалъ у его пояса замокъ. Потомъ взявъ у слесаря разныя отвертки, отперъ ими закованнаго мертвеца и далъ знать мортусу.— „Тащи!“

Зацѣпили. Тащутъ. Голова колотится объ полъ. Баба закрыла глаза и крестится...

— Ушелъ отъ своихъ богатствъ... Утащили-таки!— съ страшною горечью и силой сказалъ молодой офицеръ.— О, проклятое золото!

— А это что! Часъ отъ часу не легче!

Докторъ указалъ на столъ, на который никто прежде не обратилъ вниманія. Столъ покрытъ былъ старой клеенкой. На немъ лежали счеты. счетныя книги, клочки бумагъ, заплѣсневѣлыя просфоры и куски чернаго хлѣба. Но болѣе всего поразила доктора оловянная тарелка. На ней лежалъ объѣдокъ сайки, голова жареной рыбы и кусокъ какого-то мяса... Какого-то!— трудно было узнать, потому что... да потому, что и по мясу, и по рыбей головѣ, и по тарелкѣ ползали и копошились бѣлые черви...

— Что это!— всплеснулъ руками докторъ.

— А это, батюшка, третьеводни покойничекъ въ трактирѣ былъ, — от-вѣчала баба.— Ево, сказать бы, угошали тамъ казански купцы, продали нашему-то партію юхты, такъ могоарычемъ запивали... А нашъ-отъ не до-ѣлъ въ трактирѣ угошенья, такъ чтобъ не пропадало даромъ, и принесъ ево домой... Онъ, батюшка, всегда бывало такъ дѣлывалъ: коли чево не доѣсть въ трактирѣ, не допѣть—домой ташнить—мясо ли то, рыбка ли, хлѣба ломочекъ, сахарцу огрызочекъ—все домой несеть... А вотъ и не доѣлъ этой снѣди-то...

\*Ужасная снѣдь! Черви такъ и ходять по ней...

Докторъ крикнулъ къ мортусу, велѣлъ багромъ захлопнуть крышку ужаснаго сундука и приказалъ слесарю заперать это страшное логовище алчнаго звѣря...

— А я!... я не позволю!—упирался наслѣдникъ.

— Я тебя велю арестовать!—крикнулъ на него офицеръ.—Арестую именнымъ повелѣніемъ, какъ ослушника высочайшей воли... Запирай.

Заперли логовище. Приложили печати. Поставили часовыхъ у дверей и у воротъ и вышли изъ ужасной трущобы миллионера.

А миллионеръ, лежа ничкомъ на телѣгѣ мортуса, грозно глядѣлъ на небо, не озираясь уже ни на свой домъ, ни на свои богатства... Смерть грѣшниковъ дота!—Не помогли ни четверики ладону, ни боры свѣчей, ни колокола...

Конецъ первой части.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
Д. Л. Мордовцева.

---

I.

# НАНОСНАЯ БѢДА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

*Dies irae, dies illa!..*

Часть II.

---

II.

# Чума въ Москвѣ 1771 г.

ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

---

Томъ XVI.

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Издание Н. О. Мерц  
1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 4 августа 1901 г.

Типографія „В. С. Балашевъ и К<sup>о</sup>“. Спб. Фонтанка 95.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I.

#### Гроза надвигается.

Москва, наконецъ, выбилась изъ силъ! Выбились изъ силъ московскія власти, выбился изъ силъ и несокрушимый ничѣмъ народъ... А грозное чудовище все болѣе и болѣе забирало силу—росло, ширилось и крѣпло, питаясь въ день тысячами труповъ, заливая свою страшную трапезу рѣкою слезъ, съ каждымъ часомъ все пуще и пуще обезумѣвая въ смрадѣ гниющихъ тѣлъ, въ чаду курящагося по церквамъ и по площадямъ цѣлыми ворохами ладону и цѣлыми лѣсами горящихъ для умилостивленія гнѣвнаго Бога свѣчей...

Не унимается моръ! не унимается, а все свирѣпѣеть...

Сбился съ ногъ и Еропкинь. Одинъ веселый докторъ катается шарикомъ въ этомъ аду, благодаря своей непостижимой живучести, которую вымолили у Бога своему любимому лѣкарю солдатики въ пылу жаркихъ битвъ съ проклятыми турками и подъ стоны своихъ товарищей на перевалочныхъ пунктахъ...

— Ваше превосходительство, вамъ поберечься надо, — тихо говоритъ онъ Еропкину, безмолвно склонившему свою, давно не пудренную, давно усталую и давно не спавшую голову на руки.—Поберегите себя...

— Что мнѣ беречь себя, когда Москва пропадаетъ!—упавшимъ голосомъ отвѣчаетъ Еропкинь.

— Для Москвы—для всей Россіи надо поберечься...

— Охъ! пропало все...

— Нѣтъ, еще не все, ваше превосходительство...

А чума уже въ самомъ домѣ Еропкина. Да и какъ не быть ей тамъ! Толпы просителей запружаютъ его дворъ, переднія, улицы: кто кричитъ, что гробовъ не хватаетъ въ городъ, что заборы ломаютъ на гроба, лѣсъ весь перевели; кто проситъ могилу—весь домъ вымерь, а могилъ копать некому...

Въ домѣ Еропкина мрутъ уже писаря отъ корпѣнья надъ чумными рапортами да доношеніями... Мрутъ вѣстовые солдаты отъ безпрестаннаго рысканья въ чумной атмосферѣ города съ приказами своего генерала...

Императрица сжаливается надъ нимъ и назначаетъ ему помощникомъ сенатора Собакина. Но какая тутъ помощь, когда Богъ отвернулъ Свое лицо отъ Москвы!

Чума забирается и къ преосвященному Амвросію—она уже въ Кремль, въ Чудовомъ монастырѣ...

Въ легкомъ подрясникѣ, съ черными распущенными по плечамъ густыми волосами, безпокойно ходитъ по своей обширной кельѣ Амвросій, погромыхивая чотками. Утро августовское, раннее еще, а на дворѣ зной и духота невыносимые. Душно и въ кельѣ у преосвященнаго. На столѣ лежитъ раскрыто толстая книга латинскаго письма. Книга раскрыта на томъ мѣстѣ, гдѣ въ заголовкѣ статьи крупно напечатано: *Pestis indica*. Рядомъ съ книгой стоитъ архіерейскій клубукъ.

Архіерей подходитъ иногда къ книгѣ и заглядываетъ въ нее, перелистываетъ страницы.

— *Carbunculi... угольки... pestechiae... bubones...*—говоритъ онъ самъ съ собою.—Хороши угольки!

Бѣлое, чистое, съ южной смуглотой лицо Амвросія подергивается улыбкою; но глаза смотреть грустно. То онъ подойдетъ къ окну, заглянетъ на бродящихъ по двору голубей, то опять заглянетъ въ книгу.

— А жары все не спадаютъ... И птицѣ жарко... *Contagium*—эта прилипчивость язвы хуже всего... Здѣшнее духовенство не понимаетъ этого: оно думаетъ, что дары отгоняютъ заразу... Да, отгоняютъ только отъ души язвенной, а не отъ тѣла, язвою пораженнаго... Вѣдныя невѣгласи!

Амвросій задумывается, откидываетъ назадъ волосы и останавливается передъ висящимъ на стѣнѣ портретомъ въ митрополичьемъ одѣяніи. Строгое и въ то же время грустное лицо, какъ живое, смотритъ со стѣны.

— Ты счастливѣе меня былъ, великій человекъ, —шепчетъ Амвросій: —тебѣ не приходилось тосковать о Кіевѣ, о любезной матери Украинѣ... Охъ, тяжело такъ... научи меня, великій святитель!

Но Петръ Могила ничего не отвѣчаетъ со стѣны—онъ все сказалъ при жизни...

Стуча огромными сапожищами на желѣзныхъ подковахъ, въ келью входитъ запорожець съ косяю и въ послушнической рясѣ. Амвросій вздрагиваетъ отъ неожиданности.

— Ты точно жеребецъ въ конюшню влამываешься, —кратко, улыбаясь доброму улыбкою, замѣчаетъ Амвросій.

И запорожець въ рясѣ улыбается.

— Чего тебѣ, небого?—спрашиваетъ архіерей.

— Тамъ прійшли до васъ, владыко.

— Кто такой? (Запорожець переминается и молчитъ). Кто пришелъ?.. а?

— Та щось воно таке трудне... (Опять переминается).

— Да ну же, говори, роля...

— Таке воно трудне, владыко, що й не вимовлю,—и запорожець даже каблучищемъ топнуль отъ трудности.

— Ну, зови ужь—добро.

Сапожники оиать затопали по пустымъ кельямъ... „А добра дитина... съ нимъ я не такъ однокъ тутъ, да и рѣчь родная звучить въ простыхъ устахъ его... чоботищи его Украину напоминають...“—думається архієпископу.

— А! отецъ катехизаторъ!—радушно улыбається Амвросій входящему въ келью священнику въ темно-малиновой рясѣ.—Такъ вотъ кого трудно вымолвить моему дѣтннѣ...

— Что изволите говорить, ваше преосвященство?—недоумѣвающе спрашиваетъ священникъ, подходя подѣ архієрейское благословеніе.

— Да вотъ когда я своего малаго спросилъ, кто пришелъ, такъ онъ отвѣчалъ: „щось воно таке трудне“. Теперь понимаю — „катехизаторъ“ для него зѣло „трудне“,—продолжалъ улыбаться Амвросій. —Ну, что въ городѣ, отецъ катехизаторъ?

— О! въ городѣ страхъ и трепеть, владыко... Не приведи Богъ видѣть—неизглаголанное нѣчто творится, ужаса пренсполненное...

— Спаси, Господи, люди Твоя... спаси,—какъ бы машинально повторялъ Амвросій.

— Отвратилъ Господь лице отъ людей своихъ...

— Не говори этого, отецъ протоіерей... Теперь именно, можетъ быть, сердце Господне яко воскъ отъ огня тайя... Теперь только молятся люди—стучатся въ сердце Господне...—тихо сказалъ Амвросій.

— Молиться, владыко, некому—некому въ сердце Господне стучаться...

— Какъ некому?

— Іерейство погибаетъ—почти всѣ попы повымерли или болѣють.

— Развѣ не исполняется мое „наставленіе“?—озабоченно спросилъ Амвросій.

— Исполняется, ваше преосвященство.

— У всѣхъ ли церквей оно вывѣшено при входахъ?

— Надо полагать, владыко, у всѣхъ... Самъ я видѣлъ, пробѣжая сюда, какъ народъ толпится около нихъ, слушая чтеніе грамотныхъ.

Амвросій безпокойно заходилъ по кельѣ. Опять глаза его съ какой-то тоской упали на портретъ Петра Могилы, потомъ перенеслись на кроткій ликъ Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ, какъ бы слѣдившаго за нимъ изъ глубины кіюты.

— Онъ смогригъ на насъ,—указалъ Амвросій на кіоту.—Ему, молившемуся ночью о чашѣ, понятны наши скорби... Прискорбна, прискорбна душа наша даже до смерти.

Отець катехизаторъ перенесъ глаза на кіоту... Да, смотреть, кротко смотреть божественный ликъ... Онъ все видитъ...

— Да, — какъ бы отвѣчая на мысль отца катехизатора,—сказалъ Амвросій: —Онъ видитъ, что чаша еще не реперолнена...

— Переполнена, владыко, черезъ край изливается!— съ силою выкрикнулъ катехизаторъ.

Да, катехизаторъ правъ — „переполнена“! У него до сихъ норъ изъ головы не выходитъ потрясающая душу картина, которой онъ былъ свидѣтелемъ... Сегодня утромъ приходитъ къ нему студентъ университета, одинъ изъ любимѣйшихъ слушателей, только что возвратившійся, послѣ вакацій, изъ деревни къ началу лекцій... Какія тутъ лекціи... Всѣ профессора разбѣжались, университетъ запертъ, а сторожа мрутъ — скоро некому будетъ и университетъ стеречь — одни собаки остаются, да и тѣ вонь сегодня забрались въ библіотеку и выволокли оттуда трупъ библіотечнаго сторожа на дворъ и съ голоду пожирали его... Приходитъ къ отцу катехизатору студентъ и умоляетъ его поспѣшить къ нему на квартиру съ Святыми Дарами — напугивать хозяевъ квартиры, гдѣ онъ жилъ — большыя дѣла всѣ опасно... Идетъ отецъ катехизаторъ за студентомъ, торопятся, приходятъ на дворъ, торопятся къ флигельку, гдѣ жилъ студентъ — флигелькъ такой деревянный, въ три окошка... Окна открыты, потому — душно въ городѣ, дышать нечѣмъ, и мостовыя, и желѣзныя крыши домовъ накалены, да еще смрадъ такой стоитъ надъ городомъ, дымъ отъ кадилъ и сѣвчей и курева... Входятъ въ сѣнцы — на полу, ничкомъ, крыжомъ какимъ то распростертъ трупъ — это хозяинъ — не дождался напугиванія, отошелъ амо... камо? — о, Господи!.. Перешагнули черезъ покойника... покойникъ — покойно лежать ничкомъ, а то хоть и кверху носомъ — до страшнаго суда... А за что судить!.. Перешагнули черезъ покойника, торопятся въ горницу — тамъ, слышно, ребенокъ плачетъ... Входятъ... На полу, разметавшись крестомъ, съ откинутаю назадъ головою и растянувшееся по полу на аршинъ расплеженною косою, лежитъ молодая женщина, не лежитъ, а какъ-то брошена сразмаху къмъ-то, хлобыснулась объ полъ — и лежитъ — срочка разорвана на груди, вѣрно, въ мукахъ, въ жару смерти... Голыя груди торчатъ, словно вздулись, и къ подмышкамъ посинѣли... А къ этимъ мертвымъ грудямъ льнетъ ребенокъ, карабкается, цѣпляется рученками, припадаетъ ртомъ къ очоченѣвшимъ сосцамъ, сосетъ ихъ, а молока нѣтъ — какое тамъ молоко! — и ребенокъ съ отчаянья закидывается назадъ головенкой, плачетъ, ничего не понимая... И тутъ же, тоже ничего не понимая, на столъ взобрался пѣтухъ — балованный пѣтухъ, кормили его изъ руръ — вскочилъ въ домикъ черезъ открытое окно, взобрался на столъ и оретъ во все горло: „кикареку!“

Да, переполнена чаша — черезъ края льется...

Амвросій все ходитъ по кельѣ, все поглядываетъ на Петра Могилу да на ликъ Спасителя.

— А что у васъ въ университетѣ, отецъ протоіерей? — спрашиваетъ онъ, какъ бы думая о чемъ-то другомъ.

— Мерзость запустѣнія, владыко... И тамъ смерть царствуетъ — въ царствѣ науки.

— Нѣтъ лекцій?

— Нѣту, владыко. И кураторъ бѣгу яся... Одни студенты— о! Богомъ благословенная младость!

— Что, отецъ протоіерей?— и глаза Амвросія блеснули отблескомъ молодости— вспомнилась академія, лавра, Днѣпръ, вечернія пѣсни „улицы“, откуда-то доносившіяся до лавры... И этотъ дорогой, не умирающій голосъ за лаврскою оградю:

На що мени худибонька —  
Буде зъ мене трошки:  
Дадуть мени сажень земли  
Та чотыри дошки.  
Священники, діаконы  
Повелять звонити —  
Тоди обь насъ переставуть  
Люди говорити ..

Перестали говорить — да, правда... Люди не говорятъ, такъ память горькая говорить не переставала...

Амвросій опомнился.

— Что молодость, отецъ протоіерей?

— Да я, владыко, говорю о нашихъ студентахъ... Теперь вотъ университетъ закрытъ, начальство разбѣжалось, а они сойдутся-сойдутся утромъ на дворѣ — толкують тамъ себѣ, галдятъ; обь его превосходительствѣ Петръ Дмитріевичъ Еропкинѣ съ похвалою отзываются да о штабь-лѣкарѣ Граве... Да и то сказать, ваше преосвященство, чего требовать отъ графа— ветхъ онъ вельми, батюшка, въ гробу обьими подагрическими ногами стоить... Такъ вотъ эта молодежь, говорю; погалдятъ - погалдятъ на дворѣ, а смотришь — и пошли по городу отыскивать больныхъ да голодныхъ, да ухаживаютъ за ними, пекутся о нихъ истинно съ христіанскою любовію... Да ко миѣ и бѣгутъ —веселые такіе иногда: „отецъ катехизаторъ! говорятъ: поставьте такому-то ортіме на экзаменѣ — онъ-де пятерыхъ у смерти отнял.“ Ну, и на сердцѣ легче станеть, взираючи на нихъ...

Опять стучать сапожици по передней кельѣ, опять входитъ запорожець-служка.

— Ты что, хлопче?

— Отецъ протоіерей принхали.

— Какой протоіерей?

— Не выговорю, владыко.

— Изъ Архангельскаго собора?

— Не скажу...

— Такъ какой же?—И Амвросій, и отецъ катехизаторъ не могутъ удержаться отъ улыбки.— А? какой?

— Русявенькій такой...

— А!.. протоіерей Левшиновъ... проси...

Запорожець снова загромыхалъ чоботицами, — Входитъ протоіерей



Успенскаго собора и святѣйшаго правительствующаго синода конторы членъ, отецъ Александръ, по фамиліи Левшиновъ. Невысокая фигурка отдастъ ловкостью, юркостью. Сѣрые глазки очень умны, очень кротки, когда смотрятъ въ другіе глаза, и немножко лукавы, когда смотрятъ кому въ спину или читаютъ евангеліе о мытарѣ...

— Всѣ мои распоряженія, отецъ протоіерей, исполнены по конторѣ святѣйшаго синода?—спрашиваетъ Амвросій, благословляя гладко причесанную головку протоіерея.—Я ждалъ репорта.

— Исполнены, ваше преосвященство.

— А „наставленія“ мои къ пользѣ послужили?

— Къ пользѣ, владыко, несумнительно (глаза протоіерея куда-то убѣжали,—должно быть къ Петру Могилѣ на портретъ)... Только не всѣ тотъ бисеръ цѣнять по цѣнѣ его...

— Да?.. кто же?

— Свиніи, владыко, попираютъ бисеръ...

— Какъ же такъ, отецъ протоіерей?—съ удивленіемъ спросилъ архіепископъ.

— Молва въ народѣ бываетъ, — сказалъ протоіерей какъ-то загадочно. — Читаютъ наставленія у церкви, а невѣгласи, подлая чернь, толкуютъ: „попамъ-де не велятъ причащать насъ Святыми Дарами“, „не велятъ-де младенцевъ крестить попамъ“, „вмѣсто-де поповъ повитухи крестятъ и погружаютъ въ святую воду, а власовъ-де совсѣмъ не остригаютъ и миромъ не мажутъ“...

Слушая отца Левшинова, Амвросій глубоко задумался... Онъ дѣйствительно, сдѣлалъ это спасительное распоряженіе, ожидалъ отъ него пользы, спасенія всего молодого поколѣнія да и духовенства отъ заразы... И что же изъ этого вышло!—Ропотъ въ народѣ—младенцевъ-де перестали крестить, къ язычеству возвращаются... О! какое страшное зло—невѣдѣніе народа!—горько думалось опечаленному архіепископу.

Въ самомъ дѣлѣ, спасительное „наставленіе“ Амвросія, „данное священникамъ, какимъ образомъ около зараженныхъ, больныхъ и умершихъ поступать“, и вывѣшенное при входахъ церковныхъ, породило въ народѣ нелѣпыя толки и послужило завязкой къ страшной кровавой драмѣ, которой никто не могъ предвидѣть—никто, кромѣ развѣ протоіерея Левшинова, который такъ хорошо зналъ старую Москву, Москву купеческую, сидѣльческую и народную, зналъ всю изнанку этой старой московской души, какъ только могла знать грудь да подоплека... Не трагайте Охотнаго ряда — это гнѣздилище духовной чумы русскаго народа, которая разнесена по всѣмъ концамъ Россіи, брошена въ народъ, въ купечество, въ чиновничество, въ дворянство, даже въ типографскія чернила...

— Эй, паря! что тамotka вычитываютъ? Али про морь?

— Нѣту, про поповъ—архиреевъ...

— Ой! что такъ!

— Дѣтей, слышь, чтоба напредки не кстили...

— Что ты! видано ли!

— Повитухъ, чу, понами дѣлають...

— Да что-жь, братцы! конецъ свѣту-переставленья, что ли! Тутъ морь—а тутъ на поди!

— Да ты не ори! Гашникъ лопнеть...

— Да я не ору! дьяволь!

— Лапти въ ротъ суешь... А ты слухай! Эй, Микиташка братенекъ! катай сызначала, вычигывай все дочиста, до нутровъ... Ну! Ежели-де случится—звони по-верхамъ! луни, чтобы всѣмъ, слышно было...

И Микиташка, приподнявшись на цыпочки на церковномъ крыльцѣ и вода закорузымъ пальцемъ съ навозомъ подь ногтемъ по строкамъ, „звонить по-верхамъ“, „лунить“—читаетъ „наставленіе“ Амвросіево:

— „Ежели случится быть въ опасномъ домѣ больной и будетъ требовать для исповѣди отца духовнаго, то онаго и живущихъ съ нимъ людей исповѣдовать съ такою предосторожностію, чтобы не только до больного, но и до платья и прочаго при немъ находящагося не прикасаться, а ежели крайне будетъ опасно для священника, то оному еквозь двери или чрезъ окошко больного исповѣдовать, стоя одалъ, а причащать Святыми Дарами таковыхъ сумнительныхъ и опасныхъ людей, убѣгая прикосновенія, чтобы не заразить себя, удержаться“...

— Удержатца!... Слышь ты—не причащать-де!

— Что ты! али и впрямь, паря?

— Вѣрно, бумага не вретъ, напечатано...

— А исповѣдовать, слышь, черезъ окно али бо черезъ дверь...

— Да это конецъ свѣта, робятушки!

— Охъ, горюпко наше, матыньки! И на духу-то не быть передъ свѣта-переставленьемъ...

Бабы въ голосъ воють... Парни въ волосы другъ другу вѣцпились изъ-за диспута о томъ, какъ исповѣдовать велеть—въ дверь или черезъ окно... „Въ дверь!“ „Въ окно!“ „Врешь!“ Баць! трахъ-тарарахъ—и пошелъ ученый диспутъ на волосахъ...

— А ты инъ вычигывай, Микиташа, о повитухахъ-то что пишутъ...

— Читай, отецъ родной... А вы, бабы, ближе—туть про васъ писано...

— Охъ, матушки! умру со страху, коли обо мнѣ... Ой-ой!

— А ты не вой, тетка, загодя... Сади далѣй, Микиташа!

И Микиташа садитъ далѣе, ковыряя бумагу навознымъ когтемъ:— „Ежели случится въ опасномъ домѣ новорожденный быть младенецъ, онаго велѣтъ повивальницѣ изъ опасной горницы вынести въ другую и при крещеніи велѣтъ оной же погруженіе учинить, а самому священнику, проговоря форму крещенія, окончить по требнику положенное чинопослѣдованіе; остриженіемъ же власовъ и святымъ миропомазаніемъ, за явную опасностію, удержаться“...

— Слышь ты! опять, чу, „удержатца!“... не кети робять!

— Повитуха, чу, окунаеть въ купель... Слышь, тетка?

— Охъ, батюшки! какъ же это!

— А влася — ни-ни! — не замай робенка, не стриги, и миромъ не мажь, — пояснитъ толкователь изъ раскольниковъ. — Сущіе языцы! Ишь до чего дожили православные! А кто виной!

— Кто, батюшка?

— Лжеархирей еретикъ — новый Никонишка...

— А ты чти, Микита, чти до конца, на-нѣтъ!

— „Ежели случится въ такомъ опасномъ или сумнительномъ же домѣ мертвое тѣло, то надъ онымъ, не отпѣвая...“

— Кормилицы, не отпѣвать! касатики!

— Цыцъ! не вой! — Баба умолкаетъ...

— „... не отпѣвай и не внося въ церковь...“

— „Охъ, смерть моя!“ — „Не вой, сказано тебѣ! ушибу!“ — Баба молча хлюпаешь ..

— „... и не внося въ церковь, — продолжаетъ Микита, — велѣтъ отвезти для погребенія въ опредѣленное мѣсто того-жъ самаго дня...“

— Ни отпѣвать, чу, ни въ церковь не вносить — слышишь!

— Да что-жъ мы — собаки что ли, что насъ и въ церковь не пущать, братцы?

— Али церковь — кабакъ? Вонъ и кабаки запечатали, и бани запечатывали, а теперь — на! — ужъ и храмы Божьи печатают! — Да что-жъ это будетъ, православные?

— Али впрямъ они шутятъ! Али на нихъ и суда нѣту!

Обезумѣвшій, растерявшійся народъ начинаетъ обозлѣваться, поголовно, стихійно — на кого, на что, за что — онъ еще самъ не знаетъ, не разглядѣлъ, на кого бы ему накинуться.

Гдѣ-то слышится барабанный бой — глухо такъ стучитъ барабанъ, зловѣще... Это не маршъ — это что-то худшее...

— Чу, братцы! барабанъ!

— Али набать? Гдѣ-жъ пожаръ, православные!

— Али сполохъ? Что-жъ не звонятъ! Братцы! ва колокольню!

— Стой! надуть узнать — какой сполохъ...

Толпа отхлывиваетъ къ церкви... Вонъ ѣдетъ мортусъ съ возомъ труповъ — толпа ужъ и не глядитъ на него — приглядѣлась — она ужъ начинать жадать крови живыхъ людей...

А барабанъ все ближе къ церкви, къ толпѣ... Видѣется конный — машетъ бѣлымъ платкомъ, вздѣтымъ на обнаженную саблю...

Толпа обступаетъ офицера и барабанщика. Офицеръ дѣлаетъ знакъ — барабанъ умолкаетъ. Толпа ждетъ; это уже не прежняя овцеводная толпа... У этой толпы злые глаза...

— Долой шапки! — кричитъ офицеръ.

— Что шапки! Намъ на жарко-ста! — не вилл...

— Долой, мерзавцы! Царскій указъ читать буду...

— Указъ! указъ!.. Долой, братцы, шапки!

Шапки снимаются.

Офицеръ развернулъ бумагу и сталъ читать громко, медленно:

„Указъ ея императорскаго величества, самодержицы всероссійской, изъ правительствующаго сената, объявляется всѣмъ въ Москвѣ жительствоующимъ. Извѣстно ея императорскому величеству стало, что нѣкоторые обыватели въ Москвѣ, избѣгая докторскихъ осмотровъ, не только утаиваютъ больныхъ въ своихъ жительствовахъ, но и умершихъ потомъ выкидываютъ въ публичныя мѣста. А понеже такое злостное неповиновеніе навлекаетъ на все общество наибѣдственнѣйшія опасности: того для ея императорское величество повелѣваетъ отчески, по имянному своему указу, строжайшимъ образомъ обнаружить во всемъ городѣ, чтобъ отнынѣ никто больше не дерзалъ на такое злостное и вредное ея императорскаго величества законъ и уставленій похищеніе. А естли, не взирая на сіе строгое подтвержденіе, кто въ такомъ преступленіи будетъ открытъ и изобличенъ, или же хотя и въ свѣдѣніи объ ономъ будетъ доказанъ, таковой безъ всякаго монаршаго ея императорскаго величества милосердія отдастся вѣчно въ каторжную работу“.

Толпа какъ-то разомъ вздохнула—широко, глубоко, всюю наболѣвшею грудью, какъ-то всенародно вздохнула...

— Мертвыхъ, чу, утайкомъ держуть! Кто ихъ держать!.. Вонъ мертвый крыжомъ лежитъ—суди его!—Вонъ его судья!..

И сотни рукъ указали на приближавшую фуру съ мертвецами и на багоръ мортуса, который зацѣплялъ этого лежавшаго крыжомъ... Мертвый корчился на багрѣ — онъ былъ еще живъ... Корчится словно рыба на удочкѣ...

Офицеръ молча поворотилъ коня.

## II.

### „Богородицу грабятъ!“

Какъ ни ужасна была картина, которую представляла чумная Москва въ теченіе послѣднихъ двухъ моровыхъ мѣсяцевъ—августа и начала сентября, но никогда еще не глядѣла она такъ зловѣще, никогда еще лица наполовину прибранной смертью, но все еще кишма-кишѣвшей по улицамъ и площадямъ толпы, у которой, казалось, совсѣмъ лопнуло терпѣніе, одеревянѣло съ отчаянья сердце, помутился отъ горя и страха рассудокъ, раззудѣлась на какого-то невидимаго врага изнывшая, изболѣвшая душа и руки,—никогда лица эти, похудѣлыя, осунувшіяся, словно обросшія чѣмъ-то мрачнымъ, не носили еще на себѣ печати той страшной рѣшимости и что-то еще небывалое и ужасное, съ какою лица эти, 15 сентября 1771 года, прислушивались къ какому-то глухому, какъ волны рокочущему говору и гаму, стовомъ-стовавшему надъ всюю, запруженною народомъ, площадью у Варварскихъ воротъ. Это море какое-то колыхалось и бурлило, и все

больше и больше прибывали его волны, все выше и выше поднимало бурный приливъ...

На ногахъ вся уцѣлѣвшая отъ мора Москва—много еще уцѣлѣло, хоть и много померло... Москву не скоро всю передушишь... Вонъ она вся высыпала... Да и какъ ей не высыпать! Церкви пусты, дома пусты — одни развѣ умирающіе да мертвые въ нихъ валяются; всѣ лавки, амбары, погребя, кабаки, трактиры, бани, присутственные мѣста, рынки — заперты; всѣ дѣла остановились, торги стали—вся машина развалилась...

Тутъ и фабричныя, и мастеровыя, и дворовыя—господа раньше разбѣжались по деревнямъ,—и солдаты, и разночинцы, и приказные изъ запертыхъ присутственныхъ мѣсть, и купцы, и мѣщане, и сидѣльцы, гуляющіе и не гуляющіе попы и дьячки, чернецы и черный народъ... А бабы, а дѣти!..

Всѣ валять къ Варварскимъ воротамъ. Надъ воротами тускло поблескиваетъ старая-престарая икона Боголюбской Богородицы. Къ воротамъ, подъ самую икону подставлена пожарная лѣстница. На лѣстницу взбирается народъ съ зажженными свѣчами и лѣзутъ эти свѣчи къ иконѣ... Цѣлый лѣсъ свѣчей налѣзленъ; некуда больше лѣзти, такъ лѣзять къ карнизамъ, къ стѣнѣ, къ кирпичамъ...

А подъ лѣстницей, на опрокинутомъ ларѣ, поднявъ руки кверху, кто-то громко причитаетъ:

— Порадѣйте, православныя, Богородицѣ на всемірную свѣчу! Порадѣйте! Каменный дождь на Москву идетъ! Огненная рѣка течи будетъ! Порадѣйте, порадѣйте на всемірную свѣчу! Порадѣйте, православныя!

А тутъ же у ларя—неутомимый „гуляющій попикъ“, котораго и чума не брала, рассказываетъ православнымъ о „чудѣ“.

— Слушайте, православныя!—Чудо бысть нѣкое, знаменіе преужасное. Въ сію ночь рабу Божию Ильѣ (и попикъ указалъ рукою на того, который сидѣлъ на ларѣ и кричалъ „порадѣйте!“) въ тонцѣ снѣ явился Боголюбская Богородица — вотъ эта самая Матушка (и попикъ показалъ на верхъ воротъ, на икону, облѣвленную свѣчами);—явилась и глаголетъ: приходилъ-де ко мнѣ Сынъ мой, Господь Иисусъ Христокъ, и повѣдалъ мнѣ, яко матери Своей, тако: поелику-де Тебѣ, Боголюбская Богоматерь, вотъ уже тридцать лѣтъ никто въ Москвѣ ни молебна не шѣлъ, ни свѣчи не поставилъ, то за сіе-де пошлю Я на Москву каменный дождь. И Матушка Богородица, жалѣючи насъ православныхъ, умолила Сына Своего, Христа и Бога нашего, не посылать на Москву каменный дождь, а нагнать на насъ трехмѣсячный моръ... Вотъ, православныя, сія просьба Богородицы и исполняется — великій моръ посѣтилъ Москву... Помолимся же, православныя. Владычпцѣ нашей Богородицѣ Боголюбской — пуцай Она, Матушка, замолить за насъ у Сына Своего Христа и Бога нашего! Порадѣйте Ей, Матушкѣ, на всемірную свѣчу!

— Порадѣйте, православныя! — зываетъ тутъ же стоящій огромный солдатина съ сѣдою головою и длинною сѣдою косою,—Порадѣйте! Мнѣ

нонѣ и попѣ въ церкви Всѣхъ-Святыхъ - на - Куличкахъ \*) сказывалъ про это чудо... Порадѣйте, православные!

— Порадѣйте!—подхватываютъ сотни голосовъ:—не дайте вѣзмъ помереть лютою смертію!

Народъ неудержимо претъ къ воротамъ, къ лѣстницѣ, цѣпляется за нее, карабкается вверхъ. Иные обрываются и падаютъ. Тотъ охаетъ отъ паденія, иной оретъ благимъ матомъ, потому что у него волосы вспыхнули отъ упавшей съ карниза свѣчи — голова горитъ, борода вспыхиваетъ, рубаха загорается. Другой стонетъ отъ боли—больной, чумный притащился къ воротамъ, чая спасенья отъ чудотворной иконы... Адъ сущій кругомъ!

Попы, побросавшіе вѣ сорокъ-сороковъ московскихъ церквей, забывшіе о своихъ требохъ, покинувшіе свои приходы,—тоже высыпали на это страшное всемоленіе—разставили вездѣ свои аналои, позажгли свѣчи, напустили облака ладону, такъ что солнце помрачили,—и всенародно молятся, оглашаютъ воздухъ невообразимою, но ужасомъ за душу хватающею разногласицею!..

— Порадѣйте, православные, на всемірную свѣчу! — стонутъ тысячи голосовъ во вѣхъ концахъ.

— О всякой души христіанстѣй, скорбящей же и озлобленнѣй, милости Божіи и помощи требующей!.. о исцѣленіи въ немощахъ лежащихъ!— взываетъ надъ аналоемъ усталый голосъ соборнаго дьякона, который прежде никогда не уставалъ.

А тутъ священникъ, у котораго вымерла вся семья—дѣти, жена, родные—рветъ на себѣ волосы у другого аналоя и вопиетъ въ истошный голосъ:

— Проклятъ буди день, въ онъ же родихся азъ, проклятый, ночь, въ нуже породилъ мя мати моя! Проклятъ буди мужъ, иже возвѣсти отцу моему, рекій: родися тебѣ отрокъ мужескъ, и яко радостію возвѣсти сего. Да будетъ челоувѣкъ той, яко же гради, яже преврати Господь яростію Своею, да слышитъ вопль заутра и рыданіе во время полуденное—яко не уби мене въ ложеснахъ матере моея—и бысть бы ми мати моя--гробъ мой! о!

— Батюшка! подь домой, кормилецъ!—тащитъ за рукавъ этого безумца какая-то старуха; но безумецъ неидетъ — проклинаетъ и себя, и день своего рожденія, и ночь своего зачатія...

— Порадѣйте, порадыте на всемірную свѣчу, православные! — стонетъ площадь, стонетъ вся Москва.

Да такъ съ ума сойдти можно! И Москва сошла съ ума...

Вонъ тащутъ чумнаго къ воротамъ, встаскиваютъ по лѣстницѣ къ иконѣ, „чтобъ приложился, касатикъ“, а у касатика голова съ плечъ валится...

Ерошкинъ, узнавъ объ этомъ обезумленіи всей Москвы, поскакалъ было съ веселымъ докторомъ и съ оберъ-полиціймейстеромъ къ Варварскимъ во-

---

\*) Историческій фактъ (см. Описаніе моровой язвы въ Москвѣ 1770—1772 г., изд. по высочайшему повелѣнію въ 1775 г.).

ротамъ; но скоро увидѣлъ, что море вышло изъ береговъ и не остановитъ ему этого моря своими силами—нечеловѣческія тутъ нужны силы...

И онъ велѣлъ везти себя въ Чудовъ монастырь, къ Амвросію. Онъ чувствовалъ, что у него не только руки и ноги холодбютъ, но въ сердцѣ холодъ, въ душѣ холодъ и страхъ...

— Пойдите... пойдите, пане! — удерживалъ его въ передней кельѣ монастыря запорожець-слугка.

— Чего тебѣ надо!—удивлялся Еропкинь, отстраняя рукою плечистаго запорожца.

— Вони, пане, молються... вони плачуть...

Дѣйствительно, когда Еропкинь вошелъ въ келью Амвросія, архіепископъ стоялъ на колѣняхъ передъ ликомъ Спасителя и плакалъ.

— Простите, ваше пресвященство!

Амвросій всталъ съ колѣнъ и обратился къ Еропкину свое заплаканное лицо. Судя по глазамъ, Еропкинь понялъ, что архіепископъ много и горько плакалъ... Ему чего-то страшно стало.

— Простите... У Варварскихъ воротъ...

— Знаю, знаю, ваше превосходительство, — подавленнымъ голосомъ перебилъ его Амвросій. — Мракъ и страхъ распудиша овцы моя... А я, пастырь, не соберу ихъ!

И архіепископъ, упавъ головой на столъ, снова заплакалъ... Никогда не видалъ Еропкинь, какъ плачуть, особенно такими горькими слезами, архіерей, — и стоялъ въ изумленіи... Наконецъ, Амвросій приподнялъ отъ стола свое блѣдное лицо и широко перекрестился, обратясь къ образу Спасителя.

— За нихъ я плачу—за овецъ моихъ!—сказалъ онъ. — Это—панургово стадо.

— Чье стадо, ваше преосвященство?—спросилъ Еропкинь.

— Панургово, ваше превосходительство, которое, восплѣдъ единой овцѣ, бросается въ море и погибаетъ въ немъ... Но что намъ дѣлать?

— Я именно за симъ и пріѣхалъ къ вашему преосвященству... Тутъ является обстоятельство, касающееся не одного города, но и церкви...

— Вижу, вижу,—говорилъ Амвросій задумчиво:—мнѣ, пастырю, приходится надѣть тогу трибуна.

— Да, ваше преосвященство, власть трибуна выскользнула изъ моихъ рукъ...

— Да... да... Тутъ икона — тутъ сама Богородица, Ей же народы и власти и царіе вассальныи поклоняются съ трепетомъ... Она старше всѣхъ—старше ея ужъ никого нѣтъ на землѣ...

— Истину изволите говорить, владыко: точно—Богородица старше самой государыни, ея императорскаго величества.

— Старше, старше... Тутъ и государыня ничего не можетъ...

— Не можетъ!—Еропкинь развелъ руками.

— Тутъ власть должна быть не отъ міра сего, да, да, не отъ міра,—

обдумываль архієпископъ страшную дилемму, которую задалъ ему народъ.—  
А мы всё отъ міра...

— Да, ваше преосвященство, вотъ задача!—разводилъ руками начальникъ Москвы.—Я—лицо государыни здѣсь, я глава Москвы, а тамъ я безсиленъе всякаго послѣдняго нищаго, юрודиваго... Тамъ я не смѣю приказывать именовѣ всемилостивѣйшей государыни моей: тамъ миѣ могутъ сказать—„твоя-де государыня нашей Богородицѣ не указъ!“

— Не указъ, точно не указъ...

Амвросій всталъ и въ волненіи подошелъ сначала къ портрету Петра Могилы, потомъ къ кіотѣ—какъ-то машинально... Изъ кіоты смотрѣлъ на него все тотъ же кроткій ликъ и, казалось, смотрѣлъ такъ грустно-грустно...

— Вотъ кто одинъ выше Богородицы: вотъ Онь! Еесе homo!—съ какой-то страстностью и тоскою сказалъ взволнованный архієпископъ.

Еропкииъ оглянулся. Его поразило лицо Амвросія, который стоялъ, съ мольбою протянувъ руки къ Спасителю.

— Се Онь... Се человѣкъ... Еесе homo!

— Да, ваше преосвященство, — тихо произнесъ Еропкииъ. — Но Его нѣтъ съ нами...

— Нѣтъ—Онь здѣсь! Онь съ нами! Я въ себѣ Его чувствую...

— Но какъ намъ успокоить Москву?

— Надо взять оттуда Богородицу...

— Помилуйте, ваше преосвященство! Этого сдѣлать нельзя!

— Для чего нельзя?

— Народъ не дастъ Ея... Онь взбунтуется... онъ Москву разнесетъ по клочкамъ...

— Не разнесетъ... Онь покорно пойдетъ за Богородицей... самъ повесетъ Ее... будетъ падать ницъ передъ Нею, только бы по немъ прошли ноги тѣхъ, кои удостоятся нести святыи ликъ...

— Но куда же Ее, гладыко, увесемъ мы, гдѣ спрячемъ?

— Не спрячемъ—зачѣмъ прятать! Мы поставимъ ее въ новопостроенной богатой церкви Киръ Іоанна...

— Нѣтъ, ваше преосвященство, я боюсь этого... Ее теперь нельзя трогать. А одно развѣ я могу посоветовать: взять оттуда и перенести въ безопасное мѣсто казну Богородицы, чтобъ оную не расхитили...

— Это скривю желѣзную?

— Да, тамъ огромный сундукъ—желѣзный ларь вмѣсто кружки, съ отверстіемъ сверху для денегъ... Говорять, ларь ужъ половъ...

— А если народъ скажетъ, что Богородицу грабятъ? — въ раздумьѣ спросилъ Амвросій...

— Не скажетъ, ваше преосвященство: я вмѣстѣ съ вашими консисторскими чинами пошлю для взятія ларя и своихъ солдатъ...

— О-о-охо-хо! что-то изъ сего произойдетъ?—нерѣшительно сказалъ Амвросій и снова подошелъ къ кіотѣ, какъ бы въ ликѣ Спасителя ища вдохновенія и поддержки...



Да, ему нужна была эта божественная поддержка... Почему-то въ эти дни образъ мучимаго Христа не отходилъ отъ него ни днемъ, ни ночью. и почему-то въ эти самые дни такъ назойливо врывались въ его душу воспоминанія дѣтства, молодости, студенческіе годы въ Кіевѣ, пещерская лавра и тотъ тихій вечеръ, когда, передъ посвященіемъ своимъ, передъ отреченіемъ отъ міра, наканунѣ постриженія своего въ монахи, онъ въ послѣдній разъ слушалъ тоскливую пѣсню дѣвушки, которую онъ... которая не могла быть... его женою, подругою... которая, однимъ словомъ, была:

Священники, діаконы  
Повелѣть звонити—  
Тоди объ насъ перестануть  
Люди говорити...

— Ну, дѣлайте, какъ знаете, а я распоряжусь по консисторіи,—сказалъ онъ, наконецъ, силясь отогнать отъ себя рой тяжелыхъ и дорогихъ воспоминаній...

Еропкивъ уѣхалъ. Амвросій остался одинъ съ своими думами.

А бѣсноватая Москва вплоть до ночи продолжала корчиться и тысячекрестой кликушей выкликать: „порадѣйте, порадѣйте, православные, Богородицѣ на всемірную свѣчу!“

Наступалъ вечеръ. Народъ все не расходился—бѣсноватая Москва, по видимому, собиралась ночь провести у Богородицы. Литіи, моленія, возглашенія, крики не переставали оглашать воздухъ, только голоса стали хриповатѣе и еще страшнѣе...

— Порадѣйте, православные, Богородицѣ, порадѣйте!

— Услыши ны, Боже, Спасителю нашъ, упованіе всѣхъ концовъ земли и сущихъ въ моря далече!..

— Проклятъ буди день!.. проклята буди ночь... проклята буди мать моя!..

Изъ-за этихъ криковъ раздаются то и дѣло стоны другого рода—еще ужаснѣе... Пѣтъ-нѣтъ да и волокутъ изъ толпы умирающаго въ корчахъ старика, молодого дѣтину или рожающую въ мукахъ бабу, или выволокутъ трупъ уже посинѣлый—и къ нему съ погребецкой фуры протягивается крючковатый багоръ мортуса, и тутъ же въ виду другихъ смертей, на глазахъ у обезумѣвшей толпы, вскидываетъ его на свою смертную колесницу...

Но вотъ сквозь толпу протискивается команда солдатъ—куда!—это капля падаетъ въ море и исчезаетъ... Съ солдатами и консисторскіе чины, канцеляристы, подъячіе. Незамѣтно дотискиваются они до самыхъ воротъ, до лѣстницы, подставленной къ иконѣ, къ ларю, на которомъ продолжаетъ сидѣть все тотъ же чудовищъ Илья фабричный и кричать въ истошный, но уже осипшій голосъ: „Порадѣйте, православные!..“ Онъ весь день тутъ сидѣлъ и кричалъ—ему ѣсть сюда приносили, но онъ и отъ пищи отказался, а все кричалъ...

Дотискивается команда съ чинами и до Ильи, и до ларя. Чинъ держитъ въ рукахъ бумагу и консисторскую печать, съ кускомъ воску для

печатанья... Протягиваетъ чинъ руку къ ларю, къ казнь Богородицы, печатать хочеть... Дрожма дрожитъ рука у чина — не отъ пьянства, а отъ страха... Дотрогивается до лари, до замка...

— Богородицу грабятъ, православные! — раздастся вдругъ страшный, нечеловѣчскій голосъ.

Это Илья кричитъ, чудовище... Страшно вздрогнула толпа, зашаталась лѣстница... „Охъ, ворота падаютъ! Богородица падаетъ!..“

— Богородицу грабятъ!—подхватываетъ толпа. — Батюшки, грабятъ!

— Православные! братцы! не давай Богородицу!

— Не давай въ обиду Матушку!

— Сюда, кто въ Бога вѣруеть! Богородицу грабятъ!—Звони сполохъ! Вей набать! Эй, православные, не выдайте, голубчики!

Какъ изъ земли, вырастають кузнецы съ желѣзными клещами, ломами, рогатинами — кузницы тутъ недалеко... „Вей ихъ! вяжи! Не давай Богородицу!..“

— Звони во всё! звони сполохъ!

Команда смята, раздавлена, перетерта ногами—куски солдатекаго и подъяческаго тѣла разнесены на сапогахъ, на лаптяхъ и на олучахъ.

Кровь пролита—первая кровь! Бѣсноватая Москва понюхала крови, и теперь нѣтъ ей удержу...

Безтолково, испуганно, но какъ-то страшно, набатно заколотили колокола у церкви Всѣхъ-Святыхъ-на-Куличкахъ. Звонящiе рвутъ за всё веревки, дергаютъ туда и сюда, обрываютъ ихъ, цѣпляются руками за колокольные языки—и бьютъ въ края колоколовъ. Имъ отвѣчаютъ такимъ же набатомъ у Спасекихъ воротъ... Отвѣчаютъ еще и еще, во всѣхъ концахъ города...

Наконецъ, заговорила Москва—запѣли всё сорокъ-сороковъ московскій народный гимнь. Испуганная, уже было уснувшая на ночь птица снялась съ мѣсть, повывлетала изъ гнѣздъ—и безумно, тучами, носится и каркаетъ надъ Москвою. Завыли перепуганныя собаки—завыла вся Москва:

— Богородицу грабятъ! Боголюбскую Богородицу грабятъ!

А колокола-то заливаются, стонуть, захлебываются во всё сорокъ-сороковъ! Это рычить невиданное и неслыханное чудовище, главная пасть котораго въ Кремль, на Иванъ Великомъ, а сорокъ-сороковъ другихъ пастей ревутъ ревма, бѣшено-радостно ревутъ во всѣхъ концахъ города, отъ центра до окраины, до Камеръ-Коллежскаго вала, до заставъ, до кладбищъ, по всѣмъ городскимъ и загороднымъ монастырямъ... Какъ не упадутся церкви, стѣны Кремля и башни отъ этого звона, такого звона и гласа металлическаго, котораго и Иерихонъ, падая върахъ, не слыхалъ!

Кто еще оставался по домамъ—и тѣ бѣгутъ на набатный звонъ. Въ рукахъ топоры, вилы, багры, дубье, запоры отъ воротъ, желѣзные болты отъ ставень.

Ночь опустилась на Москву. Тьма кромѣшная. А Москва мечется, ищетъ

еще кого-то: той крови мало; та вся осталась на лантяхъ да на опучахъ.— и не пошло. Надо новой крови.

— Богородицу грабить!—не умоляютъ возгласы.

— Въ Кремль, православные! Грабителей высекать!

— Въ Чудовъ, братцы! По архирея! Онъ грабитель—онъ Богородицу вельшь грабить! По архирея!—кричитъ Савелій Бяковъ, солдатина саженый съ сѣдоу, какъ у бабы, косою.

— Въ Чудовъ! въ Чудовъ! по грабителя Матушкина!

Толпы повалили въ Кремль, къ Чудову... „Долой шапки!“—это въ Спасскихъ воротахъ. Впереди всѣхъ саженный солдатина Бяковъ съ сѣдоу косою. На плечѣ у него цѣлая рогатка отъ плащъ-парада. Лица у толпы безумныя, еще страшнѣе, чѣмъ были... Бѣгутъ, спотыкаются, падаютъ...

Тутъ же и собаченка—знакомая, маленькая, кудластая—Маланья... Ты куда, несчастная! Да какъ же ей-то не бѣжать, коли вся Москва бѣжитъ. Вонъ и ея краснобровый пріятель тутъ же: тоже спѣшитъ Богородицу защищать—онъ тоже русскій человекъ, православный, ему также Богородицы жалко... онъ изъ усердія...

Налегли на Чудовъ, высадили желѣзные ворота и на себѣ ихъ, какъ щитъ, какъ трофей, внесли въ ограду.

Куда напирать теперь? Гдѣ искать?—„Вездѣ, братцы, шаръ! по всѣмъ закоулкамъ, по всѣмъ мышинымъ норкамъ—не уйдетъ!“

Высадили разомъ нѣсколько дверей и оконъ съ желѣзными рѣшетками. Все повалилось внутрь—и люди валятся другъ на дружку, встаютъ, а черезъ нихъ другіе шагаютъ, другъ по дружкѣ лѣзутъ...

Видѣлъ ли ты, читатель, какъ идетъ на хлѣба „пѣшная саранча“ или червякъ-гусеница на сады, въ нашихъ юго-восточныхъ окраинахъ, хоть бы по Дону и по Поволжью? Не видѣлъ?

„Пѣшная саранча“ не летитъ тучами, какъ крылатая, а идетъ тьмами по землѣ, подскакивая и производя страшный шумъ, словно шумъ моря или шумъ приближающейся бури съ градомъ. Также идетъ и червь-гусеница, только безшумно—онъ ползетъ по землѣ. Чтобы спасти хлѣба и сады отъ этого бича Божія, народъ окапываетъ нивы и сады канавами, раскладываетъ въ нихъ огонь и внутренніе края канавъ обставляетъ густо намазанными дегтемъ досками—это для червя... Но вотъ приближается страшная пѣхота—съ шумомъ или тихо, смотря по тому, какія арміи идутъ: саранча или червь. Первые легіоны безстрашно идутъ на приступъ—и тутъ же ложатся костями всѣ: погибаютъ во рву и огнѣ. За ними валютъ другіе легіоны—и эти погибаютъ. За этими третьи, четвертые, пятые—тоже гибнутъ. Но за ними еще тьмы-темь легіоновъ... Труны надшихъ героевъ брюха заполняютъ рвы, огонь все слабѣе и слабѣе дѣйствуетъ, не можетъ спалить кучи труповъ—и гаснетъ, наконецъ! По заполненнымъ рвамъ, по трупамъ своихъ братьевъ, словно солдаты, тьмы-темь саранчи и червя переходятъ на ту сторону—и горе всему растущему: земля превращается въ черную пустыню, покрытую испражнениями насѣкомыхъ, которыя

тутъ же, поѣвши, и погибають, закапывая въ землю свои яички—будущія молодыя поколѣнія саранчи и червя.

Вотъ такъ вошли въ Чудовъ и москвичи, ища грабителя Богородицы, обреченнаго на смерть Амвросія.

— По кельямъ, братцы, по вѣзмъ ищи! — гудятъ голоса, толкаясь лбами въ темнотѣ.

— Ищи, шарь по вѣзмъ норкамъ!—командуетъ сѣдая солдатская коса.

— Не видать ничего, братцы! Огня давай! Зажигай свѣчи! Ищи! Пору перерывай!

И пошли перерывать норы: опрокидываютъ и въ дребезги разбиваютъ столы, мебель, конторки, аналои... Нѣту грабителя!—Книги летятъ вмѣстѣ съ шкапами, книги рвутся, топчутся ногами, летятъ въ окна... „Катай все книжное! Катай еретическое!“—Нѣту грабителя!—Печи еще вездѣ дѣлы— „ломи, братцы, сади въ печи—може тамъ!“—И печи всѣ разбиты, развалены, растрошены, самыя кирпичи и изразцы перетираются въ порошокъ лаптами да сапогами... Въ крестовую ввалились: утварь церковная загремѣла, сосуды, кресты, евангелія, антиминсы—все на полу, по всему топчутся окровавленные онучи... „Еретичское все—топчи!“—Одинъ домъ со вѣьми кельями разнесли, другой разнесли—еще какой-то разносятъ... „Это казенна палата, братцы! Тамъ гербова бумага—съ орломъ—не трошь!“— „Катай и ее! Катай бумагу! По бумагѣ Богородицу грабили“. И катають казенную палату—разносятъ и ее, разносятъ на лаптахъ да въ корявыхъ лапшицахъ дѣла, книги, перья топчуть:—„ишь, дьяволы, пишуть ими приговоры!“—п топчуть, троцать все... „Рви орлину бумагу, гербову—рви ее! Богородицу грабять!“

Врываются въ келью Амвросія—нѣтъ его! Только ладономъ пахнетъ... На столѣ развернутая книга: *Pestis indica* такъ и чернѣется на заголовкѣ... Тутъ и крестъ, и евангеліе..

Раньше всѣхъ сюда ворвался нашъ знакомый краснобровый солдатъ съ своей собаченкой—и оба обомлѣли... У кіоты горятъ восковыя свѣчи, а изъ кіоты *кто-то* смотритъ, да такой добрый-добрый... Смотритъ прямо въ глаза солдату, кротко-кротко смотритъ—и у солдата сердце упало! Онъ смотритъ п... качаетъ головой!..

Окаменѣлъ солдатъ, дрожить; и собачка хвостъ поджала, жмется къ ногамъ солдата...

Топотъ ногъ, сапогъ, шмыганье лаптей, онучъ... Врываются...

— Стой!—кричитъ не своимъ голосомъ солдатъ краснобровый.

— Чего стой! Эко дьяволъ! Катай!

— Стой! говорятъ вамъ—стой! ни-ни! не трошь!—(Солдатъ дрожить).

— Что ты? али очумѣлъ!

— Нѣту, братцы .. Онъ... Онъ *смотритъ*... головой качаетъ,—говоритъ рыжій, протягивая трепстную руку къ кіотѣ. •

Толпа притаила дыханіе, онѣмѣла, слышенъ только ревъ извнѣ—это тамъ идетъ работа защитниковъ Богородицы... А эти онѣмѣли...

- Смотрить... Онъ смотреть...
- Глядить и впрямъ, братцы! Охъ! глядить...
- — Батюшка! это самъ Богъ глядить...
- Назадъ, братцы! назадъ! тутъ Богъ—глазами смотреть...
- Назадъ! назадъ, православные! Богъ тамъ!

Толпа съ ужасомъ отвалила отъ кроткаго лика Спасителя—и скоро забыла о немъ...

Одна часть толпы, опустошивъ кельи экономическія, консисторскія и монашескія, изъ которыхъ монахи успѣли бѣжать, не оставивъ доски на доскѣ въ нижнихъ кельяхъ архіерейскихъ, кромѣ той, гдѣ безумцевъ напугалъ кроткій ликъ Спасителя, ринулась въ верхнія кельи, гдѣ свѣтился огонекъ въ крайнемъ окошкѣ. Звѣри бросились на огонь, ворвались въ келью и—остановились въ нѣмомъ изумленіи: въ углу, у иконы Богородицы съ Предвѣчнымъ Младенцемъ на рукахъ теплилась лампада, а на полу кто-то лежалъ распростертый и молился...

Молящійся всталъ и оборотилъ лицо свое къ толпѣ, безмолвно остановившейся у дверей.

— Онь, братцы! нашли грабителя! нашли!—дико закричалъ стоявшій впереди всѣхъ гигантъ съ сѣдою косою.—Вотъ кто грабитъ Богородицу!

— Архирея нашли! Сюда, братцы! Сюда, православные!—подхватила толпа.

Да, это былъ онъ... Черные вьющіеся волосы, разсыпавшіеся по плечамъ, черная окладистая борода, смѣло вскинутыя надъ черными, мягкими глазами брови, южный орляный носъ...

Гигантъ съ косою выступилъ впередъ, держа въ рукахъ огромную рогатку.

— Говори, архирей, для чего ты велѣлъ ограбить Богородицу?—спросилъ онъ хрипло, угрожающе.

— Я не архіерей,—тихо отвѣчалъ тотъ.

— Какъ не архирей! Сказывай! Кайся!—и страшная рогатка поднялась надъ головою несчастнаго.

— Я не архіерей,—отвѣчалъ тотъ во второй разъ.

— А! онъ запираетца!.. Такъ молись же Богу! молись въ послѣдній разъ!.. Вотъ тебѣ за Богородицу!—и рогатина поднялась еще страшнѣе: вотъ-вотъ громомъ упадетъ на голову.—Молись! исповѣдывайся!

Тотъ увалъ на колѣни и беспомощно поднялъ руки къ небу...

— Господи! Ты видишь...

Вотъ-вотъ ринется на голову ужасная рогатка... Ручные мускулы гиганта напряглись, какъ стальные веревки...

— Господи! Ты вѣси...

— Капуть!.. Разъ... два...

— Стой! стой, разбойникъ! Что ты дѣлаешь?—неистово раздался крикъ въ толпѣ.

Руки гиганта дрогнули. Рогатина замерла въ воздухѣ. Изъ толпы выскочилъ Фролка-приказная строка.

— Что ты дѣлаешь, душегубъ?—хрипитъ Фролка.

— А тебѣ какое дѣло, приказная строка? Архирей учу, чтобъ не грабилъ Богородицу...

— Да это не архирей! Это братъ сго—Никонъ, архимандритъ Воскресенскій...

— Это Никонъ—точно Никонъ!—раздался голосъ въ толпѣ.

Гигантъ отступилъ въ смущеніи... „Промахнулись, братцы“, бормоталъ онъ... Никонъ съ тѣми же поднятыми къ потолку руками продолжалъ стоять на колѣняхъ и тоже бормоталъ что-то...

— Ваше высокопреподобіе! благословите меня! — подошелъ къ нему Фролка.

Несчастный архимандритъ безсвязно бормоталъ:—Ты вѣси, Господи... Я умираю... умру я...

Ой, умру, я умру, та ѿ буду дивиться,  
Ой, чи буде моя мати за мною журиться...  
Ой, умру я, умру...

Фролка взглянулъ въ глаза несчастнаго—и съ ужасомъ отступилъ: архимандритъ Никонъ пересталъ быть человѣкомъ—онъ потерялъ разутокъ навсегда... впрочемъ, не надолго: черезъ четырнадцать дней онъ умеръ...

### III.

#### Убіеніе Амвросія.

Гдѣ же былъ тотъ, котораго искала московская бѣсноватая чернь?

Когда раздался первый набатный сполохъ у церкви Всѣхъ-Святыхъ-на-Кулчичахъ, Амвросій вмѣстѣ съ пріѣхавшимъ къ нему въ тотъ вечеръ племянникомъ, Бантышъ-Каменскимъ, отцомъ извѣстнаго историка, просматривалъ то мѣсто Фукидида, гдѣ онъ описываетъ свирѣпствовавшую въ Атикѣ, во время персидскихъ войнъ, страшную моровую язву, занесенную въ Грецію съ Востока, и обратилъ вниманіе на то обстоятельство, что бичъ этотъ, повидимому, поражалъ преимущественно илотовъ и рабовъ...

— Такъ и у насъ,—замѣтилъ Бантышъ.

— Да... но илоты потомъ поразили метяковъ, метики дальше...

Въ это время набатъ раздался у Спасскихъ воротъ. Затѣмъ еще гдѣ-то, а тамъ еще—еще...

— Боже! что это значить!

— Пожаръ, должно быть, дядопка.

Подошли къ окнамъ; но зарева нигдѣ не видать—вездѣ мракъ. Послали служку къ Спасскимъ воротамъ узнать отъ звонаря...

А набатъ усиливается...

— Не доброе, не доброе что-то,—шепчетъ Амвросій, невольно бросая взоръ на ликъ Спасителя...—Илоты... илоты,—кажъ бы само шепчетъ сердце.

Вбѣгаетъ запорожець—служба—такой веселый, стучитъ чоботищами, и слышно было даже, какъ на дворѣ еще онъ что-то хохоталъ самъ съ собою... Стоитъ, прехитро улыбается...

— Ну, что тамъ?—безпокойно спрашиваетъ Амвросій.

Молчитъ запорожець, зажимаетъ носъ кулачищемъ, чтобы не фыркнуть.

— Да говори же, дурный! Что ты!—прикрикиваетъ на него Баятышъ, но и самъ улыбается.—Чего тебѣ весело?

— Та соромъ и сказати!

— Ну? да ну же, дуракъ!

— Ото-жь Москва!.. отъ дурный москаль, такой дурный, що Мати Божя!

— Да что же такое? говори, наконецъ.

— Отъ теперь тамъ, вона сказалась, Москва—каже, що Богородицю граблять...

И запорожець добродушно и укоризненно засмѣялся... Амвросій и Баятышъ переглянулись... Последнему показалось, что у архіепископа волосы на бровяхъ и на головѣ дыбомъ становились...

— Отъ дурни москали!.. Богородицю, бачъ, граблять... А хйба-жь И можно грабити, коли вона 'на неби!—мудрствовалъ запорожець.—Вона на неби—Богородицю не можно грабити...

А набать уже ревьѣлъ по всей Москвѣ... Нѣсколько сотъ квадратныхъ верстъ кругомъ залито было звономъ страшнаго сполоха—земля и весь Кремль и стѣны Чудова дрожали отъ ужасныхъ звуковыхъ волнъ...

Амвросій, казалось, раздумывалъ... Глаза его съ невыразимой мольбой упали на ликъ Спасителя, освѣщенный лампадою и большими восковыми свѣчами... „Садъ Геосиманскій... моленіе о чашѣ... Какой тогда у Него былъ ликъ?“—неволью вопрошалось гдѣ-то глубоко въ душѣ...

— Ты въ каретѣ пріѣхалъ?—быстро спросилъ Амвросій племянника.

— Въ каретѣ, дядюшка.

— Такъ я ѣду съ тобою...

— И я, владыко?—поторопился запорожець—служба...

Амвросій задумался было немного... „Да, да... и ты... теперь темно... ты—у тебя сердце лучше головы“,—торопливо сказалъ архіепископъ своему служкѣ.

А набать реветъ... Уже слышенъ издали рокоть голосовъ, но такой глухой, стонущій, какъ споръ моря съ вѣтромъ...

Амвросій надѣлъ клобукъ, взялъ въ руку посохъ и ужалъ передъ ликомъ Спасителя...

— Благослови странника, распяты за ны!—сказалъ онъ громко.—Камо иду—не вѣмъ—Ты единъ вѣси... А призовешъ къ Себѣ... иду... готовъ семь, готово сердце мое...

И онъ бодро вышелъ изъ кельи, громко стуча посохомъ, и неволью еще разъ оглянулся на Спасителя.

Карета стояла у крыльца. Амвросій, осѣнивъ ее п монастырь крестнымъ знаменіемъ, помѣстился внутри ея вмѣстѣ съ племянникомъ, а служкѣ

велѣлъ сѣсть рядомъ съ кучеромъ. Кучерь тронулъ. Когда карета выѣзжала изъ воротъ монастыря, архіепископу почему-то вспомнился тотъ моментъ изъ его дѣтства, когда мать, благословляя его передъ проводами въ бурсу, сказала: „не забудь, сынку, коли ѣ попомъ будешь, а може ѣ архиреемъ, якъ тебѣ мати провожала и головоньку тоби чесала...“ И почему это теперь именно вспомнилось, какъ мать курчавую его головку расчесывала?—А сколько прошло потомъ чрезъ эту голову думъ, сколько въ ней накопилось воспоминаній, которыхъ не вмѣстити въ себѣ никакимъ „пишемымъ книгамъ...“ И не легче отъ этого стало многодумной головѣ, не стало архіепископское сердце счастливѣе того, которое билось когда-то въ груди ребенка...

Карета проѣхала Спасскими воротами, а тамъ, на Красной площади, валили уже народныя волны съ ревомъ, заглушавшимъ набатный гулъ колоколовъ... Въ темнотѣ двигавшіяся нестройныя массы казались какимъ-то разорваннымъ на огромные куски тысяченогимъ и тысячеголовымъ чудовищемъ...

— Богородицу грабятъ! — выдѣлялись изъ этого рева страшныя слова, какъ выдѣляется изъ рева морской бури отчаянный выстрѣлъ потопяющаго корабля.

Амвросій невольно вздрогнулъ и прижался въ уголъ кареты.

— Боголюбскую Богородицу грабятъ! — ближе и явственнѣе зѣванула чья-то широкая глотка.

— Тю-тю, дурни! — огрызнулся неугомонный служка, сидя на козлахъ.

— Давай грабителя! Давай еретика!

— Давай имъ! кого тамъ?.. Овеча порода! — ворчалъ служка.

— „Разнесемъ!“ — „Мы ему покажемъ, какъ козамъ рога правять“.— „Мы ему дадимъ Кузькину мать!“ — „Стой, братцы, за Богородицу!“

Въ окнѣ кареты показалась бѣлая, вѣжная рука и крестила толпу...

— Ишь матушка игуменья изъ кареты намъ ручкой дѣлаеть, — закричалъ кто-то, завидѣвъ въ темнотѣ каретнаго окна блѣдную руку архіепископа.

— Благослови, матушка! — кричалъ другой голосъ. — За Богородушку стоять идемъ...

Толпы ринулись дальше, и карета продолжала свой путь.

Страшенъ былъ этотъ путь по мрачнымъ улицамъ бѣснующейся Москвы. Кругомъ тьма кромѣшная, и въ этой тьмѣ еще диче раздавался крикъ людей, зовъ колоколовъ и отчаянный вой собакъ. Къ этому присоединялось карканье птицъ, которая металась по темному небу, боясь опуститься на Москву, сѣсть на крыши домовъ и на городскія стѣны, которыя тоже, казалось, взбѣсились и кричали.

Карета мчалась къ Донскому монастырю. И въ дальнихъ кварталахъ слышались тѣ же крики, отворялись и затворялись ворота, гремѣли запоры, стучали ставни, кричали и плакали люди...

— Богородицу грабятъ! — раздавались жепскіе и дѣтскіе голоса по глухимъ переулкамъ. — Турка грабигь!



— Матушки! страшный судъ пришелъ!.. Звѣзды померкли, солнышко потухло... Турка идетъ на Москву.

— Помогите, православные, помогите! умираю... охъ, смертушка моя...

Это была, дѣйствительно, ночь смерти, какъ бы завершавшая собою тотъ страшный чумной циклъ, чрезъ который, какъ чрезъ трисорокадневная мытарства, прошла Москва, чтобы вступить съ плачемъ и скрежетомъ зубовъ въ самый адъ. И она вступала теперь въ эту адекую область.

Амвросіей ѣхалъ молча. Въ ухахъ его стоялъ набатный звонъ и словно разрывались въ мозгу и въ сердцѣ страшные людскіе крики, возвращавшіе его сюда, въ эту адекую область, въ эту кромѣшную, тьму, между тѣмъ какъ передъ глазами его проносились какіе-то яркіе, разорванные и разметанные въ пространствѣ и во времени обрывки, клочки пѣзъ всей его жизни: то стѣны бурсы, облитыя яркимъ свѣтомъ мѣсяца въ тихую лунную ночь; то массивная греческая книга, изъ-за которой выступали строгія лица подвижниковъ; то лицо матери, стоящей у воротъ и махающей бѣлою хусткою во слѣдъ фуры, которая увозила куда-то далеко черноголового мальчика; то моментъ постриженія въ монастыство, когда откуда-то, словно съ купола лавры, несло пѣвіе — „аксіось-аксіось-аксіось!“ — и когда чья-то рука холодными ножницами прикасалась къ его головѣ, а потомъ эти ножницы звякали объ полъ, и раздавался голосъ: „подаждь ми ножницы сія...“ И ножницы опять прикасаются къ головѣ, съ визгомъ отрѣзають прядь волосъ—и холодно-холодно ставовится головѣ и сердцу...

И теперь холодно головѣ... Что-то какъ будто ходитъ подъ волосами, поднимаетъ ихъ, шевелитъ имп — и дрожь пробѣгаетъ по всему тѣлу... Да, шевелятся волосы—они ожили, они ходятъ по головѣ... Клубукъ поднимають ожившіе волосы...

Амвросіей снимаетъ съ головы клубукъ...

— Далеко еще до монастыря? — спрашиваетъ оцъ:—я ничего не вижу.

— Нѣтъ, дядюшка, недалеко ужъ,—отвѣчаетъ Вантышь-Каменскій.

— А мы точно цѣлую вѣчность проѣхали...

— Да — долго... Вы правы—илоты пошли на Аѳины, — задумчиво поясняетъ Вантышь.

Наконецъ, карета подъѣхала къ Донскому монастырю. Тамъ, повидимому, никто еще не спалъ—вездѣ виднѣлись огни. У воротъ стоялъ при-вратникъ. Карету окликнули: „кто ѣдетъ?“

— Я—архіерейскій племянникъ,—поспѣшилъ отвѣтить Вантышь, высунувшись пѣзъ окна кареты.

Карету впустили въ ворота.— Незамѣченный никѣмъ, Амвросіей быстро прошелъ, вмѣстѣ съ племянникомъ, въ настоятельскія кельи, неся клубукъ въ рукѣ. Въ образной они увидѣли, что кто-то стоитъ у аналая и читаетъ: „Царь бо царствующихъ и Господь господствующихъ приходитъ заклатися и датися въ свѣдѣ вѣрнымъ. Предходить же сему лица ангельстїи со всякимъ началомъ и властію, многоочтїи херувими и шестокры-

латін серафимы, лица закрывающе и воіяще іѣсьнѣ: аллилуіа, аллилуіа, аллилуіа“.

— Мирь ти! — раздѣлся вдругъ тихій голосъ.

Тотъ, что стоялъ у аналоя и читалъ—высокій бѣлокурый монахъ съ наперснымъ крестомъ—съ удивленіемъ поднялъ голову и отступилъ отъ аналоя.

— Мирь ти!—повторилъ тотъ же голосъ.

— И духови твоему,—отвѣчалъ читавшій нерѣшительно.

— Епифаній, другъ мой и искренній, — ты не узнаешь меня? — продолжалъ Амвросій (это говорилъ онъ).

— Владыко!.. Боже мой!

И тотъ, кого Амвросій назвалъ другомъ своимъ, Епифаніемъ, съ ужасомъ попятился назадъ. Отъ изумленія или отъ страха онъ, повидимому, онѣмѣлъ.

— Епифаній!

— Владыко! что съ тобою! что случилось?

— Въ Москвѣ чернью овладѣло безуміе... Морь и страхъ лишили народъ послѣдняго разсудка... Теперь они кричать, яко бы я велѣлъ ограбить Богоматерь Боголюбскую, и ищутъ главы моей.

Онъ тихо опустился на складное сидѣнье, поставилъ клубокъ на столъ и перекрестился... Высокій монахъ упалъ на колѣни и со слезами припалъ къ рукамъ архіепископа...

— Не сѣтуй, другъ мой! Судьбы Господни неисповѣдимы...

— Но, Боже мой! ты взгляни на себя, владыко!—вскричалъ монахъ, всплеснувъ руками.

— Что-жь, друже мой, — страхъ смерти пройде сквозѣ душу мою, — тихо отвѣчалъ Амвросій.

— Нѣтъ! нѣтъ! я боюсь сказать тебѣ!—съ прежнимъ отчаяніемъ повторялъ Епифаній.

— Да что же? Я ко всему готовъ...

— Ты не видѣлъ себя... ты...—Епифаній остановился.

— Что же я, другъ мой?

— Взгляни на свои волосы, владыко... Еще утромъ они были черны, какъ крыла ворона... а теперь—они сѣды, какъ у ветхаго старца!

Амвросій, закинувъ руку за плечо, взялъ прядь своихъ густыхъ волосъ и поднесъ къ глазамъ: они дѣйствительно посѣдѣли...

Какъ-то странно дрогнула при этомъ блѣдная рука архіепископа, которая за часъ до этого благословляла безумную толпу, жаждавшую его крови... Но кроткая улыбка освѣтила его лицо.

— Да... они сѣды стали... скоро, въ часъ единъ... да, да...

И онъ задумчиво и грустно перебиралъ рукой эти сѣдые волосы — чужіе, не его... его волосы еще днемъ сегодня отливали на солнцѣ, какъ вороново крыло... а теперь они бѣлые—незнакомые какіе-то волосы...

— Да... да... бѣлы, аки снѣгъ... чище стали—очистились... Окропилъ

ихъ Господь иссопомъ страха смертнаго, и паче снѣга убѣлилися они...— тихо, качая головой, говорилъ онъ.

А Елифаній, безмолвно стоя на колѣняхъ передъ нимъ, беззвучно плакалъ, закрывъ лицо руками.

— Да... да... да... Скоро убѣдилъ Господь... Тысящи лѣтъ предъ очима Его яко день единъ...

Набатный звонъ, однако, доносился все слабѣе и слабѣе.

Вошелъ и племянникъ Амвросія и также съ ужасомъ отступилъ, увидѣвъ, что несчастный спутникъ его посѣдѣлъ на пути отъ Чудова монастыря къ Донскому. Вотъ почему такъ долго казался имъ этотъ роковой путь! Да, онъ очень долго: въ продолженіе его человѣкъ прожилъ лѣтъ двадцать, дожилъ до сѣдыхъ волосъ, которыхъ у него еще не было...

— Господи! что-жъ это такое!— съ отчаяньемъ вскричалъ Вантышъ.

— Ничего, другъ мой, это—Богъ,—спокойно отвѣчалъ архіепископъ.— Тысящи лѣтъ предъ очима Его яко день единъ... Что-жъ стоило Ему превратить для меня часъ единъ—въ тридцать лѣтъ!

А время между тѣмъ шло своимъ чередомъ, и ночь эта страшная шла своимъ чередомъ: для счастливыхъ пролетала какъ одинъ сладкій мигъ, какъ вздохъ переполненной блаженствомъ души, какъ опьяняющій поцѣлуй; для несчастныхъ и страдающихъ—какъ вѣчность, какъ тысящи лѣтъ и тьмы-темь мучительныхъ часовъ...

Пропустимъ же эту страшную ночь, вычеркнемъ ее изъ нашего повѣствованія, потому что она была слишкомъ долга для несчастнаго...

Онъ молился почти всю ночь, и Елифаній не отходилъ отъ него, Елифаній Могилевскій, кіевскій архимандритъ, его школьный товарищъ и другъ. Онъ пріѣхалъ въ Москву навѣстить этого друга и дать ходъ вѣкоторымъ дѣламъ своего монастыря; но чума захватила его тутъ, и онъ не могъ выѣхать во-время

Когда Амвросій на минуты переставалъ молиться, Елифаній старался навести его на лучшія, менѣе мрачныя мысли—и они вспоминали свою молодость, академическіе годы, Украину, Кіевъ...

— И по сей часъ растетъ та верба, которую ты посадилъ, помнишь, въ лаврѣ,—вспоминалъ Елифаній.

— Помню... Я тогда переходилъ на курсъ элоквенціи... Какъ это давно и въ то же время какъ это, сдается, недавно было,—грустно качая головой, уже сѣдой теперь, говорилъ Амвросій.

— Да, и какъ зелено и пышно растетъ...

— Такъ... такъ... и переростетъ насъ...

— А на передней партѣ, въ философскомъ классѣ, все еще цѣла надпись, что ты вырѣзалъ—помнишь?

— Какая? Много я ихъ рѣзывалъ когда-то...

— А твой девизъ: aut omnia, aut nihil.

— Да... Да... Мое omnia уже проходитъ, а идетъ nihil...

— Для чего же такъ думать? Ты еще не старъ...

— А Господь на что? Сегодня Онъ сосгарилъ меня на тридцать лѣтъ, а завтра—э! завтра, друже, можетъ быть —помнишь?

Священники, діаконы  
Повелѣять звонити—  
Тоди про насъ перестанутъ  
Люди говорити...

И архіепископъ горько улыбулся.

— Да, помню,—только зачѣмъ же такъ думать?—успокивалъ Елифаній.

— Я и не думаю, другъ; а душа моя слышитъ, что тамъ ищутъ моей смерти...

— Э! помилуй... теперь тамъ тихо... Они спятъ давно...

Нѣтъ,—они не спали... Уставъ бесполезно ломать, разбивать, трощить въ щепки и въ мусоръ печи, полы, двери, окна, мебель посуду, самыя стѣны и не находя того, кого искали, они бросились въ монастырскіе подвалы и погреба, вышибли въ нихъ желѣзныя двери и добрались до бочекъ съ водками, винами, спиртомъ, разными питіями и маслами... И тогда потекло пьяное море: черпали изъ бочекъ пригоршнями, шапками, сапогами, лаптями — и пили, до осатаиѣнія пили... Кто выкатывалъ сорокоуши на дворъ, кто вышибалъ изъ нихъ днища, кто лѣзъ головой прямо туда, въ источникъ опьянѣнія — и опять все пило и кричало, что „Богородицу грабятъ“... Слышались крики, что „турка идетъ на Москву“, что самъ „моръ ходитъ по Кремлю въ видѣ бабы простоволосой“...

— Ходить, робятушки, и по-турецки разговариваетъ...

— А ты что-жъ ее не за косы?

— Э! поди-тко, сунься—не вельно...

— Кто не вельлъ! Бей ее, суку!

Все, что желало пить, забиться—все пило съ отчаянья, пило съ проклятіями, съ криками, что-де все равно — завтра умирать, не видать больше красна солнышка—пить-де умереть, не пить умереть — такъ пей, душа—пьяною и на тотъ свѣтъ пойдешь...

Иной завалился головой въ бочку, и только оттуда окровавленный онучи торчатъ, а онъ знай кричитъ: „Богородицу грабятъ!“

Отдѣльныя толпы хлынули къ окраинамъ города—„карантеи разбивать“, „несчастненькихъ выпускать“—и все это само лѣзло на заразу, на смерть... Карантаны разбиты...

Гдѣ же Еропкинь? Куда онъ дѣвался? Гдѣ его энергія, неустрашимость, увѣренность?

То-же спрашивали и современники.—„Гдѣ же полицейскіе офицеры съ командами ихъ? Гдѣ полкъ Великолуцкой, для защищенія Москвы назначенный? Гдѣ, напослѣдокъ, градодержатели?.. Городъ оставленъ и брошенъ безъ всякаго прикрѣпленія!“—воскликаетъ очевидецъ этихъ ужасовъ въ письмѣ къ своему другу.

Гдѣ же, въ самомъ дѣлѣ, были въ эту страшную, по-истинѣ „воробьиую“

ночь, когда даже ни воробьи, ни галки на Москвѣ не могли сомкнуть глазъ во всю эту ночь отъ того, что они видѣли вокругъ себя, — гдѣ были градодержатели первопрестольной столицы?

А вонъ, главнѣйшій градодержатель господинъ генераль-фельдмаршалъ, ея императорскаго величества дѣйствительный камергеръ, сенаторъ и московскій главнокомандующій, славный побѣдитель Фридриха Великаго, сіятельный графъ Петръ Семеновичъ Салтыковъ, въ виду грозившей его собачкамъ отъ моровой язвы опасности перевезшій весь свой многочисленный собачій штабъ въ свое подмосковное имѣніе, а вмѣстѣ со штабомъ перетацившій туда и свои старья кости, — вонъ ошъ, мучимый бессонницею, тихо бродить по обширнымъ пустымъ заламъ своего роскошнаго дворца, слабо освѣщеннаго восковыми свѣчами, и то и дѣло останавливается самъ передъ собою, не узнавая себя въ огромныхъ бемскихъ зеркалахъ — останавливается и съ удивленіемъ спрашиваетъ: „кто вы, государь мой? чего вамъ отъ меня надобно?“ Потомъ узнаетъ себя, махаетъ съ досадою рукою, и опять бродить. За пазухой его шелковаго халата копошится что-то живое, къ которому онъ то и дѣло нагибаетъ свою старую голову и тютюшкаетъ. Это щенокъ, котораго привезъ ему оберъ-полиціймейстеръ отъ генерала Мамонова и который, по свидѣтельству оберъ-полиціймейстера, родился съ глазами. Графъ сильно привязался къ малюткѣ и постоянно носить его за пазухой и постоянно тютюшкаетъ... „Ахъ, бѣдненькій мой сироточка!.. Нѣту тебя ни отца, ни матеря... постой, постой — я велю моему оберъ-полиціймейстеру, а то и Петру Дмитріевичу Еропкину — онъ разбитной молодой человекъ — велю сыскать твою суку-матушку... Ишь, шельма убѣжала!“ — Потомъ подносить своего любимца къ столу, наливаетъ пзъ серебрянаго молочника молочка въ фарфоровую чашечку и кормить его... То подойдетъ къ широкому турецкому дивану, на которомъ спитъ и во снѣ капризничаетъ любимая его сука Флора, которой представляется лакей, пристающій къ ней съ серебрянымъ подносомъ и съ лежащими на немъ опротивѣвшими ей французскими сухарями въ сливкахъ — и вотъ она капризничаетъ... „Ахъ, Флорushка, Флорushка моя, какъ бы я желалъ быть на твоёмъ мѣстѣ“, — качая старой головой, шепчетъ побѣдитель Фридриха Великаго: — „я бы спалъ, какъ ты“... И опять бродить — бродить, и опять натывается на себя самого въ зеркалѣ и съ удивленіемъ въ сотый разъ спрашиваетъ: „кто вы, государь мой?“ — и опять съ досадою машетъ рукою, узнавая въ этой развалинѣ себя, славнаго побѣдителя Фридриха Великаго.

Вотъ что дѣлаетъ главный градодержатель!

А вонъ и Еропкинь... Услыхавъ набатъ и свирѣпыя крики въ Кремлѣ, онъ велитъ подать себѣ коня-аргамака и вмѣстѣ съ веселымъ докторомъ скачетъ на мѣсто криковъ...

— Негодяи! мерзавцы! я васъ! — неистово вскрикиваетъ онъ, подскакивая къ толпѣ.

— Тише, тише, генераль! — унимаетъ его веселый докторъ.

— Что такое! я ихъ!..

— Тише,—вы не Богъ, Его же и вѣтры послушаютъ — вѣдь, это стихія грозныя...

— Йя ввась!

— А! Снераль! — сипить великанъ съ сивой косою—и массивный шесть, свистнувъ въ воздухѣ, ударяется о красивое, молодое тѣло генерала.

— Ой, негодяи!—стонетъ генераль.

— А!.. вотъ тебѣ ишшо!.. нна!.. и мы тоже не лѣвой ногой сморкаемся! — и булыжникъ—въ голову величпной, прошумѣвъ въ воздухѣ, бьетъ генерала по ногѣ, но такъ, что прекрасной арабской породы аргмакъ вмѣстѣ съ генераломъ становится окарачъ...

— Бей ево! лови!

И конь, и всадникъ скрываются... „Улю-лю-лю! улю-лю-лю!“ слышится имъ въ слѣдъ. Остается одинъ веселый докторъ... Къ нему радостно бросается какая-то собаченка.

— А! Маланья!.. и ты тутъ...

— Тутъ, тутъ, ваше благородіе,—вырастаетъ изъ земли краснобровый солдатъ:—только вы-то, Христа-радушки, уходите отसेлева... Жаль мнѣ васъ... Тутъ у насъ—хуже Турціи—такіе везира позавелись!—и не приведи Богъ... Уходите, батюшка Крестьянъ Крестьяныч!

И веселый докторъ тоже исчезъ.

Такъ прошла ужасная ночь. На утро, главная партія защитниковъ Богородицы, подъ предводительствомъ великана съ сивой косою и по наускиваньямъ „гулящаго попака“, направляется къ Донскому монастырю.

Тамъ уже шла ранняя литургія. Амвросій собирался въ церковь, какъ услыхалъ у стѣнъ монастыря говоръ, неистовые крики и ружейную пальбу. Онъ повялъ, что это пришла его смерть—и, какъ бы прощаясь, взглянулъ на своего друга. Тотъ стоялъ безмолвный, блѣдный... Изъ-за стѣнъ доносилось что-то очень грозное...

Вдругъ въ келью вбѣгаетъ запорожець-служка. Мужественное лицо его блѣдно, руки дрожать...

— Ваше преосвященство!—вскричалъ онъ, падая на колѣни:—нехай мене вбють, а не васъ...

— Спасибо тебѣ, доброе дитя!—со слезами отвѣчалъ архіепископъ:—не тебя ищутъ, а меня.

— Ни, ваше преосвященство! вы надинте мій кожухъ, а я вашу рясу и клубукъ, та и посохъ озму—то воны не признають мене—и вбють.

Архіепископъ грустно покачалъ головой, взглянулъ на образъ Богородицы съ Предвѣчнымъ Младенцемъ, перекрестился и направился въ церковь... Запорожець, обхвативъ его ноги и обливая ихъ слезами, стоналъ: „ни-ни, я васъ не дамъ имъ... не ходить до ихъ—не ходить—не ходить!“—И онъ волокся за ногами архіепископа, лова его рясу и рыдая какъ ребенокъ.

На дворѣ слышнѣе было, что творилось за воротами монастыря. Амвросій на мгновенье остановился, взглянулъ на небо, которое начинало го-

лубѣть и розовѣть съ востока, и, поднявъ руку, широко благословилъ сво- ихъ невидимыхъ враговъ, голоса которыхъ звучали какъ-то глухо, набатно...

Войдя въ церковь и поклонившись мѣстнымъ образамъ, онъ обратился къ стоявшимъ въ церкви и сдѣлалъ три глубокихъ поклона на три сто- роны. Когда изъ-подъ чернаго клобука блеснуло—буквально блеснуло—его блѣдное лицо, когда бывшіе въ церкви увидѣли, откуда исходитъ этотъ странный блескъ, когда понятно стало, что это кланяется страдалецъ, ко- торому одна ночь посеребрила волосы,—все упали на колѣни и поклони- лись до земли съ какимъ-то стономъ ужаса и отчаянія. И онъ, троекратно благословивъ эти припавшіе къ церковному полу черные клобуки, тихо во- шель въ алтарь.

Началось богослуженіе. Похоронно какъ-то звучали молитвы служащихъ, что-то похоронное слышалось и въ пѣніи клировъ—многіе рыдали...

А глухіе раскаты все ближе и ближе... Слышно было, какъ грохнули, выдвинутыя напоромъ толпы, монастырскія ворота, какъ ревущая волна, ворвалась въ монастырь, какъ разлилась она по немъ и все залила собою...

Скоро изъ-за черныхъ клобуковъ показались зловѣщія лица. Надъ все- ми высилась сѣдая голова съ длинною косою и рогаткою въ рукѣ. Пока- зались дреколья, шести, рогатины, ружья... Это облава — это бѣшенаго волка ловятъ въ лѣсу... Нѣтъ, это вошли въ церковь защитники Богоро- дицы... Вошли—и ни съ мѣста: служба идетъ, службу нельзя прерывать— грѣшно...

Амвросій видитъ все это—и не можетъ отвести глазъ отъ сѣдой голо- вы великана съ косою... Это Голяеъ, только сѣдой, вставшій изъ своей могилы... И Голяеъ смотритъ на Амвросія—глаза ихъ встрѣчаются...

Служба не можетъ идти дальше: и священникъ, и дьяконъ, и клиръ захлебываются слезами...

Амвросій подходитъ къ жертвеннику, падаетъ передъ нимъ и, поднявъ руки, громко молится:

— Господи! остави имъ, не вѣдятъ бо, что творять... Боже правый! не введи ихъ въ напасть, но отврати стремленіе ихъ, и яко же смертію Іоны укротися волненіе моря, тако смертію моею да укротится нынѣ вол- неніе сего свирѣпѣющаго народа... Боже! Боже!

Потомъ онъ беретъ сосудъ и приобщается. А тѣ ждуть—пуцай-де кон- чить... Вся церковь тихо рыдаетъ...

Кончили... уходитъ куда-то... скрывается... Охъ, уйдетъ... ускользнетъ изъ рукъ...

Нѣтъ,—не ушелъ!.. Сапоги, лапти, босыя ноги, дреколья, рогатины — все повалило въ алтарь, все ищетъ его...

Нашли.

— Сюда! сюда, братцы! Здѣсь онъ!

— А! ты Богородицу велѣлъ грабить,—сипло говорить великанъ съ сивою косою и ударомъ кулака сшибаетъ съ несчастнаго клобукъ; блес- нули сѣдые волосы...

— Да это не онъ!—кричить кто-то:—у него черные волосы, а этотъ сѣдой...

— И, дѣти мои, я, Амвросій архіепископъ.

— А-а! такъ это ты! Иди же на судъ!

И огромная рука великана вцѣпляется въ сѣдые волосы мученика, валить его на полъ и волочетъ изъ церкви... Голова стучитъ объ полъ, объ ступеньки амвона—ни стопа, ни звука жалобы... Волокутъ мимо образа Донской Богородицы...

— Дѣти мои! подождите...

— Чего тебѣ?

— Дайте приложиться къ образу Богоматери...

Страшная рука выпускаетъ волосы. Мученикъ встаетъ и цѣлуетъ икону... Волосы прядями падаютъ ему на лицо — онъ ихъ откидываетъ назадъ...

— Я заплету тебѣ ихъ! — и сѣдые волосы опять въ безжалостной рукѣ, опять голова колотится объ полъ, объ церковный порогъ, объ чугунную плиту—и опять ни стопа, ни звука жалобы...

— А! молчать!—и надъ колотящеюся объ полъ сѣдою головою поднимается чья-то дубина.

— Не бей здѣсь!—не мѣсто—храмъ вишь...

Выволокли на паперть...

— Здѣсь можно!—и чей-то кулакъ бьетъ по виску несчастнаго.

— Не трошь!—въ оградѣ нельзя—негоже...

— За ограду! за ограду тащи!—ревутъ голоса. — За ограду долгогриваго!

А въ оградѣ дѣлается что страшное. Келейникъ архіепископа, тотъ добродушный запорожецъ-слуга, который предлагалъ Амвросію переодѣться, увидавъ, что по двору волокутъ его владыку, дикимъ туромъ ринулся на толпу, сбиль съ ногъ и искалъчилъ десятка два москалей, но далѣе не могъ пробиться сквозь сплошную массу тѣлъ съ дубьемъ и рогатинами... Онъ заплакалъ... Толпа кинулась было на него, науськиваемая „гулящимъ попомъ“; но запорожецъ, схвативъ попка за косицу и поднявъ его на воздухъ, сталъ отмахиваться имъ какъ дубиною, колотя направо и налево поповскими ногами въ стоптанныхъ сапожникахъ...

— Ай-ай! мотри, братцы, хохоль-оть—хохоль-оть—ай-ай!

— Это онъ батюшкой-то, отцомъ Акинфіемъ!

— Ай-ай! вотъ дьяволь! вотъ помахивать!

А Амвросій уже за оградой. Та рука, которая волокла его за волосы, подняла страдальца съ земли и поставила передъ собой... Лицо было избито, испарано, въ волосы набилась земля, солома, щепки...

— Стой! держи отвѣтъ! Ты архирей?

— Я, дѣти...—Да, трудно теперь было узнать въ немъ того, кѣмъ онъ называлъ себя.—Я вашъ епископъ, дѣти...

— Какой ты намъ отецъ!



— Молчи! одного слушать! — пригрозил великанъ. — Сказывай: ты велѣлъ грабить Богородицу?

— Я велѣлъ запечатать...

— А! кается!.. Сказывай: ты не велѣлъ хоронить покойниковъ у церкви?

— Я, дѣти, по высочайшему...

— Кается! кается!.. Сказывай далѣ: для чего ты не ходилъ съ нами въ ходахъ?

Амвросій молчалъ... „Иисусъ же отвѣта не даде“, — звучало у него въ сердцѣ... Изъ-за толпы показалась высокая фигура Епифанія, друга его: онъ, стоя въ сторонѣ, плакалъ... „Исшедь вонъ, плакася горько“, — колотилось въ сердцѣ у страдальца — и ему стало легко...

— Сказывай: ты присудилъ запечатать баню? Ты велѣлъ брать насъ въ карантей?

Нѣтъ отвѣта... тихо кругомъ... все пріемирѣло... Слышно только, какъ ворона гдѣ-то каркаетъ, да изъ кабака, на радостяхъ распечатаннаго молодцами, поется пѣсня:

Подували буйны вѣтры со горы,  
Сорывали черну шляпу съ головы.

Сквозь толпу, съ коломъ на плечѣ, протискивается Васька Раевскій, тотъ что армявина билъ.

— Чего вы глядите на него? — кричитъ Васька. — Алл не знаете, что онъ колдунъ — морочать васъ! Вотъ я его!

И коль свистнулъ въ воздухъ — скулы хряснули на лицѣ у страдальца отъ страшной дубины, и онъ упалъ на землю... Начало было положено: толпа навалилась на упавшаго, яюшли въ ходъ кулаки, пинки, лапты, каблуки съ желѣзными гвоздями — лѣзли другъ на дружку, колотили одинъ другого — въ воздухъ мелькали рукавицы, дубье, брошенные шапки, ключья волосъ... Страшная работа!

„Убивши же до смерти архіерея Божія, — говоритъ самовидецъ, — отступили мало, скверня языками своими воздухъ. Присмотря же, что единая рука, правая, отмашкою двинулася, принялися паки бить кольями по головѣ. Отступивши же нѣсколько, увидѣли, что пожался тотъ священникъ страдалецъ раменами, то и третично били, дондеже церковникъ нѣкій, попъ гулящій, діавольской церкви слуга, послѣднимъ довершилъ ударомъ, отрубя нѣсколько отъ главы, коя часть надъ глазомъ — и осталася та часть виисящею даже доднесь, лѣта отъ рождества Госнода и Спаса нашего Иисуса Христа 1771-го, отъ страданія же и распятія за ны 1738, мѣсяца септемврія съ 16 го по 18-е число, и ни пси лютин, трупы язвенные по граду поядающіе, ни врани хищніи, оныхъ язвенныхъ ключющіе, не дерзаша оныхъ честныхъ мощей святителя касатися, и токмо враби невинніи, сирѣчь воробушки маліи, надъ архіереемъ Божиимъ горестно чиракахуть“.

IV.

Усмирение „Богородицыныхъ ратничновъ“.

По убіеніи Амвросія, дикіе защитники Богородицы или „Богородицыны ратнички“, какъ ихъ называлъ „гулящій попикъ“, тутъ же около Донскаго монастыря сотворили военный совѣтъ—что предпринять дальше для упроченія своей власти въ новозавоеванномъ городѣ и для приведенія его въ порядокъ.

Власть диктатора Москвы сама собою попала въ руки громадному солдатинѣ съ сивой косою, дядѣ Савелью, по прозванію Якову. Диктатуру эту раздѣлялъ съ нимъ Васыка, дворовый человекъ Раевскихъ, что первый ударялъ коломъ Амвросія. Къ нимъ присоединился еще и чудовищецъ Ильюша фабричный, къ которому во снѣ приходила Боголюбская Богородица и сказала о каменномъ дождѣ.

Москва такимъ образомъ очутилась въ рукахъ этого триумvirата. Власть первосвященника Москвы изъ мертвыхъ рукъ Амвросія перешла въ запачканныя кровью руки „гулящаго попика“.

Старый нашъ знакомый, рыжіи краснобровый солдатъ съ собачкою, изображалъ изъ себя нѣчто въ родѣ московскаго оберъ-полицеймейстера, который постоянно требовалъ тишины и порядка и настаивалъ на немедленномъ упраздненіи карантинновъ, на распечатаніи торговыхъ банъ и на открытіи всѣхъ кабаковъ, „чтоба всѣмъ было слободно“.

Краснощекій дѣтина изъ Голничнаго ряда, Спиря, остался все тѣмъ же антагонистомъ новаго московскаго первосвященника, „гулящаго попика“.

На военномъ совѣтѣ первымъ держалъ рѣчь нашъ краснобровый солдатъ.

— Напрасно, братцы, старичка-то убили, владыку,—говорилъ онъ.

— Какъ напрасно! — возражалъ ему „гулящій попикъ“:—отъ ево распоряженіевъ да указовъ и моръ пошелъ по городу... Шутка ли! не велѣтъ хоронить при церквахъ, не велѣтъ исповѣдывать и младенцевъ окупать въ воду! А въ ходы ходить—онъ же запретилъ...

— Такъ! такъ!—соглашались триумvirы: — батюшка правъ... по дѣломъ вору...

— Ну, нѣтъ будь по вашему, — уступалъ краснобровый солдатъ: — только чтобы впередъ, братцы, рукъ не марать, душегубствомъ не заниматься, потому—мы не турки, а православные...

— Знамо православные!—одобряли оратора.

— Богородицыны ратнички!—подсказывалъ попикъ.

— Потому—рукъ не марать, братцы—ни-ни! ни Боже мой! чтобъ все было въ порядкѣ, тихо, въ-акуратъ, потому—моръ въ городѣ...

— Ладно! ладно! солдатъ дѣло говорить... Моръ—во! изморозъ мремъ!

— А ты, Малаша, не мѣшай чеву лѣзешь!—обратился ораторъ къ

собачекъ, которая стояла передъ нимъ на заднихъ лапкахъ и желала привлечь его вниманіе.— Не мѣшай, Малаша,—я дѣло говорю.

Въ толпѣ смѣхъ; иные уже хлебнули вольнаго винца, веселье-развеселые.

— Ай да собачка, занятная! Въ наукѣ была турецка штучка...

— Молчи! не мѣшай! (Солдатъ дѣло сказывать.)

— Ну, ладно,—продолжалъ солдатъ:—такъ перво-наперво, братцы, мы всѣ эти карантеи по боку, чтобы невольничкамъ было свободно...

— Разнесемъ карантеи! Ко псу ихъ!.. Чтобы слободно...

— Перво-наперво, кричить „гуляющей поникъ“:—Боголюбской Богородицѣ молебень благодарственный справимъ соборнѣ... Вотъ что, православные!

— Ладно! ладно! отдеремъ молебень знатный, чтобы небу жарко было! Къ Богородицѣ! къ Богородицѣ!—раздались пьяные голоса.— Ей, Матушкѣ, челомъ ударимъ...

— И къ Иверской, братцы! Ее-то, старушку, какъ же—нельзя! Она старше...

— „Къ Иверской! къ Иверской!“ — „Къ Боголюбской!“ — „Карантеи къ чорту!“ — „Бани распечатать!“ — „Кабаки... кабаки, братцы тоже!“ Встаетъ гвалтъ, разноголосица. Никто никого не слушаетъ. Тотъ кричитъ: „кабаки!“ — тотъ — „карантеи!“ — тотъ зоветъ — „къ Иверской, къ старушкѣ!“ — Адъ да и только... Совѣщаніе кончилось...

И толпа двинулась какъ лавина. Впереди триумвиры — Бяковъ Савелій, Васька дворовый, Илья-чудовидецъ, „гуляющій поникъ“, дѣтина изъ Голычанаго ряда, рыжій съ красными бровями, а за ними цѣлое море головъ. зипуновъ, рубахъ, чалановъ, щекъ... Впереди радостно бѣжитъ Маланя — хвостъ кренделемъ, на небо лаетъ.

А въ Кремлѣ опять заговариваетъ набатный колоколь. Ему отвѣчаютъ по всему городу — снова адскій звонъ!

— Сполохъ, братцы! Живѣе въ карантеи!

— Въ Даниловъ идемъ! Тамъ суконшники — невольнички — ихъ выпустимъ!

— Къ суконшикамъ, ребята, въ Даниловъ!...

Толпа осаждаетъ Даниловъ монастырь. Ворота заперты. Ихъ защищаетъ караульный офицеръ съ нѣсколькими солдатами. Осаждающіе надвигаются лавой, держа въ рукахъ дреколья, шесты и камни.

— Стой, разбойники! Чего вамъ надо! Прочь! Стрѣлять буду, — кричить молодой офицеръ, обнажая саблю.

Толпа обсыпаетъ несчастнаго каменнымъ градомъ—это тотъ каменный дождь, о которомъ пророчествовалъ Илья-чудовидецъ... Офицеръ хватается за голову и падаетъ съ крикомъ: „Убили! умираю!.. Боже!“

Какъ бѣшеная, бросается на упавшаго собаченка, лижетъ его въ мертвенно-блѣдное лицо, по которому отъ праваго виска сочится кровь,—и начинаетъ жалобно вить...

Подбѣгаетъ краснобровый солдатъ—да такъ и всплеснулъ руками...

— Эхъ, ваше благородіе, ваше благородіе!

Солдатъ становится на колѣни, поднимаетъ голову убитаго—голова валится, свѣшивается... Острымъ камнемъ просажень вислокъ, выше—проломленъ черепъ... Собачка жалостно воеетъ—она узнала своего...

— Эхъ, дьяволы—дьяволы!—не выдерживаетъ рыжій—и плачетъ.— Кого убили!.. Да эдакихъ и нѣту больше... Дьяволы, душегубцы! Эхъ, ваше благородіе... ваше благородіе, не удалось мнѣ отслужить вамъ...

Онъ кладетъ голову несчастнаго къ себѣ на колѣни, отводитъ ото лба окровавленные волосы, заглядываетъ въ глаза, которые еще такъ недавно искрились огнемъ молодости... Нѣтъ, не глядеть! Передъ глазами рыжаго встаетъ знойное утро на берегу Прута: они съ хохломъ Заброею копаютъ могилу молодому другу вотъ этого, убитаго, на смуглое лицо котораго уже спустилось спокойствіе смерти, что-то глубоко-задумчивое... И этому приходится копать могилу...

— Эхъ, ваше благородіе, ваше благородіе!—шепчетъ грубый солдатикъ, у котораго доброе сердце такъ памятно на добро.— Эхъ, ваше благородіе!

— Али знакомый?—спрашиваютъ, подходя, убійцы.

Солдатикъ не отвѣчаетъ... Толпа напираетъ на ворота и выламываетъ ихъ... Внутри шумъ, возгласы... „Офицера караульнаго убили“,—слышатся голоса внутри.— „По дѣломъ—не суйся не въ свое дѣло“.— „Не нарочно мы убили...“ „А теперь вы всѣ, братцы, вольные—иди, куда глаза глядятъ...“

Внутри ограды раздается отчаянный женскій крикъ... „Пустите меня къ нему! пустите!“ И въ ту же минуту изъ-за разбитыхъ монастырскихъ воротъ выбѣгаетъ молоденькая бѣлокурая дѣвушка, въ вощаномъ платьѣ и нарукавникахъ, съ бѣлой пелеринкой и передникомъ—это карантинная сидѣлка... Она хочетъ броситься на мертваго, и съ ужасомъ останавливается; она вспоминаетъ, что она карантинная, что она не должна прикасаться къ другимъ, къ некарантиннымъ, къ здоровымъ... Напрасно!—къ *этому* некарантинному можно прикасаться сколько угодно: его уже нельзя заразить...

Дѣвушка упала на колѣни и протянула къ трупу руки съ плачемъ... „Боже... О-о! за что-жъ это!“

Рыжій узналъ дѣвушку—это была Настенька: объ ней и объ „сѣнцахъ“ мечталъ и въ Турціи, и въ Москвѣ тотъ, что теперь лежитъ здѣсь мертвымъ; и она, Настенька, три года мечтала о немъ, что теперь лежитъ головою на солдатскихъ колѣняхъ,—и объ „сѣнцахъ“ тоже...

— Эхъ, барышня, барышня!—шепчетъ солдатъ, а слезы съ загрубѣлыхъ щекъ да на грудь мертвецу капъ-капъ-капъ...

— Живъ онъ?.. Дышитъ еще?—отчаянно спрашиваетъ дѣвушка.

— Нѣтъ, барышня,—холоднехонекъ,—отвѣчаетъ рыжій, прикладывая корявые пальцы къ кровавому лбу.

Новый крикъ и стонъ!.. Но она все еще боится упасть на его грудь—она, несчастная, все еще надѣется... Нѣтъ животнаго живучѣе надежды!

Изъ воротъ, затираемые толпою, торопливо выходятъ мужчина и женщина. Это Лариса съ отцемъ своимъ, докторомъ. Лариса тоже въ платьѣ карантинной сидѣлки: отъ бѣлой пелеринки смуглое личико ея кажется еще болѣе смуглымъ — настоящій цыганенокъ.

Лариса молча становится на колѣни рядомъ съ плачущей подругой и закрываетъ глаза... Плечи ея судорожно вздрагиваютъ...

Отецъ нагибается къ трупу, трогаетъ его голову, руку, упавшую на окровавленную землю, прислушивается — не бьется ли сердце... Нѣтъ, не бьется!

— Бѣдный молодой человѣкъ!.. Только бы жить...

— Папа! что онъ?

— Отошелъ... успокоился навѣки... Царство ему небесное!

Тутъ только бросилась со стономъ несчастная „бѣляночка“ на грудь того, отъ котораго она все ждала — вотъ-вотъ скажетъ: „я люблю тебя“. — Нѣтъ, — не сказалъ, такъ и умеръ — не сказалъ... И дѣвушка даетъ своему милому первый поцѣлуй тогда, когда милый уже не можетъ отвѣчать поцѣлуемъ на поцѣлуй: губы его холодны... Слѣдуя за носилками, на которыхъ вносили дорогого ей мертвеца въ монастырскія ворота, она съ какимъ-то воплемъ въ душѣ повторяла:

— Господи! да что же это!..

А „Вогородицныя ратнички“, сдѣлавъ свое дѣло въ Даниловомъ монастырѣ, — убивъ ни въ чемъ неповиннаго юношу, Рожнова Игнашу, и распустивъ карантинныхъ, многихъ съ несомнѣнными знаками чумы на тѣлѣ, — подъ неумолкаемый набатный звонъ двинулись къ Кремлю, распечатывая на пути торговыя бани, снимая печати съ запечатанныхъ кабаковъ и раскрывая настежь ихъ двери. По мѣрѣ открытiя кабаковъ росло смятенiе и дикое воодушевленiе. Одинъ изъ триумвировъ, Васька-дворовый, идя впереди съ коломъ, которымъ онъ „ушибъ“ Амвросiя, то и дѣло отхватывалъ вприсядку, а дѣтина изъ Голичнаго ряда подпѣвалъ:

Подойду, подойду,  
Во Царь-городъ подойду,  
Вышибу, вышибу,  
Копьемъ стѣну вышибу,  
Вынесу, вынесу —  
Золотъ вѣнецъ вынесу...

— Врешь! — перебиваетъ его „гулящiй попякъ“: — не такъ поешь... „Лисью шубу вынесу — вынесу!“ — вотъ какъ.

— Эхъ ты, муховъ окорокъ! Лисью шубу, — не тебѣ ли, оборванцу?

Съ прежнимъ шумомъ и гамомъ толпа ввалилась на Красную площадь. Тамъ уже ждалъ ихъ Еропкинъ на своемъ красивомъ аргамакѣ. На лицѣ его далеко не было той увѣренности, какою онъ поразилъ когда-то банщиковъ, приходившихъ къ нему съ челобитьемъ въ Чудовъ монастырь. Онъ не спалъ всю ночь. Слѣды удара шестомъ и камнемъ булыжнымъ хотя не были видимы на тѣлѣ, но давали себя чувствовать и боку, и

ногѣ, опирающейся на красивое стремя. Лицо его какъ-то осунулось, постарѣло, почернѣло, потеряло цвѣтность внутренней силы. Около него, тоже верхомъ на конѣ, нюхая воздухъ своимъ горбоватымъ восточнымъ носомъ, топтался царевичъ Грузинскій, московскій оберъ-комедантъ. Тутъ же, впереди небольшого строя пѣшихъ солдатъ, стоялъ третій всадникъ, знакомый намъ конный офицеръ, который вмѣстѣ съ веселымъ докторомъ когда-то отбывалъ двери у дома миллионера Сыромятова, умершаго съ руками по локти въ золотѣ. Это былъ Саблукъ.

— А! вонъ и его превосходительство, господинъ епархалъ Еропкинъ— мой крестничекъ,—сиповато прорычалъ Бяковъ, потрясая въ воздухѣ шестомъ.—Я ево ночью вотъ этой купелью кстилъ,—и онъ трякнулъ своимъ огромнымъ шестомъ.

— А моего муропомазанія онъ еще не пробовалъ,—засмѣялся Васьяковъ:—я его помажу!

Еропкинъ уже не рискнулъ приблизиться къ пасти звѣря, а отрядилъ парламентаремъ царевича. „Да помяче съ этими канальями—ис сердите ихъ“, предостерегалъ онъ царевича: „мы послѣ свое возьмемъ съ лихвой“.

Царевичъ нерѣшительно тронулся съ мѣста, но, видимо, старался бодриться. На довольно почтительномъ еще разстояніи онъ остановился и махнулъ платкомъ.

— Послушайте, братцы! Я хочу говорить съ вами,—закричалъ онъ.

— Говори, говори, царевичъ! Ишь ты—„братцы“ говорить... то-то!—слышится въ толпѣ.

— Говори да не проговаривайся,—сипитъ Бяковъ.

— Для чего вы бунтъ учинили? Что вы дѣлаете!—кричитъ царевичъ.

— А тебѣ какое дѣло! Мы дѣлаемъ божеское—по-божески! За Богородицу мы!

— Замолчите, разбойники! дайте говорить! — проговаривается царевичъ—плохой дипломатъ.

— А! „разбойники!“ Бей его, армянскую образину! Бей, братцы!

И камни свистѣли въ воздухѣ—достается и коню, и всаднику... Оторопѣлый парламентаръ скачетъ назадъ... Толпа за нимъ: ревъ поднимается такой, что передъ нимъ армія дрогнула бы, кажется...

И Еропкинъ второй разъ чувствуетъ, что онъ—солома, а что сила—тамъ, и иритоно сграшная, хотя сиящая сила, и не дай Богъ разбудить ее.

Еропкинъ удаляется, чтобы заpastись силою противъ силы. Онъ скачетъ къ Боровицкому мосту, гдѣ ожидали его солдаты съ артиллерією: приходилось прибѣгать къ пушкѣ и къ ружью, которыя, къ сожалѣнію, доселѣ являются послѣднимъ словомъ глупаго человѣчества, ни на вершокъ еще не переросшаго людоѣдовъ съ одной стороны, когда съ другой оно переросло боговъ...

Съ Боровицкаго моста солдаты тихо вошли въ Кремль и очутились лицомъ къ лицу съ той толпой „Богородицныхъ ратничковъ“, которые пьянствовали и буйствовали тамъ съ ночи, разбивая не только винные по-

гребя, бочки, ведра, штофы, но и дома, словно бы это были швабики и дюмки. Въ то время, когда въ пьяномъ озорствѣ они разносили по кирпичу домъ одного нѣмца-лѣкаря, который яко бы здоровыхъ людей бралъ въ „проклятую карантёю“, послышалось что-то странное...

— Слушать команду!—разъ-два-три—или!—прозвучалъ чей-то рѣзкій голосъ — и въ синны толпы зашлепало что-то невидимое со свистомъ и визгомъ.

Послышались еще неслыханные вскрики, оханья, стоны... Заметалась обезумѣвшая толпа... А тутъ новый, звонкій окрикъ: „Ребята! — въ штывки!“ — И острия, аршинныя, трехгранныя иглы стали безошадно прокалывать рваные чапаны, дырявыя рубахи, полшубки и тѣла „Богородицныхъ ратничковъ“.

— Ой, братцы, смерть! Караулъ!

Много повалилось свѣжихъ труповъ подъ пулями и подъ ударами штывковъ изъ тѣхъ, кого еще не успѣла унести въ могилу чума. Много было стоновъ и проклятій...

Опомнившіяся толпы ринулись изъ Кремля Спасскими воротами, бросая мертвыхъ и раненыхъ. На Красной площади они носъ къ носу столкнулись съ главными силами „Богородицныхъ ратничковъ“, которые, по совѣту „гуляшаго попаки“, отодравъ наскоро, на почтовыхъ—погому, некогда, время горячее—такъ „наскоро отодравъ махоньку литейшку съ молебнишкомъ“ у Варварскихъ воротъ, да завернувъ къ Иверской, чтобъ и Ей, Матушкѣ, поклониться,—теперь шли отнимать Кремль у Еропкина и посадить тамъ дядю Савелья.

— Куда вы, тараканы?—кричалъ имъ дядя Савелій.—Али кипяткомъ ошпарили?

— Тамъ братцы, бьютъ... всмертную... ружьемъ бьютъ солдатъ,—отвѣчали бѣгущіе.

— А! солдатъ бьютъ... нашъ братъ крупожоръ... Такъ и мы солдатыста: мы сами съ усами... За мной, братцы!

И дядя Савелій, сверкая сивую косою своею, повелъ раги на приступъ. Переднія толпы ринулись въ Спасскія ворота. Все пространство разомъ запружено было массою тѣлъ, двигавшихся живою стѣною въ жерлѣ длинныхъ воротъ, словно въ туннель—только торчали кверху приподнятыя на рукахъ да на кольяхъ шапки, „потому въ воротахъ Богородица — шапки долой надоть...“

Вотъ уже выползаетъ изъ Спасскихъ воротъ въ Кремль стоголовая главизна этого чудовища безъ шапокъ. Сзади пруть тысячи—нога въ ногу, сапогъ къ сапогу, лапотъ къ лаптю, онуча къ онучѣ—такъ вотъ и жмутъ животами... А въ Кремлѣ, противъ самыхъ воротъ, стоятъ „крупожоры“ — выстроились въ струнку, ждутъ, не стрѣляютъ: должно быть, нечѣмъ стрѣлять, али испужались Богородицныхъ ратничковъ...

— Китай крупожоровъ!—кричитъ дядя Савелій съ этой стороны отъ воротъ.

— Сомкнись! — кто-то съ другой стороны, отъ Кремля, со стороны „крупжоровъ“.

— Луни ихъ, измѣнщиковъ!—это отъ дяди Савелья команда.

— Направо-налѣво раздайся!—это команда оттуда, отъ Кремля.

Солдаты по командѣ раздвинулись, ряды ихъ разомкнулись, разорвались, и изъ этой прорвы выглянуло черное жерло огромной пушки... „Богородицыны ратнички“ съ удивленіемъ глянули въ это жерло—и глазомъ не мигнули, потому—не страшно: „дыра какая-то тамъ пустая, братецъ, черная, а рядомъ друга дыра, третья—все дыры пустая... пушачки... эконо видаль!.. мы-де и кнутья выдввали...“

А тамъ, у этихъ „пушачекъ“, кто-то пищать — куда до дяди Савелья!—у дяди во какой голосина!

— Разъ-два-три... жги!

И жигануло же! Изъ пустыхъ дыръ съ громомъ и дымомъ, мѣшками сыпанули чугунные орѣхи прямо въ толпу... Картечь сдѣлала свое дѣло: Боже мой! сколько шапокъ валяется у воротъ и въ воротахъ, сколько головъ, прошибленныхъ насквозь, съ выпущенными на мостовую мозгами! Сколько лаптей, сапоговъ, мертвыхъ и изувѣченныхъ тѣлъ—тѣло на тѣлѣ, лапоть на лаптѣ! А иная онуча такъ картечью къ стѣнѣ, словно гвоздемъ, пришта, мотается...

Не видагъ ни дяди Савелья, ни Васьки-двороваго, ни Илюши - чудовидца—исчезли триумвиры. Одинъ первосвященникъ остался на мѣстѣ: „гулящій попикъ“ уткнулся прошибленною насквозь сѣдою головенкою въ чью-то чужую онучу—и ручки врозь... Въ сторону торчитъ и косенка его, не вся выдранная амвросіевымъ служкою-запорожцемъ... Пальъ „гулящій попикъ“ среди своихъ дѣтокъ духовныхъ: не литургисать уже ему больше, не пѣть ни акаѣнстовъ, ни литеишекъ махонькихъ у Варварскихъ воротъ, не возглашать болѣе надъ своими дѣтками: „житейское море!“ Вонъ какое море крови кругомъ!

Нѣту больше ни проходу, ни проѣзду къ Спасскимъ воротамъ ни со стороны Красной площади, ни со стороны Кремля—все эти священные московскія дефилеи завалены мертвыми тѣлами. А вонъ одно и не мертвое—тевелится, поднимаетъ курчавую русую голову, смотреть вверхъ на голубое небо, на кремлевскія стѣны, на воронъ, сидящихъ на стѣнахъ и смотрящихъ съ карнизовъ на то, что тутъ валяется кучами въ крови... Какъ далеко это голубое небо и какъ оно кружится... все кружится... и кремлевскія стѣны кружатся, и куполы церквей, и вороны на стѣнахъ, и Иванъ Великій кружится, такъ ходенемъ и ходитъ по голубому небу... А со стѣны кто-то смотреть—такое темное, пасмурное лицо, такія большія всевидицкія очи смотрять со стѣны, изъ потемнѣвшаго, бьющаго въ глаза золотомъ оклада... Кто это смотреть со стѣны?.. Охъ, это Она смотритъ, Она—сама Богородица, да такъ сурово, немилостиво?.. За что же?.. Ахъ, да, да! помнится... помнится что-то... Припоминаетъ курчавая голова и шепчетъ:

— Мы за Нее же, Матушку, стояли... а Она сердится... За что же?.. Охъ,



тяжко... голова кружится... воронье кружится... Иванъ Великій ходигь... идетъ сюда... ахъ, упадетъ... упадетъ его колокольня на меня“...

Бѣдный! Это краснощекій — недавно еще краснощекій, а теперь блѣдный—дѣтина изъ Голичнаго ряда. Это онъ валяется, силится поднять свою русую буйщую головушку, поводитъ кругомъ глазами—все мертвецъ! Вонъ и онъ лежитъ—тоже мертвецъ—„попикъ гуляцій“, лежитъ, и ручки врозь... А давно ли еще говорилъ онъ: „Лисью шубу вынесу— вынесу“... Вотъ и вынесъ!.. Только косенка торчитъ...

А небо все кружится... вороны закружились, Иванъ Великій зашагалъ, близко, близко наклоняется его колокольня, клонится и курчавая голова, валится... валится... повалилась...

Теперь кругомъ всё мертвецъ, одна икона жива: она смотритъ со стѣны неподвижно, столѣтія смотритъ—и все видитъ...

Но нѣтъ, не всё мертвецъ тутъ: курчавая голова опять подымается, смотритъ кругомъ, въ ворота смотритъ и видитъ: отъ Красной площади тянутся черныя, смоляныя телѣги — телѣга за телѣгой, а на нихъ люди въ черномъ съ баграми и крючьями—цѣлый караванъ телѣгъ... Протягиваются багры съ крючьями, то тамъ, то тутъ зацѣпять кого изъ тѣхъ, что лежатъ въ Спасскихъ воротахъ... трупъ за трупомъ вскидываются на телѣги... полны ужъ телѣги... Эко сколько мяса!

А вотъ крюкъ тянется и къ курчавой головѣ—близко, близко—зацѣпаетъ за штанину, тащить...

— Охъ! не трошь меня... я живъ... ой!

— Мовчи, москаль!—лѣниво отвѣчаетъ тотъ, что багромъ цѣпляется за штанину курчавой головы.

— Ой, батюшки!

— Та мовчи жъ, гаспиде!.. Отъ бисова московщина! тай обридло-жъ мени тутъ, Господи!.. Сегодня-жъ утику до дому.

Только къ утру очнулись удѣлѣншіе отъ погрома въ Спасскихъ воротахъ „Богородицныя ратнички“. За то еще свирѣбіѣ пошли они добывать Кремль и Еропкина. Съ небывалою свирѣпостію зазвонили опять и всё сорокъ-сороковъ московскихъ храмовъ Божіихъ. На каждой колокольнѣ зазвѣло по десяти-двадцати звонарей. Теперь уже шли на приступъ всё силы Москвы, шли и некарантинныя и карантинныя, которыхъ повыщускали вчера „пъз неволи“... Неязвенное смѣшалось съ язвеннымъ, дреколя смѣшались съ ружьями и топорами; надо было ждать страшнаго дѣла...

Но и Еропкинь не спалъ. Онъ успѣлъ вытребовать въ городъ весь Великолудцій полкъ, который, изъ боязни чумы, стоялъ за тридцать верстъ отъ Москвы. Самого графа-развалину оторвали отъ его собачекъ и привезли въ Москву въ полномъ безпамятствѣ: его привезли, конечно, не для распоряженій, а какъ атрибутъ власти, какъ аргументъ...

За звономъ колоколовъ не слышно было команды, и Еропкинь дол-

жевь былъ передавать свои приказанія сигналами, маханьемъ платкомъ, водвятиемъ рукъ и маханьемъ сабли... Онъ встрѣтилъ толпу у Голычнаго ряда... Толпа была ужасна, и въ первомъ же натискѣ солдаты дрогнули, не смотря на огонь ружей и на картечные залпы, брошенные въ кучу живыхъ тѣлъ... Эти тѣла осилили, — артиллерійскія орудія, защищаемыя примкнутыми штыками, оказались безсильны: страшная саранча завалила ихъ своими тѣлами...

Въ это время за Голычными рядами раздался новый крикъ: то Великолуцкій полкъ, зашедшій въ тылъ толпы, открылъ огонь въ спины „Богородицныхъ ратничковъ“. Залпъ слѣдовалъ за залпомъ, и пока весь полкъ разрядилъ свои ружья, за трупами уже не было ходу, живые шагали черезъ головы мертвыхъ, и остервенѣнныя первыхъ росли при видѣ послѣднихъ... По живыхъ все еще оставалось больше, чѣмъ мертвыхъ, и Еропкинь видѣлъ это, и его живое лицо подергивалось судорогами: онъ терялся...

Пока толпа приходила въ себя, полкъ успѣлъ во второй разъ зарядить ружья, а артиллеристы снова всыпать мѣшки картечи въ пушечныя жерла...

А адекій звонъ не унимается. На этотъ звонъ слетается новая саранча, словно всѣ чумные мертвецы вышли изъ своихъ могилъ и явились требовать отвѣта: зачѣмъ ихъ хоронять не при церквяхъ...

Кто-то подекакиваетъ къ Еропкину и дѣлаетъ ему знакъ рукой, потому что за звономъ все равно ничего не слышать.

— Что, докторъ?—спрашиваетъ Еропкинь во весь голосъ.

— Звонариковъ бы, ваше превосходительство, тово,—отвѣчаетъ веселый докторъ, указывая на колокольни: — пока они звонятъ—Москву всѣ арміи російскія съ Румянцевымъ и Суворовымъ не осиятъ...

Докторъ былъ правъ, и Еропкинь приказалъ „снять звонарей съ колоколенъ живыми или мертвыми...“

Сдѣланы были еще залпы цѣлымъ полкомъ и всею артиллерією: на этотъ разъ пули и картечь, пробивъ въ рядахъ толпы цѣлые переулки, заставили массу дрогнуть, тѣмъ болѣе, что и ближайшія колокольни сразу умолкли...

Звонари оказались до того люты, что руками и зубами впились въ колокольни веревки, и ослѣпѣвшіе солдаты, насаживая ихъ на штыки, какъ козьявокъ, сбрасывали съ колоколенъ на головы толпы. Тогда только послѣдняя поняла, что дѣло ея проиграно...

— Да, вы хорошій стратегъ, докторъ, — сказалъ Еропкинь веселому доктору, видя, какъ толпы частью бросились бѣжать въ разсыпную, частью же, побросавъ колья и топоры, безмольно сдавались солдатамъ:—кто хочетъ овладѣть Москвою, тотъ долженъ прежде взять колокольни.

А докторъ уже бѣгалъ по этому аду, стараясь найти живыхъ между тысячами мертвыхъ...

Да, покойный „гулящій поликъ“ былъ правъ: то, о чемъ повѣдалъ

попу Мардарію невѣдомый „пификъ“, сбылось: по Москвѣ прошелъ и моръ, и каменный дождь; протекла также, вмѣсто огненной, и кровавая рѣка, по которой и бродилъ теперь веселый докторъ.

## V.

### Небывалый манифестъ.

Раннимъ утромъ 21-го сентября, памятнаго для Россіи 1771 года, императрица Екатерина II Алексѣевна, съ небольшою книжкою въ рукахъ, сойдя въ садъ по внутренней садовой террасѣ царекосельскаго дворца, направилась, предшествуемая своей собачкой Муфти, въ глубину парка, на богатую зелень котораго осень уже налагала свою безжалостную руку. Императрица одѣта была въ сѣрый просторный капоть, подпоясанный у таліи шелковымъ сиреневымъ, съ кистями такого же цвѣта, шнуромъ, и въ высокому утреннему со сборками чепцѣ. Она шла задумчиво, по временамъ дѣлая движенія указательнымъ пальцемъ опущенной книзу правой руки, какъ бы мысленно на что-то указывая или отмѣчая и подчеркивая. Видно было, что эти подчеркиванія мысли дѣлались въ ея озабоченномъ мозгу неволью и отражались на спокойномъ, сосредоточенномъ лицѣ и въ свѣтлыхъ, съ двойнымъ какимъ-то свѣтомъ глазахъ.

Тонконогая и тонкомордая собачка, забѣгая впередъ, часто возвращалась къ своей госпожѣ, заглядывала ей въ глаза, виляла хвостомъ, какъ бы желая сказать, что „вѣдь, и я, матушка, тоже озабочена за тебя, тоже, дескать, вижу, что ты подчеркиваешь что-то въ умѣ, и я вотъ подчеркиваю хвостомъ, да только не вѣдаю, что оно такое“; но, видя, что императрица не обращаетъ на нее вниманія, она опять убѣгала впередъ, желая показать свою ревность по службѣ, обнюхивала каждый кустикъ, накидывалась на каждаго воробья, который осмѣливался прыгать по царской дорожкѣ,—и снова, съ чувствомъ исполненнаго долга, возвращалась къ императрицѣ. Но та опять не обращала на нее вниманія...

„Что за пропасть! — объ чемъ она думаетъ — и понять не могу“, — такъ и свѣтится этотъ вопросъ въ умныхъ глазахъ собаченки, и она опять стремительно летитъ впередъ.

Вдругъ въ одномъ густомъ кустѣ акцій замыкала кошка, да такъ рѣзко, что собачка даже припрыгнула отъ изумленія.

Вотъ сюрпризъ! Кошка въ царскомъ паркѣ! Собаченка и ушамъ своимъ не вѣрить.

Кошка опять замыкала... Собачка неистово бросилась на кустъ и начала лаять что есть мочи: „нашла! нашла врага!“ — слышалось въ ея усердномъ лаевѣ. И собачка счастлива: она обратила на себя вниманіе императрицы. Мало того—даже часовой, вытянувшійся тамъ гдѣ-то въ струнку и издали сдѣлавшій ружьемъ на-караулъ,—и онъ добродушно улы-

бался, поглядывая почтительно то на императрицу, то на собачку, то на предательскій кустъ.

— Не трогай ее, Муфти! — сказала императрица, приближаясь:—она тебя оцарапаетъ.

Собаченка залаяла еще неистовѣе, да такъ и уткнула морду въ кустъ... Но вдругъ она завияла хвостомъ, запрыгала, да такъ радостно, что самое императрицу занялъ этотъ восторженно виляющій хвостъ.

— Что, Муфти, кошка тамъ?

Кошка снова замыкала и фыркнула. Собаченка закувыркалась отъ радости и бросилась къ императрицѣ.

— Чему рада, глухая собака?

Собачка восторженно залаяла, желая что-то объяснить, но, не имѣя другого органа гласности, кромѣ хвоста и безтолковаго языка, она только закувыркалась.

— Вѣрно, знакомая кошка...

Но изъ куста вдругъ показалась голова въ наудренномъ парикѣ—и снова замыкала... Часовой невольно фыркнулъ, сцѣпивъ зубы.

— А! это ты, повѣса,—весело сказала императрица.—Вотъ надѣлалъ тревоги Муфти.

Изъ куста во весь ростъ всталъ мужчина въ одеждѣ придворнаго сановника.

— Опять за старое принялся, проказникъ?—продолжала императрица, ласково улыбаясь.

— Какъ за старое, матушка государыня? — отвѣчалъ царедворецъ, кланяясь.

— За мяуканье...

— Помилуй, матушка государыня,—это самое новое, самое новое дѣло—мяуканье, даже можно сказать—государственное дѣло,—отвѣчалъ вельможа.

— Какъ государственное, повѣса?

— Да какъ же, матушка, не государственное: нынѣ коты *во времени*...

Императрица бросила на него лучи двойного свѣта изъ своихъ немножко расширенныхъ зрачковъ и, улыбаясь, ждала объясненія шуткѣ.

— Да какъ же, матушка! — вонъ кievскій котъ сколько тревоги надѣлалъ тамошнему генералъ-губернатору Федору Матвѣичу Восейкову...

— Да, да—тумульту надѣлалъ изряднаго...

— Какъ же-съ! А султанъ турецкой, сказываютъ, этому Васкѣ кievскому, за учиненіе имъ зла врагу султанову — великой царицѣ сѣверной Пальмиры, обѣщалъ прислать орденъ шнурка, коли Васкя останется цѣль.

Императрица задумчиво улыбалась.

— Ахъ, Левушка, Левушка, ты все такой же повѣса остался, какъ тогда—помнишь—еще въ молодости...

„Повѣса“ или „шпынь“, какъ его называлъ Фонвизинъ, Левъ Александровичъ Нарышкинъ, или вѣрнѣе „Левушка“, какъ-то комически махнулъ рукой, конечно, на молодость.

Въ это время по аллеѣ показались двѣ фигуры, торопливо шедшія по

направленію къ императрицѣ. Въ рукахъ одного изъ нихъ была пѣпка съ бумагами, у другого — небольшая черпильница, утыканная перьями и карандашами.

— А! кровопійцы идутъ—мухи государственныя, что вамъ, матушка, и дохнуть не дадутъ — все на ухо жужжать, — замѣтилъ Левушка, гримасничая.

— Да, Лева,— много намъ дѣла—теперь не до мяуканья, — грустно сказала императрица.

Пришедшіе были неизмѣнные докладчики наиболѣе важныхъ дѣлъ по внутреннему государственному управленію: генераль-прокуроръ князь Вяземскій и генераль-фельдцейхмейстеръ графъ Григорій Орловъ.

Они издали почтительно поклонились императрицѣ и остановились.

— Съ добрымъ утромъ, — ласково сказала государыня: — что же вы побѣдете?

— Но смѣемъ, ваше величество, приблизиться, — съ тономъ пасмурнаго сожалѣнія отвѣчалъ Вяземскій.

— Почему же такъ? — нѣсколько дрогнувшимъ голосомъ спросила Екатерина.

— Бумаги съ нами, государыня, изъ неблагополучнаго мѣста — изъ Москвы, — отвѣчалъ Орловъ.

— Что же такое? что тамъ?—еще тревожнѣе спросила императрица.

— Простите, ваше величество, — нервѣшительно заговорилъ Вяземскій: — курьеры прискакали изъ Москвы съ эстафетами экстренными...

— Давайте-жь ихъ мнѣ, — рванулась императрица.

И Вяземскій, и Орловъ нѣсколько отступили назадъ. Они казались смущенными. Императрица замѣтно поблѣднѣла...

— Что же, наконецъ, тамъ! давайте бумага!..

— Выслушайте, государыня, и не извольте тревожиться, — попрежнему, не торопясь, началъ Вяземскій: — зная ваши матернія попеченія о своихъ поданныхъ, для блага коихъ вы готовы жертвовать вашимъ драгоценнымъ здоровьемъ, мы осмѣлились не допустить этихъ эстафетъ до вашихъ рукъ, трепеща за вашу жизнь, и сами вскрыли ихъ, принявъ должныя предосторожности... По тому же самому мы и не осмѣливаемся приблизиться къ особѣ вашего величества...

— Благодарю, благодарю васъ, но я желаю знать, что же тамъ, — нѣсколько покойнѣе сказала Екатерина.

— Въ Москвѣ неблагополучно, ваше величество... Вотъ что допустить Еропкинь...

Императрица вошла въ ближайшій павильонъ, а за нею и докладчики. Князь Вяземскій развернулъ бумагу и погрозилъ собачкѣ, которая хотѣла было къ нему подойти. Тогда Левушка взялъ собачку за ошейникъ и уложилъ на ближайшую скамейку...

— Кушъ-кушъ... не подходи къ нимъ—они бука...

Вяземскій откашлялся и началъ читать: „Къ безпримѣрному сожалѣнію,

ожиданіе превосходящей бѣдства и ужаса наполненный случай необходимо обязывает меня, всемилостивѣйшая государыня, и сверхъ моего рапорта генераль-фельдмаршалу графу Петру Семеновичу Салтыкову, какъ своему собственному командиру, всенижайше представить и отъ себя о томъ происшествіи, которое подвергало столичный вашего императорскаго величества городъ наисовершенному бѣдствію, состоящій въ томъ, что народъ, негодуя доднесь на всѣ въ пользу ихъ повелѣнныя отъ вашего императорскаго величества мнѣ учрежденія о карантенахъ и другихъ осторожностяхъ, озлились какъ звѣри, и сего мѣсяца 15 дня сдѣлали настоящій бунтъ, вбѣжавъ въ Кремль и разоряя архіерейскій домъ, искали убить онаго. Но какъ съѣхалъ сей бѣдный агнецъ скрытно въ монастырь Донской, то, вбѣжавъ и туда въ безмѣрномъ пьянствѣ, злодѣи до трехъ-сотъ, 16-го поутру, убили онаго мучительно до смерти...

Екатерина въ ужасѣ всплеснула руками... „Боже мой!“ Она была блѣдна. Зрачки глазъ расширились...

Всѣ молчали...

— Ну, что же еще?.. прошу... продолжайте...—въ голосѣ ея слышались слезы.

Вяземскій продолжалъ, но такъ тихо, что едва слышно было: „карантены учрежденные разорили, выпустили изъ Данилова монастыря и изъ другого двора, состоящаго на серпуховской дорогѣ, разбивъ дубьемъ и камнями стоявшаго на караулѣ офицера, сопротивлявшагося имъ, какъ и подлѣбчаря, въ одномъ изъ тѣхъ карантеновъ находившагося; а другіе изъ злодѣевъ, вбѣжавъ въ Кремль, пробыли тамъ всю ночь и до половины дня, бивъ въ набатъ вездѣ, разоряя и домъ доктора Меркенса. Въ злодѣйствѣ семь находились боярскіе люди, купцы...“

— И купцы,—здумчиво повторила императрица.

„...подъячіе и фабришники (не останавливался Вяземскій), а особливо раскольщики, разсѣвая плевели, что они стоятъ за Богородицу, нашедъ образъ на Варварскихъ воротахъ, сказывая, что онъ явленный, къ которому толпами ходятъ молиться. Архіерей несчастливой, видя, что отъ такой молитвы заражаются опасною болѣзнію, послалъ своего эконома и секретаря запечатать ящики денежнаго сбора:—и произвело, всемилостивѣйшая государыня, вышеупомянутое смятеніе...“

— Что же онъ самъ, Еропкинь, дѣлалъ—я не вижу,—хмурия брови, говорила императрица.

— Онъ далѣе доносить о семъ, государыня,—успокоивалъ ее Орловъ.

— Ну... вотъ и счастливой семьдесятъ первой годъ!—качала головой Екатерина.—Счастливой!

— Еропкинь, государыня, пишетъ: „Я, видя злключительное состояніе города, послалъ тотчасъ ко всѣмъ здѣсь находящимся гвардіи офицерамъ съ командами, объявивъ имъ высочайшій вашего императорскаго величества указъ, чтобы они мнѣ повиновались, отправя въ то-жъ самое время нарочнаго къ генераль-фельдмаршалу въ подмосковную...“

— Я так и знала, что онъ съ собачками тамъ...

Ея собственная собачка, услыхавъ о собакахъ, запрыгала около нея.

— Пошла, Муфти,—не до тебя теперь... Плохое дѣло—вѣрять государство выжившимъ изъ ума старикамъ... Ну, прости, князь,—я тебя все перебиваю (это къ Вяземскому).

Вяземскій повловился и продолжалъ: „...въ подмосковную, который ужъ и пріѣхалъ, и Великолудцкій полкъ ввелъ въ городъ, давъ свою диспозицію оберъ-полицеймейстеру, въ какихъ мѣстахъ занять постъ для истребленія злодѣевъ, потому что я въ эту ночь, въ которую выгнаны были мною разоряющіе Чудовъ монастырь возмутители, сѣбша истреблять оныхъ, отъ одного изъ сихъ дерзостныхъ, брошенныхъ въ меня шестомъ, а отъ другого камнемъ въ ногу вытерпѣлъ удары“...

— Вѣдной... ну...

— „...и бывъ двои сутки безвыходно на лошади, объѣзжая разныя мѣста города, совсѣмъ ослабѣлъ, и не имѣя чрезъ все то время ни сна, ни пищи, въ крайнее пришелъ безсиліе, получа отъ того и пароксизмъ лихорадочный и, наконецъ, теперь принужденъ ужъ слечь въ постелю, бывъ здѣсь въ то время одинъ только съ губернаторомъ московскимъ, потому что всѣ другіи господа сенаторы разѣхались“...

Екатерина покачала головой, но ничего не сказала; а Левушка какъ бы про себя прибавилъ: „и я бы удралъ навѣрное“...

— „Соединя къ командамъ гвардіи за раскомандированіемъ оставшихъ пятьдесятъ человѣкъ Великолудцкаго полка и набравъ не больше ста-тридцати человѣкъ, при чемъ были нѣкоторые и изъ статскихъ для смотрѣнія, что съ корпусомъ, мною предводительствуемымъ, случится, пошелъ, гдѣ не одна тысяча была пьяныхъ, разорявшихъ архіерейскій домъ и погреба купеческіе, подъ монастыремъ Чудовымъ состоящіе, производя такую наглость, что въ Кремль и прѣхать никому было невозможно. И хотя увѣщевалъ я изувѣрствующихъ, посылая къ нимъ здѣшняго оберъ-коменданта, генералъ-поручика Грузинскаго царевича, но они встрѣтили его камнемъ, какъ равномѣрно и бригадира Мамонова, который, для того-жъ увѣщанія пріѣзжалъ, чрезвычайно разбили голову и лицо. И такъ сія дерзость заставила меня, всемплоштивѣйшая государыня, дѣйствовать ружьемъ и сдѣлать нѣсколько выстрѣловъ изъ пушекъ и истреблять злодѣевъ мелкимъ ружьемъ и палашами. Въ Кремлѣ ихъ пало человѣкъ не меньше ста, да взято подъ караулъ двѣсти-сорокъ-девять человѣкъ, изъ которыхъ нѣсколько находится съ стрѣленными и рублеными руками, и хотя они, отъ того устрашась, разбѣжались, но и вчерашній день на Варварской улицѣ“...

— А котораго числа пишетъ Еропкинь?—спросила императрица.

— Осьмнадцатаго, государыня,—отвѣчалъ Орловъ, до того молчавшій.

Екатерина кивнула головой и начала что-то считать по пальцамъ.

— Я слушаю,—сказала она.

— „...на Варварской улицѣ и противъ Красной площади нѣсколько шаекъ народу было, однакожъ на бросаніе каменьева и шестова уже отва-

житья не смѣли и только требовали у стоявшаго на Спасскомъ мосту подлѣ учрежденнаго тамъ пикета здѣшняго губернатора, чтобъ отдали имъ взятыхъ подъ караулъ ихъ товарищей, а притомъ чтобъ безъ билетовъ хоронить и не вывозить въ карантены“.

Вяземскій остановился—онъ кончилъ.

— Чего они такъ не любятъ билетовъ?—спросила императрица.

— Они, матушка, хапанцевъ не любятъ, а не билстовъ,—улыбнулся Левушка.

— Какихъ хапанцевъ?

— Хапенъ зи гевезень...

И Левушка сдѣлалъ такой жестъ,—какъ это „хапенъ“ дѣлають, — что даже серьезный Вяземскій улыбнулся.

— Хапенъ зи гевезень баранка въ бумажкѣ,—пояснялъ Левушка.

— Ну, будетъ дурачиться—не до того теперь...

— Еропкинь еще пишетъ, государыня,—подсказалъ Орловъ; котораго, повидному, беспокоила какая-то мысль.—Онъ проситъ отставки...

— Отставки! теперь именно!—воскликнула императрица, вставая съ мѣста и вопросительно глядя на присутствующихъ.—Значитъ, тамъ хуже, чѣмъ какъ писать...

— Хуже, государыня!—тихо сказалъ Орловъ.

— Что же еще пишутъ!.. Докладывайте все разомъ: не бойтесь, не упаду въ обморокъ... Я уже десять лѣтъ царствую... Благодарю Бога — все вынесла на своихъ плечахъ... Богъ поможетъ—вынесу и это...

Она ходила, ломая руки, то подходя къ докладчикамъ, которые пятились отъ нея, то дѣлая круги по павильону... Свѣтлые глаза ея какъ-то полиняли, „сбѣжали“, какъ говорится о линючемъ ситцѣ...

— Девятнадцатаго числа, ваше величество, Еропкинь доносить, — снова началъ Вяземскій:—„сколь злоключительныя нынѣшнія обстоятельства Москвы, о томъ вчерашній день по эстафетѣ...“

— Когда-жъ эта пришла?—обратилась императрица къ Орлову.

— Черезъ полчаса или менѣ послѣ той, ваше величество... Этотъ курьеръ загналъ лошадей...

— А!.. узнать его имя... Дальше...

— „...я всеподданнѣйше доносилъ уже вашему императорскому величеству, а симъ то еще всенижайше представить не пропускаю, что хотя дерзость явно произведенная въ злодѣйскомъ убійствѣ московскаго архіерея отчасти возмутившагося здѣшняго города мною и истреблена и три дня прошло здѣсь въ желанномъ спокойствѣ, но слухи однакожъ, съ разныхъ сторовъ доходящіе до меня, всемилостивѣйшая государыня, одно мнѣ приносятъ увѣдомленіе, что оставшее отъ злочестивыхъ совѣщателей устремленіе свое во всей силѣ имѣють всю звѣрскую ихъ жестокость обратить на меня, обнадеживая себя, что они убивствомъ меня и всѣхъ докторовъ скорѣй получатъ свободу отъ осмотровъ больныхъ, отъ выводу въ карантень, а притомъ и хоронить будутъ умершихъ внутри города, считая, что



будто и тому я причиною, смущаясь притомъ и недозволеніемъ въ бани ходить, грозить тѣмъ и подполковнику Макалову, у котораго карантенные дома состоятъ въ смотрѣніи. Ожесточеніе предписанныхъ злодѣевъ такъ было чрезвычайно, что они не только кельи архіерейскія, но и его домовую церковь, какъ иконостасъ, такъ и всю утварь совсѣмъ разграбили. Вышеобъясненные неудовольствія и угрозы злочестивыхъ людей, какъ лютыхъ тигровъ, отъ безразсудства ихъ на меня пламенѣющія за то одно, что я здѣсь въ сенатѣ и во всемъ городѣ одинъ рачительнымъ исполнителемъ всѣхъ тѣхъ учреждений, о которыхъ вашему императорскому величеству высочайшими своими повелѣніями о карантенахъ предписать мнѣ благоугодно было. Но вся жестокость злонравныхъ людей, каковую по совъщанію вкоренили они въ свои грубыя сердца, не имѣла силы ни умалить моей прилежности къ порученному мнѣ отъ вашего императорскаго величества дѣлу, ни ужасъ“...

— Ну, ну—это слова... Я ихъ давно знаю... прочтите мнѣ дѣло, — нетерпѣливо сказала Екатерина.

Вяземскій пробѣжалъ бумагу глазами.

— Онъ смущается, государыня, чтобы злодѣи въ теперешней его разслабленности не навлекли на него участи покойнаго архіерея,— проговорилъ Вяземскій.

Императрица слегка нахмурила брови и бросила взглядъ на Орлова.

— Онъ проситъ увольненія на время,—поторопился Орловъ: — онъ говорить, что одно отрѣшеніе его отъ дѣла въ состояніи будетъ успокоить безумную чернь...

— А! понимаю...—и глаза ея сверкнули попрежнему:—значить, *мы* должны уступить черни...

Всѣ молчали; чего-то тревожно ожидая...

— Да? такъ?—обратилась она къ Вяземскому:—уступить *намъ*?

— Ни за что, ваше величество!—съ силой сказали оба докладчика.

Императрица улыбулась какъ-то странно...

— А я полагаю, что *мы* должны уступить,—сказала она твердо.

Всѣ переглянулись: никто не находилъ, что сказать. Нашелся одинъ Нарышкинъ.

— Тягучее золото, матушка, всегда уступаетъ въ грубости и неподатливости мерзкому чугуну,—играя съ собачкой, вставилъ невинную лесть хитрый Левушка.

— Правда, правда, Левушка!—и императрица одобрительно кивнула головой своему „шпыню“.—Но кого-жъ мы пошлемъ на мѣсто Еропкина?—спросила она, ни къ кому не обращаясь.

Всѣ молчали.

— Меня, матушка,—сопкольничалъ Нарышкинъ; но Екатерина даже не взглянула на него.

— Я себя пошлю!—сказала она рѣшительно.

Орловъ встрепенулся. Вяземскій спряталъ свои лукавые глаза, которые

какъ бы говорили: „хитрить изволите, матушка... Вы очень-очень умны; но и мы, вѣдь, не мимо носа нюхаемъ“...

— Государыня!—возвысилъ голосъ Орловъ:—при подписаніи перваго манифеста о моровой язвѣ вы изволили вспомнить Орловыхъ...

Государыня милостиво взглянула на него, и глаза ея выразили ожиданіе.

— И я, матушка, желаю имѣть свою Чесму,—продолжалъ Орловъ:—мнѣ завидно брату Алексѣю...

Говоря это, онъ смотрѣлъ въ землю, ожидая отвѣта императрицы, и по мѣрѣ того, какъ она медлила отвѣтомъ, онъ блѣднѣлъ. Нарышкинъ же между тѣмъ шалилъ съ Муфти, повязывая ей голову шелковымъ фуляромъ, что дѣлало собаченку похужею на старушку.

— Быть по сему!—сказала, наконецъ, императрица послѣ томительнаго молчанья.—Но я сама должна говорить съ Москвою.

— Манифестецъ, матушка, я живо настрочу,—снова заговорилъ Нарышкинъ.

— Нѣтъ, Левушка, ты мастеръ въ комедіяхъ, да въ сатирахъ, а манифестъ мы и безъ тебя напишемъ,—сказала императрица.

Она встала и послѣдовала ко дворцу, сопровождаемая докладчиками и Нарышкинымъ съ собачкою.

Войдя въ кабинетъ, онъ тотчасъ же приказала Вяземскому сѣсть за сочиненіе манифеста.

— Да поискуснѣе: смотри, батюшка князь, а главное—покороче, это для черни,—добавила она.—Дѣло щекотливое.

Когда Вяземскій усѣлся писать, императрица позвонила. Вошелъ угрюмый лакей, очень любимый Екатериною за его честность и даже ворчливость.

— Здорово, Захаръ! Позови Марью Савишну...

Захаръ поклонился и началъ укоризненно качать головой.

— Что, Захаръ,—чѣмъ я передъ тобой провинилась?—спросила, улыбаясь, императрица.

— Да какъ же тебѣ, матушка, не стыдно! Точно у русской царицы слугъ нѣтъ... Встала нынче ни свѣтъ, ни заря, когда еще дѣвки дрыхнули, да сама и ву шарить—одѣваться,—чтобъ только не тревожить этихъ сорокъ, прости Господи!—да и надѣла капотишка-то во какой! вѣтромъ подбитый,—а на дворѣ-то холодно... Эхъ! а теже русская царица!

— Ну, виновата, Захарушка,—никогда не буду...

Захаръ махнулъ рукой и угрюмо удалился. За нимъ вошла средних лѣтъ женщина, съ полнымъ и, повидному, добродушнымъ лицомъ—лицомъ совершенно простой русской бабы, но тоже съ двойнымъ, гарнитуроваго цвѣта блескомъ въ сѣрыхъ глазахъ.

— Вотъ что, Марья Савишна, —сказала императрица вошедшей женщиной:—вели мнѣ голову сейчасъ же чесать, да только безъ пудры... А то вчера просматривала я счеты и нашла, что на мою голову въ годъ выходитъ пудры 365 пудовъ: по пуду на день... А я все не догадаюсь, отчего это у меня голова такъ тяжела,—а это отъ пудры...

Марья Савишна добродушно засмѣялась; но этотъ добродушный смѣхъ долженъ былъ ножомъ пройти по сердцу того, кто подалъ императрицѣ счетъ о пудрѣ.

— Что же, матушка государыня,—твоя головка—не простая, оттого и пудры на нее столько идетъ,—болталъ Нарышкинъ, продолжая играть съ собакой. — Вотъ блаженной памяти царю Петру Алексѣичу тоже разъ подали счетецъ... Однажды, осматривая работы на рейдѣ, онъ изволилъ прочмочить себѣ ножки.

— Ужъ и ножки,—улыбнулась Екатерина.

— Точно такъ, матушка,—ножки,—продолжалъ Нарышкинъ: — и сдѣлался у его величества насморкъ. Государь тутъ же приказалъ подать ему салную свѣчу и помазалъ носъ... Ну, съ тѣхъ поръ по счетамъ адмиралтействъ-ревизіонъ-духтъ-конторы и показывали по пуду свѣчей въ сутки на насморкъ государя...

— Ну, Левушка, ужъ это ты самъ сочинилъ,—замѣтила императрица, поглядывая на Вяземскаго, который усердно писалъ, часто потирая себѣ то лобъ, то переносицу, какъ бы выдавливая изъ лба самыя энергическія выраженія.

Наконецъ, онъ положилъ перо.

— Готово?—нетерпѣливо спросила императрица.

— Готово, ваше величество, — отвѣчалъ Вяземскій, дѣлая на бумагѣ поправки: — не знаю только, какъ изволите найти мое сочиненіе...

— Послушаемъ... Ну, начинай—сегодня манифестъ долженъ быть напечатанъ и отправленъ.

Вяземскій началъ: „Божією милостію“...

— Хорошо... хорошо... Текстъ-то какъ начинается?—нетерпѣливо перебила его императрица.

— „Взирая съ матернимъ прискорбіемъ и негодованіемъ“...

— Будеть! будетъ!—остановила тщеца Екатерина, вставая съ распущенными волосами и подходя къ столу, за которымъ сидѣли Вяземскій и Орловъ (послѣдній просматривалъ папку своихъ докладовъ).—Ты не понялъ меня, князь... Ты прямо съ чугуна начинаешь...

Вяземскій всталъ и хладнокровно ждалъ разъясненія словъ государыни: онъ зналъ, что она принимала иногда совершенно неожиданныя рѣшенія, когда забирала себѣ въ голову,—и рѣшенія эти были умны.

— „Негодованіе“!.. Да тутъ о „негодованіи“ и помину не должно быть!—говорила императрица, тревожно ходя по кабинету.—Ты ихъ, чего добраго, и бунтовщиками назвалъ...

— Да какъ же, государыня, вѣдь, они бунтуютъ?—настаивалъ Вяземскій.

— Мои дѣти не бунтуютъ!.. Они могутъ ошибаться, огорчать меня, но никогда не бунтуютъ... Еще неизвѣстно, какъ дѣло было, а мы ужъ и бунтовщикамъ въ манифестѣ мѣсто отводимъ... Можетъ, еще и Еропкинъ что по горячности и изъ усердія напуталъ, а то и покойный Амвросій, а мы все на народъ... Не забудьте—онъ стоялъ за Богородицу!..

Императрица говорила горячо, постоянно откидывая назад волосы и засучивая рукава капота... Лицо ея покрылось краской... А Вяземскій стоялъ попрежнему и пряталъ глаза, потому что они говорили: „охъ, умна—умна!.. умно хитрить... у! умница“...

— Садись, Алексѣичъ, и пиши—я сама продиктую,—сказала, наконецъ, Екатерина, отдавая свою голову въ распоряженіе камеристокъ.— Пиги: „Всѣмъ и каждому, кому о томъ вѣдать надлежитъ, наше монаршее благоволеніе“...

— Благоволеніе! — не утерпѣлъ Вяземскій: — это бунтовщикамъ-то и злодѣямъ!..

— Ну, добро... Кто не былъ въ царской шкурѣ...

— Въ порфирѣ, матушка,—подсказалъ Нарышкинъ.

— Въ шкурѣ, Левушка, — кто не былъ въ ней, тотъ и не пойметъ царя... Не строгость побуждаетъ, а милость... Такъ пиши, знай: „Видя прежалостное состояніе вашего города Москвы и что великое число народа мретъ отъ прилипчивыхъ болѣзней, мы бы сами поспѣшно туда прибыть за долгъ званія нашего почли, есть ли бы сей нашъ походъ, по теперешнимъ военнымъ обстоятельствамъ, самымъ дѣломъ за собою не повлекъ знатное разстройство и помѣшательство въ важныхъ дѣлахъ имперіи нашей. И тако не могли дѣлать опасности обывателей и сами подняться отсель, заблагодарасудили мы туда отпривить особу отъ насъ повѣренную, съ властію такою, чтобы, по усмотрѣнію на мѣстѣ нужды и надобности, могъ дѣлать онъ все тѣ распоряженія, кои ко спасенію жизни и къ достаточному прокормленію жителей потребны. Къ сему избрали мы (императрица ласково, но зорко взглянула на Орлова), по нашей къ нему отъиной довѣренности и по довольно извѣстной его ревности, усердію и вѣрности къ намъ и отечеству, нашего генерала-фельдцейхмейстера и генерала-адъютанта графа Григорія Орлова, уполномочивая его поступать во всемъ такъ, какъ общее благо того во всякомъ случаѣ требовать будетъ, и отъиная (на этомъ словѣ императрица сдѣлала особенное удареніе)—отъиная ему тамо то изъ сдѣланныхъ учрежденій, что ему казаться будетъ или не вмѣстно, или не полезно, и вновь устанавливая все то, что онъ найдетъ поспѣшествующимъ общему благу. Въ чемъ во всемъ повелѣваемъ не токмо всѣмъ и каждому его слушать и ему помогать, но и точно всѣмъ начальникамъ быть подъ его повелѣніемъ, и ему по сему дѣлу присутствовать въ сенатѣ московскихъ департаментовъ; прочія же присутственные и казенныя мѣста имѣютъ исполнять по его требованію. Запрещаемъ же всѣмъ и каждому дѣлать какое-либо пренятствіе и помѣшательство какъ ему, такъ и тому, что отъ него повелѣно будетъ; ибо онъ, зная нашу волю, которая въ томъ состоитъ, чтобъ прекратить, колико смертныхъ сила достаетъ, гибель рода человѣческаго, имѣетъ въ томъ поступать съ полною властію и безъ препоны“.

Императрица остановилась. Вяземскій продолжалъ держать перо надъ бумагой. Орловъ былъ блѣденъ и, видимо, думалъ о чемъ — то трудномъ...

„Кто же?... кто же?“—иногда невольно и неслышно шептали его губы:— „развѣ Потемкинъ...“

— Все!—сказала императрица, вставая.

— Все... и ни слова о бунтѣ, — изумленно бормоталъ Вяземскій:— и еще имъ же, негодьямъ, монаршее благоволеніе... Да такого манифеста съ роду не было ни къ кому, а тѣмъ паче къ бунтовщикамъ...

Одинъ Нарышкинъ, все время возившійся съ собакой, понялъ Екатерину. Онъ упалъ передъ нею на колѣни и цѣловалъ подолъ ея капота.

— Матушка! матушка!—говорилъ онъ съ восторгомъ:—ты мудрѣйшая изъ всѣхъ царей земныхъ—ты великая сердцеѣдица... Такъ и меня спасли когда-то, какъ ты спасаешь нынѣ Москву... Когда мнѣ было лѣтъ пятнадцать, я изъ отроческаго молодечества сталъ пить — и пилъ по ночамъ, тайно отъ отца, котораго я трепеталъ... Сія пагубная страсть чуть не погубила меня совсѣмъ: я доходилъ до тременса... Отцу и донесли о семъ холопы... Отецъ и виду не показалъ, что знаетъ мою преступную тайну; но за первымъ же объѣдомъ говорить мнѣ: „Лева! ты уже большой мальчикъ—чокнемся съ тобой... Привыкай къ жизни, привыкай и къ вину... Пей, какъ всѣ мы, взрослые...“ Признаюсь, я заплакалъ и бросился ба-тошкѣ на шею... Никогда я не любилъ его такъ, какъ въ сей моментъ... И повѣришь ли, матушка, я сталъ человѣкомъ, какимъ ты и знаешь меня давно...

— Ты хорошій человѣкъ, Левушка,—ласково сказала императрица.

— А ты—величайшая женщина и мудрѣйшая монархія!

— О! Левушка! ты всегда меня баловалъ...

И, погрозивъ Левушкѣ пальцемъ, императрица удалилась.

## VI.

### Конецъ чумѣ.

Снова звонъ колоколовъ по всей Москвѣ, но уже не набатный, а унылый, похоронный. И въ какомъ-то особенномъ, глубоко-потрясающемъ душу порядкѣ идетъ мрачно-торжественный перезвонъ, словно стонетъ безконечно великая мѣдная, но живая человѣческая грудь. Сначала застонетъ Иванъ Великій, и тоскливо пронесется съ высоты Кремля по всей Москвѣ это страшное металлическое стenanіе; а за нимъ застонутъ ближайшія церкви, потомъ дальнѣйшія, и стонъ этотъ идетъ отъ центра города къ окраинамъ, а потомъ снова возвращается къ центру—и снова тотъ же круговой стонъ. Можно подумать, что вся Москва, наконецъ, вымерла, и это Москву хоронить кто-то невидимый.

Нѣтъ, это Москва хоронитъ своего архіепископа, повоюбѣннаго Амвросія.

На кладбищѣ Донскаго монастыря, на краю двухъ свѣже-вырытыхъ глубокихъ могилъ, стоятъ на „марахъ“ два гроба. Въ одномъ гробѣ ле-

жить *что-то* въ архієпископскомъ облаченіи со всѣми принадлежностями святительскаго сана... *Что-то* лежитъ—потому что лицо лежащаго въ гробѣ закрыто пеленою. Въ другомъ гробу лежитъ *что-то* въ полномъ архимандричьемъ облаченіи—и тоже съ закрытымъ пеленою лицомъ.

Въ первомъ гробу лежать Амвросій, во второмъ—его братъ Никонъ.

Около могилъ съ одной стороны стоятъ цѣлый сонмъ духовенства въ черныхъ ризахъ, съ другой—власти и зрители. Тутъ же, у перваго гроба, и графъ Орловъ—такой глубоко задумчивый, задумчивый въ себѣ, словно бы думы его были далеко отъ этого гроба, отъ этой могилы... Да, онѣ далеко: онѣ носятся гдѣ-то надъ Дунаемъ, около красивой, гордой головы того, которому вотъ этотъ лежащій въ гробѣ мертвецъ помогаль когда-то „рублями“ и „полтинами“, и который теперь, какъ „князь тьмы“, начинаетъ затмевать славу Орловыхъ и вытѣснять ихъ изъ сердца, носящаго въ себѣ всю Россію...

Немного поодаль стоятъ и безмолвно, но съ какою-то невыразимою нѣжностью въ глазахъ, смотрять въ разверстыя могилы двѣ молодыя дѣвушки въ траурной одеждѣ больничныхъ сидѣлокъ. Это—Лариса и Настя, мысли которыхъ тоже не здѣсь: одной—гдѣ-то у невѣдомаго Прута, другой—на кладбищѣ Даниловаго монастыря; и обѣ что-то вспоминаютъ: одна—свѣтлорусую голову, отъ которой локонъ вотъ тутъ, на груди; другая вспоминаетъ „сѣнцы“ и безтолково щелкающаго соловья...

За ними виднѣется кругленькая фигурка и живое съ добрыми глазами лицо веселаго доктора. И на его добромъ лицѣ легкая дума и еще что-то новое. Онѣ тоже о чемъ-то вспоминаетъ. Но объ чемъ ему? А вотъ объ чемъ: и у него, какъ у Ларисы—глупость какая для пожилаго доктора!—есть тоже на груди локонъ, но только черный, словно отъ головы молодой цыганеночки,—локонъ, снятый имъ съ груди одного мертвеца на берегу Прута—проклятый локонъ, о которомъ и не догадывается Лариса—да никогда и не догадается...

Обрядъ отпѣванія конченъ, и слышится только подъ стонъ всѣхъ московскихъ церквей надгробное слово, которое не всѣ слушаютъ, заняты своими мыслями, можетъ быть своими надгробными словами...

„Видя васъ, печальные слушатели,—возглашаетъ ораторъ,—съ особеннымъ сердцемъ соболѣзнованіемъ гробу сему предстоящихъ, и самъ сострадавая, что къ утѣшенію вашему сказать теперь могу я, несчастный проповѣдникъ! О времена! о нравы! о жизнь человѣческая—океанъ перемѣнъ неизмѣримый!..“

А слушатели то слушаютъ и сострадаютъ, то задумываются о себѣ...

Но вниманіе слушателей неожиданно привлекаетъ звонъ кандаловъ гдѣ-то тутъ вблизи. Это ведутъ кого-то сюда. Толпы раздвигаются, а кандалы звякаютъ все ближе и ближе, да звякаютъ такъ отчетливо по душѣ и по сердцу, что этого звяканья не можетъ заглушить протяжный, стонущій звонъ всѣхъ московскихъ колоколовъ...

Это ведутъ колодниковъ въ цѣпяхъ—проститься съ тѣмъ, кого они

убили въ свосмъ темпомъ невѣдѣніи. Но какъ они всѣ измѣнились! Вонъ впереди всѣхъ гремитъ лошадиными желѣзными путами Савелій Бяковъ. Куда дѣвалась его длинная сѣдая коса? Въмѣсто нея—бѣлая, какъ лунь, гладко обстриженная голова. Остался одинъ его гигантскій ростъ—да и то видна уже старческая скорбленность. За нимъ въ кандалахъ Васька-дворовый, что еще не такъ, казалось бы, давно вприсядку плясалъ, идя на приступъ къ Кремлю—и онъ постарѣлъ. И Илюша-чудовидецъ скорбился, погромыхивая желѣзомъ.

Тутъ же гремитъ кандалами и рыжій съ красными бровями солдатъ. Какъ мало теперъ напоминаетъ онъ того, который, подсмѣиваясь надъ хохломъ Заброею, копалъ могилу молодому сержантику на берегу Прута!

Увидѣли его и веселый докторъ, и Лариса съ Настей, и у каждого на лицѣ выразилась тоска и за него, и за себя, и по сердцу каждого прошло острое что-то: это—воспоминанія...

И онъ увидѣлъ ихъ, увидѣлъ добраго „Христосъ Христосыча“, да такъ и хотѣлъ бы вскрикнуть: „ваше благородіе! я не убиваль его... никого не убиваль!..“ Но онъ молчитъ, только губы его судорожно дрожать, тѣмъ болѣе, что онъ слышитъ что-то очень для него горькое: онъ слышитъ, какъ за оградой воетъ собаченка — это Маланья воетъ, неутѣшно воетъ, такъ и надрываетъ свое глупое, но доброе собачье сердце...

Приводить и другихъ колодниковъ, становятъ у могиль, въ виду обоихъ гробовъ.

И проповѣдникъ обращается къ нимъ съ своимъ, глубоко-правдивымъ по чувству, но не по существу укоромъ.

— О, безчеловѣчныя души!—продолжалъ проповѣдникъ свое слово, протягивая руки къ колодникамъ. — Послушайте гласа вашего пастыря, възъ гроба со умиленіемъ къ вамъ вопіющаго...

И онъ указалъ рукою на первый гробъ. Арестанты невольно взглянули на него. Гигантъ-солдатъ глянулъ и въ бѣжную могилу — и потупилъ глаза, а рыжій перекрестился, звонко звеня ручными кандалами. Глаза веселаго доктора тоскливо глянули на него.

— Людіе паствы моя!—взываетъ сей, во гробѣ лежащій:—людіе паствы моя! что сотворихъ вамъ, яко тако ожесточиста на мя сердца ваша? Сего ли я отъ васъ ожидалъ воздаянія?

Изъ-подъ красныхъ бровей текли слезы и разбивались въ мелкіе брызги о желѣзные кольца наручней.

— Людіе паствы моя! что сотворихъ вамъ? Я васъ любилъ, а вы мнѣ отвѣтствовали ненавистію и злобою. Я полагалъ за васъ душу свою — и вы дреколіемъ выбили ее изъ моего брэннаго тѣла... Людіе паствы моя! что сотворихъ вамъ?..

Не изъ-подъ однѣхъ красныхъ бровей льются слезы, а уже много рукъ поднимается къ глазамъ, чтобы закрыться и плакать. И веселый докторъ смахиваетъ слезу съ круглой, уже не лоснящейся щеки.

— Людіе паствы моя! что сотворихъ вамъ? Я старался освободить

вась отъ оковъ заблужденій, а вы низринули меня въ оковы смертныя. Я созидаль для вась храмы, а вы мнѣ сей тѣсный храмъ сколотили— гробъ мой темный... Людіе паствы мося! что сотворихъ вамъ?..

— О! — стонетъ краснобровый солдатъ, закрывая лицо скованными руками.

— О, Боже! проси ихъ!—слышится рыданья въ толпѣ.

А неумолимый проповѣдникъ продолжаетъ:

— Людіе паствы мося! что сотворихъ вамъ? Я прилагаль заботы о сохраненіи отъ бича Божія жизни вашей, а вы у меня мою старческую жизнь отняли мучительно... Или вы не слышите доселѣ въ глубинѣ сердець вашихъ, какъ влекомая за волосы съдая голова моя колотится о помость церковный, который былъ, ради вашего спасенія, весь облитъ моими слезами? Али не слышитесь вамъ, какъ старыя кости мои, ломимыя дреколѣемъ вашимъ, хрустять въ смертныхъ мученіяхъ? За что же? Что сотворилъ я вамъ, людіе паствы мося?..

— О... будетъ!—рыдаетъ кто-то позади толпы.

Даже гигантъ съдой не выдерживаетъ: падаетъ на колѣни...

А тамъ еще за оградой эта собаченка воеетъ... Чего ей нужно! Да какъ же—она остается сиротою, и у нея никого и ничего больше нѣтъ, кромѣ воспоминаній.

Наконецъ, надгробное слово кончено... Всѣ вздохнули: такъ мучительно долго раздавался этотъ возгласъ, словно бы въ самомъ дѣлѣ изъ гроба: „Людіе паствы мося! что сотворихъ вамъ?“

Стоящій рядомъ съ проповѣдникомъ протодіаконъ возглашаетъ:

— Блаженныя и вѣчно достойныя памяти преосвященному Амвросію, новоубіе иному архіепископу московскому и калужскому—вѣчная память!

— Вѣчная память!—повторяютъ всѣ вмѣстѣ съ клиромъ.

— Блаженныя памяти преосвященнаго Амвросія, архіепископа московскаго и калужскаго злочестивымъ убійцамъ—анаеема!—вновь возглашаетъ протодіаконъ.

— Анаеема-анаеема-а-на-е-ма!—повторяетъ клиръ.

А тѣ, которыхъ анаеematствуютъ, стоять, безпомощно опустивъ головы... Даже Васка-дворовой, малый не особенно податливый,—и тотъ тоскливо думалъ: „ужъ лучше бы кнутомъ выпоролѣ на кобылѣ али бы повѣсили, какъ собаку на осинѣ, чѣмъ экую муку терпѣть“.

Преступниковъ уводятъ. Сивоголовый великанъ, уходя, еще разъ заглянулъ въ глубь могилы... любопытно!

Гробы опустили въ могилы. Застучали комья земли объ крышки, уже заколоченныя... А слышутъ ли тѣ, что тамъ лежать подъ гробовыми крышками, этотъ стукъ земли?..

Когда преступниковъ вывели за ограду, къ одному изъ нихъ, къ краснобровому, съ безумною радостью бросилась собаченка. Несчастный взялъ ее на руки и цѣловаль, а она, тихо визжа, лизала паручни кандаловъ...

Орловъ, все время стоявшій задумчиво, бросилъ и свою горсть земли



въ могилу, а потомъ, увидавъ веселаго доктора, подозвалъ его къ себѣ.

— Ну, что, господинъ докторъ, какъ стоять дѣла въ городѣ? Что морь?

— Морь издыхаетъ, ваше сіятельство, — отвѣчалъ докторъ, думая о чемъ-то.

— Это вѣрно?

— Вѣрно-съ... Пуля уже на излетѣ—она не смертельна.

— Что же намъ остается еще сдѣлать?—спросилъ Орловъ, послѣ небольшого раздумья.

— Вашимъ сіятельствомъ сдѣлано уже многое, но все еще главное не сдѣлано, — спокойно отвѣчалъ докторъ.

— Что же такое?—торопливо спросилъ Орловъ.

— Надо накормить всѣхъ голодныхъ: это труднѣе всего.

Орловъ задумался. Толпы стали расходиться. У ограды и у воротъ стояли тысячи оборванныхъ, полунагихъ, съ худыми лицами—и протягивали руки...

— Видите, ваше сіятельство?—докторъ указалъ на эти толпы голодныхъ.

— А что же?—озабоченно спросилъ графъ.

— Это морь протягиваетъ руку за кускомъ... Если онъ не получитъ куска, то возьметъ самого человѣка—и того, который проситъ, и того, который не даетъ...

— Спасибо, господинъ докторъ... Мы еще съ вами поговоримъ.

И Орловъ оставилъ кладбище.

Пробираясь къ выходу, веселый докторъ столкнулся съ Ларисой и Настей.

— Что же, Крестьянъ Крестьянычъ,—когда же?—спросила первая.

— Что, милая дѣвочка?

— Да туда... въ Турцію...

— Погодите, погодите, милая барышня... Еще здѣсь дѣло есть... А тамъ и въ дорогу.

Прошли сорочины послѣ похоронъ Амвросія.

Всю ночь на 21-е ноября 1771 года года жившіе около Донскаго монастыря москвичи и обитатели самага монастыря слышали стукъ топовъ гдѣ-то вблизи монастырской ограды и покрикиванья рабочихъ.

— Эй, царя! крѣпи больше эту вереву-то веревюшку.

— Крѣплю! что орешь! Самъ знаю, что дядя Савелій крѣпленекъ-таки—того и гляди обломить люльку-ту свою.

— Ишь ты *покои* каки написали знатные! Два столба съ перекладиной—вотъ и *покой*...

— А тебѣ бы *арцы*, аспиду, самому поставить!

— За што такъ?

— За то, аспидъ!

— Что-жь! сказывали ребята, въ Питерѣ, слышь, арцами таперь висѣлицы-то ставить учили; одинъ, слышь, столбъ, а отъ ево лапа идетъ—бревно значить,—на лапу-ту и вѣшаютъ.

— Так не *арцы* это, а *глаголь*.

— Ну, *глаголь* — все едино висѣлица... А рязи только троиэхъ вѣшать будутъ?

— Троиэхъ, чу.

— А ты кобылу-ту крѣпче ладь: на ей пороть 'будуть.

— Знаю... Страивали и кобыль не мало: Москва-то матушка на нихъ ѣзжала довольно.

— А веревки-то крѣпки къ висѣлицамъ?

— Крѣпки, не сорвутся; а и сорвутся, такъ наземь же упадутъ — не на небо.

— То-то... а то въ шею накладываютъ...

— Что-жь! побьютъ — не возъ навьютъ...

А на утро оказалось, что на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ убить былъ Амвросій, возвышаются три огромныя висѣлицы съ эшафотомъ, а кругомъ нихъ нѣсколько „кобыль“ — эдакія оригинальныя и удобныя приспособленія для сѣченія вкutomъ: осѣдласть эту деревянную кобылку осужденный, привяжутъ его ремнями къ этой лошади спиною кверху, да и стегаютъ до мяса да до самой кости становой... Ишь какъ ловко выдумали! А допрежь было проще — на чистоту: выведуть это человекъ на базарь, гдѣ народу больше, да опрокинуть это сани какія ни на есть кверху полозьями — вотъ те и готова кобыла! и пишуть спины!

Москвичей навалило къ этому позорищу видимо-невидимо: не всѣхъ, стало быть, взяла чума на тотъ свѣтъ, есть еще кому посмотреть на тѣхъ, кого вѣшать да вкutowать будутъ. Эко торжище!

Скоро слышали и стукъ барабановъ и бряцанье кандаловъ, такое бряцанье, словно бы гнали табунъ скованныхъ коней. Да и былъ ихъ, точно, цѣлый табунъ: не одну сотню нагнали скованныхъ.

Въ числѣ первыхъ — старые наши знакомые: дядя Савелій съ сѣдою головою и уже съ сѣдою бородою, Васька-дворовой, Илюша-чудовидецъ, да краснобровый солдатъ, да только уже не рыжій, а тоже сѣдой... А другихъ — и перечесть нельзя, кажется.

Тутъ и собаченка, Маланья — веселая такая, рѣзвая... Она увидала своего любимца красноброваго и знаетъ, что онъ и сегодня возьметъ ее, послѣ, на руки и поцѣлуетъ...

Конвойные солдаты съ сухимъ подъячимъ во главѣ поставили подъ висѣлицы четырехъ арстантовъ, въ томъ числѣ и красноброваго солдата.

Собачкѣ и видно его хорошо впереди всѣхъ, она и хочетъ броситься къ нему, но конвойные солдаты не пускаютъ ее, а только улыбаются ей: они тоже полюбили ее, Маланью. Маланья цѣлыхъ два мѣсяца не отходила отъ острога, гдѣ сидѣлъ ея любимецъ, какъ ни старались отгонять ее часовые... Сначала она выла — ее били да швыряли въ нее; а она все тутъ торчитъ. Потомъ имъ стало ее жаль — и они посвистывали ей издали, заигрывали съ нею. А она тоже вичего. Дальше-больше — и совсѣмъ полюбили ее, какъ свою родную: дѣлились съ нею и порціонами, и ласками,

а когда холода настали, то и прятали ее въ свои тулупы—потому: псица-де махонькая, безобидная. Ну, и совсѣмъ друзьями зажили солдатикъ съ доброю Маланьей.

— Какъ же это, паря, — ихъ четыре подъ висѣлицей, а висѣлицъ всего три?

— А какъ! начальство ужъ само знаетъ какъ: двухъ на одну вздернуть.

— То-то и я мекаю себѣ: какъ же это?

Бьютъ барабаны, читаютъ приговоръ, приводятъ статьи законовъ:

„...разбойниковъ, которые учинили смертное убийство, наказывать смертію“...

— Ишь ты—смертію...

— А ты какъ бы думалъ—животомъ!

„...всякое возмущеніе и упрямство безо всякой милости имѣтъ быть висѣлицею наказано“...

„...кто на людей на пути и на улицахъ вооруженною рукою нападетъ и оныхъ силою пограбить или побьетъ, поранитъ и умертвить—оного колесовать и на колесо тѣло положить“...

Прочитали приговоръ. Завязываютъ глаза четыремъ главнымъ, въ томъ числѣ и краснобровому—не видать больше красныхъ бровей! Собачка такъ и запрыгала отъ радости, когда увидала, что ея любимцу завязываютъ глаза: играютъ, значить, съ нимъ въ жмурки, какъ вонъ она видала солдаты, бывало, въ полку пгрывали... Одному это завяжутъ глаза, а другіе бѣгаютъ отъ него, а онъ ихъ ловить, растопыривъ руки, а Маланья за нимъ бѣгаетъ, лаетъ, хватаетъ его за штаны—весело такъ!—а онъ—хватъ!—и поймалъ Маланью... Веселье на всю роту!.. „И теперь онъ меня поймаетъ“,—думаетъ глупая собаченка:—„я нарочно ему дамъ“...

Но что-жъ это съ ними дѣлаютъ?—удивляется собаченка.—Они—тѣ, что съ завязанными глазами, не бѣгаютъ за солдатами, растопыривъ руки, не ловятъ ихъ, а стоятъ... Имъ на шею надѣваютъ веревки — и ждутъ чего-то... Что-жъ это такое! Когда же жмурки начнутся?

А вонъ сухой подъячій подходитъ къ Васькѣ и къ краснобровому и подноситъ къ нимъ шапку... Вотъ смѣшно!

— Вымай жребій!—кричитъ онъ Васькѣ.

Васька суетъ руку мимо шапки—глаза-то завязаны, такъ не видать—а потомъ и въ шапку, и вынимаетъ изъ шапки какую-то маленькую бумажку. Подъячій беретъ ее.

— Пустой!—громко кричитъ подъячій—и подноситъ шапку къ краснобровому... Тотъ тоже суетъ руку въ шапку... дрожить рука—и чего она дрожить? Вѣдь, сейчасъ жмурки начнутся, весело будетъ...

И краснобровый вынимаетъ бумажку.

— Пустой!—опять кричитъ подъячій.

Что за прорва! Что они дѣлаютъ? Вотъ выдумали игру!—думается собачкѣ, и она глазъ не сводитъ съ этой новой игры, и такъ бойко, весело мелеть ея хвостъ въ воздухъ.

— По второму жеребью!—кричит другой подъячій, толстый.

Опять подносят шапку къ Васькѣ. Опять Васька вынимаетъ бумажку.

— Повѣсить!—кричитъ подъячій.

Собаченка вздрагиваетъ. Ужъ не се ли повѣсить? Вѣдь, она слышала, что вѣшаютъ только собакъ...

Но вздрагиваетъ и Васька—и опускаетъ руки и голову. Ему на шею тоже надѣваютъ веревку. Что жъ дальше будетъ? Вотъ смѣшная игра!

Подъячій опять подноситъ шапку къ краснобровому. Тотъ опять вынимаетъ бумажку.

— Въ Рогервикъ сослать!—кричитъ подъячій и развязываетъ краснобровому глаза.

„Что-жъ это такое? Онъ не будетъ бѣгать въ жмурки? не поймаетъ меня?“—печалуется собаченка.

А вотъ что-то опять кричатъ, и вмѣсто жмурокъ, тѣ, что съ завязанными глазами, уже висятъ на воздухѣ и болтаютъ ногами—только арестантскіе коты стучать другъ о дружку... „Что же это такое?“—недоумѣваетъ собаченка.

А тамъ другихъ начали класть на какіе-то подмостки и сѣчь большими, толстыми, треххвостными ремнями; тѣ кричатъ:

— Охъ, батюшки! православные, простите!.. Ой-охъ-ой!

А тутъ, этимъ—ноздри рвутъ щипцами... кровь... крики...

Весна 1772 года. По дорогѣ къ Рогервику плетется партія арестантовъ, погромыхивая кандалами. Всѣ—и арестанты, съ вырванными ноздрями, и конвойные—идутъ впережку, разговариваютъ, шутятъ, смѣются...

Чего-жъ не смѣяться! Все равно всѣмъ жить скверно да и не долго...

Впереди партіи бѣжитъ собаченка—веселая такая, довольная, хвостъ бубликомъ...

— Маланья, да Маланья—такъ за Маланью и пошла.

— И въ Турціи, баишь, была?

— Была... Подъ Кагуломъ на штурму съ нами ходила, на самово турецкаго везира лаяла.

— Ишь ты—занятная... А давно у васъ?

— Съ самой турецкой земли... такъ подъ заборомъ солдатики подняли щенка... жалко стало—все же оно твореніе...

— Знаю, твореніе—жалко... И въ Москвѣ была?

— И въ Москвѣ, и въ карантеяхъ быввала, и моръ мы съ ей на Москвѣ перебыли... Ужъ и времечко же было—и-и!—и не приведи Богъ,—а особливо какъ мы за Богородицу шли... А вонъ что вышло!

— Что-жъ! таперь на Бога поработаете—зачтется вамъ...

— Такъ-то такъ, а все бы семью повидать хотѣлось...

— Оно не-што—да и намъ не лучше...

Одной Маланьѣ весело: радостно поглядываетъ она на своего краснобрового любимца—и тому на сердцѣ легче дѣлается... Скоро Рогервикъ,

говорять... Маланья и Рогервикъ увидитъ; видала она и Кагуль, и Ясы, и Хотинъ, и Киевъ, и Москву,—а тутъ и Рогервикъ... Вотъ веселье!.. Только изрѣдка она вспоминаетъ высокаго, добраго хохла, что иногда носилъ ее за пазухой. Куда онъ сгинулъ?..

Въ тотъ же день, далеко, очень далеко отъ Рогервика, именно въ Киевѣ, по Крещатику, звеня валдайскимъ колоколомъ подъ дугою, бѣжала ямская тройка, впряженная въ крытую дорожную брику. По пыли, густымъ слоємъ налѣвшей на кузовъ брики, можно было видѣть, что не одну сотню верстъ проколесила она по неизмѣримымъ и неисходимымъ трактамъ матушки Россіи.

У одного изъ перекрестковъ тройка должна была нѣсколько пріостановиться, потому что самую серединую улицы проходила, неприятно звякая кандалами, партія арестантовъ...

Арестанты препровождались тогда сворами, навязанные на длинные канаты. Въ передней сворѣ выдавалась атлетическая фигура одного арестанта, смуглаго, красиваго, съ выбритою до половины головою.

Изъ дорожной брики выглядывали два женскихъ лица. Это были Лариса и Настя. Въ той же брикѣ, противъ нихъ, помѣщалась кругленькая фигурка мужчины. Это былъ веселый докторъ.

При видѣ атлета арестанта, у веселаго доктора невольно вырвался крикъ сожалѣнія. Наскоро порывшись въ карманѣ, онъ ловко бросилъ червонецъ прямо къ ногамъ атлета... Атлетъ глянулъ на брику, узналъ того, кто ему бросилъ червонецъ, перекрестился, еще взглянулъ на доброе лицо добраго человѣка—и безнадежно махнулъ рукой... Вотъ тебѣ и „хатка“, вотъ тебѣ и „вишневый садочекъ!“

Партія прошла далѣе... Но докторъ не могъ не замѣтить, что рядомъ съ первою сворою арестантовъ шла высокая, красивая, съ огромною черною косою дѣвушка и плакала...

— Бѣдная Горпина!—сказалъ какъ бы про себя докторъ; а потомъ, обращаясь къ конвойному солдату, спросилъ:—куда, служба, гонять ихъ?

— У Сибирь,—былъ отвѣтъ.

— Бѣдая, бѣдая Горпина!—повторилъ докторъ.

— Кто это, Крестьянъ Крестьянычъ?—спросила Лариса съ горестнымъ участіемъ.

— Да все невинныя дѣти, какъ и вы, милыя дѣвочки,—съ горькою улыбкою отвѣчалъ веселый докторъ:—не тамъ, такъ здѣсь, не такъ, такъ эдакъ—придетъ наносная бѣда, перемелетъ въ муку человѣка—и нѣту его... Гдѣ?—спросишь:—куда пропалъ человѣкъ?—„У Сибирь...“ И у всякаго-то, милыя дѣвочки, есть своя эта проклятая „Сибирь“.

— И своя Турція,—тихо, многозначительно добавила Лариса.

— А когда ихъ не будетъ?—спросила Настя, которая думала въ это время о „сѣнцахъ“.

— Когда? Эхъ, бѣляночка! Не скоро... когда люди поумнѣютъ...

К о п е ц ъ.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІИ  
Д. Л. Мордовцева.

---

# Чума въ Москвѣ

1771 г.

ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

---

Томъ XVI.

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Изданіе Н. Э. Мертца  
1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 7 августа 1901 г.

Типографія „В. С. Балашевъ и К<sup>о</sup>“. Спб. Фонтанка 96.

# Чума въ Москвѣ 1771 г.\*)

## I.

Пожары, голода, войны и моровья повѣтрія—вотъ тѣ народныя бѣдствія, которыя едва ли не ежегодно посѣщали русскую землю съ тѣхъ поръ, какъ, на основаніи лѣтописныхъ сказаній, мы можемъ слѣдить за ея труднымъ историческимъ ростомъ. Пожары, голода, войны и моровья повѣтрія—это и былъ тотъ именно историческій матеріалъ, который, вмѣстѣ съ описаніями знаменій, небесныхъ явленій, чудесъ, построенія церквей и подобныхъ выдающихся общественныхъ явленій, легъ, главнымъ образомъ, въ основу русской лѣтописи, а слѣдовательно, и русской исторіи. Другихъ общественныхъ явленій лѣтописецъ касается вскользь, мимоходомъ, а все свое благочестивое вниманіе сосредоточиваетъ на занесеніи въ хронографы того, что наиболее поражаетъ общественную мысль: „погорѣ“ таковой-то градъ; „бысть дороговъ люта и гладь по всей земли“; „бысть моръ на людехъ“; „бысть розратье“, „сѣча великая“—вотъ тѣ четыре явленія, которыя какъ бы чередуются между собою во всемъ нашемъ историческомъ прошломъ, составляя канву нашей исторической жизни, и къ нимъ уже всѣ

---

\*) При составленіи настоящаго очерка автору, главнымъ образомъ, служили пособіемъ: 1) Полное Собраніе Законовъ, XIX.—2) Описаніе моровой язвы, бывшей въ столичномъ городѣ Москвѣ съ 1770 по 1772 годъ, съ приложеніемъ всѣхъ для прекращенія оной тогда установленныхъ учрежденій. По высочайшему повелѣнію напечатано въ Москвѣ 1775 г.—Жизнь преосвященнаго Амвросія, архіепископа московскаго и калужскаго, убиеннаго въ 1771 году. Москва. 1813 (Д. Вантыша-Каменскаго).—3) Исторія повальныхъ болѣзней. Гезера. Спб. 1867 г. 2 ч.—4) Описаніе московскаго бунта сентября 15 дня, прот. П. Алексѣева. („Русск. Арх.“ 1863).—5) Матеріалы для исторіи чумы въ Москвѣ и убіеніе архіепископа Амвросія 1771 г. И. Купріянова („Русск. Слово“. 1860. II).—6) Москва въ 1771 г. А. Саблукова („Русск. Арх.“ 1860).—7) Наказъ Екатерины къ Волконскому („Арх.“ 1860) и др.



остальныя явленія и событія приурочиваются лишь и рисуются лѣтописцемъ какъ мелкіе узоры на ткани. Всѣ небесныя явленія и знаменія заносятся въ лѣтопись потому только, что они предвѣщаютъ либо морь, либо гладь, либо огонь, либо кровопролитіе великое.

Въ лѣтописяхъ мы читаемъ нерѣдко поразительныя до ужаса изображенія моровыхъ повѣтрій въ такихъ городахъ, какъ Новгородъ, Псковъ, Москва: умершихъ хоронитъ некому, собаки таскаютъ по улицамъ трупы людей, на скудельницахъ выкапываются огромныя ямы и заваливаются тѣлами пораженныхъ моромъ, мужья отдають женъ въ рабство изъ-за страха смерти въ зараженномъ городѣ. И лѣтописецъ не вѣдаетъ, откуда все это: у него на все одно объясненіе—„грѣхъ ради нашихъ“. Да оно и въ самомъ дѣлѣ такъ: всѣ посѣщающія насъ бѣдствія посѣщаютъ насъ именно „грѣхъ ради нашихъ“.

Одно изъ послѣднихъ страшныхъ моровыхъ повѣтрій записано лѣтописцами подъ 1651—1654 годами.

Сохранилось драгоцѣнное донесеніе къ царю Алексѣю Михайловичу боярина князя Пронскаго, извѣщавшаго царя, который былъ въ то время съ войскомъ въ Смоленскѣ, о постигшемъ Москву моровомъ повѣтріи:

„Государю царю и великому князю Алексѣю Михайловичу всея Великія и Малыя, и Бѣлыя Россіи самодержцу, холопи твои, Мишка Пронскій съ товарищи, челомъ бьютъ. Въ прошломъ, государь, во 162 году, въ іюлѣ и августѣ, въ разныхъ числахъ писали къ тебѣ, государю, мы, холопи твои, что грѣхъ ради нашихъ на Москвѣ и слободахъ помирають многіе люди скорою смертію, и въ домишкахъ нашихъ тожь учинилось: мы, холопи твои, покинувъ домишки свои, живемъ во градѣ, и въ нынѣшнемъ во 163 году, послѣ Симонова дни, моровое повѣтріе умножилось, день ото дня больше прибывать учало, и на Москвѣ, государь, и въ слободахъ православныхъ христіанъ малая часть осталась, а стрѣльцовъ, государь, отъ шести приказовъ ни единъ приказъ не остался, и изъ тѣхъ достальныхъ многіе лежатъ больны, а иные разбѣжались, и на караулъ, государь, отнюдь быть некому; а головъ, государь, стрѣлецкихъ, Богдана Каковинскаго да и Якова Горопкина, не осталось же, и сотники стрѣльцы многіе померли. А церкви, государь, соборныя и приходскія мало не всѣ стоятъ безъ пѣнія, только, государь, въ большомъ соборѣ по сіе число служба повседневная, и то съ большою нуждою. Въ остаткѣ живыхъ только протопопъ да два священника, Форопонтъ, да Порфирій, старой дьяконъ Василій, а у приходскихъ, государь, церковей священниковъ осталось малая же часть, и изъ тѣхъ многіе-жъ больны, а иные поразошлись, и православныя христіане помирають безъ отцовъ духовныхъ, и погребають безъ священниковъ, и мертвыхъ тѣlesa въ городѣ и за городомъ лежатъ, псы волочили, а въ убогіе дома возить мертвыхъ и ямъ копать некому: ярыжные земскіе извозчики, которые въ убогихъ домѣхъ ямы копали и мертвыхъ возили, и отъ того сами померли. И достальные, государь, всякихъ чиновъ люди такое Божіе посѣщеніе ужаснулись, и затѣмъ къ мертвымъ пристушатъ опа-

саются. А приказы, государь, всё заперты: дьяки и подъячие всё померли, и домшки наши, государь, пусты учинились, людишки померли мало не всё, а мы, холопы твои, тоже ожидаемъ себя смертнаго посѣщенія съ часу на часъ, и безъ твоего государева указу по перемѣнамъ съ Москвы въ подмосковныя деревнишки, ради тяжелова духа, чтобъ всёмъ вдругъ не помереть, съѣзжать не смѣемъ, и тѣмъ, государь, вели намъ, холопомъ своимъ, свой государевъ указъ учинить“. Далѣе говорится, что, когда зимой, „въ возвратъ солнца“, кончилось моровое повѣтріе, патріархъ Никонъ „повелѣлъ всёхъ псовъ, кои не на цѣпи были, побить, ибо ядоша тѣлеса мертвыхъ человѣкъ“.

Черезъ 119 лѣтъ Москву вновь посѣтило такое же моровое повѣтріе, въ 1770—1771 году, во время турецкой войны.

Неудивительно, что лѣтописецъ всегда почти связываетъ между собою такія явленія, какъ моръ, войны, голодъ и пожаръ: въ 1651—1652 году была у царя Алексѣя Михайловича война съ поляками изъ-за обладанія Смоленскомъ; въ 1770 году была война съ турками, и война эта, дѣйствительно, была причиною морового повѣтрія, потому что чума завесена была въ Россію войсками, сражавшимися противъ турокъ.

„Когда въ послѣднюю съ Россією и Оттоманскою Портою войну російскія войска, нося побѣды, въ разныхъ областяхъ турецкихъ низвергали непріятелей, производя во всёхъ мѣстахъ поиски, и разрушали крѣпости ихъ, то не можно было побѣдоносцамъ избѣжать къ побѣждаемымъ прикосновенія взятіемъ ихъ въ полонъ и истребленіемъ ихъ имѣній. Въ такихъ случаяхъ никакая осторожность, никакое полководцовъ смотрѣніе не могло успѣть, чтобы кроющійся въ доставшихся вещахъ ядъ не могъ, какъ въ нѣкоторыхъ отдаленныхъ войскахъ, такъ и въ жителяхъ волоскихъ и молдавскихъ распространиться“.

Такъ говорить „Описаніе моровой язвы“, изданное въ Москвѣ, по высочайшему повелѣнію, въ 1775 году.

Дѣйствительно, первые случаи заболѣванія и смерти отъ чумы, въ 1769 году, проявились въ той части русскихъ войскъ, которая была подъ начальствомъ генераль-поручика фонъ-Штофельна: эти войска первыя сразились съ непріятелемъ у Галаца и, разбивъ турокъ, по обычаямъ войны, дѣлали надъ побѣжденными „поиски“, т. е., захвативъ плѣнныхъ и все, что попадалось подъ руку, врывались въ непріятельскую землю, чинили поиски по городамъ и селамъ, забирались въ дома и лачуги, не зная, что въ Турціи давно свирѣпствуетъ чума, эта азіатская гостья, часто навѣщавшая свою европейскую сосѣдку,—Оттоманскую Порту.

Когда затѣмъ, „по окончаніи побѣдоносныхъ надъ непріятелями поисковъ“, русскія войска вступили въ Яссы, а послѣ въ Бухарестъ, то чума не только стала уже поражать тѣхъ, кои были въ Турціи, но и прочія войска, а затѣмъ распространилась въ самомъ населеніи этихъ городовъ. Самъ фонъ-Штофельнъ погибъ жертвою этой болѣзни въ маѣ 1770 года, въ Яссахъ. Эта же весна застаётъ чуму уже и въ Фокшанахъ, и въ Хс-

тинѣ, и въ другихъ мѣстностяхъ Валахіи и Молдавіи, а оттуда, вмѣстѣ съ лѣтними жарами и передвиженіемъ войскъ, торговыхъ людей, вмѣстѣ съ привозимыми товарами изъ чумныхъ мѣстъ, зараза перебирается въ Подолію и въ польскую Украйну. Русскія границы не останавливаютъ ея, несмотря на учрежденіе заставы въ Васильковѣ.

Въ августѣ зараза перебирается уже черезъ русскую границу: въ Васильковѣ—морь, въ Кіевѣ, на Подолѣ—также морь. Никакія заставы не въ силахъ остановить страшный ядъ, который переносится изъ мѣста въ мѣсто то въ видѣ полученныхъ въ чумномъ городѣ денегъ, то съ зачумленнымъ платьемъ, то въ письмѣ, въ дорожной, наконецъ, переносится даже домашними животными: въ Кіевѣ зараза занесена въ одинъ домъ кошкою—зараженный домъ вымираетъ весь, а кошка остается живою одна во всемъ выморочномъ домѣ. Хотя для прекращенія моровой язвы въ Кіевѣ и присланъ былъ петербургскій штатъ-физикъ, докторъ Лерхе, который, по высочайшему именному повелѣнію, посылаемъ былъ съ этою же цѣлью и въ обѣ наши арміи, однако, болѣзнь совершила въ этомъ городѣ свое опустошительное дѣло и, перекинувшись въ Черниговъ, Переяславъ, Козелецъ и Нѣжинъ, а потомъ, захвативъ великорусскіе города Сѣвскъ и Брянскъ, именно все то, что лежало на проѣзжемъ трактѣ съ юга Россіи на сѣверъ, закончила свой опустошительный циклъ только лѣтомъ слѣдующаго 1771 года. Особенно упорно болѣзнь держалась въ Нѣжинѣ, гдѣ она свирѣпствовала по ноябрѣ 1771 года, и, какъ выражается офиціальный документъ того времени,—„знатное въ людяхъ причинила пораженіе“.

Надо было, во что бы то ни стало, не допустить заразы до Москвы и Петербурга. Съ этою цѣлью вся московская губернія съ юга оцѣплена была заставами—около Боровска, Серпухова, Калуги, Алексина, Каширы, Коломны. На заставы посланы были лейбъ-гвардіи офицеры: Булгаковъ, Свѣчинъ, Ергольской, Сенденгорсть, Толстой, Хомутовъ. Съ ними командированы врачи: Штелинъ, Бергманъ, Валеріанъ, Коризна, Никитинъ и Смирновъ. Обязанность заставныхъ начальниковъ состояла въ томъ, чтобы пресѣчь всякое сообщеніе съ югомъ, всѣхъ проѣзжающихъ изъ Малороссіи или изъ арміи подвергать карантинному очищенію, не пропускать идущихъ оттуда писемъ, а, омочивъ ихъ въ уксусъ и окуривъ черезъ огонь, списывать съ нихъ копіи, подлинники же сжигать; въ домахъ обывателей велѣтъ всякое утро на раскаленный кирпичъ лить уксусъ; самыя заставы окопать рвами, поддерживать около нихъ огни и „куриво“; письма передавать черезъ заставную линію на длинныхъ шестахъ черезъ огонь или пускать изъ лука на стрѣлахъ; гдѣ окажутся больные, тамъ дворы и пожитки жечь и вѣсти о появленіи болѣзни давать въ другія мѣста посредствомъ сигнальныхъ огней, какъ это водилось въ старой Руси во время нападенія на русскія земли крымскихъ татаръ и другихъ хищниковъ.

Но не легко было остановить новаго, невидимаго хищника: онъ былъ опаснѣе крынца, опаснѣе половца. Въ ноябрѣ уже присутствіе его оказалось въ Москвѣ, только никто не хотѣлъ вѣрить, чтобы это была чума.

Въ декабрѣ болѣзнь появилась уже въ московскомъ генеральномъ сухопутномъ госпиталѣ, что на Введенскихъ горахъ, и первыми жертвами ея были госпитальные служители. Старшій врачъ этого госпиталя, генеральный штаб-докторъ Шафонскій, замѣтивъ, что упомянутые служители имѣли особыя какіе-то отмѣнные знаки на тѣлѣ, такіе, какихъ никто изъ находившихся въ госпиталѣ нѣсколькихъ сотъ солдатъ не имѣлъ; что служители эти, живя въ одномъ покоѣ, были всѣ до той поры здоровы, а тутъ стали занемогать одинъ за другимъ и вскорѣ одинъ послѣ другого умирать; сообщивъ, наконецъ, что съ арміей и Малороссіей все-таки Москва имѣла сношенія, несмотря на всѣ предосторожности,—сообщилъ свои наблюденія московскому штатъ-физику и члену медицинской конторы Риндеру; но когда тотъ, осмотрѣвъ два раза указанные ему Шафонскимъ больныхъ и мертвыхъ, не сдѣлалъ никакого распоряженія, а между тѣмъ число больныхъ и умирающихъ въ томъ же покоѣ стало увеличиваться,—Шафонскій письменно донесъ о своихъ наблюденіяхъ государственной и медицинской коллегіи, прося ее предписать находящимся въ Москвѣ докторамъ осмотрѣть въ завѣдываемомъ имъ госпиталѣ всѣхъ больныхъ, которые „оказались въ сумнительствѣ къ заразительной болѣзни“.

Голосъ Шафонскаго—это былъ первый голосъ, предостерегавшій Москву отъ грозившей ей опасности, и если бы лѣнь и упрямство, а также невѣжество другихъ докторовъ не заглушили этого голоса, то Москва, безъ сомнѣнія, была бы спасена.

Сначала врачи и согласился было съ мнѣніемъ Шафонскаго; въ общемъ собраніи, 22 декабря, совѣтъ медиковъ, состоявшій изъ докторовъ: Эрасмуса, Скиадана, Кульмана, Мертенса, фонъ-Аша, Веніамина, Зибеллина и Ягельскаго, единогласно утвердилъ постановленіе, что оная болѣзнь „должна почитаться за моровую язву“ и потому сообщеніе госпиталя съ городомъ должно быть пресѣчено; вслѣдствіе чего, дѣйствительно, по приказанію московскаго главнокомандующаго, генераль-фельдмаршала графа Салтыкова, госпиталь со всѣми находившимися въ немъ людьми, которыхъ было болѣе тысячи человекъ, въ тотъ же день былъ оцѣпленъ военнымъ карауломъ и въ этой цѣпи вмѣстѣ съ своимъ заведеніемъ былъ запертъ и Шафонскій; однако, невѣжество впоследствии одержало верхъ, и чума свободно начала помѣчать въ Москвѣ свои жертвы.

При всемъ томъ въ Петербургъ донесено было, что дѣлается въ Москвѣ.

Тамъ серьезнѣе взглянули на это дѣло. Какъ разъ наканунѣ новаго 1771 года Екатерина издала манифестъ о грозящей Россіи опасности. Но въ манифестѣ она ни однимъ словомъ не упомянула о Москвѣ—казалось еще преждевременнымъ пугать населеніе призракомъ страшной чумы, когда она была уже не призракомъ, а существующимъ фактомъ. Напротивъ, въ манифестѣ говорится только о принятіи предосторожностей.

„Война,—гласитъ манифестъ,—толь несправедно и вѣроломно со стороны Порты Оттоманской постороннею завистію, коварствомъ и провсками противъ имперіи нашей воуженная, коея конецъ да увѣнчаетъ скорымъ,

прочнымъ и славнымъ миромъ десница Всевышняго, толь явно оружію нашему донинѣ поборствующая, влечетъ за собою, по свойственному туркамъ звѣрскому и закоренѣлому о собственной своей цѣлости небреженію, опасность заразительной моровой язвы, въ разсужденіе сосѣдственныхъ областей и тѣхъ гражданъ, кои по долгу званія своего и изъ любви къ отечеству ополчаются противу ихъ въ военномъ подвигѣ“.

Далѣе говорится, что болѣзнь начала было уже прорываться и черезъ русскія границы, но что ходъ ея перерывали на всѣхъ пунктахъ, гдѣ она ни появлялась: „ибо,—продолжаетъ манифестъ,—по тому матернему попеченію о покоѣ, тишинѣ, благоденствіи и безопасности нашихъ вѣрныхъ подданныхъ, которые мы съ самаго начала государствованія нашего положили за главное и непремѣнное правило всѣхъ нашихъ дѣяній, не оставили мы распорядить благовременно чрезъ правительства наши всѣ нужныя и въ человѣческомъ предусмотрѣніи возможныя мѣры и осторожности вдоль всѣхъ нашихъ границъ, отъ Малороссіи до Лифляндіи, къ совершенному и надежному ихъ огражденію. Мы съ несумѣнною вѣрою ожидаемъ затѣмъ отъ благодати всещедрого Бога, что сіи наши учрежденія учинять достаточными и отвратить отъ нашего отечества бичъ гнѣва своего“.

Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, императрица говоритъ въ своемъ манифестѣ, что, исполняя такимъ образомъ „долгъ царскаго и матерняго предостереженія, къ полному успокоенію вѣрныхъ подданныхъ, дабы каждый изъ оныхъ безопасно могъ оставаться при своемъ домостроительствѣ и промыслѣ“,—она „взаимно требуетъ и желаетъ“, чтобы и подданные съ своей стороны „воспособствовали ей въ томъ всѣми своими силами по долгу присяга“. Вслѣдствіе этого, повелѣвалось, чтобы никто изъ проѣзжающихъ со стороны Малороссіи не провозилъ тайно такихъ вещей, которыя не были подвергнуты карантинному осмотру, чтобы никто не проѣзжалъ мимо кордоновъ и заставъ, и что „въ противномъ случаѣ, не только везомое при первой заставѣ и внутри имперіи огню предано, но и виноватый въ томъ за оскорбителя божіихъ и государственныхъ законовъ почтенъ и какъ таковой примѣрно наказанъ будетъ“. Вмѣстѣ съ тѣмъ подданные успокоивались, что со стороны сената будутъ приняты мѣры и относительно того, чтобы на заставахъ и карантиннахъ, подъ видомъ исполненія манифеста, отъ начальствующихъ „не могло произойти гдѣ злоупотребленія, напрасныхъ прицѣпокъ и утѣсненія проѣзжающихъ“.

„Въ прочемъ,—такъ заканчиваетъ этотъ знаменитый манифестъ Екатерина, у которой всѣ обращенія къ подданнымъ отличались особой торжественностью, силою выраженія и блестящимъ по тому времени литературнымъ изложеніемъ,—въ прочемъ, какъ все намѣреніе сего нашего повелѣнія идетъ единственно къ пользѣ и обезпеченію имперіи, то и увѣряемъ мы, что никто изъ находящихся въ службѣ или для промысла своего при арміяхъ нашихъ и въ Польшѣ, не захочетъ изъ побужденія подлой корысти сдѣлаться предателемъ отечества, но что паче всѣ и каждый будутъ какъ истинные граждане усердно стараться и за другими, а наипаче за подчи-

ненными своими, подъ собственнымъ за нихъ отвѣтомъ, строжайше наблюдать, дабы кто, и есть-ли не изъ лакомства, по меньшей мѣрѣ изъ прощоты и невѣжества, преступникомъ, а сохрани отъ того Бже, и виновникомъ общаго злключенія учиниться не могъ“.

Съ своей стороны сенатъ публиковалъ на все государство, что слѣдующіе изъ Малороссіи съ товарами купцы могутъ проѣзжать черезъ лифляндскіе рубежи только по выдержаніи карантинна, а ѣдущіе изъ зараженныхъ мѣстъ вовсе не будутъ пропускаемы; если же кто тайно покусится проѣхать проселочными дорогами, у того товаръ весь будетъ сожженъ; что тѣ изъ купцовъ, которые уже законтрактовали иностранные товары, должны тотчасъ же писать своимъ корреспондентамъ, чтобъ они или задержали свои товары, или высылали ихъ черезъ порты; что товары, попавшіе въ карантинъ, должны каждодневно, при захожденіи солнца, провѣтриваться и окуриваться можжевельникомъ, а вмѣстѣ съ товарами — и самъ хозяинъ; чтобъ всѣ обыватели доносили на тѣхъ, кто будетъ тайно провозить товары, за что доносителямъ будутъ выдаваться награды; что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ чума уже показала, деревенскіе обыватели не должны сообщаться съ горожанами, и наоборотъ, а что для продажи съѣстныхъ припасовъ должны быть учреждены особые рынки; на этихъ рынкахъ городскіе обыватели должны быть отдѣлены отъ сельскихъ двойною преградю, шириною въ восемь футовъ; между преградами стоитъ караулъ; но ни товаровъ, ни денегъ продающіе и покупающіе не должны брать „изъ рукъ въ руки“; когда же сойдутся въ цѣнѣ, то продавецъ кладетъ товаръ на землю между преградами, а покушникъ деньги въ чашъ, наполненный водою или уксусомъ; животныя моются въ водѣ, а мясо проносится черезъ огонь; по отношенію къ письмамъ, приходящимъ изъ зараженныхъ мѣстъ, должна быть принимаема особая предосторожность: лицо, опредѣленное для распечатыванія писемъ, надѣваетъ перчатки изъ вощанки, потомъ ножницами разрываетъ пакеты, особыми маленькими щипцами раздираетъ ихъ, конверты сожигаетъ, а письма окуриваетъ въ густомъ дымѣ. Столъ, на которомъ производится эта операція, долженъ быть мраморный или деревянный безъ покрышки. Если въ письмахъ сыщется тетрадь, сшитая ниткою или связанная лентою, то нитку и ленту должны разрывать и сжечь. На шеѣ имѣтъ кожаный мѣшочекъ съ кускомъ камфоры. Докторамъ прикасаться къ пульсу больныхъ не иначе, какъ черезъ развернутый листъ табаку, и листъ этотъ бросать послѣ всякаго прикосновенія къ пульсу, и пр.

Мы считаемъ лишнимъ приводить другія указанія сената относительно принятія мѣръ предосторожностей отъ заразы. Полагаемъ, что и приведеннаго нами достаточно, чтобъ видѣть, какое потрясающее впечатлѣніе должны были произвести на народъ манифестъ и указъ сената, изъ коихъ онъ узналъ, что страшный моръ, о которомъ ходили темные слухи, не сегодня-завтра начнетъ пожирать свои жертвы: каждый, конечно, думалъ, что одною изъ этихъ жертвъ будетъ и онъ.

Однѣ только упрямый Риндеръ, о которомъ мы упоминали выше, не хотѣлъ вѣрить существованію чумы.

Шесть недѣль, однако, сухопутный госпиталь вмѣстѣ съ докторомъ Шафонскимъ былъ оцѣпленъ карауломъ. Изъ 27 зараженныхъ за это время умерло 22, а 5 выздоровѣли. 1-го марта 1771 г., по выдержаніи карантиннаго срока, госпиталь былъ открытъ вновь, а домъ, въ которомъ находились чумные, сожженъ.

Всѣмъ казалось, что Москва освободилась отъ чумы. Отъ того дома, гдѣ умерли „сумнительные“ госпитальные служители, осталась только куча пепла. Правда, ходили слухи, будто страшная болѣзнь не унеслась вмѣстѣ съ дымомъ сожженного госпитального дома, что она гдѣ-то есть и внѣ стѣнъ госпиталя, а гдѣ—никто не знаетъ. Говорили, что раньше этого умерли двое плѣнныхъ турокъ, привезенные изъ Бендеръ, что умеръ также какой-то офицеръ, прѣхавшій изъ арміи, и скрытно погребенъ, а пользовавшій его лѣкаръ, прозекторъ главнаго госпиталя Евсеевскій, послѣдовалъ за своимъ пациентомъ въ третьи сутки. Но увѣреніе доктора Риндера, что чума въ Москвѣ невозможна по климату, всѣхъ успокоивало.

Однако, „ласкательная сія безопасность весьма короткое время продолжалась“, говорить современное свидѣтельство. 1-го марта былъ сожженъ госпитальный домъ, а 9-го марта до свѣдѣнія полиціи дошло, что за Москвою-рѣкою, у Каменнаго моста, на Большомъ Суконномъ дворѣ, люди часто умираютъ и погребаются въ ночное время.

Узнавъ объ этомъ, полиція тотчасъ же командировала на Суконный дворъ доктора Ягельскаго—разслѣдовать обстоятельства дѣла. Ягельскій нашель, что съ 1-го января по 9-е марта изъ числа всѣхъ рабочихъ на Суконномъ дворѣ умерло 130 человекъ, и что на умершихъ были черныя пятна, „бубоны“ и карбункулы—несомнѣнный знакъ присутствія чумы. Фабричные увѣряли, что никогда, съ самаго начала заведенія, на Суконномъ дворѣ не было такой смертности. При этомъ они сообщили, что болѣзнь на ихъ дворѣ началась съ той именно поры, какъ одинъ фабричный, на праздникъ Рождества, привезъ къ нимъ одну больную женщину, которая до того времени жила у сторожа церкви Николая, въ Кобыльскомъ, что у женщины этой были распухшія железы за ушами и что по привозѣ на Суконный дворъ она скоро умерла, а за нею вымерла и вся семья сторожа.

Ясно, что чума уже ходила по городу и хватала жертвы тамъ, гдѣ невѣдѣніе давало ей пріютъ.

Оказалось, однако, что и тутъ докторъ Риндеръ былъ виновникомъ того, что ходъ чумы не былъ во-время перехваченъ. Риндеръ осматривалъ этихъ фабричныхъ больныхъ, но чумы въ нихъ не нашель, а видѣлъ только одну гнилую горячку.

Между тѣмъ обнаружилось, что не только вымеръ весь домъ вышеупомянутаго церковнаго сторожа, но также опустошенъ былъ и сосѣдній съ нимъ домъ просвирни.

Послѣ этого московскій главнокомандующій, графъ Салтыковъ, вновь созываетъ медицинскій совѣтъ. Медики, осмотрѣвъ больныхъ на Суконномъ дворѣ, единогласно заключаютъ: „сія болѣзнь есть гніючая, прилипчивая и заразительна, и по нѣкоторымъ знакамъ и обстоятельствамъ очень близко подходитъ къ язвѣ“; но и въ этомъ послѣднемъ случаѣ докторами не было произнесено слово „чума“, не было даже упомянуто слово „морозная язва“, какъ народъ называлъ чуму. При всемъ томъ совѣтъ докторовъ положилъ: вывести съ фабричнаго двора всѣхъ больныхъ и здоровыхъ, а самый дворъ запереть, не выбирая изъ него никакого имущества и оставивъ все окна раскрытыми; отдѣлить здоровыхъ отъ больныхъ; изслѣдовать, не заразились ли отъ нихъ и другіе фабричные, живущіе въ городѣ, а если такіе окажутся, то ихъ вывести за городъ; умершихъ этою болѣзью погребать также за городомъ, въ глубокихъ могилахъ, а не около церквей, и тѣла зарывать съ платьемъ.

Больные тотчасъ же вывезены были въ монастырь Николы-на-Угрѣши.

Но было уже поздно. Въ то время, когда фабричныхъ вывозили изъ Суконнаго двора, чтобы помѣстить отдѣльно отъ городского населенія и прервать всякое сношеніе ихъ съ горожанами, многіе фабричные разбѣжались по городу. Они-то преимущественно и разносли чуму по всѣмъ концамъ. И дѣйствительно, 16-го марта, на Пречистенскѣ, на улицѣ, найдено было мертвое тѣло одного купца. Оказалось, что купецъ жилъ въ одномъ домѣ съ фабричнымъ изъ Суконнаго двора. Какъ купецъ, такъ и фабричный, оба заболѣли „перевалкою“, какъ тогда называлъ народъ горячку, и вскорѣ оба померли.

Ничего другого не оставалось для властей, какъ разыскивать всѣхъ фабричныхъ по городу и вывозить за городъ. Но разыскивать бѣглыхъ по Москвѣ, ловить ихъ по безчисленнымъ закоулкамъ и въ никому невѣдомыхъ вертемахъ—это все равно, что ловить каторжника въ муромскихъ лѣсахъ или—по мѣткому народному выраженію—ловить вѣтеръ въ полѣ.

Москвѣ грозилъ гибель неизбѣжная. Власти это видѣли, хотя не пришли еще къ сознанию своего безсилія, потому что не знали пока всей силы опасности, въ которой находился городъ. По распоряженію сената, отъ полиціи объявлено было жителямъ, чтобы о каждомъ заболѣвающимъ и умирающемъ въ городѣ немедленно сообщасмо было на стѣзкій дворъ: этимъ способомъ предполагали слѣдить за ходомъ и состояніемъ эпидеміи, потому что, записывая дни начала и исхода болѣзни, думали добывать этимъ путемъ свѣдѣнія о томъ, кто умеръ отъ чумы. вмѣстѣ съ тѣмъ изъ московскихъ докторовъ составился постоянный совѣтъ, который и долженъ былъ, изучая ходъ эпидеміи, обо всемъ доносить сенату для принятія надлежащихъ мѣръ. Въ этотъ совѣтъ вошли доктора: Эрасмусъ, Шафонскій, Ягельскій, Мертенсъ, Веніаминовъ, Зибелънъ, Скіаданъ, баронъ фонъ-Ашъ, Кульманъ, Погорецкій и Ладъ. Первымъ дѣломъ медицинскаго совѣта было вывести изъ города всѣхъ фабричныхъ, которыхъ, кромѣ



переведенныхъ уже за городъ съ Суконнаго двора 730 человекъ, осталось еще 1770.

Эпидемія между тѣмъ обнаруживала все болѣе и болѣе грозные признаки. Совѣтъ докторовъ вынужденъ былъ, наконецъ, произнести рѣшительное слово, которое онъ боялся произнести, и это слово произнесено было только 26-го марта, по категорическому настоянію графа Салтыкова— „назвать точнымъ именемъ оказавшуюся на Большомъ Суконномъ дворѣ болѣзнь“. Совѣтъ такъ формулировалъ свое рѣшительное мнѣніе объ этомъ предметѣ: „медицинскій совѣтъ ничего въ прекращенію болѣзни не упустилъ, кромѣ общенароднаго имени, а какъ нынѣ оно отъ совѣта точно требуется, то инако оной болѣзни не называетъ, какъ *моровою язвою*“.

Всѣ доктора подписали это мнѣніе, исключая Кульмапа и Скіадана. Первый въ пространномъ, поданномъ отъ себя особомъ мнѣніи старался доказать, почему онъ оказавшуюся въ Москвѣ болѣзнь не рѣшается называть „моровою язвою“: ему все казалось, что это только прилипчивая горячка, и при этомъ онъ замѣчаетъ, что прилипчивость горячки легко могла произойти между фабричными „при чрезвычайно худомъ сихъ людей содержаніи въ пищи, особливо при ужасно нечистомъ ихъ образѣ жизни, гдѣ вонь ихъ жилищъ почти несмысленнымъ скотамъ несносна была“ (въ подлинникѣ: „da der Gestank in ihren Wohnungen kaum einem unfer-nünftigen Thire erträglich gewesen sein soll“). Скіаданъ также не хочетъ произнести слова— „моровая язва“ и также подаетъ особое мнѣніе. Несмотря на то, что въ это время въ Москву прибылъ отъ арміи изъ Хотина штабъ-лѣкарь Граве и вмѣстѣ съ профѣзжавшимъ изъ Яссы докторомъ Ореусомъ удостовѣрялъ, что въ Москвѣ такая же чума, какая тогда свирѣпствовала въ Молдавіи и Польшѣ, Кульманъ и Скіаданъ стояли на своемъ: въ Москвѣ нѣтъ чумы, а только „перевалка“!

„Сіе противное ихъ и прочихъ штабъ-лѣкарей и лѣкарей разглашеніе въ жителяхъ причинило такое невѣріе, что большая часть не старалась быть осторожнымъ; а господина доктора Кульмана въ томъ такъ далеко простиралось стараніе, что онъ не только въ одной Москвѣ, но и въ самомъ Петербургѣ письмами многихъ знатныхъ людей старался въ своемъ вредномъ и непохвальномъ мнѣніи увѣрить“,—говоритъ вышеупомянутое описаніе „моровой язвы“.

Эти споры изъ-за названія, дѣйствительно, были, до нѣкоторой степени, причиною того, что Москва легко сдѣлалась жертвою жесточайшей чумы, существованію которой жители долго не вѣрили. Подобныя грустныя явленія мы часто видимъ въ исторіи. Такъ, напр., во время нападенія Пугачова на Саратовъ, городъ этотъ погибъ изъ-за того, что Державинъ занимался литературно-канцелярскою полемикой съ комендантомъ Бошнякомъ, а Лодыженскій доказывалъ Бошвяку, что онъ, Лодыженскій, статскій совѣтникъ, старше его, Бошвяка, полковника, и долженъ, по чину, защищать городъ; а когда дѣло дошло до защиты, то статскій совѣтникъ бѣжалъ раньше всѣхъ коллежскихъ регистраторовъ.

Споры и пререканія сдѣлали то, что больше чѣмъ черезъ мѣсяць послѣ того, какъ чума уже разбросала свой губительный ядъ по всей Москвѣ, вздумали запечатать торговыя бани, гдѣ за это время успѣла заразиться едва ли не вся масса московскаго рабочаго населенія. Спасеніе для Москвы было невозможно. Страшная болѣзнь должна была пройти всѣ периферіи и только тогда закончить свой естественный цикль, когда смерть слѣлаегь свое дѣло и эпидемія, какъ это вездѣ бываетъ съ нею, сама собою издохнетъ отъ недостатка жертвъ.

## II.

Но правительство все еще надѣялось спасти Москву.

25-го марта императрица прислала изъ Петербурга нарочнаго съ именными повелѣніями къ графу Салтыкову и къ генераль-поручику Еропкину: Екатерина вручала Москву непосредственному завѣдыванію Еропкина, но только „подъ главнымъ надзираніемъ графа Салтыкова“. Имъ повелѣвалось принять энергическія мѣры для спасенія древней столицы — „всѣмъ предосторожности и попеченія о сохраненіи столичнаго города Москвы гораздо усугубить“.

31-го марта Еропкинъ принялъ Москву въ свое завѣдываніе. Первымъ его дѣломъ было назначить ко всѣмъ четырнадцати частямъ города особыхъ смотрителей, взятыхъ изъ разныхъ коллегій и канцелярій. Въ ихъ распоряженіе отдавались полицейскіе офицеры каждой части и, кромѣ того, къ каждой части командировывался особый докторъ. Лично при Еропкинѣ находился сверхъ того князь Макуловъ, который „принялъ добровольно, безъ всякаго жалованья, изъ усердія къ отечеству, трудъ доставлять и снабждать всѣмъ потребнымъ больницы и охранительныя дома и имѣть особое надъ всѣми военными командами смотрѣніе“. На обязанность частныхъ смотрителей возложено было — объявить чрезъ полицейскихъ служителей всѣмъ жителямъ Москвы, чтобы они тотчасъ же давали знать на съѣзжій дворъ о всякомъ заболѣвшемъ въ ихъ домѣ, кто бы онъ ни былъ, а особенно о тѣхъ, кои заболѣваютъ внезапно или же внезапно умираютъ. Смотритель, получивъ такое свѣдѣніе, долженъ немедленно отправляться въ показанный домъ съ частнымъ докторомъ, и если по осмотру больной окажется чумнымъ, то о немъ тотчасъ же доносить Еропкину. Еропкинъ немедленно отправляетъ затѣмъ въ показанный домъ кого-либо изъ состоящихъ при немъ докторовъ — Ягельскаго или Граве, и если показаніе частнаго доктора подтвердится (какая длинная процедура!), то всѣ живущіе съ больнымъ въ одномъ домѣ немедленно высылаются въ особый покой, а больной вмѣстѣ съ своимъ платьемъ и со всѣмъ, что „около него въ употребленіи было“, тотчасъ же отправляется въ Угрѣшскій монастырь съ опредѣленными для того полицейскими служителями, одѣтыми въ вошпанное платье; около дома ставится караулъ, который никого не пу-

кает со двора, а комната, гдѣ находился больной, окуривается можжевельникомъ.

Но народъ, всегда въ подобныхъ случаяхъ показывающій недовѣріе къ властямъ и въ особенности къ докторамъ, постарался и въ данномъ случаѣ избѣгать всякихъ сношеній съ властями и докторами и по возможности обходить законъ.

Внезапною и сомнительною смертью считалась такая, когда больной умиралъ раньше четырехъ дней; если же болѣзнь продолжалась долѣе и мѣстный священникъ давалъ удостовѣреніе, что онъ напутствовалъ умершаго, то такого не осматривали. Въ виду этого московскіе обыватели не только не объявляли на стѣзжихъ дворахъ о своихъ больныхъ, но и о внезапно умершихъ говорили, что они хворали долго. Избавляя такимъ образомъ свои дома отъ карауловъ, а себя отъ карантина и соединеннаго съ нимъ разстройства въ хозяйствѣ,—москвичи, что называется, настежь растворяли въ свои дома двери и окна для чумы.

До 1771 года Москва большею частью хоронила своихъ мертвецовъ въ городѣ, около церквей, какъ это заведено было изстари. Понятно, что такой обычай не могъ быть терпимъ долѣе, особенно же въ чумное время и притомъ въ такомъ многолюдномъ и нечистомъ городѣ какъ Москва, и потому Екатерина именнымъ указомъ повелѣла графу Салтыкову назначить внѣ города особую кладбища, а внутри города мертвыхъ не хоронить. По сношенію съ московскимъ архіепископомъ, Салтыковъ опредѣлилъ для кладбищъ десять загородныхъ церквей, расписавъ по нимъ весь городъ, а для погребенія „благородныхъ и чиновныхъ людей“ назначены были три загородныхъ монастыря—Новодѣвичій, Спасоандроніевскій и Донской.

Когда Москва такимъ образомъ уже окончательно признана была чумнымъ городомъ, то нужно было подумать уже о спасеніи остальной Россіи. Москва всегда считалась сердцемъ русской земли. Дѣйствительно, населеніе и продукты производства всей русской земли притекали къ Москвѣ, какъ кровь къ сердцу, равно населеніе и продукты производства самой Москвы расходились, подобно крови отъ сердца, по всему организму государства. Оставалось одно средство—запереть Москву, изолировать ее отъ всей остальной Россіи. Но какъ это сдѣлать? Ни войскъ для охраны, ни средствъ для пропитанія Москвы, конечно, не доставало бы, если-бъ и признано было полезнымъ всю Москву превратить на время въ громадный карантинъ. Москва должна была кормиться отъ сосѣднихъ производительныхъ мѣстностей, и потому окончательно запереть Москву было невозможно. Тогда рѣшено было запереть ее только отчасти: изъ 18 главныхъ заставъ, которыми обыкновенно въѣзжаютъ въ Москву и выѣзжаютъ изъ нея, оставлены свободными для проѣзда только семь—калужская, серпуховская, рогожская, преображенская, троицкая, тверская и дорогомилловская, а остальные одиннадцать—симоновская, спасская, покровская, проломъ, гофъ-интендантская, лефортовская, семеновская, сокольницкая, миусская, прѣсенская и лужнецкая—заперты. Кромѣ переру устроенныхъ уже отъ украинской стороны карантинныхъ за-

ставъ въ Боровскѣ, Серпуховѣ, Калугѣ, Алексинѣ, Каширѣ и Коломнѣ, проведена была вокругъ Москвы цѣлая цѣпь новыхъ заставъ, но уже не для того, чтобы останавливать тѣхъ, кои ѣхали въ Москву, а тѣхъ, напротивъ, кои изъ Москвы выѣзжали: разсадникомъ моровой язвы для Россіи становилась Москва и отъ нея слѣдовало прикрыть всю остальную Россію. Такимъ образомъ, новыя заставы были учреждены—въ с. Всесвятскомъ, въ д. Лихоборахъ, въ сс. Ростокинѣ и Алексѣевскомъ, въ д. Щитниковой, въ с. Ивановскомъ, въ д. Вязовкѣ, въ Котлахъ, въ сельцѣ Семеновскомъ, въ Никольскомъ, въ д. Мазиловой, въ с. Хорошовѣ и въ Тушинѣ.

Но всего болѣе, конечно, боялись за Петербургъ. Для того, чтобы страшная язва „не могла и въ самый городъ Санктпетербургъ вкратъся“, именнымъ указомъ отъ 31-го марта велѣно было Еропкину не пропускать никого изъ Москвы не только прямо въ Петербургъ, но и въ мѣстности, лежація по пути къ сѣверной столицѣ, безъ особаго письменнаго удостовѣренія, въ которомъ бы точно опредѣлено было, что такіе отъѣзжающіе изъ Москвы слѣдуютъ „изъ здоровыхъ и неприкосновенныхъ заразительной болѣзни домовъ, равно и товары или вещи съ ними отправляемые—свободны отъ заразы“. Кромѣ этихъ удостовѣреній, каждый отъѣзжающій долженъ былъ подвергаться свидѣтельствуванію со стороны докторовъ Граве или Ягельскаго. Наконецъ, всѣмъ проѣзжающимъ черезъ Москву въ Петербургъ запрещено было проѣзжать черезъ московскія заставы, а велѣно было слѣдовать мимо города, особыми дорогами, равно и почтовыхъ лошадей запрещено было перемѣнять въ Москвѣ, для чего и почтовые станціи назначены были за московскими заставами. Мало того, отъ Петербурга протянута была особая сторожевая цѣпь, подъ начальствомъ генераль-поручика графа Брюса. Цѣпь эта стягивалась къ тремъ центральнымъ застамамъ: въ Твери—подъ начальствомъ гвардіи капитанъ-поручика Афромова, въ Вышнемъ Волочкѣ—гвардіи капитанъ-поручика Меркулова и въ Бронницахъ—гвардіи капитанъ-поручика Ушакова. Наконецъ, поставлены заставы, все для того же огражденія Петербурга, по дорогамъ старорусской, тихвинской, по старой и новой новгородской и по смоленской.

Но чѣмъ энергичнѣе и настоятельнѣе принимало мѣры въ данномъ случаѣ правительство, тѣмъ съ большимъ недовѣріемъ относился къ нимъ народъ. О больныхъ совершенно перестали доводить до свѣдѣнія полиціи, такъ что въ мартѣ и апрѣлѣ мѣсяцахъ начальство получило извѣстіе только о двухъ чумныхъ въ городѣ! Повидимому, невѣроятный фактъ, но онъ свидѣтельствуванъ официальнымъ документомъ: ясно, насколько неслестно было довѣріе населенія къ оберегающимъ его властямъ. Мало того, когда полиція стала жечь оставшіяся послѣ чумныхъ зараженныя вещи и когда народъ узналъ объ этомъ, то еще съ большимъ упрямствомъ сталъ прятать пожитки, остающіеся отъ умершихъ чумныхъ, и такимъ образомъ самъ разносилъ по городу или укрывалъ у себя свою собственную смерть. Но и это еще не все: боясь властей, боясь полиціи и ея „мортусовъ“, этихъ засмоленныхъ и запитыхъ въ вощанки страшныхъ людей, въ ужасныхъ

маскахъ рыскавшихъ по улицамъ и по домамъ, таскавшихъ длинными крючьями чумные трупы и зачумленное платье, боясь карантиновъ, какъ неминуемой смерти, опасаясь, наконецъ, за свое жалкое имущество, чтобъ его не отняли и не сожгли, — народъ сталъ или выбрасывать трупы умершихъ на улицы, или тайно зарывать ихъ въ землю въ городѣ, въ садахъ, въ огородахъ, въ подпольяхъ и погребкахъ!

Нельзя, впрочемъ, въ этомъ случаѣ безусловно винить бѣдное население Москвы: народъ поступалъ такимъ, повидимому, недостойнымъ и преступнымъ образомъ потому, что, при вывозѣ изъ частныхъ обывательскихъ домовъ больныхъ въ карантинъ, дома эти и находящеся въ нихъ имущество были не безопасны отъ расхищенія. А для бѣднаго глиняный горшокъ такъ же дорогъ, какъ для богатаго северскій фарфоръ или китайская ваза. Въ расхищеніи же имущества бѣдныхъ откровенно сознаются сами дѣятели того смутнаго времени („Описаніе мор. яз.“, стр. 66).

Наступило лѣто. Съ жаркими днями увеличилось число чумныхъ жертвъ. Болѣзнь, видимо, свирѣпствовала. Но народъ, не вѣря ни властямъ, ни докторамъ, опасаясь и за свою свободу, и за свою жизнь, и за свое имущество, скорѣе соглашался подвергнуться всѣмъ ужасамъ заразы, чѣмъ открыто призвать существованіе въ городѣ чумы. Между тѣмъ всѣ, кто могъ уѣхать изъ города, всѣ „господа и бояре“, спѣшили укрыться въ своихъ далекихъ помѣстьяхъ, а тѣ, которые не могли бѣжать изъ города, да и тѣ, которымъ некуда и не съ чѣмъ было бѣжать, прятались сами и прятали своихъ больныхъ и мертвыхъ. Чума набрала мѣстомъ своего пребыванія преимущественно бѣдныя части города— слободы Преображенскую, Покровскую, Семеновскую. Находились дома, гдѣ всѣ вымирали разомъ. Больницы въ монастыряхъ Угрѣшскомъ и Симоновомъ оказались тѣсны. „Мортусы“ все чаще и чаще таскали больныхъ изъ города. Чтобы сберечь имущество больныхъ отъ расхищенія, а дома отъ окончательнаго разоренія, велѣно было построить около Симонова монастыря особый амбаръ, куда и сваливали уцѣлѣвшіе отъ расхищенія пожитки больныхъ и умершихъ, а мелкія вещи, оставшіяся послѣ этихъ несчастныхъ, равно предметы, бывшіе въ употребленіи, продолжали сжигать.

Наконецъ, и полиція выбилась изъ силъ. Полицейскіе фурманщики не въ состояніи уже были перевозить всѣхъ больныхъ въ карантинъ, да и сами заражались и умирали. Оказалось, что раздѣвать больныхъ уже некому— „мортусовъ“ и полиціи не хватало на это, и потому раздѣванье больныхъ возложено было на самыхъ обывателей, а велѣдъ за операціей раздѣванья, по необходимости, надо было и здоровыхъ забирать въ карантинъ. Этихъ послѣднихъ свозили въ село Троицкое-Голенцево.

Эпидемія между тѣмъ не ослабѣвала. Къ концу іюля московскія власти, сознавая свое безсиліе и безсиліе принятыхъ ими мѣръ, старались объяснить усиленіе болѣзни упорствомъ и невѣжествомъ народа, доказывая, что принятія ими мѣры „не могли усиливающейся заразѣ поставитъ предѣловъ“, что „вмѣсто желаемого успѣха и ожидаемаго прекращенія болѣзни,

она ежедневно и очевидно скорыми и многими смертными поражёниями по всему городу стала свирѣлствовать“, но что главная причина этого бѣдствія— „невѣріе почти всѣхъ, какъ низкаго, такъ и знатнаго званія людей, которые все еще обыкновенною гнилою горячкою помянутую болѣзнь называли и не прикосновенію и своей неосторожности, но слѣпому року и власти Вожіей таковую приписывали“.

Въ виду такого „злощастія“ и „всеобщаго ослѣпленія“, Еропкиня пригласилъ слѣдовавшаго тогда изъ Молдавіи и Кіева петербургскаго штатъ-физика доктора Лерхе, о которомъ уже упомянуто было выше, и просилъ его, осмотрѣвъ всѣ больницы, а равно умершихъ заразою, опредѣлить, накопецъ, чума ли поражаетъ Москву, или другая болѣзнь. Лерхе, по осмотрѣ больныхъ и мертвыхъ, вмѣстѣ съ цѣлымъ медицинскимъ совѣтомъ,— какъ выражается официальный актъ того времени,— „съ ужасомъ и сожалѣніемъ призналъ ихъ всѣхъ опасной и заразной болѣзнію съ знаками, яко-то бубонами, карбункулами и пятнами черными подверженыхъ, и безъ всякаго сумнительства оную болѣзнь за самую дѣйствительную моровую язву утвердилъ“. Медицинскій совѣтъ снова послѣ этого высказываетъ свое „послѣднее мнѣніе“ о свирѣлствующей въ Москвѣ болѣзни и, строго обвиняя докторовъ, разглашавшихъ, что это не чума, проситъ Еропкина „таковымъ ихъ вреднымъ и неосновательнымъ увѣреніемъ не вѣрить, дабы чрезъ то не привести общество еще въ большую оплошность и нерадѣніе въ потребныхъ предосторожностяхъ“.

Москва пустѣетъ съ каждымъ днемъ. Бѣгство еще болѣе усиливается, несмотря на заставы. Всѣ дѣла и работы останавливаются. „Производство челобитныхъ дѣлъ“ по всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ, вслѣдствіе особаго высочайшаго повелѣнія, также прекращается, — а между тѣмъ число умершихъ все увеличивается. Въ амбарахъ Симонова монастыря уже нѣтъ мѣста для храненія имущества выморочныхъ домовъ. Строятъ новыхъ чумныхъ цѣхгаузовъ некогда да и некому, и потому велѣно всѣ послѣ мертвыхъ пожитки оставлять въ ихъ собственныхъ домахъ, окошки и двери запираеть и зат ечатывать, ставя около такихъ домовъ караулы. Но и карауловъ уже не изъ кого учреждать.

Наступаетъ августъ, обыкновенно самый страшный во время всякихъ эпидемій мѣсяцъ. Мертвые уже валяются по улицамъ—это тихонько выброшенные изъ домовъ. Другой идетъ, падаетъ — и на улицѣ умираетъ. „Причина такому идушимъ по улицамъ скорому смертному пораженію не та была, — говорится въ официальномъ актѣ того времени, — чтобы такой умершій, не имѣвъ прежде никакой болѣзни, вдругъ яко бы отъ зараженнаго воздуха умеръ, но такая смерть отъ того происходила, что всякъ, особливо изъ простаго народа, старался утаивать свою болѣзнь и всячески, будучи уже дѣйствительно зараженъ, до тѣхъ поръ перемогался, пока она его по своему лютому качеству скоропостижно умерщвляла“. Чтобы трупы эти, при продолжительномъ непогребеніи быстро разлагаясь отъ жары, не могли еще болѣе заражать воздухъ, велѣно было такимъ мертвецомъ безъ

всякаго медицинскаго осмотра тотчас зарывать въ землю. Для этого опредѣлены были особые офицеры, которые, разѣзжая по городу и находя по улицамъ трупы, тотчасъ должны были приказывать убирать ихъ и свозить на чумныя кладбища.

Но и труповъ уже некому было вывозить да и подбирать съ мостовыхъ некому: полицейскіе десятскіе всё почти перемерли, а обыватели, при видѣ въ своемъ домѣ больного, разбѣгались. Пришлось обратиться за помощью къ каторжникамъ, преступникамъ, осужденнымъ на смерть или имѣющимъ быть приговоренными къ смерти розыскою экспедиціею. И вотъ, ихъ берутъ изъ остроговъ. Для этихъ страшныхъ „мортусовъ“ при каждой части построены были особые дома, гдѣ и содержались эти „служители смерти“ подъ особымъ карауломъ, на коронномъ содержаніи, имѣя въ своемъ распоряженіи особую упряжь, лошадей, носилки и крючья для захватыванія труповъ, а равно смоляную и вошаную одежду, маски и рукавицы.

Сохранилось мастерское описаніе моровой язвы, свирѣпствовавшей когда-то въ Афинахъ. Описаніе это принадлежитъ знаменитѣйшему и даровитѣйшему изъ историковъ древняго и новаго міра—Фукидиду. Ужасъ охватываетъ при чтеніи этого описанія: то была, безъ сомнѣнія, тоже чума, занесенная въ Атику съ Востока.

Намъ невольно приходится на память картина моровой язвы въ Афинахъ, когда мы читаемъ слѣдующее мѣсто изъ воспоминавшаго Подшивалова о московской чумѣ: „ежедневно тысячами фурманщики въ маскаxъ и вошаныхъ плащахъ (воплощенные дьяволы) длинными крючьями таскали трупы изъ выморочныхъ домовъ, другіе подымали на улицы, клали на телѣгу и везли за городъ, а не къ церквамъ, гдѣ оныя прежде похоронялись. У кого рука въ колесѣ, у кого нога, у кого голова черезъ край виситъ и обезображенная безобразно мотается. Человѣкъ по двадцати разомъ взваливали на телѣгу. Трупы умершихъ выбрасывались на улицу, тайно зарывались въ садахъ, огородахъ и подвалахъ“.

Такія же поразительныя картины находимъ мы въ „Кузьмѣ Рошинѣ“, романѣ Загоскина изъ этого времени.

Какъ ни старались запереть Москву заставами и караулами отъ сообщенія съ окрестностями, чума перебралась и черезъ заставы, и черезъ караулы. Сначала ее вывезли изъ Москвы и разнесли по деревнямъ,—какъ говорить современное свидѣтельство,—„знатные и должностными не обязанные люди“, которые, убѣгая въ свои помѣстья, или сами увозили туда съ собою заразу, или же зараза выносилась ихъ зараженными служителями. Потомъ зараза невидимо пробиралась черезъ заставы всѣми путями, какими только ей можно было пройти: нерѣдко больные, боясь карантинныхъ, тайно по почтамъ уходили изъ города и въ полѣ умирали; нерѣдко же и здоровые, боясь за цѣлость своихъ пожитковъ, спасали ихъ отъ огня тѣмъ, что тайно отъ караульныхъ проносили въ деревни и тамъ прятали. Объ этомъ московскія власти догадались уже тогда, когда чума успѣла, что-

называется, испятнать весь московскій уѣздъ и почти всю губернію. Тогда велѣно было всѣмъ „благороднымъ“, которые уѣзжали изъ города въ свои деревни, присылать прислугу въ частные дома для освидѣтельствования. Но было уже поздно. Караульные, поставленные на всѣхъ выѣздахъ у Камерь-Коллежскаго вала, напрасно такимъ образомъ сторожили выходъ изъ Москвы чумы „по отбытіи вечерней зари“—чума свободно ходила уже за Камерь-Коллежскимъ валомъ.

Вотъ одинъ изъ тысячи примѣровъ переноса чумы изъ Москвы въ окрестности: по современному отзыву московскихъ властей, „лежащее по троицкой дорогѣ государево село Пушкино отъ того только заразилось и почти все померло, что одинъ мужикъ изъ Рогожской ямской слободы послѣ умершихъ привезъ туда женѣ своей кокошникъ“.

Поздно также московскія власти спохватились, что распространенію заразы по городу не мало способствовали кабаки, гдѣ народъ особенно любитъ собираться въ смутныхъ обстоятельствахъ, чтобъ запить и свое горе, и свой страхъ, держась пословицы, что „на людяхъ и смерть красна“. Только въ августѣ сдѣлано было распоряженіе—никого внутрь питейныхъ домовъ не впускать, а производить винную продажу въ окна и двери чрезъ сдѣланныя рѣшетки, опускаая при этомъ деньги въ сосудъ, наполненный уксусомъ.

Эти позднія мѣры были уже, можно сказать, бесполезны: изъ сердца Россіи чума успѣла быстро перенестись во всѣ концы государства и уже свирѣпствовала въ губерніяхъ: Смоленской, Нижегородской, Казанской, Воронежской и Вѣлгородской, т.-е. захватила половину тогдашней европейской Россіи.

Поздній страхъ овладѣлъ, наконецъ, и остальнымъ населеніемъ Москвы, тѣмъ населеніемъ, которое долго не хотѣло вѣрить, что народъ мретъ отъ чумы, а не отъ „перевалки“. Многіе дома, закупивъ для себя съѣстныхъ припасовъ, окончательно заперлись; другіе же высылали въ городъ для разныхъ надобностей кого-либо одного, какъ бы обреченнаго на смерть, и уже не имѣли съ нимъ никакого сообщенія. Заперся и воспитательный домъ, который въ одномъ главномъ своемъ корпусѣ, въ такъ называемомъ „квадратѣ“, вмѣщалъ до тысячи челоуѣкъ питомцевъ съ надзирателями, кормилицами и прислугой. Роженицамъ приходилось бросать дѣтей на улицахъ, если бы бывшимъ тогда опекуномъ воспитательнаго дома, Алексѣемъ Дурново, не былъ открытъ для роженицъ его собственный домъ: „симъ богоугоднымъ поступкомъ,—говорить „Описаніе“,—сохранивъ жизнь тѣхъ, которыхъ было по несчастномъ рожденіи неминуемая смерть пожрать хотѣла“, Дурново „вручилъ“ воспитательному дому 27 младенцевъ.

Страшная болѣзнь посѣтила, наконецъ, и тотъ домъ, въ которомъ жилъ главный начальникъ Москвы, Еропкинъ, потому что этому дому менѣе всего можно было уберечься отъ заразы: „не только его домъ и покой,—говорить современное свидѣтельство,—ежечасно наполнены были разнаго званія, а особливо подчиненными его людьми, изъ всѣхъ опасныхъ мѣстъ



приходящими и отъ него различныхъ приказаній требующими, но и самъ онъ своею особою часто во всё мѣста, гдѣ самая видимая опасность настояла, не оставлялъ проѣзжать, дабы тѣмъ унылыхъ и отчаянныхъ жителей ободрить и узнать, все ли по его учрежденію исполняется“. Зараза появилась сначала между его вѣстовыми солдатами и писарями, а затѣмъ перешла и на прислугу, такъ что въ домѣ его разомъ умерло семь человѣкъ. Императрица, узнавъ объ этомъ, „восчувствуя съ матернимъ сожалѣніемъ во всемъ пространствѣ всю народную нужду и уваживъ опасность“, въ которой Еропкинь находился, назначила ему помощникомъ сенатора Собакина. Кромѣ того, въ помощь же Еропкину Екатерина опредѣлила еще и штатъ-физика Лерхе.

Но чѣмъ дальше, тѣмъ безнадежнѣе казалось положеніе Москвы и ея населенія, и тѣмъ безсилнѣе оказывались власти и всё ихъ мѣры, казавшіяся жалкими передъ неукротимой силой эпидеміи. Полиція рѣшительно сбилась съ ногъ, тѣмъ болѣе, что каждый день зараза буквально косила все, что ей попадалось на пути, а чаще всего, конечно, попадались ей подъ руку полицейскіе и другіе служители, обязанные дѣйствовать и спасать будто бы другихъ. О больныхъ обыватели совершенно уже перестали сообщать полиціи, да не мало оказывалось и такихъ домовъ, гдѣ некому было и вѣсть подать о томъ, что тамъ дѣлалось—всѣ вымирали напавъ и гнили по домамъ, ожидая прихода „мортусовъ“ съ крючьями. Тогда вслѣдствіе особаго, состоявшагося при императорскомъ дворѣ, совѣта, велѣно было въ Москвѣ отъ каждыхъ десяти дворовъ выбрать своихъ собственныхъ десятскихъ, которые обязаны были дѣлать именную перепись своимъ участкамъ и, ходя всякій день по дворамъ, производить переключки—кто остался еще живъ, кто умеръ, кто заболѣлъ—и больныхъ отвозить въ больницы, а трупы убирать и свозить на кладбища. Тогда несчастные москвичи, по своему „развратному и неразумному понятію“, боясь и чумы, и карантинновъ, стали тихонько выбрасывать изъ своихъ домовъ трупы, конечно, обнажая ихъ для того, чтобы смотрители и десятскіе не могли узнать, изъ какого дома трупъ выброшенъ на улицу.

Въ виду этого Екатерина обратилась къ Москвѣ съ слѣдующимъ высочайшимъ указомъ изъ правительствующаго сената: „Извѣстно ея императорскому величеству стало, что нѣкоторые обыватели въ Москвѣ, избѣгая докторскихъ осмотровъ, не только утаиваютъ больныхъ въ своихъ жительствовахъ, но и умершихъ потомъ выкидываютъ на публичныя мѣста. А понеже такое злостное неповиновеніе навлекаетъ на все общество наибѣдственнѣйшія опасности: того для ея императорское величество повелѣваетъ отчески, по имянному своему указу, строжайшимъ образомъ обнародовать во всемъ городѣ, чтобъ отнынѣ никто больше не дерзалъ на такое злостное и вредное ея императорскаго величества законовъ и установленій похищеніе. А есть ли, не смотря на сіе строгое подтвержденіе, кто въ такомъ преступленіи будетъ открытъ и изоблаченъ, или же хотя и въ свѣдѣніи объ этомъ будетъ доказанъ, таковой безъ всякаго монаршаго ея

императорскаго величества милосердія отдается вѣчно въ каторжную работу“.

Но ни этотъ строгій указъ, ни высочайшій гнѣвъ, ни высочайшія соболѣзнованія, ни перспектива вѣчной каторги — ничто уже не въ состояніи было поправить того, что было непоправимо. Народъ, давно потерявшій довѣріе къ властямъ и къ опытности медиковъ, потерялъ, наконецъ, и терпѣніе. Надежды не было уже ни на что, не было уже и нравственной сдержки. Въ народѣ, — какъ говорить официальный документъ того времени, — стало, наконецъ, „рождаться неудовольствіе, роптаніе и отчаяніе“. Надо было ожидать взрыва — Москва была накануне бунта. Взрывы уже и проявлялись въ концѣ августа; но это были вспышки, пока единичныя, разрозненныя, такъ сказать, спорадическія, какъ предвѣстники общей грозы. Въ Лефортовской слободѣ народъ хотѣлъ убить доктора Шафонскаго. Только вмѣшательство частнаго зрителя, лейбъ-гвардіи капитана Волоцкаго, спасло несчастнаго.

Новымъ рескриптомъ на имя Еропкина императрица приказываетъ объявить Москвѣ о непремѣнномъ и частомъ вывѣтриваніи домовъ, объ употребленіи холодной воды для питья и для обмыванія тѣла и объ окуриваніи уксусомъ. Вѣднымъ для этого выдають казенный уксусъ. Всѣ фабрики, которыя еще дѣйствовали, велѣно остановить, а рабочихъ распустить; казеннымъ рабочимъ велѣно выдавать кормовыя деньги.

### III.

Проходилъ августъ. Чума усиливалась. Недоставало людей, недоставало рукъ, недоставало силъ, чтобъ бороться съ бѣдою. Для вывоза за городъ мертвыхъ не хватало, наконецъ, лошадей. „Богъ насъ забылъ“, — роптала Москва.

Вмѣсто 14 частей, Москву раздѣлили на 20. Изъ Петербурга прислали новыхъ офицеровъ гвардіи на помощь московскимъ властямъ. Для раскольниковъ отвели особую больницу — тамъ-то они и покушались убить Шафонскаго. Къ дѣлу привлекли всѣхъ чиновниковъ изъ всѣхъ закрытыхъ присутственныхъ мѣстъ — секретарей, протоколистовъ, регистраторовъ; ихъ обязанность состояла въ наблюденіи за отвозомъ больныхъ въ больницы, а мертвыхъ на кладбища. Кромѣ того, учредили особый полицейскій баталіонъ изъ вольныхъ и охотныхъ людей съ жалованьемъ по полтора рубля въ мѣсяцъ, съ солдатскимъ провіантомъ и мундиромъ.

Въ церквахъ священники должны были читать и толковать народу особыя наставленія, сочиненныя докторами Лерхе и Ягельскимъ, изъ коихъ первое начиналось „наикрѣпчайше приказать всѣмъ, а наибаче подлымъ людямъ“ и т. д., а послѣднее называетъ чуму „проклятою“.

Но было уже не до наставленій. Москвичи видѣли, что имъ ужъ и въ больницахъ помѣщаться негдѣ, а „проклятая“ чума продолжала дѣлать свое дѣло. Оставалось вывозить больныхъ просто за городъ, гдѣ для нихъ и разбивали палатки и лубочныя шалаши.

Наступаетъ сентябрь. Время стоитъ сырое, дождливое. Вмѣсто жаровъ

и духоты, въ домахъ бѣднаго населенія господствуетъ прѣль, гвиль. Но эти дома пустуютъ. Едва появляется въ нихъ одинъ больной, какъ его тотчасъ же мортусы везутъ за городъ, а всѣхъ остальныхъ въ этомъ домѣ забираютъ и выводятъ въ шалаши, въ карантинныя. Если послѣдніе и возвращались потомъ домой, избѣжавъ смерти, то находили дома пустыми, ограбленными. Народъ выдумываетъ новую уловку обходить власть и спастись свои дома отъ разоренія: обыватели стали являться въ частныя дома и всѣхъ здоровыхъ записывать больными, съ тѣмъ расчетомъ, что если по прошествіи десяти дней послѣ записки въ книгѣ больной умретъ и чумой, то его не будутъ уже осматривать, какъ не чумнаго, и домъ оставлять въ покоѣ. Власти узнаютъ объ этой выдумкѣ народа только тогда, когда тысячи несчастныхъ сдѣлались уже жертвою своей собственной изобрѣтательности, и чума подъ-рядъ пожирала и записанныхъ въ книги, и не записанныхъ. И вотъ, десятскимъ велятъ осматривать каждый домъ и доносить о дѣйствительно-больныхъ и мнимо-больныхъ: послѣднихъ, въ страхъ другамъ, берутъ и посылаютъ въ карантинныя дома въ работу.

Несмотря на публикаціи о заразительности прикосновенія къ больнымъ и умершимъ безъ соблюденія извѣстныхъ приѣмовъ предосторожности, несмотря на наставленія и увѣщанія, читаемая въ церквахъ, народъ все еще бродитъ во тьмѣ: по христіанскому обычаю, онъ все еще продолжаетъ обмывать своихъ близкихъ мертвецовъ, все еще цѣлуетъ ихъ „послѣднимъ цѣлованіемъ“, провожаетъ въ могилу — и вновь заражается. И вотъ, власти запрещаютъ народу цѣловать своихъ мертвецовъ, приказывая класть ихъ въ гробы, не раздѣвая и не обмывая, и тотчасъ же гвоздями заколачиваютъ эти гробы. Съ своей стороны Амвросій, архіепископъ московскій и калужскій, издастъ для священниковъ особое наставленіе, чтобы, исповѣдывая больныхъ, они къ нимъ не прикасались, а исповѣдывали бы черезъ двери или черезъ окна, а равно такимъ же образомъ и приобщали бы ихъ; чтобы, при крещеніи дѣтей, не брали ихъ въ руки и не погружали въ воду, а велѣли бы дѣлать это погруженіе повивальной бабкѣ, да и волосы бы у крещаемыхъ не постригали; чтобы, наконецъ, умершихъ не отпѣвали ни на дому, ни въ церкви и даже не вносили бы ихъ въ церковь, а прямо отправляли бы на кладбище.

Распоряженіе Амвросія было истолковано чернью, особенно раскольниками, какъ еретическое, богопротивное. Распоряженіе это стоило Амвросію жизни — его растерзала рбезумѣвшая толпа, какъ мы сейчасъ это увидимъ: — народъ бунтомъ отвѣчалъ на все, что для него же хотѣли сдѣлать полезнаго, да не успѣли.

Пришло, наконецъ, время, что уже недоставало ни могилъ для труповъ, ни гробкопателей и могильщиковъ для погребенія чумныхъ.

Скоро и Еропкинь, единственный главный начальникъ, управлявшій Москвою въ то время, когда главнокомандующій графъ Салтыковъ со страху покинулъ городъ, остался безъ помощника, которымъ былъ сенаторъ Собакинъ: чума появилась и въ его домѣ, который поэтому и былъ запертъ. Тогда императ-

рица въ помощь Еропкину прислала изъ Петербурга сенатора Похвиснева.

„Въ какомъ плачевномъ состояніи,—говоритъ Бантышъ-Каменскій,—находилась въ то время древняя російская столица! Опустѣвшіе дома, мертвые трупы, по улицамъ валявшіеся; печальные жители, въ видѣ блѣдныхъ тѣней, вдоль и поперекъ города, шца и не находя нигдѣ себѣ спасенія, бродившіе; унылые звуки колоколовъ, отчаянія матерей, жалкіе вопли невинныхъ младенцевъ — вотъ несчастная картина того града, въ коемъ незадолго передъ тѣмъ раздавались радостные клики счастливыхъ обитателей“.

Въ ночь на 16-е сентября въ Москвѣ вспыхнулъ бунтъ.

Россія не первый разъ переживала подобные бунты, вызывавшіеся какимъ-нибудь общественнымъ бѣдствіемъ, которое доводило народъ до отчаянія, до потери гражданской сдержки и благоразумія. Пожары, голодъ, моръ — вотъ тѣ общественныя бѣдствія, которыя доводятъ народъ до отчаянія и, затѣмъ, нерѣдко, до проявленія необузданнаго, безумнаго звѣрства. Такъ было въ древней Руси, такъ было и въ новой. Бунты вспыхивали въ Великомъ Новгородѣ, въ Псковѣ, въ Москвѣ и почти охватывали цѣлыя области. Во время общественнаго бѣдствія, когда люди ниткуда не видятъ спасенія, отчаяніе заставляетъ ихъ искать причины бѣдствія въ какомъ-нибудь злоумышленіи, и чернь, по какимъ-нибудь пустымъ подозрѣніямъ, старается отыскивать виновниковъ своего бѣдствія, „лихихъ людей“ — и всегда, какъ ей кажется, находитъ ихъ, особенно при помощи разныхъ толкователей, такихъ же, какъ и она сама, довѣрчивыхъ и суевѣрныхъ. На этихъ-то „лихихъ людей“ и обрушивается вся накопившаяся въ народѣ горечь и злора. Такъ, еще въ 1024 году, когда въ Суздальской области стоялъ голодъ и народъ дошелъ до отчаянія, „возстали,—говоритъ лѣтописецъ,—волхвы лживые въ Суздали и начали избивать старую чадь бабы, сказывая народу, будто старухи держатъ гобино и жито и пускаютъ на землю голодъ“, такой страшный голодъ, что мужья отдають своихъ жевъ въ рабство, чтобъ только кормили ихъ. Съ трудомъ Ярославъ усмирить этотъ страшный мятежъ. Лѣтъ черезъ пятьдесятъ, также во время голода, вспыхнулъ еще болѣе страшный мятежъ на Волгѣ, около Ярославля. Кудесники опять указывали на „лихихъ бабъ“, посылающихъ на землю голодъ,—и народъ самъ выводилъ къ кудесникамъ своихъ жевъ, дочерей, матерей, и несчастныхъ бабъ тутъ же избивали. Такіе же мятежи были и послѣ. Во время пожаровъ народъ всегда ищетъ поджигателей и, заподозрѣвъ кого-либо, начинаетъ избиеніе этихъ мнимыхъ лихихъ людей. Во время эпидеміи народъ всегда ищетъ отравителей, которые будто бы бросаютъ отраву въ воду, въ колодцы, въ рѣки, въ самый воздухъ, и большею частью, за неимѣніемъ отравителей, опрокидываетъ свое отчаянное изступленіе на лѣкарей, на властей и т. д. Такіе бунты были: въ Севастополѣ, во время чумы 1829—30 года, когда взбунтовавшіяся женщины, а за ними и мужья ихъ, взяли приступомъ городъ, растерзали губернатора и многихъ изъ властей города и владѣли Севастополемъ, какъ побѣдители, нѣсколько дней,— и въ Петербургѣ, въ холеру 1848 года,

когда только неустрашимость императора Николая Павловича спасла столицу отъ дальнѣйшаго распространенія народнаго мятежа.

Въ данномъ случаѣ, во время чумнаго бунта въ Москвѣ, простой народъ видѣлъ лихихъ людей прежде всего въ архіепископѣ Амвросіи, потомъ въ докторахъ и затѣмъ уже во всѣхъ властяхъ города.

Независть черни къ Амвросію происходила изъ разныхъ причинъ. Отчасти онъ не пользовался популяренностью потому, что москвичи считали его нерусскимъ, иноземцемъ по происхожденію. Предки его были молдавнскіе дворяне, а мать—малороссіянка. До поступленія въ монашество онъ носилъ фамилію Зертышъ-Каменскаго, которая была въ родствѣ съ фамиліею Вантышъ-Каменскихъ. Извѣстно, что малороссійское или кіевское духовенство со времени Петра, да еще и раньше его, приобрѣло значительную власть въ Великой Россіи, такъ что высшія духовныя лица въ концѣ XVII и въ началѣ XVIII вѣка почти всѣ были изъ малороссіянъ, т.-е. изъ кіевскихъ ученыхъ, начиная отъ Симеона Полоцкаго, Теофана Прокоповича и кончая Амвросіемъ Зертышъ-Каменскимъ. Старорусская, особливо московская партія, не любила ихъ отчасти какъ иноземцевъ, отчасти же какъ новаторовъ, склонныхъ будто бы къ латинской ереси. Независть въ кіевскимъ духовнымъ особенно поддерживали въ народѣ раскольники, которые и святителя Димитрія Ростовскаго, родомъ тоже изъ малороссійской фамиліи Туптало, считали еретикомъ, табачникомъ, латинцемъ. Затѣмъ, зависть къ Амвросію усилилась еще болѣе, когда чувство это стали разжигать въ народѣ сами же московскія духовныя власти, не любившія своего архіепископа уже за то, что онъ былъ малороссіянинъ и строгій блюститель духовнаго, а не вѣшняго приличія церкви и духовенства, а потомъ окончательно возненавидѣвшія его, когда онъ отмѣнилъ и строго воспретилъ старинный русскій обычай церковнаго наемничества, — обычай, крѣпко державшійся еще въ древнемъ Новгородѣ и Псковѣ. Въ Москвѣ обычай этотъ состоялъ въ томъ, что находившіеся въ этомъ городѣ священники безмѣстные, къ какой бы епархіи они ни принадлежали, каждое утро собирались на Лобное мѣсто, какъ на базаръ, и тамъ у Спасскихъ воротъ дожидались, чтобы кто-нибудь нанялъ ихъ на этотъ день служить обѣдню, отправлять панихиду, пѣть молебенъ и т. д. Затѣмъ, когда священники, во время чумы, почти каждый день затѣвали церковныя ходы и, способствуя тѣмъ постоянному скопленію народа въ церквахъ, на площадяхъ и на улицахъ, невольно помогали заразѣ вмѣстѣ съ зараженными переходить изъ одного конца города въ другой, Амвросій запретилъ и эти сборища священниковъ и прихожанъ. Священники лишились чрезъ это доходовъ, а прихожане, какъ имъ казалось, духовнаго утѣшенія—и вотъ причина новой зависти.

„Праздность, — говоритъ жизнеописатель Амвросія (Вантышъ-Каменскій), — корыстолюбіе и проклятое суевѣріе прибѣгло къ другому вымыслу. Въ началѣ сентября, попъ Всѣхъ Святыхъ, что на Кулишкахъ, вздумалъ разглашать о видѣнномъ будто во снѣ однимъ фабричнымъ чудесномъ явленіемъ“.

Дѣйствительно, фабричный рассказывалъ, что, онъ видѣлъ во снѣ Богородицу, которая будто бы повѣдала ему, что такъ какъ находящемуся у Варварскихъ воротъ образу Ея никто не вѣлъ вотъ уже болѣе 30 лѣтъ, ни свѣчи не поставилъ, то Христосъ будто бы хотѣлъ за это послать на Москву каменный дождь, но что Она, Богородица, умолила сжалиться надъ Москвою и послать на нее трехмѣсячный моръ. „Изрядная скука!“ — прибавляетъ Бантышъ-Каменскій.

Какъ бы то ни было, но фабричный помѣстился у Варварскихъ воротъ, рассказывалъ народу свой чудесный сонъ, и толпы суевѣрной черни пошли къ нему со всей Москвы, какъ, повидимому, ни была она опустошена чумою.

— Порадѣйте, православные, Богоматери на всемирную свѣчу, — кричалъ фабричный, разжигая этимъ крикомъ народныя страсти, и безъ того распалившіеся продолжительнымъ терпѣніемъ страшнаго бѣдствія.

Все повалило къ Варварскимъ воротамъ: больные и здоровые, женщины и дѣти. Священники побросали свои приходы, разставили у воротъ наложники — и пошло молебствіе отъ равняго утра до поздней ночи. „Это было торжище, а не богомоліе“, — поясняетъ жизнеописатель Амвросія.

Такъ какъ икона помѣщалась высоко, надъ воротами, то, чтобъ ставить ей свѣчи, народъ подмостилъ въ воротахъ лѣстницу и совершенно загородилъ проходъ и проѣздъ.

Амвросій, чтобъ положить конецъ этимъ соблазнамъ, думалъ было сначала снять икону съ воротъ и перевести ее въ ближайшую церковь Киръ-Іоанна, а собранныя отъ приношенія деньги, которыхъ накопилось не малая сумма въ поставленномъ тамъ сундукѣ, отдать на богоугодное дѣло или же внести въ кассу воспитательнаго дома, въ которомъ Амвросій считался опекуномъ. Но, не рѣшаясь самолично на эту мѣру, архіепископъ посоветовался прежде всего съ Еропкинымъ. Еропкинъ находилъ не безопаснымъ брать икону въ такое смутное время, а полагалъ возможнымъ только одно — перевести собранныя деньги куда-нибудь въ безопасное отъ расхищенія мѣсто, и для этого запечатать сундукъ.

Для приведенія въ исполненіе этого плана, къ Варварскимъ воротамъ былъ посланъ небольшой отрядъ солдатъ съ унтеръ-офицеромъ, два подъячихъ, съ конторскою печатью, и тотъ именно священникъ, который и былъ причиною мнимаго чуда — онъ-то и настроилъ фабричнаго рассказывать о видѣніи.

Говорятъ, что этотъ священникъ, бывшій въ день бунта въ консисторіи для дачи показаній относительно всего происходящаго у Варварскихъ воротъ, раньше предувѣдомилъ плацъ-майора, находившагося у этихъ воротъ, о томъ, что начальство хочетъ взять у иконы деньги, и предложилъ ему не допускать команду до сундука. Плацъ-майоръ тотчасъ же приложилъ къ сундуку свою собственную печать и сталъ ожидать военную команду съ консисторскими подъячими. Между тѣмъ, при помощи этого же майора и священника, выдумавшаго чудо, въ народѣ прошелъ слухъ, что ве-

черомъ архіерей самъ пріѣдетъ братъ Богородицу. Вышіе у Варварскихъ воротъ кузнецы тотчасъ же вооружились чѣмъ попало на защиту Богородицы.

Вечеромъ явилась, наконецъ, и команда съ подъячими. Одинъ изъ подъячихъ подошелъ къ сундуку, чтобъ приложить печать.

— Бейте ихъ!—раздался крикъ въ толпѣ—и народъ тотчасъ же напалъ на команду, которая была избита и перевязана.

— Богородицу грабятъ!—кричала толпа.—Богородицу грабятъ!

Ударили набатъ въ ближайшей церкви. Этому набату отвѣчалъ городской набатъ у Спасскихъ воротъ. Набатъ загудѣлъ по всей Москвѣ, и вся Москва, уже и безъ того наэлектризованная страшными сценами чумнаго времени, поднялась на ноги какъ одинъ человѣкъ.

Амвросій, услыжавъ набатъ и общее смятеніе, понялъ, что народъ, выступивъ на защиту Богородицы, тѣмъ самымъ протестуетъ противъ его личныхъ распоряженій, и, боясь народнаго гнѣва, тайно сѣлъ въ карету своего племянника, Вантыша-Каменскаго, также жившаго въ покояхъ Чудова монастыря, и велѣлъ ѣхать къ своему другу, сенатору Собакину. Но Собакинъ оказался больнымъ или, можетъ быть, слегъ въ постель со страху, и тогда Амвросій приказалъ ѣхать въ Донской монастырь.

Была уже ночь. Москва представляла ужасное зрѣлище. На улицахъ громче всѣхъ раздавался одинъ крикъ:

— Грабятъ Боголюбскую Богородицу!

Вся Москва, казалось, переселилась на улицы, на площади. „Всѣ,—говорить очевидецъ этого происшествія, ѣхавшій вмѣстѣ съ Амвросіемъ въ эту ночь,—всѣ были даже до ребятъ вооружены! Всѣ, какъ сумасшедшіе, въ чемъ стояли—бѣжали, куда ихъ стремленіе къ буйству и грабительству влекло“.

Мятежники ворвались въ Чудовъ. „Все,—говорить тотъ же очевидецъ,—что ни встрѣчалось ихъ глазамъ, похищаемо, разоряемо и до основанія истребляемо было. Верхнія и нижнія архіерейскія кельи, экономическія, консисторскія и всѣ монашескія, также казенная палата, со всѣмъ, что въ ней ни было, разграблены; окна, двери, печи и всѣ мебели разбиты и разломаны; бібліотека, картины, образа, портреты, даже и въ самой домовой архіерейской церкви съ престола одѣяніе, сосуды, утварь и самой антиминь въ лоскутки изорваны и ногами потоптаны были отъ такого народа, который, по усердію будто, за икону вооружился“.

Тамъ, въ монастырѣ, разъяренная толпа напала на брата архіепископа Амвросія, архимандрита Воскресенскаго монастыря Николая. Несчастный монахъ отъ ужаса помѣшался и черезъ четырнадцать дней умеръ.

Толпа все рыскала по монастырю, разыскивая Амвросія; но его искали напрасно.

„Наконецъ,—продолжаетъ очевидецъ,—какое открылось зрѣлище! Когда разбиты были чудовскіе погреба, въ наемъ Птицыну и другимъ купцамъ отдаваемые, съ французскою водкою, разными винами и англійскимъ пивомъ. не только мужчины, но и женщины приходили туда пить и грабить.“

„А между тѣмъ помощи ниткуда нѣтъ. Гдѣ тогда были полицейскіе офицеры съ командами ихъ?— восклицаетъ очевидецъ.— Гдѣ находился полкъ Великолуцкой, для защищенія Москвы назначенный? Гдѣ, напоследокъ, градодержатели? Заключить можешь (пишетъ очевидецъ своему другу), что городъ оставленъ былъ и брошенъ безъ всякаго призрѣнія“.

Одинъ изъ оставшихся еще въ Москвѣ начальниковъ, Федоръ Ивановичъ Мамоновъ, желая унять волненіе, прискакалъ на мѣсто бунта, и когда потребовалъ у караульнаго офицера въ помощь себѣ солдатъ, офицеръ не рѣшился дать ему команду, не имѣя на то приказанія. Мамоновъ самъ явился въ монастырь съ своими людьми. Но толпа тотчасъ набросилась на него. Мамоновъ долго защищался отъ нападающей на него массы, но въ него бросали камнями, проломили ему голову, и несчастный едва успѣлъ спастись отъ смерти бѣгствомъ.

Видя неизбежную гибель, Амвросій на утро послалъ къ Еропкину просить пропускнаго билета за городъ, думая спастись въ одномъ изъ загородныхъ монастырей. Но вмѣсто билета Еропкинъ прислалъ для охраны особы архіепископа одного изъ офицеровъ конной гвардіи, который и долженъ былъ проводить преосвященнаго за городъ. Офицеръ просилъ архіепископа переодѣться въ простое платье, а самъ поспѣшилъ впередъ, чтобъ, не давая подозрѣнія народу, выждать преосвященнаго у конца сада князя Трубецкого. Но пока закладывали простую кибитку для владыки, пока онъ одѣвался, толпа явилась въ Донской.

Спасенія искать было неоткуда.

Еще издали несчастный старикъ услышалъ шумъ, крикъ, пальбу. Толпа ломилась уже въ ворота. Ворота были выломаны. На монастырскомъ дворѣ стояла кибитка, ждавшая преосвященнаго. Но прятаться было уже некуда.

Амвросій, предчувствуя свою гибель, отдалъ свои часы и деньги племяннику своему, Вантышу-Каменскому, все время находившемуся при немъ, и совѣтовалъ ему искать спасенія.

— Возьми часы сіи и деньги — они спасутъ тебя, — сказала онъ Вантышу (старый архіепископъ очень хорошо зналъ народныя страсти!).

Потомъ, надѣвъ простое монашеское платье, архіепископъ отправился въ церковь, гдѣ въ то время шла уже литургія.

„Злодѣи, — говоритъ Вантышъ-Каменскій, — еще въ Чудовѣ знали, по сданогласному отъ всѣхъ признанію, что владыка со мною и въ моей каретѣ уѣхалъ. Тутъ они ее на монастырѣ увидѣли. Повѣришь ли, любезный другъ, что одинъ изъ подъячихъ нашей канцеляріи (коллегіи иностранныхъ дѣлъ архива) вмѣстѣ съ ними находился и объявилъ о моей каретѣ. Кучеръ и лакей мой смертельно биты были, чтобъ объ архіереѣ и обо мнѣ объявили; наконецъ, злодѣи свѣдали, что архіерей скрылся въ церкви, а я въ банѣ, ибо мой малой, оставя меня тутъ, самъ ушелъ и попался къ нимъ въ руки; а притомъ въ то время сидѣли въ банѣ двое монастырскихъ слугъ, кои и топили оную. Между тѣмъ какъ изверги ворвались въ алтарь и искали тамъ владыку. Одна изъ нихъ шайка нашла меня въ



банѣ. Боже мой! въ какомъ былъ я тогда отчаяніи жизни моеи! Поднятые на меня смертные удары отражены были часами, табакеркою и двумя имперіалами дяди мосго, тогда при мнѣ находившимися“.

Другія толпы, разбѣявшись между тѣмъ по монастырю, вездѣ искали архіерея. Одна шайка ворвалась въ церковь, съ дрекольемъ и оружіемъ, въ томъ видѣ, въ какомъ матежники рыскали по городу; но, увидѣвъ, что идетъ служба, бунтовщики остановились, боясь нарушить богослуженіе.

„Преосвященный, — по словамъ его жизнеописателя, — увидѣвъ изъ алтаря, что народъ съ орудіемъ и дрекольями вошелъ въ церковь, приблизился къ престолу Божию, преклонилъ колѣна предъ онымъ и, воздѣвъ къ жертвеннику руки свои, со слезами произнесъ сію молитву: „Господи! остави имъ, не вѣдятъ бо, что творять, не введи ихъ въ напасть, но отврати стремленіе ихъ, и яко же смертію Іоны укротилось волненіе моря, тако смертію мосго да укротится нынѣ волненіе сего свирѣпѣющаго народа“.

Загѣмъ онъ исповѣдался, приобщился Св. Таинъ и скрылся на хорахъ позади иконостаса.

Не дождавшись, однако, конца обѣдни, бунтовщики вломились въ алтарь и стали искать свою жертву. Второпяхъ они все перешарили, ни передъ чѣмъ не останавливались: опрокинули престолъ, полагая, не тамъ ли спрятался архіепископъ.

Увидѣвъ замокъ у двери, ведущей на хоры, они отбили замокъ и стали тамъ искать владыку. Только его и тамъ не находили.

Въ это время какой-то мальчикъ, примѣтивъ вверху хоръ полу платья несчастнаго старика, закричалъ:

— Сюда! сюда! архіерей на хорахъ!

Толпа радостно закричала — жертва ихъ была найдена: было надъ кѣмъ излить долго копившуюся въ нихъ злобу.

„Овцы“, — говоритъ жизнеописатель страдальца, — вытащили своего „пастыря“ изъ храма. Кто-то хотѣлъ убить его еще въ церкви; другіе порывались убить на паперти; но толпа помнила, что это будетъ оскверненіе храма — и не дозволила убивать несчастнаго въ священномъ убѣжищѣ.

Его вывели въ заднія ворота монастыря, къ рогаткѣ.

— Зачѣмъ ты хотѣлъ снять икону Божьей Матери съ Варварскихъ воротъ? — спрашивали его одни.

— Зачѣмъ не ходилъ съ понами въ ходахъ и молебствіяхъ? — спрашивали другіе.

— Для чего велѣлъ запечатать бани, учредилъ карантинъ, запретилъ хоронить мертвыхъ при церквахъ? — спрашивали третьи.

Онъ на все отвѣчалъ. Онъ говорилъ при этомъ, что не своей волей дѣлалъ распоряженія, о которыхъ его спрашиваютъ, но что на это была воля правительства. Онъ говорилъ кротко, съ убѣжденіемъ. Толпа было примирѣла. Слова старика тронули многихъ. Иные уже стали расканиваться въ своемъ необдуманномъ порывѣ, въ своихъ увлеченіяхъ, въ звѣрскомъ грабежѣ монастыря.

Но въ это время дворовый человекъ Раевского, Василій Андреевъ, выбѣжавъ изъ кабака, кинулся на архіерея съ коломъ въ рукахъ.

— Чего глядите на него! — закричалъ онъ. — Развѣ не знаете, что онъ колдунъ и морочать васъ!

И онъ коломъ ударилъ архіепископа въ лѣвую щеку. Достаточно было одного крика, достаточно было слова „колдунъ“, достаточно, наконецъ, было удара, чтобъ у разгоряченнаго всѣми этими событіями и обезумѣвшаго отъ страсти и вина народа проснулась вся его необузданность. Кровь всегда вызываетъ жестокость.

Всѣ бросились на беззащитнаго старика. Онъ былъ мучительно убитъ.

„Избитое и обогрѣнное кровію тѣло новаго сего московскаго мученика лежало на распутии день и ночь цѣлую“, — говоритъ жизнеописатель Амвросія.

Для полноты картины мы не можемъ не привести здѣсь современнаго описанія этого бунта и убіенія московскаго архіепископа, — описанія, принадлежащаго перу очевидца этого событія, катехизатора (профессора богословія) въ московскомъ университетѣ, протоіерея Петра Алексѣева и составленное чрезъ нѣсколько дней послѣ бунта, еще подъ свѣжими впечатлѣніями этой памятной для Москвы чумной трагедіи.

„При всей жестокости моровья язвы, здѣсь распространившейся сильно, въ царствующемъ семь градѣ грѣхъ ради нашихъ открылося преужасное и слезамъ достойное кровопролитное позорище, сего мѣсяца 15 числа, т.-е. съ четвертка на пятокъ, бунтомъ отъ злой черни, отъ фабричныхъ, холопей, купцовъ, отставныхъ солдатъ и другихъ разночинцевъ учиненнымъ. Во 2-мъ часу пополудни, когда пришли отъ архіерея московскаго посланные къ Варварскимъ воротамъ для счета денегъ, собранныхъ при образѣ Пресвятыя Богородицы Боголюбскія, что надъ вратами, и для запечатанія оныхъ консисторскою печатію, канцеляристь консисторской и семь человекъ солдатъ, данныхъ на то отъ г. Еропкина; и какъ подъячій снялъ печать купцову отъ сундука съ деньгами, то и сдѣлался нелѣпый крикъ отъ народа, нарочкомъ туда заранѣе собравшагося и ожидавшаго уже не только присильныхъ отъ архіерея, но и самаго архіерея. Потомъ били подъячаго и солдатъ, и ихъ перевязали, изъ коихъ иные и померли. Между тѣмъ бунтовщики послали своихъ на колокольню церкви Всѣхъ Святыхъ, что на Кулишкахъ, и ударили въ набатъ, также и на другихъ окрестныхъ церквей колокольныхъ, отчего пошла тревога въ всемъ городѣ. По набату, особливо городскому, и трещеткамъ, на то по тайнымъ давно учиненнымъ отъ бунтовщиковъ повѣсткамъ, сбѣжалоса безчисленное множество черни съ топорами, кольями, камнями, кистенями и другими разбойническими орудіями, пошли наряднымъ дѣломъ къ Чудову монастырю съ великимъ азартомъ, грозя убить архіерея и какихъ-то трехъ евараловъ“.

Изъ этого свидѣтельства видно, что бунтъ готовился заранѣе, что бунтовщики „по повѣсткамъ“ приготовляли, кого слѣдовало, о готовящемся волненіи и что народъ, — конечно, тѣ, которые были посвящены въ это дѣло, — собрался къ Варварскимъ воротамъ, какъ говорится въ описаніи

Алексѣева, „нарокомъ“, т.-е. съ обдуманнѣмъ уже планомъ, чтобъ убить архіерея.

Отъ Варварскихъ воротъ, какъ мы уже видѣли, толпа бросилась къ Чудову монастырю.

„Туда прибѣжавъ въ 10-мъ часу, выломали ворота, что противъ Ивановской колокольни, и прямо въ келіи архіерейскія вломившись, искали преосвященнаго, который, узнавши по начавшемуся набату, что тамъ мятежь, куда отъ него люди посланы, уѣхалъ вонъ изъ монастыря съ племянникомъ Николаемъ Н. (Бавтышъ-Каменскій) въ кибиткѣ; а какъ не нашедъ архіерея, застали только брата его, воскресенскаго архимандрита, коего били и допросилися, что архіерей поѣхалъ въ Донской монастырь, а оттуда хотѣлъ-де уѣхать въ Воскресенской. Тогда мятежники отрядъ послали для сыску его. Другіе же пошли для распущенія людей изъ карантинновъ, коихъ и распустили. Оставшіе же злодѣи грабили монастырь безъ пощады, особливо въ келіяхъ архіерейскихъ растащили, что кому попалося, и продолжали оное грабительство цѣлыя сутки въ виду дрожащаго народа, не малымъ числомъ на позоръ сей сбѣжавшагося въ Кремль, съ великимъ буянствомъ, нося оттуда книги, деньги, платье, картины, посуду всякаго рода, постели, въ томъ числѣ и вѣнцы съ образовъ, сосуды священные, панагіи, пелены и прочее. И никто изъ градоначальниковъ не смѣлъ имъ препятствовать“.

Такъ, по свидѣтельству катехизатора Алексѣева, кончилась ночь. Власти не приготовились къ нечаянному нападенію бунтовщиковъ на монастыри и потому не смѣли ничего предпринять. Еропкинъ даже не показывался совсѣмъ въ эту ночь къ народу. А цѣль народа, какъ видно изъ этого описанія, была не только убійство архіерея, но и распущеніе карантинновъ—ясно, что были причины неудовольствія на карантинные порядки, потому что, какъ мы видѣли выше, всякій, попавшій въ карантинъ, считалъ уже себя окончательно ограбленнымъ, ибо если и не умиралъ тамъ, то, возвращаясь домой, ничего не находилъ уже изъ своего имущества.

Наступило 16-е число. Власти и за ночь ни къ чему не приготовились.

„Послѣ обѣдни,—продолжаетъ о. Алексѣевъ,—по усердію своему приѣхалъ верхомъ съ двумя лакеями верховыми Федоръ Ивановичъ Мамоновъ къ Чудову монастырю съ заднихъ воротъ (чему я былъ очевидецъ) и, оставя съ лошадьми одного лакея, съ другимъ пошелъ въ монастырь и, побывши тамъ минутъ съ 5, опрометью выбѣжалъ изъ воротъ, а въ него метали изъ монастыря камни и полѣны. Онъ сперва оборонялся пистолетами, а потомъ шпагою; но, увидя превосходную силу, побѣжалъ къ Никольскимъ воротамъ, и его били въ догонку чѣмъ попало, однако еще съ ногъ не свалили, покаместъ одинъ бунтовщикъ не ударилъ его большимъ камнемъ по головѣ, отъ котораго удару Мамоновъ упалъ на землю, и тутъ дежащаго нѣсколько поколотили же. А люди, подхватя полумертваго господина, на рукахъ отнесли за Никольскія ворота къ гауптвахтѣ, который, сказывали, отъ тѣхъ побой на другой день и умеръ. А 20-го числа я услышалъ, что онъ еще живъ“.

Затѣмъ у Алексѣева слѣдуетъ мастерское описаніе послѣдующихъ сценъ и убіенія архіепископа.

„Того же дня во время литургіи отдѣленные бунтовщики, пришедъ къ Донскому монастырю, видно, что по подвоху, взосли во оной и напали, выломавъ двери южныя алтарныя, на служащаго діакона, и бивъ, его спрашивали: „гдѣ архіерей?“ и казначая больно же били: „какъ тебѣ-де не знать, гдѣ архіерей спрятался, у тебя ключи отъ церкви“. Онъ показлъ на племянника архіепископа, въ банѣ скрывшагося, что не знаетъ ли развѣ онъ, который хотя и побить нѣсколько, однако, табакерками золотыми и часами ихъ удовольствовалъ и тѣмъ отъ смерти избавился. А преосвященный до входу ихъ въ церковь исповѣдывался в Святыхъ Тайнъ на литургіи приобщился, и взоселъ на палаты или хоры, что за иконостасомъ въ алтарѣ, на четвертый ярусъ, и за нимъ Епифаній Могилеанскій изъ Кіева, архимандритъ, туда же вбѣжалъ, и тамъ сидѣли. Крамольники, обыскивая въ алтарѣ подъ престоломъ и подъ жертвенникомъ, усмотрѣли дверь у входа на тѣ хоры, запертую замкомъ, и сбивъ оной, побѣжали вверхъ, и ощутя сперва Епифанія, закричали: „Здѣсь! здѣсь онъ!“ Однако, знающіе изъ нихъ оспорили: „это не онъ“, и пошли выше на хоры. И одинъ дѣтина лѣтъ 12-ти вдругъ взвизгнулъ: „вотъ онъ здѣсь!“ Откуда ругательски его стащили, а какъ свели въ церковь, архіерей и просилъ, чтобъ допустили его приложиться къ образу Пресвятыя Богородицы Донскія, къ чему они и допустили. Потомъ за волосы потащили изъ церкви. Выволокши на паперть, одинъ изъ злой шайки буйной мужикъ ударилъ въ високъ архіерея, но иные изъ нихъ закричали на того: „не бей здѣсь, погода“. А святого владыку допрашивали: „Ты ли послалъ грабить Богородицу? Ты ли не велѣлъ хоронить покойниковъ у церквей? Ты ли присудилъ забирать насъ въ карантинъ? и кто съ тобой въ этой думѣ заодно?“ А все то ведчи сквернословили неподобно ту особу, которая по сану архипастырскому и по разуму рѣдкому заставляла честныхъ людей взирать на себя съ благоговѣнствомъ. Выволокши же изъ монастыря саженъ десять или больше отъ воротъ, вознеистовали на святаго Христова и своего отценачальника, били смертельно съ наруганіями близъ двухъ часовъ; убивши же до смерти, отступили мало, скверня языками своими воздухъ; присмотря же, что одна рука правая отмахкою двинулася, съ чего принялися паки бить колями по головѣ; отступивши же нѣсколько, увидѣли, что пожался тотъ священный страдалецъ раменами, то и третично били, дондеже одинъ какой-то церковникъ, дьявольской церкви слуга, послѣднимъ довершилъ ударомъ, отрубя нѣсколько отъ главы, коя часть надъ глазомъ, коя часть и осталася висящею. И тако священномученикъ Амвросій, архіепископъ московскій, жизнь свою страдальчески скончалъ мѣсяца сентября въ 16 день: безчеловѣчно уранено тѣло его, переломаны кости и измощена глава его несказаннымъ образомъ. Повержены мощи достойно почитаемаго чловѣка на пути, обагреномъ кровію, близъ будки, что у заднихъ монастырскихъ воротъ, въ жалость приводя всѣхъ мимоходящихъ, кромѣ тѣхъ злодѣевъ, оксквер-

нившихъ нечестивыя свои руки убивствомъ архіерея Вожія. Однако, никто чрезъ два дни не смѣлъ отдать долгу христіанскаго и съ соболѣзнованіемъ объ немъ выговорить слова явно. Я вчерашняго числа въ томъ монастырѣ служилъ обѣдню по причинѣ отпѣванія г. Стрешнева Петра Ивановича и удостоился видѣть въ церкви больничной поднятое тѣло пресвященнаго и уже во гробѣ положенное. Архимандритъ донской во время сего случая пролежалъ въ нижней церкви подъ лавкою и не найденъ тогда, а только въ кельѣ у него растащено много тѣми злодѣями, искавшими архіерея. Ночь на 16 число не можно изобразить, какъ была страшна всему граду, потому что въ набатъ били безпрестанно бунтовщики у многихъ церквей, и въ Чудовѣ монастырѣ и въ городской, а какъ не видно нигдѣ пожару, то не знали сперва обыватели на что подумать: иной говорить, что пришли турки, иной сказываетъ, что Богородицу грабятъ, и бѣжали со всѣхъ сторонъ въ городъ злодѣи съ разбойническимъ оружіемъ, отъ чего всѣ обыватели въ трепетѣ и отчаяніи были. Но тѣмъ не кончилась сія трагедія“.

#### IV.

Сохранилось нѣсколько современныхъ описаній московскаго бунта, убіенія архіепископа Амвросія и усмиренія силою оружія этого волненія. Описанія эти всѣ принадлежатъ очевидцамъ и въ главнѣйшихъ фактахъ совершенно сходятся между собою, хотя нѣсколько разнятся въ мелкихъ подробностяхъ.

Кромѣ современнаго свидѣтельства о. Алексѣева, сейчасъ нами приведеннаго, другія современные свидѣтельства о томъ же предметѣ принадлежатъ: одно—офицеру лейбъ-гвардіи Саблукову, участвовавшему въ усмиреніи бунта, другое—упоминаемому уже нами племяннику убіеннаго Амвросія, Баятышу-Каменскому, третье—нстоятелю одного изъ московскихъ монастырей.

Всѣ эти четыре описанія имѣютъ свои достоинства, какъ показанія очевидцевъ и современниковъ.

Саблуковъ, вмѣстѣ съ другими офицерами лейбъ-гвардіи, былъ присланъ императрицею изъ Петербурга въ Москву въ началѣ августа, когда чума особенно сильно свирѣпствовала въ этомъ городѣ и грозила перебраться въ Петербургъ. Дѣло было такой важности, что гвардейскимъ офицерамъ велѣно было выхвать изъ Петербурга въ три часа и слѣдовать въ Москву съ „крайнимъ поспѣшеніемъ“. Всѣмъ имъ приказано было давать на станціяхъ по пяти подводъ.

Саблуковъ, находясь въ Москвѣ въ числѣ частныхъ смотрителей, переписывался съ отцомъ, и вотъ, между прочимъ, что онъ пишетъ отцу 19 сентября, т. е. черезъ два дня послѣ усмиренія бунта, „о московскихъ обстоятельствевахъ“:

„Онѣ состоятъ въ томъ: дней десять назадъ какъ стало здѣсь извѣстно, что являся на Варварскихъ воротахъ образъ Боголюбской Богородицы,

гдѣ и сдѣлалось великое богомолье и великая тѣснота и сборъ деньгами; а какъ болѣзнь отъ прикосновенія весьма прилипчива, то покойной здѣшній преосвященный и разсудилъ въ этомъ случаѣ сдѣлать нѣкоторое распоряженіе, а притомъ, чтобъ не была раскрадена, и казну велѣлъ запечатать, и какъ скоро для сего только прислано было 15 числа около вечера, то бывшая тутъ чернь, не повинуюсь сему, тотчасъ взбунтовала и ударила въ набатъ. И какъ собралось множество черни, и побивъ сію присланную команду, пошли ночью на 16 число, разломавъ желѣзныя ворота, въ Чудовъ монастырь, дабы тамъ найти и убить архіерея, который уже тогда потаеннымъ образомъ и въ сѣромъ кафтанѣ ушелъ въ Донской монастырь. То она въ удовольствіи нашла, чтобъ разграбить, переломать все въ покояхъ, гдѣ онъ жилъ, также и въ домашней его церкви, ободравъ евангеліе, престоль и ризы, и сосуды, и случившіяся тамъ деньги, покровъ, пошли 16 числа, около обѣда, человекъ съ 200 сихъ бунтовщиковъ, въ Донской монастырь, гдѣ и нашли преосвященнаго и, вытащивъ его изъ алтаря на поле, убили его камнемъ и дубьемъ до смерти. А въ то-жъ время случившаяся въ Кремлѣ чернь разломала въ Чудовѣ монастырѣ купеческіе погреба съ винами, стала пьянствовать, и Кремль былъ такъ страшенъ отъ сихъ пьяныхъ бунтовщиковъ, что они всѣхъ входящихъ туда солдаты побивали камнями“.

Вантышъ-Каменскій также оставилъ намъ описаніе московскаго бунта въ письмахъ къ другу.

21-го октября онъ пишетъ слѣдующее: „Любезный другъ! Требуешь, чтобъ тебѣ обстоятельно я увѣдомилъ о такомъ дѣлѣ, которымъ растравить должно мои раны и подвигнуть всю внутреннюю. Внемли. Давно уже писалъ я къ тебѣ, что по причинѣ усилившейся здѣсь болѣзни, всѣ не токмо не привязанные къ дѣлу бояре, но и тѣ, коимъ поручено правленіе города, разѣхались по деревнямъ; на дворахъ остались одни холопы, и тѣ голодные. Раскольники и чернь негодовали на учрежденіе карантинныхъ домовъ, запечатаніе бань, непогребеніе мертвыхъ при церквахъ и на прочія комиссією учрежденныя распоряженія. Попы не столько для святости, сколько для корысти, учредили по приходамъ, безъ дозволенія на то пастырскаго, ежедневные крестные ходы; народъ отъ сихъ ходовъ и плуце заражался, ибо мѣшались тутъ и больные, и зараженные съ здоровыми. Попы, увидя напоследокъ, что отъ ходовъ сами зачали умирать, какъ имъ отъ архіерея предсказываемо было, бросили хожденіе. Что-жъ!.. Праздность, корыстолюбіе и проклятое суевѣріе прибѣгли къ другому вымыслу. Въ началѣ сентября поиъ у Всѣхъ Святыхъ, что на Кулишкахъ, выдумалъ чудо съ помощью фабричнаго. На Варварскихъ воротахъ древній былъ большой образъ Боголюбскія Богоматери. Вдругъ начались тутъ молебны и всенощныя: чудо выдуманно такое, которое ни съ величествомъ Божиимъ, ни съ вѣрою, ниже съ разумомъ не согласно: будто фабричный пересказывалъ попу, что видѣлъ онъ во снѣ Богоматерь, вѣщающую къ нему такъ: что полеже 30 лѣтъ прошло какъ у Ея на Варварскихъ воротахъ образа не

только никто не пѣлъ николи молебна, ниже поставлена была свѣча, то за сіе Христось хотѣлъ послать на городъ Москву каменный дождь, но Она упросила, дабы трехмѣсячный былъ моръ. Изрядная скука! Не только чернь, но и купечество, а особливо женскій полъ, слушая таковыя рассказы фабричнаго, присѣдающаго у Варварскихъ воротъ и собирающаго деньги съ провозглашеніемъ: „порадѣйте, православныя, Богоматери на всемірную свѣчу“,—взапуски старался изъяснить свою набожность. Мерзкіе козлы (и пошамы ихъ грѣхъ назвать!), оставивъ свои приходы и церковныя требы, собирались тутъ съ налоями, дѣлая торжище, а не богомолье. Дошло сіе до ушей покойнаго владыки, который по причинѣ оказавшейся въ Чудовѣ заразы, высылая больныхъ, взаперти сидѣлъ. Онъ почиталъ за долгъ, и регламентомъ, и монаршими указами подписанный, достигнуть и пресѣчь сіе позорище. Первое его по сему дѣлу было намѣреніе удалить оттуда пошвы и икону перевезти (ибо въ воротахъ ни проходу, ни проѣзду не было по причинѣ приставленной лѣстницы) во вновь построенную съ величествомъ тутъ же у Вознесенскихъ воротъ Кира и Іоанна церковь и собранныя тамъ деньги употребить на богоугодныя дѣла, а всего ближе отдать въ воспитательный домъ, въ коемъ онъ опекуномъ былъ. Требуемые въ консисторію попы не только отрекались идти, но и еще угрожали присланнымъ побитіемъ ихъ камнями. Между тѣмъ язва такъ усилилась въ градѣ, что по 900 слишкомъ умирало; а какъ по предписанію докторскому запрещено было прикосновеніе и тѣсныя между народомъ всякія сборища, то и не могъ обойтись преосвященный, чтобы о способахъ къ прекращенію у Варварскихъ воротъ народнаго сходбища не посоветоваться съ господиномъ Еропкинымъ, который одинъ только въ городѣ и былъ начальникъ. Страхъ, дабы не обратить на себя простолюдиновъ, произвелъ у нихъ такое по сему дѣлу рѣшеніе, чтобъ оставить до времени перенесеніе иконы; а дабы собираемая у Варварскихъ воротъ деньги чрезъ фабричныхъ не могли быть расхищены, то приложить къ ящикамъ консисторскую печать; для безопаснѣйшаго же исполненія сего дѣла обѣщаль господинъ Еропкинъ прислать отъ себя нѣсколько солдатъ Великолуцкаго полка. 15 числа сентября, въ 5 часовъ пополудни, пришла въ Чудовъ рѣченная команда, изъ шести солдатъ и одного унтеръ-офицера состоящая“.

Далѣе слѣдуетъ извѣстное уже намъ описаніе самаго бунта.

Что касается четвертаго изъ названныхъ нами описаній, то оно нѣсколько отличается отъ прочихъ трехъ.

„Сказывалъ намъ,—говорить это описаніе,—отецъ архимандритъ покойной: покойный преосвященный на 16 число въ 7 часу прибѣжалъ къ нему и писалъ къ Еропкину дать билетъ, чтобъ ему бѣжать въ Воскресенскій монастырь. Той прислалъ къ нему офицера проводить его до заставы, и сказывалъ офицеръ, что Чудовъ разграбленъ. Вотъ преосвященный оробѣлъ и не поѣхалъ далѣе, говорилъ: „тутъ-де меня гдѣ-нибудь скройте,—можеде у нихъ всѣ дороги захвачены карауломъ“. Поутру, снявъ съ себя пантalonъ, отдалъ отцу архимандриту и, снявъ свое платье, одѣлся въ простое

монашеское, выисповѣдался, пошелъ къ обѣднѣ, а во время каноника сказано, что злодѣи монастырь окружили и врата монастырскія ломаютъ. Тутъ заразъ причастель Св. Тайнъ и побѣжалъ на перила съ архимандритомъ кievскимъ Елифаніемъ, и заперли ихъ тамъ; но вскоча тѣ злодѣи въ церковь и въ алтарь, били ризничаго, который и помре послѣ, и спрашивали, гдѣ преосвященный. Подъ жертвенникомъ и вездѣ искали; потомъ, сбивъ отъ периль замокъ и пошедь тамъ сыскали его; а архимандрита не было. Донской архимандритъ въ нижней перѣви скрылся въ алтарь и тамъ сохранился. Въ келіи архимандрита донского пограбили серебряныя ложки, чарки, часы и проч. Въ Чудовѣ у одного купца, прозываемаго Птицына, погребъ съ напитками разбили на 10 тысячъ рублевъ; просилъ графа о милости и сказано: „развѣ послѣ, а нынѣ не до васъ мнѣ“. Овъ бѣдный много отъ нихъ откупался въ пятюкъ днѣмъ: единой партіи дасть денегъ, тѣ и отступятъ, а другіе не получившіе приступятъ; и какъ напились злодѣи и изъ другихъ погребовъ, то и его разбили. Штофъ пѣнной водки по 10 к., аглицкаго пива бутылку по 2 к. продавали. Видно были и раскольники: въ келіяхъ архіерейскихъ картины живописныя порѣзаны, другія части повырѣзаны, глаза выкопаны, а старинныя всё побраны. На стѣнѣ написано въ келіяхъ: „погибе память его съ шумомъ“. Что-то будутъ дѣлать съ Варварскими воротами? Тамъ и нынѣ молебствія происходятъ безпрестанныя и денегъ много собираютъ, караулъ приставленъ. Будемъ ождать: что-то графъ Григорій Григорьевичъ сдѣлаеть“.

Это объ Орловѣ, который въ это время былъ приславъ въ Москву.

Посмотримъ теперь, что дѣлалось 16 и 17 числа, послѣ убіенія Амвросія.

„16 числа, по свидѣтельству Саблукова, П. Д. Еропкинъ, который находился только одинъ изъ господъ въ Москвѣ, приказалъ собрать все военныя команды и нѣсколько пушекъ, дабы сихъ бунтовщиковъ разогнать и усмирить, и послалъ прежде оберъ-коменданта Грузинскаго царевича уговаривать ихъ, чтобы они перестали бунтовать, то они чуть также до смерти камнями не убили. Того ради П. Д. Еропкинъ и рѣшилъ, чтобы не дать время еще болѣе умножиться бунтовщикамъ и не дѣлать болѣе столь дерзостныхъ поступковъ, идти туда и усмирять ихъ вооруженно. И такъ мы пошли въ тотъ день послѣ полдня, въ 5-мъ часу, и, пришедъ въ Кремль, съ Боровицкаго мосту, нашли тамъ еще отъ остальныхъ отъ убѣжавшихъ на Красную площадь бунтовщиковъ, коихъ усмиряли пулями и штыками. А потомъ я былъ командированъ съ пушкой и съ нѣсколькими солдатами въ Спасскія ворота, дабы ихъ очистить, гдѣ я и нашелъ до нѣсколькихъ сотъ сихъ бунтовщиковъ съ коляями и каменемъ; они, не увидя меня приближающаго, покусились было войти въ сіи ворота съ оружіемъ, то я, давъ время туда имъ набраться, выстрѣлилъ одинъ разъ изъ пушки картечью и, нѣсколькихъ убивъ, остальныхъ тотчасъ разогналъ штыками, и потомъ нѣсколькими выстрѣлами очистилъ стѣну сихъ бунтовщиковъ всю Красную площадь, чѣмъ и кончилась наша баталія“.

„На 17 число,—говорить съ своей стороны о. Алексѣевъ,—въ память



царевны Софіи, любившей такія потѣхи, проклятая чернь паки собралася около Варварскихъ воротъ, и какъ только смерклося, то ударили въ набатъ на колокольныхъ и пошли многочисленнѣе прежняго къ Кремлю съ тѣмъ, чтобы убить Еропкина и другихъ кого-то. Какой крикъ и гамъ поднялся отъ сей нечестивой скотины, что и набатные колокола заглушить не могли!.. Городъ, не оправившись еще отъ прежняго страха, который многихъ и на тотъ свѣтъ отправилъ, подумалъ, что это свѣту представленіе, и хозяева не смѣли изъ покоевъ посмотреть, не токмо что изъ двора сойти для какой-нибудь надобности. Г. Еропкинъ, не допусая сію злую совмишу до Лобнаго мѣста, встрѣтилъ ихъ противъ Голичнаго ряда съ командою военною и съ пушкою и отправилъ, сказываютъ, г. губернатора здѣшняго напередъ ихъ увѣщевать, а пьяная толпа просила выдать руками Еропкина, а если не будетъ выданъ, то грозили страшными бѣдами всему столичному городу и потрясеніемъ раззорительнымъ государству. А какъ увѣщаніе безчувственнымъ людямъ стало тщетно, то велѣно по нихъ стрѣлять холостыми зарядами, изъ пушки пыжомъ, чѣмъ злодѣи больше разсвирѣпѣвши, вдругъ бросились на солдатъ съ дубьемъ и камнемъ и обратили было въ бѣгство команду, и насилу увезена пушка къ Спасскимъ воротамъ помощію примкнутыхъ штыковъ. Но подоспѣвшій на ту пору Великолуцкій полкъ, содержащій здѣсь караулы, котораго большая часть выведена была прежде за 30 верстъ отъ Москвы по причинѣ коснувшейся яко бы къ нимъ моровой язвы, подкрѣпилъ команду и приказано уже стрѣлять по мятежникамъ вправду картечами и пулями, чѣмъ повалили такъ много черни, что считаютъ до тысячи однихъ убитыхъ, да нѣсколько раненыхъ ушли, а до двухъ сотъ наловлено разбойниковъ и святотатцевъ и посажено въ погребахъ кремлевскихъ, а скверныхъ ихъ звонарей отъ набатныхъ колоколовъ никакъ нельзя было оттащить, дондеже солдаты съ колоколенъ на штыкахъ ихъ не снесли, и до такого остервенѣнія дошли, что, будучи безоружны и окружены военною командою, пощады не просили“.

Съ прибытіемъ Великолуцкаго полка, видимо, начинается осиливать порядокъ. Но третій взрывъ массы могъ быть еще страшнѣе первыхъ двухъ.

„На 18 число,—продолжаетъ тотъ же очевидецъ,—взяты отъ градоначальниковъ приличныя предосторожности, дабы соблюсти градъ въ безмятежии: у всѣхъ кремлевскихъ воротъ поставлены большіе караулы, и надъ ними гвардейскіе офицеры, индѣ подведены пушки, и никого изъ шатающейся черни въ городъ не пропускаютъ, обывателей же, созвавши въ сѣзжій дворъ, увѣщевали быть во всякой осторожности и приказы полицейскіе отдали имъ: ежели случится пожаръ, то бы съ каждаго двора бѣжалъ человекъ съ чѣмъ ему должно быть на пожарѣ, а другіе-бы того двора люди съ пустыми руками туда не ходили. Притомъ присматривать людей уязвленныхъ на лицѣ или порубленныхъ, коихъ яко бунтовщиковъ объявляютъ, поличное, также изъ Чудова унесенное и у кого явившееся, подаетъ причину подозрѣвать на того человека въ сообщеніи съ злодѣями. По улицамъ черни не скоплятся, въ противномъ же случаѣ взяты будутъ

подъ караулъ. Мнѣ самому слышать удалось уже на осьмое на девятое число въ ночи по берегу отъ идущихъ съ дрекольемъ гурьбою людей: „пойдемъ на Прѣсну къ царевичу-коменданту, онъ за чернь идетъ воевать противъ Еропкина“. Однако предводителя того не нашли, а все то было вранье; вряли злодѣи и больше, да писать страшно“.

Что это было за „вранье“, о которомъ Алексѣевъ боялся писать—неизвѣстно. Но можно догадываться, о чемъ народъ спяна пробалтывался...

Въ заключеніе своего описанія Алексѣевъ говоритъ: „описаннымъ здѣсь печальнымъ приключеніямъ какъ не всѣмъ я былъ самовидецъ (о чемъ благодареніе Богу), но по большей части отъ слуха принятія положилъ на бумагу, то и не увѣряю васъ точно, чтобъ все было описано безъ ошибки, особливо въ разсужденіи числа людей или обстоятельства мѣсть. Уповательно будетъ впредь манифестъ обнародованъ съ подобающею о всемъ подробностію: тамъ всякъ можетъ читать, такъ какъ исторію о злоумышленномъ семъ бунтѣ, съ тою только отмѣною, что не имѣеть дѣйствительно чувствовать того несказаннаго страха, какимъ мы объаты были въ то несчастное для Москвы, безчестное для государства, вредительное и преобидное для церкви российской время“.

„Р. S. Мнѣ за полчаса времени до начатія бунта случилось ѣхать изъ гостей отъ одного сродника и по дорогѣ заѣхать къ Варварскимъ воротамъ съ женою и съ сыномъ, куда за множествомъ яко бы народа насъ не пропустили, и такъ я, вышедъ изъ коляски, подошелъ для посмотрѣнія образа и засталъ при томъ нѣсколько кучъ народа между собою злосовѣщающихъ. Изъ одной шайки злодѣевъ вышелъ нѣкоторый майоръ, мною незнаемой, но меня знающей: попрося благословенія и назвавши меня по чину, спрашивалъ: „скоро ли будетъ сюда преосвященный?“ Я отвѣтствовалъ „не знаю“. „У него-это и карета подвезена уже къ крыльцу“. Я и на то отвѣтъ далъ тотъ же и, примѣтя, что это значить, тотчасъ возвратился къ своей коляскѣ, гдѣ меня фамилія ожидала. Послѣ, какъ вышло смятеніе, по пріѣздѣ моемъ въ домъ, благодареніе воздалъ Богу, что на ту пору ничего я не сказалъ по архіереѣ или въ предосужденіе ихъ богомолія умышленнаго: они бы, можетъ быть, почили бы меня за подосланнаго отъ архіерея и убили бы“.

Саблуковъ же, какъ человѣкъ военный и лично принимавшій участіе въ усмиреніи бунта, нѣсколько иными красками окрашиваетъ описанныя у Алексѣева событія. „17 - го числа, — говоритъ Саблуковъ, — собралось множество бунтовщиковъ опять, но отъ стоящихъ бекетовъ ихъ много и переловили. Слышимъ отъ нихъ, что вся ихъ претензія была въ томъ: на что ихъ лѣгать доктора и лѣкари и на что учреждены лазареты и карантинны, и для чего архіерей приказалъ запечатать казну. Но теперь, благодаря Бога, всѣ сіи безпокойства кончились, и другой день какъ состоитъ прежняя тишина и повиновеніе. Однако-жъ, въ осторожность, по разнымъ мѣстамъ разставлены бекеты и пушки: а какъ я живу возлѣ П. Д. Еропкина, то онъ свои бекеты и артиллерію поручилъ мнѣ въ команду“.

Въ другомъ письмѣ Саблуковъ пишетъ отцу: „Во время сраженія я имѣлъ въ своей дивизіи престарѣлыхъ гвардейскихъ солдатъ и одну армейскую полковую пушку и съ оною-то арміею долженствовала сопротивляться не одной тысячѣ мятежниковъ; но потомъ былъ подрѣвленъ и вмѣстѣ съ капитаномъ Волоцкимъ пробылъ цѣлыя двое сутокъ съ онымъ корпусомъ на Спасскомъ мосту, не сходя съ онаго посту ни на минуту, понеже сіи мятежники чрезъ сіе время все покушались. Наконецъ, видя неудачу и то, что въ то-жъ время пришелъ сюда и армейской полкъ, раздумали болѣе не дураться; и въ то уже время мы смѣнены были армейскими; сначала же, какъ мы пошли въ Кремль, вся наша армія состояла менѣе чѣмъ во стѣ человекъ. П. Д. Еропкинъ во всѣ двое сутокъ не сходилъ съ лошади и былъ безотлучно на сраженіи, а потомъ объѣзжалъ весь городъ и всѣ карантинны не одинъ разъ“.

Бунтъ такимъ образомъ былъ усмирень.

18-го же числа Еропкинъ доносилъ императрицѣ: „Къ безпримѣрному сожалѣнію, ожиданіе превосходящей бѣдства и ужаса наполненный случай необходимо обязываетъ меня, всемилостивѣйшая государыня, и сверхъ моего рапорта къ генералу-фельдмаршалу графу Петру Семеновичу Салтыкову, какъ своему собственному командиру, всенижайше представить и отъ себя о томъ происшествіи, которое подвергало столичный вашего императорскаго величества городъ несовершенному бѣдствію, состоящій въ томъ, что народъ, негодуя доднесь на всѣ въ пользу ихъ повелѣнныя отъ вашего императорскаго величества мнѣ учрежденія о карантинахъ и другихъ осторожностяхъ, озлились, какъ звѣри, и сего мѣсяца 15-го дня сдѣлали настоящій бунтъ, вбѣжавъ въ Кремль и разоряя архіерейскій домъ, искали убить онаго; но какъ съѣхалъ сей бѣдный агнецъ скрытно въ монастырь Донской, то вбѣжавъ и туда въ безмѣрномъ пьянствѣ злодѣи до трехъ сотъ, 16-го по утру, убили онаго мучительно до смерти; карантинны учрежденныя раззорили, выпустили изъ Данилова монастыря и изъ другого двора, состоящаго на серпуховской дорогѣ, разбивъ дубьемъ и каменьями стоящаго на караулѣ офицера, сопротивлявшагося имъ, какъ и подлѣкаря, въ одномъ изъ тѣхъ карантинновъ находившагося; а другіе изъ злодѣевъ, вбѣжавъ въ Кремль, пробыли тамъ ночь всю и до половины дня, бивъ въ набатъ вездѣ, разоряя и домъ доктора Меркенса. Въ злодѣйствѣ семъ находились боярскіе люди, кушцы, подъячіе и фабришники, а особливо раскольники, разсѣвая плевелы, что они стоятъ за Богородицу, нашедъ образъ на Варварскихъ воротахъ сказывая, что онъ явленный, къ которому толпами ходятъ молиться. Архіерей несчастливой, видя, что отъ такой молитвы заражаются опасною болѣзнію, послалъ своего эконома и секретаря запечатать ящики денежнаго сбора: и произвело, всемилостивѣйшая государыня, вышеупомянутое смятеніе. Я, видя злоключительное состояніе города, послалъ тотчасъ ко всѣмъ здѣсь находящимся гвардіи офицерамъ съ командами, объявля имъ высочайшій вашего императорскаго величества указъ, чтобы они мнѣ повиновались,

отправа въ то-жъ самое время нарочнаго къ генераль-фельдмаршалу въ подмосковную, который ужъ и прѣхалъ, и Великолуцкій полкъ ввелъ въ городъ, давъ свою диспозицію оберъ-полицеймейстеру, въ какихъ мѣстахъ занять постъ для истребленія злодѣевъ, потому что я въ эту ночь, въ которую выгнаны были мною раззоряющіе Чудовъ монастырь возмутители, спѣша истреблять оныхъ, отъ одного изъ сихъ дерзостныхъ брошенныхъ въ меня шестомъ, а отъ другого камнемъ въ ногу вытерпѣлъ удары, и бывъ двое сутки безысходно на лошади, объѣзжая разныя мѣста города, совсѣмъ ослабѣлъ, и не имѣя чрезъ все то время ни сна, ни пищи, въ крайнее пришелъ безсиліе, получа отъ того и пароксизмъ лихорадочный, и наконецъ теперь принужденъ ужъ слечь въ постелю, бывъ здѣсь въ то время одинъ только съ губернаторомъ московскимъ, потому что всѣ другіе господа сенаторы разѣхались. Соединя къ командамъ гвардіи за раскомандированіемъ оставшихъ пятьдесятъ человѣкъ Великолуцкаго полку и набравъ не больше ста тридцати человѣкъ, при чемъ были нѣкоторые и изъ статскихъ для смотрѣнія, что съ корпусомъ, мною предводительствуемымъ, случится, пошелъ, гдѣ не одна тысяча была пьяныхъ, раззорявшихъ архіерейскій домъ и погреба купеческіе, подъ монастыремъ Чудовымъ состоящіе, производя такую наглость, что въ Кремль и проѣхать никому было невозможно. И хотя увѣщевалъ я упорствующихъ, посылая къ нимъ здѣшняго оберъ-коменданта генераль-поручика Грузинскаго царевича; но они встрѣтили его камнемъ, какъ равномерно и бригадира Мамонова, который для того-жъ увѣщанія прѣѣзжалъ, чрезвычайно разбили голову и лицо. И такъ сія дерзость заставила меня, всемиловѣйшая государыня, дѣйствовать ружьемъ и сдѣлать нѣсколько выстрѣловъ изъ пушекъ и истреблять злодѣевъ мелкимъ ружьемъ и палашами; ихъ въ Кремль пало человѣкъ не меньше ста, да взято подъ караулъ двѣсти-сорокъ-девять человѣкъ, изъ которыхъ нѣсколько находится съ стрѣленными и рублеными руками, и хотя они отъ того устрашась разбѣжались, но и вчерашній день на Варварской улицѣ ѣ противъ Красной площади нѣсколько шаекъ народу было, однако - жъ, на бросаніе каменьевъ и шестовъ уже отважиться не смѣли, а только требовали у стоявшаго на Спасскомъ мосту подлѣ учрежденнаго тамъ пикета здѣшняго губернатора, чтобъ отдали имъ взятыхъ подъ караулъ ихъ товарищей, а притомъ чтобъ безъ билетовъ хоронить и не вывозить въ карантинъ“.

Въ этомъ же рапортѣ Еропкинъ хвалитъ офицеровъ, отличившихся въ дѣлѣ противъ бунтовщиковъ: напр., капитана Волоцкаго за то, что онъ „истреблялъ возмутителей неустрашимо“, Загряжскаго—что этотъ шель впереди, „поражая злоумышленниковъ“. Саблуковъ—„истреблялъ возмутителей“. Вообще, всѣ чѣмъ-нибудь отличились.

Но видно, что Еропкинъ боится новой грозы—и боится уже за себя лично.

Вслѣдъ за первымъ рапортомъ императрицѣ онъ шлетъ другой. „Сколь,—

говорить онъ, — злключительны нынѣшнія обстоятельства Москвы, о томъ вчерашній день на эстафетѣ я всеподданнѣйше доносилъ уже вашему императорскому величеству, а симъ то еще всенижайше представить не пропускаю, что хотя дерзость, явно произведенная въ злодѣйскомъ убійствѣ московскаго архіерея отчасти возмутившагося здѣшняго народа мѣю и истреблена, и три дня прошло здѣсь въ желанномъ спокойствѣ, но слухи, однако-жь, съ разныхъ сторонъ доходящіе до меня, всемилостивѣйшая государыня, одно мнѣ приносятъ увѣдомленіе, что оставшее отъ злостныхъ совѣщателей устремленіе свое во всей силѣ имѣють всю звѣрскую ихъ жестокость обратить на меня, обнадеживая себя, что они убивствомъ меня и всѣхъ докторовъ скорѣй получатъ свободу отъ осмотровъ больныхъ, отъ выводу въ карантинъ, а притомъ и хоронить будутъ умершихъ внутри города, считая, что будто и тому я причиною, смущаясь притомъ и недозволеніемъ въ бани ходить, грозясь тѣмъ и подполковнику Маколову, у котораго карантинныя дома состоятъ въ смотрѣніи. Ожесточеніе предписанныхъ злодѣевъ такъ было чрезвычайно, что они не только кельи архіерейскія, но и его домовую церковь, какъ иконостасъ, такъ и всю утварь совсѣмъ разграбили. Вышеобъясненныя неудовольствія и угрозы злостныхъ людей, какъ лютыхъ тигровъ, отъ безразсудства ихъ на меня пламенѣющія за то одно, что я здѣсь въ сенатѣ и во всемъ городѣ одинъ рачительнымъ исполнителемъ всѣхъ тѣхъ учреждений, о которыхъ вашему императорскому величеству высочайшими своими повелѣніями о карантиннахъ предписать мнѣ благоугодно было. Но вся жестокость злонаправныхъ людей, какову ю по совѣщанію вкоренили они въ свои грубыя сердца, не имѣла силы ни умалить моей прилежности къ порученному мнѣ отъ вашего императорскаго величества дѣлу, ни ужасъ, который чрезъ разсѣяніе о убивствѣ меня они во мнѣ поселить старались, не могли поколебать меня отъ моего пути истиннаго. Я доказалъ то симъ злодѣямъ выгнаніемъ ихъ изъ Кремля и взятіемъ не одной сотни человекъ подъ караулъ. Но къ несчастію особливому, когда, истошая изъ своей искренней преданности къ вашему императорскому величеству и изъ совершеннаго доброжелательства къ общему благу послѣднія свои силы, слегъ въ постелю, то сей случай, всемилостивѣйшая государыня, начинаетъ меня смущать, чтобы толпа злодѣевъ въ теперешней моей разслабленности не навлекла участи бѣдственной и ругательной и мнѣ покойнаго архіерея. Въ разсужденіи чего, припадая къ стопамъ вашего императорскаго величества, всеподданнѣйше прошу я обязанность имѣю о всемилостивѣйшемъ увольненіи меня отъ порученной мнѣ комиссіи хотя на нѣкоторое время. Я ласкаюсь и тѣмъ, всемилостивѣйшая государыня, что одно отрѣшеніе меня отъ сего дѣла въ состояніи будетъ споконитъ волнующихся людей, не имѣющихъ истиннаго ни на что разумнѣя. Всемилостивѣйшая государыня! Я ожидаю милосердаго и всемилостивѣйшаго вашего императорскаго величества на сіе благоволенія, представляюсь до послѣднихъ дней въ непоколебимой вѣрности и съ рабскимъ усердіемъ“...

Екатерина отвѣчала на это Еропкину: „Петръ Дмитріевичъ! Подписавъ по вашему желанію приложенный указъ, посылаю его къ вамъ, дабы вы его объявили тогда, когда заблагоразсудите, что всегда будетъ для службы рано, видя ревность вашу, нельзя, чтобъ я не такъ думала. Впрочемъ, остаюсь къ вамъ доброжелательна“.

А черезъ нѣсколько дней, препровождая Еропкину знаки ордена Андрея Первозваннаго и 20,000 руб. изъ кабинета, императрица писала: „Патріотическая ревность и мужественный духъ, съ которымъ вы столь храбро и благоразумно защитили древнюю нашу столицу отъ бѣдственнаго невѣждъ и пустосвятотвъ возмущенія, удостоиваютъ васъ передъ нами особливо нашего къ вамъ благоволенія и призванія. Въ доказательство чего мы съ удовольствіемъ всемилостивѣйше жалуемъ васъ кавалеромъ нашего перваго ордена св. Андрея Первозваннаго, знаки котораго здѣсь включаются съ высочайшимъ отъ насъ дозволеніемъ, чтобъ вы оныя сами на себя возложили. И мы твердо надѣемся, что сія вамъ наша знаменитая отличность будетъ вамъ служить новымъ подвигомъ въ дѣлахъ патріотическихъ, пребывая впрочемъ вамъ императорскою нашею милостію благосклонна“.

## V.

Но прежде изъявленія согласія на увольненіе Еропкина отъ должности, Екатерина не могла не озаботиться мыслью, на чьи руки передать временное управленіе Москвою и успокоеніе этого города въ такую опасную пору. Что ее сильно озабочивала эта мысль, видно изъ того, что она думала даже сама ѣхать въ Москву, но не могла этого исполнить по причинѣ все еще продолжавшейся войны съ Турціею, вызывавшей усиленную дѣятельность со стороны императрицы. Поэтому вмѣсто себя она послала въ Москву графа Григорія Григорьевича Орлова. Нѣкоторые изъ современниковъ замѣчали по этому случаю (у Гезера), что императрица, посылая въ Москву Орлова, хотѣла будто бы отъ него отдѣлаться, такъ какъ онъ уже давно потерялъ ся расположеніе; но предположеніе это, ни на чемъ не основанное, едва ли можно принимать на вѣру, потому что подобный поступокъ со стороны Екатерины II положительно противорѣчилъ бы ея характеру.

По случаю отправленія графа Орлова въ Москву изданъ былъ особый, весьма торжественный манифестъ. Въ этомъ манифестѣ императрица особенно милостиво обращается къ своимъ подданнымъ. Самому тексту манифеста, велѣдъ за титуломъ, предшествуютъ такія слова, которыхъ нѣтъ въ другихъ манифестахъ: „Всѣмъ и каждому, кому о томъ вѣдать надлежитъ, наше монаршее благоволеніе“.

Затѣмъ манифестъ гласитъ: „Видя прежалостное состояніе нашего города Москвы, и что великое число народа мретъ отъ приличивыхъ болѣзней, мы бы сами туда послѣпно прибыть за долгъ званія нашего почли, есть-ли бы сей нашъ походъ, по теперешнимъ военнымъ обстоятельствамъ, самымъ дѣломъ за собою не повлекъ знатное разстройство и

помѣшательство въ важныхъ дѣлахъ имперіи нашей. И тако, не могли дѣлать опасности обывателей и сами подняться отсегѣ, заблагоразсудили мы туда отправить особу отъ насъ повѣренную, съ властію такою, чтобы, по усмотрѣнію на мѣстѣ нужды и надобности, могъ дѣлать онъ всѣ тѣ распоряженія, кои ко спасенію жизни и достаточному прокормленію жителей потребны. Къ сему избрали мы, по нашей къ нему отъѣнной довѣренности и по довольно известной его ревности, усердію и вѣрности къ намъ и отечеству, нашего генераль-фельдцейхмейстера и генераль-адъютанта графа Григорія Орлова, уполномочивая его поступать во всемъ такъ, какъ общее благо того во всякомъ случаѣ требовать будетъ, отмѣнять ему тамо то изъ сдѣланныхъ учреждений, что ему казаться будетъ или невмѣстно, или неподлезно, и вновь устанавливать все то, что онъ найдетъ поспѣшествующимъ общему благу. Въ чемъ во всемъ повелѣваемъ не токмо всѣмъ и каждому его слушать и ему помогать, но и точно всѣмъ начальникамъ быть подъ его повелѣніемъ, и ему по сему дѣлу присутствовать въ сенатѣ московскихъ департаментовъ; прочія же присутственные и казенныя мѣста имѣютъ исполнять по его требованію. Запрещаемъ же всѣмъ и каждому дѣлать какое-либо препятствіе и помѣшательство какъ ему, такъ и тому, что отъ него повелѣно будетъ, ибо онъ, зная нашу волю, которая въ томъ состоитъ, чтобы прекратить, колико смертныхъ силы достаетъ, гибель рода человеческого, имѣетъ въ томъ поступать съ полною властію и безъ препоны. Приведа все въ надлежащій порядокъ, онъ имѣетъ возвратиться ко двору нашему“.

О бунтѣ—ни слова. Екатерина имѣла на то свои причины.

26-го сентября Орловъ прибылъ въ Москву. Съ нимъ вмѣстѣ прибыли также команды отъ четырехъ полковъ лейбъ-гвардіи съ необходимымъ числомъ офицеровъ, затѣмъ генераль-поручикъ Мельгуновъ, сенаторъ Волковъ, оберъ-прокуроръ сената Всеволожскій, генераль-майоръ Давыдовъ, генераль-майоръ Щербачевъ, статскій совѣтникъ Басяковъ и штатъ-физикъ докторъ Ореусъ. Московскій же главнокомандующій, генераль-фельдмаршалъ графъ Салтыковъ, одряхлѣвшій побѣдитель Фридриха Великаго, растерявшійся передъ московскими фабричными, тотчасъ же получилъ увольненіе въ свои деревни, гдѣ вскорѣ и умеръ.

По прибытіи въ Москву, графъ Орловъ обратился съ такимъ торжественнымъ объявленіемъ: послѣ краткаго объясненія, словами манифеста, цѣли своего прибытія, Орловъ отъ себя лично прибавляетъ: „Сей святой долгъ буду я исполнять по крайней силѣ и возможности и елико Всевышній подастъ мнѣ вразумѣніи. Приступая къ сему исполненію, первая мнѣ предлежитъ должность узнать допряма причины толь великому вдругъ сего зла распространенію. Цѣлой городъ будетъ со мною, уповаю я, согласенъ, что сіе великое зло, вмѣсто скорого пресѣченія, распространилось толико главнѣйше отъ того, что сперва многіе или большая часть жителей по невѣдѣнію не хотѣли вѣрить, чтобы болѣзнь была толь зла и толь прилипчива, почитая умершихъ оною умершими случайно по неиспытан-

нымъ судьбамъ Вышняго“ и т. д. Затѣмъ онъ говоритъ о томъ, чтобы всѣ дружно встали за себя для своего спасенія, что онъ поможетъ для этого спасенія своими распоряженіями, что спасительна будетъ и молитва всѣхъ, проливаемая передъ Богомъ „яве и келейно“ и т. д. „Тогда-то (заклучаетъ онъ свое объявленіе) принятыя и приемлемыя правительствомъ средства и мѣры пойдутъ одно за другимъ безъ препятства и съ успѣхомъ. Тогда-то соединятся всѣхъ сердца во едино стремленіе и снизойдетъ благодать Вышняго. Тогда правительству утѣшительно будетъ раздѣлять общія опасности, видя успѣхъ и плоды своихъ стараній. Тогда мнѣ не останется болѣе какъ подавать ея императорскому величеству, теперь наши сѣтованія въ высшей степени ощущающей, пріятныя увѣдомленія, и тогда koliko радостно будетъ великодушному и человѣколюбивому ея сердцу изливать свои щедроты и благодѣянія не на гибнущихъ и ничего уже не требующихъ, но на плодоносящихъ и добродѣющихъ!“

О бунтѣ—опять ни слова...

Орловъ, надо замѣтить, присланъ былъ въ Москву уже въ такое время, когда чума, совершивъ свой опустошительный циклъ, вмѣстѣ съ наступленіемъ холодовъ должна была сама собою уменьшаться и, наконецъ, совсемъ прекратиться. Такъ, уже до прибытія Орлова, Саблуковъ писалъ отцу, между прочимъ: „Съ великимъ нетерпѣніемъ ждемъ зимы, которая можетъ быть лутѣе лѣкарство отъ чумы“, а черезъ нѣсколько дней, вскорѣ послѣ бунта, пишетъ: „Господствуетъ прежняя тишина. Погода становится холоднѣе, то надѣмся, что Богъ и чуму скоро утишитъ“.

Слѣдовательно, присутствие Орлова въ Москвѣ, а тѣмъ болѣе императрицы, едва ли уже было необходимо.

Впрочемъ, прежде чѣмъ мы приступимъ къ указанію мѣръ, принятыхъ Орловымъ для спасенія Москвы отъ чумы, которая сама собой ослабѣвала, возвратимся къ прерванному нами разсказу о послѣдствіяхъ бунта.

Въ то время, когда бунтовщики, захваченные на площадяхъ и на улицахъ, сидя въ погребехъ, ждали надъ собой суда, упоминаемый нами игумень одного московскаго монастыря писалъ: „Тѣло покойнаго преосвященнаго съ дозволенія его графскаго сятельства и напередъ указа погребли; погребено въ Донскомъ монастырѣ по причинѣ, чтобъ при погребеніи въ многолюдствѣ и тѣснотѣ по нынѣшней болѣзни не произошло отъ прикосновенія другъ къ другу вреда, и по другой причинѣ, что внутри города погребать не велѣно. Было и мнѣ искушеніе: въ моемъ монастырѣ чернь нашла деревенская Боголюбскую Богоматерь, и прислали доношеніе ко мнѣ, чтобъ отпустить образъ для молебствія. Былъ съ доношеніемъ изъ слободы, изъ заразительнаго мѣста, и такъ я его, не впусая на подворье, чрезъ попа отказалъ, да къ тому-жъ велѣлъ сказать, что я запретительными указами крестохожденія дозволить не могу, къ тому-жъ братія у меня престарѣлая и ходить некому, да изъ заразительнаго мѣста тое доношеніе, а въ монастырѣ молебствовать не запрещается. Итакъ, слава Богу, утихло. У меня, слава и благодареніе Богу,



въ монастырѣ и на дворѣ тихо, а въ подмонастырской слободѣ обывателей и служителей больше трехъ сотъ человѣкъ вымерло и нынѣ умирають. Крестовоздвиженскій игуменъ со всею братією померъ; въ монастырѣ Знаменскомъ игуменъ остался съ двумя монахами и двумя служителями; въ Новоспасскомъ монастырѣ и Андреевскомъ больше половины монаховъ померло. Гдѣ-то същемъ послѣ монаховъ въ монастыри? Протопопы померли: Іоаннъ Архангельскаго собора, Іоаннъ Постниковъ; Спасскаго—Левъ Давидовъ, въ Успенскомъ соборѣ—священникъ Ѳеодоръ Маркеловъ и діаконъ Егоръ. O mors, mea soror! Правда, что мы отъ жалости, забывъ страхъ, подняли поверженное тѣло (Амвросія?); гдѣ иные плакали, а другіе на насъ зубами своими скрежетали. Старика донскаго еле уговорили, чтобъ тѣло принялъ въ монастырь: боялся, чтобъ ему зато не отомстили злодѣи“.

Погребеніе убитаго архіерея происходило 4-го октября. Вмѣстѣ съ нимъ хоронили и его брата, Никона, тоже пострадавшаго во время бунта. Лучшій московскій проповѣдникъ, префектъ московской академіи Амвросій, при погребеніи архіепископа, сказалъ замѣчательное слово, о которомъ современники отзывались, что „слово сіе достойно пера Ѳеофанова“.

„Видя васъ, печальные слушатели,—возглаголалъ проповѣдникъ,—съ особеннымъ сердцею соболѣзнованіемъ гробу сему предстоящихъ, и самъ сострадая, что къ утѣшенію вашему сказать теперь могу я, несчастный въ семъ случаѣ проповѣдникъ? О времена! о нравы! о жизнь человѣчская! океанъ перемѣвъ неизмѣримый!“

Потомъ, обращаясь къ гробу и указывая на лежащаго въ немъ, обезображеннаго толпою старика, проповѣдникъ говоритъ, что его убило суевѣріе.

„Сего-то проклятаго суевѣрія дѣйствіемъ умерщвленъ и сей бездыханенъ лежащій предъ очами нашими почтенный старецъ, царствующаго града архипастыръ и истинный всего отечества патріотъ. Когда онъ, яко добрый пастыръ, предпринималъ въ паствѣ своей не наказанныхъ церкви служителей приводить во исправленіе, тогда разсѣваемъ былъ противъ его ядъ злобы и ненависти. Когда яко истинный христіанинъ, слѣдуя внушенію евангельскаго ученія, повинуюсь монаршимъ повелѣніямъ и соображаясь съ самымъ здравымъ разумомъ, не соглашался на безплодныя хотѣнія и дѣла суевѣровъ; когда тѣмъ самымъ о доставленіи паствѣ и всему обществу безопасности державствующей власти вспомоществовать по долгу и обязанности своей старался: тогда, о нечувствительности! тогда силою суевѣрія пригвожденныя къ наружнымъ святынямъ и въ нихъ единственно спасенія ищущія сердца исполнялись на него ярости, роптанія, поношенія, клеветы, и искали самой его столь полезной для общества жизни; а наконецъ, о страха и ужаса, неудобовѣстительнаго воображенія! наконецъ, обладающему сердцемъ ихъ вдолу привесли его въ жертву, излили на него ядъ злобы и ненависти своея; въ крови архипастыря своего обгадили руки, поносно умучили и тѣло архіерея Божія безцестно повергли на распутіи... О, пакы говорю, позорища варварскаго, звѣрскаго, а не человѣческаго дѣйствія!“

Затѣмъ проповѣдникъ обращается къ самимъ убійцамъ. „О вы недостойные имени человѣческаго злодѣи! неужели и утверждаете въ томъ, что убіеніемъ сего толико отечеству послужившаго мужа пріятную привесли Богу жертву? Не убиваетъ ли паче васъ, обличая въ неслыханномъ почти беззаконіи, самая ваша совѣсть? Раны сіи и заушенія не пронзаютъ ли звѣрскаго сердца вашего? Земля, обогрѣнная отъ рукъ вашихъ кровію, не свидѣтельницаетъ ли и предъ ангелы и предъ человѣки, что кровь сія пролита невинно и что достойна она была всякаго вашего охраненія? Лишенные добраго своего пастыря благовѣрныхъ души и вся россійская церковь, не видя уже старѣйшаго и ревностнаго въ правительствѣ своемъ служителя, не выпускаетъ ли на васъ сердечнаго вопля, пронцающаго своды небесныя и достигающаго до престола Божія правосудія? Разграбленіе не особеннаго токма, но и общаго имѣвія, опустошеніе обители, раздробленіе святыхъ иконъ и потоптаніе самыхъ освященнѣйшихъ даровъ, да гдѣ! во своемъ отечествѣ, во градѣ единыя вѣры и единого исповѣданія—не проповѣдуютъ ли васъ худшими язвениковъ и самыхъ варваровъ, яко николи же почитаемые собою за свято тако попиравшихъ? Угрожающее, наконецъ, казнію вамъ правительство, или и безъ того бывшее на васъ за злодѣйство ваше довольное постиженіе праведнаго гнѣва: вся, говорю, сія не доказываютъ ли, что поступокъ сей вашъ есть пребеззаконный, безчеловѣчный и достойный имени дьявольскаго, а не христіанскаго?“... и т. д.

Но еще болѣе замѣчательное слово сказано было черезъ годъ послѣ этого, именно въ день убіенія Амвросія, 16-го сентября 1772 года, когда убійцы его давно уже были казнены, а между тѣмъ самая тѣнь замученнаго народомъ старика все еще вызывала ненависть къ его противникамъ.

„Не буду я вамъ говорить, что день сей есть воспоминаніе плача и рыданія, что въ день сей, говорю, особеннаго рода злоба и варварство въ первопрестольномъ градѣ семь свирѣпѣли; что упоенный бѣшенствомъ народъ каждому честному гражданину угрожалъ смертію; что непріятельски была расхищена святая обитель, варварски опустошаемы Божіе храмы и что, наконецъ, ни совѣсть, ни страхъ законовъ и суда Божія не воспрепятствовали варварамъ обогреть руки въ крови попечительнаго и добраго своего архипастыря: о семъ я не напоминаю, дабы тѣмъ не растравить въ сердцахъ вѣрныхъ сыновъ церкви заживающія отъ того раны. Но не могу умолчать того, что къ сему страдальцу и доднесъ злоба въ иныхъ продолжается. вмѣсто того, чтобъ сожалѣть о нещастномъ его жребіи, иные взираютъ на оный со удовольствіемъ; вмѣсто того, чтобъ съ сокрушеніемъ сердца раскаиваться, продолжаютъ употреблять всякія злохуленія и поношенія“.

Далѣе проповѣдникъ употребляетъ истинно ораторскій приѣмъ, заставляя тѣнь покойника обращаться изъ гроба къ своимъ недоброжелателямъ.

„О безчеловѣчныя души!—говоритъ онъ:—такъ ли вы приносите покаяніе о своемъ злодѣйствѣ? Послушайте гласа вашего пастыря, изъ сего

гроба со умилениемъ къ вамъ вопіющаго: „Людіе паствы мояе!—взываетъ онъ:—что сотворихъ вамъ, яко тако ожисточиста на мя сердца ваша: сего ли я отъ васъ ожидалъ воздаянія? Людіе паствы мояе! что сотворихъ вамъ? Я васъ любилъ, а вы мнѣ отвѣтствовали ненавистію и злобою. Я полагалъ за васъ душу свою, а вы сочли меня своимъ недоброжелателемъ и злодѣемъ. Я старался освобождать васъ отъ оковъ заблужденій, паче же суетвѣрія, а вы представили меня невѣрнымъ. Я всевозможную ревность оказывалъ къ созиданію храмовъ Божіихъ и то въ обновленія, то въ написанія иконъ святыхъ, а вы назвали меня иконоборцемъ. Я обществу и самодержавной власти, сколько силъ моихъ доставало, усердствовалъ и служилъ, а вы—о правосудный Боже!—вы признали меня измѣнникомъ. Я прилагалъ попеченіе предохранять вашу жизнь отъ видимыя опасности, а вы у меня мою отняли мучительно. Я во всемъ съ благодушіемъ васъ прощаю, а вы клянете и осуждаете меня навѣки. Людіе паствы мояе! что сотворихъ вамъ?..“ и т. д.

„Не убиваетъ ли васъ этотъ голосъ?“—спрашиваетъ проповѣдникъ. „Убитаго нельзя поднять изъ гроба — зачѣмъ же и въ гробѣ тревожить его?“... и т. д.

Уже послѣ погребенія покойнаго архіепископа, изъ Петербурга пришесть запоздавшій синодскій указъ, повелѣвавшій:

„При погребеніи гбненнаго архіепископа буть преосвященному Геннадію, епископу суздальскому.

Погребсти священническимъ погребеніемъ въ Чудовомъ монастырѣ съ его предмѣстниками.

Во время несенія тѣла буть звону у близстоящихъ церквей, а при погребеніи—на Ивановской колокольнѣ и во всей Москвѣ.

Сказать надгробную проповѣдь московской академіи префекту Амвросію.

По послѣднемъ въ церкви возгласеніи покойному преосвященному „вѣчная память“, возгласитъ сицевымъ образомъ: „Блаженныя памяти преосвященнаго Амвросія, архіепископа московскаго и калужскаго, злочестивымъ убійцамъ анаема“.

Во всѣхъ церквахъ отгѣтъ панихиду, а убійцамъ возгласитъ „анаема“.

Въ теченіе года поминать во всѣ службы, а панихиды пѣть каждыиъмѣсячно, а убійцамъ возгласитъ „анаема“.

Екатерина, въ письмѣ къ Вольтеру (XCIV, <sup>6</sup>/<sub>17</sub> октября 1771 года) выражала искреннее сожалѣніе о покойномъ архіепископѣ, который когда-то помогалъ молодому Потемкину, когда тотъ „нуждался въ рубляхъ“.

Въ Воскресенскомъ монастырѣ есть портретъ Амвросія, висящій противъ портрета патріарха Никона. Подъ портретомъ изображено:

Амвросій кончилъ то, что Никонъ основалъ: Сей Божій домъ отъ нихъ весь блескъ свой воспріялъ. Но Никонъ на пути свѣдемъ изъ заточенья, Амвросій въ дни чумы и черни возмущенья Имѣли дней своихъ безвременный конецъ,— Зато украсилъ ихъ страдальческій вѣнецъ.

Судъ надъ убійцами архіепископа Амвросія и вообще надъ всѣми бунтовщиками продолжался недолго. Приговоръ надъ виновными сохраненъ въ Полномъ Собраніи Законовъ (т. XIX, № 13,695).

„Ея императорское величество, — говорится въ приговорѣ, — имяннымъ своимъ указомъ отъ 23-го сентября сего 1771 года, даннымъ господину фельдцейхмейстеру графу Орлову, повелѣть соизволила: о оскорбительному въ Москвѣ происшествіи, собрать сенатъ и синодъ и присоединя къ нему первыхъ пяти классовъ персонъ, учредить особенную генеральную комиссію (такъ какъ всегда при чрезвычайныхъ преступленіяхъ особенные слѣдствія и суды производимы бывали), произвести общественное слѣдствіе и судъ, въ силу и по точности настоящихъ государственныхъ законовъ, также по большинству голосовъ и по заключенной по тому сентенціи приказать безъ отлагательства, кому надлежитъ, учинить надъ осужденными публично исполненіе, дабы весь народъ могъ увидѣть и наипаче удостовѣриться, что сколь, съ одной стороны, неусыпно и неутомленно есть ея императорскаго величества попеченіе о его благосостояніи, столь, напротивъ, ея императорское величество не хочетъ попускать такому злодѣйскому возмущенію, колеблющему всеобщее спокойство“.

Въ самой сентенціи высказываются мотивы, почему приговоръ надъ виновными долженъ быть безпощаденъ.

„Читанныя, — говоритъ сентенція, — сему собранію показаніе и признаніе взятыхъ подъ стражу узниковъ о учиненныхъ ими въ 15-й и 16-й день минувшаго сентября преступленіяхъ, содержатъ въ себѣ такія дѣянія, взявъ каждое порознь и въ своей особености, на которыя божескими и гражданскими законами точныя отъ вѣровъ положены уже рѣшенія, такъ что и паки взявъ убивство преосвященнаго Амвросія, архіепископа московскаго и калужскаго, разграбленіе въ Чудовѣ монастырѣ, самое оскверненіе святыхъ и священныхъ мѣстъ и сдѣланное наруганіе святымъ иконамъ, каждое въ своей особености, представляется тотчасъ, что всякое изъ сихъ дѣяній безчеловѣчно, законопреступно и, слѣдовательно, жестокаго наказанія достойно! Но что сіе наказаніе божескими и гражданскими законами уже предопредѣлено, и не остается болѣе, какъ только произвести и исполнить законами опредѣленное. Но когда обращаемся къ наружнымъ окрестностямъ толико вдругъ учинившихся злодѣяній и въ сихъ наружностяхъ ищется прямой того источникъ, то усматривается ясно, что каждое изъ сихъ преступленій становится несравненно величайшимъ и жесточайшаго наказанія требующимъ, что первопрестольный градъ, самая середина онаго, воззрѣлище священныхъ мѣстъ и монаршихъ чертоговъ, вмѣсто того, чтобъ и самыя буйственныя сердца приводить въ чувство и благоговѣніе, были мѣстомъ сего богомерзкаго позорища. Не разбойникъ и убійца, по совершеніи своего злодѣянія тотчасъ укрывающійся, и въ самомъ остервенѣніи своемъ трепещуть отъ одного имени правосудія, здѣсь предстоитъ: но толпа злодѣевъ, на спасительные законы возстать дерзающая, и что злѣе — преступленіями своими, святотатствомъ и священноубійствомъ торжествующая.

Свѣтъ въ недоумѣніи, какимъ образомъ въ народѣ, набожномъ всегда и къ государямъ своимъ и законамъ повиновеніемъ на толикую степень могущества и славы вознесенномъ и повсюду побѣдоносномъ, мгновенно не могли такіа чудовища явиться и грозныя непріятелямъ руки обратить на самоубійство. Отечество требуетъ отъ закововъ неистовымъ своимъ сынамъ наказанія. Церковь пастырская кровію обогрѣнная и о мщеніи вопіющая. Съ ужасомъ смотря на сіи наружныя окрестности, не меньшее предлежитъ здѣсь соболѣзнованіе, когда разбирается прямой толикаго зла источникъ не потому, чтобъ оный отрыгалъ всегда подобнымъ ядомъ, или чтобъ таковыхъ же дѣйствій паки ожидать надлежало, но единственно по размышленію, коль пагубны роду человѣческому вообще слѣпота и суетвѣріе, корыстолюбіемъ частныхъ и малыхъ людей воспламененныя и коль насильственно, но неизбежно самому иѣзвому и человѣколюбивому сердцу употреблять строгость, когда подъ кроткою державою ея императорскаго величества единая взаимная любовь другъ ко другу видимая быть имѣла-бъ. Здѣсь представляется лейбъ-гвардіи семеновскаго полка солдатъ Савелій Бяковъ и фабричный Илья Аванасьевъ, каждый отвергнувъ свое званіе и предавшійся лицемерію и сребролюбію, сдѣлались собирателями стяжанія и, по мѣрѣ пріобрѣтенія онаго, обратили большее на себя вниманіе. Нѣкоторые изъ духовенства, имени сего и своего всѣми впрочемъ почитаемаго сана недостойные, прозирающіе слѣпоту людскую, съ мерзкою предъ Всевидящимъ радостію богослуженіе въ торжище обратили и руки къ пріятію гнусной мзды простерли“ и т. д.—высокопарное и довольно безграмотное изложеніе винъ лицъ, способствовавшихъ началу возмущенія.

Затѣмъ приводятся тогдашніе законы, относящіеся къ данному случаю.

Изъ Уложения: „кто на кого придетъ скопомъ и заговоромъ и учнетъ грабить или побивать, и тѣхъ людей, кто такъ учинить, за то казнить смертію“.

Изъ именного указа 12-го ноября 1721 года: „разбойниковъ, которые учинили смертное убійство, наказывать смертію“.

Изъ Военнаго Артикула: „всякое возмущеніе и упрямство безо всякой милости имѣеть быть висѣлицою наказано“.

„Кто на людей на пути и улицахъ вооруженною рукою нападетъ и оныхъ силою пограбитъ или побьетъ, поранитъ и умертвитъ, или ночью съ оружіемъ въ домъ ворвется, пограбитъ, поранитъ, побьетъ или умертвитъ, онаго, купно съ тѣми, которые при семъ были и помогали, колесовать, и на колеса тѣла ихъ потомъ положить“.

Въ силу этихъ статей приговорено: Василія Андреева и Ивана Дмитриева повѣсить на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ совершено убійство.

Къ висѣлицѣ же приговорены еще двое: дворовые люди Молчанова—Алексѣй Леонтьевъ и Колтовской—Федоръ Дѣяновъ; но висѣлица должна была достаться одному изъ нихъ „по жребію“.

Остальныхъ болѣе шестидесяти человѣкъ—купцовъ, дьячковъ, дворянъ,

подъячихъ, крестьянъ, дворовыхъ, фабричныхъ, солдатъ — бить кнутаомъ, вырѣзать ноздри, заклепать въ кандалы и сослать въ Рогервикъ въ каторгу.

Захваченныхъ на улицѣ, въ толпѣ бунтующихъ, малолѣтнихъ дѣтей — сѣчь розгами.

Двѣнадцать человѣкъ за оглашеніе мнимаго чуда — сослать навѣчно на галеры, съ вырѣзаніемъ ноздрей.

Относительно захваченныхъ во время бунта, но не уличенныхъ въ преступленіи, примѣненъ законъ: „гуляющихъ и слонящихся по улицамъ и переулкамъ людей и другихъ пьяныхъ, кои кричатъ и пѣсни поютъ и ночью въ неуказные часы ходить и шатаются, и въ нихъ бывають много бѣглыхъ солдатъ и матросовъ и прочихъ воровъ, и бываетъ отъ нихъ воровство и смертное убійство, и живутъ больше на кабакахъ и въ торговыхъ баняхъ, на рынкахъ и въ харчевняхъ и въ вольныхъ домахъ и въ шинкахъ и въ прочихъ домахъ — брать подъ караулъ и, смотря по винѣ, наказывать“. Такихъ взято было до девятиста человѣкъ.

Такъ какъ набатный звонъ по церквямъ сильно помогъ возбужденію народнаго волненія, то тогда же обнародованъ былъ особый указъ, которымъ повелѣно: „1) Всѣмъ духовнымъ правительствамъ наикрѣпчайшее имѣть смотрѣніе, чтобъ у колоколенъ двери были крѣпкія и у оныхъ замки твердые и надежные, которые всегда запираеть и ключи отъ нихъ имѣть священникамъ у себя. 2) Священникамъ оныя ключи повѣрять причетникамъ на то единственно время, когда обыкновенно благовѣсту или звону къ славословію церковному быть должно, а въ прочее время отбирать ихъ къ себѣ. 3) Гдѣ есть такія колокольни, что запираеть ихъ отнюдь не можно, въ такомъ случаѣ стараться построить оныя такъ, чтобъ двери у нихъ противъ вышесказаннаго замками запираемы были, а доколѣ построены не будутъ, употреблять всевозможные способы и предосторожности къ примѣненію законами запрещенныхъ тревогъ“ и т. д.

На томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ совершенно было убійство Амвросія и гдѣ потомъ повѣшены были его убійцы, воздвигнуть былъ каменный крестъ, съ обозначеніемъ на немъ года, мѣсяца и числа убіенія архіепископа московскаго. Бантышъ-Каменскій говоритъ, что „римскій императоръ Іосифъ, въ бытность свою въ Москвѣ въ 1780 году, любопытствовалъ видѣть сіе мѣсто и списалъ карандашемъ въ книжку свою означенное на крестѣ. По отъѣздѣ сего государя тогдашній московскій оберъ-полицеймейстеръ того-жъ дня разсудилъ приказать вколотить въ землю крестъ сей, что и было тогда же исполнено“.

Но возвратимся къ Орлову и посмотримъ, какъ исполнилъ онъ возложенную на него миссію и какъ переживала Москва послѣдніе мѣсяцы поразившаго ея бѣдствія.

Мы сказали, что Орловъ пріѣхалъ въ Москву въ то самое время, когда ужасная зараза, какъ бы утомившись отъ продолжительнаго пожара человѣческихъ жертвъ, сама начала мало-по-малу издыхать, словно отравленный звѣрь. Начинались холода — они-то и служили отравой для

кровожаднаго звѣря. Между тѣмъ современное официальное описаніе этой московской бѣды говоритъ, что „пріѣздъ его свѣтлости князя Григорія Григорьевича Орлова въ Москву столь скоро подѣйствовалъ, что многіе предъ тѣмъ разбѣжавшіеся жители города возвратились въ свои дома, и самый простой народъ, вмѣсто робости, унынія и отчаянія, сталъ приходить о своемъ невѣрїи и неосторожности въ раскаяніе, бодрость и отраду, видя, сколь далече матернее ея императорскаго величества къ нему соблазнованіе и попеченіе простирается и сколь его о самомъ себѣ небреженіе и безпечность есть пагубна и Всевышняго прогнѣвляющая“.

Первымъ дѣломъ Орлова было, созвавъ всѣхъ находившихся въ Москвѣ докторовъ, отобрать отъ нихъ мнѣнія о существѣ болѣзни, ея ходѣ, развитіи и о средствахъ противодѣйствія эпидеміи. Затѣмъ онъ лично осмотрѣлъ карантинныя, „опасныя больницы“ и прочія учрежденія, вызванныя настоящимъ положеніемъ дѣлъ. Чтобы руководить дальнѣйшимъ ходомъ этихъ дѣлъ и по возможности урегулировать то, что уже само собой сложилось въ московской администраціи въ виду общественнаго бѣдствія, Орловъ учредилъ двѣ особыя комиссіи — „комиссію для предохраненія и врачеванія отъ моровой заразительной язвы“ и „комиссію исполнительную“.

Вотъ краткій перечень всего, что дѣлалось въ Москвѣ за это время.

Объявляя объ учрежденіи комиссій, ихъ цѣли и кругъ дѣйствій и рисуя картину общественнаго неурстройства, въ которомъ находилась Москва, говоря, что „вмѣсто крѣпости и мужества всѣ пришли въ робость и уныніе“, что власти со страху покинули свои мѣста и „отлучились“, а подчиненные чрезъ то „пришли въ недѣйства“, слѣдовательно „въ ослабленіе“, — сенатъ, 11-го октября, призываетъ всѣхъ къ исполненію своихъ обязанностей, запрещаетъ приходить въ „неключимость и разслабленіе“, прибавляя, что „всякая неправда, корысть, нападки и мздоимство, всегда предъ Богомъ мерзкія и законами запрещенныя, взыщутся нынѣ какъ смертныя преступленія безъ всякой пощады и лицемѣрія“.

Видя, что „нѣкоторые злостные люди“, забывъ страхъ Божій, дерзаютъ входить въ вымершіе дома и грабить оставшееся послѣ несчастныхъ имущество, императрица, 12-го октября, объявляетъ, что если открыты будутъ такіе „безбожники и враги рода человѣческаго“, то безъ пощады казнены будутъ у того самаго мѣста, гдѣ учинится преступленіе, „ибо, — прибавляетъ Екатерина, — въ крайнихъ зла обстоятельствахъ и мѣры къ уврачеванію крайнія принимаются“.

Народъ, напуганный уже до крайней возможности всѣмъ около него происходившимъ, зная, что чума легко сообщается чрезъ зараженное платье, и въ то же время боясь властей и карантиновъ, тайно выбрасываетъ на улицы оставшееся отъ умершихъ платье, — и комиссія приказываетъ мортусамъ и полицейскимъ служителямъ немедленно собирать всякую валяющуюся по улицамъ рухлядь, сгребать ее длинными крючьями въ кучи и горящія же сжигать, надѣвъ на себя воцанное платье и стоя отъ вѣтра у горящихъ костровъ.

Сочиняются и раздаются въ народъ особыя наставленія, какъ вести себя въ это чумное время и какъ себя предохранять отъ заразы.

Нищихъ, цѣлыми легіонами шатающихся по улицамъ, высылаютъ въ экономическія и помѣщичьи селенія, а остальныхъ собираютъ въ Уфимскій монастырь и въ село Троицкое-Голенищево и тамъ кормятъ ихъ казенною пищею и одѣваютъ отъ казны.

Учреждаютъ четыре новыя „сумнительныя больницы“, нѣсколько карантинныхъ и предохранительныхъ домовъ. Служителямъ изъ казенныхъ фабричныхъ, согласившимся принять на себя уходъ за больными, высочайшимъ именемъ обѣщаютъ полную свободу.

Для большаго удобства дѣйствій городъ раздѣляютъ на 27 частей.

Обывателямъ запрещаютъ самимъ вывозить мертвыхъ на кладбища, тѣмъ болѣе, что для вывоза ихъ не хватало наемныхъ лошадей, и городъ самъ обязывается вывозить ихъ, даже безъ всякихъ билетовъ, при чемъ въ каждой части должны были имѣться въ запасъ казенные гроба для раздачи безденежно бѣднымъ.

Чтобы народъ не утаивалъ больныхъ и не боялся карантинныхъ и больницъ, объявлено, что всякому больному, который поступитъ въ больницу и выйдетъ изъ нея здоровымъ, будетъ даваться вознагражденіе—женатымъ по 10 р., а холостымъ по 5 р.,—и народъ начинаетъ охотно идти въ карантинныя, а иные даже притворяются больными, чтобъ только получить деньги.

Для оставшихся во множествѣ сиротъ и безпріютныхъ, которые помирали голодною смертію, учреждается особый сиротскій домъ на Тагангѣ.

Для собиранія послѣ умершихъ платья, мортусамъ велѣно ежедневно разбѣзжать по улицамъ и собирать отъ каждаго дома, гдѣ были больные, такое опасное платье и всякую рухлядь и сжигать все это за городомъ.

Назначаются особые мортусы, которые ловятъ по улицамъ всѣхъ собакъ и кошекъ и убиваютъ ихъ, а потомъ, вывозя за городъ, глубоко зарываютъ въ землю.

Всѣмъ городскимъ цирюльникамъ объявляютъ, чтобъ они не смѣли никому пускать кровь безъ разрѣшенія доктора.

Для снабженія города хлѣбомъ и другими съѣстными припасами, за Камеръ-Коллежскимъ валомъ по всѣмъ большимъ дорогамъ устраиваютъ особые амбары и торговыя мѣста, и т. д.

Но морозы были, повидимому, самыми искусными врачами. Съ октября чума, словно полая вода передъ лѣтними жарами, сильно пошла на убыль. Съ 20,000 умирающихъ она вдругъ спустила на 5,000, а потомъ, къ концу ноября, и совсѣмъ пропала.

Орлову ничего больше не оставалось дѣлать въ Москвѣ. 21-го ноября совершивъ публичную казнь надъ убійцами Амвросія и надъ другими бунтовщиками, онъ выѣхалъ въ Петербургъ, чтобы посѣтить туда къ Екатерину дню, а на его мѣсто присланъ былъ князь Волконскій.

25-го ноября въ большомъ Успенскомъ соборѣ совершено общенародное благодарственное молебствіе о избавленіи города отъ постигшаго его бѣдствія.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ НА

XV-ый годъ  
изданія.

# „СЪВЕРЪ“

XV-ый годъ  
изданія.

ежегодный иллюстрированный литературно-художественный журналъ.

Въ 1902 году гг. подписчики «Съвера» получать: 52 №№ журнала; 52 №№ газеты; 12 №№ журналов «Парижскія моды, Хозяйство и Домоводство», 12 №№ выкройки. Кроме того, на основаніи приобретеннаго отъ автора права печатанія всѣхъ вышедшихъ въ свѣтъ его произведеній, редакція дѣлаетъ въ теченіе 1902 года, въ книгахъ «Библиотеки Съвера»,

24 тома

СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

24 тома

## Д. Л. Мордовцева,

ВЪ КОТОРЫХЪ БУДУТЪ ДАНЫ:

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1.—„Идеалисты и реалисты“, ист. ром.   | 11.—„Мамзено побоище“, ист. п.                              | 35.—„Грустное воспоминаніе“, разск.       |
| 2.—„Гайдамачина“, ист. моног.  | 12.—„Архимандритъ-Гемманъ“, ист. пов.                       | 26.—„Наши пирамиды“, разск.               |
| 3.—„Вспышки поповой волюн-<br>ты въ 1812 г.“, истор. мат.                              | 13.—„Лжедмитрій“, ист. ром.                                 | 27.—„Два призрака“, быль-фан-<br>тазия.   |
| 4.—„Блудный король“, ист. пов.   | 13.—„Свету большае“, ист. ром.                              | 28.—„Кто онъ?“, еванг. быль.              |
| 5.—„Новые люди“, повѣсть.  | 15.—„Воспоминанія о Шлегел-<br>ки“, пер. съ малор.          | 29.—„Тысяча лѣтъ назадъ“, ист.<br>пов.    |
| 6.—„Царь безъ царства“, ист. р.  | 16.—„Соціалістъ прошл. вѣка“,<br>ист. пов.                  | 30.—„Поиманы есте Богомъ“,<br>истор. пов. |
| 7.—„Русскія историческія женщи-<br>ны“ (допетровскія Руси),<br>ист. раз.               | 17.—„Тульскій крикъ“, ист. п.                               | 31.—„Державная свѣжа“, быль.              |
| 8.—„Русскія женщины новаго<br>времени“ (первой половины<br>XVIII вѣка), истор. очер.   | 18.—„Видѣніе въ публичной биб-<br>ліотекѣ“, истор. повѣсть. | 32.—„Лобовъ спасла“, ист. быль.           |
| 9.—„Русскія женщины новаго<br>времени“ (второй половины<br>XVIII вѣка), истор. очерки. | 19.—„Крымская невола“, ист. п.                              | 33.—„Жертвы вулкана“, истор.<br>ром.      |
| 10.—„Русскія женщины новаго<br>времени“ (XIX-го в.), ист. оч.                          | 20.—„Говоръ камней“, 14 разск.                              | 34.—„Иродъ“, истор. романъ.               |
|  | 21.—„Тимошъ“, истор. повѣсть.                               | 35.—„Простетого потомство“,<br>ист. ром.  |
|  | 22.—„Русскіе колоняники въ Тур-<br>кии“, ист. пов.          | 36.—„Желѣзомъ и кровью“, ист.<br>романъ.  |
|  | 23.—„Фанатикъ“, ист. повѣсть.                               |   |
|  | 24.—„Кавкасскій герой“, ист.быль                            |   |

Кромѣ этого, годовые подписчики получаютъ **ВЗЯПЛАТНО** большой романъ того же автора

## „ЗНАМЕНІЯ ВРЕМЕНИ“

Въ отдѣльной продажѣ сочиненія эти стоятъ 28 руб.

**ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:**

На годъ безъ до- ставки въ СПБ.	6 р.	Безъ дост. въ Москвѣ: 1) у Метцля и К°; 2) у В. Альшванга и А. Гер- лаха (противъ Мал. театра)	6 р. 25 к.	Безъ дост. въ Одессѣ въ кон- торѣ кіосковъ Г. В. Свисту- нова	6 р. 50 к.	Съ пер- ес. во всѣ го- рода и мѣстн.	7 р.
---	------	--	------------	---	------------	--	------

На 1/2 года съ дост. и перес. 3 р. 50 к., на 3 м.—1 р. 75 к., на 1 м.—60 к. За границу 11 р. Разсрочка допускается по полугодіямъ, четвертямъ года и помѣсячно. Поручительство гг. казначеевъ и управляющихъ не требуется. Подписки въ кредитъ не принимаются. Подписавшіеся съ разсрочкою и уплатившіе не позднее 1-го декабря 1902 года подписную плату сполна, полу-чать премию наравнѣ съ гг. годовыми подписчиками.

Кромѣ всего вышеуказаннаго, гг. подписчики „Съвера“ могутъ получить, въ видѣ особой премии, полное собраніе сочиненій

## Е. П. ГРЕБЕНКИ,

въ 10 томахъ, съ приложеніемъ портрета автора, его автографів и Биографіи. Указывая на Гребенку, безсмертный Бѣлинскій говоритъ: „Въ талантѣ Гребенки большая аналогія съ малороссійскими пѣснями. Онъ дома, когда говоритъ о родинѣ, рассказываетъ о бытѣ мнущихся племенъ, приводитъ преданія старины о заповоржкахъ. Въ романѣхъ Гребенки много неподдѣльной теплоты. Стародавній бытъ Украины прекрасно отразился въ романѣ „Чайковскій“. Авторъ возвышается до паюса очевидца, сочувствуя своему предмету, какъ бы раздѣляя казацкую удачу и принимая горячо къ сердцу страданія южной Руси“. Отзывъ Бѣлинскаго можетъ служить лучшей рекомендаціей и вѣрнымъ указаніемъ на большія литературныя достоинства произведеній Е. П. Гребенки.

Гг. подписчики „Съвера“ желавшіе приобрести таковыя, доплачиваютъ за всѣ 10 томовъ только 3 р. безъ перес. и 3 р. 50 к. съ перес. (безъ разсрочки). Для книгъ, магаз. и постороннихъ лицъ цѣна 6 р. безъ перес. и 6 р. 50 к. съ перес. Съ наложен. платежомъ высылаются по полученіи 1 р.

Подписки просить адресовать въ Главную контору журнала „Съверъ“ (СПБ., Невскіе, 170)

на имя редактора-издателя Ник. Фед. ЖЕРТВА











